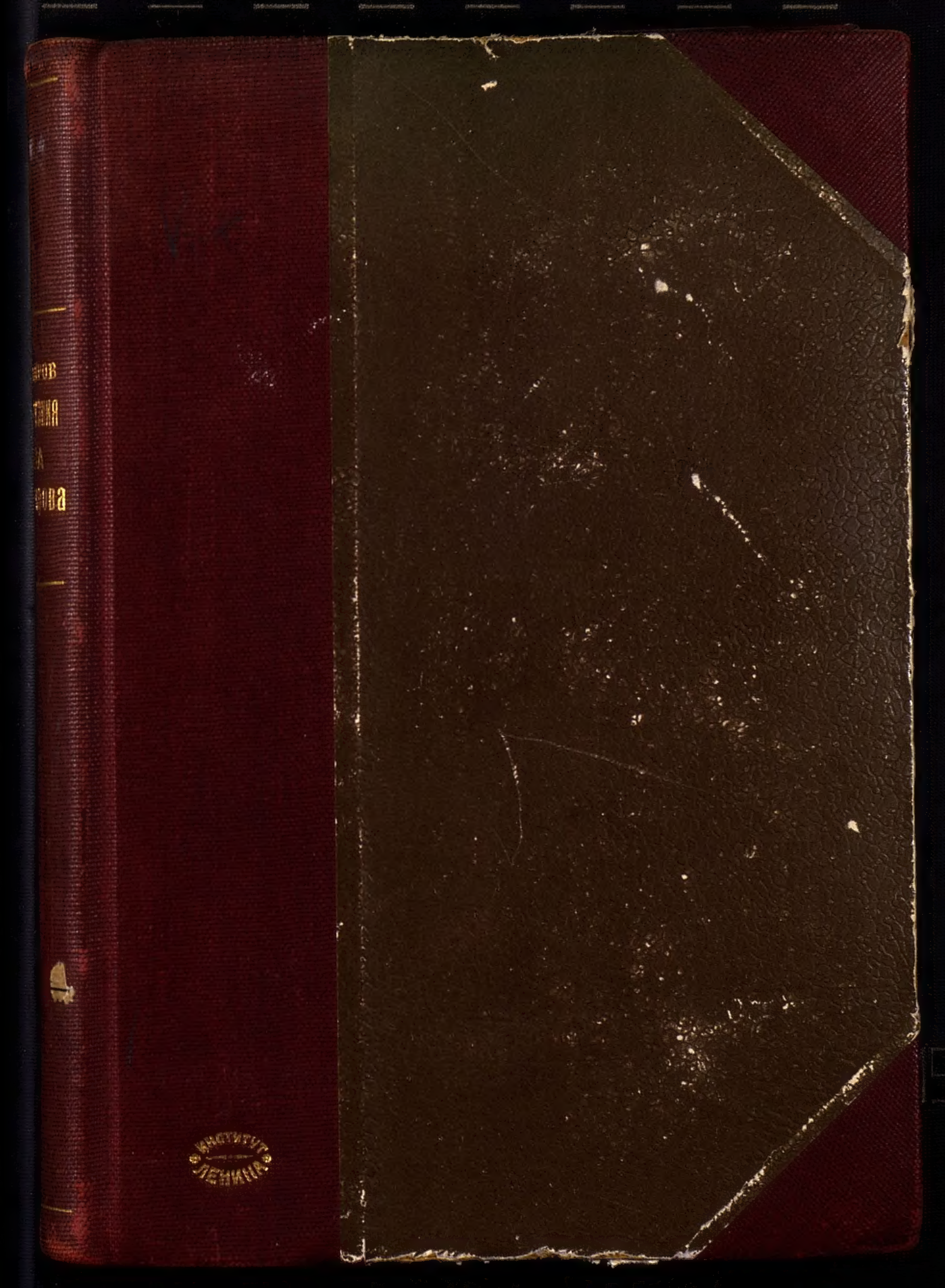
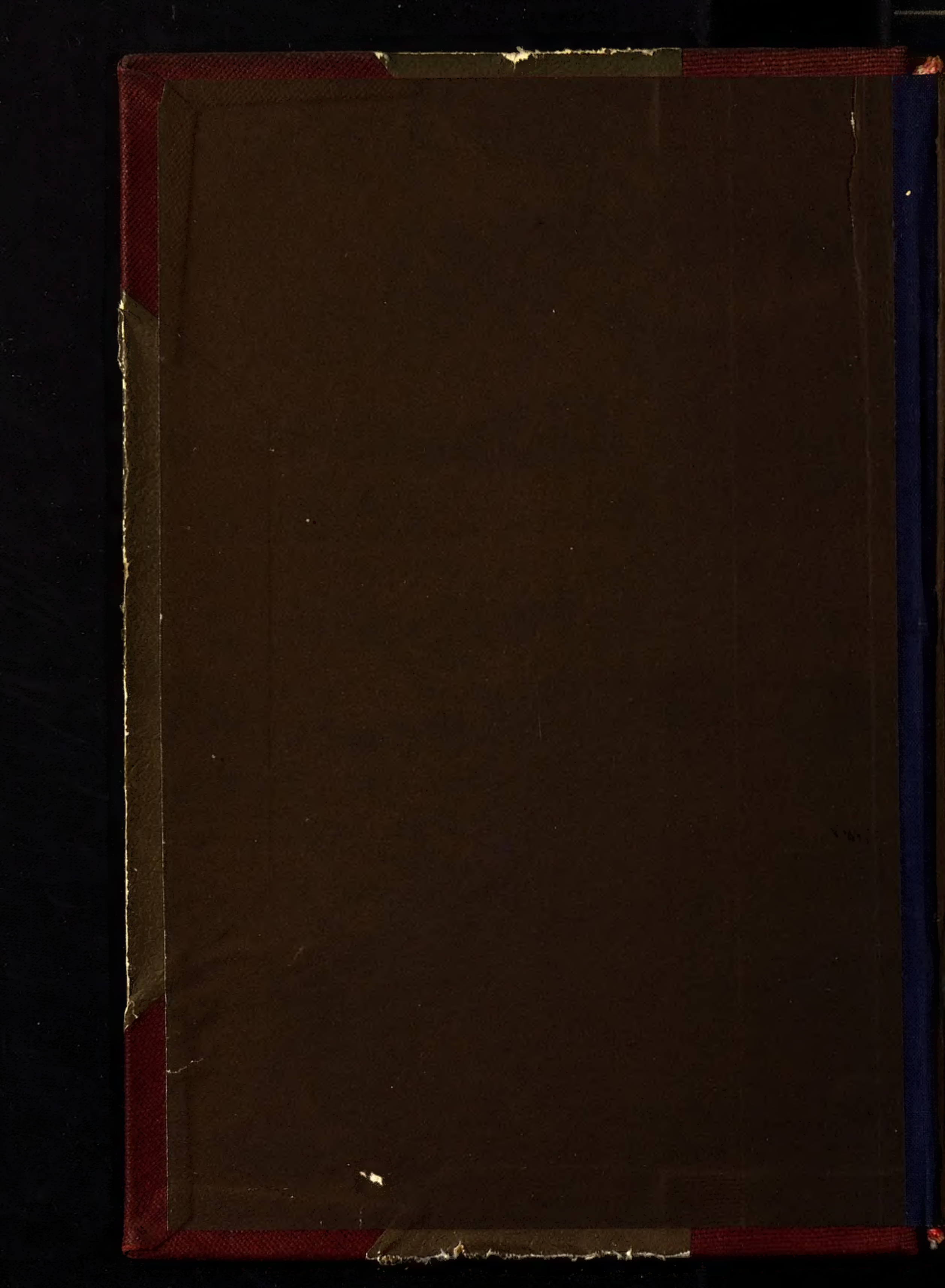

ИНСТИТУТ
ЛЕНИНА





ЦЕНТРАРХИВ

ГЕ14б
Т 592

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЬВА ТИХОМИРОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ЦЕНТРАРХИВ РСФСР

Аграрный вопрос в совете министров (1906 г.). Материалы по истории крестьянских движений в России. Вып. IV. Под ред. Б. Б. Веселовского, В. И. Пичета и В. М. Фриче. Стр. 177. Ц. 1 р. 20 к.

Декабристы. Сборник отрывков из источников. Составил Ю. Г. Оксман при участии Н. Ф. Лаврова и Б. Л. Модзалевского. Стр. 484. Ц. 2 р. 75 к.

Дневник П. А. Кропоткина. С предисловием А. А. Борового. Стр. 291. Ц. 1 р. 50 к.

Дневник В. Н. Ламздорфа (1886 — 1890). (Мемуары и дневники царских сановников). Под редакцией и с предисловием Ф. А. Ротштейна. Стр. X + 396. Ц. 3 р.

Допрос Колчака. Под редакцией и с предисловием К. А. Попова. Текст подготовлен к печати и снабжен примечаниями М. М. Константиновым. Стр. XI + 236. Ц. 1 р. 50 к.

Достоевская, А. Г. Воспоминания. Под ред. Л. П. Гроссмана. Стр. 310. Ц. 3 р. 75 к.

Из архива Достоевского. Письма русских писателей: Голенищева-Кутузова, Гончарова, Григоровича, Достоевского, Мельникова-Печерского, Некрасова, Островского, Плещеева, Полонского, Помяловского, Рыбникова, Салтыкова, Тургенева. Заметки А. Г. Достоевской. Редакция и вступит. статья Н. К. Пиксанова. Комментарии Н. Ф. Бельчикова и Н. К. Пиксанова. Стр. 138. Ц. 50 к.

Крестьянское движение 1902 года. Материалы по истории крестьянских движений в России. Вып. III. Под редакцией Б. Б. Веселовского, В. И. Пичета и В. М. Фриче. Стр. 128. Ц. 50 к.

Материалы для биографии М. Бакунина. По архивным делам б. III отделения и морского министерства. Редакция и примечания В. Полонского. Том I. Стр. 438. Ц. 3 р.

Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в мемуарах и переписке членов царской семьи. Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. Стр. 248. Ц. 3 р.

Партизанское движение в Сибири. Том I. Приенисейский край. Материалы подготовлены к печати А. Н. Туруновым. Под редакцией и с предисловием В. В. Максакова. Стр. 295 + XV + 1 карта. Ц. 2 р. 50 к.

Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894 — 1914 г.г. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. 198 + 14 (нен.). Ц. 1 р. 50 к.

Переписка Николая и Александры Романовых. 1914 — 1915 г.г. Том III. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. 512. Ц. 5 р.

Переписка Николая и Александры Романовых. 1916 г. Том IV. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. 440. Ц. 4 р.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА

ЦЕНТРАРХИВ

Тихомиров, Лев Александрович.

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЬВА ТИХОМИРОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ
В. И. НЕВСКОГО

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
В. Н. ФИГНЕР



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1927 ЛЕНИНГРАД

К.
84
П



ГЕ 146
Т 592
Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
24687
66046.
66046

Гиз № 10613/л
Ленинградский Гублит № 21516
$34^{3}/_{4}$ л. Тираж 4000

ГЕРОЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕЗВРЕМЕНЬЯ.

I.

«Тихомиров, — говорит В. Н. Фигнер, — бесспорно занимал видное место в революционных организациях: до 1882 г., когда он уехал за границу: он имел 10-летний революционный стаж, из которого 4 года провел в тюрьме в ожидании суда над 193-мя, и вышел из этого искуса с честью. После процесса, как бывший чайковец и автор «Сказки о четырех братьях», он, в 1878 г., был охотно принят в члены общества «Земля и Воля», сотрудничал в органе того же имени, а после ареста Клеменца главенствовал в нем. Когда в центральной группе общества, в Петербурге, наметилось расхождение по вопросу об активной борьбе с правительством, он солидаризировался с Зунделевичем, Морозовым и Александром Михайловым, входил в тайную группировку внутри «Земли и Воли» и, как ее член, участвовал в Липецком съезде, этом зачатке будущей «Народной Воли». Когда же общество разделилось на «Черный Передел» и «Народную Волю», Тихомиров стал членом «Исполнительного Комитета», дал окончательную редакцию программе новой партии и сделался главным редактором партийного органа. В осуществлении актов борьбы с самодержавием Тихомиров участия не принимал: у него не было темперамента для этого, и он не принадлежал к тем, которые по нравственным мотивам личным участием хотели «слово» воплотить в «дело». Но как член «Исполнительного Комитета» при обсуждении этого рода дел Тихомиров никогда не подымал своего голоса против, а, как член «Распорядительной Комиссии», наравне с другими, добросовестно исполнял все обязанности, и если позднее был освобожден от них, то это было с общего согласия — в интересах литературной работы».*)

*) Просим извинения у читателя за эту длинную выдержку из печатаемой здесь же заметки, но нам хочется начать с характеристики Тихомирова, данной именно виднейшим народовольцем, хорошо его знавшим.

Эти слова принадлежат компетентному члену «Народной Воли», теперь, спустя почти 40 лет после ренегатства Тихомирова, sine ira et studio обсуждающему вопрос о том, в силу каких причин произошло это падение.

Бесспорно, огромное значение имели и духовное происхождение Тихомирова, традиции духовной среды, в которой он вырос, традиции, несомненно заронившие в его душу еще в раннем детстве зерна верований, которые потом, под влиянием особых обстоятельств, расцвели таким пышным цветом; бесспорно и то обстоятельство, что никаких твердых знаний, которые бы с силою железных законов природы приводили к неизбежности одного решительного вывода, — революционного разрешения общественных противоречий, у него не имелось; бесспорно, наконец, и то, насколько об этом можно судить и по словам самого Тихомирова и по свидетельству его товарищей, что психологически и морально он не принадлежал к той группе народовольцев, которая немедленно превращала свое «слово» в «дело». Все это бесспорно, как бесспорно и то, что, ставши ренегатом, ханжей, монархистом, соратником Грингмута и охранителей, Тихомиров в своих воспоминаниях неправильно, неверно, как в кривом зеркале, отражает свое прошлое и прошлое своих товарищей. Все это так, но несомненно также и то, что только этим — происхождением, средой, воспитанием, темпераментом, одной моралью и психологией — такого падения, такого ренегатства как тихомировское, объяснить нельзя. Главное, повидимому, не в этом. Мало ли было среди народовольцев и землевольцев людей и из духовного, и из помещичьего, и из чиновничьего звания, из рабочей или крестьянской среды, людей и мало образованных и переживших в прошлом период религиозных увлечений и однако не изменивших «старому знамени»? Мало ли было людей, получивших блестящее образование и однако постепенно отошедших от «Народной Воли»? Не объяснить ренегатства Тихомирова и его принадлежностью к интеллигенции, ибо мы знаем поразительные примеры и среди революционеров-рабочих, примеры, когда конец всей революционной деятельности так не вяжется со всем ее предшествующим периодом: достаточно вспомнить факт подачи прошения о помиловании таким виднейшим и честнейшим революционером, как, напр., Обнорский.

Очевидно, дело здесь сложнее, глубже; очевидно, причины такого явления, как ренегатство крупнейшего деятеля «Народной Воли», ее в некотором роде теоретика, автора партийной программы, лежат в самом ходе вещей эпохи, тем более, что Тихомирова ни в каком случае нельзя назвать ни провокатором, ни мелким предателем, ни человеком, изменившим ради выгоды и положения. Как будто бы все говорит за то, что, переходя на службу к самодержавию, Тихомиров не запятнал себя фактами предательства и выдачи своих старых товарищей. Положим, самый факт ренегатства достаточно большое предательство; положим, Тихомиров скоро, очень скоро преуспел и на новом поприще (человек он, несомненно, был крупный); положим, уже одним своим переходом на царскую службу, не говоря уже об его идейной, писательской работе в защиту монархизма, он принес огромный вред революции. Однако, Тихомиров не Дегаев, не Гольденберг, не Азеф, не Малиновский. Тихомиров — особая оригинальная и, скажем наперед, очень характерная фигура революционного движения в России 80-х годов. Поэтому, чтобы объяснить причины ренегатства Тихомирова, необходимо хотя бы вкратце напомнить читателю о том ходе вещей, какой характеризует как раз те годы, на которые падает расцвет народовольческой деятельности. Для этой характеристики прежде всего обратимся к той оценке, какую давали сами борющиеся и прежде всего народовольцы.

Как известно, народовольцы, следуя по стопам народников, отрицали то мнение, что в России возможно развитие капитализма и образование такой буржуазии, которая представляла бы могущественную классовую силу. Заявления подобного рода делались неоднократно; об этом писал и Михайловский, и сам теоретик «Народной Воли» Тихомиров.

Последний уже накануне больших стачек пролетариата центральной промышленной области писал по поводу замечаний соц. демократов о возрастающей силе русской буржуазии: «... Какими средствами, какими силами буржуазия может захватить власть и удержать ее? Численно ничтожная, нравственно разрозненная, экономически слабая, — какими чудесными способами она может стать во главе государственного правления?».*)

*) «Вестник Народной Воли» № 2, стр. 249. 1884 г. Женева. «Чего нам ждать от революции?».

Это писалось в 1884 году, а за четыре года до этого другой теоретик народничества, Михайловский, в своих известных «Политических письмах социалиста» в «Народной Воле», где писал и, самое главное, который редактировал не кто иной, как сам Тихомиров, поучал народовольцев, сомневавшихся в существовании и значении русской буржуазии: «... Сорвите эту когда-то пышную, а теперь изъеденную молью порфиру и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазию. Она не отлилась в самостоятельные политические формы, она прячется в складках царской порфиры, но только потому, что ей так удобнее исполнять свою историческую миссию расхищения народного достояния и присвоения народного труда»... «... Деревенскому кулаку нужна эманация самодержавного царя — самодержавный исправник, чтобы закрепощать голытьбу. Фабриканту нужна такая же эманация, чтобы перепороть стакнувшихся рабочих. Европейской буржуазии самодержавие — помеха, нашей буржуазии — оно опора». *)

Так писал Михайловский, думавший, как и Тихомиров, что революцию может и должна совершить интеллигенция; жизнь, однако, заставляла и его констатировать, что то, что по народнической теории должно было быть слабым и хилым, именно русская буржуазия, было и не слабо и не хило и благополучно развивалось и преуспевало в мягких складках царской порфиры.

Но Михайловский, как известно, был, человеком, далеко стоящим от поля битвы; его взгляды, хотя и выраженные на страницах официального органа партии, не могут считаться общепризнанным мнением этой партии, поэтому обратимся к этому официальному партийному мнению. Ровно через год, в той же «Народной Воле», в которой печатались письма Гроньяра, т.-е. Михайловского, именно в № 6 журнала (от 23 октября 1881 г.) в передовой статье, повидимому принадлежащей перу Тихомирова, **) такими словами характеризовалась русская буржуазия:

*) «Народная Воля» №2, 1 окт. 1879 г. — Перепечатано в кн. «Литература соц. революц. партии «Народной Воли». Изд. партии соц. революц. 1905 г., стр. 89 — 90.

**) Тихомиров в это время еще жил в России и, хотя находился в провинции, не порывал связей с редакцией журнала.

«Мы присутствуем при самом разгаре борьбы между народным, общинно-социалистическим строем и государственно-буржуазным. Мы не касаемся спорного вопроса о том, возможно ли в России капиталистическое производство. Несомненно во всяком случае, что худшая, средняя сторона капитализма, т.-е. закрепощение труда и разобщение его от владения орудиями труда, — у нас не только возможно, но составляет главную тенденцию того строя, который считается официальным, законным». *)

Говоря далее о том, что государство изо всех сил помогает буржуазии и изо всех же сил разоряет и угнетает крестьянина, автор статьи, однако, утверждает, что ни буржуазия, ни крестьянин самостоятельно, без помощи государства (самодержавного или народного) победить друг друга не могут. Буржуазия слаба, но и народ слаб, при чем все же первая сильнее народа, «Эксплуататорские элементы успели приобрести такую власть захватить в свои лапы такие капиталы, такие области народного труда, что мужицкий строй жизни может восторжествовать и развиться до своих логических выводов только в том случае если закон и общие государственные мероприятия будут за мужика»... «... Если государственная власть останется в руках Разуваевых, — то мужицкий общественный строй будет с течением времени окончательно искоренен. Если государственная власть останется в руках Разуваевых, — то ей придется вступить в упорную борьбу с Разуваевыми». **)

Стоит ли говорить о том, что и в легальной народнической прессе 80-х годов неумолимый ход вещей заставлял людей, не склонных признавать учение Маркса, волей не волей констатировать торжество российского капитализма.

Возьмем для примера хотя бы «Очерки русской жизни» Н. В. Шелгунова, друга Михайловского и большого приятеля Л. Тихомирова. Незадолго до падения этого последнего Шелгунов (в 1886 году) вынужден был сознаться, что «пролетариат земледельческий и фабричный стал теперь у нас таким же экономическим явлением, как и в Европе; он только не достиг еще до подобного же напряжения, но, как показывают факты, достиг-

*) «Народная Воля» № 6, 23 окт. 1881 г. — «Литература соц. револ. партии «Нар. Воли». Изд. партии соц. рев. 1905 г., стр. 411 — 412.

**) Там же, стр. 412.

нет и этого, потому что он не убывает, а растет». *) А так как ни промышленный, ни сельский пролетариат не мог расти без своего антипода — буржуазии и, стало-быть, без того процесса, который носит название капиталистического хозяйства, то ясно, что сколько бы ни толковали народники и народовольцы о силе социалистических идей в обществе, сами-то эти идеи претерпевали какое-то поразительное изменение. Можно было, конечно, писать что угодно о том «мире мерзости и запустения», о котором писал Тихомиров по поводу убийства Судейкина, можно было призывать каких угодно орлов, которые должны были расклевать труп самодержавия, но факт оставался фактом: самый-то «мир мерзости и запустения» вызывался какими-то независящими от «Народной Воли» причинами.

Уже в тот самый момент, когда Тихомиров писал о «мире мерзости и запустения», «Народной Воли», прежней могучей и грозной «Народной Воли», не существовало, и не был далек от истины Тихомиров, когда писал в своем дневнике 24 октября 1884 г.: «Сильно сдается, что это конец, конец и, на очень долгое время, в течение которого, конечно, десять раз успеет погибнуть от истощения сил и журнал. Значит и этой мечте конец».

Действительно, те самые орлы, о которых мечтал Тихомиров, не только не терзали трупа самодержавия, а как раз наоборот погибали, зараженные ядом гангрены, поразившей некогда могучую организацию.

Но дело было совсем не в том, что мало находилось орлов: их было еще очень много и их трупы еще очень долго устилали многострадальный путь русского освобождения; дело было в том, что тот самый процесс капиталистического развития, от которого отмахивались и все народовольцы и сам их теоретик Тихомиров, вызывал новые условия жизни, новые силы, новые настроения, неблагоприятные для успешной деятельности и осуществления целей, поставленных себе «Народной Волей».

Орлы были, но той силы, без которой и орлы ничего не могли сделать, — сочувствующей и готовой на все интеллигенции, как и сочувствующих народовольцам народных масс, не было.

---

*) Сочинения Н. В. Шелгунова, т. III, стр. 314. Изд. 3-ье.

Капитализм делал гигантские успехи и, делая эти успехи, разбивал, разъединял, еще более дифференцировал русское общество и дотоле, правда, уже неоднородное. Но то, что еще так недавно, напр., в 70-е годы, казалось единым и сплоченным, теперь, в 80-е годы, стало разнородным и пестрым; вернее, теперь те, кто хотел видеть, под ударами беспощадной реакции вдруг увидели, что в результате отрицавшегося ими капиталистического развития уже создалось новое классовое общество, где даже и единой интеллигенции давно не существует.

«На интеллигенцию, — писал Шелгунов почти как раз в то время, когда Тихомиров взывал к орлам этой интеллигенции, — также нельзя надеть одну общую шапку, как и на народ, и, может-быть, нигде обобщение так не ошибочно, как в игре с понятием «интеллигенция». У нас чуть ли не столько интеллигенций, сколько считающих себя образованными. Какие внешние и какие внутренние причины интеллигенции, где она начинается, где она кончается?

«Даже образование не всегда служит ее внешним признаком. Духовенство, например, никогда не берется в расчет, когда говорят об интеллигенции. Есть еще целое среднее сословие арендаторов, управляющих, мелких собственников, учителей народных школ, тоже грамотных и читающих и выписывающих газеты, кончающих и школу, которые не считаются в рядах интеллигенции. Про купцов, лавочников, Охотный ряд и говорить уж нечего, хотя и к ним проникла и грамотность, и газета». *)

Но если дело обстояло так, что и интеллигенций было несколько, то спрашивается, из какого же слоя этой интеллигенции должна была выбирать «Народная Воля» своих орлов? В каком слое интеллигенции выростали они? Этот вопрос было нужно задать себе, ибо дистанция между интеллигентом князем Кропоткиным и интеллигентом из Охотного ряда или между дочерью мелкопоместного разорившегося дворянина и студентом, сыном коммерции советника, была огромная.

«А между тем, — продолжает Шелгунов, — все эти низы русской цивилизации участвуют так или иначе в русской общественной жизни; они дают ей цвет, направление, даже известный строй;

---

*) Сочинения Н. В. Шелгунова, т. III, стр. 194.

они, может-быть, главные участники в том мнении, которое сама о себе составляет Россия и какое о ней составляют европейцы. На эту низину опирается даже власть и считается с нею внутренняя и внешняя политика. Одним словом, несомненно, что наше среднее нечто вносит в русскую жизнь большой вклад, составляет переходную ступень к интеллигенции и задает ей не только большую работу, но и становится иногда так поперек жизни, что тормозит всякое движение». *)

Делает большую честь проницательности Шелгунова, что он сумел разглядеть и новую жизнь и новые силы, на которые опиралась власть и которые даже тормозили движение, желательное сердцу народника.

Мы понимаем теперь, какие новые силы разглядел Шелгунов — буржуазию, крупную, среднюю и мелкую, и пролетариат, и какие процессы в русской жизни, зависящие от этих сил подмечал он.

Какие же изменения, по мнению Шелгунова, принесли эти новые силы в ту сферу, которую и он, и все народники и народовольцы, называли интеллигенцией и откуда они ждали полета орлов? Прежде всего разочарование в деятельности интеллигенции и затем «умственное неблагополучие» и неудовлетворенность русского общества.

«Что за странная вещь: тысячу лет мы работали, чтобы создать себе интеллигенцию, а когда она явилась, мы ее прокляли. Одни прокляли ее потому, что она не устроила для России садов Семирамиды; другие, желая быть последовательными, прокляли самые источники, ее создавшие, — науку, знание; третьи прокляли свою молодость и «заблуждения», а вместе с ними и тех, кто этих, потерявших свою молодость, людей заставил и научил думать; четвертые — упали духом и, подавленные несокрушимыми препятствиями, сжались и признали себя неудачниками и лишними. Бодрость духа и самообладание сохранили очень немногие. Эти-то немногие и составляют те два враждебные лагеря, в борьбе которых сосредоточивается вся наша теперешняя внутренняя идейно-общественная жизнь». **)

---

*) Сочинения Н. В. Шелгунова, т. III, стр. 194.

**) Там же, стр. 325.

В результате такого разочарования, по мнению Шелгунова, и получилось «умственное неблагополучие», а в результате всего этого появился новый тип людей. Что же это за люди: что это за тип? «Он не пародирует, не шумит, не ораторствует, не выдается, — скорее он прячется и маскируется и только в минуты откровенности обнаруживает свое нутро. И маскируется не из неуверенности в себе, а потому, что боится, чтобы его не перетолковали. Тип этот — настоящий интеллигентный тип человека усомнившегося». *)

Мы понимаем, что во всех только-что приведенных словах очень вдумчивого наблюдателя жизни 80-х годов, смотревшего на борьбу «орлов» несколько издалека, из тиши кабинета, отражается картина той реакции, которая охватила все общество, состоявшее из пролетариев, мелких собственников, арендаторов, управляющих, купцов и всех прочих категорий, присущих любому развивающемуся капиталистическому обществу. Мы понимаем, что и «умственное неблагополучие», и появление типа «сомневающегося» интеллигента, и разочарование в деятельности интеллигенции это только результат реакции, результат развития самого общества.

Но при чем же здесь Тихомиров? Ведь Шелгунов отражает все только-что перечисленные явления, сам не принимая участия в борьбе, а Тихомиров, и за границей сидя, продолжал эту борьбу, хотя и не так непосредственно, как прежде, притом в стане тех самых орлов, к которым он так патетически взывал, описывая «мир мерзости и запустения».

Дело в том, что и сам Тихомиров к тому времени, к которому относится картина, нарисованная Шелгуновым, попал в число новых людей типа «сомневающихся». Тот самый процесс «умственного неблагополучия», о котором пишет русский публицист, захватил и Тихомирова.

Вот что пишет он в своем дневнике под датой 8 марта 1886 г. «...Я окончательно убедился, что революционная Россия, в смысле серьезной, сознательной силы **не существует**... Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться,... но это не буря, а рябь на поверхности моря. Народ страшно измельчал; он спо-

*) Сочинения Н. В. **Шелгунова**, т. III, стр. 191.

собен только рабски повторять примеры былых героев, но совершенно не способен понять изменившиеся условия и выдумать что-нибудь свое. Впрочем, они не принимают даже и у стариков ничего, кроме внешности, техники... Конечно, это не мешает им быть хорошими людьми, но этого в политике мало».

Не касаясь пока того, что Тихомиров, как и большинство его соратников, проглядел новых революционеров, уже нарождавшихся и перенимавших у стариков не только одну внешность (вспомним хотя бы благоевцев), не касаясь этого, мы должны признать, что заключение Тихомирова в общем все же верно: народовольцы конца 80-х годов, действительно, только рабски повторяли отлитые, как из бронзы, образцы героического периода, конечно, даже в малейшей степени не приближаясь к этим образцам; больше того, эпигоны народовольчества и сами были охвачены тем «умственным неблагополучием», о котором говорит Шелгунов.

Что это действительно так, можно видеть из множества свидетельских показаний современников. Ольминский (М. С. Александров), вспоминая те времена, когда он, по приезде в Петербург наблюдал народовольческую среду вскоре после провала Лопатина так описывает настроения, создавшиеся в результате этого неудачного возобновления деятельности «Народной Воли»: «...Конечно, самая роковая ошибка крупнейшего вождя не могла бы убить движения, находящегося в периоде роста. Были более существенные причины и признаки упадка. Верным его показателем было измельчание лозунгов и практических задач. Вместо цельной программы, хотя бы и ошибочной, в отдельных кружках стали выдвигаться отдельные кусочки программы. Появились террористы, не признававшие ничего, кроме террора. Создавались группы, признававшие только военные заговоры или только роль либерального «общества». Явились даже проповедники действия путем исключительного самозванства по образцу Пугачева». *)

Не совпадает ли эта характеристика революционных деятелей времени упадка «Народной Воли» с той характеристикой Тихомирова, которую мы привели выше, и с тою картиною, какую мы находим в словах Шелгунова?

---

*) От группы Благоева к «Союзу борьбы» (1886—1894 гг.). Госизд. Донск. отд. 1921 г., стр. 70.

Невиданная реакция охватила все общество и выразилась в наиболее развитых слоях тем «умственным неблагополучием», которое и доводило одних людей до Пугачева, а других — до признания всей своей деятельности ошибочной. К числу последних принадлежал и Тихомиров.

II.

Однако, мало констатировать этот факт. Необходимо понять, в силу каких начал и оттенков своего политического credo Тихомиров попал именно в лагерь разочаровавшихся: ведь, не говоря уже о тех, что честно сложили свои головы в бою, не говоря и о тех, что были заточены в каторжные казематы, где свято оставались верными своим старым знаменам, не мало было и таких, что, убедившись в бесплодности старых методов борьбы, искали новых и также честно складывали свои головы в этих новых попытках.

Обратимся, поэтому, к политическому credo Тихомирова и посмотрим, не находятся ли уже там в зародыше те элементы, развитие которых привело его к отрицанию своих прежних взглядов.

Л. Тихомиров, этот, по словам В. Н. Фигнер, признанный идейный представитель, теоретик и лучший писатель партии «Народной Воли», писал, действительно, много, блестяще и остроумно, а, главное, он был автором важнейших документов, исходивших от имени партии. К числу таких важнейших документов партии относится ее программа, которой, по словам В. Н. Фигнер, Тихомиров дал окончательную редакцию. Принимать участие в выработке программы и дать ей *окончательную редакцию*, это, в сущности говоря, быть автором этой программы и уже во всяком случае так или иначе выразить свои взгляды в такой программе.

Обращаясь к программе Исполнительного Комитета партии «Народной Воли», мы видим, что, исходя из чисто народнических основ утопического социализма, будто, в народе живут «старые, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федеративного устройства, свобода совести и слова, и будто в результате свержения

самодержавия «в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие чисто социалистические принципы, общие нам и народу», исходя из этих положений, народовольцы считали ближайшим средством к достижению поставленной себе цели созыв Учредительного Собрания в результате отнятия власти у царя насильственным путем. Программа-минимум, провозглашавшаяся народовольцами, отличалась от программы-минимум любой социалистической партии тем, что требовала: 1) принадлежности земли народу, т.-е. социализации земли, 2) системы мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики, т.-е. социализации средств и орудий производства и 3) самостоятельности мира, как экономической и административной единицы. *)

Пропаганда и агитация, политический террор, организация тайных обществ среди интеллигенции, рабочих, крестьян и войска должны были в конечном счете увенчаться переворотом, захватом власти, свержением самодержавия и созывом Учредительного

---

*) Чисто народнические взгляды по вопросу экономическому, именно о русской общине, развиты Тихомировым как в его главнейших программно-политических статьях («Чего нам ждать от революции?», «Запросы времени» и т. п.), так и в его французских работах: La Russie politique et sociale». Paris, 1886 и 1888 (во втором изд. в третьей книге этой работы; Livre troisième, Les classes sociales en Russie. Le peuple, стр. 99—146 и сл.) и в статье «L'évolution de la Commune agraire en Russie», «Journal des Economistes», Revue de la Science économique et de la statistique. Paris, 1887, № 3, Juin, стр, 344—367.

Добросовестно излагая господствовавшие в его время взгляды русских ученых о развитии русской крестьянской общины (Чичерина, Ефименки и т. п.), сам Тихомиров не высказывает никаких оригинальных мнений. Этапы развития русской общины Тихомиров, в конце концов, формулирует так:

1. Commune familiale, émanée selon toute probabilité de l'époque ou le clan meurt grace à l'avenement de l'agriculture, du commerce et de l'Etat;

2. Commune de lots; qui provient de la composition de la commune familiale et qui donne parfois naissance à la propriété individuelle et parfois à la:

3. Commune égalitaire ou commune de mir; cette forme dernière nait au moment où la commune éprouve la disette de terres, et sous la condition d'un large self-gouvernement, des assembles communales. («Journal des Economistes», 1887, juin, № 3.)

Собрания. Стало-быть, политическая борьба, в результате которой на месте свергнутого самодержавия должен быть установлен конституционный режим, — вот что существенно отличало народовольцев от революционных народников 70-х годов. Путем ли самостоятельной революции или путем заговора происходит переворот, все равно, по мысли народовольцев, образуется временное революционное правительство, которое и передает власть Учредительному Собранию.*) Борьба за конституцию — так можно кратко формулировать главное отличие народовольческой программы от программы «Земли и Воли».

Правда, Тихомиров говорил, что «не конституции, а народной власти» должна добиваться партия.**) За всем тем, мы во многих статьях Тихомирова можем найти недвусмысленные указания на то, что он, как только подходил к анализу действительности, не только не сбрасывал со счета чистых борцов за конституцию, но и прямо призывал их к совместной борьбе. В номере первом «Вестника Народной Воли», т. е. еще в 1883 году, в статье «Новое царствование», издеваясь над умеренностью и аккуратностью либеральных земцев, Тихомиров в то же время так оценивает роль земства в борьбе с самодержавием: «Земство ясно показало, что его услуги правительство должно еще купить, и хотя без сомнения очень дешево, но все-таки ценой непременно политических уступок. Стало-быть, для правительства, которое пожелало бы расплачиваться старою монетою высочайших благоволений, знаков отличия и кредитных бумажек, земство оказывалось, по меньшей мере, очень плохой опорой».***)

Прямым призывом на борьбу звучат следующие слова Тихомирова: «.... Я обращаюсь вовсе не специально к людям своей партии. Прежде чем быть народовольцем, я социалист и революционер. Все социалисты-революционеры — наши товарищи. Все они возможные члены нашей партии. Их отсутствие в наших рядах составляет печальное явление, которое убежденный народолец не может не считать временным. Но я обращаюсь даже

*) См. «Программа Исполнительного Комитета» в сб. Литература соц.-революц. партии «Нар. Воля» 1905 г., стр. 162—166.

**) См. «Вестник Нар. Воли» № 2, стр. 261 — статья Л. Тихомирова «Чего нам ждать от революции?»

***) «Вестник Нар. Воли». № 1 за 1883 г., стр. 41—42.

и не только к социалистам-революционерам, а ко всем русским людям, которым истина, свобода и интересы народной массы дороже всего на свете... ...Каждый искренний сторонник трудящейся массы не находится в наших рядах только по недоразумению, и ко всем таким людям я обращаюсь, говоря о задачах нашего времени, разумеется в тех условиях, которые представляет наша страна».*)

К кому же обращен этот призыв? Ко всем честным русским людям. Но если так, то почему исключать из их числа и тех честных либералов, «которым истина, свобода и интересы народной массы дороже всего на свете»? Несомненно и либералов, несмотря на все громы, какие метали в них и народовольцы и соц.-демократы, из этого числа исключать нельзя. Не исключали их, как известно, из этого числа в эти времена и соц.-демократы и, как известно, точно так же, как Тихомиров призывали в ряды своей партии. Так, напр., П. Б. Аксельрод в своей брошюре, написанной уже после ренегатства Тихомирова, «Задачи рабочей интеллигенции в России» говорил о создании одной социалистической рабочей партии, «в состав которой будут входить все действительные друзья трудящихся классов населения», и призывал всех честных русских людей помогать такой партии, входя в ее кружки.**)

В те отдаленные времена, как теперь известно, так думал даже Плеханов.***)

Но почему же могли раздаваться такие призывы ко всем честным русским людям и, конечно, в том числе к либералам со стороны непримиримого Тихомирова? О причинах такого явления мы находим разъяснение все в том же органе «Народная Воля», редактором которого был Тихомиров. Все тот же Гроньяр, т.-е. Михайловский, в своем втором «политическом письме социалиста» так разъясняет дело: «Союз с либералами тоже не страшен, если вы вступите в него честно и без лицемерия объявите им свой девиз «Земля и Воля». Они к вам при-

---

*) «Вестник Нар. Воли» № 4, стр. 235—236, 1885 «Запросы времени».

**) «Задачи рабочей интеллигенции в России». Женева, 1893, стр. 15—16. Первое изд. 1889 г.

***) См. «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода». М., 1925. Т. I, стр. 64—65, письмо от 1889 г., где Плеханов одобряет Аксельрода.

станут, а не вы к ним. В практической борьбе безумно не пользоваться выгодами союзов, хотя бы случайных и временных. И, признаюсь вам, я думаю, что *многие либералы гораздо к вам ближе, чем вам кажется.* Они были бы еще ближе, если бы ясно понимали особенности условий русской жизни». *)

Тихомиров, как редактор, не мог бы пропустить статьи с такими взглядами, если бы он сам их не разделял. Да, он действительно и разделял такие взгляды на одно и то же существо программы либеральной и народовольческой. Доказательство налицо.

В своей книге, изданной во Франции в 1886 году «La Russie politique et sociale», говоря о русских либералах и об их программе, Тихомиров далее выражается так: «Leur ideal c'est une société organisée sur les bases de la liberté et du self-governement, formée de personnalités développées, libres, égales dans leur droits, ayant une position matérielle garantie par une organisation économique régulière. Si, aprés cela, nous examinons les programmes du parti socialiste, il nous sera très difficile de tracer une limite nette entre les idées de ce parti et cèlles du parti liberal. La difficulté augmentera encore si nous faisons plus d'attention à ce qui se dit entre socialistes qu'aux programmes publiés. Ordinairement, dans leur jargon familier, les socialistes se donnent le nom de radicaux, et par leurs idées ils se rapprochent réelment beaucoup des radicaux». **) Далее Тихомиров приводит выдержку из программы Исполнительного Комитета и резонно замечает, что как либералы, так и радикалы признают одну и ту же программу с тою только разницей, что радикалы-народовольцы надеются сразу и в ближейшее время добиться этой программы, возлагая надежды на Учредительное Собрание, а либералы, возлагая надежды также на Учредительное Собрание, полагают, что осуществление этой программы сразу невозможно и требует более длительного времени. («Une énorme majorité de nos libéraux n'aurait qu'une observation à faire sur ce programme: il ne

---

*) «Народная Воля» № 3, 1 января 1880 — «Литература соц.-революц. партии «Нар. Воли», 1905, стр. 174. Курсив наш. *В. Н.*

**) «La Russie politique et sociale». Paris, 1888, p. 406 — 407. Курсив наш. *В. Н.*

Институт ... Ленина при Ц.К. В.К.П.(б)

peut être realisé d'un coup, et en conséquance, il est superflu de mettre en avant toutes ces axigences»). *)

По словам Тихомирова в конце 70-х годов революционеры-радикалы, за немногими исключениями, усиленно поддерживали мысль о создании партии всенародной.

«Для свержения правительства необходимо иметь непосредственную поддержку либералов, армии и рабочих, следовательно, необходимо создать, так сказать, партию всенародную. Таким образом, в этот период времени в русской революционной среде вновь нарождается сознание необходимости союза между всеми оппозиционными элементами подобно тому, который был разрушен 20 лет тому назад; но и теперь среди самих революционеров-террористов раздаются голоса, не согласные с этой точкой зрения партии, которые образовали ей некоторую оппозицию. Однако, эта мысль о союзе, хотя и несколько ослабленная указанной оппозицией, придала новой партии на некоторое время неслыханную дотоле силу». **)

Думается, что, стоя на такой точке зрения, т.-е. признавая, что по существу нет никакой разницы между партией народовольцев и либералов, Тихомиров рано или поздно мог сказать: довольно террора, ведь террор только средство, применение которого зависит от условий времени и места. Он это и сказал в предисловии ко второму изданию своей «La Russie politique et sociale». Его единомышленники увидели в этом измену программе партии, а между тем это было только логическое следствие основных взглядов Тихомирова, следствие, к которому очень скоро пришли и другие народовольцы, ибо ведь не один Тихомиров был радикалом, а все народовольцы и даже такой герой, как Желябов, на что уже давно указал Плеханов.

III.

Все только-что сказанное и подводит нас к пониманию эволюции, пережитой Тихомировым и, стало-быть, к пониманию печатаемых его дневников и воспоминаний.

---

*) «La Russie politique et sociale», Paris, 1888 г., p. 407—408.

**) «Le conspirateurs et policieurs». Цитирую по русскому переводу. «В подполье. Очерки из жизни русских революционеров 70—80-х годов». Спб., 1907, стр. 7—8.

Об этой эволюции много писали бывшие соратники и друзья Тихомирова, но никто вернее двух деятелей революции не определил сущности этой эволюции: Плеханова и Ленина.

Понятно почему. Плеханов потому, что, будучи соратником Тихомирова, очень скоро понял ложность основных исходных точек зрения народнического мировоззрения. Ленин потому, что, не будучи соратником Тихомирова, тоже как марксист взглянул на эволюцию народничества. Бывшие друзья и товарищи Тихомирова, оставшиеся верными старым заветам, не склонившие головы пред врагом, не могли, оценивая ренегатство Тихомирова, выйти из рамок психологии, ибо ведь и основа их мировоззрения была такая же, как некогда у Тихомирова: они были революционерами-народниками, радикалами и, оставаясь верными старым заветам и не склоняя головы, тоже пережили своеобразную эволюцию.

Плеханов, оценивая книгу Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», книгу, где Тихомиров уже решительно порвал с революцией, такими словами резюмирует свои рассуждения: «Ошибки, лежавшие в основе народнического миросозерцания, достигли в его голове таких колоссальных размеров, что он разве в шутку может называть себя «работником прогресса» (мирного или немирного — это в данном случае все равно). Короче, если народники исходили из некоторых ошибочных положений, то г. Тихомиров, доведя до уродства эти ошибочные положения, счастливо исходит теперь прямо из абсурда». *)

Ленин неоднократно указывал, что история русского освободительного движения характеризуется, начиная с 80-х годов XIX в., эволюцией русских революционеров по двум направлениям: от утопически-крестьянского, мелко-буржуазного социализма налево к социализму научному, революционно-пролетарскому (эту эволюцию проделали группоосвобожденцы, большевики к коммунизму) и от того же утопически-крестьянского, мелко-буржуазного социализма к либерализму (эту эволюцию проделали народники-народовольцы, народоправцы к «Освобождению» и к кадетам и народники-народовольцы, народоправцы, экономисты, меньшевики к социал-шовинизму, демократизму и либерализму).

*) «Новый защитник самодержавия или горе г. Тихомирова». Изд. Марии Малых. Спб., стр. 44.

Было бы излишним рисовать здесь подробно картину этой эволюции, — это задача специальных работ по истории революционного движения, — но выдвинуть на первый план тот факт, на который указывает Плеханов, необходимо: в корне эволюции взглядов Тихомирова, доведшей его до ренегатства, лежат основные ошибки народнического мировоззрения. Если программа «Народной Воли» — это программа радикальной партии и если эта программа по существу ничем не отличается от либеральной программы, как справедливо думал Тихомиров, то вполне естественной становится та эволюция направо, которую проделывали народники и народовольцы в 80-е и 90-е годы: от радикализма «Народной Воли» к умеренности «Народного Права» и окончательному либерализму «Освобождения». Эволюция эта вызывалась тем ходом вещей, о котором сказано выше, той классовой дифференциацией, какую вызывал этот ход вещей. Тихомиров и был жертвой этой эволюции и с этой точки зрения он также слепо шел за ходом вещей, как другой любой народоволец, эволюционировавший вправо, напр., Присецкий. Но если другой любой, хотя и менее талантливый, нежели Тихомиров, народоволец, эволюционируя вправо, не доводил до абсурда свою эволюцию и не плевал на своих старых богов, а Тихомиров, блестящий, талантливый литератор, «теоретик партии» дошел до ренегатства, до «Московских Ведомостей», ханжества и защиты самодержавия, то это уж объясняется личными свойствами.

Но ренегатская деятельность Тихомирова и не интересует нас, хотя в его ренегатской писательской деятельности есть также не мало любопытных черточек.*)

Нам важно было выяснить социальные причины ренегатства Тихомирова и ему подобных. Оно, как видим, объясняется не

*) Интересно, напр., что бывший радикал-революционер, утверждавший тожество либеральных и радикальных программ, в 90-е и 900-е годы занялся травлей . . . либералов, видя именно в них корень зла современности (этому посвящены брошюры Тихомирова: «Начала и концы». «Либералы и террористы». Москва, 1890; «Борьба века». М. 1895. Первая из этих брошюр имеет значение и для истории революционного движения 70-х годов). Любопытны также взгляды Тихомирова и по вопросам рабочего, в частности соц.-демократического движения. См., напр., его статью «Социальные миражи современности» — «Русское Обозрение», 1891, июль, стр. 262 — 308. Здесь он, например, признает даже возможность победы соц.-демократии.

только личными свойствами ренегата, не только наступившей реакцией, а прежде всего тем, что социальная природа партии радикалов, как бы они ни назывались, как бы они революционны ни были, неминуемо, рано или поздно, по мере того как на сцене все больше и больше выдвигался новый носитель революции — пролетариат, должна была вызвать эволюцию вправо к либерализму: ход вещей, неудачи «Народной Воли», наступившая реакция только ускорили эту эволюцию. В эту эволюцию был втиснут и Тихомиров, а личные его свойства и условия его воспитания (духовная среда, отсутствие глубоких знаний и т. п.) доделали все остальное, — превратили его из сомневающегося в ренегата.

С точки зрения этой эволюции и представляют большой интерес дневники и записки Тихомирова. В них нечего, конечно, искать беспристрастия и даже той объективности, которая присуща запискам любого деятеля, не переставшего верить своим старым заветам. В них, в этих часто похожих на бред записках, все почти пристрастие, все негодование, все желание очернить прошлое и обелить свое ренегатское настоящее, но за всем тем и среди этого шипенья и издевательств, благодаря большому публицистическому таланту автора, многое написано, пускай, зло, но ярко, выпукло и красочно. Главная же ценность дневников Тихомирова в том, что они — иллюстрация к тому тяжелому кризису русского революционного движения, который характеризует 80-е годы прошлого века. И роль, какую играл Тихомиров в партии, и публицистический талант, каким он обладал, и наконец, самый факт измены своей партии ее бывшего вождя, — все это заставляет внимательно прочесть часто жалкие, часто отвратительные, но всегда талантливые рассуждения «героя безвременья».

Что же делать: у великих партий даже ренегаты бывают талантливы!

В. Невский.

ПО ПОВОДУ ЗАПИСОК Л. ТИХОМИРОВА.*)

«Заболел психически» или
«Всегда можно было ожидать»?

Не помню точно, но, должно-быть, в начале 90-х годов начальство Шлиссельбургской крепости, не допускавшее в тюремную библиотеку сочинений Горького и, до смерти Чехова, собрания произведений этого писателя, подсунуло нам брошюру Л. Тихомирова: «Почему я перестал быть революционером?».

Хотело ли оно уязвить нас: «Посмотрите на вашего идейного выразителя!», или преследовало практическую цель: «Не пойдет ли кто из вас по тому же пути?» — не знаю; быть может, имелось в виду и то и другое.

Брошюра, конечно, обошла нас и, как в живой России, взволновала и возбудила толки. Обмениваясь мнениями с моим соседом Морозовым, на вопрос, что я думаю о перевороте в Тихомирове, я простучала в стену: «Он заболел психически». — «Этого всегда можно было ожидать», — сухо ответил Морозов. Эти слова удивили меня, и я нашла их несправедливыми.

Действительно, какие данные имелись для такого суждения? Явных — решительно не было. Тихомиров бесспорно занимал видное место в революционных организациях: до 1882 г., когда он уехал за границу, он имел 10-летний революционный стаж, из которого 4 года провел в тюрьме в ожидании суда над 193-мя, и вышел из этого искуса с честью. После процесса, как бывший чайковец и автор «Сказки о четырех братьях», он, в 1878 г., был охотно принят в члены о-ва «Земля и Воля», сотрудничал

---

*) В моих руках были воспоминания Л. Тихомирова (детство, гимназия, университет, кружок Чайковского, «Земля и Воля», «Народная Воля») и дневник с 1882 по 1895 гг.

в органе того же имени, а после ареста Клеменца главенствовал в нем. Когда в центральной группе о-ва, в Петербурге, наметилось расхождение по вопросу об активной борьбе с правительством, он солидаризировался с Зунделевичем, Морозовым и Александром Михайловым, входил в тайную группировку внутри «Земли и Воли» и, как ее член, участвовал в Липецком съезде — этом зачатке будущей «Народной Воли». Когда же о-во разделилось на «Черный Передел» и «Народную Волю», Тихомиров стал членом «Исполнительного Комитета», дал окончательную редакцию программе новой партии и сделался главным редактором партийного органа. В осуществлении актов борьбы с самодержавием Тихомиров участия не принимал: у него не было темперамента для этого, и он не принадлежал к тем, которые по нравственным мотивам личным участием хотели «слово» воплотить в «дело». Но, как член «Исполнительного Комитета», при обсуждении этого рода дел, Тихомиров никогда не поднимал своего голоса против, а, как член «Распорядительной Комиссии», *) наравне с другими, добросовестно исполнял все обязанности, и если позднее был освобожден от них, то это было с общего согласия — в интересах литературной работы.

По каким же признакам можно было провидеть, что Тихомиров обратится в свою противоположность и станет отъявленным реакционером, монархистом и религиозным ханжей?

Правда, жена Тихомирова была человеком неподвижным и любила покой. С тех пор, как у нее родился ребенок, она все реже и реже появлялась на общих собраниях и не несла никакой общественной работы; этим она, как бы молчаливо, вышла из Комитета, но, с внешней стороны, не было видно влияния этого на Тихомирова.

Правда, что после 1-го марта Тихомиров удивлял нас признаками шпиономании, побуждавшей его носить траурную повязку по императору, отправиться в церковь и принести присягу его преемнику, а в Москве кинуться в Троицо-Сергиевскую лавру, чтоб «очиститься» от предполагаемого шпионства на квартире.

*) Эта комиссия из трех, с одной стороны, ведала дела особенно секретные, а с другой — в ее ведении были текущие дела в промежутках между общими собраниями Исполнительного Комитета.

Этому удивлялись, над этим смеялись, но считали не больше как комедией или болезненной подозрительностью, которая пройдет. Да эти факты скорее говорят в пользу моего мнения о психической болезни, о начинавшихся симптомах ее, чем за то, что «всегда можно было ожидать»...

Правда и то, что и по возрасту, и по образу жизни, и роду деятельности нам было несвойственно заглядывать друг другу в душу, и психологи мы были плохие, однако, имели же значение свидетельства старых товарищей Тихомирова: Чарушина и А. И. Корниловой-Мороз по кружку чайковцев, С. Ивановой-Борейшо по «Народной Воле» — что ожидать «превращения» Тихомирова никаких оснований у нас не было.

И теперь, когда столько лет прошло с тех пор, как в Шлиссельбурге я прочла брошюру: «Почему я перестал быть революционером», и предо мной лежат записки и дневники, оставшиеся после смерти Тихомирова, все те же два суждения: «заболел психически» и «всегда можно было ожидать» стоят передо мной, требуя решения, и, перелистывая это литературное наследство, мне то кажется, что прав был Морозов, то, — что права была я.

За Морозова говорит, как мне кажется, все то, что Тихомиров рассказывает о своем детстве, гимназии и университете, включая сюда и его сношения с чайковцами.

Его родословная, — насколько хватала память, — представляла ряд лиц духовного звания: священников и дьяконов; на храмовой праздник в село, откуда родом был его отец, съезжалось до 40 и более лиц этого сословия. *)

Правда, отец не пошел по этой дороге, он воспитывался в духовной семинарии, а затем стал военным врачом. Его мать была экзальтированной в религиозном отношении провинциальной институткой, отличалась набожностью и была склонна к суеверию, а про себя Тихомиров говорит кратко, что был в детстве религиозен. О семейных отношениях, условиях воспитания в записках не сообщается ничего; не отмечено ни одного случая, который ознаменовал бы какой-нибудь этап в духовной жизни его, как ребенка, ни одного «урока жизни», который имел бы

*) На эту родословную читатель должен обратить особенное внимание.

нравственное влияние на него. В девять лет он зачитывается романами, а чуть не с 3-го класса гимназии — «Русским Словом». Писарев становится его любимым писателем: сначала он восхищается его хлесткой, задорной полемикой, а потом начинает «запоминать слова и идеи».

«С таким руководителем» все его детские верования стирались, по его выражению, «в какую-то кашу, растворялись, улетучивались», и у него оставались лишь «суеверия, инстинкты, поэтические грезы». В пятом, шестом и седьмом классах он имеет «вполне республиканские убеждения». И объясняет почему: Он «не слыхал ни единого слова в защиту монархии». «В истории учили только, что времена монархии есть время «реакций», времена республики — эпоха «прогресса». «Во всем, что читал, видел лишь то же самое» — пишет он.

Далее, в гимназии же он — революционер. Что делает его таковым? «Революцию все, всё, что только (он) не читал, у кого не учился, — выставляли некоторым неизбежным фактом»... Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и т. д., — все, что (гимназисты) читали и слышали — все говорило, что мир развивается революциями. «Мы в это верили, — говорит он, — как в движение земли вокруг солнца. Такая же безусловная вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого смутно, очень смутно. Так же мы делались материалистами».

Если Тихомиров не клевещет на себя и если верить ему, то он сделался материалистом, революционером и социалистом совершенно механически, без всякой внутренней работы, без борьбы, без того, чтоб у него возникали какие-нибудь сомнения или недоумения; сделался лишь потому, что кругом все были либерально и революционно настроены; все ругали все порядки, и он заразился чужими идеями, как заражаются тифом или холерой и заболевают не по своей вине, а потому, что вблизи находится очаг заразы. Он социалист как-то непроизвольно, революционер как-то бессознательно, а когда поступил в университет — после двух лет, проведенных в совершенно бессодержательной студенческой среде — и встретился с чайковцами, то вступил в их группу как-то случайно, пожалуй, даже не без внешнего понуждения, но и без внутреннего сопротивления.

Какая-то печать безволия лежит на всем этом, и если это не искажение того, что было в действительности, и если верить личным воспоминаниям автора, становится боязно за будущее этого человека, и Морозов прав, что «можно ожидать».

В одном месте, говоря о студенчестве, Тихомиров высказывается так: молодому человеку «нужно нравственное содержание (разр. Л. Т.), и, чем он неразвитее, тем более легкими путями он должен добыть это нравственное содержание, так как более трудиться ему не по силам».—«И он берет ходячее мнение, берет принципы ему известные, делает из них выводы — работа не трудная. Он не создает своего собственного нервного трепетания, а только открывает душу нервному току толпы. Тут нет работы, а есть только прекращение работы самостоятельной, предоставление себя гипнозу течения».

И далее он говорит: «Ничто из существующего порядка не имело безусловно никаких защитников, сторонников. Было много дураков, ни о чем не думавших, но каждый даже из них, поскольку думал — был против существующего. Идеи были существенно материалистические, республиканские и социалистические, хотя, конечно, никто ничего не понимал толком ни в материализме, ни в республике, ни в социализме. Каждый вполне верил в передовые идеалы и только считалось, что все это будет не скоро».

Эти две выписки, относящиеся уже не к гимназии, а к университетским годам, рисуют эти годы продолжением того же механического безвольного заражения чужими идеями, какими отличался весь предыдущий период жизни автора. Но кому же неизвестно, какую важность имеет время пребывания в университете, когда идет подготовка к реальной работе и жизни, решается вопрос, чем быть в ней, мужает ум и складывает индивидуальность. Но в том-то и дело, что Тихомиров, как он себя рисует, не имел выработанной индивидуальности. В сущности, у него как будто не было ни детства с яркими воспоминаниями и резкими событиями, накладывающими печать на всю жизнь, ни отрочества и юности с ошибками и увлечениями, с борьбой с самим собой и с окружающей средой,—той внутренней жизни, которою вырабатывается личность. Он был, как бы от рождения, «стариком», как его звали у нас в товарищеской среде за старообразный вид, а может быть, и по какой-то интуиции.

Я не нахожу нужным останавливаться на участии Тихомирова в «Земле и Воле» и в «Народной Воле». Его рассказ об этом — документ очень любопытный, но это не исторический материал. — Тихомиров писал об этом, как и о всем предшествующем, уже по возвращении своем в Россию в 1889 г., когда весь облик его изменился, и рассказ не мог не отразить этого: в нем есть ноты искренние, звучащие прежним Тихомировым, но всюду проглядывает маска Грингмута. Разбор такого документа невозможен, потому что каждая страница требовала бы критики, поправки или опровержения. Люди, знающие революционную литературу или интересующиеся ею, могут сами разобраться в этом и правильное отделить от ложного.

Летом 1882 года усталый, с измученной душой, Тихомиров жил в Ростове на Дону, куда с женой и ребенком уехал еще в начале года после того, как народовольческая организация в Москве была совершенно разгромлена.

В психологическом отношении страницы, описывающие его настроение за это время, очень интересны: в каждой строчке чувствуется человек, подавленный тяжелыми переживаниями и совершенно разбитый. Ему нужен покой, только покой, отдохновение. Но сочувствие к нему, как к человеку, тотчас нарушается его раздумиями о судьбах революционного движения и извращением его отношения к революционному делу.

«Я — не они», — говорит он о погибших товарищах — Желябове и Александре Михайлове; и по поводу моего письма к нему летом 1882 г. продолжает: «Мое бегство за границу, очевидно, казалось ей недостойным старого народовольца, которые умирают, но не сдаются. Это, положим, совершенно правильная точка зрения, пока остаешься человеком известного дела», — говорит он, — но «дело, которое делала «Народная Воля», давно было не мое». «Они меня давно не понимали. Только Михайлов, да Желябов несколько вникали в мою душу и мирились с тем, что я — не они, т. е. считали, что я, хоть и особь-статья, но п о л е з н ы й, и по своему прав».

Каким жалким, ничтожным рисует себя автор этих строк. Если дело «Народной Воли» давно не было его делом, если ее путь он считал путем ложным, то почему же было в свое время

не высказать этого честно и прямо, как следовало бы истинному революционеру. Его поняли бы, он получил бы свободу от обязательств и мог бы жить частным человеком, как жил Каблиц, проповедник борьбы посредством динамита, сделавшийся, под псевдонимом Юзова, сотрудником «Недели» и легализировавшийся при Лорис-Меликове, или уехать за границу, как уехал Морозов, спустя полгода после образования «Народной Воли».

Но в течение двух лет итти вместе с другими по пути, который считаешь ложным, стоять у дела, которое считаешь не своим — это такая бесхарактерность, безволие, что стоишь в недоумении, что это? Клевета ли задним числом на себя или опять-таки прав Морозов, что «можно было ожидать».

Уезжая в средине 1882 г. за границу, Тихомиров, по его свидетельству, ехал с мыслью, что напишет «записки о делах и людях 70-х и 80-х годов». «Товарищей этих я очень любил, — говорит он. — Спасти их память от забвения — казалось мне некоторым священным долгом».

Это, как будто, совсем хорошо. А перевернешь страницу и находишь (в описании первого радостного дня по приезде в Женеву): «Какого числа был этот день — не помню. Но с него началась для меня новая жизнь, некоторое время даже очень новая, пока я снова, *волею судеб* (разрядка моя *В. Ф.*), не втянулся в «распроклятую политику»...

Те, которые долгое время жили нелегальною жизнью, занимаясь революционной деятельностью, знают, какого напряжения сил требует эта жизнь. И вот, Тихомиров, проведший четыре года в тюрьме и пять лет на нелегальном положении, попав, наконец, за границу, вместо того, чтобы стать в условия полного покоя, отдохнуть и оправиться, *втягивается* в работу в обстановке еще более неблагоприятной, чем в России. Вместо сплоченного товарищества людей, которых он любил и уважал, его окружает нездоровая среда эмигрантов, лиц, потерпевших кораблекрушение, обломков всевозможных кружков и группировок, различных по национальности, месту и времени деятельности.

В этой обстановке, вместе с М. Н. Ошаниной, он завязывает и ведет революционные сношения с Россией, занимается литературными предприятиями *для* России и делает неоднократные

попытки из-за границы действовать в России. Он сам сознает нелепость и невозможность последнего; однако, это не останавливает его. Варынского, известного члена польского «Пролетариата», хорошего революционера, он считает человеком легкомысленным и все же пишет о нем мне, которой дает такую же характеристику, и хочет связать его со мной. Это не состоялось: прежде чем Варынский доехал до меня, он был арестован в Польше. Характеризуя молодых членов «Народной Воли», как «мальчишек», совершенно не способных продолжать революционную работу партии, он в письме, однако, советует мне созвать съезд этой молодежи для продолжения деятельности. А после моего ареста (в феврале 1883 г.) и крушения моей последней попытки восстановить центр, он с Ошаниной возобновляет эту попытку и организует в Париже группу Лопатина, Саловой и других, которые отправляются в Россию, чтобы руководить революционным движением. В сентябре этого года к Тихомирову и Ошаниной из России является Дегаев; он делает свое признание в предательстве и роли провокатора, и они заключают с ним договор — пощадить его жизнь ценою убийства Судейкина. В декабре акт был совершен, но организация, во главе которой был поставлен Лопатин, через несколько месяцев потерпела, благодаря захвату у него адресов, крах, отозвавшийся по всей России и захвативший даже Сибирь.

Не удивительно, что, втянувшись, в значительной степени, благодаря своему имени, в политику, которую он называет «распроклятой», политику, неизбежно связанную с острыми переживаниями, Тихомиров, уезжавший из России уже совершенно разбитым, окончательно погубил свои последние силы. Свидетельством этого служат сохранившиеся после его смерти: дневник и записки, которые он вел в Париже с августа 1883 по 21 января 1889 года.

Эти документы представляют величайшую ценность: они интересны как с психологической, так, еще более, с психиатрической точки зрения; в них, по моему мнению, надо искать ключ к пониманию того переворота, который с ним произошел.

Дневник — это ежедневная краткая запись несчастий и неудач общественного характера; крушение ряда тщетных попыток организовать что-либо в России и для России; непрерывная

нить всевозможных недоразумений с товарищами по эмиграции; суды и разбирательства, как кто держал себя на следствии; ссоры по деловым сношениям с лицами других направлений; обличения шарлатанов, выдающих себя за революционеров... и безденежье, безденежье без конца — таково содержание этой скорбной летописи. В личном отношении это бесплодные поиски работы, не только регулярной, но хоть какой-нибудь. Нет денег из России на революционные издания, нет их и из каких-нибудь заграничных источников; еще бо́льшая нужда на самые элементарные личные потребности.

В марте 1886 года наступает полное разочарование: у него вырывается признание, что, по его мнению, революционная Россия, в смысле серьезной, сознательной силы не существует. Все приезжие из России, — говорит он, — подтверждают это; революционное движение того времени не буря, а рябь на поверхности моря. «Народ страшно измельчал, он способен только рабски повторять примеры былых героев, но совершенно неспособен понять изменившиеся условия и выдумать что-нибудь свое». В связи с этим он записывает, заявление о том, что готов служить партии только как публицист, и что из-за границы никаких организаций он не ведет. В том же марте он пишет, что издательство вошло по уши в долги и что «даже это дело не по силам партии» (курсив Л. Т.). «И так в моих глазах уже более года несомненно, что отныне нужно ждать всего лишь от России, русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров, по крайней мере на долгое, неопределенное время», — говорит он. — «Сообразно с этим, я начал перестраивать и свою личную жизнь. Я должен ее устроить так, чтобы иметь возможность служить России, как мне подсказывает мое чутье, независимо ни от каких партий».

В это время положение его было отчаянное: в издание «Вестника Народной Воли» он вложил все силы, все связи и остался «без работы и без всяких связей с Россией или с Европой, т.-е. связей своих, которыми бы мог распоряжаться по своему усмотрению». Он искал работы, но находил ее мало и плохо оплачиваемой — «впроголодь», как он выражается, «до истощения нервов». И у него опускаются руки, он уже не верит, что выкарабкается из этой ямы.

В апреле того же 1886 г. он на последней грани измученности; его сынишка заболевает менингитом. «Мушки, компрессы, бессонные ночи, крики, раздирающие душу», — он один ухаживает за ребенком, жена рыдает за стеной. И тут же французская полиция является на сцену, угрожая выдачей России или изгнанием... Ребенку все хуже, «бедный мальчик измучился, исстрадался и смотрит так жалко. Он стал серьезен», и отцу «так и чудится, что он уже чувствует, что все пустяки на свете, и что существует только смерть».

В январе 1887 года в дневнике запись, что все последнее время Тихомиров с семьей жил, «можно сказать, подаянием. Работал ужасно мало, кидался во все стороны и не заработал ни гроша». Жена его больна; безденежье такое, что голодают; заплатить доктору нечем; за квартиру — в долгу; и как раз в это время происходит известное разграбление типографии «Вестника» русскими шпионами. Доведенный до отчаяния, Тихомиров делает пометку: «я ничто, нуль; я существо даже уже пришибленное; а в то же время [Что за противоречие! В. Ф.] я не могу отказаться от желания серьезно, глубоко влиять на жизнь». И далее, по поводу предполагаемого журнала говорит, что «с большой охотой видел бы возникновение кружка с здоровым, созидательным, антитеррористическим направлением», и записывает: «мне нужно создать партию, серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую».

Какая странная смесь самоунижения и самовозвеличения: «я ничто, нуль», и на ряду с этим широкие планы «о правящей партии». Во всем этом намечается перелом; отход от революционного прошлого уже совершился, но еще не принял той формы, в которую вылился в конце 1888 г. Симптоматичны признаки развития суеверия, веры в предзнаменования, сны и предчувствия. Дело доходит до того, что, зная, где на горизонте взойдет молодая луна, он намеренно встает у окна так, чтобы увидеть ее справа. Чаша отчаяния переполняется, когда его ребенок находится при смерти, когда измученный отец с угрозами и с сжатыми кулаками заставляет сына пить лекарство, силой разжимая его челюсти. Громкий плач жены; ни сантима на лекарство и доктора; гибель в России, неприятности и расхождения в эмиграции, — все соединилось, чтобы доканать человека...

Тихомиров покидает Париж и поселяется в его окрестностях, в местечке Le Raincy. Страницы, в которых он описывает несколько месяцев, проведенных там, составляют лучшую часть всего им написанного.

Там тишина, там уединение до полного безлюдья, там открытое небо, безбрежные леса и солнечные поляны. Измученный Тихомиров отдается покою, который навевает природа. Разбитый острыми переживаниями, он вздыхает по простой, не осложненной жизни, завидует дереву, которое растет и зеленеет, не зная человеческих скорбей и огорчений. Прогулки по темному лесу и светлым полянам дают ему глубокое наслаждение; страшное напряжение понемногу спадает, и осенью в его душе наступает кризис.

Поселяясь в Рэнси, Тихомиров нанял домик, в котором не было других жильцов; в верхнем этаже поместилась его жена с сынишкой, который стал выздоравливать, внизу — он сам. Этот этаж совершенно лишен мебели: наступает дождливый сезон; дачники, какие были, разъехались; Тихомиров — словно на необитаемом острове; дождь стучит в окна; в пустых комнатах нижнего этажа, похожих на оголенную тюремную камеру — сумрак, и ничем не нарушается тишина. И Тихомиров целыми часами ходит взад и вперед, и думает, думает без конца. Здесь его психология приобретает характер, сходный с психологией заключенного. Его душевное состояние под тяжестью несчастий, которые он испытал, как общественный деятель, как товарищ, муж, отец и почти нищий, выходит за пределы здоровой психологии нормального человека, и с точки зрения психиатра, по моему мнению, его можно признать душевно-больным. Все представляется ему в мрачных и враждебных красках; он изверился в революции, которой он служил столько лет; изверился в людях, которые поддерживали и помогали ему и с которыми он долго находился в хороших отношениях; изверился в возможности создать нормальные условия для своего семейного очага и вырваться из когтей унизительной нищеты и жалких подачек. Все и всё обернулись к нему самой дурной стороной своей, — таково представление его обо всем окружающем, и самому себе он кажется ничтожеством, нулем. Возможно ли такое состояние назвать нормальным? Пусть те, кто долго пробыл в тюрьме,

припомнят о себе и о своих товарищах: не бывали ли они временно в подобном же тяжелом и несправедливом настроении? И каждый признает, что это было проявление психической ненормальности.

И вот, в таком ненормальном настроении, с таким тяжелым душевным грузом, Тихомиров в тихом Рэнси, в своей импровизованной тюремной камере, предается анализу всех своих убеждений, всего пережитого, всего накопившегося за 10—12 лет. Ему не с кем поделиться своими размышлениями, не только физически не с кем, но и душевно. Его жена давно уже отошла от революционного движения. Не глупая, но неподвижная, любящая покой и домашний уют, она была узко материалистична и не могла, и не хотела переносить лишений. В самом деле, если не иметь высших стремлений, то во имя чего бедствовать и терпеть унижение нищеты? Понятно, что она могла только портить уже в конец испорченную жизнь мужа, и при всей сдержанности Тихомирова относительно внутреннего уклада его семейной жизни, у него порой вырывается стон: «Нигде поддержки, нигде утешения»...

Ходя без конца по своим пустым комнатам, Тихомиров перебирает все прошлое, весь идейный багаж свой и приходит к выводу, что все рухнуло, что в душе нет ни веры, ни любви. Ничего не осталось. А между тем, была же у него любовь, когда он хотел спасти от забвения память своих друзей? Его прошлое представляется ему нелепостью, миражем, за которым он гонялся много, много лет. Из-за чего? Зачем? Все кажется ему призрачным, нереальным, существующим лишь в воображении. Он ищет чего-нибудь реально, действительно существующего, и оно привлекает его во всем: он отдыхает душой, глядя на садовника, который копается в земле, «уважает» дерево, муравьев, которые суетливо копошатся в огороде — все это дает ему отраду, как действительно существующее и по-своему занятое делом. Реального ищет он и в своей личной жизни. И у него возникает жгучее требование и в ней того немногого, что он чувствует, как несомненно реальное. И все это «немногое, последнее достояние», без чего ничто уже не связывало бы его с жизнью, он находит разбитым, расстроенным, обессмысленным им самим. Родители — покинутые мать и отец; две дочери — брошенные на руки родственникам, которым они в тягость; сынишка, который плохо

говорит по-русски и по-французски, и которому он не может объяснить, что такое русские, где Россия, и на вопрос о церкви в Рэнси, не может ответить, что такое церковь, зачем люди идут туда; жена, которую он затащил в яму, откуда нет выхода... Все, в чем он реально ощущает долг—в развалинах, в полном безобразии.

...Реальна Россия, ее история чарует колоссальным величием, а кругом все чужое, — все не его. Он вспоминает русский храм, и в его душе возникает, по его выражению, что-то странное, мистическое, имени чего он не знает; и он чувствует бога в себе или около себя, и далее рассказывает, что еще в 1879 — 1881 годах ему казалось, что люди, в частности революционеры, по внешности преследуя как будто свои цели, на самом деле руководимы какой-то невидимой всевластной рукой, ведущей совсем не к тому, к чему стремились люди. Страшная болезнь сына заставляет его в припадке отчаяния обращаться — он сам не знает к кому — к высшей инстанции: «Господи, если ты есть, помоги!»... До этого он был, по его словам, преисполнен сознанием своего человеческого величия. Болезнь ребенка его сломала, гордость исчезла, и он молится «тому, кто есть, если он есть». Выздоровление сына наполняет его благодарностью, которую он «не сознает, но ощущает».

В бессонные ночи, в Рэнси, ходя часами по своим пустынным комнатам, Тихомиров задается вопросом, что же дальше? что в будущем? Как жить, чем жить? Ответов в самом себе он не находит и, поддаваясь склонности к суеверию, ищет их в евангелии, что «бывало с ним и раньше». Задавая вопросы высшего порядка: в чем правда? в чем обязанность? он вместе с тем искал и утешения, указания «в тяжком угнетении своим безвыходным материальным положением». В одну такую минуту «мистического настроения», ему попадается ответ: «И избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского, фараона» (Деян. апост.). Это изречение упорно попадается ему много раз (и, вероятно, чем дальше, тем чаще книга от употребления открывается на той же странице). Эта настойчивость поражает Тихомирова, — он придает этому особенное значение, но ни тогда, ни долгое время спустя, ему не приходит в голову, что это — указание на возвращение в Россию и милосердие русского царя. Но мысль о значении текста все

снова и снова занимает его, и он не перестает размышлять, какой смысл скрыт в загадочном изречении: кто избавит его от скорби, и о каком египетском фараоне говорит апостол?

Практически прозорливая жена, семь лет тому назад давшая первую мысль об отъезде за границу, на этот раз первая находит разгадку и шепчет, что фараон — не из Египта, а из России, и что утолит скорби и дарует благословение русский самодержец.

Так открывается путь к возвращению на родину.

Казалось бы, после Рэнси, в котором произошел полный разрыв с прошлым, Тихомиров должен был порвать и все отношения с политической эмиграцией, а он, по возвращении в Париж, в течение полугода продолжает сноситься с Лавровым, с Ошаниной и другими лицами, при чем у него происходят сильные разногласия, то по поводу типографии в Женеве, то по поводу студенческих волнений в России.

В мае 1888 года он кончает свою брошюру: «Почему я перестал быть революционером», печатает ее и широко распространяет как за границей, так и в России, а в августе посылает письмо директору департамента государственной полиции, Плеве, в котором, прилагая свою брошюру, просит указать, в каких тонах он мог бы обратиться к государю с прошением о возвращении в Россию.

По получении ответа, прошение им послано, и возвращение в Россию разрешено.

Дальнейшая дорога определена, и по приезде в Россию он ультра-консерватор и ультра-монархист. Как консерватору — для него нет границ. Он посылает статью Суворину, тот дает 400 рублей, а статью отсылает в «Московские Ведомости». Оскорбленный Тихомиров в дневнике пишет: «У консерваторов есть предел, который они не переступают, а я переступаю» (разрядка моя. *В. Ф.*). Как монархист, о революционерах он выражается: «мерзавцы, подлецы». В религиозном отношении можно бы ожидать, что он человек истинно верующий. Ничуть не бывало. Он сам во многих местах выражает сомнение на этот счет. По его собственным словам, он верует разумом, но не чувством. Он подлинный, не сознающий этого, лицемер, обманывающий своего бога, у которого только и вымаливает материальные блага. Деньги, деньги и деньги — так и мелькают в записях изо дня в день. Их все недостаточно, все не хватает; обеспечения семьи — нет; ее

будущее шатко. Посты, говенье, крестные ходы и молебны — вот что занимает ум, и в чем состоит его религиозная жизнь. Это одна внешность без всякого внутреннего содержания.

Возможно ли признать нормальным человека, одержимого такой обрядовой манией? Его суеверие не имеет границ: при зубной боли он мажет свою щеку маслом от св. Митрофания; за завтраком — крестит яйцо, прежде чем его съесть; после дурного сна спрашивает телеграммой брата о его здоровьи; заказав молебен по поводу болезни друга, он рассуждает: а вдруг он умер? и записывает: «Ну, да молитва о. Валентина не бесполезна и на том свете». Не звучит ли это цинизмом даже в ушах человека, совершенно чуждого религиозных верований?

Итак, его жизнь в России вся состоит в погоне за литературной работой для добывания средств *) на семейные нужды и в исполнении обрядовой стороны церковной жизни, в которой нет ничего, что намекало бы на искреннее чувство. Он положительно болен—психически болен; и его болезнь—наихудшая форма mania religiosa. Она дорого обошлась ему, как отцу: его сын, тот некогда маленький Саша, которого ценой невыносимых страданий он вырвал из когтей смерти, им же — ханжеством религиозного маниака — был вырван из жизни и брошен в монастырь.

Каков же вывод из всего, мною написанного?

Прав ли Морозов? Права ли я?

По моему мнению — правы оба.

Рассмотрение всей жизни Тихомирова доказывает, что он был человек безвольный и бесхарактерный: он поддавался влияниям, которые могли поднимать его на высоты или спускать в низины. Это такая почва, на которой могли вырасти всевозможные сорные травы.

Почва — была: «Можно было ожидать», но на данной почве выросло злокачественное растение — психоз, превративший революционера, республиканца и атеиста в ретрограда, монархиста и ханжу.

Вера Фигнер.

18 марта 1925 г.

---

*) Любопытны слова: «нам, монархистам, особенно церковного направления, хоть пропадай — негде писать». И он пишет жалобницу Победоносцеву....

ОТ РЕДАКЦИИ.

Главное содержание архива Л. Тихомирова составляют двадцать семь тетрадей в $^1/_4$ долю листа его «дневников» и «записок и воспоминаний», обнимающих время от 70-х гг. до октября 1917 г. Последняя запись дневников относится к 16 октября 1917 года. Кроме дневников и воспоминаний, есть еще отдельные рукописи, напр. «Смерть Александра II», «Тени прошлого» (список и характеристика членов Исполнительного Комитета «Народной Воли»), *) о «Запечатленном труде» — В. Фигнер, брошюры (биографический очерк Н. П. Аксакова), некоторые книги Тихомирова, «Календарь Народной Воли» на 1883 г., с пометками, духовное завещание, анкета для представления в КУБУ, письмо в связи с зарегистрированием его в последнем и две фотографические карточки его и П. А. Столыпина. Для настоящего издания редакцией выбрано шесть тетрадей дневников и воспоминаний. Именно: четыре тетради «воспоминаний» и две тетради «дневников», заключающие в себе биографический материал и сведения о революционной деятельности Тихомирова в России и за границей вплоть до его разрыва с революцией и перехода на сторону реакции и о первых годах его жизни и деятельности уже реакционером в России. Таким образом, воспроизводимые материалы дают законченную историю этого периода жизни и деятельности Тихомирова — революционера-ренегата, — на основании его собственных слов. Остальные дневники относятся исключительно ко второму периоду жизни Тихомирова.

Отличительная особенность публикуемой нами части архива Тихомирова — фрагментарность и бессистемность. Начиная какой-нибудь период, он бросает его, обещаясь вернуться к нему после,

---

*) Обе эти статьи помещены в VI т. «Красного Архива».

и переходит к другому. Иногда такие обещания остаются невыполненными. Местами изложение переходит в конспект, нередко остающийся без дальнейшего развития.

В виду этой особенности материалов пришлось при печатании расположить их не в порядке подлинника, а в хронологическом порядке и по внутренней связи между отдельными частями.

В начале помещается «тетрадь № 27», так называемые «Семейные записки». Это родословная Тихомирова и детство его на Кавказе. На двадцать пятой странице изложение прерывается воспоминаниями из «эпохи» «Земли и Воли». Непосредственное же продолжение «Семейных воспоминаний» находится в «тетради № 24», которая и воспроизводится нами целиком вслед за двадцать пятою страницею тетради № 27. Это «Воспоминания» 1870—1872 гг.: гимназические годы, поступление в университет, студенчество и первые шаги на революционном поприще, знакомство с революционерами. чайковцы в Москве, Петровская академия.

Далее идет «тетрадь № 25» с 1 — 13 стр., составляющая продолжение предшествующей тетради: работа в московских кружках и стр. 13—19—кружок Чайковского. За этой тетрадью следует вторая половина «тетради № 27» с 25 — 82 стр.: переход Тихомирова после процесса 193-х на нелегальное положение и революционная работа в организации «Земля и Воля», а также характеристика главных деятелей организации, впоследствии народовольцев. Из ненародовольцев характеристика Плеханова. Далее идет опять «тетрадь № 25», стр. 19—36: отъезд Тихомирова за границу. Затем «дневник № 1» (с 21 авг. 1883 г. по 21 янв. 1889 г.): заграничный период жизни и деятельности Тихомирова и постепенный отход от революции, разрыв с партией и эмиграцией, подача прошения царю и возвращение после амнистии в Россию. Затем—«тетрадь № 26» «последние годы жизни в Париже», непосредственно примыкающая и относящаяся к тому же периоду, что и первый дневник. Здесь находим характеристику эмиграции и отдельных наиболее крупных представителей ее (Лавров, Ошанина, Лопатин, Серебряков, Бах). Наконец, «дневник № 2» (с янв. 1889 г. по дек. 1895 г.): первые годы жизни и деятельности в России, устройство в реакционных органах печати, завязывание новых связей среди высокопоставленных лиц и духо-

венства и служение в качестве публициста видам и интересам правительства Александра III и Николая II.

Наибольший интерес из всего перечисленного, представляет «дневник № 1». Здесь события и переживания автором заносились в момент совершения их. Отсюда непосредственность документа. В этот период жизнь Тихомирова была еще тесно связана с жизнью партии. Всякий успех и всякая неудача последней отражаются на нем как в барометре то повышением, то понижением настроения. Партия в то время переживала кризис, закончившийся полным крахом ее — извне арестами, внутри — изжитием самой себя. Кризис партии совпал с личным кризисом Тихомирова — совпадение не случайное, — и дневник поэтому приобретает особый, так сказать, историко-психологический интерес.

«Воспоминания» писались значительно позднее описываемых в них событий,— в 1894—1898 гг., притом Тихомировым-ренегатом и реакционером. Как сам автор ни старается уверить своего читателя в своем беспристрастии и даже «бесстрастии», оценка событий в них далека от такого свойства. Тем не менее, в воспоминаниях рассеяно очень много наблюдений над эмигрантской средой и даются характеристики революционных деятелей на основании близкого знакомства и совместной работы с ними. И с этой стороны независимо от своего реакционного привкуса «воспоминания» тоже не лишены интереса.

Материал печатается с некоторыми купюрами. Более всего таких купюр сделано в «дневнике № 2». Опущены, например, записи, не представляющие никакого интереса, в роде записей прихода и расхода, о найме кухарки, о болезнях и тому подобных «мелочах жизни». Опущены всевозможные квитанции и расписки — почтовые, телеграфные, переводы, вклеенные в дневник и т. д. Равным образом опущены все зачеркнутые слова и фразы, за исключением тех, которые дополняют текст или вносят что-либо существенное, с соответствующей оговоркой. Недописанные и восстановленные в тексте слова заключены в прямые скобки. Вставки заключены в круглые скобки.

В «дневнике № 1», вообще отличающемся краткостью, отрывочностью и недоговоренностью, очень многие из упоминаемых в нем лиц скрыты под псевдонимами или инициалами как собственных, так и вымышленных имен, которые, в значительной

части, расшифрованы. В этой работе некоторое содействие оказал Алексей Николаевич Бах, за что считаем долгом выразить ему свою благодарность.

Материал приготовлен к печати В. П. Алексеевым. Им же составлены указатель и примечания к тексту (последние — под редакцией Ш. М. Левина).

ВОСПОМИНАНІЯ
ЛЬВА ТИХОМИРОВА

[illegible]

[illegible]

СЕМЕЙНЫЕ ЗАПИСКИ.[1]

I.

Мой отец, Александр Александрович Тихомиров, происходит из Тульской губернии. Наш род принадлежит к коренным жителям Тульского края и, насколько хватает семейных воспоминаний, был всегда духовного звания. В конце прошлого столетия представителем рода Тихомировых был священник Александр Родионович, в селе Ильинском (Одоевского, кажется, уезда). О его отце Родионе Ивановиче я ничего не знаю, кроме того, что и он был духовного звания. У о. Александра Родионовича и жены его Марии Дмитриевны было семеро детей: Александр (мой отец), Надежда, Иван, Николай, Елизавета, Серафима, Петр, Дмитрий.

При поступлении в семинарию сыновья о. Александра Родионовича получили, однако, разные фамилии. Раньше мы назывались Тихомировыми-Белоусовыми. В семинарии одних (Александра и Ивана) записали Тихомировыми, а остальных (Николая, Петра и Дмитрия) Белоусовыми. Таким образом от одного деда пошли две различные фамилии. Впрочем, Иван (бывший медиком) потомства не оставил. Так что представителем ветви Тихомировых остались только мы, дети и внуки Александра Александровича. Из Белоусовых Петр был священником, а сыновья его ныне медики. Николай был каким-то чиновником и, кажется, потомства мужского пола не оставил. Дмитрий, ныне (в 1894 г.) остающийся патриархом нашего рода, — священник (протопопей) села Сергиевского, Крапивенского уезда. Сыновей у него нет. Из дочерей Александра Родионовича Надежда вышла замуж за

---

[1] Тетрадь № 27.

очень уважаемого священника о. Афанасьева (ныне уже умершего). Серафима вышла замуж за диакона (Лебедева?). Елизавета вышла замуж за студента семинарии Лаврова, которому, в уважение заслуг о. Александра Родионовича (пользовавшегося большим общим уважением), было предоставлено и место его по смерти Александра Родионовича. По смерти о. Лаврова приход перешел к его сыну. Таким образом потомство дедушки по женской линии сохранило его гнездо. Лавровы живут в том же самом доме, конечно, уже много перестроенном, где рос мой отец. Около них та же старинная церковь, в ограде которой и покоятся Александр Родионович и Мария Дмитриевна. Здесь на Илью пророка поныне собирается съезд потомков Александра Родионовича. Церковь Ильинская — во имя св. Ильи пророка. При мне (я только раз мог приехать сюда в этот торжественный семейный праздник) нас съехалось Тихомировых, Лавровых, Лебедевых и т. д. человек до 40. Говорят, бывает и много больше. Разумеется, приезжая в Ильинское, каждый идет помолиться на могилы прадедов, Александра и Марии, отмеченные довольно скромным памятником.

II.

Мой покойный отец Александр Александрович родился в Ильинском 1813 года 8 сентября. Он был старший из детей. Семья Александра Родионовича была настоящая старинная семья, патриархальная, крепко сплоченная. Родион Иванович в это время уже умер. Но жена его, моя прабабка, которой имени я уже не знаю, еще жила и долго жила. Отец мой пережил с ней все детство и очень любовно вспоминал эту добрую старушку, которая баловала внучат. Она умерла в глубокой старости, тихо, как догоревшая свеча. В день смерти она была совершенно здорова и пошла чего-то искать в своем старинном огромном сундуке, наполненном разным хламом. Этот сундук всегда очень привлекал детей. Кажется, «бабушка» и теперь рылась в нем для детей. Подняла она крышку, нагнулась, порылась и — опустилась. Прибежали взрослые. «Бабушка» уже была мертва. Тихо, безболезненно и мгновенно перешла она от кучи внучат в тот мир, где несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания.

Эта смерть любимой бабушки была из немногих событий, омрачивших детские годы моего отца. Вообще же его жизнь началась светло и радостно.

Окрестности Ильинского и теперь прекрасны. Собственно села Ильинского, строго говоря, не существует. Оно состоит из ряда отдельных деревень, разбросанных огромным кольцом вокруг погоста, который расположен в центре. На погосте нет ничего, кроме церкви (каменная и очень древняя) да домов причта; вокруг на далекое пространство расстилаются поля и реки, принадлежащие церкви, и никаких деревень не видно. Сюда народ сходится только по церковным нуждам, да еще на ярмарку (в дни Ильи пророка). Земли церковные обширны, — несколько сот десятин. Тут же около церкви кладбище. Покойный отец часто рисовал нам план «бабушкиного домика», с мельчайшими подробностями. Я его, конечно, не помню, но знаю от ильинских, что все в общем и ныне осталось на прежних местах. Дом с принадлежностями стоит близ церкви, у края откоса, спускающегося к ручью. Наверху, около дома, сады, а внизу, к ручью — огороды. Ручей в обыкновенное время небольшой, но в иных местах, пониже погоста, разливается достаточно широкими и глубокими прудками, в которых и ныне купаются.

Около церкви и кладбища, спускаясь к ручью, расположена прекрасная сосновая роща, о которой мне рассказывал отец. Это — гордость Ильинского. Прекрасные сосны и поныне шумят там своими душистыми вершинами, хотя, говорят, роща сильно испорчена против прежнего. Однажды в ней много вырубили дерев для постройки. Я видел также несколько сосен, вырванных бурей... Но все-таки и так там хорошо и привольно.

Вокруг Ильинского и поныне немало лесов, а по дороге в Тулу нужно пересекать знаменитую «засеку», когда-то охранявшую Русь от татар. Во времена детства отца моего этот пояс заповедных дремучих лесов был еще во всей своей могучей красоте. Отец рассказывал, что они из семинарии хаживали на каникулы этой засекой, где столько ягод, орехов, грибов и всяких прочих лесных чудес, привлекающих детей. Жилось привольно, безбедно, в такой обстановке природы, которая не достается на долю и многих богачей. Отец вспоминал детство

только в самых светлых картинах. Вспоминал свою добрую бабушку, которая удивляла детей своим всезнанием.

«Бабушка, какая завтра погода будет?»

Она подумает:

«Либо снег, либо дождь, либо вёдрышко»...

И не скоро дети разберут шутку.

Вспоминал отец и то, какой был в его годы крепкий да богатырский народ. Правда, на счет просвещения он не отличался. Отец помнил два каменных истукана, которые народ называл «Баш» и «Башиха». Им чуть ли не поклонялись немножко и тайком; эти истуканы были при отце уничтожены. Но на счет крепости физической народ был примерный. Был у Александра Родионовича кучер Алексей, знаменитый силач. Бывало, накладывает воз так, что хозяин не выдержит:

«Алексей, да ведь у тебя лошади станут в первой грязи».

«Ничего, батюшка, не станут, я подмогу»...

И действительно, когда лошади не могли вытянуть, Алексей «подмогал», и тогда все и откуда угодно благополучно вытаскивалось.

III.

Семья Александра Родионовича была по-тогдашнему из образованных. Детей рано заставляли учиться. Рано же отдали отца моего в тульскую семинарию, где способности его обратили на себя общее внимание. Он и действительно был очень способен и, сверх того, умел трудиться. Семинарский курс он окончил в 1832 году блистательно, первым учеником. Духовное начальство прочило его в академию, откуда, конечно, он, по предположениям начальства, поступит в монахи, чтобы следовать далее на путь высшей иерархии. Поэтому отец был отправлен в Москву, но тут произошли какие-то обстоятельства, изменившие все планы. Рассказывают о какой-то романической любви отца, чего я не знаю хорошенько. Как бы то ни было, он раздумал поступать в монахи, а потому не захотел уже итти в духовную академию. Эта перемена возбудила неудовольствие бывших покровителей, но отец остался тверд. Хотя и без всяких средств, он решился поступить в медико-хирургическую академию (впоследствии она была преобразована в медицинский

факультет московского университета). Итак, он остался в Москве. Между прочим, он рассказывал нам странный случай. Еще в Туле, только мечтая о Москве, он видел сон, будто бы он уже в столице, и хорошо запомнил дом, в котором видел себя живущим. Отец уверял, что впоследствии как раз в этом доме ему и пришлось поселиться в Москве.

Здесь его ожидали трудные дни. Потеряв поддержку своих покровителей, отец неожиданно получил на руки всю семью. Во время его пребывания в Москве дома выдали замуж сестру, и по этому случаю Александру Родионовичу пришлось войти в долги. Это бы не беда. Но он вслед за тем (1833 г.) умер. Вся семья теперь не имела другой опоры, кроме отца моего, которому пришлось не только помогать им, но и выплачивать долги Александра Родионовича. Положение было ужасное. Может быть, оно и внушило отцу на-веки болезненное отвращение к долгам. Он, бывало, уже генералом, начинал мучиться, если задалживался в лавке рублей на 100. Тщетно купец уверял, что это ничего. Отец и сам понимал, что не только ничего, а что купец душевно рад, когда у него забирают в долг. Но эта мысль о долге его мучила, и он всегда торопился расплатиться.

Оставшись в 20 лет опорой всей семьи, отец, однако, не упал духом. Он уроками содержал себя и помогал домашним, а в то же время готовился к экзаменам. Чтобы поступить в академию казеннокоштным, он должен был сдать экзамены из лучших. В 1833 году он их сдал блистательно. Для всех был особенно труден латинский язык, который спрашивали очень требовательно. Но отец был еще в семинарии знаменитым латинистом. Впоследствии, через десятки лет, он не только говорил по-латыни, но писал изысканным языком. Бывало, когда я был в гимназии, не было такого автора, которого бы он не объяснил лучше наших учителей. Вообще он говорил, что латынь знал лучше русского языка. На экзамене он успел написать сочинение не только для себя, но и для нескольких товарищей.

Его приняли на казенный счет. Тогда стипендий не давали, а казеннокоштные жили в пансионе. Он помещался в здании нынешнего старого университета. Я, собственно говоря, не уверен, что отец поступил в академию именно в 1833 году, хотя так у меня отмечено. По послужному списку значится, что он

окончил курс в 1840 году. Это не сходится с поступлением в 1833 году. Быть может, мытарства отца в Москве до поступления были более продолжительны. Вообще этот тяжелый период его жизни мне наименее известен.

Не многое знаю и о его академической жизни. Отец рассказывал, что до него академия была очень распущена. Неблагонамеренности в политическом смысле тогда не было, но кутежей и дебоширства было достаточно. Мало того, мимо академии ночью одно время считалось не совсем безопасным ходить, так как случались грабежи со стороны студентов. Потом, при отце уже, академию очень подтянули и привели в порядок. Отец, однако, на это не жаловался. Он говорил, что строгости и дисциплина были осмысленные и не придирчивые, так что, хорошо себя ведя, можно было жить даже свободно. Дозволялись и отлучки, и даже за город; случалось, что студент не являлся дня по два. На это смотрели сквозь пальцы, если нельзя было заподозрить чего-либо предосудительного. В смысле занятий работать приходилось много. Слушание лекций усложнялось тем, что большинство профессоров читали по-немецки или по-латыни. Это было царство немцев. Русскому было почти невозможно добиться докторской степени, так как против него сплачивались все немцы и считали обязанностью провалить его на экзамене. Впрочем, — забыл уже, о ком идет речь, — отец рассказывал, как у них получил доктора один русский. Отец сбиводушевлялся, вспоминая эту борьбу, как немцы всячески сбивали докторанта, и как, наконец, его блистательные ответы победили сердце главы немецкой партии, который расчувствовался, обнял докторанта и начал осыпать его похвалами... Такие случаи были редки. Немногие русские профессора были иногда плохи, иногда нравственное дрянцо, в роде Кильдюшевского. Те из них, которые были талантливее и решались читать лекции по-русски, считались со стороны большинства чем-то в роде вольнодумцев и неблагонамеренных. Я упомянул о Кильдюшевском. По словам отца, это был загребало-практик, забросивший науку и в медицинской своей практике знавший только интерес рубля. Это отец глубоко презирал в медике. Сам он до конца дней отличался замечательным бескорыстием и в огромном большинстве случаев лечил даром.

Во время пребывания в академии отец должен был продолжать занятие уроками, чтобы помогать семье; она отвлекала и время у него. Приходилось ездить в Тулу и Ильинское для устройства дел. От Дмитрия Александровича (дяди моего) мне пришлось слышать выражения глубокой благодарности отцу моему, который был ангелом-хранителем семьи. Между прочим, благодаря ему же поступил в семинарию и сам дядя Дмитрий. Денежную помощь отец посылал в Ильинское еще на моей памяти, кажется, до самой смерти бабушки Марии Дмитриевны.

Одна из поездок отца в Ильинское дала место странному опыту. Не знаю, от кого отец узнал таинственное средство против собачьего бешенства. Это был какой-то заговор, причем больному не давалось ничего, кроме шариков черного хлеба. Молитва ли это была, заклинание ли, — не знаю. Так вот, однажды отец на пути в Ильинское наткнулся в деревне на случай, что бешеная собака искусала у мужика целый десяток овец. По просьбе мужика отец взялся их вылечить, но для опыта потребовал, чтобы мужик одну овцу отдал ему. Эту овцу он не лечил и она сбесилась. Остальные же, подвергнутые таинственному лечению, все выздоровели. Отец сам рассказывал мне этот случай, но вообще не любил об этом говорить. В публике потом я слыхал толки, будто бы мой отец лечил от бешенства наверняка, без неудачи. Не знаю, правда ли это, и не знаю, прибегал ли он к этому средству. Моя молодость была в такое время, когда о всяких «суевериях» стыдились говорить и не интересовались ими. Не интересовался и я.

IV.

К концу академического курса мой отец уже глядел в ученые. Сам он решился посвятить себя науке. У профессоров считался будущей звездой. В 1840 г. 26 июня он кончил курс с золотой медалью. Эта медаль, огромная, тяжелая, с надписью «преуспевающему», и сейчас хранится у моей матери. Как окончивший курс первым, отец должен был остаться при академии для выдержания докторского экзамена и затем для занятия профессуры, как полагали все и он в том числе. Но он был казеннокошт-

ным студентом, посему следовало отслужить свою стипендию. В то время полагалось, кажется, два года службы за год стипендии. Всего отец должен был отслужить 10 лет. Но это обошли путем назначения его лекарем сверх комплекта в московский военный госпиталь (1 августа 1840 г.). Полагали, что так ему удастся соблюсти и службу, и докторантство. Но моему отцу не суждена была «карьера». В то время правительство нуждалось в военных врачах на юге и особенно на Кавказе, куда по своей воле никто не хотел итти. Несмотря на все заступничества и хлопоты, отцу не удалось остаться в Москве и полугода. 2 декабря 1840 года он был назначен в Феодосию, в тамошний военный госпиталь. Удар жестокий. Академические покровители ободряли отца, обещали хлопотать о скорейшем его возвращении опять в Москву. Но он был глубоко опечален и предчувствовал, что всем его мечтам конец. Так, разумеется, и вышло. Уж если не отстояли в Москве, то вернуть назад тем более трудно, да вдали и забываются люди. Москвы отец больше и до конца жизни не увидел... Впоследствии он говаривал, что все к лучшему. К концу курса он очень расстроил здоровье и, говорил он, вряд ли пережил бы предстоявшую тяжкую работу, особенно в тогдашнем настроении, когда он работал, не считая силы, с решимостью непременно достигнуть цели. Вырванный насильно из этой атмосферы и заброшенный на Кавказ, на хорошие хлеба, он скоро поправился, тем более, что теперь мог помогать семье, уже не надрывая себя. На Кавказе тогда платили усиленное жалованье, и, — черта ныне почти не представимая, — все золотом. Мне рассказывали в детстве, как на береговой линии тяготились получением жалованья золотом и много приплачивали при размене на бумажки. Блаженные времена!

Впоследствии отец примирился с Кавказом и полюбил его. Но в этот момент он чувствовал себя тяжело. Нужно вспомнить, что тогда Кавказ представлялся чем-то много хуже нынешнего Туркестана или Амура, да и вправду. По тогдашним средствам сообщения, человек был более отрезан на Кавказе от Москвы, чем ныне во Владивостоке или Ташкенте. Притом край был в состоянии вечной войны и славился убийственным климатом.

Я все говорю о Кавказе, тогда как отец был назначен в Феодосию. Но он сам мог предвидеть, что Феодосия не будет его местом жительства. Действительно, пребывание его в Феодосии было почти простым проездом. Уже 23 января 1841 года состоялось его прикомандирование к Черноморскому линейному № 3 баталиону, в крепость Новороссийск, на береговой линии. И вот отец отправился уже на самый настоящий Кавказ, сначала как прикомандированный, а 11 октября того же 1841 года был утвержден ординатором новороссийского военного госпиталя.

Кавказ в это время был совершенно независим, т. е. его горские племена. Мы в это время успели добиться от Турции только отказа от верховного ее протектората над ними и признать их независимость. Они не были подчинены России, но мы могли воевать с ними, не вступая тем в войну с Турцией. Прежде всего, должно было отрезать их от Турции. С этой целью весь черноморский кавказский берег был унизан линией укреплений. Это и называлось береговой линией. Связь между укреплениями поддерживалась флотом, который в то же время находился в вечном крейсерстве между укреплениями, с тем, чтобы уничтожать все сношения горцев с турками. Сношения же эти имели главным образом доставку горцам оружия и боевых припасов. Горцы, со своей стороны, не вывозили ничего, кроме женщин, — это с их стороны, в их собственных глазах, вовсе не было что-либо позорное, не продажа своих женщин в рабство, а просто, переводя на наш язык, выдача замуж, в роде нашего вывоза на балы и собрания. Все эти черкешенки, славившиеся красотой, расходились по гаремам богатых турок.

Наше крейсерство имело целью прекратить якобы контрабанду, но в действительности просто пресечь все сношения горцев с турками и заставить горцев все необходимое получать у нас. В числе строжайше преследуемой контрабанды была и соль. Горцы крайне в ней нуждались и имели право покупать ее лишь в наших укреплениях, где ее продажа составляла монополию казны.

Постоянное крейсерство у бурных скалистых берегов выработало и закалило черноморский флот. Конечно, турецкие кочермы

не представляли опасного врага. Но берег постоянно грозил гибелью. Беда была потерпеть крушение хотя бы в 10 верстах от своего укрепления. Горцы нападали даже на ставшие на мель суда. Они нападали даже на баркасы наши и иногда имели вооруженные пушками суда. Положение гребной флотилии было еще труднее. Наша гребная флотилия состояла из больших баркасов, помнится, на 20 гребцов. Эти баркасы вечно шныряли между укреплениями, нападали и на кочермы, но главным образом перевозили что нужно в укрепления. Люди гребной флотилии были самые отчаянные моряки, но в немножко разбойничьем вкусе.

Укрепления береговой линии находились в вечной осаде. Мы были господами за своими стенами, но не смели без «прикрытия» отойти и на полверсты. Враждебные горцы иногда просто нападали даже на укрепления.

Береговая линия разделялась на три отдела. Центром северного служил Новороссийск, среднего — Геленджик, южного — не знаю. Горские племена, примыкавшие к обоим, т.-е. к Новороссийскому и Геленджикскому, были нотухайцы и отчасти шапсуги. Южнее шли воинственные убыхи, но они уже, кажется, не касались Геленджикского отдела.

Крепость Новороссийск была расположена на том же месте, где ныне город Новороссийск. Она занимала довольно обширное место, которое нынешний город отчасти уже превзошел, но в направлении к лесу не дошел. Крайним пунктом к лесу была батарея, остатки которой и ныне видны. В направлении к Станичке он доходил до нынешнего поста пограничной стражи. Тогда здесь была таможня и карантин, почему и небольшое углубление залива, за нынешним молом, называлось Карантинной бухтой. По горе стена Новороссийска шла за нынешним городским садом. В 1862—63 году я еще видел все развалины старого Новороссийска, по которым легко было восстановить его план, но забыл их. Только вдоль нынешней Серебряковской улицы по Торговой площади стояли без крыши прекрасно сохранившиеся стены дома генерала Серебрякова. В этих развалинах при мне жили, во время изгнания их, целые толпы черкесов. Дом был очень хороший, двухэтажный. Вообще в сороковых годах Новороссийск был самым людным и красивым городком

нашим по береговой линии. Он был и укреплен лучше других мест, так что в Крымскую кампанию мог даже защищаться. Само собою, на северном берегу ничего не было, кроме двух башен, охранявших для моряков наливку водой. Там тогда были богатые источники. У речки Кабардинки, тогда еще многоводной, было укрепление Кабардинка. Ходить из него в Новороссийск берегом было очень трудно, — это была уже своего рода экспедиция. Но баркасами сообщения были удобны. Речка Кабардинка, которая ныне жалкий ручей (часто нельзя даже догадаться, что, переступая лужицу грязи, переходишь через Кабардинку), тогда принимала в свое устье целые кочермы. Диву даешься, когда видишь это страшное обсыхание.

Отец прожил в Новороссийске недолго. Он там впервые познакомился с боевым огнем, между прочим, участвовал в экспедиции, которая разорила аул как раз в саду нынешнего нашего хутора. Тогда здесь был большой аул, и в саду нашем, внизу, где ныне плетень, был замечательный источник. Ныне там и следу его не сыщешь. А следы аула я еще видел, и вся нижняя часть сада, роскошно заросшая, представляла рыхлую почву, золистую, где попадались черкесские жернова (ручные) и т. п. остатки. Немного дальше, на Борисовской земле, было черкесское кладбище, на котором я еще видел каменные памятники. Ныне уже ничего этого не мог найти.

В Новороссийске жилось весело. Это был центральный пункт для армии и флота. В нем было адмиралтейство и много войска Отец служил удачно. 3 июля 1842 года он получил награду 150 руб. «за отлично-усердную и ревностную службу». Однако, его, как молодого, все-таки погнали подальше, и 8 октября 1842 года перевели в укрепление Геленджик, в Черноморский линейный № 5 батальон. Геленджик сделался в вечно странствующей жизни отца очень продолжительной станцией. Он здесь пробыл до самой Крымской кампании, здесь он женился, здесь родились и все мы, его дети. Станция эта была, впрочем, далеко не из спокойных, о чем скажу ниже. Теперь перейду сначала к матери моей, Христине Николаевне, и к обстоятельствам, которые забросили ее в этот «форпост», где она встретилась с отцом.

V.

Моя мать — кровная южанка. Она родилась 10 апреля 1828 года в Севастополе. Отец ее, Николай Васильевич Каратаев, малоросс, был инженер-полковником. Мать ее, моя бабушка, Екатерина Петровна (урожденная Шекарадзе) [1], происхождения полу-польского, из ополяченных татар. Семья их довольно многочисленна, но все больше девочки:

Старшая дочь Мария, впоследствии бывшая замужем за офицером Алейниковым, ныне уже давно умершая; Ольга, ныне тоже умершая, была замужем за офицером Заславским; Варвара, моя крестная мать, и ныне здравствующая (1894 г.), замужем за Андреем Павловичем Савицким (который на год пережил отца моего); Христина, о которой идет речь; Владимир,—нынче, кажется, еще жив, — полковник пограничной стражи где-то в Польше; Настасья, «тетя Настенька» моего детства, поныне живущая в Керчи у Савицких, вечная дева; Александра (замужем за Ержмановским, заядлым поляком); Анна, ныне умершая.

Семья Каратаева, как вообще военно-чиновничья, не сидела на месте. Первые воспоминания моей матери относятся к крепости Бендерам, куда был переведен Николай Васильевич Каратаев. Семья была зажиточная, и детям все сулило счастливую будущность. Правда, что Николай Васильевич был чахоточный, непрочного здоровья. Детям жилось привольно, хотя Николай Васильевич был очень строг. Раз у них в доме что-то пропало, и отец почему-то заподозрил, что взять должна была маленькая Христина. Она на самом деле не брала и уверяла в своей невиновности. Но он ничего знать не хотел и приготовился ее сечь. Перепуганная девочка, из страха наказания, решилась солгать и признала себя воровкой. Этот случай мама часто напоминает мне в доказательство того, как осмотрительно должно судить детей. Сама Екатерина Петровна была, повидимому, женщина добрая. Она получила польское воспитание (хотя была православная), так что в доме любили польскую речь, была прислуга из поляков, и даже дети немного болтали по-польски. Моей

---

[1] Далее Тихомиров эту фамилию пишет: Шекарадзины.

матери было всего 9 лет, как над семьей разразился первый удар: Екатерина Петровна умерла от жабы. Мама со смутным чувством вспоминала эту тяжелую минуту, значение которой еще не понимала вполне. Она только видела общее отчаяние, и особенно оставалось у ней в памяти, что умирающая все икала, — это особенно пугало девочку, которая почему-то видела в этом самую смерть. Это произошло в 1837 году.

Оставшись с кучей малолетних вдовцом, Николай Васильевич на следующий 1838 год отправил Варвару и Христину в Керчь в институт. В доме отца по смерти матери была такая тяжелая атмосфера, что девочки нашли даже институтскую жизнь чрезвычайно свободною и не скучали. Здесь они на чужбине сблизились между собой и подружились на всю жизнь. Впрочем, и обстоятельства жизни их потом никогда не разлучали совсем и надолго.

Но не прошло двух лет, как умер и Николай Васильевич (в 1839 — 1840 учебном году). Это был уже полный разгром злополучной семьи, сплошь состоявшей из несовершеннолетних. Дядя детей, Степан Петрович Шекарадзин (живший в Замосцьи), назначен был их опекуном. Сам по себе человек добрый, он, к несчастью, находился в полном подчинении у жены своей, о которой нельзя сказать хорошо. Имущество сирот было расхищено. Впоследствии мать моя, уже будучи замужем, успела кое-что выхлопотать обратно, именно несколько сот рублей денег и две-три драгоценные вещи. Одна из них долго сохранялась в семье моей, — алмазная брошь, или, вернее, турецкий орден Меджидье: алмазное солнце, окруженное полумесяцем из алмазов. Судя по этим остаткам, видно, что у Каратаевых были хорошие вещи. Но сохранились лишь крохи. Пропали даже 6 пудов серебра, по завещанию записанные на имя Христины. Чтобы не компрометировать дядю, моя мать не стала больше ничего добиваться.

Благодаря дружным хлопотам сослуживцев, повидимому, любивших покойного, а также при участии Шекарадзина, сироты были пристроены лучше, чем можно было ожидать. Мария и Ольга отправились в Замосцье, к Шекарадзину, Владимир помещен в Александровский корпус, Настасья помещена в Александринский институт в Москве (институт для сирот штаб- и обер-

офицеров); Александру взяло семейство инженера Базяева, у которых она и вышла за богатого помещика Ержмановского (село Толбуряты, около Хотина); Анну приютил инженер Тихонов, у которого она тоже вышла замуж за какого-то помещика.

Варвара и Христина были оставлены на казенный счет в керченском институте на 4 года, а остальное время курса—на счет графа Воронцова.

Керченский Кушниковский институт получил свое название от имени феодосийского купца Кушникова, давшего некоторый капитал на его основание. Это большое мрачное здание, еще более затеняемое садом с огромными деревьями перед окнами дортуаров. Внутри какие-то монастырские коридоры, почти темные, переходы, холодно и мрачно. Против института, наискось перекрестка, — собор, а мимо — дорога из собора на кладбище. В управлении заведением царствовала николаевская дисциплина, а кормили и содержали скудно. Институт был не из богатых. Но мама так чувствовала свою беспомощность на свете, что не очень-то тяготилась неудобствами своего пристанища и скорее со страхом думала о той минуте, когда придется выйти на ничего доброго не сулившую свободу. В таком положении она легко обращалась мыслью к богу и выработала искреннюю религиозность. На нее находили иногда порывы желания жертвы богу. Однажды она вздумала провести великий пост на хлебе и воде, долго исполняла это, исхудала, готова была свалиться, когда начальство, дознавшись, наконец, в чем дело, приказало прекратить это самоумерщвление.

Понятно, что обе сироты, Варвара и мама, сдружились в институте. Однажды мама была даже обязана сестре самой жизнью. Институток водили летом купаться на бухту, в институтскую купальню. Однажды мама, зайдя на глубокое место, захлебнулась и стала тонуть. Шумная толпа купающихся среди игр своих не заметила этого. Мама стала уже терять сознание. Ей не было ни страшно, ни больно. Ей казалось, что она находится в каком-то прекрасном зеленом пространстве, и слышалась тихая, гармоническая музыка. Еще немного мгновений, и все было бы кончено. Но тут тетя Варя (т.-е. сестра ее), ничуть не подозревая, что мама тонет, а просто играя, вытащила ее из воды, и тут только

явилось у мамы сознание и ужас. Она судорожно схватилась за веревку и долго не могла опомниться, а потом, крепко держась за веревки, кругом купальни дошла до лестницы.

С тех пор она стала очень бояться воды, и поныне, хотя купается, но на самых мелких местах, стараясь за что-нибудь держаться, и не решится ни за что поплыть ни на один аршин. Она в институте употребляла все усилия совсем не купаться, но, конечно, классная дама насильно заставляла. Все же эта история была институтками скрыта от начальства, из опасения, что, пожалуй, перестанут водить в купальню.

В 1844 году мать и тетя Варя кончили курс. Настал вопрос: куда деваться? Тетя Варя была приглашена на урок к богатому колонисту Кампе, под Симферополем. Это, конечно, было случайное, ненадежное место, но выбирать было не из чего. Маме более посчастливилось. Эта девушка, почти девочка, тонкая, изящная брюнетка, с серыми глазами и роскошными косами, с задумчивым выражением прекрасных черт лица, рано начавшая страдать, вечно самоуглубленная, такая беззащитная перед суровой сиротской жизнью, возбуждала невольное сочувствие Варвары Николаевны Темсницкой, начальницы института. Темсницкая была строга, даже для тех времен, но вовсе не без сердца. На первый раз она приютила сироту в качестве пепиньерки [1]. Год жизни был обеспечен. Но более года в пепиньерках не дозволялось оставаться. Что же дальше? Темсницкая только об одном и мечтала: выдать m-lle Каратаеву замуж в течение этого времени.

VI.

В 15-м Черноморском линейном батальоне, стоявшем в том же Геленджике, лекарем состоял титулярный советник Семен Иванович Соколов. Он был товарищем отца по московской медицинской академии. Естественно, они дружески сошлись здесь, на краю света. Между прочим, в этих крепостишках береговой линии, благодаря неуютности жизни или уж не знаю, почему, женились очень охотно. Только жениться было не на ком. Мне рассказывали курьезный случай об одной даме из Крыма или из

[1] Оставленные для подготовки к педагогической работе.

66046
66046
24687

Одессы, — не помню. Она имела трех дочерей и придумала очень остроумно совершить с ними поездку на береговую линию. Но в то время на береговую линию не допускался никто без одобренной начальством надобности. Предприимчивая дама откровенно объяснила, зачем едет, и получила свидетельство, в котором было формально сказано: «Выдано сие (такой-то) на проезд по береговой линии для выдачи замуж дочерей». Конечно, всех и выдала.

Соколову, собственно говоря, и не следовало бы думать о семейной жизни. С молодости он вел жизнь довольно разгульную, при слабом здоровьи, и в описываемое время был человек, видимо, разрушавшийся, в последнем градусе чахотки. Мысль о женитьбе в таких условиях была, особенно для медика, прямо предосудительна, и, несмотря на свои дружеские отношения к Соколову, отец не мог не порицать его за это. Однако, Соколов мечтал о семье и в 1845 году взял отпуск и отправился в Крым, повидимому, специально за тем, чтобы найти себе невесту. А, впрочем, господь его ведает. Может быть, это одно предположение.

Как бы то ни было, он приехал в Керчь. В это время в Керчи проживала графиня Опперман, жена начальника II отделения береговой линии, и в то же время большая приятельница Темсницкой. Само собою, Соколов побывал у своей начальницы, графини Опперман. Темсницкая немедленно составила план выдать за него свою злополучную protegée. Она прямо стала понуждать мою мать согласиться на предложение, которое сделал Соколов по кратком знакомстве.

Влюбиться в Соколова было мудрено. И выйдя за него замуж, бедная мама только боялась его. Но убеждения Темсницкой были очень внушительны. Она указывала сироте на ее безвыходное положение, на то, что она неизбежно пропадет. К этому должно прибавить привычку беспрекословного повиновения строгой maman (как институтки называли начальницу) и, наконец, детскую наивность и неопытность девушки. Маме было 17 лет, и она, по выходе замуж, втихомолку от сурового супруга утешала себя игрою в куклы...

В конце концов, мама согласилась, и даже, при всех прочих отрицательных чувствах, не без доли благодарности чело-

веку, который все-таки, как никак, давал ей приют и принятое общественное положение.

Свадьба состоялась летом 1845 г. И молодые немедленно отправились в Геленджик. Графиня Опперман, покровительствовавшая этому бракосочетанию, дала или подарила, — уж не знаю, как выразиться, — маме свою черкешенку Наташу. Эта Наташа не была крепостная, но пленница. Графиня Опперман ее окрестила и теперь дала ее маме в прислуги. Нынче все это кажется очень дико и непривычно. В те времена относились к людям иначе, и нельзя сказать, чтобы всегда выходило хуже. Эта Наташа, насильно взятая к русским, насильно крещеная, насильно данная неизвестной ей госпоже, стала истинным другом маме. Впоследствии она вышла замуж, и ее сына Мишу я знал долго. Она, живя в других местах, расставаясь с нами иногда на многие годы, осталась до конца жизни таким другом мамы и всей семьи нашей, как нынче этого уже не бывает между «господами» и «прислугой». Нужно добавить, что я знал Наташу чисто русской и очень набожной христианкой. Видно, старое «насилие» было насилием больше по форме и соединялось с бо̀льшею любовью к человеку, нежели нынешние формальные деликатности, при которых так легко, так постоянно гибнут все со всеми своими якобы «человеческими правами».

По приезде в Геленджик первою заботою мамы было вызвать к себе сестру, которая оставила урок у Кампе и тоже поселилась у Соколовых.

Жизнь мамы с первым мужем была очень тяжким крестом. Из-под венца она попала прямо в сиделки. Соколов был человек прямо умирающий, — трудно понять его фантазию жениться. С женой был он суров, как, впрочем, и понятно в человеке, вечно страдающем. Жена усердно и терпеливо ухаживала за больным. Но семейная жизнь эта была непродолжительна. Через полгода после свадьбы, 6 января 1846 года, Семен Иванович умер, оставив свою молодую вдову без всяких средств и с кучей долгов. Долги эти настолько превышали средства покойного, что опытные люди посоветовали его вдове совершенно отказаться от наследства.

Долги эти, впрочем, впоследствии уплатил Александр Александрович Тихомиров.

*

VII.

Итак, хитросплетения madame Темсницкой привели только к тому, что ее воспитанница попала в еще более безвыходное положение. Но, как всегда и в хорошем, и в плохом, выходит не так, как мы надеемся или опасаемся.

17 августа 1847 года состоялось бракосочетание мамы с покойным отцом моим. Мудреными путями привел их господь к союзу на всю жизнь.

Как они познакомились, — это понятно. Отец был товарищ Соколова. Он же его и лечил. Во время продолжительного «сидельчества» Христины Николаевны он мог ее хорошо узнать. По смерти Соколова отец остался одним из ближайших друзей дома, т.-е. волей-неволей — отчасти покровителем молодой женщины. Раньше он не думал о женитьбе, даже избегал ее. Может быть, он не покидал мечты выбраться с Кавказа в Москву. Но тут обстоятельства естественно сблизили его с будущей женой, и мало-по-малу возбудили в нем мысль соединить с ней свою судьбу. Как я говорил, мама не только в молодости, но очень долго была очень хороша собой. Отца же даже я еще помню молодцом мужчиной. Рослый, сильный, с приятным, умным лицом, он сверх того имел очень редкий характер. Это был самый хладнокровный и мужественный человек, какого я только видел на свете. Пугаться и теряться он, кажется, просто не умел. С этим он был добр и кроток необычайно. Мама, напротив, вся была из нервов, вечно кипучая, вечно увлекающаяся. Они как бы естественно дополняли друг друга характерами.

Не засиделась в девушках и Варвара Николаевна (тетя); она скоро вышла замуж за Андрея Павловича Савицкого, сослуживца покойного Соколова и друга отца моего.

С выходом замуж за отца моего для мамы наступила эпоха передышки, самая счастливая эпоха ее жизни, пока Крымская война не разрушила ее тихого пристанища в Геленджике. Это несколько лет ее лучших воспоминаний. В Геленджике военным жилось очень недурно. Мама, сверх того, имела любимого мужа. Скоро пошли дети, а мама со счастьем отдавалась заботам о них. Много лет спустя, когда я был юношей, а мама уже пожилою, помню, мы шли из Тамани на пароходе. Капитан, уже старик,

оказался бывшим молодым лейтенантом береговой линии и геленджикским знакомым. Разговорились, конечно, пошли воспоминания, и бравый капитан, смеясь, рассказывал, как он, бывало, любовался глазами матери... Она, смеясь, созналась, что совсем не замечала этого. «Ну, где же,—заметил капитан.—Вы тогда вечно со своими детишками возились. Конечно, ничего не замечали».

Семейство наше выросло довольно быстро. В июне (7-го числа) 1848 г. родился первый сын, Владимир. Зимой 1850 г. (в январе или феврале) — второй, скоро умерший, сын Лев. В 1852 г., января 19, родился я (т.-е. второй Лев). В 1853 г., 29 октября, родился последний ребенок, дочь Мария, которой еще грудным ребенком пришлось убегать от неприятеля. Но об этом ниже.

Меня назвали Львом, но, собственно говоря, должны бы были назвать Митрофаном. Перед моим рождением мама видела во сне святителя Митрофана, ее благословлявшего. Поэтому она решила назвать сына (если родится сын) именем святителя. Уж не знаю, поэтому ли она приобрела и образок св. Митрофана, или раньше у нее был... Однако же, Володя, когда я родился, обрадовался, что «у нас опять есть Лева», и так ни за что не хотел меня иначе называть. В уважение этого меня и окрестили Львом (18 февраля Льва, папы Римского). Крестной моей матерью была тетя Варвара Николаевна (Савицкая), отцом — Ольшанский, Федор Михайлович (маленький таможенный чиновник)... Так и сделался я Львом, однако, в предании семейном св. Митрофан остался как бы покровителем моим. Впоследствии, при отъезде в гимназию в 1864 году, мама меня и благословила образом св. Митрофана, который (т.-е. образок) пробыл со мною всю скитальческую жизнь. Я тоже так смотрю на св. Митрофана, как на моего покровителя вместе с св. Львом.

Этот образок играл особую роль в моей жизни. Во времена студенчества я, конечно, не обращал никакого на него внимания и, уезжая в С.-Петербург в 1873 г. на «пропаганду», я этот образок забыл где-то. Во время моего отсутствия в Москве у меня был обыск, и все мои вещи рассеялись неизвестно где. Между тем, через каких-нибудь два месяца после этого пренебрежительного забвения материнского благословения был арестован и несколько лет провел по тюрьмам. По истечении четырех лет тюремной жизни моей ко мне приехала мама и принесла ко мне

в тюрьму опять этот же образок (который нашла в Москве у брата Владимира). Очень скоро после этого меня освободили из тюрьмы, и с тех пор у меня составилось какое-то мистическое или суеверное отношение к этому образку. Никогда я с тех пор ни на день с ним не расставался. Во всех поездках, во всех бегствах своих я имел его с собой. Все случалось оставлять и забывать: вещи, книги, деньги, но не этот образок, который я в минуты величайшей поспешности совал хоть в боковой карман. С ним бежал я и за границу. Когда же для меня наступила минута возрождения, и я решился открыто стать на стороне вновь сознанной мной веры, я в Париже этот же образок повесил по-русски в почетном углу комнаты, как знамя своего разрыва с атеизмом и революцией...

По возвращении в Россию я побывал у мощей св. Митрофана, и поныне молюсь вместе обоим угодникам, св. Льву и св. Митрофану.

VIII.

Возвращаюсь к пребыванию нашей семьи в Геленджике.

Он, как и остальные наши укрепления, тогда представлял своеобразную жизнь. Это были как бы островки в море, отрезанные от всего остального мира. С одной стороны море. С другой — еще более страшные «горы» с их хищными обитателями. Весь мир наш ограничивался стенами крепости или, в лучшем случае, пространством, защищенным сторожевыми башнями. За стены нельзя было выходить иначе, как под прикрытием войска: Даже сено косили не иначе, как в виде военной экспедиции, с пушками, с перевязочным пунктом, и почти всегда с перестрелкой. С таким же военным прикрытием устраивались иногда пикники на зеленой травке за крепостью. Мелкие нападения горцев были беспрерывны. Мать рассказывает, как однажды военное общество устроило пикник, и вдруг — нападение!.. Ударили тревогу... Пошла пальба. Бедные дамы в своих нарядах пустились бежать в крепость, а их мужья, братья и кавалеры, принужденные по тревоге явиться на свои посты, не знали, что и делать: женщин ли провожать до стен, или торопиться к местам службы. Натерпелись страху, но за то сколько потом было смеху и рассказов!

Отцу, как врачу, постоянно приходилось подвергаться опасности, приходилось участвовать и в экспедициях в горы. Так, в 1843 году ему пришлось быть в ночной экспедиции (с 6-го на 7-е января) на реке Вулканке, где наши сделали десант и взяли турецкое контрабандное судно с орудием. За отличие в этом деле отец также получил денежную награду (125 р. 47 к.). В 1850 году он был в большой экспедиции генерала Вагнера. Наш десант тогда двинулся из укреплений Новотроицкого и Тенгинского, разорил на Вулани аул Кермсу, дрался с горцами и захватил какое-то их судно, а потом разорил аул Беш, около Новотроицкого. Усердие отца и его хладнокровное мужество всегда себя заявляло, и служил он успешно. В 1851 г. он получил Анну 3-й степени и произведен в коллежские ассесоры.

Несмотря на вечную блокаду и экспедиции, наши жили весело. Их мирок был дружно сбит. Тогдашнее общество военное имело многие превосходные качества. В нем было много дворянского благородства, и, вообще говоря, оно отличалось значительною развитостью, следило за литературой и т. п. В крепости устраивались и спектакли. Благоустройство крепости могло быть завидным и для нынешних городов. Гарнизон старался изукрашивать, как можно, свой маленький клочок земли. Надо сказать, что Геленджик очень живописен. Маленькая бухта его очень красива, совершенно в роде круглой тарелки. Сзади крепости — очень красивая группа гор, а с другой стороны — долина, тянущаяся к Кабардинке. Это так называемая Марьина роща, в то время густой лес. В самой крепости развели много садиков и цветников. Мать рассказывала, что их крыльцо представляло виноградную беседку, где прямо рвали кисти превосходного винограда. Деревьев, конечно, не могло быть много. Но я еще видел знаменитый дуб, гордость геленджикцев. В 90-х годах этот великан в несколько обхватов был уже сломан на половине высоты. Роскошные пирамидальные тополи, которые поныне видны, когда еще и самого Геленджика не видно, — тоже остатки тех времен. Под этим дубом собиралось крепостное общество и играла музыка...

Весь Геленджик был так разорен во время Крымской войны, что в 90-х годах, когда я, по рассказам матери, старался восстановить план бывшей крепости, я уже ничего не мог найти,

не мог определить даже места их дома. В жалкой деревушке, вновь созданной, только три пункта могли помочь несколько ориентироваться: дуб, церковь, поставленная там же (приблизительно), где была и прежняя, и знаменитый колодезь-родник, хотя ныне совершенно разоренный и порядочно загаженный... Но он столь хорош по природе, что у местных жителей, очевидно, не знакомых с действительной историей Геленджика, есть легенда, будто бы из этого родника в старину возили воду султану в Константинополь.

Наши гарнизоны не имели недостатка в продовольствии. Они получали провиант из России: заграничные суда беспошлинно привозили им всякие тонкие угощения Запада, всевозможные консервы, вина, ликеры. Горцы собирались под крепостными орудиями на сатовки[1] (рынок), принося и привозя все свои продукты: живность, овощи, мед и т. п. Огороды были также и в солдатских слободках.

Эти сатовки под жерлами пушек бастионов, вне крепости, видал еще и я в Новороссийске. Зрелище своеобразное. Горцы знали кое-какие русские слова, русские — кое-какие горские. Остальное дополнялось мимикой. Я мальчиком, в 60-х годах, знал немало горских слов (вероятно, нотухайских). Помню счет: 1—зы, 2—тку, 3—щи, 4—пли, 5—тфу, 6—ибу, 7—бгу; дальше не помню уже. Курица—керке, вода—су... Перезабыл все слова. «Здравствуй» — «о-сапши», «прощай» — «отхадуг». Были слова, кажется, просто выдуманные, в роде того, что лошадь называлась «лашà»... Солдатов черкесы называли вообще «Иван».

На этих сатовках случались и убийства, но вообще как случай необыкновенный. Как правило, все шло прекрасно, а, между прочим, черкесы все продавали чрезвычайно дешево.

Из случаев убийств горцами помню по рассказам два. Один раз горец убил офицера на сатовке и ускакал. Другой случай удивительнее. Офицер имел друга — кунака, которому, конечно, верил вполне. Однажды этот кунак заманил его гулять за крепость, и в этой прогулке офицер был убит. Кем, — это, кажется,

[1] Сатовка от слова «сату» — покупать. Это, вероятно, на языке шапсугов, а, может быть, нотухайцев. Новороссийск был в области нотухайцев, а Геленджик, кажется, выходил уже к убыхам. *(Прим. автора).*

осталось невыясненным. Жить приходилось, во всяком случае, с осторожностью. Но и наши с черкесами не церемонились. До появления штуцеров горцы постоянно шлялись по горам против крепости, потому что пули туда не долетали. Когда прислали новые штуцера, на горах, по обыкновению, виднелись горцы. «Ну-ка,—сказал офицер солдату,—попробуй, долетит ли»... Тот без церемонии выстрелил. Не знаю, был ли кто убит, но черкесы разбежались: знак, что новая пуля долетела. Тогда, впрочем, воспитывались в бою, было много рыцарства, но жизнью не особенно дорожили.

Хороший знакомый нашего дома Маслович особенно запомнился мне следующим случаем. Однажды где-то в экспедиции этот человек, вообще редкой храбрости, имел несчастье принять отряд казаков за горцев и закатить в них картечью. Вельяминов, тогда начальствовавший, принял это за доказательство того, что Маслович струсил, растерялся. С тех пор Маслович был в его глазах скомпрометирован. Он его систематически вычеркивал при всех представлениях к повышениям. И вот Масловичу снова пришлось подвергнуться нападению черкесов. На его отряд наскочили так неожиданно, что солдаты побежали, и, кажется, две пушки были захвачены черкесами. Взбешенный Маслович, однако, успел кое-как восстановить порядок, построил своих солдат, бросился на черкесов, отбил свои пушки, и растрепанные горцы укрылись в лес. Все думали, что Маслович поведет атаку на лес, чтобы окончательно рассеять неприятеля. Но он решил примерно наказать своих солдат. На поляне, перед лесом, он поставил их в учебный строй и начал ученье. Пули сыпались из леса, солдаты раненые и убитые падали, и, конечно, никто не подвергался бо̀льшей опасности, как сам командир. Но Маслович упорно муштровал своих злополучных воинов, пока не счел их достаточно наказанными. Тогда только он скомандовал атаку и, конечно, рассеял горцев.

По донесении об этом, Вельяминов изменил свое мнение о Масловиче и стал относиться к нему, как к храброму офицеру.

Храбр он, действительно, был на редкость. Позднее, во время Крымской кампании, когда неприятель бомбардировал Новороссийск, Маслович командовал одной из батарей, расположенных близ нынешнего городского мола (там, где берег крутой). Наши,

конечно, тоже отвечали и, между прочим, калеными ядрами. Во время этой жаркой орудийной перестрелки Маслович заметил, что на одном из неприятельских пароходов какой-то командир (или лейтенант, не помню) все время не сходит с рубки, бравируя опасностью. Это подзадорило Масловича. Он надел халат, вооружился турецкой трубкой и так, по-домашнему, покуривая трубку, все время расхаживал по брустверу, под выстрелами неприятеля, отдавая команду своим и наблюдая действие их огня. Эта бравада была замечена неприятелем, и после бомбардировки, во время перемирия, первый вопрос с обеих сторон был: кто эти храбрые офицеры?

При такой отчаянности, Маслович никогда в жизни не был ранен, но во время той же Крымской кампании умер от холеры.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ [1].

1870 г.

I.

В августе месяце 1870 года я прибыл в Москву для поступления в университет. Мои отец и мать в то время были в Новороссийске, где отец был главным доктором госпиталя. Сестра Маша еще оставалась в институте (керченском). Брат Владимир был студентом юридического факультета в Москве.

Я только что окончил курс в керченской Александровской гимназии. Свои гимназические годы я расскажу, если бог даст, впоследствии. Теперь скажу только несколько слов о себе, может быть, небесполезных для понимания моей последующей жизни.

Я с детства был мальчик болезненный, физически мало развитой, неловкий, хотя выносливый. В отношении духовном я был чрезвычайно способным, чрезмерно рано развитым; в 9 лет зачитывался романами. Фантазия была развита до болезненности. Был очень упрям, но не настойчив; вспыльчив, но не особенно злопамятен, хотя нельзя сказать, чтобы совсем легко забывал обиду. Обижался легко; был очень самолюбив и даже тщеславен. Застенчив был чрезмерно, как редко можно видеть. В общей сложности, однако, окружающие ко мне относились хорошо, как взрослые, так и сверстники в гимназии.

Учился я очень хорошо, ежегодно получал награды, был первым учеником во всех классах и кончил курс с золотой медалью.

В юности, как и в молодости, я много мучился ложным сознанием своей якобы бесхарактерности и беспамятности. Это последнее качество на самом деле вовсе не было мне свойственно. Память у меня была всегда слабее, нежели

---

[1] Тетр. № 24 и 25.

способность рассуждения и понимания, но вовсе не слаба. Доказательством этого служит то, что, учась крайне небрежно, тратя время на бесконечное чтение, на уроки и т. п., я, однако, учился вполне блестяще. Наконец, даже до сих пор я с тех времен помню огромную массу фактов, без сравнения бо́льшую, чем другие мне известные люди хорошей памяти. И, однако, в этом лжеощущении была доля реального, только имевшая иной источник. Дело в том, что все воспитание, как дома, так и в гимназии, у нас совершенно не развивало способности сосредоточиваться, способности преднамеренного внимания. Мы воспитывались по принципу заинтересовывать предметом, учились не тому, что нужно, что обязательно, и не потому, что знать нужно и обязательно, а потому, что интересно, тому, что захватывало нас само (или действительно само, или было так подстроено воспитателями, что захватывало нас).

Мы были не господами, а рабами изучаемого предмета. Мы не были научены устремлять внимание преднамеренно, а, наоборот, приучены к тому, что предмет сам, помимо нашей воли и без нашего выбора, приковывал к себе наше внимание. Не мы выбирали предмет, а предмет нас. Отсюда происходило, что, когда, с развитием сознательности, у меня появлялось желание узнать то или иное, я не умел достаточно прочно укрепить на этом предмете свое внимание, а, стало быть, и не запоминал его достаточно хорошо. Это была болезнь поколения, сделавшая его таким бесплодным и сумасбродным.

Недостатком воли я также в сущности не страдал. Когда я ясно знал, чего хотеть, я шел к этому желаемому очень упорно, иногда даже резко. Но чего хотеть? Это опять недостаток воспитания нашего поколения. Люди понимают, чего хотят, только при прочном миросозерцании, где добро и зло, положительное и отрицательное ясно определены или по крайней мере привычно ощущаются. У нас ничего подобного не было.

В детстве я был очень набожен; ребенком я с полной верой молился, во время херувимской прося бога о том, что мне было нужно, уверенный, что в такую минуту господь снизойдет на моление. Я также очень любил Россию; почему, — не знаю, но я гордился ее громадностью, я ее считал первой страной на свете. У меня, конечно, не было ясного понимания политических

отношений, но я чувствовал идеал всемогущего, всевысочайшего царя, повелителя всех и всего. Таковы были основы. Но затем все, абсолютно все, что только приходилось читать, узнавать, слыхать от других, согласно и ежедневно подрывало эти основы тем успешнее, что я привык рассуждать чуть не с пеленок. Мне было 10 лет, когда я в Темрюке читал «Мир до сотворения человека» Циммермана. Помню трепет, с которым я взял эту книгу. Я хотел верить в бога, в бога библии и евангелия, и уже тогда знал от кого-то, что этот бог якобы не прочен... Я себе представлял, что Циммерман будет разрушать мою веру, и с лихорадкой перелистывал книгу. Мое торжество было велико, когда я нашел у Циммермана слово «бог», произносимое с уважением; на этот раз я уцелел. Но факт в том, что я уже 10-ти лет рассуждал, кто прав: Циммерман или Моисей, бог или Караяни (был у нас такой «передовой», впоследствии обокравший кассу и без вести сбежавший, вероятно, за границу). Эта готовность, решимость рассуждать, вне всякого соответствия со способностью рассуждать, могли привести только к полному хаосу в голове.

В гимназии я зачитывался чуть ли не с третьего класса «Русским Словом» [1]), которое находил—у кого же?—у дяди Савицкого, монархиста, консерватора, поклонника Каткова. Моим любимым автором стал скоро Писарев. Сначала я только восхищался хлесткостью полемики, не понимая хорошенько смысла. Но потом мало-по-малу стал запоминать слова и идеи. С таким руководителем, конечно, все мои детские верования стирались в какую-то кашу, растворялись, улетучивались. От них у меня осталось нечто смутное, в виде суеверия, инстинкта, поэтической грёзы, но сознание в них ничего не оправдывало. А сознание, понимание, рассуждение было у меня, так сказать, официально верховным решителем лжи и истины.

В 1866 году я был в 4-м классе гимназии. Раздался в Петербурге выстрел Каракозова — первый акт безумия безумного поколения [2]). Помню, нас повели в церковь на благодарственный молебен... В сущности, ложная точка зрения: конечно, великое счастье, что государь спасся от опасности, но разве день, когда русский стреляет в русского царя, не есть скорее день траура? Нужно не благодарить бога, а каяться, просить прощения! Проявилась страшная язва, в существовании

которой виновата вся страна. Как же она, будто бы чистая, смеет благодарить бога за то, что он не попустил ее нечистоте проявиться в торжестве цареубийцы?... Как бы то ни было, помню, что ни у меня, ни у кого из товарищей уже не замечалось никакого страха перед совершившимся. В церкви мы себя держали скверно, несерьезно, со смешками. Конечно,—избави бог,—не было сочувствия убийце, но не было ничего и против него. У нас был один (только один) учитель, который заплакал... Это был старенький, седенький, тихенький Николай Иванович Рещиков, над которым все молодое шарлатанство (в роде Л., Н. и т. д.), не знавшее сотой доли того, что знал Рещиков, постоянно подсмеивалось... Этот Рещиков при известии о покушении, тут же, в классе, заплакал... И мы, дети, заметили тут лишь комическую сторону и с хохотом передавали друг другу, как всхлипывал старичок... Бедный, бедный Николай Иванович! Единственный из наших наставников, который еще сохранил способность понять сразу ужас происшедшего!

Официальные ликования наполняли город. Портрет Комиссарова Костромского висел на всех стенах. И вот, помню, в самой банальной чиновничьей семье такие разговоры: «Никола-брат», как его звали, сидит с нами (мы были гимназисты 3-го и 4-го класса) и говорит: «Да, конечно, не удалось (т.-е. Каракозову),—так все его ругают, а если бы удалось, так спасибо бы сказали». Я несколько удивлялся этим речам, не возмущался нисколько, ни на волос, а просто еще не знал, что есть такая точка зрения. А потом, несколько позднее, начались рассказы о том, что Каракозова будто бы пытали, что Комиссаров—пьяница, и с пьяну, нечаянно толкнул руку цареубийцы... Чрез эти поры какое-то мерзкое чувство просачивалось до нас, мальчишек...

В классах высших, т.-е. 5, 6 и 7, я имел вполне республиканские «убеждения», да и как иначе? Я не слыхал ни единого слова в защиту монархии... В истории я учил только, что времена монархии есть время «реакции», времена республики «эпоха прогресса». Во всем, что читал, видел лишь то же самое. Даже от Савицкого не помню толковой защиты принципа монархии. У него, кажется, были английско-конституционные симпатии, на подкладке консерватизма и постепенности. Монархизм отца тоже был какой-то инстинктивный, мало высказываемый, да, очевидно,

и очень мало защищенный теоретически. Во мне отец оставил зародыши монархизма, но собственно чувством своим, теплым отношением к императору Николаю, рассказами об отдельных фактах духа, который то время умело создавать в русских, и т. п.

Но нужно было быть не знаю чем, чтобы из этого крошечного материала построить миросозерцание, способное бороться с океаном демократического республиканизма, нас охватывавшего. Что касается постеповщины, то я, будучи в теории революционером, на практике, пожалуй, и был тогда постепеновцем.

Я был революционер. Революцию все, все, что я только ни читал, у кого ни учился, выставляли некоторым неизбежным фазисом. Это была у нас, у молодежи, вера. Мы не имели никакого, ни малейшего подозрения, что революции может не быть. Все наши Минье, Карлейли, Гарнье-Пажесы [3]), Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и т. д., — все, что мы читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. Мы в это верили, как в движение земли вокруг солнца. Нравится этот «закон» или нет, «закон» остается в силе.

Такая же безусловная вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого смутно, очень смутно.

Также мы делались материалистами. Материализм доходил до полного кощунства. Говели мы обязательно. Помню, мой хороший товарищ, Ф., в 6 или 7 классе, взявши в рот св. причастия, не проглотил, а дошел потихоньку до улицы и... выплюнул. Об этом он рассказывал с самодовольствием.

Все это нигилистическое воспитание, при всей резкости, было, однако, полно противоречий. Идеи коммунизма и идеи безграничной свободы. Отсутствие обязательности и требования нравственности, неизвестно для чего и по какому праву. Республика — и невозможность ее. Вдобавок — борьба всего этого с основным русским фондом души. Получался хаос, противоречия. Ничего ясного. Этот хаос не был невыносимым только по молодости, потому что жизненная сила все же играла; во-вторых, потому что впереди был университет, который должен был все разрешить окончательно, указать, как и что делать, внести в хаос свет и мысль.

И вот, когда этого не случилось, — явилась страшная тоска. Оказалось, что на душе:

...... предмет
Желаний мрачен: сумерки души,
Меж радостью и горем полусвет

Как говорил Лермонтов:

Я к состоянью этому привык;
Но ясно б выразить его не мог
Ни ангельский, ни демонский язык.

Именно так и было, и это состояние было невыносимо и толкало неизбежно куда-нибудь дальше, в какое-нибудь отчаяние, в какое-нибудь разрешение «сумерков души», к исканию ясного предмета желаний. Так пошли в революцию, в народ...

II.

В ожидании, возвращаюсь к воспоминаниям более близким хронологически.

Я отправился именно в Москву, а не другое какое место, по некоторой семейной традиции.

В Москве кончил курс отец. В Москве в это время учился брат. Но сам лично я не любил Москвы, не любил и не понимал вообще Великороссии. Она для меня пахла каким-то спертым воздухом, ладаном, щами... Ее величие мною не ощущалось. Я даже не интересовался ее древностями. Еще не видя Василия Блаженного, уже знал, что это — «безобразие»; о Кремле вспоминал только погреба да застенки и т. д. В церкви я тогда не ходил. Вообще меня в Москву не тянуло решительно ничто, кроме того, что там был брат, который мне поможет устроиться.

Брат же мой был несколько иного рода. У него всегда было очень много скептицизма и отчасти духа противоречия, побуждавшего быть скорее «напротив» какого бы то ни было принятого взгляда, чем итти у него на буксире. Сверх того, у него было много положительности, стремления видеть ясно, допуская лишь ощутимое, осязаемое. Поэтому он в университете, хотя и имел множество «радикальных» знакомцев, всегда относился

к всяким бунтам сверху вниз, насмешливо. Он умел быстро понять мальчишество или ничтожность носителей всех этих «протестов». В университете он не впутался ни в одну историю. «Москвичом» он не был, но все же относился к Москве лучше, да отчасти и московские влияния чувствовал. Так, он хорошо относился к Гилярову-Платонову [4]) (изд. «Совр. Изв.»), с которым был знаком, потому что чуть не два года состоял корректором его газеты. Он был хорошо знаком с семейством Аксаковых, не тех, не знаменитых, а других. Это была семья старинная, барская, со славянофильскими убеждениями, с традицией покровительствовать молодежи, наукам и т. д. Отец, Петр Николаевич, был просто добрый барин, но мать (имя?........) очень умная женщина. Сын же Николай [5]), доктор философии, хотя довольно обыкновенных способностей, все же имел славянофильские мнения. В семье этой брат долго был учителем и сдружился с нею. Здесь он, по обычному духу противоречия, играл роль, относительно говоря, отрицателя; но, конечно, все же столкновения не могли не класть на него самого известной печати. Быть может, еще любопытнее было столкновение с Коптевыми, тоже в качестве учителя. Коптевы — это была богатая, барская семья, кажется, Тульской губ., деревни Остроги. Сам Коптев старик-крепыш в самых «реакционных» убеждениях, но убежденный, горячий человек. «Я — гасильник, я — гасильник»,— кричал он в разговорах с братом, колотя себя в грудь кулаками. Он горячо доказывал вред образования для народа и т. п. Когда брат явился из Москвы по вызову на урок, Коптевы, увидав его пальтишко, нисколько не гармонирующее с трескучими морозами, весьма поморщились на этот «нигилизм», но мало-по-малу свыклись с учителем. А семья была любопытная по связям. Когда у них в длинные зимние вечера читали новинку того времени — «Войну и Мир» Толстого, старая нянюшка Коптевых узнавала в героях романа семейных знакомых и сама говорила: «Вот это такой-то, этот такой-то». В такой атмосфере, конечно, можно получить большой запас тех влияний и отголосков национальной действительности, которые не дают ходу бумажным теориям.

В то время, когда я ехал в университет, Аксаковы жили в своих Юденках, Тульской губ., а брат — у них на уроке. Мы

заранее списались, чтобы я заехал, уж не помню, с какой станции, в Юденки, откуда брат со мною вместе должен был отправиться в Москву, устроить меня там — и потом опять возвратиться на урок. Это путешествие у меня стоит в голове каким-то сном. Все было ново, начиная с грохотавшего поезда. Помню именно в Тульской губ. какую-то «образованную» по костюму семью. Мальчик, смотря в окно, показывал отцу, крича: «Папа, папа, а э н т а деревня, вон уже где...» Мне это э н т а показалась ужасно дикой. Мой южный слух не любил великорусских звуков. Не нравился мне и суровый ландшафт, казавшийся бедным, скудным. Я был как то dépaysé *) и даже тогда не выносил ничего из дороги, кроме каких-то неправящихся мне обрывочков впечатлений.

Свою станцию я чуть не проспал. Помню, соседи разбудили, и я, как угорелый, выскочил во тьму, густо скрывавшую все окрестности бедной станции. Была ночь и — холодная... Сдавши багаж на хранение, я взял какого-то извозчика... Тут стояло несколько мужиков с повозками. Ночь, тьма, дорога крутится какими-то пустырями, ни признака жилья... Свернули куда-то в дрянной лес. Холод пронизывал до костей. Но пока добрались до Юденок, стало почти рассветать.

Мы подъехали к громадному деревянному зданию, в три этажа, как-то холодно и уныло высившемуся на безлюдном ландшафте. Кругом деревья, — не то сад, не то парк. Тихо. Все спит. Но вот при громе наших колес залилась куча псов, яростно лая из-под ворот. Насилу дозвонились мы прислугу. Я спросил, дома ли учитель. «Спит». Я послал записку. Но прислугу, видимо, не поразил мой скромный костюм, и мне пришлось долго простоять на холоде; пока брат проснулся, я имел время наглядеться на все. Это было громадное здание, большая часть которого, видимо, необитаема. В верхнем этаже виднелись даже выбитые рамы; там и сям ставни хлопали, еле держась на петлях. Не трудно было понять, что это лишь доживающие остатки умирающего былого величия **).

*) Чужд окружающему.

**) Далее пометка автора: «М. Семейство Аксаковых, Гюбнер, «рациональное хозяйство», философия, франко-прусская война. Толки по дороге. См...»

III.

«Москва, — как много в звуке этом для сердца русского слилось». Но у меня сердце было не очень-то русское. Москва поразила меня треском, шумом, пестротой, пожалуй, понравилась, пока мы мчались на извозчике с Курского вокзала на Спиридоновку, — но это все. Брат мне показывал и объяснял по дороге, но я не запомнил решительно ничего, кроме какого-то куста ярко красного боярышника, красиво торчавшего из-за деревянного забора. Этот куст мне брат как-то раз и впоследствии показывал — Спиридоновка, на Стрелке, дом не помню чей, у кухмистера Ульянова. Это именно мое первое жилище в Москве. Моисей Иванович Ульянов — чистокровный русак, несмотря на сомнительное имя. Он бывший крепостной. В Москве обжился, завел кухмистерскую и несколько меблированных комнат. Это был добродушный пузан, заплывший жиром, почти безграмотный, но очень неглупый и даже нахватавший там и сям известных сведений. По случаю своих меблированных комнат и кухмистерской он знался со студентами, любил принимать роль добродушного наставителя молодежи; в свою очередь любил расспрашивать о разных научных вопросах, правильнее технических *).

IV.

Устроив меня в Москве, разъяснив университетские порядки и т. п., брат уехал в Юденки. Я остался один.

Мне, впрочем, было не до скуки, по крайней мере сначала, когда нужно было держать экзамен. Слабее всего я себя чувствовал по латинскому языку, несмотря на свою золотую медаль. А между тем ходили слухи, что поступающих на медицинский факультет экзаменуют строго по-латыни. Поэтому я подал прошение о поступлении на юридический факультет, с тем, чтобы немедленно по поступлении перейти на медицинский.

Когда мы собрались в университете на коллоквиум, эта масса молодежи не произвела на меня никакого впечатления, да и сам университет как-то оказался не тем, чего я ожидал. Мне предчувствовался какой-то храм, что-то внушительное,

*) Далее пометка автора: «Знакомство с Ник. Мих. Андреевым. Успенье на Могильцах. Марья Михайловна... См.»

величавое. Но все, что я видел, было как-то слишком просто, слишком мало отличалось от гимназии и производило впечатление чего-то казенного. По своей конфузливости я мало разговаривал с окружающей молодежью. Как и я сам, большинство этих вчерашних гимназистов держали себя не просто, как будто боясь уронить свое достоинство, и, насколько казалось, связи между знакомыми заводились туго. Новички, видимо, держались кружками, по гимназиям. Но у меня своих не было ни души. Я приехал из Керчи один, не считая Есакова, который как-то столкнулся со мною раза два, а потом исчез. Чуть ли он не срезался на коллоквиуме. Были тут еще кубанцы, хотя и незнакомые мне до того, но все же близкие. С ними мы с братом столкнулись в канцелярии, и он меня познакомил. Это были, помнится, Лука Посполитаки, Пузыревский, еще кто-то. Кубанцев тогда вообще в Москве было много.

Но столкновения все-таки были. Так встретился я с тульским Вагнером, который по своей болтливости и экспансивности живо со мной познакомился и затащил к своим тулякам.

Это было в самый разгар коллоквиума. Там, у туляков, я увидел Виктора Александровича Гольцева, впоследствии в своем роде знаменитость [6]).

Там была, конечно, куча молодежи, между прочим, Николай Александрович Морозов [7]) и этот Гольцев. Вагнер поспешил мне сообщить, что Гольцев кончил курс с золотой медалью, и что это вообще очень способный человек.

Гольцев имел вид почти мальчика, безбородого, румяного, очень серьезного и, очевидно, полного сознания своего величия. Товарищи относились к нему как к авторитету, а он к ним очень ласково. Но, вообще говоря, туляки мне тоже не понравились или, правильнее, показались неинтересными. От них разило той же писаревщиной, какая пропитывала меня. На столе валяются Карл Фогт [8]) и т. п. Толки о развитии, последних словах науки и т. п. Я в душе уже начинал как будто чувствовать пресыщение этим «развитием», а они, — по крайней мере производили такое впечатление, — были в самом разгаре. Как бы то ни было, все это были будущие юристы, а я — медик; кончился коллоквиум, и мы перестали встречаться на долгое время.

Экзамен я, само собою, выдержал. Мне было чисто шуточным делом написать такое «сочинение», какое нам задали. Я и еще кому-то успел написать из соседей. Все это разрушало мои иллюзии, слишком пахло гимназией. Наконец, я стал студентом, и через несколько дней уже числился на медицинском факультете.

Я сначала набросился с большим жаром на лекции, мертвое мясо и т. п. Собственно, нам, конечно, не полагалось делать препаратов, но иные из нас покупали у сторожей. Я, помню, купил крошечного ребенка и усердно его резал, никак не умея понять, что такое у меня под ножом. По книжке я знал, что есть подкожный слой жира, но не имел понятия о том, что он может быть красным и таким толстым. И вот я усердно сдирал кожу, обнажая какую-то круглую красноватую зернистую массу, видя, что это как будто не мускулы, и боясь ее резать. Наконец, кто-то из студентов объяснил мне, что это жир, и что его нужно снять прежде, чем дойдешь до мускулов... Само собой, я немедленно накупил книг, банок, пробирок, разных химических препаратов, и все зря, наощупь, как будто играя в «науку», но очень серьезно. Купил и лампочку и со всей этой дрянью возился усерднейшим образом и дома, и в университете. Я засел вплотную, усердно, никуда не выходя, ни с кем не знакомясь. Ходил, конечно, на лекции... Но смешные же молодые люди. Помню, Зернов, профессор анатомии, сказал нам на лекции, что между весом мозга и силою ума не замечается пропорционального отношения... Я был этим как будто оскорблен и сразу решил, что профессор говорит «тенденциозно». Это грубо механическое материалистическое миросозерцание было у меня вбито накрепко, вбито разными Фогтами. Это была вера, не допускавшая никаких сомнений!.. Я сейчас же решил, что Зернов просто «реакционер». Но так как он все же приводил цифры, против которых нельзя было возражать, то мне стало грустно. Несколько утешился я лишь тогда, когда Зернов сделал оговорку, что скорее, дескать, можно поставить в связь с развитием ума количество серого вещества *).

*) Далее пометка автора: «Приезд брата. Моя «наука», чтение, ботаника, Бабухин. Охлаждение к естественным наукам. Политическая экономия и т. п. См.»

V.

В предшествовавших главах я начал многое, что постараюсь окончить, если бог поможет, в более свободное время. И все это касается больше меня лично. Теперь хочу поторопиться перейти к своей радикальной жизни, для чего сначала попытаюсь охарактеризовать среду молодежи 70-х годов, насколько она для меня постепенно открывалась.

Молодежь того времени, вообще, отличалась весьма невысоким уровнем развития. Это не подлежит никакому сомнению. Она, несомненно, страдала огромною душевною пустотою. За исключением слоя, который, вероятно, целиком скоро пошел в революцию и о котором скажу ниже, я совершенно не помню в кругу товарищей своих никаких горячих, душу захватывающих споров, никаких идеальных интересов. Ни высшие вопросы религии, философии, науки, в тех пунктах, где они соприкасаются с философией, ни вопросы нравственности, ни широкие общественные вопросы, — ничего этого не затрагивалось около меня в течение двух лет. Мы ходили на лекции, спорили о частных вопросах той или иной науки, — но это все.

Был у меня товарищ по курсу, Михельсон, еврей, большой, черноволосый детина лет 25. В кругу своей жидовы он считался дельным студентом, да и был им: занимался усердно, хорошо и, конечно, вышел прекрасным медиком.

Будучи на втором курсе, этот Михельсон, помню, в химической лаборатории заявил мне новость, что, дескать, открыт, наконец, северный полюс. Я изумился, стал расспрашивать, как, и что, и откуда. Жид с важным видом начал рассказывать, — и что же? Оказалось, что это он прочитал у Жюля Верна! Большого труда мне стоило убедить Михельсона, что это сказка, да и то лишь потому, что меня поддержали кое-кто из товарищей! Конечно, это случай очень резкий. Но, например, общее явление в среде вокруг меня, — что почти никто не читал газет и еще реже читали журналы.

Компания Рудковского, Швембергера и т. д. хвасталась тем, щеголяла, что, например, вдруг кто-нибудь из них начинает рас-

сказывать какую-нибудь «новость» из прошлогодних газет. Подымался, разумеется, хохот... Раз я, впоследствии, когда уже взялся за «распространение книг», предложил студенту четвертого курса, медику Богословскому, купить «Военно-Статистический Сборник»[9]). Он насмешливо спросил меня: «А большая книга?» — Да, говорю, большая. — «Ну, так не нужно: я больших не читаю». Это, конечно, говорилось для остроумия. А Богословский был вполне дельный, очень умный студент. Собственно в университете я безусловно ни разу, за исключением одного случая, не помню, не слыхал ни одного разговора о политике. Не много их слышал и вне стен университета, да и то самые горячие (да и то относительно, потому что сами по себе были тепловаты) в среде поляков — Станкевича и других. Это было по поводу франко-прусской войны, и симпатии поляков, конечно, были за французов. Вспоминаю этих разных Посполитаки, Поспеловых и т. п. Как проходила их жизнь? Немного лекций, а затем сожительство с модистками, гоньба за ними по бульварам, карты, кутежи.

Под пасху мы устраивали иной раз какое-то подобие домашнего праздника. Не постясь, разумеется, раньше, покупают пасхи, разные пасхальные припасы, напитки, понятно, разговляются... Это устраивается студентами и модистками, с ними сожительствующими. Было бы кощунственно, если бы при этом присутствовала хоть тень глумления. Но ее не было. Это просто привычный случай «разговеться» яствами и питиями. Хаживали под пасху и по церквам, конечно, без малейшей искры веры, с совершенно убежденным неверием, и опять не для пародии, а по привычке, потому что интересно пройтись. Так и проходило время в таком бессмысленном, бесцельном провождении, неизвестно к чему, и вовсе не у одних глупых.

Шульга был чрезвычайно талантливый человек, и даже много читал... когда-то, один момент. Но когда я его застал, — чем жил он? Прихожу к нему утром. Он с распухшей, разбитой рожей торжественно встречает: «Ну, батюшка, было избиение вифлеемских младенцев»... «Как так?». Рассказывает. Вчера вернулся ночью домой пьяно-распьяно и наделал скандалу. Хозяин послал за полицией. Он исколотил городового. Это был геркулес, потомок какого-то запорожца, укравшего

некогда какую-то красавицу из гарема чуть ли не самого султана, за что ему и отрубили правую руку. Отсюда и фамилия Шульга (левша — по-малорусски). Городовой позвал несколько товарищей на помощь и Шульгу потащили. Но он отбивался, дрался отчаянно всю дорогу, страшно колотил городовых, и только с отчаянными усилиями они тащили его, так что до участка довели лишь через два часа (а обыкновенным шагом оттуда до участка минут 5 ходу). Натурально, закопавши, наконец, голубчика в свои владения, городовики возвратили ему с процентами все полученные затрещины. Били Шульгу не на живот, а на смерть. Но убить невозможно такую дубину, и, — как я сказал, — утром он был водворен к себе в самом приятном настроении, как человек, размявший кости после утомительного бездействия. Так-то он тратил свои силы. Свои знания, свои былые, очевидно, думы прожигал не лучше, — чорт [знает] с кем, в глупых глумлениях. Где-нибудь в вонючих номерах Келлер, в Мерзляковском переулке, сидят студенты со своими подругами. Кипит самовар, пахнет сыростью, дрянные половицы скрипят под могучими лапами гиганта Шульги. Изредка подходя к столу и пропуская рюмочку, он шагает по комнате с хорошенькой, хотя уже очень помятой Фрузой (Ефросинья Петровна)*). Эта Фруза в то [время] жила то с одним, то с другим студентом, а после того в скорости поступила в клиентки ресторана «Одесса» (ее, когда нужно бывало, прибегал половой звать к желающим в отдельный номер)... Так вот Шульга ходит и забавляется: «Вообразите, Ефросинья, какой чудак есть на свете — Спенсер. Ведь выдумал же такую штуку»... и начинает что-нибудь из Спенсера. Фруза жеманится и произносит что-нибудь в роде: «Ну, уж вы всегда выдумаете какую-нибудь глупость». И все в таком роде: болтовня, шутка, да и шутка скучная, которую необходимо было смачивать хоть водкой... Пили вообще очень много. Тот же Шульга выпивал на пари сразу 20 бутылок пива. Приходишь к Швембергеру и Рудковскому; смотришь, кто-нибудь сидит утром и дерет водку, закусывая солью. Это делалось для шику: дескать, как настоящие горьчайшие пьяницы. Показывают

*) Зачеркнуто: «уже не помню по батюшке» и над строкой надписано: Петровна.

тут же кучи рвоты: пили, дескать, весь вечер, ночью так начало рвать такого-то — беда! Тот же шик и со всевозможного рода девками. И не следует видеть во всем этом, строго говоря, разврата. Нет, это было наполнение чем-нибудь жизни. На душе ничего не было, и я не говорю, что это их не тяготило. Без сомнения, у большинства был червь, глодавший душу. Но что же было делать с ним? Не говорю уже о Шульге, который, очевидно, думал же когда-то, стремился к чему-нибудь, читал из каких-нибудь побуждений всех этих Спенсеров. Помню его стихотворение (он и стихи писал) в «Развлечении»:

О, alma mater, наш университет,
Питомец твой свой шлет тебе привет...

И далее перечисляется за что: за то, что ничего не дал, все заглушил, что было путного. Писалось это уже смешками, шутовски, но содержание очень горькое. Без сомнения, впрочем, не только Шульга, но и другие, поглупее и похуже, не могли не мучиться своей пустотой. Что было у этих людей? Веры в бога не было. За это ручаюсь — для огромнейшего большинства. Какой-нибудь сознательной и живой связи со своей страной не было. Да и страны-то этой не знали. Ясной общей философии не было. Задач политических и общественных — сколько-нибудь ясно не было. Жили неизвестно для чего. Кончишь курс, а потом? Ну, служба, ну, женишься, детей будешь растить... И эта цель, которая, конечно, может быть внутренне великою, если согрета, освещена и освящена верою, — не освящалась и не согревалась ничем... А народ-то был молодой, и если головы молчали, то чувство еще не успело в нем потухнуть.

Это состояние душевной пустоты обыкновенно не возбуждает никакого опасения во властях.

Какой-нибудь администратор может, конечно, сожалеть, что студенчество плохо, опустилось и т. п., но никак не ждет ничего непосредственно опасного от этой массы, занятой, повидимому, только самой узкой мыслью о карьере, да картами, модистками, вином и т. д. А потом вдруг,— трах, смотришь, эти «карьеристы» устраивают чуть не поголовно какую-нибудь нелепейшую демонстрацию, в которой из-за выеденного яйца, глупо, бесцельно

ставит на карту всю свою «карьеру». Никто ничего не понимает. Откуда? Что за чудо? Ах, боже, боже, как это просто, как даже неизбежно.

Я знал достаточно молодежь своего времени, лично в Москве и Петербурге, по отдельным экземплярам и по наслышке — молодежь Одессы, Киева, Харькова, разных провинциальных городов. И никогда бы я не поверил в 1872 году, чтобы в 1874 году могло оказаться 2000 или в этом роде человек, замешанных в революционное движение. Кто, откуда? Я был просто поражен, когда, уже в тюрьме, узнал о привлечении к делу людей, в роде Устюжанинова, Саблина [10]).

А Б. мне лично говорил: «До чего я был изумлен, когда узнал, что вы в процессе 193-х. Я думал, что вы ничем таким не занимаетесь, и считал вас совершенно неразвитым». Положим, Б. — еловая башка, но слова его любопытны. Ах, если бы поняли, наконец, что именно-то в «неразвитости» вся суть, вся опасность.

Много лет позднее, когда я уже совсем переродился и понял все эти вещи, я встретился с молодой В. *). Девушка страстная, пылкая, не глупая (по-женски), на волос находившаяся от того, чтобы попасть в революционные знаменитости (каковую роль она, конечно, сумела бы исполнить не хуже Фигнер или даже Перовской [12]), если бы втянулась хорошенько на год, на два). Само собой, в голове у нее был обычный хаос, но еще не успевший застыть в какую-нибудь доктрину. Она еще не была типичной революционеркой, но именно потому, что еще оставалась типичной студенткой.

Она «пострадала», по «Добролюбовской панихиде» [13]). Дело само по себе вздорное. Кучи молодежи пошли на могилу Добролюбова, говорили там кой-какие речи, были окружены казаками, переписаны у Николаевского вокзала, затем некоторые высланы.

Дело грошевое, за которое бы мы во времена моего серьезного революционерства не пожертвовали бы кусочком ногтя. Для этой бедняжки это было самое светлое воспоминание в жизни. Эта прогулка на кладбище, эти речи, это столкновение с казаками, перебранка с Грессером [14]), — все это осталось таким лучом

---

*) Вандакурова [11]).

содержания в пустоте ее души, что наполнило ее каким-то умилением: «Ах, какое хорошее было время, — повторяла она, — как легко дышалось, какое-то чувство наполняло всю»...

Да, одной «карьерой» молодой человек не проживет. Ему нужно нравственное содержание, и чем он неразвитее, тем более легкими путями он должен добыть это нравственное содержание, потому что более трудные ему не по силам.

Величайший и труднейший путь, — скажу для лучшего оттенения, — это путь христианского совершенствования. Понять, ощутить, схватить то царствие божие, которое внутри нас; в своей личности, в своей душе уловить жизнь вечного мирового духа, стать выше материального мира, выше даже человечества, поскольку человечество есть процесс природы, — какое духовное величие нужно для этого! Как мало людей, способных найти для этого силы.

Но, даже оставляя эти высоты, только богом сделанные и делаемые доступными для человека, — возьмем меньшее. Жизнь для человечества, но сознательная, собственным рассуждением, жизнь не для осуществления прихоти или порыва толпы, не служение какому-нибудь течению, а глубоко продуманному идеалу. Какой опять страшный труд! Предварительная работа, изучение, дума, мука. Затем вечная борьба с обстоятельствами, с самими людьми, которые никогда не понимают своего блага и только ощупью доходят до него.

Мало развитой человек избавляется от пустоты иначе. Он берет ходячее мнение, берет принципы, ему известные, делает из них выводы, — работа нетрудная. Он не создает своего собственного нервного трепетания, а только открывает душу нервному току толпы. Тут нет работы, а есть только прекращение работы самостоятельной, предоставление себя гипнозу «течения». А душа наполняется содержанием. Конечно это содержание — чужое, влитое, взятое на-прокат. Но это обстоятельство может тяготить лишь того, у кого есть и свое содержание, которое дает отпор вливающемуся извне. В пустоту же чужое льется легко, не возбуждая никакого неприятного ощущения. А затем, когда источник содержания исчезает, и на душе водворяется снова пустота, воспоминание о бывшей полноте (хотя и иллюзорной) светит перед бедным человеком, как какое-то солнце.

VI.

Возвращаюсь к рассказу.

Как ни пусты были люди, большинство все же были лучше таких «просветителей», какими кишели дома, в роде дома г-жи Л.*) Эти центры тоже не следует забыть отметить.

Давно уже Швембергер начал произносить, совершенно чуждые ему сначала, либеральные фразы, особенно что-то по женскому вопросу. Оказалось, что он с Рудковским познакомились с одним домом, передовым, просвещенным и т. п. Раз затащили они и меня туда.

Прихожу. Это было где-то далеко, чуть ли не на Мещанских. Но квартирка уютная, хорошо меблированная. Жили с достатком. В столовой, за чайным столом, заседало целое общество,— поголовно молодежь, курсистки и студенты разных заведений. Пожилая — и, очевидно, пожившая — была лишь сама г-жа Л. Меня представили. Только-что сел, г-жа Л. обращается ко мне:

— Читали вы Эмиля XIX столетия? [15])

Эскирос был тогда только-что переведен. Я его видел и не заинтересовался. Так и ответил ей.

— Ах, нет, а я все читаю. У него замечательно глубокие места... Я вот только-что говорила... Например, это место...

Она порылась в книжке, лежавшей тут же около стакана чаю, и прочитала:

— Женщина есть форма, в которую отливаются новые поколения.

Она торжественно обвела взором толпу; студенты кое-кто осклабился на эту акушерскую образность, а дочка г-жи Л. как будто потупила глаза. Г-жа Л. сочла нужным взять меня в этот день на свое попечение и без всякого вызова с моей стороны рассказала через полчаса, что с мужем своим она не живет, потому что он очень отсталый человек. Она вышла за него... Ведь он знаменитый украинофил. Она не малороссиянка, но, выходя замуж, думала, что они, украинофилы, будут действительно что-нибудь делать. Но время шло. Все песни, национальные

---

*) Лашкевич (жена украинофила А. С. Лашкевича).

костюмы. — Я ему говорю: «Господа, но ведь это все слова, это хорошо, но когда же дело? Дело, дело-то когда же?». Спрашивала она мужа, победоносно смотря на меня, уверенная, что я не могу не понять убийственной силы этого обличающего вопроса... Потом были какие-то личные несогласия. Вероятно, мужу не очень-то нравилась жизнь с такой шалавой. Но он был настолько дурак или дрянь, что, отпуская ее от себя, отдал ей детей, которых она теперь и «воспитывала». Дети,—собственно я помню только дочь, — симпатичная девушка, которой, повидимому, инстинктивно претила распущенность обстановки, в которой ее развивала мать. Дом представлял типичные черты нигилизма самого мелкого сорта. Либеральные разговоры, «женские права», отсутствие стеснения с молодыми людьми. Показывали мне карточки здешних барышень, снятых в мужском костюме. На вечеринках барышни пили вместе со студентами, чокались, целовались, напивались и допьяна. Помню один случай, когда пьяный Д-ский так и заснул, лежа головой на коленях у m-lle Л. Я не присматривался, но знаю, что из этих прикосновений развивались тут и романы, не знаю уж до каких пределов. Мать же обижалась, что ни один молодой человек не ухаживал за ней, а все за барышнями. Правда, она, повидимому, находилась в интимных отношениях с Ш. Это был полячок, не без способностей, без гроша за душой, который все мечтал держать экзамен на доктора (он, кажется, и выдержал его, и ныне стал, если это только он, даже довольно известным в медицинском мире). Тогда, в ожидании, он проживал в полном бездействии у г-жи Л., чуть ли не в виде родственника, но в действительности просто ее любовником. По крайней мере раз она заметила его ухаживание за одной барышней и сделала ему громкую, скандальную сцену...

VII.

Собственно в политическом отношении то время (конец 60-х и начало 70-х годов) было спокойно, т. е. без всяких внешних оказательств. Оно имело в этом отношении много аналогии с настоящей эпохой.

Насколько я мог слышать и понять, заговор Нечаева [16]) был некоторого рода насилием над молодежью. Итти так далеко

никто не намеревался, а потому система Нечаева, — шарлатанство, надзор, насилие, — была неизбежна. Честным, открытым путем нельзя было навербовать приверженцев. Поэтому с разгромом нечаевцев наступила «реакция», т. е. среди молодежи не только не было (почти) революционно действующих людей, но самая мысль о революционном действии была скомпрометирована. Нечаева масса молодежи считала просто шпионом, агентом-подстрекателем, и только его выдача Швейцарией, последующий суд и поведение Нечаева на суде подняли этого человека, или хоть память его, из болота общего несочувствия. До тех пор, повторяю, его терпеть не могли, и всякая «нечаевщина» была подозрительною. Говорить о каких-нибудь заговорах, восстаниях, соединении для этого сил и т. п. было просто невозможно: всякий бы от тебя немедленно отвернулся.

Но я уже говорил, что взамен того ничто из существующего порядка не имело безусловно никаких защитников, сторонников. Было много дураков, ни о чем не думавших, но каждый, даже из них, постольку, поскольку думал, был против существующего. Идеи были существенно-материалистические, республиканские и социалистические, хотя, конечно, никто ничего не понимал толком ни в материализме, ни в республике, ни в социализме. Каждый вполне верил в «передовые» идеалы, и только считалось, что все это будет не скоро.

Несколько позднее, когда я уже «определился» в революционном смысле, приезжает к нам из Киева студент О. *). Он был уже что-то в роде 3-го курса, и у себя, в Киеве, был большим «деятелем» (в студенчестве). В разговоре он мне все рассказывал о студенческих кассах, столовых и т. п. Эти чисто студенческие учреждения, казалось бы, не имеющие никакого отношения к разным революциям, поглощали его вполне. Идей же его в смысле политическом я никак не мог схватить.

Долго я старался добиться, из чего собственно он хлопочет над студенческими учреждениями. У нас это считалось средством, а у них? Наконец, он меня понял и ответил:

— А, вы вот о чем... Ну, конечно, мы хотим того же самого, как Интернационалка... Понятное дело!

*) На полях написано: «Орлов».

Этот бедняга даже не знал, чего хочет «Интернационалка» и был с ней знаком по «Московским Ведомостям»[17]). Но все равно: это самое крайнее — значит туда и идти; «Московские Ведомости» ругают — значит хорошо... В этаком роде были передовыми все в тогдашней молодежи, — не по знанию старого и нового, не по сознательному выбору между ними, а по инерции, потому что неприлично не быть передовым.

Студенчество и вообще молодежь представляла такого рода картину. Фон — масса, мною обрисованная. Затем известное небольшое число «старых», «остатков», которые, по выражению Ш., «поддерживали священный огонь». Дальше этого их миссия не шла, и из этих весталок в штанах ни один не увлекся впоследствии в движение. Некоторая доля болтала о модном тогда устройстве ассоциаций, и даже кое-где их устраивала. Переплетная мастерская, где был Э-ский *); мастерская учебных пособий Е-на, мастерская еще какой-то чертовщины у Саблина.

Очень модны были «студенческие учреждения»: кассы, библиотеки, столовые. Тут сливалось все: и идея студенческого «самоуправления», и идея ассоциации, а для крайних это было, наконец, средство пропаганды.

«Крайние», стало быть, тоже были. Я сейчас скажу о них. Остановлюсь сначала на студенческих учреждениях и ассоциациях.

Я не знавал таких крупных представителей «ассоциационного» движения, как, например, Верещагин[19]), и говорю лишь о средних. Впрочем, мастерская Е-на была тоже очень крупное дело, да и сам он, конечно, покрупнее Верещагиных.

Но вот среднее дело.

Скучающий, либеральный студент, имевший известное количество лишних рублей, задумал сделать что-либо «полезное». Конечно, ничего современнее и полезнее, стало быть, не было, как ассоциация. Эту ассоциацию ему хотелось сделать с настоящими рабочими, чтобы дойти со своим благим влиянием до самого народа. Но взяться за дело он вообще не умел, а уж с настоящими рабочими тем паче, а потому сошелся с неким Эборомирским.

---

*) Зборомирский. (*Прим. автора*)[18]).

Этот З. был личностью весьма любопытною, — очень хороший тип своего времени. Он родился в отдаленной северной губернии, отец его был священник, по рассказам, очень честный и хороший человек, весьма любимый крестьянами, но в то же время человек весьма «тенденциозный». Где уж он набрался этого духа, — господь его ведает, но, например, он толковал со своими мужиками на тему «воздавайте кесарево кесарю» в совершенно особом роде. Он именно начинал разбирать, откуда идет золото, деньги. Сначала добывают золото. Кто? Мужик. Потом его перевозят. Кто? Мужик. Потом чеканят монету. Кто? Все тот же мужик. Отсюда о. З. заключал, что деньги принадлежат мужику, а не кесарю, а потому и «воздавать» их кесарю нет основания.

З.-сын был нервный, впечатлительный, вечно вспыхивающий, как порох. Рассудок у него был самый крохотный, но сердце доброе. В их местах много бедных, много мальчишек нищенствует. Маленький З. задумал помочь им. Он стащил у матери котел, там и сям набрал, конечно, без спросу, всего необходимого и начал учить мальчишек гнать деготь. Действительно, они выгнали известное количество и продали... Другой раз мальчик задумал более радикальную меру, а именно — просить императрицу, чтобы она помогла детям. Почему императрицу, а не государя? Он рассудил, что императрица, как женщина, должна иметь более мягкое сердце. Написал он письмо, надписал: «Во Санкт-Петербург, государыне-императрице», и отправил. Через несколько времени о. З. вызвали в консисторию и задали ему жестокую головомойку: само собой, письмо до государыни не дошло.

«Дух отрицанья, дух сомненья», очевидно, рано охватил молодого З. Вопрос, почему принято именно то, а не это, или это, а не то, волновал его и приводил к «недозволенному» во всех видах. Мальчик, будучи уже в семинарии, задал себе вопрос: почему не едят мышей? Поймал мышь, сжарил и съел... Уж не знаю, понравилось ли ему жаркое, но отец ректор как-то узнал о пиршестве, призвал З., прочитал ему нотацию и чуть ли не собирался исключить его из семинарии.

К окончанию курса или скоро по окончании З. уже вполне проникся убеждением ?!... — как назвать это? — что народ эксплоатируют, что не нужно пользоваться никакими приви-

легиями. Он изорвал все свои бумаги, аттестаты и т. п., чтобы не иметь возможности ими «эксплоатировать», стал учиться ремеслам; «науки» забросил, так что когда я его узнал (1872 г.), это был уже прямо невежда; очевидно, что он и раньше ничего не знал, иначе не мог бы забыть так скоро, потому что ему было много-много лет 20. Он плохо владел литературным языком, знания его состояли в самых жалких обрывочках журнальных статей и популярных книжек. Я тогда не мог внутренне признавать его «своим» и относился к нему, как к рабочему.

Но З. был вполне уверен в своей интеллигентности и образованности. Он все стремился приблизиться к народу, страстно, порывисто и… нелепо. Раз, например, вздумал босиком пройти из Петровского-Разумовского в Москву. Ни один рабочий не сделает такой чепухи, потому что итти нужно верст 10 по шоссе и мостовой: лошадям и то копыта оковывают. Ну, разумеется, З. посдирал себе подошвы и потом долго хромал.

Несколько позднее он поступил на фабрику молотобойцем. Работа сумасшедшая для всякого, кто не отличается огромной силой, но З. упорствовал чуть ли не целую неделю и чуть не заморил себя у своей наковальни.

Вот к этому-то З. обратился тот либеральный студент. Решено было устроить мастерскую-переплетную, на имя (?)… Поместилась она где-то на Мещанских. Это было крохотное заведение, чуть ли не с тремя рабочими, которые едва ли чувствовали какую-нибудь разницу этой мастерской от всякой другой: до ассоциации она не дошла, вырабатывала, помнится, немного. Конечно, З. жил тут же, с рабочими, жил грязно и бедно, ел плохо, работал, как все. Для него, а уж, конечно, для того студента, иногда заходившего полюбоваться созданием своим, все это было ново. Но рабочие жили, как везде и всегда, разве с той разницей, что иногда слыхали какие-нибудь клочки «пропаганды». Так эта история тянулась с год, кажется. Потом стали выходить нелады между собственником, bailleur de fonds [1], так сказать, и З. Из чего,— бог их знает, я и тогда не мог понять. З. жаловался, что собственник вмешивается в дело и не хочет выпустить его из рук, чтобы не потерять возможности

[1] Дающий деньги на предприятие.

рисоваться на собраниях «своей мастерской», а между тем своим вмешательством мешает ее развитию. З. требовал, чтобы мастерская была записана на его имя, и тогда собирался совсем выкинуть за борт собственника. Как вышло,— не помню, но мастерская уничтожилась, а З. поступил в молотобойцы на какой-то завод [1].

«Студенческие учреждения» были повсюду: библиотеки, столовые, кассы. Иногда они поощрялись начальством; так, в Петербургском Технологическом институте существовала читальня, почти официальная. Вообще говоря, студенты читали мало. Однажды m-me Аксакова зашла зачем-то с моим братом в университетскую библиотеку; дело было перед каникулами. Студентам у нас не выдавалось билетов на отъезд без представления ими в канцелярию свидетельства о том, что за ними не числится библиотечных университетских книг. Множество студентов толпилось в библиотеке. M-me Аксакова восхитилась «Как отрадно видеть такое множество студентов в библиотеке». — «Увы, отвечал Владимир, все эти студенты пришли сюда лишь за тем, чтобы взять удостоверение в том, что не посещали библиотеки». Это было совершенно верно. Они пришли именно за этим и библиотеки не посещали. Вообще в библиотеке читали и работали очень мало. Но заводить свои библиотеки, тайные, запрещенные,— это другое дело. Это интересовало. Тот самый Вагнер, о котором я говорил, задумал устроить библиотеку на таких основаниях: вместо платы за чтение, каждый абонент или, как они, помнится, назывались, «члены», должен был внести известное число книг, которые известное время оставались обязательно в пользовании библиотеки. Таким путем Вагнер собрал тысячи две, помнится, томов. Необходимо понять это: молодежь интересовало не чтение, не наука, даже не истина (которая была вполне твердо предрешена и, в сущности, исканию уже не подлежала), а деятельность, приложение своих сил. Говорю это не с каким-либо особенным осуждением, потому что, в конце концов, это дело естественное, и глупа была лишь самая форма деятельности и ее содержание, а не стремление. Но,— хорошо это или дурно,— факт именно таков: искали деятельности, и деятельности непременно непосредственной и внешней.

---

[1] Далее пометка автора: «Мастерская Е... См...»

Со стороны начальства все эти приложения сил фактически были вполне свободны. Сходки были явлением обычным повсюду, где их хотели. В Киеве студенты, идущие на сходку, спрашивали городовых: «Где тут студенты собираются? Куда итти?». И городовой очень спокойно указывал путь. У нас, в Москве, сходки были не в моде тогда. Но когда это понадобилось, и мы собирались по 40 человек, в разных квартирах. Кассы, столовые — все это существовало повсюду, имело свои уставы, собрания и т. д. В принципе это было запрещено. Помню, раз вывесили в университете объявление, что за принадлежность к каким бы то ни было не утвержденным законно обществам студенты исключаются. Тогда один из членов нашей кухмистерской потребовал, чтобы его вычеркнули из числа членов, но за то несколько человек немедленно записались, чисто в пику начальству, которое, впрочем, ничего этого не знало, не ведало.

VIII.

Но где же были собственно «революционные», заговорщичьи бунтовские элементы? Собственно в 70—71 годах их в открытом состоянии не было. Были отдельные личности, недобитые, нечаевских времен, которые мечтали, но в одиночку, втихомолку, а гласно они ничего не делали, кроме поощрения всяких «развитий», «учреждений» и т. п.

Были у них случаи ссылок. От нас в 1870 г. сослали административно Всеволода Лопатина [20]), из Петровской академии выслали Аносова, Пругавина, Обухова и еще кого-то [21]). Подробности этих историй у меня изгладились уже из памяти; помню только (знаю это от Аносова, позднее большого моего приятеля), что дело было вздор, какие-то сходки, речи, чепуха, не касавшаяся никаких «основ». Это не значит, что не было революционеров. Но никаких революционных опытов они не делали вплоть до долгушинцев и чайковцев окончательной формации, т.-е. до 1872 года.

Я знал многих долгушинцев,— самого Долгушина, Папина, Плотникова, Гамова и т. п. Но собственно близок к их затеям не был, так что более или менее интимной стороны их кружковой истории не знаю. В общих чертах она такова. Основа

будущего кружка, т.-е. Долгушин и, кажется, также Дмоховский, были остатки нечаевских времен. Около них мало-по-малу, на почве, впрочем, разговоров, сбилась группа, которую звали «кружок двадцати двух». Было ли их действительно 22 человека, — не знаю. Но этот кружок двадцати двух, во всяком случае, к «делам» не приступил. Думаю, что из этого кружка выделились лишь более крайние элементы (Долгушин. Дмоховский, Папин и Плотников, — вероятно, только), которые в 1872 г. решили перенести свою деятельность в Москву, чтобы попытаться произвести в народе восстание. Они смеялись над «книжниками»-чайковцами, и думали, что нужно начинать прямо с бунта. Остальных своих сторонников, фигурировавших на процессе, а также и ускользнувших от процесса, они понабирали уже в Москве. Из этих сторонников иные (как Гамов) присоединились к ним только потому, что были упорно отвергаемы чайковцами. [22]).

История же чайковцев мне уж известна лучше.

В тысяча восемьсот, кажется, семидесятом году в СПБурге было четыре человека: Н. [1], Сердюков, Лермонтов и Чайковский [23]), которые, познакомившись между собой, совершенно сошлись на понимании тогдашнего положения вещей с революционной точки зрения. Было ли оно таково действительно, — не знаю, потому что не видал тогда Петербурга, но так оно им, по их словам, представлялось:

«Молодежь находится в полной апатии; она запугана нечаевским погромом; в ней господствует взаимное недоверие; нужно поднять ее дух, нужно ее выработать». Идея, в сущности, прямо взятая из «Исторических писем» Миртова (П. Л. Лаврова [24]), или же совпадающая с ними до полного тождества. И вот они приступили к делу.

Любопытно, как тесно в данном случае революционная попытка сливалась с кажущимся мирным движением развития «передового». В литературе, в обществе либеральном то было время «культурного развития», т.-е. усиленной пропаганды социалистических и революционных идей под видом простого «знания», «науки». Это было время бесчисленных переводов Лассаля,

[1] Натансон, М. А.

Маркса, Луи Блана, всевозможных Верморелей «Деятелей 48-го года» и т. д. [25]), время кое-каких собственных произведений, в роде «Пролетариата во Франции», «Ассоциаций» Михайлова [26]), «Исторических Писем», сантиментально-революционного вранья Флеровского («Положение рабочего класса в России», «Азбука социальных наук» и т. д.) [27]) и т. п.

Нам, молодежи, рекомендовали знание, науку; науку приходилось, очевидно, искать в книгах; книги же создавались на подбор революционные. Таким образом, блистательно достигалась иллюзия, что наука и революция говорят одно и то же. Рекомендуя не прямо революцию, а науку, нас приводили именно к революции.

К этой книжной деятельности примкнул скоро и кружок Чайковского.

Первоначальные его основатели избрали себе каждый определенные высшие учебные заведения и начали действовать каждый в своем районе между студенчеством. Они знакомились с товарищами, их кружками и особенно старались основывать кружки самообразования. Это были кружки молодежи обоего пола, собиравшиеся для совместного чтения по определенной программе. Программы вырабатывались более выдающимися членами кружков или составлялись разными уважаемыми молодежью лицами из литературы и либерального ученого мира. Списки книг, разумеется, подбирались тенденциозно; книги были в отношении философском сплошь материалистические, в отношении политическом — революционные и социалистические. По прочтении книг о них составлялись рефераты и велись рассуждения. Это называлось систематическим чтением. Оно было, действительно, систематично, но выводы были, понятно, вполне предрешены, ибо списки книг брали только односторонние посылки, из которых нельзя было сделать никакого другого вывода.

Между прочим, существовала программа чтения, составленная П. Л. Лавровым, тогдашним великим пророком молодежи.

Составляя кружки самообразования и в них участвуя, руководители кружка Чайковского старались выбирать наиболее выдающихся людей, которых затем соединили в один кружок. Выбирали людей не только умных, но также возможно более проникнутых передовыми идеями, а также нравственных.

О нравственности в кружке заботились очень много, как никогда и ни в одном другом кружке. Для образчика укажу два факта:

1) Один из самых выдающихся членов кружка, Дмитрий Клеменс [28]), был всем хорош, и, действительно, это был в высшей степени хороший человек. Но он любил выпить, и это считалось большим пятном. В интимных кружковых разговорах слышалось: «Какая жалость, такой человек и пьет». Нужно заметить, что Клеменс отнюдь не был каким-нибудь пьяницей, а просто знал вкус в вине и иногда в доброй кампании любил кутнуть.

2) Другой, тоже всеми любимый К. [29]), был исключен из кружка потому, что, находясь в связи с одной ведьмой (к кружку не принадлежавшей), влюбился в хорошенькую барышню Коврейн (тоже не принадлежавшую к кружку) и начал за ней ухаживать, впрочем, еще пока платонически. Это было сочтено настолько компрометирующим обстоятельством, что К. решено было исключить, и лишь по снисхождению к нему это было облечено в форму его эмигрирования. К., очень нужный кружку в России, должен был эмигрировать, удалиться за границу.

3) Лермонтов считался одним из столпов кружка и едва ли не был самым умным изо всех чайковцев. Однажды случилось, что кружок издал книжку, слишком уже неблагонамеренную, которая была запрещена (не помню, какая). Чтобы не подводить издателя, кружок должен был выставить одного из своих, который должен был объявить себя издателем, за что предвиделась ссылка. Выбор пал на Лермонтова. Лермонтов, однако, вовсе не желал попадать в ссылку и отказался. Тогда ответственность взял на себя Н. [1], и был сослан административно. Лермонтова же исключили не за неповиновение кружку (дисциплины кружок не признавал), а за «сбережение своей шкуры», т.-е. за безнравственность [30]).

Собравши известное количество так подобранных человек, руководители в 1871, кажется, году поместили их всех летом на даче (в . . . . [2], чтобы сблизить их лично, дружественным чувством [31]). Это вполне удалось, и с тех пор кружок возник.

---

[1] Натансон, М. А.

[2] Пропуск в подлиннике.

Он состоял из: Чайковского, Сердюкова, Н. Лермонтова, сестер К., Г. [1], Купреянова, Купреяновой, Софьи Перовской, Синегуба, Л-ва [2], Клеменса, Чарушина, Кувшинской, Ободовской, Леонида Попова, Сергея Кравчинского [3].

Впоследствии присоединились (до 1873 г.) Леонид Шишко, Тихомиров, Батюшкова, Наталья Армфельд, Кропоткин. Еще раньше: К., Ц., Ф. В. [4] [32]).

Деятельность кружка представляла такие фазисы:

1) распространение книг и пропаганда среди молодежи,

2) пропаганда среди рабочих,

3) слияние с общим революционным движением, когда кружок в старом смысле уничтожается, расплывается в «партию».

IX.

Возвращаюсь назад.

Я вышел из своей одинокой замкнутости, ставши членом студенческой кухмистерской.

В ней не было ни на грош ничего политического, но это было «студенческое учреждение», нечто такое, где студенты сходились, где, стало быть, их можно было видеть, нечто, наконец, запрещенное, приучавшее, стало быть, студентов к нарушению правил. Поэтому это учреждение было поощряемо и, вероятно, даже создано разными остатками прежнего времени, «хранителями священного огня», Брунсами, Шервинскими, Рагозиными [33]) — ныне благонамеренными деятелями науки и видными членами общества; с другой стороны, московскими членами кружка чайковцев, К. и Ц. [5].

В этой кухмистерской я познакомился со всем «цветом передового студенчества» [6].

---

[1] Сестры Корниловы и, мож. быть, Гауэнштейн.

[2] Львов, Исаак Конст.

[3] Далее зачеркнуто: «Леонид Шишко».

[4] Клячко С. Л., Цакни Н. П., Волховский Ф. В.

[5] Клячко и Цакни.

[6] Далее идет следующая конспективная запись: «Знакомство с Ц[акни], через него с К[лячко], знакомство с кн. У[русовым]. Я начинаю распространять книги. Это в 1871 г., К[лячко] знакомит с Р[агозиным], с Армфельд. «Общество распространения полезных книг», Писарев (адъютант). Процесс нечаевцев, Процесс Нечаева».

X.

В 1872 году я проживал в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах, около Тверской. Комната маленькая, огромной высоты, узкая, нельзя повернуться.

Я уже написал свою детскую «Америку», я писал «Историю Пугачева» [34]), я распространял книги, я был друг Ц., почитатель К., наконец, знал всех, на кого в Москве опирались чайковцы. Но я не принадлежал ни к какому кружку, мало того, — даже не слыхал ни о каком кружке. Слыхал о «петербургских», от которых к нам валились книги, но по скромности не расспрашивал К. и Ц., а они сами меня ни во что не посвящали, так что я даже не знал ни одного имени «петербуржцев», но даже самого Чайковского.

В одно прекрасное утро, очень рано, ко мне стучатся. Отворяю. Вбегает барышня Армфельд, вся запыхавшись:

«Семен Львович и Николай Петрович [1] арестованы».

В первый раз около меня происходил настоящий арест, не в книжках, не в романах, а в действительности. Я как-то растерялся, да и не мог понять, что собственно из этого следует. Ну, арестовали, так арестовали! Барышня рассказывала между тем, как это случилось, как они пошли провожать Николая Петровича, засидевшегося у них; пришли к нему в меблированные комнаты, а там стоит городовой. «Приказано, — говорит он Николаю Петровичу, — чтобы вы сейчас пожаловали в часть». Он и пошел. «Но, знаете, Лев Александрович, какая беда: у него в кармане ваша рукопись» («Америка»)... Эта новость мне была довольно неприятна, хотя, вообще говоря, я готовил книжку для цензуры, так что не видал еще большой беды, если она попадет в полицию.

— Знаете, Л. А., нужно предупредить Льва Федоровича... [2].

— О чем?

— Да об аресте... Ведь у него тоже может быть обыск.

Барышня была уже сведущее меня в разных конспирациях. Я, конечно, понял, что нужно предупредить, и немедленно отправился к Р.

---

[1] Клячко и Цакни.

[2] Рагозин.

Он в это время только что свил себе гнездышко. Женился, должно быть, месяца два назад, нанял хорошенькую, чистенькую квартирку, убрал ее премило и блаженствовал. Я застал его едва вставшим с постели. Новость об аресте К. и Ц. его встревожила до такой степени, что я почувствовал презрение к этому «Лео», как его называли (из романа Шпильгагена) и как он сам о себе мечтал. Заметался из угла в угол. «Что же теперь делать? А у меня книги... Наверное будет обыск...» Все это была одна трусость и никакого обыска у него не произошло. Но я тогда верил ему. «Нет ли у вас, куда спрятать книги?». Я отвечал, что взял бы к себе, если бы не история с рукописью в кармане Ц. «О нет, нет, как можно к себе, куда-нибудь к знакомым»,—заговорил Р. Я вздумал о Н. М., человек мирный, хороший, приятель. «Давайте»,— говорю,—«куда-нибудь стащу». Он пришел в восторг, начал рыться, набрал, мне помнится, два чемодана книг. Это все были книги цензурные; тогда нецензурных еще не существовало. Но каждая книга в нескольких экземплярах, иногда в десятках. Я забрал чемоданы и свез на извозчике к Н. М. Тот взял, даже не расспрашивая: «Давайте, давайте, пущай лежат...».

Это был первый случай моей войны с полицией. Возвратился домой уже к обеду. Потом пошел к Армфельд — и что же? Там сидит Ц. и подает мне мою рукопись. Его на этот раз только допросили и отпустили, даже не обыскавши. Впрочем, на другой же день арестовали снова и уже окончательно [35]).

Мы, вертевшиеся около Ц. и К., в роде меня, Армфельд, Батюшковой, Князева [36]) и т. п., не составляли никакого кружка, и если что делали, то по поручению К. и Ц., да и собственно не делали ничего. Оставшись без наших вдохновителей, мы сидели уже совсем смирно; я проводил время в чтении, в подготовлении «Пугачева». Так прошло несколько времени.

Однажды утром, когда я только что встал, ко мне вошел высокий молодой человек, очень худой, безбородый, но с огромными русыми волосами, в огромных синих очках; он смотрел не сквозь них, а поверх них, наклоняя голову и глядя как будто исподлобья. Подойдя, он рекомендовался слабым и глухим голосом: «Я Чарушин».

Я в первый раз услыхал это имя. Спрашиваю: «Что угодно?». Он начал объяснять, что с арестом К. и Ц. у Петербурга пре-

рвались все сношения с Москвой, и он приехал их восстановить. «Нам,— заметил он,— о вас писали К. и Ц.». Мне все это показалось крайне подозрительным. Я сказал, что никаких дел К. и Ц. не знаю. — «Вы разве не слыхали моего имени?» — «Не слыхал», говорю.—«Я по поручению Чайковского».—«Какого Чайковского?». Я, действительно, ничего не знал. Тогда Чарушин откланялся и ушел. Я немедленно отправился к Р. Прихожу. Он меня встречает в отдельной комнате и шепчет:—«Какой-то странный человек у меня...». Но в это время странный человек вышел из другой и, попрощавшись, с некоторой досадой ушел. Это был он же — мой человек в синих очках, Чарушин. Когда он вышел, Р. спрашивает: «Вы не знаете его?» — «Не знаю». — «Странный какой-то. Говорит, от Чайковского» . . .—«Он и мне говорил, что от какого-то Чайковского» . . . Тут Р. объяснил мне, что Чайковский-то есть на свете, что это «столп», а только этого Чарушина он не знает и находит его похожим на шпиона . . . Так мы расстались в беспокойстве, но скоро пришла ко мне Армфельд и сообщила с радостью о приезде Чарушина. «Вы разве знаете его?». — «Ну да, конечно, это из питерских . . . очень умный и энергичный человек». Так дело объяснилось, и Чарушин вечером же виделся со мной у Армфельд, а затем пришел ко мне же ночевать.

Мы с ним очень быстро подружились. Это был первый тип действительно живого революционера, мною виденный. К. и Ц. были какие-то тряпки, вялые, кислые, занимавшиеся радикальными делами как будто по обязанностям службы и как будто сами от этих дел ничего не ожидавшие. Это происходило отчасти от того, что оба они были гораздо умнее и старше Чарушина, и гораздо хуже его по натуре. Чарушин был не глуп, но главное, — человек способный к вере, человек с потребностью жить чем-нибудь широким. В «дело» свое верил искренно и отдавался ему всецело.

Он очень досадовал на К. и Ц., что они до сих пор не сошлись со мной окончательно, и начал посвящать меня в радикальные дела. Тут я в первый раз услыхал, где, кто, как действует. Чарушин меня также побудил взяться за дела в Москве и помог в этом, сведя с разными лицами.

Так началась моя радикальная жизнь.

XI.

Моя квартира в Долгоруковском была слишком тесна и неудобна для моей новой жизни, когда приходилось принимать много народа. Я переехал в д. Олениной, Брюсов переулок, взял большую приличную комнату. Университетскую работу я совершенно забросил, перестал ходить на лекции, перестал читать дома. Собственно, я не решил бросить университета, вообще, не думал о будущем, а думал только о своих настоящих делах, делах минуты. Эти «дела» были чрезвычайно неопределенны, хаотичны, без содержания и без последствий. Суть состояла в том, что в Москве ничего не было создано, ничего не делалось. А нужно было что-либо поставить на ноги. Я же не знал, что и как делать. Собственно в это время, за отсутствием К. и Ц., и благодаря тому, что я сошелся хорошо с чайковцами, я стал некоторым центром. Моя квартира была пунктом, которого не миновал ни один проезжий чайковец, ко мне же чайковцы направляли разных более или менее близких к ним лиц, проезжавших через Москву. Я стал знакомиться в Москве с революционно-настроенным миром — «радикалами»; это брало много времени. Я завел сношения с рабочими. Сверх того, приходилось поддерживать книжное дело, и, сверх того, не было у близких лиц ни одного «дела», которое бы не дошло так или иначе до меня, хотя бы я ему решительно даже ничем не помогал. Кто занимался заговорами или политической агитацией, тот знает, сколько времени берет эта вечная, бесконечная сутолока, видимо, бессодержательная и утомительная, но без которой, однако, «брожение» и «движение» прекратилось бы. И потому-то элемент суетливый и в то же время не очень требовательный, как молодые люди и женщины, в высшей степени полезны при всякой агитации. Человеку серьезному не под силу эта бестолковая «работа»; она ему надоедает своею ничтожностью. Молодые люди и женщины, особенно молодые женщины, напротив, удовлетворяются лучше всего именно этой бестолковой сутолокой.

Что мы делали в течение 1872-73 академического года?

Чарушин познакомил меня с только что возвратившимся из ссылки Аносовым (Николай Михайлович). Бывший студент Петровской академии, он меня провел туда, а также дал указания,

как разыскать некоторых «распропагандированных» в нечаевские времена рабочих. К рабочим я очень стремился. В это именно время (1872 г.) среди революционной молодежи в СПБ. особенно разгорелся спор о способах действия. Одни, которых называли образованниками, считали необходимым развивать и вырабатывать людей в образованном классе; другие, народники (слово тогда в первый раз сочиненное), говорили, что выработку и пропаганду следует перенести в народ, в рабочую среду. Я был за второе мнение. Тогда же долгушинцы уже стали мечтать о бунте в народе и презрительно называть чайковцев «книжниками». Я в то время стоял еще за выработку лиц из рабочих, хотя вообще о рабочих понятия не имел. Чайковцы, скорее «образованники», как бы поддались течению и повели пропаганду между рабочими и, благодаря своей основательности и средствам, в короткое время достигли сравнительно огромных успехов, затмив все другие кружки.

У нас, в Москве, как-то совсем «людей не было», не с кем было ни за что взяться.

Старые, в роде Р.[1], решительно отлынивали. «Лео», еще недавно изображавший из себя Рахметова, аскета и фанатика, женившись, сразу изменился. Трусил он ужасно, и жена его, очевидно, была достаточно умна, чтобы постоять за свой семейный очаг и не позволить отбить у ней ее краснощекого красавца-мужа. Наших барышень она живо вытеснила от себя. Р. углубился в экзамены и ничего не хотел делать.

Скоро, — кажется, заграницей, — чайковцы отпечатали первую нелегальную брошюрку — «песенник», десятка полтора запрещенных стихотворений, в конце концов, глупых, но опасных, потому что оскорбительных для государя, для религии, вообще для властей [37]). Эту брошюру питерцы доставили уже мне, и я ее понес Р., но Лев Федорович посмотрел и взял только один экземпляр (который наверное уничтожил). «Знаете, —сказал он,— ответственность за это большая, а толку что? Ведь хоть бы один рабочий прочел... Ни один даже не прочтет...»

Тут же, в 1872 или начале 1873 г., к нам, в Москву, явилась первая весть об анархии. Это учение было свежей

[1] Рагозин.

новостью. Рагозин ему ужасно обрадовался. Так как политические отношения ничего не значат, то бессмысленно действовать против правительства: такое толкование дал он новой доктрине. Вообще, этот человек отлынивал самым решительным образом, хотя, сначала, конечно, не по убеждению, а просто из нежелания ломать себе шею.

Итак, хотя с ним не ссорились, но оставили его в покое. Прочие старики даже и не подходили к новым «деятелям»,—они, самое большее, толкались около кухмистерской. Они уже держали экзамены или даже были докторантами. О них, их завербовке, никто даже не помышлял.

Единственное исключение составлял Аносов. Мы с ним тоже очень скоро сошлись, и это из наличных московских радикалов был единственный, к которому я внутренне относился, как к равному. Только что возвратившийся из ссылки (административно), он немедленно стал заниматься «делом». Это был молодой человек (из купцов), чрезвычайно приличный, чистенький, опрятно одетый, блондин, с прекрасным цветом лица, чуть заметными усиками и очень правильными чертами лица. Это красивое лицо было замечательно бесстрастно. Аносов редко улыбался и, кажется, никогда громко не смеялся, не сердился, не радовался, не был печален. Хотя он ничего заметного не сделал и впоследствии даже, кажется, совершенно отстал от движения, но по натуре это был, несомненно, типичный революционер. Человек узкий, односторонний, он не отвлекался от своей идеи ничем «посторонним». Страсть в нем не говорила, вопросов для него не существовало. Вера его была ясна, несомненна и холодна. Увлекаться в ней было нечем, как нечем увлекаться в том, что $2 \times 2 = 4$. Слишком просто для увлечения. Сомневаться тоже было не в чем. И он вел свое «дело» с аккуратностью, прилежанием и холодностью чиновника. По тогдашней манере думать образами французской революции, я называл для себя Аносова «Робеспьеровской натурой», и proportions gardées [1] он ею был, с той же ограниченностью, неподкупностью и неуклонностью.

Аносов познакомил меня с компанией Князева в Петровской академии.

[1] Соблюдая масштаб сравнения.

В Петровской академии революционный дух был уже тогда каким-то традиционным, въевшимся. Напрасно начальство меняло директоров, вводило дисциплину, строгие правила, напрасно очищало академию исключением массы студентов. Незадолго до того были произведены более строгие экзамены, благодаря которым из, кажется, 400 студентов осталось в академии что-то около 120. Революционное направление оставалось по-прежнему.

Понятно, что изгнание праздношатающихся, не имевших никаких аттестатов, ровно ничего не достигало. Во-первых, даже праздношатающиеся, не числясь студентами, могли все-таки проживать в Петровках, во-вторых, студенты с аттестатами и даже работавшие были не менее революционны, чем праздношатающиеся. Как бы то ни было, Петровки были неисправимы. В них в то время студенты показывали, как достопримечательность, грот, где совершилось убийство злополучного Иванова (Нечаевым), место в пруду, куда был брошен труп, места в парке, где происходили сходки [38].

Воспоминания разных «событий» были связаны там с землей и камнями.

Князев с К⁰ нанимали особую дачу в глухом лесу, за прудом. Зимой к ним приходилось проходить по льду, через сугробы снега, по лесным тропинкам. Вот показывалась, наконец, дача со светелкой, обнесенная крепким забором-частоколом и раздавался яростный лай. «Обыск нас не захватит врасплох», — говорили обитатели дачи. Действительно, через забор трудненько было бы перелезть, а Макс был истинный зверь. Это была огромная, презлющая и преумная собака. Хозяева обучили ее всяким фокусам. Дадут кусок хлеба и скажут: «Макс! Катков ел!..». Ни за что не тронет, отвернется от куска хлеба и зубы оскалит. «Макс, это барышня ела!». Сейчас же хватает и проглотит.

Хозяевами была, как я говорил, компания студентов и их подруг. Из них собственно я намечал Князева и Филипченко [39]. Князев был типичный нигилист «семинар». Бедный, отрепанный, в какой-то длинной развевающейся хламиде вместо пальто, очень молодой, худой, с заостренными чертами лица,— это было лицо старой злой бабы без малейших признаков растительности. Угрюмый, озлобленный, самолюбивый, с огромными претензиями, с самыми посредственными способностями, Князев был бы,

однако, способен к развитию, если бы оно было ему дано. Он мог и усомниться, и подумать своей головой, мог и полюбить человека... К революции он пристал без колебаний, без разговоров, погрузился в нее, как в свою природную стихию. А, впрочем, ничего в ней не мог сделать, потому что не имел никакого таланта, ни в каком отношении.

Филипченко был человек совсем другого типа. Красивый, из зажиточной семьи, в дорогом полушубке из демократизма и в золотых очках из барства. Он работал в академии прекрасно, интересовался своим предметом. Не имея никакого вкуса и способности к каким-либо высшим вопросам, он был, однако, очень умен в более наглядных предметах, обладал большим здравым смыслом и хорошей волей. Радикальничал он недолго и, вероятно, больше по инерции и не предвидя от того никаких последствий. Он, конечно, мог бы и втянуться в революцию, но месяца через 2—3 профессор, у которого он работал, заметив что-то ненормальное в его поведении, серьезно переговорил с ним, убеждал его бросить глупости и заняться серьезной работой... Филипченко послушал доброго совета и круто порвал с нами, объявив начисто, что ни в какие революции не верит и ничего с ними делать не намерен. Так он и скрылся с горизонта.

Тогда я очень жалел о нем. Впоследствии я слышал, что он завел передвижную паровую молотилку, с которой зарабатывал много денег в Орловской, кажется, губернии.

За время пребывания с нами он доставил «делу» 150 р. Эти деньги были по его хлопотам пожертвованы одним лицом в пользу недостаточных студентов. Мы без труда нашли десяток студентов, которые выдали нам пустые расписки в получении кто 10, кто 20 рублей, расписки представили жертвователю, а деньги передали в Петербург, в кассу чайковцев.

Делать такие обманы мы нисколько не стеснялись. Деньги шли «на дело»,—это для нас уже начинало оправдывать если не все, то очень многое.

В то время, когда я только что познакомился с Филипченко, он находился в связи с некоей Андреевой (кажется, Анна Васильевна [40]), жившей на той же даче. С ней он тоже скоро разошелся. Когда я сообщил ему, что, по словам Князева, Андреева собирается открыть какую-то мастерскую, Филипченко

грубо засмеялся и сказал: «Ей годится одна мастерская, — детей делать!!».

Это, действительно, была личность любопытная по испорченности.

Андреева, впоследствии попавшая подсудимою в процессе 193-х, была провинциальной актрисой. Гамов столкнулся с ней в Таганроге, как, вероятно, сталкивался с ней не один десяток мужчин.

В те времена, т.-е. в 60-е годы, была мода спасать падших женщин, по «Что делать». Одна компания студентов выкупила, например, из публичного дома женщину, начала ее «развивать», отучать постепенно от пьянства, а чтобы постепенно отучать от разврата, назначили ей в сожители одного из своей среды... Вся эта мерзость, не подозревающая своего собственного разврата, не спасла женщину, которая сбежала от своих развивателей опять в публичный дом.

Гамов тоже стал спасать Андрееву, развивать ее, говорить ей о высших интересах и т. п. Андреева набралась у него громких слов, но осталась прежнею.

Мы, впрочем, т.-е. московские чайковцы, не имели с Андреевой никакого дела.

1872 г.

XII.

В Москве, среди товарищей студентов, я совершенно не видел никого, кого бы можно было привлечь к делам, да я и не умел этого делать. Я знал многих, впоследствии оказавшихся подсудимыми по политическим процессам, но тогда не мог себе представить, чтобы они могли заниматься политикой. Казалось, они были так от нее далеки, а привлекать я тогда совершенно не умел. Не только я был до невероятности конфузлив и застенчив, но мне всегда было совестно людей к чему-нибудь принуждать, увлекать их к тому, чего они самостоятельно не желали.

Единственное исключение составлял Аркадакский [41]). Это был нескладный, непропорциональный студент из семинаристов, живой, экспансивный, в котором ограниченность ума как-то странно совмещалась с интересом ко множеству вопросов. Он был

вполне «радикал» и, должно быть, чуть не с пеленок. С ним я познакомился, как с соседом по комнате, в меблированных комнатах Келлер (Мерзляковский переулок). Мы скоро сошлись. Он был малый простой и душевный, в конце концов, честный, желания которого сводились к жизни по своему убеждению. С ним я свободно говорил о всяких «вопросах» и с ним решил начать «деятельность» в «народе». Правда, что Аркадакский был очень связан. У него, самого чуть не мальчика, были на руках еще более молодые брат и сестра, которых он принужден был выписать к себе в Москву. Жили они чем бог пошлет, уроками, сокращая себя до последней возможности, но были веселы и бодры. Итак, Аркадакский не мог отдаваться «делам» целиком, но свободное время посвящал им охотно.

Аносов имел когда-то связи с рабочими. Но показываться к ним самолично ему было бы неудобно. Его знали, на него могли донести. Он поэтому отыскал одного, некоего Семена (кажется, Семена, — все равно), «распропагандированного», и свел меня с ним. Это был белобрысый, чистенький и слабенький человек, с тонким лицом. Идеи у него были, конечно, сумбурные, но все же радикальные. Больше всего он вспоминал личные приятельские отношения со студентами, сходки в Петровской академии, мелкую войну со «шпионами», которых требовалось сбить со следа, и т. п.

Надо сказать, что Чарушин меня крайне подгонял относительно рабочих. «Ну, как-таки в Москве ничего нет?!» — «Да где же я возьму рабочих?» — «Это удивительно, как не найти!». Я предлагал начать ходить в трактиры и искать случайных знакомых. Чарушин это отверг. «У нас когда-то это делали, — и никакого толку. В трактирах собирается много дряни, нет никаких шансов встретить именно порядочного человека». Порешили на том, что они должны помочь нам, прислать какие-нибудь связи через петербургских рабочих. Раз даже, действительно, прислали одного рабочего, но он посетил меня только раз и затем исчез. Я продолжал просить помощи из Питера. Аносов же чувствовал это обидным. «Обойдемся и сами найдем», — говорил он, и, действительно, нашел своего Семена.

Отправились мы с Семеном в артель, куда он должен был меня ввести. Приходим. Это было на Маросейке, в грязном,

темном переулке. В первый раз входил я в жилище рабочих просто, как гость. Большая, грязная комната, уставленная нарами, заваленными кожухами, всякой дрянью. Грязь, вонь. Усталые рабочие в потных рубахах. Положение мое было преглупое. Собственно, зачем я пришел к этим людям? Что я им скажу? Семен меня выручил, сказав нескольким рабочим, что вот, дескать, барин согласен учить грамоте кого угодно. Довольно глупо и это, но тогда это был общий прием, — с этим всегда являлись к рабочим. Рабочие отнеслись ко мне как-то спокойно, без большого удивления, без понимания, без вражды и без любезности. Так, как будто бы я был на рынке, где всякий может свободно толочься, за чем угодно. Учить, — так учить. Некоторые заговорили со мной об уроках, спрашивали, буду ли я за это что брать. Подошел мастер, Василий, кажется, о котором я уже слышал от Аносова и от Семена, как о человеке опасном. Он когда-то прошел полный курс пропаганды у нечаевских студентов, был очень развитой, много читал, считался ярым. Потом, по разгроме нечаевцев, все это бросил, стал «кулаком», по выражению Аносова. Попросту стал заниматься своими делами, умом и энергией выдвинулся, сделался табельщиком, был накануне фабричной карьеры. Он подошел ко мне с усмешечкой. Это был высокий, плотный человек, сытый, с очень умным лицом. Говорил прекрасным литературным языком. «Это вы желаете рабочих обучать? Только уж меня оставьте! Меня республиканцем не сделаете... Я все это знаю»... Сконфузил он меня ужасно, и я мог только пробормотать какую-то чепуху в роде того, что республиканцами никого не хочу делать.

Впрочем, Василий скоро отошел, и я его больше никогда уже не встречал. Доноса с его стороны мы не опасались. Он этим не занимался. Было ли с его стороны какое-нибудь воздействие на рабочих,—не знаю. Последователей мы здесь не приобрели и даже до пропаганды не дошли, а до конца остались с одними уроками.

Семен тоже больше не показывался и пособия больше нам не оказывал. Почему, — не знаю. Впрочем, сам Аносов отзывался о нем пренебрежительно: «Пустой человек».

К рабочим же я стал ходить очень сначала усердно. Носил книжки, строго цензурные, учил их грамоте. Меня это сначала

увлекало, во-первых, новизной. Идешь, бывало, ночью через знаменитую Хитровку. Там оборванцев, голытьбы, жулья — несосветимая сила! Полягут спать на тротуарах, на папертях, пройти трудно, постоянно нужно обходить и перескакивать. Страшно немного, а в то же время тешишь и разжигаешь себя размышлениями на тему о народном горе. В этих размышлениях было много искренности, но много юношеской фразы. В сущности, «отброс» был вовсе не очень велик для города с 600.000 населением. Но перспектива — самое трудное в наблюдении, особливо для молодого человека. В артели все тоже было необычно для меня; я наблюдал с интересом каждое движение рабочих, их грубую пищу (накрошат, бывало, сушеной рыбы в квас с луком, — вот и весь ужин); они мне казались очень бедными. Но жалоб я не слыхал, и если бы мог отдать себе отчет во впечатлениях, должен был бы сказать, что они довольнее меня своей жизнью.

После некоторого времени мое положение в артели начало меня очень тяготить. Рабочие относились как-то странно, безразлично, не обращали внимания. Один только, кажется, Моисей относился ко мне будто дружелюбно. Раз я пригласил его к себе, в Брюсов переулок. Он зашел, напился у меня чаю, просидел долго ночью, и много мы говорили. Это был довольно угрюмый молодой человек, самоуглубленный, мечтательный. Он, оказалось, служил раньше у одного профессора и наслушался около него много вольнодумных суждений. «Будить народ надо, спит народ», повторял он много раз с каким-то убеждением, как священную формулу, в которой нельзя изменить ни одной буквы. Очевидно, он заучил эту фразу, и она ему понравилась. Мы не говорили ничего прямо бунтовского, но все больше о невежестве, притеснениях народа, эксплуатации, расстались, повидимому, очень душевно, но второй раз Моисей не пришел уже. Путь не близкий, работы много, да и свободный час, может быть, ему интереснее было провести в трактире, чем у меня.

Но Моисей был единственным случаем, меня порадовавшим, хотя я и сознавал, что моего меда тут нет ни капли. Остальные относились безразлично. Казалось, мне делают какое-то снисхождение, слушая мои уроки. Я обвинял себя: не умею взяться. Я боялся испортить положение, да и желал с себя снять работу,

*

столь неприятную и бессмысленную. Я решил, что как-нибудь поеду в Питер поучиться вести пропаганду, а пока предложил Аркадакскому взять на себя «занятия с рабочими», так как, дескать, мне некогда. Он взялся охотно, но скоро тоже стал выражать недовольство, — очевидно, у него дело пошло не лучше.

XIII.

Хотя я и не был искренним, сдавая Аркадакскому обузу, меня тяготившую, но мне, действительно, было и некогда. Мне приходилось слишком много бегать туда-сюда. С одной стороны, приходилось давать уроки, отчасти для существования, отчасти с разными целями. Так, взял урок у одной барышни, имея в виду ее пропагандировать: семья была крайне либеральная, но барышня, очень миленькая, впрочем, только зевала на уроках, охлаждая всякий мой проповеднический пыл. Ничего из этого не вышло. Взял другой урок, — тоже с целью пропагандировать, — двух барышень. Ну, эти были и сами склонны к радикальностям и собственно во мне не нуждались. Как бы то ни было, с этого урока меня скоро прогнали. Матушка, важная барыня, услыхала от какого-то чиновного лица, что я скоро буду арестован, и отказала мне; намеревалась даже выгнать, но дочери, избегая скандала, сообщили мне сами, через Армфельд, чтоб я больше не приходил на урок. Имел еще уроки у двух приказчиков, рассчитывая их обратить на революционный путь. Но эти добрые ребята, веселые, сытые, неразвитые, думали только о гулянках, а не о революции, так что и тут у меня ничего не воспоследовало.

Кроме уроков, приходилось знаться с радикалами. Обо мне между ними пошел слух, меня искали, и я сам их искал. Так, я познакомился с радикальными семьями Ков. и Мит. Дол., с Шишко, Гамовым, Долгушиным, Папиным, Дмоховским, Лермонтовым и т. п. Называю только крупных, а всякой мелочи, в роде разных Васюковых [42]), даже не упомню. Еще познакомился с Фроленко [43]), впоследствии «знаменитым», познакомился с не менее «знаменитым» пропагандистом Василием Ивановским [44]) и т. д. Познакомился с несколькими своими «питерскими», для которых служил постоялым двором. В то же время постоянно налетали

разные «дела»: то, смотришь, заведутся сношения с тюрьмой, то приходилось устраивать студенческую («вольную») библиотеку, то — то, то — другое.

Время проходило незаметно, ключом кипело.

XIV.

В наше время начал устанавливаться обычай, впоследствии разросшийся во всероссийскую систему, породивший даже революционный «Красный Крест». Как только арестовывался кто-нибудь по политическому делу, сейчас являлись сердобольные, сочувствующие барыни и барышни, старались добиться свидания с заключенным, называясь иногда родными или, еще проще, невестами, носили арестованному книги, пищу, деньги, белье и т. п.

Стали наши барышни добиваться того же относительно Ц. и К.[1] Батюшкова, смелая, энергическая, отправилась к начальнику жандармского управления Воейкову (кажется, а, может быть, это был Слезкин)[45]. Тот, однако, выслушав просьбу о свидании, ответил очень строгой нотацией. «Стыдитесь, mademoiselle, вы, Батюшкова, дворянской фамилии, позволяете себе подобные demarches».[2] Отказал начисто. Пришлось ограничиться доставкой книг и т. п. Барышни с этим и возились. Пытались мы воспользоваться книгами для переписки (подкалывая буквы так, чтобы образовывались нужные слова). Но Ц. и К. были ленивы или недогадливы. Напрасно мы тратили время, пересматривая книги. Через несколько времени Батюшкова стала ходить около полицейской части, где сидели Ц. и К., в надежде увидеть их — и действительно. Двор части отделялся дрянным досчатым забором от пустыря, через который ходила публика. В этом-то дворе выпускали гулять политических арестантов! Проходя через пустырь, Батюшкова увидела К., увидела другой раз Ц. Они ее тоже видели. На другой раз, когда Батюшкова проходила, К. закричал ей вслед: «Барышня, платочек обронили». Она подбежала к нему, он с улыбкой подал ей через забор свой платок. Городовой, следивший за гуляющими, не счел нужным

[1] Цакни и Клячко.
[2] Выходки.

вмешиваться. Схватив платок, Батюшкова побежала домой: разумеется, это была записка.

Другой раз, сидит однажды Р.[1] в своем кабинете и занимается. Вдруг — стук в окно. Ночь полная, по зимнему времени. Он подходит к окну, — и что же? На него с улицы, улыбаясь, смотрит К.! Р. в первую секунду опалел, — не знал, что и думать, но тотчас же выскочил на улицу. Там стоял К., за ним жандарм. Этот ловкий К. попросился в баню и пошел такой дорогой, чтобы пройти мимо Р. Разумеется, Р. стал упрашивать зайти. Жандарм решительно не позволил. Но Р. и К. пошли во двор, и жандарм не решился пустить в ход силу. Конечно, он получил вознаграждение за любезность. Так они втроем поболтали, напились чайку, при чем жандарм сидел, как на иголках. Наконец, К. сжалился над ним и отправился в баню.

Такова была патриархальность и распущенность... И мы еще жаловались на строгости!

XV.

Другой случай сношений с тюрьмой, имевший место раньше, еще любопытнее.

В одной части сидела за долги либеральная старушка Т., которую навещала красавица Олимпиада.[2] В этой же части сидел Черкезов[47]), осужденный к ссылке в Сибирь по нечаевскому процессу, но почему-то целых три года не высылавшийся, прямо сказать, по беспорядку, по неряшливости администрации. Этот Черкезов скоро был тоже, наконец, сослан, потом бежал за границу, стал там анархистом, можно сказать, знаменитым настолько, что был выслан из Франции, из Швейцарии, а в Германию, Австрию, Италию и Испанию и без того не мог носу показать, так что во всей Европе для него не оказывалось места. Я его лично нигде не знавал, но знаю, что он довольно большая дубина, с той характерной тупой развязностью, которая свойственна множеству армян.

В 1872 году, однако, Черкезов еще сидел в части, пропадая от скуки и от голода; от скуки он писал нелепейшую драму,

---

[1] Рагозин.

[2] Алексеева [48]).

в которой (я ее читал) прославлял либеральное земство, от нужды писал образа и продавал их (он недурно, говорят, рисовал). От скуки познакомился со старушкой Т. и с приходившей к ней О. Так он вступил в сношения с «волей», писал чуть ли не объяснения в любви О. (простительно, впрочем, после 5, кажется, лет тюрьмы), а также немедленно начал агитировать.

Он по нечаевскому процессу познакомился с кн. У. [1], и теперь решил обратиться к нему. Написал письмо, с упреками, как, дескать, такой талант зарывается в землю праздно! Стоит, дескать, захотеть, понять себя, и вы можете дать русской молодежи то, что она потеряла со ссылкой Чернышевского. В таком духе. В заключение он говорил, что если князь У. захочет действовать, то вот он рекомендует ему К [2], представителя лучшей части молодежи.

Кн. У. был прежде всего bon vivant, умел и любил пожить. Но убеждения, насколько он их имел, конечно, были такие, как у всей интеллигенции, — радикальные. От роли Мирабо он, конечно, бы не отказался. Роль, указываемая ему, сулила меньше и была опаснее. Уж не знаю, в какой мере он думал ее осуществить, но мысли в этом роде забродили у него. С К. он познакомился, но затем очень быстро все это вышло наружу. К. был арестован, — по этому поводу или не по этому, не знаю; нашли ли у него что-нибудь, компрометирующее кн. У., или нет, — тоже не знаю; знаю только, что нашли роскошную записную книжку, подаренную князем, а в ней какие-то заметки. Как бы то ни было, у князя был сделан обыск.

Князь, с самого нечаевского процесса чрезвычайно либеральничавший, встретил жандармов очень неучтиво. Воспользовавшись каким-то несоблюдением ими всех формальностей, он их заставил ждать в передней, пока формальности не будут совершены. Потом, когда они перебирали его книги (иностранные), князь все острил, рассказывал своему помощнику, как один полицейский счел за запрещенную книгу Les revolutions du Globe [3]... Нашли у него что или нет, — не знаю,

---

[1] Урусов [48]).

[2] Клячко.

[3] «О геологических переворотах».

но князь был арестован и посажен в Кремлевские казармы (кажется, это называется главная гауптвахта при Арсенале, или Ордонанс-Гауз). Тут ему жилось привольно, — он принимал и угощал. Между тем, дело его пошло нехорошо.

Рассказывают, что государь (Александр II), встретив старого Урусова при дворе, спросил: «Это твой сын?». Тот отвечал, что нет. «Ну, я очень рад, — заметил государь, — он мне надоел».

В конце концов, «Мирабо» был выслан административным порядком в Венден, Лифляндской губернии. Совет присяжных поверенных выражал свой протест, посылая ссыльному поздравительные телеграммы в свои торжественные дни и посылая ему пригласительные повестки.

Когда У. увозили (с двумя жандармами), он угощал приятелей на вокзале. В числе их был некто Антропов, сотрудник «Московских Ведомостей». Антропов еще недавно написал громовую передовицу против революционеров, утверждал, что уровень развития их все более понижается, «и скоро свет спасения заблещет из окон публичных домов!». Тут, на вокзале, он с прочими напились до положения риз и, усаживая князя в вагон, орали «Vive la Republique!».

XVI.

Студенческая библиотека, о которой я упоминал, возникла по идее еще при К. [1] Я уже забыл, хотя участвовал в собрании кухмистерской, решившем учреждение библиотеки, сколько денег мы на нее дали. Кажется, мы ликвидировали кухмистерскую и на оставшиеся рублей 300 решили накупить книг. Список был составлен наирадикальнейший. Книги запрещенные решено было не вписывать в каталог. Устраивать библиотеку было поручено мне и еще, кажется, Гольцеву и Морозову. Много книг пожертвовали, особенно К., остальные закупили на распродажах и рынках, очень выгодно, но с огромной затратой времени и трудов.

Помещалась библиотека сначала у меня, потом не помню у кого, а, в конце концов, уже без меня, была, если не ошибаюсь, арестована.

[1] Клячко.

XVII.

За это время мне пришлось познакомиться со многими революционерами.

Характеристики:

Долгушин.
Дмоховский.
Гамов.
Папин.
} Цели и деятельность их кружка.

Революционная среда — семейство М. Д. «Добрый отщепенец». Любавский с Богдановым [29]).

XVIII.[1]

Провинция: Харьков, Киев, Одесса, Орел, зачатки «богочеловечества» [30]). Разъезды чайковцев.

Моя поездка в Петербург, первая.

Приобретение чайковцами типографии.

Мысль об издании заграничного журнала.

Правительственные меры против распространения книг.

XIX.

Хотя мы (Нат. Армфельд, Батюшкова, я, Аносов, Князев) действовали более или менее вместе, но кружка не составляли. Чарушин часто говорил, что нам нужно соединиться в формальный кружок, особенно после возвращения из объезда. Одесский кружок произвел на него сильное впечатление. «У них, — рассказывал он мне, — сил немного, но он прекрасно организован, специализирован; каждый занимался своим делом».[2] Т.-е. одни вели пропаганду специально среди молодежи, другие — среди рабочих, третьи занимались отысканием средств для кружка, четвертые — литературным делом и т. д. Между прочим, одесский кружок начал тогда издание рукописного журнала, по странной слу-

[1] В подлиннике эта глава ошибочно помечена XIX, а следующая XX.

[2] Кружком руководил Феликс Волховский. *(Прим. автора.)*

чайности, названного «Вперед», хотя одесские еще не знали о затевавшемся под тем же названием заграничном журнале Лаврова [51]).

Под этими настояниями петербуржцев, мы, наконец, образовали кружок. Это было, кажется, весною 1873 г., тотчас по освобождении К. и Ц.[1] Если же я ошибаюсь, то очень близко перед их освобождением, в первые месяцы 1873 года. Во всяком случае, первую роль в образовании кружка играл Чарушин.[2] Не помню, были ли при этом К. и Ц., но самое собрание помню очень хорошо. Маленькая комнатка Натальи Александровны[3], где 5—6 человек уже заполняли все уголки. Присутствующие — две барышни и нас трое или пятеро, да Чарушин. Все сидят как-то глупо, не то конфузясь, не то самодовольно; один Аносов с той серьезностью, с какой неверующий чиновник преклоняет колени во время молебствия... «Нужно, дескать, форма такая, для народных чувств». Чарушин начал говорить. «Господа, вы давно действуете вместе, спелись, знаете друг друга... Уже пора сомкнуться в определенный кружок». Молчание. «Мне кажется так. Как вы полагаете? «Ну что бы вы сказали, Наталья Александровна?».

На такие категорические запросы послышались односложные тихие ответы: «Да, конечно». «Понятно»... Мы собственно хотели составить кружок, и это давно было решено, колебаний никаких у нас не было, а стесняла формальность, — мы как-то не понимали, что мы будем делать в кружке.

«Итак, господа, вы составляете кружок», — заключил Чарушин, уже наметавшийся в радикальных делах и не стеснявшийся неловкостями положения, как с течением времени привык не стесняться каждый из нас.

Эта минута не заключала в себе ни на иоту торжественности, — она была ультра-бесцветна. Чарушин тотчас свел речь

---

[1] Клячко и Цакни.

[2] Мы не умели образовать кружок, не умели преодолеть какой-то конфузливости для совершения самой формальности. Я говорил это Чарушину: «Да устройте нас вы»... Он смеялся, пожимал плечами, наконец, сказал: «Ну, хорошо, извольте, сделаю я». *(Прим. автора.)*

[3] Армфельд.

на практическую почву, о практических делах, и тут уже все заговорили свободно: что делать, кому делать... На этом или на следующих собраниях кружка решено было вести занятия с рабочими, решено было для привлечения некоторых лиц поселиться на даче, в Мазилове, на лето.

Собственно я в это время делал свои первые литературные пробы, и именно преимущественно в виде сказок. Моя «Америка» (в сущности чушь, так же похожая на Америку, как свинья на апельсин), не пропущенная цензурою, читалась, однако, рабочими в Петербурге в рукописи. Ее пропагандисты очень одобрили. Не помню хорошо, какие я именно писал сказки, конечно, тенденциозные, но только их чрезвычайно похвалили. «Может быть, это именно ваш жанр», — сказал Чарушин, и я усердно кропал. В сущности это именно не был мой жанр. Это были очень топорные притчи, вдохновленные Щедриным. Из них более талантливая, которую я, впрочем, сделал только осенью 1873 г. в Петербурге, это — «Сказка о четырех братьях». Долго я работал, до самого ареста, над «Историей Пугачева», которую так и не успел окончить. Окончена она была, кажется, Кропоткиным [52]).

К известной чести моей нужно сказать, что хотя сказки мои бессовестны в том смысле, что я сам не знал того, что позволял себе ругать, однако, я и тогда не доходил ни до грязи, ни до богохульства, какими щеголяли другие революционные писатели.

Итак, относительно лично меня так и было решено, чтоб я продолжал свои литературные фабрикации. От занятий с рабочими лично я временно устранился. Мы тогда уже сразу усвоили тактику петербургскую: вести дело не только силами членов кружка, но и силами притянутых уже им, но еще не принятых в него. Так как рабочее дело было возложено на Князева и все-таки на меня, то мы его поставили при помощи еще S., Аркадакского и Фроленко, даже и не знавших о существовании кружка. Из них Аркадакский вел занятия на Маросейке, Фроленко — не знаю где, S. поступил на какой-то завод. Князев же поступил учителем в фабричную школу к одному купцу у Трехгорной заставы. В сумме все это было еще не пропаганда, а лишь искание связей и знакомств среди рабочих.

Аносов, помнится, был назначен на ведение связей в молодежи. Барышни, — уж не помню, — кажется, не получили никакого специального назначения. Временно не получили его и вышедшие из тюрьмы К. и Ц. Они были столь истрепаны, что хотели просто «отдохнуть», почему и поселились на даче в Мазилове.

Это поселение, впрочем, имело свой умысел.

КРУЖОК ЧАЙКОВСКОГО.

Летом 1873 г. я отправился в Петербург, чтобы научиться у наших чайковцев, как вести пропаганду. Московскими делами я был недоволен, да и дел то в сущности не было. Я не думал совсем остаться в Петербурге и даже не решался бросить университета, так что уехал по студенческому свидетельству. Товарищи уговаривали меня оставить университет, но мне это крепко не нравилось. Итак, я ехал на некоторое неопределенное время. Вещи свои оставил в Москве у брата, который весьма неодобрительно кривился, замечая мои новые интересы и все мое поведение, хотя и не знал всех размеров моей политической компрометированности.

В Петербурге я знал адрес одного П. А.[1] Кропоткина (на Большой Морской). Он жил там в порядочных меблированных комнатах, с моей студенческой точки зрения, роскошно, весь в книгах. Я с ним познакомился еще в Москве и даже навестил его в его (или его родных) имении, где-то под Москвой. Это был чистокровный барин, изящных манер, с барской самоуверенностью, образованный, многим интересующийся, и революционер до мозга костей. Он уже в то время был анархистом, а анархизм в то время у нас был еще совсем новинкой.

Мне, как многим из нас, особенно рабочим, льстило знакомство князя Рюриковой крови, настоящего аристократа, бывшего нашим товарищем. Кропоткину совершенно также льстило знакомство плебеев. «Народ» он себе представлял в каком-то лучезаре, хотя не знал его, как, в сущности, ничего не знал реально, а все мечтательно, выводным представлением из теории. Он кончил курс в пажеском корпусе, затем служил где-то на Амуре,

[1] Петр Алексеевич. *(Прим. автора.)*

куда сам напросился, думая служить, быть полезным. Служба его разочаровала, как и должно было быть. Для того, чтобы быть полезным в реальной жизни, нужно признавать ее основы. Если же их отрицать, то, конечно, чем успешнее идет общественная работа, тем менее в ней такого, чему бы мог порадоваться отрицатель.

Кропоткин переезжал, между прочим, и границу Китая, и очень остался доволен китайцами. «Впрочем, все народы хороши, — прибавлял он, — т.-е. низшие классы всех народов, их портят только высшие классы». Это «убеждение», очевидно, было у него еще раньше, чем он мог увидеть хоть одного человека «низшего класса» какого бы то ни было народа.

Он пресерьезно и горячо доказывал, что мир всем обязан рабочим, низшим классам. «Все открытия делаются рабочими». «Самые идеи, обновляющие мир, рождаются в головах рабочих. Ваши ученые и философы только подслушивают эти идеи у рабочих и формулируют, как якобы свое открытие».

Кропоткин был небогат. Его состояние составляло около 20.000 р. Чайковцы очень не одобряли его за то, что он, будучи членом кружка, не отдает этих денег «на дело». Кропоткин в интимной беседе оправдывался. «Я не отдам, потому что берегу их на более важную минуту. На то, что мы теперь делаем, — на эти книжки, пропаганду, — на все это деньги найдутся. Богатые, буржуа дадут на это. А вот когда нужно будет вооружить рабочих, чтоб уничтожить буржуа, тогда никто гроша не даст. Вот на это и нужно беречь деньги».

Эти объяснения встречались, однако, весьма скептично.

Разочаровавшись в службе, Кропоткин поехал за границу, изучал там рабочее движение, очаровался анархистами и думал совсем оставить Россию, чтобы отдаться рабочему делу за границей. Но, приехав в Россию, с целью реализовать свое состояние и навсегда проститься с родиной, он познакомился с чайковцами, увидал фабрикуемых ими рабочих и изменил намерение. «Эти рабочие ничем не менее развиты, нежели европейские, — говорил он, — здесь стоит действовать». Итак, он примкнул к кружку, хотя вообще был несравненно революционнее всех остальных членов. Другие более или менее все были более развиватели народа, нежели бунтовщики. Кропоткин проповедывал

немедленный бунт. За то другие члены были против деспотической организации кружка, против принудительной деятельности членов. Кропоткин стоял за принудительную деятельность, за кружковую дисциплину. «Вот тебе и раз, — смеялся над ним Д. А. Кл. [1], выходит, что мы более анархисты, нежели вы». Кропоткин сердился: «За то я более революционер, нежели вы». Это была правда. Еще нужно бы прибавить, что он был изо всех наименее русский человек. Он был европеец с головы до ног и по внешности (светской), и по духу. В нем не было ни искры религиозного чувства, ни добродушия, ни мягкосердечности, ни лени, ни мечтательности. Человек сухой, формалист теории. За то он не был любим, не был товарищ, им только дорожили, как умным и образованным человеком, и действительно, при всей односторонности своего образования, он был сведущее всех прочих.

Кропоткин сообщил мне, что «штаб-квартира» кружка переменена. Переночевав у него и с большим благоговением наслушавшись от него всяких европейских революционных новостей, я утром отправился в Казарменный переулок искать «штаб квартиру».

Найти было нетрудно. Маленький деревянный дом был снят здесь кружком. Хозяевами назначены, помнится, покойный «Михрютка» (Михаил Куприянов) и В. Н. Б. [2], которая как раз сидела у окна, когда я проходил мимо, и окликнула меня. Эта барышня тогда мне некоторое время нравилась, а я ей, кажется, еще больше. Но все так и осталось мимолетным платоническим зефиром. А, правду сказать, из революционных барышень она была едва ли не из самых хороших по сердцу.

Штаб-квартира была бедна, грязна, неуютна, но вечно наполнена кучей приходящих за разными надобностями. Тут же происходили и собрания кружка. Я чуть не в день со всеми повидался, и что-то скоро очень произошло собрание, на котором мне предложили отправиться за Невскую заставу, к Синегубу, чтобы у него поселиться и помогать ему в пропаганде.

Это мое пребывание за Невскою заставой описано мною в моей французской книге Les conspirateurs et poli-

---

[1] Клеменс.

[2] Батюшкова.

ciers, souvenirs d'un proscrit russe. Paris, Albert Savine éditeur, 1887 г.[53]). Автобиографические главы этой книги составлены по моим «Воспоминаниям», впоследствии мною сожженным. Теперь я их снова воспроизвожу с французского, впрочем, буду дополнять местами рассказ, не обязываясь исключительно переводом.

Синегуба (Сергей Силыч) я только раз видел, именно на собрании, которое меня к нему отправило. Он мне понравился, да и всем нравился этот милый, добродушный малый. На квартире его я еще не бывал, и меня туда повел Орлов [54]).

Орлов был «распропагандированный» рабочий, маленький, беленький, весьма неглупый и приблизительно настолько же «развитой», как средние студенты радикального круга. Он довольно много читал, конечно, все передовые вещи, знал имена Лассаля, Шульце-Делича, Марата, толковал о рабочем движении. Я тогда еще почти впервые видел этих распропагандированных рабочих (правда, знал Обнорского, Абакумова [55]) и чрезвычайно восхищался образчиком столь «блестящим». Орлов, впрочем, был настолько умен, что, попавшись и посидевши, этим удовлетворился и отстал от «движения».

Итак, мы отправились. Наш путь был долог. С дальнего конца Петербургской стороны приходилось пересечь почти весь город, чтоб попасть за Семянников завод, чуть не на Бугорки. Мы тогда отрицали не только извозчиков, но даже и конки, ходили пешком. Впрочем, и денег у меня было маловато, — едва ли рубля два-три. Наконец, мы вступили за Невскую заставу, наш «Фобур Сент-Антуан», как мы его называли. За монастырем потянулась бесконечная широкая улица, которая, под разными названиями, тянется верст десять. Два ряда ее домов с одной стороны граничат с Невой, с другой прямо за домами виднеется широкое болотистое пространство. Это предместье чисто фабричное. Высокие трубы фабрик и заводов видны, сколько глаз хватит, по обе стороны улицы. Остальные постройки, — это изредка роскошные дворцы магнатов промышленности, а чаще либо рабочие казармы, либо, наконец, дрянные грязные домишки, набитые рабочими, кабаками и трактирами. На улице стояла толпа рабочих. Эта грязная, грубо мощеная улица, с деревянными тротуарами, составляла деревню Смоленку. Мы остановили-

лись перед почерневшим деревянным домом в два этажа, пересекли кусок двора, сочащегося грязью, и вошли в темный-претемный коридор.

«Здесь», — сказал Орлов, стуча в дверь. Но дверь не отворялась, и тут мы разобрали, что на дверях висит запертый наружный замок. Что делать? Мне некуда было деваться. Подождали несколько времени. Но Орлову долго ждать было нельзя. «Замочек дрянненький, — заметил он, — давайте попробуем сломать». Посмеявшись, что русский человек задним умом крепок, мы без труда сломали замок и вошли.

Квартира состояла из двух комнат и кухни. Бревенчатые стены были оклеены порванными обоями. Доски грязного некрашеного пола гнулись и скрипели под ногами. В кухне имелось несколько горшков, на полу валялся топор, корзина угольев, стоял самовар и ведро с водой. Спальня была заперта. В другой комнате стоял белый деревянный стол и с полдюжины ломаных разнокалиберных стульев. На стене — карта России. Больше ничего. Таково было мое новое жилище [56]).

80-е гг. [1].

С 1878 по 1881 год я жил самой оживленной революционной заговорщицкой жизнью, и пережитое в сумме произвело на меня странное действие. Хотя я за это время кое-что читал и писал довольно много (я сотрудничал, кроме революционных журналов, еще в «Отечественных Записках», в «Деле», а немного писал в «Слове» и «Русском Богатстве» [57]), хотя я за это время близко видел многих людей (особливо литераторов), считавшихся развитыми, знающими, умными, однако, я в своих теоретических понятиях и идеалах не подвинулся ни на волос вперед. Те же — демократия, социализм и т. п., которые с молодости были вбиты в голову. Да и немудрено. Собственно говоря, не таким моим друзьям, каким был покойный Шелгунов [58]), было вложить мне хоть одну каплю нового. Кстати сказать: теперь этого Ник. Вас. Шелгунова, — прости ему господи за неведение, — восхваляют, прославляют, как что-то выдаю-

[1] Писано в 1891 г. май *(Прим. автора)*.

щееся. Я его хорошо знал. Он меня очень любил, постоянно мною восхищался, и даже уверял, что как я войду, так от меня «свет какой-то распространяется». Покойный не лез в карман за любезной фразой, но, помимо этого, он все-таки искренно любил меня, был со мной откровенен, и мы были большие приятели, хотя он и был на 25 лет старше. Не скажу о нем худого: это был человек убежденный и честный. Но собственно в умственном отношении — самая средняя величина, так что я относился к нему совершенно как к равному и не придавал ему значения на грош. Впрочем, и все его сотоварищи, начиная со Станюковича [59]), так же смотрели. Нечего и говорить, что Н. К. Михайловский, при своем самомнении, считал его круглым ничтожеством. Из двух крайностей — это ближе к истине, нежели нынешние возвеличения Шелгунова, которые делаются знающими совершенно в сознательно бессовестно. А, впрочем, о покойном расскажу как-нибудь, коли бог даст, позже.

Но и от людей поумнее Шелгунова не мог я ничего приобрести. Все это были люди либеральные и радикальные.

Оставаясь теоретически радикалом, социалистом и революционером, я по чувству, по внутреннему запасу впечатлений, претерпел за эти годы замечательные изменения, которые шли в полный разрез с моими теоретическими убеждениями. Это явление я часто замечал у умных радикалов, после некоторого житейского опыта.

ЭПОХА «ЗЕМЛИ И ВОЛИ», «ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА» И «НАРОДНОЙ ВОЛИ». [1]

I.

Я приступаю к запискам о временах «Народной Воли» так много лет спустя (1898 г.) — почти 20 лет, после столького пережитого, передуманного, — что чувствую себя совершенно беспристрастным, почти бесстрастным...

Я бы сказал прямо «бесстрастным», если бы не чувствовал глубокой жалости ко всем или по крайней мере большинству тогда погибшим людям. Все они люди, и все очень полною ценою расплатились за все, что сделали ошибочного или преступного. Притом понятие преступного в политике так условно, так часто сводится к простой ошибке или даже к вопросу об удаче или неудаче.

Наконец, я пишу для того отдаленного будущего, когда все эти события уже потеряют жгучее или заразительное значение. Следовательно, даже соображения общественной пользы не могут отклонить меня в нижеследующих строках от того беспристрастия, которое установилось в душе моей по отношению к этим стародавним временам, когда и я был молод, и я ошибался, и я делал зло, не думая, чтобы это было зло, но чувствуя, будто бы веду жизнь самоотверженного героизма.

Прошло 20 лет. Я постарел и стал опытнее. Но мне ли не знать, что и теперь я часто ошибаюсь и, думая делать добро, может быть, делаю зло. По крайней мере, не могу поручиться, чтобы этого не случалось. Чувствуя это, я не имею ни малейшего желания становиться судьей людей тех времен. Себя

[1] Тетрадь № 27.

*

я за дела тех дней уже осудил и лично, и публично, свою жизнь постарался изменить сообразно с этим судом. А судить умерших не чувствую желания. Мне хочется только припомнить, представить себе и рассказать потомству, как было дело. Кто хочет, — пусть судит. А я только думаю, что из правдивого рассказа о действительно бывшем можно научиться многому, даже помимо осуждения собственно людей.

Но я сам не хочу даже и учить ничему. Мне лично хочется только рассказать, оставить материал для суждения об эпохе, которой большая часть людей крупных и знавших погибла, а остались больше люди мелкие, ничего толком не знавшие, которые тем более свободно будут рассказывать басни, не имеющие ничего общего с действительностью.

II.

Внутренний смысл событий, как я его, — правильно или ошибочно, — понимаю, я уже формулировал в брошюре «Начала и Концы» [60]). Ничего другого и теперь не сказал бы я, если бы пришлось говорить. Мне теперь хочется хорошенько припомнить и изложить собственно фактическую часть происшествий.

Когда у нас стали появляться политические убийства, то в форме самозащиты, то в форме нападения, — все это сначала вовсе было не организовано, не обдумано и не направляемо кем-либо в отдельности. Никаких тут не было таинственных рук или польских ржондов, как то воображал Любимов [61]) и Катков. Все это просто носилось в воздухе, было не личной идеей, а идеей интеллигентного слоя. Мысль о «терроре», о цареубийстве, о заговоре приходила в голову людям в разных концах России, в совершенно различных положениях, различных национальностей, всем рассеянным «гражданам революционной идеи». Это было начало восстания, которое не удалось, не разгорелось, потому что желающий восстания слой был очень слаб. Вот и все. Тут была логика революционной идеи, а не чья-либо таинственная рука. Разве, пожалуй, можно говорить о таинственной руке диавола... Это может быть, конечно, но нам, людям, не одаренным духовной прозорливостью, входить в такие гипотезы, конечно, трудно.

В человеческом же смысле, «таинственная рука», т.-е. организация, явилась только как последствие, а не как начало. Бывали даже моменты, когда она была совершенно мифической: одно имя, один звук без всякой реальности.

Это «бунтарское» настроение назрело за те четыре года с лишним, которые я с сотнями других просидели в тюрьме. В 1872 — 73 гг. мы не помышляли о восстаниях, а что касается убийств, то они возмутили бы наше нравственное чувство. Когда в 1876 — 77 годах у нас завязались сношения с «волей», то настроения этих новых поколений казались многим и большинству из нас дикими и ложными. Впоследствии же сами порицатели новых поколений примкнули к террористам.

Когда я вышел из тюрьмы, все остатки старых «чайковцев» и особенно «освобожденные» из тюрьмы, группировались около Перовской. Она их собрала около себя и держала их в оппозиции к «троглодитам», другими словами, ученикам Натансона. Я совсем не знал Натансона, но это был человек, говорят, крупный. В мои времена, т.-е. в 70 — 71 гг., Натансон, Чайковский, Сердюков и Лермонтов были возбудителями революционного движения, совсем подавленного после Нечаева. Сначала они составляли один дружеский кружок, потом постепенно разошлись. Натансон был арестован и выслан, Сердюков тоже арестован и несколько лет почти не выходил из тюрьмы. Лермонтов разошелся с кружком Чайковского и в 1873 году пытался образовать свой или, точнее сказать, свои кружки, так как он усвоил новую и модную тогда теорию анархизма. Впрочем, действовал он не долго, был арестован и умер в тюрьме.

Человек это был очень способный, но едва ли хороший. Двуличный, эгоистичный и, вероятно, готовый все принести в жертву своей карьере, которая сливалась для него с участью революции. Впрочем, господь его знает. Может быть, мои легкие впечатления и ошибочны.

Итак, кружок вышел «кружком Чайковского», а затем началось «движение в народ», захватившее кружок, но созданное не им, а той же всесильной логикой психологии революции. Затем прошло «шальное лето» [62]); движение было разгромлено; и вот в это время, когда по России по разным тюрьмам сидело до 1000 человек, — Марк Натансон бежал и явился в Петербург [63]) с «новой идеей».

Эта новая идея состояла именно в «народничестве». Мы раньше были «пропагандистами» и «развивали народ», прививали ему «высшие» идеи. Новая идея состояла в открытии, которое впоследствии развивалось в «Основах народничества» Каблица (Юзова) [64], но гораздо лучше изложена в программе кружка Натансона, да отчасти вошла и в программу «Народной Воли». Решено было, что народ русский имеет уже те самые идеи, которые интеллигенция считает передовыми, т.-е. он, народ [1], отрицает частную собственность на землю, склонен к ассоциации, к федерализму общинному и областному. Учить его было нечему, нечему и самим учиться. Требовалось только помочь народу в организации сил и в задаче сбросить гнет правительства, которое держит его в порабощении.

Отсюда «народники» стали разнообразными «бунтарями», с очень анархическим оттенком. А именно захвата власти они не признавали, а допускали лишь «дезорганизацию правительства». Само собою, скоро явились фракции и у народников. Но пока это случилось, они организовали очень могущественный кружок «Земля и Воля», который для 1876—77 годов был тем же, чем для 1872—73 годов был кружок чайковцев.

Сам Натансон не долго действовал и был арестован с револьвером в кармане,—«признак времени». Вообще револьверы стали появляться, хотя их еще и не пускали в ход. Возвратились со славянской войны и добровольцы-революционеры, понюхавшие пороха. Вообще воинственное настроение эпохи освобождения славян сильно расшевелило боевые инстинкты у революционеров, а позорное поведение России на Берлинском конгрессе рисовало правительство не только малодушным, но и бессильным. Все это подымало дух врагов его. Являлись уже фантазии и динамитного характера. Первый заговорил о динамите, по преданию, Каблиц, который развивал идею, что можно воз динамита (или карету) подвезти в нужную минуту ко дворцу и взорвать. Конечно, взрывающий должен обречь себя на смерть...

Натансон был арестован, но кружок остался. В нем было собрано много очень, в революционном смысле, серьезных сил. Руководила кружком жена Натансона Ольга (урожденная Шлей-

---

[1] Далее в подлиннике зачеркнуто: «признает право».

снер) [65]). Я ее знавал и не нахожу в ней ничего особенного, но люди из кружка почитали ее чрезвычайно и ставили высоко. Не знаю. Когда я поступил в кружок, Ольга Натансон была уже тоже арестована, так что я не мог лично наблюдать, что именно давала она кружку. На взгляд же она напоминала Перовскую, и, вероятно, такого же рода было и ее влияние.

Оба типа чисто женские. Ума — немного, но масса убеждения, веры, самоотверженности и воли — правда, в низшей форме упорства. Уж что заберет в голову, — колом не вышибешь. При этом огромная доза консерватизма: «на чем поставлена, — на том и стоит». Ума творческого немного или даже вовсе нет, но очень много ума практического, житейского, который так нужен во всякой организации. Таковы, по всей вероятности, разные хлыстовские «богородицы».

Итак, некоторое время, т.-е. месяц или два, петербургская революция официально находилась под руководством двух «баб». Нас, «освобожденных», толкалось около Перовской человек сорок. Она легко сделалась центром, потому что прожила все время на воле, все время вела с нами сношения, и по выходе из тюрьмы мы, естественно, попадали к ней. Она жила в дрянных номерах в доме Фредерикса, где занимала сама довольно большое помещение, да еще ее сестра, Марья Львовна, — тоже. Жил тут, помнится, и еще кое-кто. Номера эти недели три были нашим пристанищем. Здесь собирались, здесь ночевали, шлялись и разговаривали по коридору... Потом, когда понадобилось помещение менее доступное наблюдению, мы сняли квартиру на Знаменской, где жила нас целая куча, а шлялось еще больше. Правда, скоро хозяин отказал нам, но в это время и так уже всем приходилось разъезжаться из СПБ.

Мы, выходя из тюрьмы, не могли иметь никакого понятия об окружающем. Большинство было так уставши, что даже и не имело желания какой-нибудь немедленной деятельности. Сверх того, многие из нас подлежали высылке и не могли решить вопроса, становиться ли сразу в «нелегальное положение». В общей сложности все это располагало охотно слушать советы Перовской не присоединяться к «троглодитам», как Клеменс прозвал народников за их пренебрежение к знаниям и культуре. Перовская предлагала основать свой кружок или, точнее, восстановить

пропагандистский кружок Чайковского, жить с народом, развивать его, но, конечно, все это по-революционному. В этом она, в сущности, вовсе не далека была от «троглодитов» и не ладила с ними, вероятно, более из кружкового патриотизма. Как бы то ни было, мы все соглашались не приставать к народникам, которые сильно желали нас завербовать, но что именно делать, — это оставалось спорным, неясным и нерешенным. Да в сущности все мы желали до времени одного: рассмотреться, ориентироваться и отдохнуть.

Среди этих нескольких десятков человек деловую ценность представляли только Перовская, Клеменс, Дмитрий Александрович, все время бывший на свободе, «в народе», за границей и т. п., Николай Морозов и я. Но все три последние лица очень скоро стали сближаться с натансоновцами.

Клеменс был человек очень милый и талантливый. Конечно, смешно и нелепо возводить его в великие умы и герои, как мне недавно писал мой бедный Сергей Синегуб, очевидно, совсем засохший умственно на каторге. Но Клеменс, несомненно, талантлив и неглуп. Он все же выучился иностранным языкам, занимался и увлекался многими отраслями знаний, остроумен, на все способен; может и стихи написать, и статью, и поговорить с «либералами». Он человек с авантюристической жилкой, храбрый, а в то же время любезный, прилично воспитанный. Никакой сколько-нибудь заметной умственной силы он не имел, но не имел и фанатической тупости и неразвитости большинства революционного слоя. Но по характеру он был переменчив, увлекающийся и поддающийся влияниям как людей, так и веяний времени.

Клеменс, хотя и прозвал натансоновцев «троглодитами», однако, понимал, что у них есть люди неглупые и энергичные, особенно энергичные. Когда я, после первых свиданий с «троглодитами», высказал ему, что они производят хорошее впечатление, он совершенно подтвердил это (он их знал много раньше, чем я). [1] И действительно, в этом кружке, скоро принявшем название «Земли и Воли», были подобраны люди в рево-

---

[1] Зачеркнуто: «И действительно, там были весьма крупные силы, особенно Александр Михайлов, Преображенский и Тищенко».

люционном смысле очень полезные: Александр Михайлов, Преображенский (кажется, Алексей), Тищенко, Никандр Мощенко, Мих. Родионович Попов, Осип Аптекман, Моисей Зунделевич, Александр Васильевич Квятковский, Адриан Михайлов, Георгий Плеханов, Харизоменов, Оболешев (Сабуров), Лизогуб, Василий Игнатов, Бух (младший) [66].

Из них самые крупные были Александр Михайлов и Плеханов. Очень умным и начитанным казался Преображенский, который и прекрасно говорил. Но это был чистый народник, отрицатель всякой «конституции» и государственности, в сущности не революционер. Он скоро после того умер. Очень неглуп был также Харизоменов, тоже «народник»; тоже был мало революционер, скоро и совсем отставший. При разделении «Земли и Воли» на «Народную Волю» и «Черный Передел», он не присоединился никуда и отстал от «революции», а позднее я читал его очень любопытные статьи о развитии общин в Южной России.

Мойша Зунделевич также был очень способный еврей. Именно, — еврей, потому что по преимуществу имел практические способности. Перевезти ли человека через границу, делать ли что-нибудь запрещенное, — ловчее не было человека. По взглядам, это был чистый марксист, социаль-демократ, но вообще человек не теоретический. Хороший товарищ, человек, — что редко между евреями, — с крепкими нервами, не трус. Аптекман, напротив, был тип хорошего еврея, идеалист, сантиментален, ничего не понимающий на практике и весь из нервов, вечно напряженных и изнемогающих. Его любили, но, в сущности, ни в умственном (как хороший еврей, он был далеко не умен), ни в практическом отношении ничего не давал кружку. Квятковский и Попов вскоре заявили себя, как «террористы». Плеханов тогда был еще мало выработан, хотя все черты его характера были видны сразу.

Георгий Валентинович Плеханов — сын разорившегося дворянина-помещика, чрезвычайного пьяницы, буяна и безобразника. Плеханов сам говаривал тогда, что от такого родителя может произойти только или революционер, или червонный валет. Из Георга вышел революционер, но человек он был далеко не хоро-

ший, сухой, самолюбивый, задорный, мстительный, чуждый великодушия. Он был очень умен и способен, но низшей области способностей. Есть способные люди с оттенком творчества, у таких есть чутье, глазомер, некоторая искра гения, благодаря которой они хорошо видят основные факты, посылки. Такие черты были, например, у Герцена или даже у Кропоткина, несмотря на маленькое анархическое умопомешательство Кропоткина. У Плеханова — ничего подобного. В своих посылках, в общем миросозерцании своем, он — самый банальный человек своего времени. Он верит в то, во что верит интеллигентная толпа. Тут он не создал ни одной искры своего, не заметил ничего, что бы ему не было дано другими. Но он прекрасно запоминает и усваивает это чужое содержание и затем обладает редкой логикой в выводах. Он имел натуру адвоката, замечательное искусство в построении силлогизма, в диалектике, с такой же ловкостью и бессовестностью, но с силой и убедительностью. А самое основание, дело, которое требуется защитить, оно не его, не им создано, — оно ему дано. Плеханов настолько типичен в этом отношении, что неспособен даже заметить этого своего порока. Я в эпоху самых дружеских наших отношений, в Женеве, раз сказал ему в разговоре о способностях его и других лиц: «У вас превосходная логика, но вы не имеете той же силы в установке посылок». Плеханов заметил: «Да что же тут устанавливать? Ведь это точный, научный факт». Дело шло именно об экономическом материализме. Плеханов принял учение Маркса, как откровение. Оно совсем подошло к его душе. Он своим логическим аппаратом сразу определил, что именно в теории Маркса материалистические идеи получают свое последнее слово, и он стал чистым марксистом в то время, когда у нас марксистов еще почти не было. Народнический и анархический сумбур, хаос, противоречия были противны ясному, логическому уму Плеханова. Он их отбросил беспощадно и смело, даже с ненавистью. Над народниками он только язвительно смеялся, но анархистов прямо ненавидел, как злейшую помеху социализма. Идеалом его были, конечно, немецкие социаль-демократы, у которых он учился усердно и успешно.

Знания он мало-по-малу приобрел весьма солидные. Воспитывался он в Горном, кажется, институте, но курса не кончил.

Все свои знания приобрел самоучкой, чтением. Работать он умел. А пользовался знаниями артистично, не боясь шарлатанства, софистики, забрасывал именами, цитатами, ловко переменяя позицию невыгодного спора, — вообще диалектик и спорщик был превосходный и неутомимый. Нельзя не отметить одной его любопытной черты. Он носил в душе неистребимый русский патриотизм. Ничего оригинального, своеобразного он в России, как и во всех других странах мира, не видел и не признавал. Но он видел в России великую социалистическую страну будущего и никому Россию не отдавал. Всякие сепаратизмы буквально ненавидел. К украинофильству он относился презрительно и враждебно. В нем глубоко жил великорусский унитарист и уравнитель. Революционеру и эмигранту нельзя открыто итти против поляков, как тоже силы революционной. Но Плеханов не любил поляков, не уважал их и не верил им. В дружеских беседах он это откровенно высказывал. С Драгомановым он был в открытой вражде [67]). О Шевченке, смеясь, говорил: «Я Шевченке никогда не прощу, что он написал: «вмию, та не хочу» говорить по-русски». К Шевченке и украинофилам он относился, конечно, с бо̀льшей ненавистью, чем даже, например, Катков.

Никогда также (по крайней мере все время мне известное) не было у Плеханова той подлости, как у «Набата» [68]) или у С. Кравчинского, которые призывали иностранное вмешательство в русскую революцию и брали иностранные деньги. Думаю, что ничего подобного Плеханов неспособен был сделать.

Плеханов был не из особенно храбрых людей, опасности вообще боялся и своей особой никогда не рисковал. Жизнь «нелегального», которую ему невольно пришлось испытать, он вспоминал с отвращением и нервной дрожью. Эмигрировал он очень скоро и затем уже никогда не решался ехать в Россию. Даже и за границей он боялся ступить ногой в Германию, хотя, будучи чист от всяких террористических преступлений, почти не испытывал никакого риска быть выданным.

Эта нервная боязливость его проявлялась во всех случаях опасности. Однажды Плеханов с друзьями, — Засулич и своей женой, — приехал ко мне в гости в Morneux и полез на гору. Влез он среди кустов, не замечая крутизны, на несколько сажен,

но когда пришлось спускаться, страшно растерялся и испугался, перетревожил всех нас. Нужно было лезть ему на помощь; хотя вообще это такой пустяк, что не могу себе представить, чтобы тут была сколько-нибудь действительная опасность... А между тем он таким дрожащим голосом звал на помощь, кричал, что ничего не видит, требовал, чтобы ему снизу указывали, куда спускаться, куда поворачивать...

Правда, Плеханов был довольно слабого здоровья. За границей несколько раз говорили, что у него оказалась чахотка. Сил у него не было, нервность большая, вечные занятия и очень негигиеничная жизнь. С тех пор, как я его знаю, он любил выпить, и очень. Питался всегда «по-нигилистически», как придется, зря, ну и конечно — как в революционной среде почти все — во всех отношениях вел жизнь неправильную.

Не помогла ему в этом и женитьба. Я говорю «женитьба» в «натуральном» смысле, потому что этот брак, кажется, и теперь остался не оформлен законом. Еще в СПБ Плеханов сошелся с Розой Боград, курсисткой, еврейкой. За границей я уже застал у них несколько штук детей. Боград все училась и в Женеве, и что-то очень много лет училась медицине, хотя все-таки, наконец, кончила курс. Это была семья образцово беспорядочная. Муж с женой жили дружно, и Боград питала очень высокое мнение о своем Георге. Но по хозяйству оба не занимались и ничего не смыслили. Издерживали они очень много денег, а жили грязно, беспорядочно и скудно. Своих денег или заработка у Плеханова не было, но он жил на счет кружка («Черный Передел»), да и вообще их фактотум Дейч был мастер добывать деньги. В кружке были, кроме Плеханова, Вера Засулич, Стефанович, Дейч, были богатенькие приверженцы в России (в роде Игнатова). К таким «именам», да еще занимающимся «изданиями», деньги всегда более или менее притекают [69]).

Жили и Плеханов с К°, и тратили даже довольно много. У них, например, по счету в лавочке как-то пришлось заплатить за 300 яиц в месяц. А яйца ела только одна девочка по одной или 2 штуки в день. Все остальное воровала прислуга. Это пример, — Плехановы так тратили во всем: ни на что не обращая внимания, не унижаясь до экономии, не понимая цен, тратили столько, что можно было жить в полном довольстве, а жили

грязно, бестолково, среди переходов от излишества к голоду. Так жило, впрочем, тогда большинство эмигрантов.[1]

Я, однако, остановился на Плеханове более, чем следует в данную минуту. В кружке «Земли и Воли» он не играл еще особенной роли. Быстрее всего там приобрел значение Александр Михайлов.

При Натансоне он был еще мальчишкой. При нем же отправился «в народ», где шлялся много, а в 1878 году возвратился в СПБ. Тут он в начале года, когда я с ним познакомился, еще только осматривался и с благоговением ученика относился к Ольге Натансон (в которую чуть ли не был платонически и рыцарски влюблен), но, можно сказать, рос с каждым месяцем и к осени уже стал первым человеком в кружке.

Во все время своего знакомства с революционной средой, из тысячи $1^1/_2$ человек, которых сколько-нибудь помню, я не знаю человека, который бы производил впечатление более хорошей силы, чем этот отчаянный «террорист».

Он был родом из дворянской семьи, чуть ли не Курской губернии, во всяком случае, чистый великоросс, превосходно сохранивший свойства русской расы. Среднего роста, он был очень крепок, коренаст, вынослив. Единственный порок физический составляло его заиканье. Такое же здоровое соотношение представляли его духовные свойства. Не могу без грусти думать, что такую богатую натуру загубила наша поганая обезьянья «интеллигентская» цивилизация. С самого юного возраста Михайлов воспринял, конечно, наше революционное миросозерцание и затем уже мог развиваться только в его рамках. На беду, он вышел в свет в такой момент, когда лозунгом стало «опрощение» и были совершенно заброшены даже наши жалкие книги. Михайлов остался поразительно невежественным, на редкость даже среди нас. Только его удивительная память и чутье, благодаря которому он сразу определял умного человека, помогли ему приобретать сведения от людей: он охотно слушал речи знающих людей. Но хотя таким образом он нахватался доста-

---

[1] NB. О Плеханове более подробно рассказано в заграничном отделе. Его смешная вражда к Голдовскому. Дейч. Стефанович. «Агитационные поездки». «Шутка» о визите Маркса. См. *(Примеч. автора.)*

точно фактов и фраз, для того, чтобы казаться все-таки «интеллигентным», его теоретические познания были и остались ничтожны. Никакого самостоятельного употребления из них он не мог сделать, почему и остался во власти революционного миросозерцания. Но все, что он сам видел и наблюдал, он узнавал и понимал превосходно, и это сделало из него великого практика. Теперь прошло с тех пор 20 лет, у меня нет иллюзий, и я совершенно хладнокровно и убежденно говорю, что Михайлов мог бы, при иной обстановке, быть великим министром, мог бы совершить великие дела для своей родины.

Часто я наблюдал огромное значение нравственных свойств для развития всех остальных сил человека, в том числе и умственных. При сильной любви к чему-нибудь человек удивительно развивается. Эта-то нравственная основа была очень хороша у Александра Михайлова. Личность в основе необычайно чистая и искренняя. Уверовавши в революцию для блага родины и народа, он отдался этой революции совершенно, без остатка, весь целиком жил своей революцией, не как принципом, не сухо, не мрачно, не по долгу, а всем своим существом. Это был здоровый, крепкий парень, веселый, жизнерадостный. Конечно, и у него были всякие минуты горя, огорчений и т. п.; озабоченность делами иногда угнетала его. Но вообще, он оставался совершенно счастлив своей жизнью, каждый успех «дела» радовал его чисто лично. Он жил для «дела». Когда ходили «в народ», Михайлов «опростился», как немногие, «оброс шерстью», жил нигилистом, не позволял себе никакой «роскоши», ни в виде питания сносного, ни в виде одежды удобной и теплой. Когда он стал заниматься городскими заговорами да «террором», он решил, что тут нужно беречь силу. Нужно быть крепким, здоровым, бодрым. И с этого времени Михайлов завел такой режим, что всякий врач залюбовался бы на него. Никакого ни в чем излишества, но необходимо спать столько-то часов, необходимо есть регулярно и питательную пищу, нужно бывать в бане и т. п. Никогда, ложась спать, Михайлов не забывал завесить окна чем-нибудь плотным, чтобы утром свет не портил глаз. Глаза особенно нужны заговорщику и «нелегальному». Нужно видеть далеко и отчетливо, все и всех на улице. И уж насчет «слежения» за собой (как и за другими) Михайлов мог посо-

рить с самым гениальным сыщиком. Он видел на улицах все, среди сотен физиономий моментально различал знакомых или «подозрительных» и умел устроить так, что его самого трудно было заметить. Для этого у него всегда был целый запас заранее замеченных магазинов, проходных дворов, лестниц, выходящих на разные улицы. Он в каждом новом городе, знакомясь с людьми и делами, немедленно знакомился и с этой своего рода заговорщицко-шпионской «топографией». В знакомом большом городе, как Москва или Петербург, он был буквально неуловим, как зверь в лесу. Он всегда умел куда-то мгновенно исчезнуть, как сквозь землю провалиться. Точно также он никогда не забывал узнавать возможно полнее весь персонал тайной полиции. Стоило ему услыхать от кого-нибудь о сыщике, — он немедленно записывал имя, адрес, приметы, старался лично посмотреть этого сыщика, и знал их действительно множество, оставаясь им неизвестен и постоянно меняя физиономию и костюмы.

Кто-нибудь скажет: «достоинства ловкого сыщика». Да, но ими владел и Мащини. Не из любви к сыщичеству выработал себя в этом отношении Михайлов, а потому, что это нужно. С таким же тщанием он, когда это оказалось нужным, старался выработать и выработал вид «образованного» человека, запоминая нужные для этого фразы и факты. И не одни эти способности имел он. Он был редким организатором. Не видал я человека, который умел бы в такой степени группировать людей не только вместе, но и направлять их, хотя бы помимо их воли, именно туда, куда, по его мнению, нужно было. Он умел властвовать, но умел и играть роль подчиняющегося, умел уступить видимость первого места самолюбивому конкуренту, не имел ни самолюбия, ни тщеславия, не требуя ничего для себя, лишь бы дело шло, куда нужно. Всякий талант, всякая способность в других радовала его. Я не знал, был ли он о себе высокого мнения, но во всяком случае не гордился и, конечно, просто не интересовался этим вопросом. А между тем, он был истинной душой и творцом той организации, которая зародилась в среде кружка «Земли и Воли» и потом превратилась в «Народную Волю», где десяток человек «Исполнительного Комитета» умели держать около себя в разных кружках, в конце концов, около 500 человек, готовых исполнять распоряжения «Комитета».

Этот «Исполнительный Комитет» создан Михайловым и развивался и рос, пока был Михайлов. Арест Михайлова был началом упадка и расстройства «Исполнительного Комитета».

Я, впрочем, несколько отвлекся в сторону от хода дела. Итак, говорю я, наш кружок из «освобожденных» да из разного хлама остатков старых чайковцев, видимо, смотрел на ладан. Кто же сколько-нибудь интересовался делами, знакомились с натансоновцами и более или менее с ними сходились. Таков был и сам Клеменс, и я, и Николай Морозов. Впрочем, дел мы еще никаких не делали, а только разговаривали да шлялись по демонстрациям. Благо их тогда явилась целая куча.

Чуть не в первый же день по моем выпуске «на волю», Вера Засулич, — она была близка с натансоновцами, — выстрелила в Трепова. Я, помню, узнал это на улице. Иду, — слышу, извозчики говорят, что кто-то ранил Трепова. Я остановился: «Как, что?». — Извозчик с большой радостью объяснил: «Барыня какая-то... Так ему и надо». — «А тебе он что сделал?» — «Притесняет очень»... Извозчики тогда в Петербурге так же ненавидели Трепова, как позднее в Москве — Власовского [70]): за строгости по поддержанию порядка в упряжи и т. п. Само собою, тут не было никакой политики, да и политический мотив выстрела Засулич объяснен лишь постепенно. Петербург даже долго не верил этому и все больше предполагал какой-нибудь роман.

Само собою разумеется, даже и мы не предполагали тогда, что Засулич оправдают. Да и не ожидалось и быстрое ведение процесса. Собственно мы, т.-е. «чайковцы», сгрупированные около Перовской, не имели в виду и как-нибудь эксплоатировать этого дела: оно было не наше и нас не касалось. Мы только ходили да наблюдали, ожидая только, чтобы нас суд, наконец, отпустил куда-нибудь. В ожидании утверждения приговора по делу 193-х, мы все были обязаны подпиской о невыезде. Побывавши на похоронах Падлевского [71]) (демонстрация, о которой я писал уже в брошюре «Начала и Концы»), я решился съездить в Москву, повидаться с братом, да кстати потолковать, нельзя ли меня снова принять в университет. Я в то время еще не думал сжигать кораблей и поступать в формальные револю-

ционеры. Однако, в университете мне сказали, что меня нельзя принять. Тихонравов [72]) (он, помнится, был ректором) заявил мне, что университет мне не станет портить репутации, что они ничего не знают о моем аресте и процессе, и выдадут мне свидетельство, что я уволен за невзнос платы, но принимать меня снова — нельзя. «Да и к чему вам? Вы уже и по летам пропустили свой срок».

Такое свидетельство мне и выдано. Очень мне было досадно, я тут впервые почувствовал, что я — какой-то «обреченный». Что я буду делать? Чем заниматься?

Брат, который меня встретил, как всегда, горячо и дружески, тоже был огорчен этим непоправимым исключением. Между тем я знакомился с московскими радикалами не как «деятель», а просто из любопытства, стараясь понять, что делается в России. Москва точно так же радикальничала и либеральничала, как Петербург. Да и вся Россия, т.-е. образованная, была тогда настроена как-то революционно. Правительство было в полном презрении. Все были в уверенности какого-то близкого переворота, в близости тем или иным путем конституции.

Между тем наступило неожиданно быстро разбирательство дела Засулич. Само собою разумеется, что еще [до] процесса как либералы, так и радикалы всячески рекламировали ее, как героиню. Еще когда я был в Петербурге, помню, попал я на студенческий бал. Народу было масса, все было весело и оживленно. Я встретился тут с Александром Михайловым, с которым только что познакомился. Он решился воспользоваться случаем, и,—смотрю,—мой Михайлов взгромоздился на стул с бокалом вина и кричит:

«Господа, господа, внимание!».

Стали оборачиваться в его сторону. Шум разговора немного стих, и Михайлов, заикаясь (он был заика), но развязно и горячо начал краткую речь о русском произволе, о героической женщине, которая ценой жизни (или что-то в этом роде) решилась наказать надругательство над человеческой личностью, и в заключение провозгласил тост:

«За здоровье Веры Ивановны Засулич!».

Публика слушала, но что касается тоста, то его поддержали, нужно сказать, немногие. Все-таки боязно еще было. Ведь на

этих балах даже обязательно и явно присутствовала полиция, не говоря уже о тайной полиции.

Но вот к нам в Москву пришла весть о процессе, об оправдании Засулич, о демонстрациях, о ее «освобождении» из рук полиции. В Петербурге запахло нам чуть не революцией. Товарищи сообщали, что Сидорацкого, «убитого» при освобождении Засулич, будут торжественно хоронить.

Я с несколькими московскими знакомыми решились ехать в СПБ, посмотреть и поддержать предстоящие демонстрации. Поехали мы с Викторовым и еще одним. Впрочем, Викторов, как оказалось, смалодушествовал и на демонстрацию не явился [73]).

Этот Викторов, надо сказать, тогда был «знаменитостью», московского университета. Неглупый, образованный, много работавший и по своей части (он был студент медик), он славился между товарищами как знаток политической экономии и оратор. Он устроил целый скандал на диспуте Иванюкова. Уверяли, что он совершенно разбил недостаточно радикального докторанта. Викторов много участвовал в студенческих волнениях и раза два был высылаем.

Кстати замечу, что Викторов не оправдал ожиданий и не вышел ничем особенно заметным. Он успел кончить курс, и хотя приходилось слышать о кое-каких его работах, но во всяком случае ничего он особенного не совершил и ничем себя не прославил.

Приехавши в Петербург, я расстался со своими московскими спутниками и закружился среди петербургского «радикализма». Наши «чайковцы» совсем рассыпались, и о «кружке» смешно было даже говорить, хотя Перовская все еще хлопотала о нем. Мои личные отношения с нею в это время уже стали почти холодны.

В тюрьме я считался ее женихом. Это был один из множества тюремных романов. Она была «на воле», я—«страдал», она меня посещала и утешала, и—оба влюбились, или, по малой мере, это вообразили. Думаю, что она, если и вообразила это, то разве на самую малую секунду. Я же считал себя очень сильно привязанным. Как бы то ни было, мы совершенно открыто и окончательно решили жениться, заявили об этом даже роди-

телям своим. Но едва ли я для нее в то время подходил. Она могла уважать меня и особенно жалеть, но любить,—едва ли. Ей, при ее характере, нужен был человек, которому бы она могла подчиниться, а у меня этого никогда не было. Как бы то ни было, когда я вышел из тюрьмы, она меня встретила и сконфуженно, и холодно, и сразу поставила на «благородную дистанцию». Я от этого несколько времени очень страдал и даже воображал себя очень несчастным, но, в конце концов, у меня был тоже не такой характер, чтобы я погиб «из-за бабы». Я влюблялся множество раз, но столь же легко утешался. Впоследствии мы с Перовской стали снова большие друзья, и она меня брала даже в конфиденты. Но в это время, само собою, я сначала огорчался, потом стал обижаться и вообще злился на нее. Да и в «убеждениях» мы будто расходились. Она молилась на память «чайковцев», а я и в 1873 году над ними подтрунивал; она старалась воссоздать «свой» кружок, а я все более захватывался общим движением и искал людей повсюду; она мечтала о пропаганде в народе, я—о революции. И впоследствии даже она стала ярой террористкой, а я—только и думал о заговоре и государственном перевороте.

Как бы ни было, в Петербурге мне с ней нечего было делать, и я все время бегал по тем, кто имел отношение к демонстрациям. Из наших, чайковцев, я явился прежде всего к Клеменсу, а потом отправился к своему новому другу, Александру Михайлову, который меня препроводил к адвокату Ольхину, где они в это время составляли прокламации и подготовлялись к демонстрации [74]).

Тут я познакомился с Георгом Плехановым.

Клеменс жил у Веймара, Ореста Эдуардовича [75]). Впрочем, Орест с братом жили вместе. Их дом (собственный) — как раз в лучшей части Невского, почти против Морской. Вообще они были богаты. Оба брата были порядочные люди и большие радикалы, особенно старший (Орест). Орест,—доктор медицины, отличившийся в турецкой войне, — имел, кроме состояния, собственное лечебное заведение. В кружках он уже не участвовал нигде, но вполне сочувствовал революции. Он и лично участвовал в дерзком и преловком освобождении кн. Кропоткина из Николаевской больницы. Понятно, что он укрывал у себя друзей,

в роде Клеменса. Но должно заметить, что на каторгу его впоследствии сослали совершенно неправильно, по ошибке. Орест Веймар никакого отношения к покушениям на жизнь государя Александра Николаевича не имел и, может быть, даже ничего не знал о них. Он не дарил и револьвера Соловьеву [76]). Этот злосчастный револьвер он подарил, без всяких мыслей и намерений, Клеменсу, просто по дружбе. Клеменсу он, конечно, тоже не был нужен, и впоследствии Морозов Николай, уезжая в Харьков освобождать Мышкина и Войнаральского, выпросил у Клеменса этот револьвер. Потом этот револьвер от Морозова попал еще кому-то и, в конце концов, — Соловьеву, вероятно, через Александра Михайлова.

Орест Веймар даже и понятия не имел о том, куда, по злой прихоти случая, попал его подарок.

По всем рассказам разных лиц, видавших лично историю, дело с «освобождением» Засулич и самоубийство Сидорацкого было так. Когда Засулич оправдали, это был скандал, смятение, беспорядок и общая растерянность. Публика в зале суда беснуется и рукоплещет. Публика на улице — тоже. Героиня дня должна была быть выпущена на свободу и была. Конечно, на улице всякие овации. Но, конечно, было весьма вероятно, что ее опять и, может быть, сейчас же заберут, как только начальство опомнится. Поэтому ее друзья, посадив ее в карету, окружили ее и шли такой демонстративной, ликующей и угрожающей толпой, которая сама по себе составляла беспорядок. Толпа привлекала новую толпу простых любопытных, иногда ровно ничего не понимавших. Так, например, в толпу случайно затесались конвойцы, черкесы, которые шли мимо и заинтересовались, что такое происходит. Само собою разумеется, что полиция и жандармы сопровождали шествие, и в толпе раздавались восклицания против них. Я так и не узнал, состоялось ли приказание заарестовать Веру Засулич, и думаю, что нет. На это не было времени у начальства, а без приказа никто не стал бы арестовывать. Но естественно и даже необходимо полиция должна была захотеть отодвинуть толпу от центра и предмета ее воодушевления, т.-е. от кареты Засулич. Но когда полиция стала окружать карету, в толпе раздались

крики, что Засулич арестовывают; толпы начали тесниться к карете, произошла сутолока, как всегда в этих случаях, вероятно, близкая к легкой драке. Вдруг раздался выстрел! Потом еще... Сколько я ни расспрашивал, этот момент для меня остался неясным. Кто начал стрелять, зачем? Факт только в том, что Сидорацкий, человек вообще шалый, нервный и экзальтированный, шел в толпе близ кареты в состоянии чрезвычайного возбуждения и имел при себе револьвер. Рассказывали потом, что пуля его револьвера как раз подходила к его ране, а жандармские пули совсем иного калибра. Впоследствии говорили, что он сам себя убил, и это, по всем видимостям, и есть несомненный факт. Но почему? Для того ли, чтобы стать «жертвой» насилия и этим возбудить толпу? Это говорили даже сами «радикалы». А я думаю, что, может быть, начав стрелять, Сидорацкий, чтобы не попадаться в руки полиции, застрелился. Он много лет жизни провел в тюрьме и ссылке, и, конечно, мысль о новой тюрьме была ужасна. А начав стрелять, он, быть может, думал, что не один окажется... Эта гипотеза подтверждается тем, что, по словам свидетельствовавших о самоубийце, Сидорацкий именно отбежал от толпы, в крайнем возбуждении, к тротуару и тут приложил пистолет к голове и застрелился.

Ни Клеменс, ни Михайлов не могли мне объяснить толком этого дела. Факт только, что когда раздались выстрелы, то полиция бросилась разгонять толпу силой, а толпа и сама разбежалась. Началась страшная сумятица, многих помяли, многих побили, а когда все рассеялось, то оказалось, что карета Веры Засулич умчалась неизвестно куда, а на тротуаре валялся труп убитого Сидорацкого.

Друзья Веры Засулич ее умчали и спрятали. Прятки эти были сделаны очень умно и в полной тайне. Я тогда не знал, кто ее скрывает, и лишь впоследствии узнал, что это был Гольсмит [77]). Впрочем, я в этом не уверен. Я был той школы заговорщиков, которые не расспрашивают о тайнах без надобности. Когда знаешь, то можешь где-нибудь, как-нибудь невольно косвенно проболтаться. Самому спокойнее и для «дела» лучше — не знать, если нет практической необходимости знать. Притом в радикальной карьере приходится держать в голове такую массу

всяких тайн, условий, конфиденций, что стараешься из экономии не набивать в этот переполненный чемодан никакого лишнего багажа.

Хотя никто из радикалов не верил в то, что его убили, и все убеждены были в самоубийстве, тем не менее затеялась демонстрация в честь «жертв насилия». Я эту демонстрацию описывал в «Началах и Концах» достаточно подробно. Замечательно, что это именно был Плеханов, остривший над «либералами»:

У нашего господина
Разыгралася скотина:
И коровы, и быки,
И дворовы мужики.

И точно, «скотина» тогда разыгралась до невозможности. Собственно говоря, эти скоты-либералы нас толкнули к насильственным действиям. Конечно, революционеры и сами старались довести до драки, но никогда бы на это не пошло много народа, если бы либералы не вели себя так явно ободряющим нас образом.

После демонстрации-«панихиды» Сидорацкого наступило минутное затишье. Участники ждали арестов, которых, впрочем, не воспоследовало.

Делать в Петербурге мне было нечего, да и жить нечем, а между тем отец и мать обижались, что я не еду повидаться с ними после стольких лет. Я решил снова двинуться на юг.

Но тут ко мне обратилась Перовская с предложением, которое немыслимо было отклонить. Дело в следующем. Наш приговор (по делу 193-х) все оставался не утвержден, а по слухам (от жандармов), он переделывался в более строгом смысле. А между тем, по тем же сведениям, уже готовились высылки разных лиц, в том числе Мышкина, именно в харьковскую центральную тюрьму. Об этих центральных тюрьмах думали и говорили с ужасом, да и основательно. Это была не сибирская каторга, представлявшая нечто добродушное и льготное, вне всякого соображения с формальным законом. Это была уже настоящая европейская, жестокая тюрьма.

Ясно было, что туда пойдет не один Мышкин, а все главные. В числе их собственно чайковцев трудно было ожидать, но как знать? Чарушин мог быть отправлен. Мышкин же на суде прославился, как особый талант и характер. Перовская,

мечтая о своем кружке, желала его спасти. Как бы то ни было, она затеяла освободить его по дороге в тюрьму и предложила мне, по дороге на Кавказ, навести об этом справки в Харькове. Я согласился [78]).

Собственно говоря, это была фантазия. Дело трудное, и его даже с долгой подготовкой было почти невероятно устроить. Наскоро же, — совершенная фантазия. Ничего и не вышло. После этого летом и еще позднее была гораздо более обдуманная попытка, и то ничего не вышло. Я же был только на «разведках». Но эти разведки дали мне случай познакомиться с целой кучей южан, все поголовно «террористов». Тут были два Ивичевича, Сентянин, Брантнер, Рафаил (забыл его фамилию) [79]). Все они очень скоро погибли — кто «в бою», кто на виселице. Тут я также познакомился или встретился и кой с кем из наших и из народников. Тут жили Жебуневы, — Владимир с женой; я у них много был [80]). Познакомился с Николкой Быковцевым, — прелюбопытный тип южного народника [81]), и т. д. Вообще, я просто захлебывался от океана новых наблюдений и впечатлений, которые нахлынули на меня после четырех лет тюрьмы.

Все эти люди, в роде В. Жебунева или Быковцева, — все это было прошлое. Они имели свою пору увлечения. Похождения Быковцева даже очень любопытны, и сам он не уступал в энергии и способностях кому другому, но он уже устал, он уже увидел, что если есть «дело», то нет революции. Жебуневы когда-то прославились своей пылкостью, и их компания даже получила насмешливую кличку «сумасшедший орден Сен-Жебунистов». Жена (Марья Александровна) была даже из крупных женщин. Но все это было уже уставши, разочаровано и в глубине души уже видело, не желая сознаться, что революции нет, или уже не видели ее. Они толкались в радикальной среде, суетились, «помогали», «оказывали услуги», но у них уже не было желания, инициативы, и они, так сказать, ничего не делали.

Напротив того, весь террористический слой был полон оживления, надежд, уверенности. Он сознавал себя настоящим и вполне верил в обладание будущим. Он видел перед собой революцию и лично в ней уже находился. Надо сказать, что во всем этом слое не было ни одного заметно крупного ума. Но характеров было очень много. Немало было и очень милых

людей, простых, добродушных, храбрых, в роде тех, которые отличаются на войне, считаясь в то же время добрыми малыми и товарищами. Были и просто легкомысленные авантюристы, но менее всего вспоминаю людей жестоких и холодных.

Что такое был собственно терроризм? Это была, по-существу, попытка начать революцию с теми силами, какие имелись в наличности. Страна предполагалась в состоянии революционного настроения, но не начинала активной революции. Были, однако, десятки, сотни и, казалось, тысячи людей, которые готовы были взяться за оружие. Естественно являлась мысль: почему же не начать? Правительство имело вид бессильный. Попытка активной борьбы могла вызвать подражание и возбудить мысль о возможности ниспровергнуть правительство. Но, разумеется, сил, готовых браться за оружие, было так мало, что нелепо бы было и подумать собрать их в один крошечный отряд для восстания, например, в Петербурге. Ясно, что эти сотни две—три людей были бы мгновенно раздавлены. Но если начать борьбу конспиративно, партизански, нападая где удобно и прячась перед силой, то столь же ясно, что шансы долго продержаться возрастают чрезвычайно. Эти две — три сотни человек, при такой системе, будут переловлены очень нескоро. А между тем их пример вызывает подражание, вызывает новые силы, тем более, что эта борьба производит впечатление устрашающее (предполагалось) на правительство и агитирующее на народ.

Терроризм именно и был такой партизанской войной. Сами террористы очень различно понимали смысл своих поступков, но они были вообще не люди рассуждения, а во всех массовых движениях (это было массовое движение в революционном слое интеллигенции), во всех, хочу сказать, стадных движениях, люди всегда плохо понимают точный смысл того, к чему их толкает не коллективный смысл, а коллективный инстинкт.

Инстинкт этот бывает нередко очень проницателен. И действительно, у нас в то время нельзя было более производительно (с боевой точки зрения) употребить имеющиеся ничтожные революционные силы. Впоследствии директор полиции Петр Николаевич Дурново говорил мне: «Вы доказываете, что терроризм нелепость. Однако, нужно сказать, что это очень

ядовитая идея, очень страшная, которая создала силу из бессилия». Это, конечно, верно. Только это была не *мысль*, не *идея*. Если бы террористы были поразвитее и действовали сколько-нибудь *головой*, они бы очень легко поняли, что терроризм нелепость, ибо они *им революции все-таки не произведут*. Им пришлось бы тогда понять то, что я объясняю в «Почему я перестал быть революционером», и перестать быть революционерами. Но они действовали не головой, не разумом, а *чувством*. Они ни за что *не хотели* перестать быть революционерами. С этой же точки зрения, инстинкт не мог им подсказать ничего более «ядовитого», ничего более «практичного», как *терроризм*.

Итак, прав Дурново в своей оценке, прав и я. Терроризм это был наиболее «практический» способ временно поддержать «фикцию». Но *фикция* все-таки есть фикция, и *факта* переломить не может. А потому терроризм был только крайним, высшим пунктом развития тех идей и суждений, которые по существу были *нелепы*.

Первые факты *терроризма* были чисто случайны, личны, вызывались обстоятельствами, а не теорией, не идеей. «Шпионов» и «изменников» убивают всякие заговорщики-революционеры. Угрозы врагам делают все и всегда. Попытки лучше погибнуть с оружием в руках, нежели пойти в тюрьму и каторгу — совершенно понятны, вне всякой зависимости от теории. Но в возбужденном неудачами пропаганды революционном слое, в умах, видевших, что «ничего нельзя делать» (для революции), совершенно естественно рождалась охота к этой мелкой войне. Ее уж во всяком случае *можно* делать. Идея терроризма становилась все более популярной, и, как всегда, люди стараются возвести в принцип то, к чему их *тянет*. Стали являться попытки возвести в принцип и терроризм, и таким образом его систематизировать.

Эти попытки *впервые* явились на нашем юге. Первым систематическим сторонником терроризма можно считать *Валериана Осинского*[82]). Я его лично уже не застал. Он был в это время арестован. Но я много слыхал о нем от его учеников и друзей, а также и от его сестры (Настасьи), которую впоследствии знал хорошо. Это был человек, очевидно, способный,

очень энергичный и особенно пылкий: характер скорее польский, чем русский (хотя Осинские—русские). Он не был уже мальчиком, пробовал действовать в земстве и т. п. И вот он убедился, что «ничего нельзя делать», т.-е. в пользу того, к чему его только и тянула душа, — в пользу полного переворота России. Он тогда перешел на чисто революционный, террористический путь.

Он его основал, создал «Исполнительный Комитет русской социально-революционной партии». Основан «Комитет» был в Киеве, если только можно говорить о резиденции некоего призрака. В сущности, этот «Исполнительный Комитет» был чистым шарлатанством. Во-первых, никакая «социально-революционная партия» его не выбирала, не назначала, не признавала даже. Огромная часть тех, которые называли себя «социалистами-революционерами», даже очень не одобряла террора и с пеной у рта протестовала против приписыванья им солидарности с самыми целями Комитета. Не только «партия», но и вообще никто Комитета не выбирал. Его устроил сам Осинский. Сверх того, «Комитет» был учреждением совершенно туманным: кто были члены Комитета? Этого и сам Осинский, вероятно, не мог бы сказать. Просто несколько человек согласились, чтобы была «фирма», и от ее имени действовали. Но в сущности, насколько мне известно, никто из них даже не слушал этого воздушного «Комитета» и действовал, кто как хотел, по свободному соглашению. Объединял всех сам Осинский, не как член Комитета, а просто как личность. Ему верили, его слушались до известной степени. «Комитет» же был только для рекламы, «на страх врагам», чтобы эти враги думали, будто бы есть «организация» сильная и правильная.

«Комитет», т.-е. Осинский, конечно, завел и печать. Выпускал прокламации и т. п., главное же занялся террором, т.-е. мелкими политическими убийствами. Их было совершено Комитетом очень немного. Убит жандармский капитан Гейкинг, совершено покушение на жизнь тов. прокурора Котляревского, да еще, помнится, под фирму Комитета было зачислено убийство в Ростове-на-Дону изменника рабочего Никонова. Кажется, больше и не было у них крови [83].

Притом должно сказать, что убийство Гейкинга было большой мерзостью. Этот Гейкинг совершенно никакого зла револю-

ционерам не делал. Он относился к своей службе совершенно формально, без всякого особого усердия, а политическим арестованным делал всякие льготы. Его «политические» вообще любили, и Гейкинг считал себя безусловно в безопасности. Но именно потому, что он не берегся, его и порешили убить. «Комитету» нужно было чем-нибудь заявить о своем существовании, а между тем у него не было средств для какого-нибудь сложного убийства, не было ни людей, ни денег, что необходимо для всякого такого «дела». Итак, нужно было что-нибудь очень легкое. Но ничего нет легче, как убить Гейкинга, который всем известен в лицо и ходит по улицам, не остерегаясь. Его и убили, а потом наврали в прокламации, будто он был жесток, и за это, по решению «Комитета», «казнен». Жена Гейкинга, дотоль очень либеральная, была так возмущена этой подлостью, что возненавидела революционеров, и еще долго потом считалось опасным попасть ей на глаза—«донесет». Покушение на жизнь Котляревского не удалось. Но и тут чуть не вышло истории похуже. Очевидно, у киевлян было очень мало сил на хорошее выслеживанье своих жертв. И вот, едет ночью какой-то киевский барин в карете, вдруг кто-то вскакивает на подножку и протягивает к нему револьвер... в ту же секунду произносит: «Извините, мы ошиблись!».

И видение исчезает!

Они ошиблись! Над этим оригинальным извинением тогда много хохотали, но ведь стоило одной десятой секунды позже понять свою «ошибку»,—и человек был бы убит.

Что касается Никонова, то это дело было чисто местное. В Ростове-на-Дону рабочий Никонов начал «доносить». Эти доносы угрожали пропагандистам. Ивичевич (кажется, Иван) решил его убить, подстерег на улице ночью, дал выстрел. Никонов упал. Ивичевич подбежал и, рискуя попасться, все-таки не ушел, прежде чем не всадил в голову «шпиона» все пули своего револьвера. Это он сделал «для верности», чтобы не вышло какой-нибудь ошибки и чтобы уж наверное «покончить».

В Харьков я приехал на разведки, без всяких указаний лиц или условий. Но, конечно, моментально ориентировался. У нас в Харькове были свои люди—Жебуневы, члены вновь организованного, ничего не делающего кружка Перовской. Жебуневы меня

направили к Николке Быковцеву, а Николка — к террористам, которых я собственно и должен был разыскать.

Это была компания выше помянутых Сентянина, Рафаила, Брантнера и Ивичевичей. Эти отчаянные люди жили совсем нараспашку, по-студенчески, в холостой квартире, уже не помню, где-то неподалеку от полицейской части. В комнате царствовал самый живописный студенческий беспорядок, посетители приходили и уходили с утра до ночи, так перемешиваясь, что я до сих пор не знаю, кто собственно числился хозяином квартиры. «Конспирации» — ни малейшей. Выследить нас всех, подслушать все разговоры, ничего не стоило, и только полной ничтожностью и халатностью полиции объясняется возможность действия таких заговорщиков. Сами террористы оказались почти поголовно молодежью, почти мальчишками. Один Брантнер был постарше и помрачнее. Остальные—настоящая казачья молодежь, «добрые молодцы», у которых кровь кипит и требует разгуляться на чем-нибудь. Всю компанию я застал за завтраком, — конечно, на грязных и некрытых столах, на которых тут же были разбросаны книги, бумаги, кобуры от револьверов и т. п. Но самые кушанья меня изумили роскошью: превосходные паштеты, великолепная птица разных родов. Были и кое-какие напитки. Пригласили, конечно, и меня. Я отказался... Они заметили, должно быть, мое удивление и сообщили, что все эти припасы привезены, кажется, Сентяниным от родителей из имения, откуда он только что приехал. Я успокоился, а то сначала было невольно подумал: «Неужто они это общественные деньги так прокучивают?».

Сентянин, кажется, был из богатого семейства, во всяком случае был чрезвычайно мил и изящен. Веселый, очень мягкий, вежливый, с хорошими манерами, — он мне показался баринком, едва ли способным на большие подвиги... В этом я ошибся. Этот «дворянчик» скоро выкинул одну из невероятнейших штук, какую только учиняли когда-либо революционеры. Об этом скажу ниже. Сентянин был по образованию из Горного института, товарищ Георга Плеханова.

Брантнер, по отзывам, был наиболее уважаемым лицом своей компании. Это, говорят, был человек чрезвычайной честности, искренности. По взглядам и вкусам, — народник, шлялся в народе, а в террористы пошел, как все, замечая, что «действовать не

дают», т.-е. не позволяют бунтовать народ. Брантнер считался превосходным товарищем, человеком безусловно самоотверженным. Таким он казался и мне. Но несомненно также, что он был очень ограничен умственно и с самыми поверхностными знаниями. Тупая, честная наивность у него сквозила в каждом слове.

Рафаил, — точно также был простым рядовым революции, только, видимо, не обладая нравственной высотой Брантнера. Но Ивичевичи производили очаровательное впечатление. Не приходило даже в голову думать о их уме. Конечно, ум самый первый встречный, знания — тоже, студенческие. Но с них этого можно и незачем было спрашивать, потому что они и не претендовали на это. Они производили впечатление только что выпущенных прямо на войну кадетов. Они знали, что война объявлена, и не пускались в глубину политики — рады были подраться. Молоденькие, жизнерадостные, они и не думали, что есть смерть, да, конечно, каждую минуту готовы были отдать жизнь за копейку. И, — не нужно громких слов: не за Россию, не за народ, не за свободу они готовы были отдать жизнь, а за всякую удальскую авантюру. За Россию же, за народ, за свободу тем, конечно, приятнее отдать жизнь, или, точнее, рискнуть жизнью, потому что эти удальцы и авантюристы никогда не представляют себе, что взаправду будут убиты. Жизнь и удаль слишком сильно кипит в них. К правительству, жандармам, шпионам эти люди, как, впрочем, и вообще революционеры, относились так же, как на войне вообще относятся к неприятелю. Личность человека стирается в неприятеле. Люди более зрелые духовно не способны к этому. Я видел других, — и далеко не особенно тонкие натуры, — которые лично совершили политические убийства: это их мучило долго. Образ убитой жертвы, — хотя бы это был действительный «шпион», — преследовал их и не давал спать. Они становились мрачны. Ничего подобного у Ивичевича. Он только-что убил Никонова, и ни искры сожаления или тяжести на совести! Он о нем думал так же мало, как казак, подстреливший черкеса. Молодая, заразительная веселость так и сочилась у него изо всех пор...

Мой запрос относительно возможности освобождения арестантов в Харькове встретил в компании самое сочувственное внимание. Они и сами об этом думали при первых слухах

о проекте ссылки политических в Печенежскую центральную тюрьму. Ивичевичу (я говорю все об Иване, т.-е. об убийце Никонова) уже приходило в голову нападение на поезд, и он производил кое-какие исследования. Он полагал, что вагон с арестованными можно отцепить на ходу, пользуясь теми местами, когда поезд идет под гору, для того, чтобы отвинтить скрепу вагона с другими, а затем снять цепи, как только поезд пойдет в гору. Затем можно было перебить конвой. Ивичевич делал опыты: он стрелял на поезде, забравшись в пустой вагон, и звуков этой пальбы никто не слышал: ни кондуктор, ни пассажиры соседних вагонов.... Однако же, в конце концов, вся компания признала, что освобождение дело очень трудное и требует выработки плана и многих опытов. Может быть, удобнее подкупить кого-либо в тюрьме; может быть, лучше напасть за Харьковом. Вообще, требуются разведки и большие траты денег. Могут ли петербуржцы дать денег? Людей можно найти на месте, сколько угодно, но денег нет. Таковы были окончательные результаты наших разговоров. Относительно денег я не мог дать никаких точных данных и решил ехать за ними в Петербург. Плана никакого установлено не было по полному недостатку сведений. Тюрьму харьковскую мы снаружи немного осматривали, но, конечно, это не могло дать многого. Вообще, решено было, что я поеду в СПБ. за деньгами. Но в это самое время привезли в Харьков первого политического — Мышкина. Это обстоятельство застало нас совершенно врасплох, неподготовленными, и я тем быстрее решился ехать в СПБ.

Но пока я ехал на север, беднягу Мышкина повезли на юг,— после самого моментального отдыха в харьковской тюрьме его перевезли в Печенеги. Говорят, он во время переезда все оглядывался и ждал, очевидно, попыток освобождения. Вероятно, Перовская его в этом обнадежила, но — увы! — никаких попыток не воспоследовало. Когда я прибыл в СПБ., совершенно спокойный, и хотел излагать планы харьковцев, Перовская оказалась словно бешеная. Тут я только узнал о провозе Мышкина из Харькова. Перовская была буквально бешеная и осыпала меня теми ядовитыми словами, на которые столь изобретательны женщины: и «проворонили», и «неизвестно зачем ездили», и т. п. Я, конечно, передаю смысл, а не точные выражения, которых

не упомнил. Меня эти глупые и грубые упреки в свою очередь возмутили. Ни тени вины ни за мною, ни за харьковцами нельзя было найти, и если уж кого можно было винить, то разве самое Перовскую, которая так поздно собралась вступить в сношения с Харьковом. Как бы то ни было, я расстался с Перовской рассерженный и огорченный, почти в ссоре. Я говорил себе, что с ней невозможно иметь дело, и решил уехать к себе на юг.

Надо сказать, что Перовская была очень сильная женская натура и со всеми недостатками этого. Самолюбива, деспотична. Она любила властвовать и окружать себя ничтожностями и бездарностями. Впоследствии она делала много вреда в Исполнительном Комитете своим бунтовством против Александра Михайлова. Что касается меня, впоследствии я умел с ней поладить, так что она меня уважала. Дожил я, наконец, до того, что видел Перовскую и в полном порабощении — у Желябова [84]). Это была женщина: полюбила Желябова всей душой и стала его рабой. Но об этом после. Как бы то ни было, на этот раз мы расстались в гневе, и Перовская, видимо, не подозревала, насколько сильно порвала наши связи.

Когда через $1^1/_2$ года она узнала, что я женился на другой, она была, как мне передавали, крайне обижена и раздосадована. Однако, когда мы после этого снова встретились, впервые Перовская начала смотреть на меня как-то немножко снизу вверх. Вероятно, она в глубине души почувствовала ко мне уважение, увидавши, что я не даю «бабе» крутить собой.

А между тем, в действительности, было не совсем так. Конечно, я из-за «бабы» не мог ни изменить поведения, ни уж чересчур закручиниться. Но надо сказать правду, что первое время, и очень долго (т.-е. несколько месяцев), ссора с Перовской меня сокрушала и давила камнем. Это тянулось, пока я не встретился с Катей [1]). Тут Перовская мне стала казаться не женщиной, а мужчиной. Я увидел настоящую женскую личность, сильную не мужскими, а женскими качествами: сердцем, любящим отношением к жизни, органической силой, инстинктивным пониманием множества тонкостей, столь трудно дающихся рассудку, а вместе с тем той непередаваемой скромностью, которая составляет луч-

[1]) Ек. Дм. Сергеева [85]).

шую красоту женщины, да и вообще высшую красоту жизни. В сравнении с Катей Перовская совершенно исчезла для меня. И благодарю господа, что спас меня от типичной «революционерки» и свел с истинной женой и другом.

У Перовской ее женские свойства были засыпаны слишком густым слоем «идейности», радикализма. Они проявились лишь тогда, когда она полюбила Желябова, на ее горе. А, впрочем, может быть, она все-таки обязана этому мучительному для нее времени несколькими минутами жизни не «идейной», а «личной», непосредственно-человеческой.

Итак, я уехал на юг. Поехал во Владикавказ. Жил у сестры. Потом в Новороссийск. Тут только явилось решение моей участи по процессу 193-х. Государь Александр II усилил мне наказание, т.-е. не безусловно выбросил, как суд просил, в наказание $4^1/_3$ годов предварительного заключения, а приказал выслать административно, с тем, что если окажусь неблагонадежным, то применить ссылку на житье в Сибирь.

Надо сказать, что вообще решение суда было государем изменено очень радикально и в общем более сообразно со справедливостью. Суд строго осудил людей безобидных и очень легко опасных. Государь все это изменил, усилив наказания опасным. Однако, приговор вышел при этом крайне строг и в отношении многих поэтому жесток. В числе их был и я. Моя виновность была очень невелика, а просидел я в тюрьме 4 года 3 месяца и 6 дней. А затем меня сослали[86]). Ну что я должен был делать в административной ссылке, где не мог ни служить и вообще даже зарабатывать хлеб?

Сверх того, малейшая ссора с полицией или чей-нибудь донос, — и я мог быть сослан на жительство в Сибирь. Положение это совершенно невыносимое для молодого человека, полного жизни и жажды деятельности...

Я моментально убежал и с тех пор начинается моя долголетняя (почти десятилетняя) нелегальная жизнь.

Считая тюрьму, правительство отняло у меня, насколько в его силах, почти 15 лет жизни, лучших лет силы и развития. Со своей стороны, немногие сделали столько вреда правительству, как я, за это время своей нелегальности, т.-е. с 1878 по 1885 год.

Я, конечно, широко «сквитался» по нашим счетам и не жалуюсь. Все устраивает бог, а что касается государей, то если один был ко мне жесток и несправедлив, то и я к нему был еще более жесток и несправедлив; а перед другим государем и я покаялся, когда понял свою вину, и он меня простил, когда, — да наградит его господь, — поверил мне. Итак, мне нечего жаловаться, и нет у меня в сердце обиды. Я, только что прибыв в Россию, явился на гроб императора Александра Николаевича. Я и теперь еще, через 10 лет, был недавно на его могиле и молил его самого помолиться за меня, чтобы простил бог все, в чем я прегрешил перед царем-мучеником. Но без всякой злобы или вражды, или обиды, — не могу не сказать по совести, что т о г д а, в 1878 году, государь наказал меня без должной справедливости и сам вынудил меня махнуть рукой на все и броситься в единственно остававшуюся для меня отчаянную борьбу.

Мое полугодовое пребывание на Кавказе было для меня полно множества поучительных встреч и наблюдений. Это очень содержательные месяцы моей жизни. Но я когда-нибудь, если богу угодно, возвращусь к нему специально, а пока перехожу к революционному миру, все более клокотавшему в центре России.

Я прибыл в СПБ. 1878 г., позднею осенью. Не помню ни месяца, ни числа, но когда я переваливал в Новороссийске Небержайское ущелье, в горах выпал первый снег. Приехал я в СПБ. без всего: не было паспорта, не было денег, и я совершенно не знал, кто и где из товарищей или знакомых [87]). Однако, конечно, сразу осмотрелся. Пошел к Грибоедову [88]), от него узнал, где найти Клеменса, а затем уже, понятно, очутился немедленно в самом центре «революции».

За несколько месяцев (всего не больше полугода или немного больше), что я пребывал на Кавказе, в революционном мире произошли многие важные события.

Из кружка Перовской, разумеется, ничего не вышло. Он не то что умер, а даже не сложился. Разъехавшиеся по провинции не поддерживали связи и ничего не делали. Несколько человек пожнвее прямо присоединились к «Земле и Воле», именно Клеменс, Николай Морозов и сама Перовская. Таким образом «Земля

и Воля» избавилась от конкуренции и усилилась. Но зато кое-кто, как сама Ольга Натансон, были арестованы. Кравчинский приехал из-за границы и тоже присоединился к «Земле и Воле» [89]).

Перовская, примыкая к «Земле и Воле», не оставила своих планов освобождения харьковских каторжан. Напротив, она, без сомнения, только и присоединилась потому, что понимала, что только «землевольцы» могут ей помочь в этом. И они, действительно, согласились заняться этим делом и организовали огромную экспедицию. Само собою, Перовская приняла в ней участие. Но, помимо того, туда были посланы лучшие «террористы» кружка и, сверх того, присоединились некоторые местные люди. Из последних заслуживает особого упоминания Марья Николаевна Ошанина, урожденная Оловенникова, а по нелегальному мужу также Кошурникова [90]). Это личность весьма выдающаяся и игравшая довольно видную роль в нашей «революции».

Собственно к «Земле и Воле» она не только не принадлежала, но относилась к ней с насмешкой. Мария Оловенникова родом из Орла, как и жена моя, Екатерина Сергеева. В Орле с «незапамятных времен», т.-е. с 60-х годов, был ссыльный, тоже местный дворянин, Зайчневский. Этот Зайчневский устраивал революции еще с «золотыми грамотами», при освобождении крестьян, но, конечно, попался, был, кажется, сослан в Сибирь, а затем, по прошению матери, помилован и водворен административно в Орле. Человек очень способный, начитанный и красноречивый до чрезвычайности (говорят, настоящий оратор), он был страстный поклонник французских якобинцев и проповедывал государственный переворот путем заговора и захвата власти революционной партией [91]). У них там в Орле было два проповедника: Оболенский (Леонид), известный деятель печати, и доныне играющий роль в либеральном мире [92]), и Зайчневский. Оба ужасные «бабники». Мужчин у них не было, но всем орловским барышням они вскружили голову. Оболенского, который был учителем, его ученицы слушали с благоговением. Но он больше занимался отрицанием бога и различных основ, не входя в большую революцию, вообще был либералом. Кстати сказать, это человек тупой и никогда не забывавший своих делишек, «благополучный россиянин». О нравственном его влиянии на

молодежь можно судить по тому, что самую красивую из своих поклонниц и учениц он сделал своей любовницей, хотя был женат, и они все так и жили втроем: он, законная жена и любовница, при чем Оболенский, кажется, находился в супружеских отношениях с обеими. Это было очень прогрессивно. Вот в таком теоретическом и практическом отрицании нравственных и общественных основ и состояла деятельность Оболенского. Что касается Зайчневского, — он был чистый революционер. Точно также он был bon vivant. Но в революционном отношении он был несомненно искренний человек и производил большое влияние. Он образовал около себя кружок «якобинок», все из барышень. Мужчин у него не было, и он, кажется, считал русских революционеров недозревшими до истинного, т.-е. якобинского, понимания революции. Он так и остался до конца вне наших партий, потому что даже и Народную Волю не вполне одобрял из-за ее терроризма. Он старался внушить идею заговора и государственного переворота.

Оловенникова была его наиболее рьяной последовательницей. Это, надо сказать, настоящая дворянская, светская натура. Очень красивая в молодости, с огромным темпераментом, с большим стремлением к чему-то великому, пышному, красивому, очень умная и с упорнейшим характером, наконец, с прекрасным светским воспитанием, изящная и способная очаровать, она в то же время была весьма бессердечна. Она очень искала молодых людей, но и бросала их, когда надоедали, так же легко, как брала. Вышла она замуж за Ошанина и скоро его бросила, имея от него дочь, которую также совершенно бросила на руках матери. Сама она вертелась в Петербурге и Орле, мечтая о политической роли, о заговоре, о салоне Madame Roland. Нужно сказать, что она была очень умна и среди «радикальных» замарашек и мужичек производила очень своеобразное впечатление.

Так вот ее-то и привлекли к делу освобождения «централистов». Она согласилась, но не захотела присоединяться к кружку. Авантюра ей нравилась, и потом, освободить революционеров — дело «полезное». Но пропаганда в народе, это — глупости, и даже террор сам по себе — глупости. Она хотела «заговора»...

Попытка освобождения Войнаральского, хотя и наименее интересного из «централистов», но последнего, которого еще

можно было попытаться отбить при провозе (остальные были уже провезены), была отчаянно дерзкая [93]). В ней участвовали Оловенникова, Перовская, Баранников [94]), Николай Морозов, Александр Михайлов и еще кое-кто. Само собою дело распадалось на много отраслей. Нужно было вступить в сношения с тюрьмой, нужно было устроить конспиративную квартиру для подготовки нападения на конвой, нужно было обеспечить скрытие арестанта по освобождении. Все это было сделано очень ловко и уже на настоящих конспиративных началах. Тут и Перовская, и Оловенникова показали себя одинаково ловкими и храбрыми. Но Александр Михайлов, хваля мне Марию Николаевну, как новую силу, которую хотелось бы привлечь, заметил, что она, однако, поразила его своим бессердечием. Когда маленький отряд, на конях, отправился сторожить Войнаральского, которого везли в «централку», Перовская и Ошанина остались дома и должны были приготовить все необходимое для скрытия беглецов, для перевязки ран и т. п. Вооруженное нападение на вооруженный конвой не могло обойтись без жертв. Перовская делала свое дело энергично, но волновалась. Ошанина, сделав все, преспокойно заснула. А между тем там дрались люди, товарищи, наконец, Баранников, которого она любила (она даже повенчалась скоро с ним под фальшивыми документами на имя Кошурникова). Наконец, каждую минуту, преследуя бегущих, полиция могла нагрянуть и захватить самое Ошанину... Спать при таких условиях, конечно, показывает большое мужество, но Александр Михайлов укоризненно покачивал головой: «Ей не жаль даже близких товарищей! Это нехорошо».

Нападение, очень хорошо подготовленное, не увенчалось, однако, успехом. Я не составил себе полного понятия о причинах, хотя слышал рассказ от участников — Михайлова, Морозова и отчасти Марии Николаевны. Повидимому, нападающие погорячились, плохо стреляли, не успели убить лошадей и, оставшись сзади, уже не могли нагнать тележки. Сам Войнаральский, повидимому, растерялся, потому что вместо помощи нападающим, на какую они рассчитывали, проявил полную пассивность и сидел неподвижно, как будто дело его и не касается.

Как бы то ни было, после безопасной пальбы и гонки, нападающие возвратились домой. Кстати сказать, Морозов здесь дей-

ствовал револьвером, полученным от Клеменса, а Клеменсу подаренным Орестом Веймаром. Это тот самый злополучный револьвер, который после того увез Михайлов и дал Соловьеву. Отобранный от Соловьева, револьвер был признан в магазине, как проданный Веймару. Этот магазин помещался в доме Веймара, так что хозяин магазина прекрасно знал, кому продал. Таким образом, возникло обвинение против Веймара в соучастии с Соловьевым, которого он и в глаза не видел и о замыслах которого на цареубийство не имел понятия.

Веймар погиб за то, что не хотел назвать Клеменса, и я не понимаю, почему сам Клеменс не выручил приятеля и друга. Вероятно, не хотелось самому пострадать, так как он, Клеменс, отделался очень легко, — просто административной высылкой.

Это образчик того, как мало правды в карах политических судов.

После неудачной попытки заговорщикам пришлось спешно скрыться. Часть уехала в Петербург. Баранников, под фальшивым паспортом Кошурникова уехал в Орловскую губернию, где обвенчался с бывшей Ошаниной и жил с нею открыто целый год, пока не возник «Исполнительный Комитет». Одна Перовская осталась на месте и более года упорствовала в намерении как-нибудь освободить каторжан. Все, чего она могла достигнуть, состояло в кое-каких сношениях с ними, так что мало-по-малу даже ее упорство остыло, и она убедилась, что бьется лбом о стену.

Что касается моих харьковских знакомцев, то они со своей стороны предприняли попытку освобождения одного из провозимых (не помню кого) [95]. Дело было организовано Сентяниным. Он переодевшись жандармским офицером и подделав нужные бумаги отправился в тюрьму и потребовал, чтобы ему выдали арестанта для препровождения в жандармское правление. Дерзкая попытка едва не увенчалась успехом. Уже пошли за арестантом, но тут обратили внимание на какую-то мелкую неправильность в костюме или бумагах, и усомнились. Попросили Сентянина подождать, из тюрьмы сделали запрос в жандармское правление и в результате, конечно, арестовали самого Сентянина. Верный своей программе, он пытался стрелять, но ему не дали. На допросе он очень щеголевато и развязно, на вопрос о себе, отрекомендовался:

«Сентянин, секретарь Исполнительного Комитета социально-революционной партии».

Этот бравый молодой человек скоро умер в Петропавловской крепости.

Вслед за неудачными попытками освобождения каторжан, землевольцы предприняли в то же лето (в мое отсутствие) убить шефа жандармов Мезенцова. Как известно, генерал Мезенцов был лично человек добродушный, bon vivant и никому никакого особенного зла не делал. Точно также отнюдь нельзя сказать, чтобы он был как-нибудь особенно деятелен в звании начальника III Отделения. Само III Отделение находилось в слабом и дезорганизованном состоянии, и трудно себе представить более дрянную политическую полицию, чем была тогда. Собственно для заговорщиков следовало бы беречь такую полицию, — при ней можно было бы, имея серьезный план переворота, натворить чудес. При тогдашнем правительстве, тогдашнем настроении общества и офицеров, да еще при такой полиции, — положительно возможно бы было организовать дворцовый переворот. Но, на счастье России, наши революционеры были все-таки мальчишки и невежды. Они болтали о революции в народе, боялись «буржуазии», боялись «конституции» и вовсе не желали сознательно низвергнуть правительство и тем менее захватить власть в свои руки. Они шли «в террор» просто по бунтовскому темпераменту, по досаде, из мщения за своих собратьев и,—в самом сознательном случае, — из надежды «дезорганизовать» правительство... Как будто можно было желать более дезорганизованного правительства, чем было тогда! Совершенно хаотическое, анархическое состояние революционных голов было причиною того, что возник «террор», совершенно б е с ц е л ь н ы й, ибо при нем революционеры совершенно не ставили себе ц е л и, а называли разве только п р и ч и н у того или иного убийства, и все больше мелкие, нелепые причины, в роде жестокости, притеснений и т. п. В числе таких убийств было и мезенцовское.

Кружок занялся им очень усердно. Как я заметил выше, самое убийство было поручено Кравчинскому. Почему именно ему? Может быть, потому, что он был здоровяк и силач, каких немного. А кружок уже плохо верил в револьверы, и кинжал

казался вернее. Кравчинский (Сергей Михайлович) согласился на предложение по довольно непонятным для меня мотивам. Вообще, его я не считаю храбрым, и во всяком случае он страшный эгоист, весьма пекущийся о своей драгоценной персоне. Но он в то же время тщеславен и самолюбив до крайности. Может быть, на этой струнке он и поймался. Во всяком случае, его поведение было какое-то двойственное. В Петербурге он храбрился и выдумывал планы убийства, как можно более оригинальные. Особенно ему нравилась мысль отрубить голову Мезенцову. Для этого он даже заказал себе особенную саблю (я ее видел впоследствии), короткую и очень тяжелую. Но, по настоянию других, план этот был оставлен, потому что, конечно, при малейшем движении Мезенцова удар бы кончился простой раной, да сверх того Кравчинский и не был достаточно выше, чтобы рубить свою жертву по шее. Так вот Кравчинский строил из себя разбойничьего героя, а в то же время заграничным друзьям писал очень меланхолические письма, где говорил, что в Петербурге его все ласкают, ухаживают за ним, но он знает, что это совершенно то же, как ухаживают за скаковой лошадью, выпускаемой на взятие приза. Сам по себе он никому не нужен, а нужно, чтобы он взял приз — жизнь Мезенцова.

Убийство, как известно, удалось «блистательно». Выследить Мезенцова ничего не стоило. Он ходил не остерегаясь. Выслеживал Александр Михайлов. По знаку, Кравчинский в сопровождении Баранникова *) пошел навстречу Мезенцову и, пропустив его, ударил сзади кинжалом, который был скрыт в свертке легкой газетной бумаги. «Приз» был взят. Рука убийцы не дрогнула. Кравчинский, воткнув кинжал, даже не забыл крутнуть его, по всем правилам кинжальных убийств. На убийц бросились, но тут ждала их пролетка, которой кучером был Адриан Михайлов. Рысак был приобретен знаменитый, и в два-три поворота по улицам убийцы скрылись от всех преследований и прямо канули, как в воду. Это, можно сказать, одно из самых «отделанных» убийств того времени [96]).

О впечатлении, произведенном на правительство, общество и революционеров, — излишне распространяться. Такие случаи

*) Он после этого и удалился к своей Марье Николаевне справлять медовый месяц! *(Примеч. автора.)*

всегда «агитируют» и служат рекламой для организации. Но должно заметить, что убийства делались не от имени «Земли и Воли», а от имени «Исполнительного Комитета социально-революционной партии».

По разгроме Осинского в Киеве, некоторые «землевольцы», бывшие с ним в сношениях, увезли в СПБ. печать «Исп. Ком. соц.-рев. партии» и действовали его именем, хотя уже никакого комитета не было. Сами же эти лица выхлопотали у «Земли и Воли» разрешение основать «террористическую подгруппу», которая должна была подчиняться кружку «Земли и Воли», но на самом деле брала у «Земли и Воли» только деньги и делала, что хотела. В эту подгруппу входили несколько членов кружка «Земли и Воли», как Александр Михайлов, Николай Морозов и Квятковский, но также и несколько не состоящих в «Земле и Воле», как Степан Ширяев и Шмеман [97]). Полного состава группы я не знаю, потому что в нее не входил и не хотел входить, и даже, — при всей личной дружбе с Александром Михайловым, — никогда не расспрашивал его о делах «террористической группы» [98]).

Вот сколько событий совершилось за время моего отсутствия. О них я знал отчасти из газет, но только, прибыв в Петербург, получил более обстоятельные сведения.

К этому еще должно присоединить и прочное основание типографии «Земли и Воли».

Скажу тут кстати несколько слов по истории русской подпольной прессы. Мысль завести свою типографию была еще у кружка чайковцев. Бывали у нас типографии и раньше, но все мелкие, почти карманные, годные для каких-нибудь маленьких прокламаций. Еще Николай Иванович Жуковский [99]) рассказывал мне за границей о типографии, бывшей у него. Это была в сущности игрушка конспирации. Он жил у себя в богатом доме, при семействе — не то родителей, не то родственников. Так вот, у него в комнате касса наборщичья была устроена в виде минералогического кабинета, и шрифт — по буквам — был разложен в ящичках, под минералами. Шрифт был, а работать было почти невозможно, только урывками, потому что приходи-

лось беречься не только внешнего, политического надзора, но и внутреннего, домашнего, со стороны родных, знакомых и прислуги.

Чайковцы купили хорошую типографию, но устроить ее не успели, и она была сложена в ящиках на дворе у Веймара, где оставалась много лет, а, может быть, и до сих [пор] лежит, потому что Орест Веймар, по разгроме чайковцев, и рад был куда-нибудь выбросить свою типографию, да уж не мог.

Когда освобожденные по процессу 193-х вступали в общение с революционным миром, в числе прочих с нами знакомились и поляки. Тут я помню пана Венцковского, который предлагал и нам, и натансоновцам основать в Петербурге подпольную газету. Венцковский, однако, настаивал, чтобы газета не была слишком революционна, а только очень либеральна, для того, чтобы привлечь к себе обширные слои читателей. Мы, освобожденные, коллективно ничего не делали. Но кое-какие отдельные лица (кажется, Клеменс из наших) из обоих лагерей отнеслись сочувственно. От натансоновцев в это дело вмешался, кажется, Александр Михайлов. Я тогда мало следил за этим. Как бы то ни было, в результате явилась газета «Начало», на русском языке, но бывшая более всего в руках Венцковского. Редактировалась она очень бездарно и после немногих №№ прекратилась [100]). Однако, удачный опыт устройства тайной типографии ободрил всех к продолжению дела. Я не знаю, куда девалась типография Венцковского. Кажется, это та самая, которая была спрятана у Зиновьева и попалась. Компания Зиновьева, Буха и Астафьева (Шурочки так называемого) вообще вертелась около этого дела. Между тем младший брат Буха состоял членом «Земли и Воли». Может быть, типография Венцковского отчасти дала начало и типографии «Земли и Воли» [101]). Все это было без меня, и я не знаю, как устроилось дело. Но по приезде я уже застал типографию «Земли и Воли» готовой, и организована она была превосходно. Устраивал ее Александр Михайлов с обычным своим заговорщичьим талантом. Типография «Земли и Воли» пережила самые отчаянные поиски полиции благополучно и не была открыта. Только уже потом, когда она перешла к Народной Воле и поступила на другую квартиру, и, сверх того, отступила от первоначальных строгих правил, она была открыта полицией.

Об устройстве первой типографии я скажу, впрочем, ниже. Теперь, после этого длинного отступления, перехожу к своему прибытию в Петербург.

Приехав в Петербург, я еще не был членом никакого кружка. Александр Михайлов встретил меня с радостью, как и я его. Мы друг другу сразу понравились, и немудрено, потому что, в сущности, мы по характерам и способностям совершенно дополняли друг друга. Скоро он, переговоривши со своими, принял меня в кружок «Земли и Воли». Сделать это было легко, потому что у землевольцев было принято решение: всех бывших чайковцев принимать без голосованья, если только они согласны признать уставы «Земли и Воли». Эти уставы были довольно сложны. У землевольцев, еще в натансоновские времена, в противность прежней беспорядочности и анархичности кружков, возникло стремление к регламентации и конспирации. Само собою, Александр Михайлов много поработал над составлением уставов. Принятие мое совершилось так. Спросив меня о желании вступить в кружок, Михайлов привел меня на одну квартиру—*чужую*: *своих* квартир мне еще не должно было открывать. Квартира эта принадлежала как раз моей будущей жене, Екатерине Сергеевой, которая не была членом «Земли и Воли» и жила для студентки довольно богато, имея 2—3 комнаты. Катя только была знакома со всем «радикалитетом». Но, веселая, жизнерадостная, она готовилась просто к месту фельдшерицы, не принимая участия в заговорах или пропаганде. По личным же связям она, орловская сама, примыкала к кружку Зайчневского, особенно по приятельству с Марией Оловенниковой, да и вообще со всем семейством Оловенниковых. У нее-то Александр Михайлов и выпросил комнату для моего посвящения в кружок. Сама Катя должна была на это время удалиться из квартиры.

Александр Михайлов совершал церемонию с серьезностью и торжественностью, которые меня очень забавляли. Он привел с собой *свидетеля*, не помню кого, который должен был слушать мои ответы. Сначала Михайлов прочел мне *программу* кружка — о целях его. Эти цели были довольно чепухисты и сводились к созданию строя, который бы осуществлял якобы идеалы народа относительно общности земель, федерации и т. п. Обык-

новенная народническая чепуха. Я согласился с этими целями, хотя, в сущности, у меня уже начинали складываться несколько иные понятия. Но, во всяком случае, в общем я ничего не мог возразить и принял программу. Это та самая, что была развита, насколько позволила цензура, в «Основах народничества» Каблица (Юзова). После этого Михайлов предложил мне вопрос о принципах действия: признаю ли я принцип «цель оправдывает средства», централизацию и дисциплину и еще что-то, чуть ли не террор, как средство, дезорганизующее правительство. Все это я принял безоговорочно и совершенно искренне. Тогда Михайлов объявил мне, что я принят в кружок, если приму самый устав. Уставу я заранее подчинился, и Михайлов читал его, спрашивая за каждым §, принимаю ли я. Я все принял, хотя в уставе не нашел достаточной, по моим желаниям, централизации, за которую тщетно старался еще в 1873 году у чайковцев. После этого Михайлов сообщил мне имена всех членов кружка, дал отчет о состоянии его дел, о его средствах и, наконец, сообщил шифры, условные знаки и квартиры.

Однако же, я все-таки узнал не все. Согласно духу устава, Михайлов, фактически уже почти бывший главным начальником, вводил систематически самую строгую конспирацию. Каждый член, говорил он, должен знать подробно лишь то, чем занимается, а не все, — остальное должен лишь иметь возможность узнать, если понадобится. Поэтому квартиры типографии не знал сначала никто, кроме него самого и, кажется, Клеменса. Потом он, на случай ареста своего, уже после ареста Клеменса, провел туда меня. Точно также заграничных путей переправы не знал никто, кроме Мойши Зунделевича. Террористическую группу знали только ее члены. Рабочей группой заведывал Плеханов. Каждая такая группа имела свою квартиру. Общей же землевольческой квартиры не знал никто, кроме членов кружка. Паспортное отделение точно также было совершенно обособлено. Благодаря такой системе обособления всех частных дел, нас действительно трудно было открывать. Но понятно, что она же создавала совершенно «неконституционную» власть для членов кружка, проживавших в Петербурге.

Вообще, кружок жил очень мало соответственно своей программе и уставу.

Положение было таково. По внешности «Земля и Воля» представляла организацию столь сильную и стройную, как еще не было в России.

Она вобрала в себя все сколько-нибудь крупное в революционной среде. Число членов было значительно и, кроме членов, не мало лиц примыкало к нему по системе подгрупп, на каждом частном деле. Так, например, у нас в типографии членом кружка был только Николай Бух; остальные трое — Крылова, Марья Васильевна и Птица — были завербованы только на это дело [102]. То же самое было во всех группах и в провинции. Таким образом человек 20 членов объединяли около себя довольно много сил, не говоря о том, что кружок имел влияние на многие частные кружки, студенческие и вообще молодые, с которыми не хотел, по их незрелости, совсем сойтись. Кружок имел разнообразные и хорошие связи по всей России. Кружок имел имя и доверие, вследствие чего получал деньги от сочувствующих. Он имел и собственного богача — Лизогуба, который был отрешен от всех дел специально затем, чтобы свои поместья ликвидировать и обратить в деньги. Это должно было доставить сотни тысяч рублей и уже доставило десятки.

Благодаря основанию типографии, кружок «Земли и Воли» совершенно не нуждался в эмигрантах и вышел из-под всякой зависимости заграницe. Это было явление новое. Наконец, «Земля и Воля» не имела никаких конкурентов, потому что южная организация Осинского была уничтожена, а затем все мелкие кружки неоспоримо признавали если не главенство, то превосходство «Земли и Воли». По всероссийскому влиянию, только один Исполнительный Комитет Народной Воли впоследствии превзошел «Землю и Волю».

Но эта видимость силы была приобретена в ущерб внутреннему единству. Как ни экзаменовали в «Земле и Воле» вновь поступающих, однако, исполняли это больше для формальности, и на самом деле внутри кружка царствовал глубокий раздор двух направлений, слитых совершенно искусственно. Это был тот же разлад, что по всей революционной России.

«Земля и Воля» была кружком народническим. По программе, кружок должен был создать народно-революционное движение. Только для этого существовала орга-

низация интеллигенции. Всякие «улучшения» правительственного строя отрицались, «конституция» считалась хуже, вреднее, нежели «абсолютизм», ибо она объединит «эксплуататоров», буржуазию; «Земля и Воля» ставила целью ниспровержение всего существующего строя, а вовсе не правительства. Между тем нарастал терроризм, который направлялся против правительства. Это была трата сил вредная. Народники понимали еще попытки освобождения ссыльных; понимали убийство шпионов: все это могло быть необходимо или хоть не бесполезно. Но убийство Мезенцова, с их точки зрения, совершенно выходило из программы. Пока такими делами занимался Осинский и К°, — это было дело чужое. Но когда свой собственный кружок переходил на такую почву, народники, со своей точки зрения, совершенно справедливо возмущались. По программе, большая часть членов «Земли и Воли» должны были жить и жили «в народе», в деревне. Хозяином кружка было общее собрание членов. Только оно одно устанавливало планы действия. Лица, оставшиеся в Петербурге, не получили никакой власти, никаких полномочий. Они обязаны были только исполнять решения общего собрания, т.-е. добывать деньги и все нужное для «деревенщиков» (как мы их презрительно называли). Типография и газета «Земля и Воля» должны были служить тоже нуждам «деревенщиков». Террористическую группу хотя и дозволяли, но только для уничтожения опасных для кружка сыщиков. Кружок петербургских членов был не властью, а простой комиссией для исполнения постановлений общего собрания.

На самом деле выходило совсем не то. Во-первых, члены, находившиеся в Петербурге, фактически становились властью, потому что все нужное было в их руках. Во-вторых, они по направлению становились все более отличны от «деревенщиков», а потому и направляли свою деятельность сначала не совсем так, а потом и совсем не так, как хотели «деревенщики».

Суть появившейся разницы состояла в следующем. Лица, живущие в народе, в виде учителей, волостных писарей и т. п., становились все менее революционны. Чем более они обживались и сходились с мужиками, тем менее думали о бунте и тем более вдавались в мысль о легальной защите интересов мужика. Живущие же в Петербурге, напротив, все более разгорались революционно и все более думали о борьбе с правительством. Когда

после долгого отсутствия, встречались бывшие товарищи, — один из деревни, другой из города, — оказывалось, что они оба друг другом недовольны. «Деревенщик» имел уже даже немного странные провинциальные манеры, не интересовался никакими мировыми событиями, толковал о каких-то мелочах народной жизни. Он, видимо, «дереволюционизировался» с точки зрения горожанина. Петербуржец же казался «деревенщику» чуть не «либералом»: он и привык к приличной одежде, и говорит о «политике», и негодует не против «кулака» или «барина», а против «правительства»; того гляди, станет «просить конституции». А между тем у горожан было в руках все, и деревенщик жаловался на их невнимание, невысылку денег, недоставление людей, книг, невнимание к устройству нужных для деревенщика связей и т. п.

Так нарастало взаимное неудовольствие и назревал полный разрыв.

Когда я приехал в СПБ., в городе совсем было мало членов кружка. Помню только: Александр Михайлов, Клеменс, Морозов Николай, Георг Плеханов, Зунделевич да, кажется, еще был Квятковский. Бух сидел в типографии. Потом, стало быть, прибавился я. Все люди — крайне не «деревенские». Остальные в разных подгруппах были не членами и находились, стало быть, под нашей командой. Душой организации был Александр Михайлов. Он всех объединял, везде бегал, все знал, все направлял. Остальные занимались каждый своим делом, кого куда тянуло. Клеменс весь погрузился в сношения с «либералами», приобрел в их среде массу знакомых и друзей, которых, думаю, находил себе более близкими, чем нас. Да и действительно, мы были или мальчишки, или все-таки мало культурные люди. Клеменс же имел все потребности культурного человека, интересовался и наукой, и политикой, и просто городской жизнью, наконец, не прочь был и кутнуть более или менее роскошно, а не по-мужицки. Он сблизился с адвокатом Александровым, у которого и поселился, обдумывая вместе с ним планы поднять агитацию среди земцев [103]). Собственно для кружка Клеменс вел редакцию газеты «Земля и Воля». Писал он мало (да и газета мало выходила), но иногда очень остроумно. Помню его статью «Императоры заговорили» [104]).

Ник. Алексеевич Грибоедов, у которого я тогда проживал, пришел в восторг:

«А, Лев Александрович, каково? Ведь это Герценом пахнет».

Оно точно, — пахло Герценом, но только очень редко. Клеменс был порядочный лентяй, да сверх того не хотел, по возможности, жить на деньги кружка и много работал по легальным журналам, что ему давало и деньги, и связи. Благодаря этому, он одевался совсем по-барски и мог быть на равной ноге среди «либералов».

Плеханов занимался петербургскими рабочими, ведя пропаганду и организуя их. Помощников из рабочих он имел очень много, и дело у него шло очень успешно. Рабочие устраивали — и стачки, и демонстрации, была даже раз попытка «фабричного террора». Плеханов в это время начинал становиться все более чистым марксистом, и, стало быть, переставал быть «народником». Агитация же среди рабочих приводила его к чисто «политическому» способу действия. Так, например, была тогда огромная стачка на Новой бумагопрядильной и соседних фабриках, у Шау и других. Стачка возникла самостоятельно, но наши (революционеры-рабочие) воспользовались ею для раздуванья дела и пропаганды. По этому поводу наша типография печатала много прокламаций, составленных Плехановым. Конечно, приходилось говорить далеко не по-народнически. Затем для агитации пущена была идея итти с жалобой на фабрикантов и полицию к наследнику. Демонстрация вышла очень внушительная, хотя и была разогнана жандармами. Итак, Плеханову пришлось стать на почву столь «политическую», чтобы подбивать народ даже обращаться к наследнику — как бы в оппозицию против государя. Плеханов был очень занят и оживлен. Террору он не сочувствовал, потому что он мог мешать его пропаганде и агитации. Но еще менее расположен он был помогать «деревенщикам», все более приходя к убеждению, что весь центр социалистической революции находится в городских рабочих, а никак не в мужиках, по самому занятию неспособных проникнуться социалистическими идеями [105].

Я заметил о попытке «фабричного террора». Это было раз, и Плеханов рассказывал о ней со смехом. На фабрике управляющий очень притеснял рабочих, и рабочая группа задумала взорвать его. Долго старались они; наконец, подложили у квар-

тиры его мешок пороху и ночью взорвали. Но вреда никому не произошло, и — даже никто не проснулся! Все хлопоты группы остались при безвредном треске, которого никто даже не заметил.

Кроме агитации среди рабочих, Плеханов занимался также и в редакции «Земли и Воли». При этом он постоянно ссорился с Клеменсом, который казался ему совсем не социалистом. Больше же всего, конечно, дело было в том, что Клеменс являлся невольно главою редакции, и это мозолило глаза Плеханову.

Николай Морозов оставался прежним мальчишкой, но бредил террором и больше ничем не интересовался. Причислен был и он к редакции, но что-то не помню за это время его писаний [106]). Знался он больше, как и Клеменс, с «либералами», которые его очень любили. Он был, впрочем, очень мил, добродушен, любил поболтать, так что легко сходился, особенно с барынями, которых любимцем всегда был издавна. Он был, между прочим, очень недурен собой.

Для кружка, в сущности, он ничего не делал, хотя по своей несомненной храбрости и молодому задору всегда готов был поставить жизнь на карту, да и связи его с либералами иногда оказывались небесполезны. Так распределялись силы кружка в СПБурге.

Я был назначен на место, досель остававшееся в забросе, — именно на сношения с учащейся молодежью. Сверх того, я был причислен к редакции газеты. В газете я сначала держался совершенно пассивно, являясь простым помощником Клеменса, которого превосходство в этом деле вполне признавал. Он уже редактировал раньше газету «Община» (за границей) [107]), да и вообще был опытным писателем. А я в это время писал очень мало. Впрочем, у меня было кое-что писанное для рабочих еще в 1873 г., и в тюрьме я зарабатывал кое-какие денжонки, пиша в журналах (цензурных). Во всяком случае, уступая Клеменсу, я был более писателем, чем Плеханов или Морозов.

Зато самостоятельно и широко я повел связи с молодежью *). Молодежь я всегда любил и понимал и легко с нею сходился.

---

*) Очень различных заведений, между прочим, и с военною. За это время у меня мало-по-малу стали сами собой развиваться знакомства и в обществе. *(Примеч. автора.)*

Не навязывая особенно своих взглядов, оставаясь очень терпимым к чужим мнениям, я, однако, мало-по-малу всегда многих переводил в свой лагерь. Знакомства у меня скоро стали очень большие.

Между прочим, тут я познакомился и сблизился с Сергеевой, с которой через год и повенчался.

Жил я сначала у Грибоедова, потом вел странствующую жизнь по студенческим квартирам, а под конец поселился с Катей *).

Итак, деятельность петербургских членов была менее всего направлена на помощь находившимся в деревне. С ними поддерживали переписку, но содержание ее было совсем чуждо интересам петербуржцев. «Деревенщикам» высылали деньги, но немного и неохотно. Все внимание и силы невольно (и вольно) поглощались своими делами: типография, агитация в обществе, агитация в студенчестве, террористическая группа **), наконец, рабочее движение, — вот что поглощало все силы и средства. Нельзя при этом не заметить, что эти средства добывались нами же, петербуржцами. Пожертвования поступали благодаря нашим хлопотам, стараниям, знакомствам, а все эти связи и знакомства, понятно, требуют внимания и огромной затраты времени. В это же время у Александра Михайлова было положено начало двум в высшей степени важным делам. Во-первых, совершенно пустячные студенческие знакомства свели его с Клеточниковым [108]). Клеточников прибыл в Петербург просто из желания сложить голову на каком-нибудь террористическом деле, но непременно террористическом. Тогда таких личностей попадалось не мало, и Михайлов их не пропускал без внимания. Так он, помню, открыл Мартыновского [109]). Мартыновский, — тип Достоевского: фанатик, туповатый, но с какой-то глубокой внутренней и притом искалеченной жизнью, — прямо искал смерти. Кто-то из его знакомых, очень веселый человек, привел его к Михайлову, познакомил:

«Вот, говорит, человек желает умереть. Ничего он делать не хочет, а именно стремится умереть... Не найдется ли ему помещения?».

*) Далее пометка автора: «N. B. Здесь должно быть вставлено описание моей деятельности в студенчестве. См. тетрадь —, стр. .»

Далее в подлиннике пробел в полстраницы.

**) Первоначально было написано: «боевая группа».

Михайлов немедленно принял Мартыновского под свое покровительство и обещал найти ему такое дело, в котором либо голову сложит, либо будет казнен. Судьба устроила иначе, и Мартыновский был арестован случайно и куда-то сослан, а желание умереть у него потом, если не ошибаюсь, прошло. Я говорю только для примера. Таких людей было тогда достаточно. Точно также, например, Шмеман. Он говорил, что он не социалист, не народник, а желает политической свободы. Жить долго он, по болезни, не надеется, а потому предлагает себя на самые рискованные террористические дела. Конечно, и его Михайлов немедленно принял под свое крылышко. Шмеман был человек отчаянной храбрости и сослужил ему службу. Михайлов же, не только расходился уже внутренне с кружком, но, сверх того, имел **правилом**: все, что только возможно, делать **чужими** руками, возможно более сберегая **свои**, т.-е. кружковые, силы. Это была система натансоновцев да и, конечно, всех практичных заговорщиков. Но должно заметить, что А. Михайлов, пользуясь так «чужими», относился к ним с величайшей заботливостью и попечением. О их нуждах, о их безопасности он считал обязательным думать даже больше, чем о **своих**. Это был вопрос чести организации, которую никто не должен был иметь повода обвинить, что она своих бережет лучше, чем союзников.

О **Клеточникове** я писал достаточно подробно в **Conspirateurs et policiers**, а потому здесь ничего повторять не стану. Михайлов убедил его, вместо террора, постараться проникнуть в III Отделение. Клеточников был уже средних лет, когда-то немного служил, имел чин и производил впечатление человека очень выдержанного и рассудительного. На **такое** дело никого не было лучше под руками, а на террор всегда с избытком имеется разных сорви-голов и мальчишек. Клеточников послушался. С Михайловым они сошлись крайне дружески, любили друг друга, особенно Клеточников прямо благоговел перед Михайловым. Когда предприятие удалось, Михайлов постарался окружить Клеточникова непроницаемой тайной, распустил слухи, что он уехал из Петербурга, никому не говорил его имени,—даже в кружке никому его не открывал, а вел все сношения с ним самолично и вообще берег его как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, нежели допустить гибель драгоценного агента.

Другое важное знакомство Михайлова составил Кибальчич, хотя это знакомство произошло немножко позднее [110]).

В то время, когда Михайлов водворял Клеточникова в III Отделение, последнее, в свою очередь, нашло агента, который, по ловкости и удачливости, мог бы разрушить всю назревающую организацию, если [бы] Клеточников не узнал его раньше, чем он Клеточникова. Я говорю о «Николушке» Рейнштейне. Дело кончилось убийством Рейнштейна [111]). Об этом я писал также в Conspirateurs et policiers. Это было такое дело, которое вполне одобряли наши «деревенщики», по крайней мере знавшие о нем, ибо Рейнштейн в первую голову угрожал пропаганде среди рабочих. Но совсем иной характер имело покушение на жизнь Дрентельна, а уже тем более покушение Соловьева на жизнь государя Александра Николаевича. Тут собственно кружок был настолько против, что Михайлов действовал и самовольно, и даже тайком от кружка. Тут он несомненно нарушал все свои обязанности, как член «Земли и Воли» [112]).

Любопытно отметить, что излюбленный принцип того времени: «цель оправдывает средства», вообще говоря, чрезвычайно подрывал силу тогдашних организаций. В уставе «Земли и Воли» безусловное подчинение кружку было развито в высшей степени, но никогда у нас, в кружке чайковцев, не имевших никакого устава и не требовавших никакого подчинения, кроме добровольного, — никогда не было такого, в сущности, возмутительного обмана и злоупотребления, как в «Земле и Воле». Достаточно было лицам, находящимся в СПБурге, изменить взгляды на цели, чтобы, ничтоже сумняшеся, начать в кружке самую беззаконную узурпацию. В этом менее всего можно обвинять нас, т.-е. меня, Клеменса, Морозова. Мы были чужие кружку, и хотя, входя, принимали его программу, но смотрели на это, как на формальность, а себя считали некоторой аристократией революции: ведь нас и принимали вне общих правил, без голосованья. Сверх того, мы и не ломали кружка, не навязывали ему ничего, а только сами делали свое дело. Но Александр Михайлов, Квятковский, Мойша Зунделевич, с точки зрения кружковой легальности, конечно, действовали высоко беззаконно. Они пользовались фирмой и средствами кружка для целей, ему прямо противных, и делали это сознательно. Особенно

это должно сказать об Александре Михайлове. Мы с Морозовым, видя разногласия, охотно готовы были просто оставить «Землю и Волю». Клеменс, вероятно, был бы такого же мнения, но он был арестован очень скоро, раньше появления острых раздоров. Но Александр Михайлов дольше всех не хотел разделяться и в дружеских объяснениях со мной прямо указывал на важность фирмы «Земли и Воли». Я высказывал, что новая фирма очень скоро приобретет такую же известность и влияние. Но Александр Михайлов не доверял этому, а в революционной деятельности, особенно при краткосрочности существования лиц, фирма значит очень много. Это обстоятельство казалось ему так важно, что даже когда единство окончательно рухнуло, он более всех настаивал, чтобы название «Земли и Воли» было совсем уничтожено, а не доставалось «деревенщикам», так чтобы обе разделившиеся группы явились перед публикой с новыми названиями, если уж нельзя сохранить старой фирмы для себя.

Я, впрочем, забежал вперед. В то время, когда я присоединился к «Земле и Воле», мысль о разрыве еще не возникала, но внутренние отношения уже были запутаны. Идеи раздваивались, и это, между прочим, отражалось и на газете «Земля и Воля». Главный предмет раздора был терроризм. Народники допускали только террор аграрный или фабричный. Но среди нас Александр Михайлов, Морозов, Квятковский тянулись к террору политическому. Кравчинский, хотя и убежавший за границу, — тоже. Клеменс, как и я, не был террористом в собственном смысле, но все-таки видел в терроре больше толку, нежели в «деревенской» деятельности. Он, как и я, хотел революции, в том числе и ниспровержения правительства, не потому, чтобы был конституционалистом, а потому, что рассчитывал, что из революции явится строй, во всяком случае более демократический. Не думаю, чтобы Клеменс был особенно определенным социалистом. Я же, могу сказать, и совсем им не был. Лозунг времени был социализм, но я, в сущности, хотел только материальной обеспеченности народа. Теории социалистов я уже знал в это время, но не был ни за одну, хотя все-таки считал себя социалистом. Мой социализм, в сущности, сводился к государственной регуляции частной собственности. Что касается

террора, то мне он нравился только как первые революционные схватки, передовые аванпостные стычки. Но и только. Террора, как систему, я не понимал, и даже она мне казалась нелепостью.

Иные взгляды были у Кравчинского и у Морозова. Особенно последний бродил около мыслей, которые впоследствии оформил в брошюре «Террористическая борьба и революция» [113]). В этой брошюре террор выставляется новой, современной формой революции. Идея анархическая и нелепая. Кравчинский, которого голова теоретически была весьма тупа и смутна, едва ли в то время имел определенные мысли, но вообще держался мнения, что террор есть средство вынудить к уступкам.

Михайлов был человек не теории, а чутья. Он был за террор потому, что чувствовал, что, кроме его, ничто революционное невозможно. Что касается теории, то он готов был принять любую защиту террора.

Понятно, какую путаницу представляла публицистика «Земли и Воли». Тут, кажется, в каждом новом № были новые взгляды. Кравчинский додумался до нелепости, которой думал совместить народническое отрицание политики с террористическим требованием уступок. Он писал: нам, революционерам, не нужно конституции, но мы требуем, чтобы нам не мешало правительство действовать в народе. Если же оно мешает, мы отвечаем террором. Другими словами: мы не требуем никакой свободы, кроме свободы бунта! [114])

Эта чепуха не утвердилась в газете. Но Морозовские идеи проводились в приложении к ней — «Листок Земли и Воли» [115]). А сама газета в это время писала о народном терроре, о вооруженных шайках, которые должны поддерживать «требования народа». Вообще, в газете была такая же мешанина, как и в умах.

А Михайлов в ответ на всякую критику отвечал: «Что ни написано, — это все равно. Главное — появление газеты нелегально! Полиция ищет и не может ничего найти. Вот что действует на публику. А что написано,—это не важно. По мне,— прибавил он раз со смехом, — идеальная газета была бы такая, чтобы в ней ничего не было напечатано. Но это, к сожалению, невозможно».

Замечание, в сущности, неглупое! Газета, действительно, производила влияние своим существованием, а не содержанием. Она была живым доказательством бессилия полиции и силы какой-то таинственной организации. Где типография? Почему ее не могут отыскать? На эту тему фантазия публики разыгрывалась до белого каления. Предполагали даже иные, что типография помещается в каком-нибудь дворце, и т. п. Уважение к силе революционеров росло именно из-за существования типографии, а чепухистое содержание газеты, постоянно сжигаемой большинством читателей, мало запоминалось, а потому и мало компрометировало.

До тех пор, пока существовал Клеменс, мое участие в газете было очень пассивно и ограничивалось составлением разных мелких сведений. Но Клеменс скоро был арестован.

Он жил по фальшивому, но очень хорошему (он был даже не фальшивый, а только не Клеменса) паспорту, на имя капитана Штурма и долго оставался незамеченным полицией. С революционерами он водился мало, а все вращался в обществе «либералов», жил их жизнью. Попадаться было не на чем. Но по мере развития связей, он стал думать о более широкой агитации, именно в земствах. Его сожитель Александров сам состоял в каком-то земстве и отправился туда на агитацию. Но слуга Александрова и Клеменса, подслушав их неосторожные разговоры, донес на них. Клеменс был арестован. Александров тоже. Александров, как я полагаю, сошел с ума в тюрьме. Что касается Клеменса, то арест буквально спас его. Ни в чем серьезном он не был скомпрометирован, а по обращению своему скоро очаровал жандармов, как всех, с кем имел дело. Он, действительно, был очень милый, приятный и добродушный человек, легко сходящийся с кем угодно, хоть с самим чортом. Между тем, события в революционном мире шли все разгораясь, убийства нарастали, и скоро Клеменс, милый, кроткий, любезный, в своей тюрьме стал казаться совершенно невинным агнцем в сравнении с террористическими волками. Поэтому его, при помощи хлопот друзей, а быть может, и не без денежных их пожертвований, признали неподлежащим суду, а выслали административно в Сибирь. Этим и кончилась его революционная деятельность. Образец справедливости тогдашних наказаний! Какого-нибудь

несчастного доктора Добровольского, абсолютно ничего не сделавшего, закатали на 20 лет каторги (он, впрочем, убежал от нее за границу [116]), а такому важному, как Клеменс, явному, за подписью, издателю «Общины», — административная высылка!

После ареста Клеменса, мое участие в газете стало сильнее. Тут же Михайлов, все более убеждавшийся в моей «конспиративности», решился, на случай своего ареста, показать мне типографию, о которой я дотоль не имел понятия. С величайшими предосторожностями провел он меня в это таинственное место.

Оно оказалось слегка прозаически, но столь же практически устроенным. Это была просто-на-просто средней руки квартира, в одном доме на Николаевской улице. Весь персонал квартиры был сочинен из своих людей. Хозяйкой была Крылова, а ее якобы мужем — Бух. Разумеется, жили они по подложному, очень хорошему паспорту. В прислуги им была дана некая Марья Васильевна Грязнова, радикалка, очень глупая, но вполне преданная «делу», тем более, что она была влюблена в четвертого жителя квартиры — Лубкина. Лубкин (кажется, Сергей Николаевич) был маленький, незаметный человечек, усердный типографщик, которого высшее счастье состояло в том, чтобы его листки были напечатаны чисто и красиво.

Квартирка смотрела чистенько, среднего достатка. В гостиной — портрет государя в золотой раме. Самая типография находилась в задней комнате. Она была устроена очень прекрасно. Станок (действовал валом на рельсах) устроен очень тщательно, бесшумно, и сверх того помещался на мягкой кушетке, которая окончательно съедала звук. В эту же кушетку станок прятали, когда являлись полотеры. День натирания полов не работали. Все пряталось: кассы в конторку, станок в кушетку. Бумага убиралась. Полы выметали тщательно, чтоб не попадалась случайно ни одна буква шрифта.

На случай ночных работ, окна, сверх обычных занавесок, завешивались клеенкой. Снаружи никто не мог бы догадаться, что в комнатах чуть не блистательное освещение: все казалось погруженным в непробудный мрак.

Этот тип квартир был общим для всех «конспиративных квартир». Главное было иметь хорошие документы, правдопо-

добно составленную семью, прислугу из своих же радикалов, обстановку среднюю, не выдающуся ничем, жить тихо, но не замкнуто, чтоб иногда и гости были, а также непременно время от времени зачем-нибудь пускать к себе дворников, чтобы они видели, что квартира самая приличная и ничего подозрительного не заключает.

Труднее и тяжелее всего была роль прислуги, которой приходилось знаться и с дворниками, и с чужой прислугой, и с лавочниками.

Что касается документов, в землевольческой среде это дело было поставлено давно на «высокую степень совершенства». Множество писарей и чиновников в революционной среде и обширная практика познакомили со всеми формами документов. У наших «паспортистов» были тысячи всевозможных копий, снимков печатей, подписей лиц и т. п. Резьбой печатей занималось множество лиц. За изменениями административных лиц тоже следили. Вообще, из любой местности России можно было подделать любой документ, и это делалось очень быстро, при надобности — в два-три часа можно было получить паспорт. Сверх того, занимались скупкой и вообще собиранием документов, особенно через жидов Западного края, которые в этом деле артисты и знают толк. Лучше всего были документы лиц уже умерших, но вдали от родины, где их смерть была поэтому неизвестна. Я сам раз имел такие документы, купленные у евреев за 40 рублей. Но и было за что заплатить: тут было решительно все,—метрика, послужные списки, кое-какие личные записки умершего, так что, перечитавши все, можно было вполне прекрасно знать всю «свою» биографию. Такие полные коллекции попадались не часто, но нередко «настоящие» документы дополнялись фальшивыми... Конечно, такими избранными документами снабжались только особливо нужные люди, и притом часто у одного и того же в запасе было их несколько, на случай внезапной перемены.

ЗА ГРАНИЦЕЙ *).

1882 г.

I.

В 1882 г. летом я отправился за границу.

Перед этим я много жил по России, не занимаясь ровно никакими радикальными «делами». Почему? Нечего было делать, и вкус к ним пропал. Я в то время находился в особом настроении.

Наши «либеральные» друзья тогда испытывали уныние. Глеб Успенский тосковал, чувствуя повсюду «реакцию». Этой «реакции» я не видел, не признавал. То, что я видел в России, меня не огорчало, — Россия мне казалась очень оживленной, гораздо более, чем прежде, хотя и не в нашем вкусе. Я повсюду видел жизнь, движение, видел, что люди работают, каждый в своем духе, но бодро. Этим я был вполне доволен. Но, с другой стороны, мы, революционеры, — по крайней мере, типа 1881 г., — оказывались на-голову разбиты и, видимо, не имели места в русской жизни.

Почему мы были разбиты? Почему, несмотря на все усилия, не могли снова сорганизоваться и действовать? Это и был вопрос для меня.

Старая «Народная Воля» была прямо истреблена. Но я на своем веку не мало пережил таких истреблений и привык видеть, что на месте уничтоженных людей и программ являются немедленно новые. Истреблений я не боялся и уже давно не верил в них. Полиция Судейкина [117]) оказывалась необыкновенно ловкою. «Народная Воля» была сначала вытеснена из СПбурга. Пере-

---

*) Тетр. № 25.

брались в Москву. Скоро были и здесь истреблены и разбежались. Так «революция» вытеснялась, видимо, все куда-то далее и далее. Почему? Неужели из-за ловкости полиции? Я этого не допускал. Почему же у нас нет ловких людей? Еще недавно мы были ловчее полиции. Мы получали сведения о всех действиях правительства и полиции. Мы имели умных людей, а они не имели. Мы имели в их рядах сочувствующих нам, мы держали среди них своих агентов. Теперь все пошло наоборот. У них — умные люди, у нас—мальчишки и дураки. У них — никто не изменяет, а у нас — изменник на изменнике, шпионство, малодушие... Ясно, что этому должны быть общие, более глубокие причины. Ясно, что мы почему-то не годимся, что мы делаем что-то не то, что нужно.

Так казалось мне.

Ясно было также, что с такими отбросками, мальчишками и ограниченными людьми, которых мы имели, ничего нельзя было делать.

От этого можно было бы притти в отчаяние. Но у меня не было отчаяния ни на волос, потому что я верил не в нас, а в Россию; Россия же, на мой взгляд, была здорова и оживленна. Не годились только мы.

Поэтому я в то время вполне охладел к себе и своим, но за то с особым наслаждением, как-то вполне объективно, забывая о себе, наблюдал Россию. Что она делает, что она хочет, что у ней воздвигается? Я бросил радикалистов, уехал в Казань, потом уехал на Юг; со «своими» почти и сношений не имел. В это время (в средине 1882 г.) из старых товарищей воевала одна Вера Фигнер. Мне это было смешно. Не мог же я смотреть серьезно на организаторские таланты Веры Фигнер? Я на все это не обращал ни малейшего внимания. Я с отдохновением душевным был только среди людей народа и общества, не имеющих отношения к революции. И тем более как-то торопился смотреть их, что лично себя считал погибшим.

Было математически ясно, что не нынче, так завтра или через месяц я буду арестован. Искали меня крайне деятельно. Несколько раз я уже чуть не попался и очень хорошо понимал, что если берут людей, действительно ловких, как Златополик,

Стефанович, Грачевский [118]), то мои дни вполне сочтены. Эта перспектива гибели меня тогда уже не пугала. Я ждал ее вполне равнодушно, даже с некоторым чувством отрады. Наконец-то успокоюсь. Ничего уже не должен буду делать, все обязанности будут сняты; наконец, не обязан буду делать чего-то такого, чего уже решительно не понимаю. Те оба раза, когда я был на волос от ареста, я был так хладнокровен, что даже и сам не ожидал этого.

Но чем менее лично я спокоен был за себя, тем более у меня являлась тоска за Катю. Что будет с ней? А она была беременна (Сашей)... Это меня грызло порядочно. Сверх того, у меня против ареста говорило чувство самолюбия старого заговорщика. Мы привыкли быть ловче полиции, и из этих стариков остался один я. Все они переловлены, все разбиты. Возьмут меня, — и тогда полная победа. Чувство мелочное, но что делать? Заговорщики меня поймут. Всякая «профессия» имеет свое самолюбие.

Итак, по совокупности всех этих причин, я убрался из всех мест «борьбы» и жил, не зная завтрашнего дня, в Ростове-на-Дону. Я жил здесь по фальшивому виду, на положении легального человека, литератора. Нанял себе квартирку, с местным радикальем не знался, жил тихо, много ездил, наблюдал, писал. В это время мною были написаны статьи для Шелгунова («Дело») «С низовьев Дона» [119]), в которых, между прочим, я описывал организацию рыболовных артелей. Я объездил все те места, видел людей местного общества, бывал в думе и т. д., очень много работал и старался даже не вспоминать об этих глупых, тоскливых, бессмысленных «революциях», которыми занимались в Москве, Одессе и СПБ. наши «недобитки».

Кроме «С низовьев Дона», писал и еще кое-что. Я жил в это время своей литературной работой. На досуге собирался писать по обычному праву; по этой части я много собирал материалов, много читал и даже подготовил себе тему. Я рассчитывал выяснить себе характер нашего обычного права из колонизационной истории русского народа.

Так вот какими, можно сказать, мирными занятиями и интересами было наполнено мое время. Я даже забывал иногда, что я — дикий зверь, которого травят и не нынче-завтра совсем

затравят. В это время у Кати явилась мысль, которую она мне открыла: обоим нам уехать за границу. Мне это совсем не приходило в голову. Когда Катя мне ее открыла, это был для меня какой-то новый луч света. У меня вдруг является какое-то будущее, какая-то жизнь... Видеть Европу! Это, конечно, не менее интересно, нежели видеть Россию. Там я посмотрю жизнь не по книжкам, а на деле. Там я вдумаюсь и пойму, что такое происходит. Там я напишу записки о делах и людях 1870—1880 годов. Товарищей этих я очень любил. Спасти их память от забвения — казалось мне некоторой священной задачей. Наконец, там я буду жить вольно, не ждя каждую секунду ареста, не убегая от шпионов и полиции...

Но на поездку нужны были средства. Не только деньги, но, что труднее, паспорт. В старые времена это были пустяки. В канцелярии «Народной Воли» паспорт легче было получить, чем легально. Но теперь я был один, без связей, без знакомств. Дело казалось немыслимым.

Я написал Вере Фигнер. Она отвечала с некоторой грустью. Мое бегство за границу, очевидно, казалось ей недостойным старого народовольца, которые умирают, но не сдаются и не бегут.

Это, положим, совершенно правильная точка зрения, пока остаешься человеком известного дела. Но дело, которое делала Народная Воля, давно было не мое. Я еще до 1 марта резко расходился с террористами. Их деятельность казалась мне как-то отчасти ничтожной, отчасти противной даже. Я — не Вера Фигнер. Еще во времена Исполнительного Комитета я считал их на ложном пути и занимался особым, не их делом. Чувств Веры Фигнер у меня не могло быть.

Затем Фигнер сообщила, что если я непременно хочу ехать, то они против этого не имеют ничего, хотя и помочь не могут. Если я поеду, то они надеются, что я окажусь полезным для затеянного ими до меня еще «Вестника» [120]). Во всяком случае, меня насильно не держат, помочь не могут. В заключение Вера Фигнер уже лично упрашивала меня не ехать, а лучше, отпустив Катю, приехать к ней, Фигнер, и вместе действовать, потому что дела, дескать, много.

Бедная Вера! Они меня давно не понимали! Только Михайлов да Желябов несколько вникали в мою душу и мирились

с тем, что я — не они, т.-е. считали, что я хоть и особь статья, но полезный и по-своему прав.

Само собою, мне тогда казалось даже смешно, что Вера Фигнер дает мне советы. Она — очень хороший человек, но что она понимает? Гораздо важнее было то, что: 1) они мне дают отпуск, а 2) помочь уехать не могут. Без отпуска я бы не мог уехать, ибо все же был связан, какова бы ни была Вера Фигнер, и кто у ней еще оставался? Я даже уже не знал, кто у них там... но кто бы они ни были, они представляют фирму, которой я дал известные обязательства. Итак, отпуск был для меня сам по себе помощь. Но где вид, где деньги?

Деньги явились однако. Спасибо покойному Н. В. Шелгунову. Я попросил у него вперед, под статьи, и он выслал моментально. Он вообще дорожил моим сотрудничеством, да и лично ко мне имел большие симпатии. Итак, денег оказалось достаточно. Но паспорты? Это устроила Катя. Она списалась кое с кем из старых знакомых и успела получить от них паспорт для себя и обещание дать паспорт для меня.

Это была неожиданная удача. Точно с неба свалилось. Но Катя была огорчена тем, что мы не можем ехать одновременно. Она видела, что я хотя и не прочь уехать, но отношусь к этому довольно индиферентно, так что, пожалуй, без нее раздумаю. А между тем ждать моего паспорта было ей нельзя. Она ходила в восьмом месяце беременности. Нужно было ехать, или мы оба застрянем в России. Я ей дал слово поехать немедленно, как только получу паспорт, и она отправилась, в тревоге, повторяя мне увещания быть осторожным и не медлить ни одного лишнего дня.

Оставшись один, я только впервые почувствовал, до чего мне лично все равно, что ни случится. Я почувствовал, как будто у меня гора с плеч скатилась. Я оставил занятия, бродил по пристаням и окрестностям, особенно охотно сидел на кладбищах, которые меня как-то чарующе привлекали. Сидишь бывало. Вот идет похоронная процессия. Эти молитвы, это унылое пение я слушал с каким-то непонятным чувством близости к их делу...

Но судьба нам настойчиво благоприятствовала. Недели $1^1/_2$ или две по отъезде Кати я получил заграничный паспорт и, живо собравшись, покатил на Запад.

Правду сказать, я не верил, что проеду. Пересечь границу, где были выставлены мои карточки, мне тогда, по неопытности, казалось не легким делом. Но все равно я ехал спокойно, даже легкомысленно. Уже подъезжая к границе, стала подбираться компания будущих путешественников на Вену. Ехал какой-то австрийский еврей с семьей, отлично говоривший по-русски. Он все хвастался своей Австрией, как у них хорошо. «Говори что угодно, — повторял он, — у нас свобода, все можно говорить, только бы не делать»... Меня это забавляло: «А у нас, — говорю ему, — совсем напротив: делай что угодно, только не говори, а делать все можно»... Была еще какая-то российская девица, на вид очень приличная и миленькая, но оказавшаяся потом весьма легкого поведения: ее у меня в Вене похитил француз, тоже спутник, бойкий комми-вояжер, ехавший с одного конца света на другой. С этой барышней я долго лясы точил, занимался дурацким флиртом, а сам думал: «Что-то скажет граница?»

II.

Вот и граница. Наступил торжественный момент, у нас отобрали паспорта, потом стали вызывать для чего-то... «Ну, — думаю, — шабаш, конец»... Однако, ничего, честь честью отдали паспорт,— и через несколько минут поезд мчал нас уже по Галиции...

Надо сказать, что заграница, которую я рассматривал с любопытством истого россиянина, меня, однако, сразу разочаровала. Вагоны мерзкие, неудобные купэ, вечно на запоре, на вокзалах — никаких приютов, никаких удобств, вообще премерзко. Я ехал без передышки из самого Ростова, устал, — тут бы отдохнуть, да негде. Мой жид, торжественно улыбаясь мне, заплатил кондуктору, чтобы никого не впускал в купэ: «Знай, дескать, как у нас, в Австрии, дела делаются»... Но — увы! — через несколько станций нас опять потревожили, разбудили и насажали нам кучу пассажиров. Даром деньги пропали.

К Вене я подъехал уже без жида. Он где-то высадился по дороге. Барышня моя снюхалась с французом и прямо с вокзала куда-то укатила. Я же был так уставши, что решился отдохнуть. От самого Ростова, что-то уж третьи сутки, я не

спал. Решил остановиться в Вене до вечера, хотя в сущности было не совсем осторожно, да и деньги были на счету. По незнанию Вены, я поехал, куда повезли, а повезли в Метрополь, — так, помнится, называется чуть ли не лучшая гостиница в Вене. Там я поел и лег спать, приказав разбудить себя к поезду. Но — увы! — проснулся я только к вечеру, после поезда. Нечего делать. Пришлось ознакомиться с Веной. Вечером шлялся по городу, утром и целый день тоже. Город мне очень понравился. Живой, веселый, культурный. Хорош св. Стефан, хорош Пратер. Шляясь в ту сторону, я забрел даже за Дунай, удивляясь нелепо бесполезному «regulierte Donau Strome». За Дунаем зашел поесть в кабачок, затем обходил старую Вену. Не заметил, как время прошло, и вот опять поезд помчал меня далее и далее.

Смешноватое впечатление производила на меня эта «заграница» своими крохотными размерами. Не успеешь осмотреться, уже новое государство, по малой мере новый язык. То были поляки, потом пошли австрийские немцы. Ночью разбудили уже на германской границе, в Зальцбурге, кажется. Мюнхена я почти не видел, хотя там пробыл что [то] долго. Наконец, ночью поезд примчал нас к швейцарской границе, которая, впрочем, была по ту сторону озера. В Швейцарии порядки особые. Ночью полагается спать. Поезда не ходят, пароходы не ходят. Пришлось заночевать у немцев.

Не помню, что это за городок. Какой-то сотоварищ по пути предложил мне отыскать ночлег. Мы целой компанией пошли по незнакомым мне еще улицам средневековой Европы. Узенькие, с высочайшими узкими домами по бокам, они мне напомнили картинки французских журналов. В одном доме нам дали несколько комнат, другие спутники были разобраны другими жителями. В первый раз я очутился в настоящей, типично немецкой обстановке. Громадная кровать с занавесками, одеяло в виде перины или, точнее, перина, служащая одеялом... Я сначала не знал, что с ней и делать... Высокий нескладный камин, мебель наших старосветских помещиков... Мне все это казалось какой-то сказкой, и я заснул в самом фантастическом настроении. А где же мой Ростов? На утро сказка продолжалась. Я увидел еще яснее этот курьезный городок, со шпи-

цами аркообразных церквей, с черными тысячелетними башнями домов, с роскошным озером, которое блестело вблизи, а вдали скрывалось в каком-то морском тумане, словно ему и конца не было... Маленький, хорошенький пароход уже свистал, призывая пассажиров. Еще два часа, — и я в Швейцарии.

Да, как бы то ни было, сколь ни был я разочарован и даже апатичен к жизни, но когда я очутился на швейцарской почве, когда я сознал и представил себе, что я здесь свободен, что меня никто ни в какую кутузку не потащит, что еще немного, и я увижу Катю, увижу без страха, что ее или меня «заберут», когда, словом, я вполне убедился, что я не в отечестве, вдали от его дыма, то, — нужно сказать правду, — я почувствовал себя замечательно счастливым, но чувствовал не какой-нибудь восторг, не что-либо шумно радостное, но какое-то отрадное, спокойное сознание *жизни*: что вот, дескать, я точно *живу*, не забываюсь в чем-либо, а точно *живу*, как вообще все прочие люди. Это было положительно приятно. Швейцария меня немножко смешила: она такая маленькая, хорошенькая, чистенькая, совершенно игрушка, как будто не настоящая страна, а в роде тех ящиков с домиками, фермерами и коровами, которыми я играл в детстве. Даже и горы мне показались довольно ничтожными, как оно, впрочем, и есть по линии железной дороги. Сам поезд тащился медленно, по причине станций через каждые полверсты,—так мне по крайней мере казалось. Но все же я чувствовал себя прекрасно, благодушно, я ни на минуту не забывал, что я точно жив и что меня никто никуда не «заберет».

Где началось настоящее очарование, так это в Лозанне. Это чудная местность, роскошной красоты. Когда поезд, то врываясь в глубину тоннелей, то вылетая, как птица, над обрывами Женевского озера, мчится по этому сказочному пути, — невольно любуешься дивной красотой этого ежеминутно сливающегося калейдоскопа ландшафтов. Каково же мне было все это видеть *в первый раз* и в том жизнерадостном настроении, которое я тогда испытывал!

В Женеве, на *гарэ* (станции), я было вышел очень задумчивым, ибо, в конце концов, я не знал ни единого адреса, не знал, куда итти. Правда, я телеграфировал (по *письменному* адресу) о своем прибытии. Но что если меня не встретят?

Но вот меня окликнули... Это была Катя... Кто-то еще с ней? Я и теперь не помню и не догадался даже ни разу осведомиться... Я помнил только одно: что я опять дома, с ней, где-то в волшебном месте, где я человек вольный, где меня никто не ловит... Только бежавший пленный или счастливый бродяга поймут мои тогдашние чувства.

Это была опять же ночь. Помню, было темно; помню, мы шли, ехали на конке, о чем-то торопливо переговаривались, а вокруг звучал глухой, еще непонятный говор, да гремели колеса, да мелькали освещенные окна магазинов. Мне показалось, — мы ехали что-то ужасно долго. Но вот, наконец, слава тебе господи, говорят: «Здесь, подымитесь».

Катя привела меня к Добровольским. Здесь я сразу очутился опять в России, две капли воды в студенческой обстановке «меблированных комнат» где-нибудь на Никитской. Это была русская колония. Кроме русских, тут было очень мало народу. Помещение представляло ряд комнат по обе стороны довольно длинного коридора. Две из этих комнат составляли квартиру Добровольских. В других комнатах были и еще русские, — именно, сумасшедший доктор Коробов [121]), какой-то, не знаю от чего, сбежавший донской офицер, и уже не помню, кто еще. В комнатах Добровольских все было бедно, грязно и беспорядочно. Тут теснились ребятишки, отец и мать, тут готовили, если не обед, то еду, на лампе; тут на столе лежали клочки бумаги с разным угощением из charcuterie *), — та куча кусочков, которая в Париже называется assortiment, а в Женеве mélange **). Там-сям валяется одежда, газеты, книги. Обстановка, столь привычная в старые времена, но от которой мы с Катей, за несколько лет хозяйственной жизни, уже успели тогда порядочно отвыкнуть, обстановка, что называется, «нигилистичья».

Легко себе представить, однако, что я провел этот вечер так весело, благодушно и радостно, как не проводил уже много, много лет, с самого рокового 1878 года, начала моей «нелегальной» жизни.

Какого числа был этот достопамятный день, — не помню. Но с него началась для меня жизнь новая, некоторое время

*) Из колбасной.

**) Смесь.

даже очень новая, пока я снова, по воле судеб, не втянулся в распроклятую политику.

Как это вышло, рассказ будет впереди. Но собственно в тот момент я был далек от политики. Я уехал из России не за тем, чтобы заниматься политикой. Не таково было наше политиканское воспитание, а уж особенно мои взгляды. Мы считали, что «дело делать» можно только «на месте», «лично», а заниматься революциями издали для людей 1879 — 81 годов было дело глупое, даже презренное и нечестное. Я особенно глубоко был проникнут этим взглядом. Уехал за границу не для того, чтобы «воздействовать» на Россию, и ни для чего, а потому, что был разбит, не видел дела, не видел возможности жить, вообще уехал отдохнуть, посмотреть. Одно, что рассчитывал сделать, — это свои «записки».

Поэтому я поселился в Женеве очень тихо, познакомился лишь с немногими, ни в какие эмигрантские дела не мешался, их «партий» не знал и знать не хотел. У них, по поводу меня, началась целая дипломатия; Плеханов с К° хотели меня «захватить», размышляли, как меня «не допустить» к другим «партиям». Но я даже и не думал ни о чем этом, и узнал все их хлопоты лишь потом. А теперь — просто себе «поселился» и «стал жить», думая о делах «семейных». Кате предстояло родить очень скоро. Нужно было сколько-нибудь удобно устроиться. Но выбирать тоже не было времени, и мы на первый раз наняли приличные две комнаты, не на Terrasier'е, где жили Добровольские, а, не помню, где-то в более приличной части города. Наняли себе и прислугу. В пользовании у нас была хозяйская кухня. Денег у нас было немного, но Катя все-таки кое-что предусмотрительно сберегла. Впрочем, о деньгах мы не беспокоились. Я очень быстро списался с Шелгуновым, который предложил мне жалованье по 100 руб. в месяц с тем, чтобы я покрывал его работой, по 65 р. за лист, при чем писать могу о чем угодно. Он вообще очень высоко ценил мой «талант» и ожидал, что я очень много вопросов «разработаю». Я в то время и сам очень верил в свой талант и свою мысль, собирался работать, и, не будь проклятых обстоятельств, о которых речь ниже, то и погрузился бы целиком в ученье и наблюдение. Ведь я так давно уже жгуче чувствовал для себя необходимость этого.

Жить вдвоем, хотя бы и с ребенком, да еще с хозяйственными наклонностями Кати (она тогда, для своего круга, могла считаться редкой хозяйкой и работницей),— жить, говорю, при таком жалованьи и при швейцарской дешевизне, — это было легко. Это было полное обеспечение. Устроившись в своих меблированных комнатах, мы стали поджидать родов, немного гуляя, отдыхая, наслаждаясь своей свободой. Я, конечно, уселся и за работу. Знакомились мы очень мало. Кроме старых знакомых,— Добровольских, да компании Плеханова, Боград *), Дейча и Засулич, — мы познакомились с одними, кажется, Эльсницами [122]: премилая семья, которую и теперь вспоминаю с душевным удовольствием.

В России у меня даже не осталось «адресов», и я прекратил всякие с нею сношения. Да и незачем было. Ведь я получил «отпуск», был «уволен», и мне не о чем было переписываться. А узнавать «из любопытства» «дела» было даже противно традициям той заговорщицкой школы, в которой я воспитался. Каждый должен знать то и столько, что и сколько ему нужно, так сказать, по обязанностям службы. Я прекратил «службу», значит мне и знать нечего.

Я списался только с Марьей Николаевной, принявшей фамилию Полонской. Она в это же время, немного ранее меня, тоже эмигрировала, что я только теперь узнал. Излишне говорить о моей радости. Из уцелевших товарищей старых времен она была единственная, которую я любил за ее недюжинный ум. Она тоже обрадовалась, узнав, что я жив и невредим. Она была в Париже. С Катей они были землячки и еще школьные приятельницы. Но повидаться с Полонской мне пришлось лишь позднее.

Полонская, хотя и ничего не «делала», но сношения с Россией поддерживала. Она была несколько иного воспитания, «якобинка», и сверх того, как политиканствующая женщина, по самому характеру не могла не совать нос повсюду, где он мог пролезть. Это то же свойство, которое у простых дам порождает сплетни.

Но и с Полонской у нас в это время могла быть только чисто личная, дружеская переписка.

---

*) Жена Плеханова.

Это время было для меня очень хорошо. Я жил, отдыхал, читал, смотрел, размышлял. Женева для тихой жизни прекрасный город. Чистый, красивый, дешевый, свободный, честный город. Красавица Рона, остров Руссо, так много говоривший моему чувству горячего поклонника Руссо, прекрасное озеро, с иногда белеющим вдали Монбланом, дикий Салев, самый город, со своими библиотеками, ресторанами, превосходным пивом, рынками, собраниями и т. д., и т. д., и все это—смотри, любуйся, думай без опасения полицейского — ах, это было очень, очень хорошо, очень приятно!

Меня занимала и удивляла эта культура. Я поражался громадным количеством человеческого труда, вбитого здесь тысячелетиями в каждый вершок почвы. Мы с Катей однажды захотели выйти в поле, посмотреть, какое, наконец, бывает «поле» за границей. Долго шли мы по улицам, которых самое название «route» указывало, что они были когда-то «дорогами». Но теперь идешь среди непрерывной, слитой, за столетия почерневшей каменной ограды. По обе стороны какие-то дачи, роскошные дома среди роскошных садов, но деревья видны только из-за стены, и «общественное достояние» составляет только трехсаженная лента «дороги»...

Наконец, вышли. Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салев, и мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции. Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь деревенские дома. Каменные, многосотлетние. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, обгорожена камнем... Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это собственность, это «капитал», миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество наличный труд поколения. Что такое у нас, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет, деревянная дрянь, никто не живет в доме деда, потому что он еще при самом деде два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно и корова издохла. А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назре-

вала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе?

Вообще «заграница» меня очень удивляла. Я ее себе представлял не такою. Я считал себя, так сказать, представителем Европы в России. А тут с первых наблюдений виделось, что Европа нечто, с нашей точки зрения, как будто «реакционное». Лучшие журналы — консервативные, лучшие ученые — консерваторы. Мы, — эмигранты, «свои люди» Европе, — на самом деле живем в отчуждении у нее, в роде как евреи в своих «гетто». Впрочем, мои впечатления не были отчетливы. Я только чувствовал перед собой вопрос, не успев еще вникнуть в его содержание.

Наступили Катины роды. Родился мальчик — Саша. Мы его назвали Сашей, но о крещении его здесь было трудно думать. Да я тогда и не придавал этому значения. В России крестили детей, как делали все, как было неизбежно. Здесь об этом и не думалось. Когда-нибудь окрестим. Да и бумаг не было, да и боялся, что пойдешь в церковь да обнаружишь себя перед русскими властями, так потом не отделаешься от надзора. «Шпионы» для эмигрантов, это — нечто в роде бесов, таинственное, опасное, чего они вечно убегают, вечно их везде видят — до помешательства...

Но записать рождение Саши было необходимо. Это требовалось, и акушерка заявила нам, что это необходимо. У эмигрантов был друг..........*), швейцарский гражданин. Он взялся пойти со мной в городское управление. Но там нас обоих встретили очень грубо. Перрон [123] сказал мне, чтобы я, во избежание каких-нибудь нетактичностей, совсем не говорил, а предоставил ему роль переводчика. Он кстати знал немножко по-русски. Сначала честь-честью. Чиновник спрашивает: где родился, когда, кто родители. Перрон после каждого вопроса обращается ко мне и спрашивает ужасным русским языком:

— «Какаво име ребионок?»

Но вот, наконец, чиновник доходит до сути:

— «Какие бумаги удостоверяют личность?»

---

*) Пропуск в подлиннике.

— «Бумаг нет...»

— «Почему?»

Перрон рассердился:

— «Mais puisqu'il n'en a pas» *).

— «Et pourquoi il n'en a pas?» **).

Чиновник держал себя строго и грубо. Перрон увидал, что тут, кроме худших неприятностей, ничего не получишь.

— Et bien ***), пойдем, — сказал он мне. По дороге он объяснил, что он сам — из общины Plainpelois и там запишет ребенка. Так и сделали. В мерии Plainpelois рождение ребенка, по свидетельству...... ****) записали без проволочек.

— «Однако, ваши чиновники не очень любезны», — заметил я ему.

— «Ils sont partout les mêmes *****). Все канальи. Не думайте, чтобы были лучше ваших...».

Впрочем, нужно заметить, что неохота записывать детей каких-то неизвестных «беспаспортных» происходит здесь вовсе не из какой-нибудь политики, как я, конечно, сначала воображал. Ребенок, родившийся в известной общине, тем самым приобретает право по достижении совершеннолетия стать ее гражданином. Голышей же общины не любят принимать, ибо обязаны заботиться о них и об их детях. В этом весь и вопрос. Будь я какой-угодно анархист, но богатый, любая община охотно запишет к себе моего ребенка...

Вскоре по рождении Саши мы перебрались в Каруж на особую квартиру. Наш хозяин, домовладелец и почтовый чиновник, часто любил подметать свой тротуар на улице. Эта черта, отсутствие всякого стыда перед трудом, тоже сразу бросалась в глаза в Швейцарии. Очень симпатичная черта. Удивляла нас и патриархальность отношений. О воровстве просто и не слышно. Жандармы, жирные, как бараны, совсем сидят без дела. Почтальон подходит к дверям на улице и, не подымаясь, кричит: «Письма такому-то, такому-то», и оставляет их внизу.

*) А потому что их нет!

**) А почему их нет?

***) Ну.

****) Пропуск в подлиннике.

*****) Они везде одинаковы.

Сами спускаются и берут. А то еще спросит: — «Вы русский? Не знаете ли такого-то, на соседней улице?»—«Знаю».—«Не передадите ли ему письма, чтобы мне не ходить?» — «Извольте». Отношения, очевидно, выработанные редкой порядочностью нравов.

III.

Надо бы теперь, по порядку, поговорить об эмигрантах. Но я в это время мало с ними знался. Я жил себе потихоньку и помаленьку, как вдруг нежданно - негаданно налетела на меня «политика», и притом самым неожиданным образом. Оставлю поэтому пока эмигрантов и как-нибудь после обрисую их сразу. А теперь расскажу, как вышло дело с моим возвращением к «политике» *).

Скоро по моем поселении в Женеве, около трех месяцев, я думаю, — я получил от Марьи Николаевны письмо, с приложением письма от Веры Фигнер. Вера Фигнер писала, что к ним, т.-е. «народовольцам», обращался представитель одного «либерального» тайного общества с предложением вступить в договор. А именно, «либералы» обязывались добиться от правительства уступок, с тем, однако, чтобы революционеры, со своей стороны, прекратили «терроризм». Договариваться об этом в России было бы неудобно, так как пришлось бы рисковать обнаружить полиции своих важнейших членов. Поэтому Вера Фигнер сообщила, что они, «народовольцы», уполномочивают меня вести эти переговоры и заключить договор, обязуясь исполнить то, на чем я порешу. Об этом они заявили представителю либералов, который, дескать, и едет ко мне за границу.

Заявив «представителю», что они согласятся на выговоренные мною условия, «народовольцы» через Веру Фигнер прислали, однако, мне свои инструкции, а именно: 1) досконально узнать, имеют ли «либералы» силу выполнить свои обязательства, 2) для народовольцев выговорить непременно амнистию всем ссыльным и каторжным (политическим, конечно). Это был «minimum», а затем мне поручалось, по возможности, выторговать свободу печати.

*) Зачеркнуты слова: «Однажды (это было очень скоро по моем приезде, может-быть, через месяца три)».

Я был волен принять или не принять поручение. Но,—признаюсь,— я не колебался ни минуты. Это сообщение мне казалось фантастичным, но если бы нашлись такие «либералы», то это был прямо подарок судьбы. Народовольцы были в полном разгроме. Они были осуждены постепенно заглохнуть. Тут явился случай — прекратить дела своего рода победой, договором, уступками правительства. Партийная честь этим широко удовлетворялась. С другой стороны, столь антипатичный для меня «терроризм» мог исчезнуть добровольно. Революционеры обязывались сдержать слово. В-третьих, освобождение политических каторжан, товарищей, между которыми были люди столь любимые мною, как Александр Михайлов,—это одно, само по себе, было такое дело, от которого я никогда бы не отказался. Итак, я в принципе принял предложение и, в ожидании будущего, решил возобновить связи с Россией, чтобы снова найти «революционеров» и иметь возможность влиять на них для исполнения договора.

Средства на это давал журнал «Вестник Народной Воли», задуманный давно, когда я еще был в России. Теперь по осуществлению его имелись: Лавров, которому поручили это раньше, и Марья Николаевна, явившаяся из России формальной представительницей «Народной Воли». Я решился примкнуть к делу. Положение редактора органа партии было, конечно, самое удобное для того, чтобы знать русские кружки и влиять на них. Что «центра» нет или что он нуль, не имеющий влияния, — я это знал, и поэтому необходимо было самому иметь непосредственное влияние на кружки.

Между тем, явился и сам «представитель». Это был человек мне знакомый еще по России, назову его NN. NN был человек весьма неглупый, очень образованный, практичный, делец, убеждений весьма радикальных и аппетитов огромных. Он мог многого хотеть и имел энергию многого добиться. Человек этот, хотя и с воображением, однако, не фантазер. На его слово я мог довольно безопасно положиться. Он приехал ко мне, в Женеву, на Route de Carouge, где мы тогда жили. Адрес мой ему сообщил Драгоманов (с которым я не был знаком), хотя, прибавил NN, адрес мой он мог бы узнать и из полиции в СПБурге.

Известия, им мне сообщенные, были в высшей степени интересны и серьезны. Само собой, я его очень тщательно допытывал, а по части расспрашиванья я в своем круге считался «дипломатом». После многочисленных расспросов я, казалось мне, составил себе приблизительно безошибочное понятие о силе этих «либералов», и, сверх моего ожидания, оказалось, что это действительно сила серьезная.

Мне неудобно касаться наиболее интимных сторон рассказов NN, переданных мне по особенному личному доверию. Поэтому я, вместо передачи наших разговоров, ограничусь обрисовкой общего положения дел, какое было тогда в России и которое мне известно из разнообразных источников *).

---

*) Далее автором помечено: «Вставить эту характеристику. См.» [133a]).

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА *).

1883 год.

Август, 19, воскресенье.

Был в Женеве. Совещание о типографии [124]): были Жук **), Эльсн. ***), Вера Ив. ****), Евг. *****), Бухановский, Полен [125]), я. Записано на имя Жука. А представителем перед собственниками я.

Совещание с Длусским и Жуком о нашем заявлении в Пилдев... [126]). Решено — пересмотреть. Назначено свид[ание]. Среда, 9 час. у. Совещание с Жоржем ******) о его статье: изменений не допускать, возражений тоже. Аристова даст [127]).

Отправил письмо П. Л — у *******), на счет переговоров с Жоржем, и о материалах нечаевских [128]).

Курс русский 247 1/2. Разменял (3).

---

*) Примечание: Эти два обрывка тетрадей составляют единственные остатки записок и дневников, веденных мною за границею. Отправляясь в Россию, я их все сжёг из боязни, что они могут попасть в руки полиции. Эти же обрывки тетрадей отдал сербу Павлу Маринкову, который мне их потом и привез, когда поехал в Россию в качестве секретаря сербского посольства. Л. Тихомиров.

**) Жуковский.

***) Эльсниц, Александр Людвиг.

****) Засулич.

*****) Евгений — Дейч.

******) Плеханов.

*******) Лаврову.

20, понедельник.

Возвратился домой. Получено письмо М. Н. *) с прилож[ением] копии письма «предмета» насчет Basile.

21, вторник.

Отправил письмо к М. Н. Дал Павловскому «Календарь» [129]).

22, среда.

На свид. с Жук. и Длусск. опоздал и остался дома. Отправил в набор I главу внутр. обозр.; отправил письмо к П. Л. с извещением об этом [130]). Катя с больным мальчиком отправилась в город к Revillod.

Получено письмо от П. Л. (с ответом о статье Плехан.).

23, четверг.

Катя возвратилась. Получено письмо из дома (около 25 июля стар. стиля): Надя [131]) увезена неизвестно куда.

Получено (от предм.) один № «Раб. Газ.» и прокламация по поводу евреев (на малор. языке.) [132]).

24, пятница.

Был в Женеве. Средактировали (Жук и Дл.) заявление наше полякам.

Толковали с Яков. **) о теориях и письме Руб. ***)

Сдал некролог Франжоли и Завадск. [134]). Разменял их фонд (по 247). О некрологе спраш[ивал] через Туманову у Жебуневой [135]): почти ничего.

Получены письма: 1) от Лаврова, 2) от Дическуло [136]).

25, суббота.

Вечером приходили в Морнэ Евген. Дейч, Вера Засулич и Плеханов. Дейч получил сведения, что Стефанович послал ему какие-то письма, которые сюда прибыли, но до них не

*) Полонская, Марина Никаноровна (Оловенникова-Ошанина, Мария Никол.).

**) Полен - Френкель.

***) Рубанович [133]).

дошли. Он заключает отсюда, что письма перехвачены кем-нибудь из наших, и требует возвращения. В противном случае грозит судом. Меня же специально грозится убить: за что-то особая немилость. Я заявил, что ничего ни о каких письмах не знаю, но справлюсь у товарищей. Они сперва заявили, что вполне уверены в том, что письма или у меня, или я знаю, где они, а потому мой ответ равносилен отказу. Видя их глупость и желая их предохранить от скандала, падающего на их головы, а через это и на всех, — я сдержался и употребил все старания, чтобы они дали мне срок справиться. Благодаря Плеханову, еще не вполне сошедшему с ума, удалось получить их обещание не оглашать своих претензий до четверга, когда я обещал дать ответ о своих справках [137]).

26, воскресенье.

Послал письмо М. Н. о происшествиях прошлого дня.

27, понедельник.

Уплачено хозяйке 187 франков.

28, вторник.

Вызвал Якова Сав. (NB пр. 6 а. 3 м): разговор с ним. Доставлена корректура I главы. Сдана в набор II глава и заметка о «Листке» в библиогр. [138]). Был у Исака Яковлевича *).

Вечером является Вера Иван. и Аксельрод [139]).

Вера сообщает: Плеханов и Дейч покатили в Париж, опоздали на курьерский, а то и с курьерским бы помчались. Хотели взять штурмом М. Н. и свои письма. Пишут: «Дела приняли самый плохой оборот. Пусть В. И. едет в Париж». Упрекал я Веру и их ругал достаточно, сказал, что очень хочется плюнуть на все. Объяснил ей, что если бы письма и были взяты, то организация имела право взять письма своего члена, и скандал не в этом, и не для организации, а для того лица, которое возбудило против себя подозрения организации. Вера обещала телеграфировать своим олухам, чтобы сидели смирно.

Получил письмо А. И. [140]), извещает о похождениях Плех. и Дейча в Париже. Наделали какого-то скандала у Лаврова:

*) Павловский.

к нему уже кинулись! М. Н. их обругала и срезала прекрасно.

Получена записка Длусского о еще небольших поправках в заявлении.

Аксельрод приехал по болезни. Очень смирен, обещает статью.

NB. А те господа удрали тайком, совсем конспиративно. Якову сказали, что Дейч будто бы уехал к Игнатову, а плехановский отъезд вовсе скрыли. Этакие канальи: а теперь меня же зовут на выручку.

29, среда.

Посланы письма в Париж: М. Н. и П. Л. (корректура, а также письмо с запросом о безобразиях штык-юнкеров — по поводу писем).

Послан ответ Длусскому.

30, четверг.

В городе, по случаю отсутствия тех господ, не был. Послано письмо Лаврову с запросом о поведении их.

31, пятница.

Получено письмо от М. Н. с изложением разговоров с ними же. Послано письмо М. Н. с запросом насчет моей переборки в Париж.

1 сентября, суббота.

Получено письмо от М. Н. насчет окончательного соглашения с буянами. Ждал их вотще, не пришли. Плеханов приехал в Женеву.

Говорил с Эльсн. о том, чтобы присутствовал при передаче свидетелем. Подробностей никаких не сообщил.

Кончил III главу. Письмо от Лаврова об Аксельроде.

Воскресенье, 2 сентября.

Письмо от Лаврова с объяснением поведения Жоржа и Дейча: приличное. NB. История с Гуриным. Были у меня Вера и Евгений.

3 сент., понедельник.

Был в Женеве. Объяснялся с передельцами. Вели себя прилично, исключая Жоржа, который был невозможен. Сто раз

проклинаю судьбу, заставляющую меня путаться в дело, меня нисколько не касающееся лично, и из-за которого приходится выносить столько неприятностей. Жорж держал себя отвратительно, просто внушил отвращение.

Евгений потом назначил свидание. Говорил «по душе». Что он такое? Врет или правду говорит? К чему он ведет? Не знаю. Из них, очевидно, искренняя душа В. И. Но если Евгений морочит голову, то он врет артистически. Мне кажется, что он говорит правду. Со мной был и Яков Савич на общих объяснениях.

На днях приехала Катя с сестрой и барышней. Познакомился сегодня. Передавали о киевлянах (поручение). Приехал также Гриша *).

Сдал III главу. Статья Аксельрода пойдет во второй отдел.

Получено письмо М. Н. с ответом о переезде в Париж: неутешительно.

Вчерашняя история с Гуриным состоит в том: Евгений признал в нем того самого шарлатана, который выдавал себя за брата Кибальчича. Гурин нахально отрекался от знакомства с Евгением. Сцена нелепая.

4, вторник.

Эльсниц видел Гурина и сказал, что он ничего общего с «братом Кибальчича» не имеет. Что это за легкомысленная грубость у гг. Евгениев)!

Послал письма М. Н. и Лаврову.

Узнали, что есть train de plaisir 22**), и решили ехать в Париж.

Послал письмо Евг. о Гурине.

5, среда.

Послал письмо к Дическуло и корректуру неч[аевских] материалов Чайковскому.

Прочел статью Аксельрода.

Получено письмо от Лаврова с изложением содержания его обзора.

---

*) Федершер [141]).

**) Дачный поезд.

6, четверг.

Был в городе. Евгения нет (уехал в Кларан). От Веры Ив. письмо о Гурине. Ходил на кладбище Франжоли и Завадской (вместе с барышнями). Встретил Пекарскую: просила зайти; муж ее уехал в Париж; они чуть ли не поссорились между собой [142]).

Длинный разговор с Як. Сав. по поводу всяких «планов партии».

Ночевал у Эльсница.

7, пятница.

Утром был у Жук. У него ничего не готово, так что счетов Франжоли все-таки не подвели. Обедали у Эльсница. Вместе возвратились в Morneux.

NB. Дейч и К° покупают типографию Трусова за 2000 фр. и хотят печатать в виде брошюры ту статью Плеханова, которую мы не приняли (где полемика с народовольцами) [143]).

Письмо от патрона *) с требованием работы. В «От. Зап.» какая-то статья, кажется, моя. Хорошо бы к переборке в Париж!

8, суббота.

Нахлынула к нам целая армия: Яков, Гриша, 3 барышни. Ночевали. Приходил также Попов Леонид.

9, воскресенье.

Пришли Владимир **) с Ольгой ***), потом Добровольская с сынишкой [146]). Все ночевали. Были на школьном празднике в Monnetier. Письмо от А. И. ****) с известием о прибытии Ср.

10, понедельник.

Эльсницы уехали из Morneux. Владимир сообщал, что Дейч говорил Лопатину (Николаю [147]), что Плеханов не будет иметь ничего общего с журналом и Эльсниц также. Что может означать это впутывание Эльсница? Плеханов в бытность его в Кларане (пред поездкой в Париж) говорил Лопатину то же (о себе) и объ-

*) Шелгунов.

**) Иохельсон (Голдовский) [144]).

***) Павелко [145]).

****) Салова.

яснял, что хотя он как-то и защищал программу журнала, но делал это по обязанности, а на деле, разумеется, с нею не согласен.

Послал письмо Лопатину. Теперь П. Л. с корректурой своей статьи.

«Хронику» окончил и послал с Влад., поручая ему ее доделать.

Гости все ушли. Но потом пришла Катя Туманова. Ушла она — пришел Яков со старшей барышней [148]) и Павловский. Моя Катя ушла с Павловской (старухой) [149]) и Лазаревой [150]) в Reignier. Поэтому дома вышло все ужасно глупо, и с старшей барышней ни о чем не удалось поговорить. Ушли все.

Получено письмо от П. Л. и его «Обзор» — ужасный: 50 страниц [151]).

Дейч был на-днях у Якова Савича и заявил, что берет к себе Тамаркина; впрочем, рекомендовал другого типографщика (Герасимова). Много распинался о своем желании быть в дружеских отношениях. Тамаркину, очевидно, было крайне совестно, но он также заявил, что уходит. Бохановский советует взять Миллера, а не Герасимова.

Жук очень недоволен на Дейча за покупку типографии: опять, мол, разделения.

Получил письмо Аксельрода (Пав. Борисов.).

11, вторник.

Отправил телеграмму М. Н. и от нее получил. Получил «Листок Н. В.» (от 20 авг.) [152]) и записку Лаврова, из которой видно, что он не получил до сих пор первого листка «Нов. Царств.» [153]): значит, письмо пропало.

Павловский читал свой роман, первую главу: недурно. Обещает дать 4 главы во 2 книжку журнала. Вчера Павловский дал мне на прочтение письмо Маслова: препелесное; к нему приложено письмо «народнички» [154]). Драгоманов хочет издавать. Я сказал Павловскому, что для нас напечатание письма было бы выгодно, но печатать такую гадость я никому бы не посоветывал.

Пытаюсь писать статью денежную, но ни черта не выходит.

12, среда.

Приехал Владимиров *).

13, четверг.

Была Катерина Александровна **). Говорила с Владимировым. Осталась ночевать. Письмо Евгения.

14, пятница.

Вечером Катя с Влад. и Кат. Алекс. уехали в город.

15, суббота.

Владим. объяснялся в городе с Дейчем. Дейч был очень груб и нахален. При объяснениях был Яков. Влад. и Яков ночевали у меня. Жук в городе бунтует по поводу статьи «Листка» о евреях [156].

16, воскресенье.

Катя возвратилась. Вечером уехал Яков.

17, понедельник.

Письмо П. Л. о подписи Плеханова. Разговор с Владимиров.

18, вторник.

Был [в] городе у Элпидина [157] (о книгах); потом объяснение с Сергеем ***): опять бунт той компании. Требуют от меня письменного разъяснения взглядов партии на такого рода вопросы (затрагивающие права других), грозят судом. Меня это уже взбесило. Я отвечал, что считаю историю поконченной и удивляюсь, что они снова ее подымают. Что партии я не представляю, а если что делаю от ее имени, то не иначе, как по поручению, и потому за партию не намерен говорить. А за себя говорил больше, чем они стоят. И слов своих письменно подтверждать не намерен, ибо от них и так не имею привычки отказываться.

В тот же день возвратился к себе (с Яковом). А в 12 часов ночи Владимиров и Яков ушли.

---

*) Иохельсон.

**) Тетельман [155]).

***) Кравчинский.

19, среда.

Приходил Федер и Ольга Григ. *), последняя ночует. Раньше приходила старуха Павловская, говорила о ссоре с сыном.

Владимиров уехал.

20, четверг.

Train de plaisir. Наша горничная уехала. Гриша остался. Был у нас Владимир. Павловские, повидимому, помирились. Телеграфировал о найме квартиры.

21, пятница.

Письмо от Сергея. Пишет, что бунты уладились: «все постарому». Утешительно, нечего сказать.

22, суббота.

Укладываемся. Кончил все свои статьи.

23, воскресенье.

Пришел Владимир. Ночует.

24, понедельник.

Письмо от Д. Петрова [158]). Вызывает на объяснения, которые он намерен дать 26 сент. по поводу обвинений против него. Отвечал с Владимиром. Это все, говорят, г-да Плехановы его подбивают для скандала. Выяснил, что «члену партии» (как называет себя Петров) следует действовать не так. Словесно просил пригласить его к себе завтра.

Объяснения 26 будут крайне неудобны. «Листок» имел неосторожность и неделикатность сказать, что такие-то лица арестованы «по доносу» Петрова. Это ерунда. Петров мог делать глупости, мог быть трусом, но он не доносчик. Я уже сказал, чтобы «Листок» непременно поправился в след. №. Здесь мы также были очень осторожны: листки никому почти не давали, а кому давали, то с пояснением, что вот, мол, крайне прискорбная ошибка в нем. Но кто-то рассказал Петрову. Он, разумеется, крайне огорчился и хотел со мной объясниться. Но те сволочи подбили его на публичное объяснение, которое, конечно, скандально для народовольцев, если «Листок» не успеет поправиться раньше.

*) Федершер и Павелко.

Вообще ошибку народовольцы должны исправить, очевидно, **сами**, а не по указаниям эмигрантов.

Какие мелкие, скучные, неприятные враги. Я понимаю теперь, как они могли вывести из себя Драгоманова и внушить ему отвращение к радикалам. А Петров этот, кажется, недурной малый, но тряпка и глуп.

Хозяйка, m-me Bain, рожать собралась; кричит, несчастная, как зарезанная. Роды, говорят, неправильные.

Доктор Gosse пришел. Молодец. Щипцами вынул ребенка в один момент. Мальчик у них родился.

25. —

Писал Мечникову [159]). Приходил Петров (Дмитр. Григ.). Объяснялись. Он объявил, что собрания не нужно. Я ему выяснил свой способ действий. Производит хорошее впечатление тем, что принимает к сердцу интересы партии.

16 **октября, вторник.**

За это время я перебрался в Париж. Выехал из Женевы, кажется, 30 сентября. Накануне отъезда устроил прощанье с типографией; были: Жуковский, Эльсниц, Бохановский, Тамаркин, Полен и я. В кафе истратил 11 франков, сверх того угощали Жук и Эльсниц; просидели что-то до 2 часов ночи. Провожать нас пришла целая масса публики: Эльсниц (мадам), Голдовский, Бохановский, Тамаркин, Полен и Петров. В дороге ничего особенного. В Париже остановились у М. Н.; я — по людям. Здесь застали русских — Гордеева и Александрова. С квартирой у нас неудача: наняли на Mont-Souris, а в то же время хозяин квартиры Менде заявил претензию, так что пришлось ему заплатить 153 фр. ни за что: теперь у нас две квартиры. Квартира на Avenue Reill (9) до сих пор без мебели: мы сговорились с каким-то Соломоном (русский еврей), и теперь оказывается, что он может быть и не даст. Я на нее перебрался, а Катя все у М. Н. Живу с одним столом и кроватью. За это время было: 1) вышло в день моего отъезда объявление общества «Освобождения Труда»; я его не удостоился получить [160]); 2) Писал сюда (около 13—14 окт.) Евгений **Лаврову**, прося похлопотать о письмах Стеф[ановича], как **единственного**

человека, к которому он может обратиться с надеждой; 3) 15 окт. прибыли и самые письма; 4) Около 13—14 прибыл Павловский; 5) Того же 15 окт. получено известие об аресте в Варшаве Варынского [161]); 6) Еще раньше, до моего приезда, в последних числах сент. арестован в Киеве Малеванный [162]); 7) Затеян суд над разными прегрешившими: Петровым, Коганом [163]) и т. д. В день выноса Тургенева па вокзал — я был на вокзале, нес венок; Лавров был болен [164]).

Получил заказ на статью о Тургеневе.

17, среда.

Получены из России: 1) Киевская прокламация, 2) И. С. Тургенев (народовольческий листок), 3) «От мертвых живым» (брош.) [165]).

Написал в «Отеч. Зап.» требование денег за статью. В «Дело» предложение о статье о Тургеневе. Приехал Ник. Серг. *). Был у меня вечером.

18, четверг.

Претензии консьержки. К М. Н. приходил шпион. Расспрашивал консьержку, не бывает ли у них одноногий (по всем приметам, Бесядовский) и седой, высокий (вероятно, Лавров). Просил наблюдать, обещал 100 фр. в месяц. Консьержка отказала.

NB. Замечательно, что на-днях приехал из Москвы некто М., который явился именно к Бесядовскому, а через него к Лаврову... а оттуда уже повел знакомства. Обратить внимание.

19, пятница.

Решено не собирать сотрудников. П. Л. получил письмо от Еленковск. Вечером были Павловский с Лазаревой и Гордеев.

NB. Письмо Е. — это его отказ от разбирательства.

21, воскресенье.

Приехал киевский Яков **).

22, понедельник.

Перебралась Катя в нашу квартиру. Мы без денег. Все истратили, а на квартире нет даже лампы, даже подсвечников в достаточном количестве.

Приехал Ру *).

*) Русанов [166]).

**) Захарьин [167]).

24, среда.

Был с Н. С. у П. Л. Получено известие от В. И. *); значит, слух об аресте его неверен.

29, понедельник.

Ничего особенного. Все сидим без гроша. В. И. звали в жанд. правл.; был допрос. Наши здесь (т.-е. российские приезжие), видимо, начинают тосковать в бездельи и рвутся в Россию.

23 ноября, пятница.

Приехала Любовь Николаевна.

24, суббота.

Получен «Вестник Н. В.». На-днях получено заявление одесситов о Петрове (Дм.). Ведем разговоры с Як. Ив.

6 декабря, четверг.

Отъезд Якова Иван.
Получено письмо от В. И. петербургск.

Чего хочу? О, так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожмется мозг и разорвется грудь **).

1884 год.

1 января.

Прибыл (вместе с Л.).

. . . .
. . . . ***)

20 марта, четверг.

Отъезд А. и Г. ****) Mi-carême *****).

---

*) Сухомлин [168]).
**) Из стих. Огарева. Написано красными чернилами.
***) Пропуск в подлиннике.
****) Саловой и Лопатина [169]).
*****) Средина великого поста.

22, суббота.

Кончил подготовление Черн. К. [170]); получена первая корректура «Мерз. запуст.» [171]).

23, воскресенье.

Редакционное совещание. Лавров обедал у меня. Написал Мух. [172]) (просьба о статье о стачках).

25, вторник.

Утром в «Justice» известие об арестах в Киеве с вооруженным сопротивлением [173]). В обед известие от Г. *) о подозрительном лице, ехавшем с ними из Парижа. Теперь они, вероятно, уже погибли. Все гибнет...

Должно было состояться заседание редакций (нашей и Walka Klas) [174]): не состоялось, за неполучением известий от поляков.

26, среда.

Вчера Янк. с Диком **) были у М. Н. ***), так что заседание не состоялось отчасти по нашей вине.

Отослана в типографию «Хроника».

27, четверг.

Письмо от уехавших: тревога оказывается напрасна.

Денег ни гроша. Пытаемся занимать и ничего не получаем.

28, пятница.

Отправил письмо А. С. [176]). Получено от Литвин ****).

29, суббота.

Получ. извест. об аресте Ст. *****); отправил письмо Литвин.

---

*) Германа, т.-е. Лопатина.

**) Мария Янковская и Дикштейн [175]).

***) Полонской.

****) Литвинов [177]).

*****) Стародворский [177-а]).

30, воскресенье.

Отправл. [письмо] *) Блюм и Комар. **). Письмо от Морж. ***) ($^{14}/_{27}$ марта) первое Спб. похождение. М. Н. получ. об. из дома. Отправ. письмо Волянскому [179]).

31, понедельник.

Письмо М. Д. с отказом держать девочку. Отправил начало «Внутр. Обозр.». Вечером Лорис ****).

1 апреля, вторник.

Получ. [письмо] от Мухачева.

2, среда.

[Письмо] Серб. пол.: в имении тиф ($^{14}/_{26}$ марта). Кончил «Обществ. хрон.». Был Павловский.

3, четверг.

От Моржа никаких сведений. Послал в типографию «Общ. хрон.». Приходил Менд *****). Известие об аресте Булыгина Телеграмма о закладе типографии. Пол. [письмо] из дому.

Был с Мор. в Венсенском лесу. Прелестно, если бы не такая тоска на душе.

4, пятница.

Посл. [письмо] Жуку. Читал статьи Жандра ******). Из России ничего: очевидно, плохо. Молодой армянин *******) уезжает: прощаться приходил.

5, суббота.

Получ. коррект. Отправлены письма: домой, Мух.; отпр. коррект. «Как живется в России» [183]).

Лорие чуть не убила мальчика: упала с лестницы с ним, и себе голову разбила.

---

*) В подлиннике стоит условный знак в виде квадратика, который мы в этом и других случаях заменяем словом «письмо» в прямых скобках.

**) Комаров, Комар, т.-е. Сухомлин.

***) Морж, Моржов — Якубович (повидимому) [178]).

****) Лорис-Меликов, племянник б. мин. вн. дел М. Т. Лорис-Меликова.

*****) Мендельсон [180]).

******) Никитиной, В. Н. [182])

*******) Лорис-Меликов.

6, воскресенье.

Получена прокламация от Союза молодежи Нар. Воли. Значит Морж — жив. Отправлена посылка Литвинову. Отправлены опечатки Владимиру.

7, понедельник.

Никаких известий из России. Начинаю статью об Успенском.

Послано в типографию о поляках.

Пересмотрел газетные вырезки: довольно плохо идут. Ввел новое распределение работы по этой части.

8, вторник.

Получено письмо из Спб. (20 марта — 1 апреля). Известия об арестах и пр. Вообще там паскуднейшая атмосфера.

Слава богу, что хоть эти живы.

У нас безденежье абсолютное. Со всех сторон счеты. Платить нечем. Того жди — выгонят с квартиры.

На Булыгина здесь собрали около 2500 франков. Удивительное искусство!

На-днях я отправил письмо родным с просьбою, чтобы сестра на время взяла Надю. Это ужасно тяжелая история. М. Дм. отказывается держать — категорически. Мне взять — это все равно, что камень на шею, да и самой девочке — тоже, тут, того гляди, придется быть на мостовой. И просить сестру — это значит просить Отто *), который меня терпеть не может. Что тут делать?

Написал письмо Литвинову и Федеру.

9, среда.

Ходил в Bibl. Nation., но оказалось, что заперта, и билеты выдают лишь с 15. Получил известие от Павловск., что Сл. уехал в Россию.

Посланы письма Федеру и Литвинову; последнему также листы.

---

*) Отто Маркграф [184]).

Безденежье — en permanence *), очевидно.

Занял 26 фр. у моряка **). Обещали еще занять.

10, четверг.

Уплатил 13 фр. податей за квартиру. С квартиры нас не сгоняют по поручительству консьержки, которая, очевидно, не желает с нашим уходом потерять деньги, которые получает без сомнения от шпионов за наблюдение за нами.

Послал письмо Шел. ***). От него получено письмо П. Л.

Вечером был Соколов [186]). Несчастный: не евши, не пивши (?) ****) целый день; без денег.

Яков сегодня занял нам 20 фр. Вообще — кругом долги.

11, пятница.

Получены корректуры «Как живется в России» и кусок «Хроники». Отосланы обратно.

Был в церкви Saint-Eustache.

Получил сведения о международной полиции.

Письма с Юга и Запада. В России бесконечные аресты.

12, суббота.

Посланы письма в Женеву и Литвинову: последнему с разрешением печатать с 14 апреля.

Был с Катей и Мор. в Венсенском лесу.

13, воскресенье.

Посланы корректуры «Хроники». Вечером читал Лавров свою «Нравственность» [187]). Присутствовали Никит. и Блюм.

Еще до чтения был разговор с Феоф. *****) о Юл. Петровне [189]).

Не разберешь — сумасшедший или скотина.

---

*) Перманентное, постоянное.

**) Э. А. Серебряков [185]).

***) Шелгунову.

****) Вопросительный знак в подлиннике.

*****) Феофан Крылов [188]).

14, понедельник.

Пол. письмо от Гриши *). Послано последнее распоряжение в типографию. Получено письмо Плеханова к Лаврову, с благодарностью нам. Но он и тут не сумел отрешиться от мелочной злопамятности. (Желание, чтобы нам на буд. время нечего было забывать, помогая друг другу.)

Ругал Феофана. Кажется — он очувствовался.

15, вторник.

Письмо от Ком. **) (от 29 русск. марта) (Спб.). Полное безденежье. Послал [письмо] Литв.

16, среда.

Беседа с В. Ник. ***) по поводу ее статьи: высказал, какую чепуху она обо мне написала, и прочие ошибки. Получены корректуры оглавления; ответ отослан. Узнал о пребывании за границей патрона. Получено письмо от Литвинова.

17, четверг.

Получ. письмо от Шелг. ****). Ответил. Его не будет в Париже. Рубан *****) отправился с экстрактом статьи о Судейкине к Рошфору.

Приходила m-elle Epicier, сообщила, что эта каналья Barbary продал ей имущество, при чем, за покрытием ее долга, осталось еще около 80 фр. на нашу долю. Брать стыдно даже, но... что если он не отдаст? Это совсем скандал. Буквально жрать нечего.

18, пятница.

Ходил к Barbary и ни черта не получил. Приехала Над. Павловна ******). Получено [письмо] от Андр. Серг. Сообщает об утере «Календаря» и № 1 «Вестника». В «Justice» извлечение из статьи о Судейкине. Получил лист с окончанием «Как живется в России».

---

*) Федершер.

**) Комара, т.-е. В. И. Сухомлина.

***) Никитина, В. Н.

****) Шелгунова, Н. В.

*****) Рубанович.

******) Надежда Павловна Русанова, жена Н. С. Русанова.

19, суббота.

Занято 100 фр. у Цакни. Получены из Спб. разные программы.

20, воскресенье.

Получено [письмо] из Спб. Самое паскудное: общий надзор безденежье. Заказ статьи.

21, понедельник.

Послал письмо Литвинову — ругательное (за Смита) *), по поводу «Temps» и «Cri du Peuple», которые на основании статьи Смита выдумали, будто статья о Судейкине принадлежит Дегаеву. Чистый скандал.

Лавров написал о том же Смиту.

Послал (в [письме] П. Л.) несколько слов в Питер. Кое-как сбились с деньгами и уплатили прислуге, мяснику, часть fruitière **). Прислуга уходит.

22, вторник.

Окончательный разговор с Асмоловой. Вследствие провала адресов нельзя послать в Россию книги. Мы остаемся без прислуги.

23, среда.

Был Мендельсон. Получил последний лист «Вестника».

24, четверг.

Письмо от К. М. ***) Денег нет и не будет. Письмо из Спб. 6/18 апр.; письмо из Одессы.

25, пятница.

Карта Литвинова. Письмо Мухачева. Читал статью (заказную для Спб.), не понравилась.

Странное дело: «Вестник» выслан нам давно, но до сих пор не получен.

---

*) Гольдсмит.

**) Овощная лавка.

***) Константин Михайлович Станюкович.

26, суббота.

Получен «Вестник». Получено письмо от А. И. *) (отчаянное), напоминающее о статье [190]). Писал ее весь день. Вечером совещание с поляками. Познакомился (первый раз) с Войнаровской [191]).

27, воскресенье.

Выслана в Спб. просимая статья. Получено письмо от Элпидина. Получено второе письмо Андр. Серг.

28, понедельник.

Письмо от Стася **). Отправил письма Элпидину и Конст. Мих. ***), Над. Павл. ****) едет завтра (получил известие).

Разговор с нею о планах.

29, вторник.

С Над. Павл. отправил: карточки (для переснимки) Саблина, Богдановича, Корбы и Желвакова [193]).

30, среда.

Получено письмо Н. Лопатина. Ответил.

1 мая, четверг.

Получил письмо от Морж *****) (от 13 апреля р[усск.] [стиля]).

Послано письмо домой.

Послано письмо Чайковск. по поводу книг. Послал свои замечания «Walka Klas».

Вероятно, обидятся, хотя совершенно поделом сделал им несколько колкостей.

2, пятница.

Вожусь все время над статьей (для денег).

Ни черта не выходит!

3, суббота.

Посылка от Андр. Серг.: рукописи, брошюра. Получено письмо Н. В. ******) (из Берл.).

*) Саловой.
**) Куницкого [192]).
***) Станюковичу.
****) Русанова.
*****) Якубовича.
******) Шелгунов.

4, воскресенье.

Установлено содержание III № «Вестника». Письмо от Моржа (17/29 апр. ст. ст.). Записка с Гольденбергом [194]) от Лит[винова]; послано письмо Литвинову и в Орел.

5, понедельник.

Получена книга от Голд. *). Заделана отвратительно. Разговоры с Ф. **) на счет места на заводе. В газетах известие о запрещении «Отеч. Записок». Отослана «Черная Книга». Отправлена в типографию рукопись «Надгробное слово Алекс. II» [195]).

Заходил Гольденберг, приехавший за женой. Не застал дома.

6, вторник.

Письмо из Одессы. Получен трансп. (40 В. ***) и по 20 прочих). Денег нет ни копейки. Был у Гольденберга.

7, среда.

Письмо из Спб. Положение дел отвратительное. Ответ на № 6 не получен. Правительственное сообщение о закрытии «Отеч. Зап.» производит тяжелое впечатление ссылкой на показания «важного государственного преступника», указавшего сотрудничество «нелегальных» в легальных журналах [196]).

Получены и газеты с правительственным сообщением (от 21 апр. ст. ст.).

Наше положение — отчаянное. Денег нет, ни черта нет. Скоро есть будет нечего. Наборщикам не платим. Не на что послать какие-нибудь 10 книг по почте. Вообще — похоже на смерть от истощения сил. Ниоткуда нет поддержки.

10, суббота.

Положение такое же. Типография почти без работы: нет бумаги . . . .

---

*) Голдовский — Иохельсон.

**) Феофан Крылов.

***) «Вестника Нар. Воли».

13, вторник.

Письмо из Спб. 26 апр. / 8 мая. Там все живы и статью получили. Беспорядок. Дела ультра-плохи. Статьей недовольны.

NB. В конце мая выдан немцами Дейч. По этому поводу приезжал Плеханов в Париж, ведя агитацию.

Наши дела настолько плохи, что, без сомнения, № 4 журнала совсем не будет.

За это же время произошла сплетническая история Волянского.

5 июня, пятница.

Получено письмо из Спб. от А. И. (от 19 русского мая).

. . . .

. . . . *)

25, четверг.

За это время произошло следующее:

1. Приезд Ашкинази [197]) (во время Дейчевской истории) и мои сношения с «Matin».

2. Получено из О[рла] известие о том, что на Катины деньги нечего рассчитывать. Прислано 65 рублей да за вещи 30.

3. Денежные дела, бывшие из рук вон плохи, имеют тенденцию поправиться. Заем 500 фр. у Лаврова. Получение денег моряком.

4. Получил ответ от Неизменного; сбыт верный.

5. Уехали барышни в Швейцарию. С ними Яков Савич.

6. Уехал в Россию Мишель.

7. В России провалился «Вестник» и взят Телепнев [198]). Измена очевидная.

8. Известий с Севера нет. Вероятно, Г. **) погиб; м. б. и А. И. ***); на Юге были все целы (В. И. ****), А. С. также).

9. Знакомство с К. (пр.) *****).

10. Приезд Ленечки и Сергея ******). Планы насчет англ. журналистики.

---

*) Так в подлиннике.

**) Герман Лопатин.

***) Салова.

****) Сухомлин.

*****) Может быть, Ковалевский, Макс. Максимович.

******) Леонид Попов и Кравчинский.

11. Отъезд Николая Петровича *) в Женеву.

30 июня.

Письмо Лаврова по поводу статьи [199]) Тарасова **).

Вчера послал письмо Чайковскому и родным.

1 июля.

Ответил Лаврову письменно.

8 июля.

Получено письмо от Герм. ***). Ничего не сообщает подробно, но по тону видно, что доволен своими делами.

9 июля.

Послал письмо Герм. от 17 июня ст. ст. (с П. Л.), где извещаю о неизбежном прекращении журнала.

В Париже холера, хотя официально отрицают. Хотелось бы выслать Катю и Сашку ****). Написали с этой целью в Morneux, — единственное место, куда можно ехать без денег в расчете на кредит. Денег нет. У М. Н. с Ю. П. *****) вовсе ни копейки. Вообще скверно.

10 июля.

Ник. Серг. ******) уезжает завтра. Перетащил к нам весь свой хлам, т.-е. вещи.

Получено письмо от Стася *******). Вчера получена телеграмма о смерти Дикштейна в Женеве. Сегодня послали телеграмму на погребение его.

11 июля.

Отправлено письмо в Спб.

Отыскивается нам жилец. Письмо из Дрездена. Письмо от Чайковского.

---

*) Цакни.

**) Тарасов—Н. С. Русанов.

***) Герман Лопатин.

****) Жену и сына.

*****) У Полонской и Чернявской.

******) Русанов.

*******) Куницкого.

21, понедельник.

Получено письмо от А. И. (5-е русск. июля).

23, среда.

Послано письмо в Спб. Получено (М. Н.) 200 р.

NB. Раньше было на-днях получено от Л. *) 700 фр., которые пошли на типографию. Теперь она до некоторой степени обеспечена.

Пришла сегодня m-me Charles, кабатчица, соседка, и заявила, что меня желает видеть какой-то compatriote qui n'ose monter **). Просила, чтобы я к нему в кабак пошел. Я отказался итти в кабак и сказал, чтобы compatriote, если хочет, ко мне пришел. Через несколько времени он явился, отрекомендовался Мстиславским (Hôtel l'Union 142, Rue Lafayette, 42), заявил, что бежал из России по политической причине и, не имея знакомых в Париже, обращается ко мне за помощью. Меня ему отрекомендовал будто бы m. Charles, кабатчик, а с Charles он познакомился случайно в своем отеле. Чепуху о своем «политическом» деле он городил страшную. Вообще — подозрительнейшая личность.

3, августа.

Получено письмо из Спб. (от Л.), письмо Андр. С. и его намерения.

Наши дела поправились. Получено (всего) 165 + 200 + + 800 + 300.

Долги уплачены. Издание будет продолжаться.

Мои личные дела ужасно плохи. Работы нет.

Послал письмо Чайковскому с запросом.

NB. Конец месяца, последние 3 недели: случай с приятелем архивариуса; знакомство с статским военным, знакомство с «лысыми чертями».

Объяснение с П. Л. и компромиссы [200]). В самом конце августа или м. б. 1—2 сентября отъезд Гутермана [201]).

В конце августа приехал Яков Савич ***).

*) Лопатина.

**) Соотечественник, который не осмеливается подняться.

***) Полен (Френкель).

2 сентября, вторник.

Посланы письма:
a) Г. А. *) № 1 (начат счет) (П. Л.).
+ b) Ник. С. **) (и книги).
+ c) Чупрову.

Получено:
a) Карта от Владимира ***) о неполучении статей.
b) телегр. Васильева—F.
NB. От Герм. считается теперь № 24 (от 16 августа — якобы).

Зам. Катя в городе со вчерашнего дня.

3, среда.

Посланы письма:
a) Никол. Васильеву [202].
b) Ромб. [203].
+ c) Элпид.
NB. d) тел. Грише ****) в F.

Получено:
a) от Жука *****) (благод. ответ).
b) от А. И. ******) (12 с. ст.) F.

Примеч. Получен ответ от Менделя с выяснением вопроса о пер[еводах].

Начинается безденежье. Последние рессурсы истощаются.

4, четверг.

Послано: ничего.
NB. Погода ужасная, и Катя продолжает гостить в городе.

Получено:
a) книжка (от Вл.) ***).
b) телегр. Гр. ****).
c) французское предупрежд. (от З.).
d) Письмо Андр. С. № 1.
e) Последние листы.

*) Лопатину.
**) Русанову.
***) Иохельсона.
****) Федерšеру.
*****) Жуковского, Н. И.
******) Саловой.

5, пятница.

Послано:
а) письмо Голдовск.

Получено:
а) письмо Элпидина.

6, суббота.

Послано:
а) Гр. 25 ф. (К. П.).

Получено:
а) телеграмма Гриши с требов. 25 фр. на Нанси.
b) Письмо Н. Вас. *) (F) с ответ. об отъезде англичанина.

NB. Было редакционное собрание. Ничего особенного. Взял на себя рецензию Кошелева [204]).

Вокруг продолжают шататься шпионы.

7, воскресенье.

Послано — ничего.

Получено:
а) Письмо Павловского,
b) Письмо Мендель F.
d) Голд. **).
c) Гольд. ***) F.

NB. Вышел, т.-е. получен № 3 «Вестника». Приехал Гриша.

8, понедельник.

Послано:
а) п[исьмо] М. Дм. (К.)

Получено:
а) Письмо Мухачева.
b) Тел. Лыс. (F).

NB. Гриша уехал (Г. Н. Л.) с 300 фр. [205]) Они заняты у П. Л. (100 фр.) и еще у Лор ****) (100 фр.).

NB. Катя уехала в деревню.

9, вторник.

Послано — ничего.

Получено —
а) письма от р[усских] с 50 р. (фр.)...

NB. Прошу Ник. Петр. *****) достать мне взаймы 100 фр.

*) Чайковского.
**) Голдовского (Иохельсона).
***) Гольденберга, Л. Б.
****) Лорис-Меликова?
*****) Цакни.

NB. Саша нездоров. Катя хочет опять в город к доктору.

NB. Состояние моих счетов с 1 апреля 1884 г.

В общей сложности, — жил все время займами, беря у одного, отдавая другому. Крупнейшие долги были — П. Л.—250 фр., Ник. П. свыше 150 фр., Карл П.— 100 фр.; при помощи этих долгов было уплачено 2 раза за квартиру (первый раз Ник. П., второй П. Л.). Для уплаты им брал у MN *).

В окончат. виде:

1) у MN — взято: а) без даты — 20 + 30 + 60 + 150 + + 20 + 20 + 20 + 250 = 570 фр. в) В Сен.-Мор. 40, 1 сент. 4 фр., 2 сент. 10 фр., 7 сент. 17 фр.; итого 641 франк.; возвращено им 50 франков; покрывается работой....

2) Бар. 35 фр. +

3) М. Д. 24 фр.

4) От р[усских] — 9 сент. 125 фр. Всего =

10, среда.

Послано:

+ а) Ник. Серг.

NB. Ушел в Сен-Морис. Страшно болят глаза. Похоже, что образуется на глазе какая-то ерунда в роде бельма. Дала Ю. П. **) 50 фр.

11, четверг.

Послано:

а) Письмо к Андр. Серг. с просьбой ответа.

Получено:

а) Письмо А. И. (F) 27 авг.

b) Письмо Гриши из М.

d) Программа из Мск.

e) Корректура «Из давнего разговора» [206]).

11, четверг.

NB. Возвратился в Париж. Хочу итти к доктору по поводу глаз.

---

*) Мар. Ник. Ошанина. Далее в подлиннике отрезан конец страницы.

**) «Юлия Петровна»— Чернявская.

12, пятница.

Послано:
a) Письмо Томс *).
b) Письмо Н. С. **).
c) Альбом В. Н.
+ d) Корректуры В. ***) (15 с.).

Получено:
a) Письмо и карта от Н. С.
b) Книга из дому.

NB. Был у Крафт, советовался насчет глазного врача. Порекомендован, но еще не отыскал его.

13, суббота.

Послано:
a) Письмо В. Ник. ****).

Получено:
a) Письмо от Чупрова.
в) Письмо Хим. (F).

NB. Был у Шеваллера (гл[азного] вр.). Известие об аресте Анд. Серг. Вечером редакционное собрание.

20, суббота.

Был 2 дня в Сен-Морис. В течение недели написал рецензию на Кошелева. Получены: «Студенчество», «Союз», «Гомон», «Свободное Слово», корреспонд[енция] и т. д. [207]).

Сегодня: a) приехал Ник. С., b) получено известие от Ник. Вас. *****) о Грише, c) редакционное собрание: окончательный состав IV книжки.

21, воскресенье.

Послано: ничего.

Получено:
a) письмо Лярского (F),
b) письмо Хим. (F),
c) письмо Гриши (F).

22, понедельник.

Послано:
+ a) письмо Чайковск.
+ b) письмо Леониду ******).

Получено: ничего.

---

*) Томсевичу [208]).
**) Русанову.
***) «Вестник Нар. Воли».
****) Никитиной, В. Н.
*****) Чайковского.
******) Очевидно, Дическуло.

23, вторник.

Послано: ничего.

Получено: a) письмо Ник. Вас. (F).

b) письмо Архивар. (F).

Приехала Нина Федор. Привезла подарки. Карл Петров. Эти дни нездоров. У меня глаза болят, работать совсем не могу.

27, суббота.

Послано:
a) Герману № 3.

Получено: a) Хим. № 5, b) Герман. № 25 (П. Л.), c) деньги от Сибпр. 300 руб. (F), d) письмо от Перцовой (шифр.).

NB. В среду Катя приехала в город. В четверг вместе с нею уехал в Сен-Морис; пробыл до субботы. Сегодня редакционное собрание.

Ник. Серг. поселился в нашем доме.

NB. За неделю: 1) в письме Хим. известие об аресте Комарова *).

2) познакомился (в среду) с Бергом [209]).

28, воскресенье.

Послано: ничего.

Получено: 1) письмо Германа № 26 из Р.), 2) Два письма А. И. (F), 3) письмо Гриши; 4) 100 р. М. Н. (личные).

А. И. в отчаянии от какого-то скандала, через кого-то «погубили» кого-то... В другом письме видно предчувствие гибели. Еще ни разу этого не было.

К. Н. уехал в Сен-Морис. Приехал Мендельсон. Был у меня Боров. Начал статью. Не пишется. Скучно и тоска.

29, понедельник.

Послано:
a) письмо Лярскому.
b) письмо Голдовск.
NB. Ничего особенного.

Получено — ничего.

---

* Сухомлина, В. И. («Комар»)

30, вторник.

Послано:
a) письмо Жуку о Герц. [210]).

Получено — ничего.

NB. Был у глазного врача с Гераклиди. Говорит — ничего особенного.

1 октября, среда.

Послано: ничего.

Получено — ничего.

Ф. М. *) отправился (140 фр. + 19 руб., путевые расходы 110 фр., платежи 10 р.).

2, четверг.

Послано: ничего.

Получено a) письмо А. И. (F).

NB. Катя переехала в город.

3, пятница.

Послано:
a) Запрос в Спб. о полемике с молод. народов[ольцами].

Получено — ничего.

NB. Начал читать Герцена.

4, суббота.

Послано — ничего.

Получено: a) письмо Чайк. (о 50 ш.).
b) письмо Голд. об Ефроне и т. д.

NB. Редакционное собрание.

5, понедельник.

Послано — ничего.

Получено: a) письмо Дическуло.
b) описание киевских беспорядков [211]).

Ничего особенного.

6, вторник.

Послано — ничего.

Получено: a) письмо... **).
b) письмо Гриши.

7, среда.

. . . . **)

*) Повидимому, Феофан Крылов (Воскресенский).

**) Не разобрано.

24, пятница.

Давно не было такой проклятой недели, да, вероятно, уже и не будет.

С понедельника начались известия, одно за другим. В понедельник — что погиб перевозочный путь, со всем транспортом и людьми. Затем какое-то смутное известие о каких-то провалах в Петербурге, о каком-то «подкопе». Не имея точных сведений от россиян относительно их намерений и действий, нельзя было судить, что тут правда, что нет. Но чуялось нечто неладное. На-днях была еще неприятность, доказавшая, до какой степени россияне конспирируют с нами или небрежны: не сообщили даже о своих отношениях к «молодым» *), из-за чего чуть не вышла ерунда с прокламацией последних, присланной сюда и в Женеву «освободителям» **). Ну, затем от толстяков прислано известие: не писать им, очевидно, тоже у них неладно. Затем прислали из Петербурга № 10 «Нар. Воли» [212]). Приятно было видеть, что он вышел (об этом тоже известили бог знает когда), но — я увидел, что мои советы россиянам не выступать под знаменем Исполн. Комитета остались совершенно бесплодны. В № 10 целый ряд заявлений Исп. Комитета. Сердце сжимается при мысли, что эти высокие ноты и широкие планы приведут их к неизбежному фиаско. Вместо уничтожения Исп. Комитета — они его раздули... На другой же день, сегодня т.-е., в «Justice» есть телеграмма, что арестован давно разыскиваемый Лопатин, а в «Temps», что в Петербурге открыт заговор против жизни царя, взята типография и многочисленные аресты.....

Что тут правда? При тех жалких сведениях, которые они нам сообщают о своих делах, судить невозможно. Но, очевидно, что идет страшный погром. И что̀ будет, если перебраны личные знакомые,—не знаешь даже, к кому обратиться.

Сильно сдается, что это конец, конец им, на очень долгое время, в течение которого, конечно, десять раз успеет погибнуть от истощения сил и журнал. Значит, и этой мечте — конец.

И вся эта ликвидация — в течение одной недели!

---

*) «Мол. Нар. Воле».

**) Члены группы «Освоб. Труда».

25, суббота.

В полном разгроме Петербурга мешает сомневаться только то проклятое чувство надежды, которое у меня постоянно составляет как будто предчувствия и предзнаменования несчастья.

Об аресте Лопатина сообщают подробности в разных газетах.

М. *) оставил какую-то записку, где неясно говорит о полученных сведениях о петербургских арестах. Повидимому, по всем приметам — арестована А. **). Завтра надо бежать узнавать.

Суббота продолжает быть достойным днем проклятой недели.

Еще одно известие. Газеты говорят, что плотник, перевозивший издания, «имел при себе фальшивые бумажки». Недоставало еще этого: связаться с фальшивым монетчиком! Как это у людей хватает совести рекомендовать подобных господ!

Вечером, по обыкновению, было редакционное совещание. Ничего почти не делали. Свинцовая тяжесть давит каждого. П. Л. поставил вопрос: стоит ли продолжать издание при этих беспрерывных провалах. Я отказался пока обсуждать. Надо сперва испить чашу до дна.

Наши денежные дела отчаянно плохи. Без преувеличения — я начинаю иногда видеть перед нами не только банкротство (по типографии мы все больше залезаем в долги), но даже голодную смерть.

26, воскресенье.

Был у поляков: все правда. А. И. пропала, не является на свидания. Все, стало быть, кончено......

27, вторник.

Из России никаких вестей, кроме небольшой записки, извещающей, что Гр. ***), кажется, погиб. Но это не кажется, а очевидно. Крах петербургский, повидимому, самый отчаянный. Пишу статью и спрашиваю себя: зачем? Что делать?

---

*) Повидимому, Мендельсон.

**) Салова.

***) Федершер.

Я еще никогда не был в таком настроении, близком к отчаянию. Будущее темно. В прошедшем — горькие упреки в своей неспособности предупредить гибель хоть такой светлой натуры. А как ее предупредишь? Самому ехать? Но такую глупость совестно было даже предлагать. Да притом у меня долг перед семьей. Может быть, лучше бы ее не иметь, но раз она есть, — о ней приходится заботиться.

28, среда.

Пол. письмо Федора Ив. [212]а).

29, четверг.

Получены прямые известия о гибели Г. и А. И. *); был на четверге у П. Л.

30, пятница.

Получен (через поляков) запрос из Спб.: что, мол, желают писать. У М. Н. шпионы опять: справлялись, не собирается ли кто-нибудь уезжать. NB. Загадочное приглашение Лаврова.

31, суббота.

Получено письмо Вячеслава **) (15 окт.). Вечером редакционное собрание с сотрудниками.

1 ноября, воскресенье.

Заседание с поляками. Отправл. письмо Вячеславу и Хим. Получено от Ник. Вас. ***).

30 ноября.

В течение месяца получены письма от Кощея ****), продолжается переписка с Вячеславом, Ф. И., Хим.; Гриша отыскался и написал. В России хаос и сумбур. Руки опускаются. У журнала денег нет. Обещали 15 декабря из Спб. 500 р. Больше нет и обещаний. Была у меня история с Машей *****). С ума сойдешь в этакой жизни.

---

*) Герман Лопатин и Салова.
**) Томсевич.
***) Чайковский.
****) Бах [213]).
*****) Далее зашифровано несколько слов.

История с Сергеем и Ник. Вас. *) по поводу публикаций сведений о процессе. Помещена статья в «To Day».

Лавров пытается устроить мне работу в английской газете.

Получил письмо от Владимира Дегаева [214]). Жалуется на свое положение, ругается. Я его вдвое разругал. Глупый мальчишка, повидимому, но действительно несчастный. Но и молодые люди нынче: восхищается «гениальностью» своего братца.

Начал составлять Герцена; по этому случаю познакомился с Вырубовым [215]). Жуковский помогает советом.

В личной жизни пустота ужасная. Ни привета, ни радости. Какое-то жгучее, тоскливое чувство. Одиночество. Хочется облегчить душу,— негде. Один и один. И чувствуешь сам, как становишься хуже, а, кажется, мог бы еще жить, мог бы, может-быть, и сделать что-нибудь.

Страшно за будущее! Иногда я спокоен и чувствую какое-то странное утешение, когда думаю, что одна секунда, одно движение пальца может навсегда освободить от всякой гадости и тяжести. Но это редко. Я все еще боюсь смерти, и иногда хочется жить, безумно хочется. Вообще паскуднейшее состояние. Чем-то это кончится!

Декабрь, четверг.

Уехал Яков **) в Лозанну. Пришло из России известие о покушении на жизнь царя в манеже Царского Села.

Суббота.

Чтение с поляками моей статьи.

Получено известие от неизвестного лица об аресте Вячеслава. Это уже, кажется, последний удар. А этот молодой человек по письмам производил прекрасное впечатление. Бедная А. И.,— для чего ехала, за что пропала? Да еще вдобавок ее теперь ругают, будто бы у ней адреса попались. За грехи Л. страдает она, воплощенная осторожность, которая все адреса наизусть помнила. А у него попалась, пишут, масса адресов: кто говорит — 28 (Вяч.), кто — 100 (Ф. И).

Что делать? Голова трещит, жизненная сила тухнет в организме. Неужели конец, неужели дьявол победил? И если нет, где же то новое, живое, которое может принести победу?

*) Кравчинский и Чайковский.

**) Полен, Як. Савич.

Я уже давно (еще Герм.) заявил о том, что в организациях из-за границы не участвую. То же повторил их наследникам, и, однако, в России упорно продолжают смотреть на меня, как на члена организации. До сих пор это для меня было безразлично. Но с полным крушением организации это начинает быть весьма вредным, так как распространяет во мнении публики на меня их ошибки и мешает новым, «чужим», людям сходиться с журналом.

Фатальный человек этот Герм[ан]. Бедная А. И. связалась же с этаким оболтусом. Попала же в такое дурацкое время, когда можно было только пропасть без следа, без пользы, без славы.....

17, среда.

Сегодня ночью умерла Никитина, — простудилась и схватила воспаление легкого. В 7 дней все кончено. Новый удар для нас. Все рушится кругом.

Лавров ужасно убит. После Лопатина, это, кажется, самый близкий ему человек.

Завтра похороны.

18, четверг.

Похороны Никитиной. Был Клемансо [216]).

21 декабря.

Приехал Кач *).

1885 год.

1 января.

Встретил новый год у Н. С. **) целой компанией. Было очень весело.

20 января.

Получил письмо от Дегаева, а его брат пишет М. Н. Брат грозит мне чем-то по поводу статьи (моей) о Дегаеве в «To Day». Сам Дегаев пишет подлейшее письмо. Он беспокоится, повидимому, что русские революционеры стараются его погубить. выставляя будто бы преступником уголовным (т.-е. подлежащим выдаче); в свою очередь, он угрожает, что в таком случае он будет «защищаться», указывая на революционеров, «знавших и не донесших» о его деле.

*) Повидимому, Качович [217]).

**) Русанова.

Я ему ответил, не вдумавшись вполне во всю глубину этой мерзости. Поэтому в своем письме я попытался возвратить его к более человеческим чувствам. Едва ли это не смешно с моей стороны. А, впрочем, не раскаиваюсь: может-быть, и полезно выйдет.

Он пишет, что у него какие-то там планы. Интересно бы знать, что за планы, и где он теперь. Брат адреса не дает, так что письмо пришлось переслать через него.

27, вторник.

Приехал Валериан Николаев. *).

28, среда.

Приехал Александр Иван. **). Повидимому, неглупый человек.

1886 год.

8 марта.

Вот уже несколько дней жду решения своей участи: каждый день может выйти моя «La Russie politique et sociale» ***). В случае ее успеха, я могу завоевать себе здесь position sociale... ****). А она все не выходит и не выходит.

Весь год, прошедший с тех пор, как я ничего не заношу в свой дневник, был у меня тесно переплетен с моей книгой. Это было мое главнейшее и даже единственное дело.

С приездом Александра Ив., Алекс. Ник. *****), Мелкона ******), я окончательно убедился, что революционная Россия, в смысле серьезной, сознательной силы не существует. Последующие приезды Дм. Сем., Андр. Вас. и Варв. Ив. *******), так же, как все, что приходится узнавать о России, еще более подтверждали постоянно это убеждение. Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря. Народ

*) Смирнов [218]).

**) Очевидно, Иванов, С. А. [219]).

***) «Политическое и социальное положение России».

****) Общественное положение.

*****) Бах.

******) Коялов [220]).

*******) Яцевич, Макаревский и Бородаевская [221]).

страшно измельчал, они способны только рабски повторять примеры былых героев, но совершенно не способны поднять измельчившихся условий и выдумать что-нибудь свое. Впрочем, они не принимают даже, и у стариков ничего, кроме внешности, техники... Конечно, это не мешает им быть хорошими людьми, но этого в политике мало.

Еще Лопатину я заявил, чтобы они не рассчитывали на меня ни в каких организациях. Я готов служить партии как публицист, но не больше. Из-за границы никаких организаций не веду. То же самое я повторял потом упорно всем, с кем только ни становился в сношения. Таким образом, я уже при Лопатине перестал получать даже сведения о планах того, что называло себя организацией. Нередко я узнавал кое-что от посторонних людей, но даже уже при Лопатине ничего не знал ясно. Это, впрочем, естественно, и я за это не в претензии, хотя это незнание сильно мешало нашей публицистике. Но и публицистика, видимо, умирала. Денег мы получали все меньше.

Для издания «Вестника» вошли в долги по уши. Ясно было, что и это дело умирающее, не по силам партии.

Итак, в моих глазах уже более года несомненно, что отныне нужно ждать всего лишь от России, русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров, по крайней мере, на долгое, неопределенное время. Сообразно с этим я начал перестраивать и свою личную жизнь.

Я должен ее устроить так, чтобы иметь возможность служить России так, как мне подсказывает мое чутье, независимо ни от каких партий.

Но мое положение было отчаянное. Уложив все на «Вестник», все силы, все связи, я был без работы и без всяких связей с Россией или Европой, т.-е. без связей своих, которыми бы мог распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому я стал искать работы. Работу кой-какую стал получать, хотя плохо и мало, впроголодь, до истощения нервов; минутами я доходил до полного неверия в то, что выкарабкаюсь из ямы...

Главный мой шанс выпал мне случайно. Павловский познакомил с Савином и предложил ему наугад,—не возьмет ли он сотрудничать для французской работы. Тот согласился. Павловский свел меня с ним. А я уже обдумывал в это

время план своей «La Russie sociale et politique»... Так началась у нас эта работа. Это было в... *)

Но чтобы кончить работу, нужно есть. Ел я плохо, буквально до истощения. Работа все время была плохая, но, к счастью, я все-таки находил ее. Сколько получил от работы — уж не припомню. Во всяком случае: 1) работа, доставленная г-жей Л. — 500 фр., 2) Аитов [222]) — 150 фр., 3) Павловский—100 фр., 4) уроки — ежемесячно (в общей сложности . . . *). Далее не припомню. Гораздо более получил в долг: 1) Симоновский **) что-то много у него перебрал, 2) Павловский тоже не менее франков 300—400, и наверное гораздо больше, 3) Аитов, у Адам. Н. фр. 200 — 300, Аркадакский, Русанов и т. д. Брал в долг постоянно, отдавал, беря у других, до бесконечности, до полного забвения, кому что должен. Наконец, еще источник дохода — получки от родных (раз у Кати, потом у меня), всего франков на 500, если не больше. В конце концов, я должен сейчас еще по лавкам франков 500. Помогали мне иногда приезжавшие из России, хотя они больше брали у меня, чем давали.

Кое-как я достиг конца своей работы. Истощился, измучился страшно. Но она продана «Giron et C⁰», и каждый день должна выйти. Жду не дождусь, весь сгорел от нетерпения. Это будет начало моей жизни французского литератора. Веду также переговоры о книжке (о переводе) с Англией. Начал переговоры через Степняка; он оказался совсем жулик (если правда, что я узнал о нем); расстроилось. Потом пытался через Ромбро, через Смита ***), — все чепуха выходила. Наконец, теперь веду дело через Aveling'a [223]). Переговоры все не закончены, тянутся мучительно медленно...

Я без всяких средств. Если Girond покончит дело благополучно, если сладится дело с Aveling'ом, то я имею в ближайшем будущем доходу от 1100 фр. до 1600 фр., а может-быть и вдвое. Тогда могу начать работать спокойно. Но если нет? Если что-нибудь Girond сжульничает? Если у Aveling'a ничего не выйдет?

---

*) Пропуск в подлиннике.
**) Коган, Соломон.
***) Гольдсмит.

Пропадать тогда, потому что у меня положительно не хватит сил пережить еще такой год или, лучше сказать, такие 2 года...

И вот я жду, как умерший, божьего суда, прислушиваюсь к каждому шагу на лестнице: не несут ли писем от Girond, от Aveling'a.

11 марта, четверг.

Сегодня, одиннадцатого марта, моя «La Russie politique et sociale», наконец, вышла. Теперь весь в хлопотах по поводу service de presse *) и тому подобного.

Какая-то каналья оставил в магазине Girond, для передачи мне, его будто бы карточку. На самом деле на карточке очень изящно напечатано Léon Tigrich de Prochvostov, Avenuè Reille, 9. Я очень смеялся этой бессильной злобе.

Книга идет, кажется, очень хорошо.

13 марта, суббота.

Был на польском вечере, познакомился с Obervinder'ом и возобновил знакомство с Tailord'ом.

14 марта, воскресенье.

Был у Savin'a, ночевал у Павловского. Girond ужасно мямлит с рассылкой, никто еще не читал книги.

29 апреля.

Вот уже две недели, как возимся с Сашей. Болен, повидимому, менингит. Мушки, компрессы, бессонные ночи, крики, раздирающие душу...

Я дошел до последней степени измученности.

Я было совсем отчаялся и был уже уверен, что мой бедняжка помрет. Вчера и сегодня ему вдруг совсем лучше. Думал,— слава богу... Теперь вдруг опять рвота, жалобы на боль, потеря аппетита...

---

*) Рекламирование книги в прессе.

Мочи нет. Всю душу вымотало *).

7 мая.

Удар глубочайший. Франция показывает себя во всем ужасе своего падения. 4-го и 5-го был у комиссара; 5-го вечером — у Клемансо; 6-го — у префекта и вечером у Клемансо. Жалкие подлецы и трусы.

12 мая.

С французами несколько устроилось. Министр признал, что меня нельзя было бы выдать, но он заметил, что не желал бы меня expulser **). Стало быть... ясно: убирайся. Имею две недели сроку от—вторника (9 числа). Заявили также, что в провинции я могу жить спокойно, а также через несколько времени — и вообще могу возвратиться [224].

Саша умирает. С каждым днем слабее. Рвота, марается во сне под себя, косит. Все признаки.

Каждую ночь какая-то соседняя собака воет под окном, душу выматывает. Чорт ее давит за горло в такое время, когда и без того тоска душит. Бедный мальчик измучился, исстрадался и смотрит так жалко. Он стал серьезен, не любит пустых разговоров, сердится на те вздоры, которыми обыкновенно забавляют детей. Мне так и чудится, что он уже чувствует, что все пустяки на свете, и что существует только смерть.

Он вообще поумнел, но иногда забывает слова самые обыкновенные.

Приходит мысль еще страшнее: а что, если меня ждет самое ужасное, и мальчик даже не умрет, а сделается идиотом?

12 июля.

Мы перебрались на дачу: Raincy (Seine et Oise), Avenue Thiers, 49. Саше лучше, и мы решились воспользоваться моментом, как советует Raffegeou. Переборка стоит почти 700 франков

*) Далее помещена повестка комиссариата полиции на имя Долинского (так назывался Тихомиров за границей), воспроизводимая нами в переводе, следующего содержания: «Париж 4 мая 1886. Господин Долинский, Вы приглашаетесь явиться лично в Бюро, 68 Avenue d'Orleans, 5-го мая, в среду, в 9 ч. утра, по делу, Вас касающемуся. Настоящее предъявить». Внизу пометки Тихомирова относительно подписи: «Кажется — Pochquet или Pakhet».

**) Выгнать.

250 за $^1/_2$ вперед, 130 франков за прошлую квартиру, остальное долги фурнисерам и перевозку).

Эту сумму взял из журнальных денег. Ничего не поделаешь. Нужно разрубить Гордиев узел.

4 августа.

Вот уж почти месяц мы в деревне. Тут очень хорошо, хотя дожди почти все время. Саша, повидимому, поправляется, хотя припадки повторяются время от времени и все время ставим мушки. Мальчик все-таки смотрит здоровее гораздо, научается любить природу и стал гораздо смелее. Авось, бог даст...

Более месяца назад мы получили от каких-то благодетелей из Питера (через поляков) деньги на окончание «Вестника». Мы с П. Л. решили на этом и покончить. Положение, действительно, выходило ужасно глупое: нельзя вести журнал, издавая 1 книжку в $1^1/_2$ года, вместо 4 книжек в год; затем связи с Россией у нас самые ничтожные, даже не знаешь хорошенько, что там есть и чего нет; наконец, повидимому, партия Н. В. совершенно разбита. Теперь мы составляем этот 5-й и последний № и затем забастуем.

Приезжали из России Ш. (накануне моего переезда на дачу) и Конст. Александр. *) (несколько дней спустя); Ш., кажется, еще здесь, а Конст. Александр. уехал 2 августа обратно. Конст. Алекс. очень милый юноша. Приезжал поговорить о своих делах, о том, что они думают изменить организацию (в смысле децентрализации). Я с ним виделся 2 раза и советовал вести культурную работу, оставивши террор, который только их сбивает с толку. Кажется, не вполне согласен с моими доводами.

Ш. — чудак большой руки. Он стоит вдалеке от радикальных дел, но хочет действовать. Немножко толстовец. Думает, что можно побудить царя к реформам. Советовал ему похлопотать о журнале.

Это было бы прекрасное дело. Кажется, согласился.

Видя всех этих господ, тысячу первый раз прихожу к убеждению, что теперь нужна работа культурная (а вовсе не прямо революционная).

Мои денежные дела поправились: получил 400 рублей (от родных).

---

*) Фундаминский [225]).

1887 год.

1 января.

Год кончился самым печальным образом. Все последнее время живем, можно сказать, подаянием. Работал ужасно много, кидался во все стороны и не заработал ни гроша:

а) русские попытки,

б) Molineri — принял, но до сих пор не печатает и, вероятно, ничего не даст,

с) «Temps» — скотина Losier держит до сих пор без ответа,

д) писал Кропоткину, прося поискать работы в Англии, нет ответа,

е) писал Sonnenschein'у, когда напечатает книгу. Ответил, как только Aveling даст перевод. Значит, этот мошенник не дал, а обещал, что будет все кончено еще до отъезда в Америку. В довершение—адрес неизвестен.

Теперь готовлю «Les conspirateurs et policiers» *) для Савина на март 1887 г. Вероятно, не успею.

Катя больна воспалением матки. Случай с m-lle Anne (bonne). Приходится работать, а доктор велел лежать. Безденежье такое, что сколько раз буквально голодали. Я совершенно упал духом, и, кажется, не подлежит сомнению, что не выбьюсь из этого положения. К новому году хозяину заплатили 150 фр., вместо 250; доктору (216 фр.) совсем не заплатили; много еще мелких долгов. Да и эти платежи сделали благодаря Radoviri и Ландезену [226]), которые дали по 150 фр. каждый.

Прочие события: 1) кончен «Вестник», 2) разграбление его типографии шпионами [227]), 3) дурацкое заявление, написанное за меня Л. **) NB. не захотел принять моей статьи ***), хотя я ее послал всего через день [228]), 4) с Россией безусловно никаких сношений, 5) Саша, повидимому, совершенно выздоровел, хотя нервен ужасно.

---

*) «Конспираторы и полиция».

**) Лавровым.

***) Т.-е. «заявления».

19 февраля.

Получил известие о смерти отца († 5 января ст. стиля 1887 г.).

Незадолго до этого известия, недели 2—3 назад, видел я сон: черный деревянный гроб, на нем яркие свечи, все на черном фоне, и больше ничего.

3 марта, четверг.

Последнее время—ряд шпионских проделок и мистификаций: 1) корреспонд. в «Evenement»; 2) подложная гектогр. прокламация от несуществующего кружка Мол. Н. В. в Цюрихе; 3) тем же почерком гектографированная полемика Куна и Грюна, с прибавлением подписи Зографа; 4) письмо за подписью Куна и Грюна Лаврову с признанием, что они ограбили нашу типографию; 5) подложное заявление от нашего имени в «Journal de Génève» и «Cri du Peuple»; 6) телеграмма от моего имени к Юлии Петровне (в понедельник или вторник, 14 или 15 февр.).

По этому последнему поводу был в бюро de poste *) (в Raincy) и у комиссара; ничего не хотят делать (в четв. 17 февраля). Жаловался Pichon'у (22 февр.); в воскр., 27 февр., и понедельник, 28 февр., был у него, и он не принял.

Напечатали заявление в «Justice», «Temps», «Cri du Peuple», «Journal de Génève». Мое письмо ругательное в «Journal de Génève», которое, наконец, напечатали в «Génèvois»?

За то же время в пятницу, 25 февраля, визит М. Гольденвейзера [229]) ко мне, в Raincy; в субботу, 26-го, отдал ему визит «Hôtel du Nord» (rue Maubeuge).

4 марта, пятница.

Получил новое произведение шпионской литературы: гектогр. листок, подписанный «старый экс-эмигрант». Подлейшая мерзость, где меня обвиняют в убийстве, а Катю в прелюбодеянии.

Послал письмо Pichon'у. О, Франция, действительно тоска берет, когда думаешь, что достаточно назваться шпионом русским, чтобы пользоваться неприкосновенностью и чтобы каждый боялся как-нибудь ненароком не зацепить бы такую священную ныне особу!

---

*) Почтамт.

20 марта, воскресенье.

Всю неделю проболел. В субботу поехал в Париж в летнем пальто. Зашел к Jouvet с планом: отказ, потому что им уже пишет Тиссо. Начался дождь. Зашел к Бельскому *) и так промок и продрог, что уже решился не выходить. На польский бал не пошел. В воскресенье (14) отправился к Лаврову, потом к Аитову, переговорил о плане книги (La Russie et les peuples) **). Отправился к Савину. Тут по дороге окончательно простудился и слег у Савина. Очень заботились. В понедельник получил к вечеру шубу от Кати из Raincy и перебрался к Radoviri. У них пробыл и лечился у Filibiliu. В четверг пришел Павловский и звал к себе. Я не решился выйти. В пятницу поехал к Павловскому с утра и остался также безвыходно пятницу и субботу. В субботу пришел приехавший Эспер Алекс. ***). В воскресенье вернулся домой.

В газетах известия о покушении 1/14 марта против царя и о заговоре конституционалистов [230]). Как это характерно. Шпионы занимаются здесь сочинением подложных прокламаций и пасквилями, а в Петербурге в это время подготовляются покушения. Впрочем, жаль, что революционеры тратят на это силы.

21 марта, понедельник.

Эспер уехал на предложенное место в Версаль. Получил шпионскую корреспонденцию в «Liberté». Ловко они забирают в руки прессу. Скоро вся будет к услугам шпионов. Вчера получил карточку отца.

22 марта.

Получено 200 фр. от Аитова. Телеграмма от Катерины Александр. ****) о том, что она едет сюда.

29 марта.

Ответ Аитова о принятии в принципе моей новой книги у Emile Templier. Нужно работать.

---

*) Бах, А. Н.

**) «Россия и народы».

***) Серебряков.

****) Тетельман, жена Серебрякова.

8 апреля, пятница.

В четверг (31 марта) вышла моя книга «Conspirateurs et policiers». В субботу, 2 апреля, приехал в Париж для service de presse *). Пробыл субботу, воскресенье, понедельник и возвратился во вторник домой. Во вторник был у Reclus [231]), видел Giffroult, который обещал устроить знакомство с Рошфором [232]). В тот же вторник был у Charle Edmond (первый раз).

Говорят, предвидятся высылки из-за этих дурацких вечеров. И на кой чорт они их устраивают! Только шпионов дразнят.

Боюсь, что книжка моя не будет иметь успеха. Пожалуй, замолчат ее. Французы так льнут к России, что предпочтут молчать о книге, которая писана хотя и не прямо против русского правительства, а все же неприятна ему.

Первый экземпляр книги куплен шпионом, по всем признакам. И чего они пристают? Уж я ли не смирно сижу! А, впрочем, потому-то и пристают: досадно, что я стал давать им меньше доходу.

28 апреля, четверг.

Дело Шнебль на границе [233]) совпало со слухами о бумаге русского правительства, в которой оно предлагает французскому арестовать русских эмигрантов **). 25 апреля, в понедельник, я был по этому поводу у Клемансо, чтобы устроить у него свидание Лаврову: «Aucun gouvernement français n'acceptera pas ces conditions» ***). Во вторник, 26 апреля, это свидание состоялось. Клемансо обещал собрать решительные справки к пятнице. В отсутствии Лаврова был у него Ш. Эдмон; сообщил насчет германских шпионов, которые стараются устроить в Париже какую-нибудь видимость заговора русских эмигрантов против царя, с тем, чтобы поссорить Россию с Францией.

Завтра еду в Париж узнать ответ Клемансо. Также нужно взять у Савина готовую статью: «La république de Jeltougne». Книгу «La Russie à vol d'oiseau» ****) только начал. Не охота и работать при таких условиях. Уж, кажется, сижу тише любого

*) Рекламирование в газетах.

**) Следующее слово зашифровано.

***) Ни одно французское правительство не примет этих условий.

****) «Россия с высоты птичьего полета».

буржуа, с Россией никаких даже сношений, даже с эмигрантами не знаюсь. Нет-таки: не оставляют в покое. Теперь можно думать, что эти мерзавцы, которые фабрикуют разные апокрифические воззвания, — даже и не русские, а немецкие шпионы.

Посмотрим, что будет завтра.

Апрель, пятница.

В городе пробыл часа 3. Гобле [234]) сказал, что никогда этого не будет. Клемансо очень любезен. Отзыв Ш. Э. *) обо мне: ponderé **).

Суббота.

Утром Саша в жару и бреду. Был вечером Filibiliu.

Воскресенье.

Ночь Саша провел очень гадко, — жалуется на голову. Уж не повторение ли старого?

27 августа.

День с претензиями быть днем радости. Но, кажется, я уже погиб, так что такие да и никакие радости не поправят. Дело в том, что недели три тому назад из диагноза Филибилью я узнал, что у меня тронуты легкие. Ну, это значит в сущности — шабаш. Не при нашей жизни уцелеть!

Но Эсп. Ал. поднял шум, писал друзьям в Румынию. Вот сегодня я и получил 300 франков, с обещанием выслать еще 700. Сверх того, я еще получил за работу 63 рубля, да еще какие-то деньги у Лаврова для меня (я его просил раздобыть где-нибудь, так как ниоткуда не ждал).

Эспер и румынские друзья посылают меня в Швейцарию. Не знаю, поеду ли. Эх, кабы пораньше эти деньги! А уж если легкие тронулись, — то тут шабаш!

Если я должен умереть, — как жаль, что у меня не хватит сил побороть свое отвращение и записать здесь характеристики.

18 сентября, воскресенье.

Был Русанов с Е. И. Толковали. Положительная сторона государственной политики, как я ее изложил, с грехом пополам

*) Шарль Эдмон.

**) Уравновешенный человек.

одобряется. Но мое отрицательное отношение к террору вызвало возражения. Относительно расходов определена сумма 15 000 в год, с обеспечением на два года. Без этого не начинать.

Мое мнение, — что ничего из этого не выйдет.

20 сентября, вторник.

Получил письмо от Костика [285]) и корреспондентскую карту от «Lupta».

21 сентября, среда.

Едем всей семьей на несколько дней в Париж.

22 сентября, четверг.

Возвратились из Парижа. Квартира наша освободилась. Нужно переезжать.

23 сентября, пятница.

Стыдно отмечать такие вещи, но я начинаю опять мучиться предзнаменованиями. Я говорю часто, в шутку, что у нас квартира несчастная, потому что в ней месяц всегда виден слева: так расположены окна. Прошлый месяц кто-то, кажется, Бельский, смотря в окно, сказал, что показался новый месяц. Зная наизусть, где показывается он, я повернулся нарочно так, чтобы он виден был справа и взглянул, со смехом заявивши, что я заставлю, хитростью, месяц быть счастливым... Он, действительно, был небывало счастлив, единственный месяц за два года.

Вчера я неожиданно взглянул на небо и — увы! — увидел молодик слева! Это мне моментально испортило настроение.

Теперь я невольно жду несчастья. Да чуть ли оно и не наступает. Катя что-то небывало раздражительна. Еще вчера я имел с ней объяснение, старался привести ее к лучшему настроению. Кое-как успел. Сегодня же совсем слаба. Ждет регул, которые не приходят. Уж не беременна ли? Это соображение меня гнетет.

Впрочем, как-то вообще накопляются элементы для неприятностей. Костик обещал выслать деньги, и что-то не получено ничего. С почты должны доставить livrets *), и тоже нет уже чуть ли не вторую неделю.

*) Книжки на получение денежных отправлений.

Вообще в борьбе за существование я так мало имею шансов, а в то же время у меня требования так велики, что я вечно нахожусь в нервном состоянии. В минуту, когда я себя считал совсем умирающим, явилась эта идея — журнала. М. Н. *) мне заметила, что она бы на моем месте обеими руками ухватилась за этот исход. Я ответил, что это не исход, что я хочу начинать только с шансами на серьезный успех, а потому теперь я бы с большей охотой видел возникновение кружка с здоровым (созидательным и антитеррористическим) направлением. Мне нужно создать партию серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую. Для всего этого я не считаю нужным торопиться, я лучше бы хотел, чтобы новое направление назрело. Смеясь сказал я, что подражаю в этом случае болгарской политике Каткова: выжидание... «Я удивляюсь, — заметила она, — как ты можешь так рассуждать, находясь в такой крайности и в полном бессилии»...

«Я думаю, что я не долго проживу, — сказал я, — и ничего против этого не имею; я думаю, что я ничего не сделаю; но раз я начинаю рассуждать о том, что делать, я ставлю себе цели серьезные и крупные».

Этот разговор освежил мне мои собственные мысли. Действительно. Я — ничто, нуль. Я существо даже уже пришибленное. И в то же время я не могу отказаться от желания серьезно, глубоко влиять на жизнь. С чистой совестью я мог бы совершенно отказаться от общественной деятельности, но раз уж ею заниматься, то заниматься серьезно.

24, суббота.

Был в Париже. Грателье прислал предложение снова начать диксионер, но уже с буквы Н. Ходил — не застал. Из редакции прислали деньги, забыли подписать, так что нельзя получить. Денег от К. **) нет, livrets не получаются. Продолжается неудачливое положение дел. Вечером ужаснейшая, подавляющая тоска.

25, воскресенье.

Послал Грателье список на Н и о словаре вообще.

*) Ошанина.

**) Костика (Доброджану).

26, понедельник.

Получил свое livret Катино еще на почте. Получил также 148 фр. от Костика *).

29, четверг.

Вчера получил извещение от Ю. П. **) о претензиях этого мошенника Турского [236]) на нашу типографию. Сегодня не успел ответить. До завтра.

Несколько месяцев тому назад в «Intransigeant» явилось объявление о выходе русской газеты в Париже «La Liberté». Газета, однако, не явилась. Дело оказалось таково, как гласят городские слухи. Теплая компания — Турский, Бронский, Григорьев [237]) сбондили с г-жи Дорьян несколько тысяч на издание просимой «Liberté». Старая дура либеральничает, тем более, что Бронский, говорят, ее бывший любовник, и притом заявил себя теперь председателем Исполнительного Комитета. Затем, получивши деньги, Турский улепетнул, оставивши с носом своих сотоварищей, которые теперь между собою за что-то рассорились. Григорьев, говорят, разослал доносы на Бронского по всем его урокам, что, дескать, это атеист и революционер... Разумеется, Бронского прогнали отовсюду (он был у Пашкова) [238]). Курьезнее всего то, что доноситель получил уроки Бронского: русские родители!

Теперь этот мошенник Турский затевает новую аферу, вероятно. Он говорит, что типография ему нужна для издания какой-то революционной газеты. Не предвидит ли он войны? Говорят, что набатчики раз получили от английского правительства огромную сумму для «возбуждения революционного движения в России»; разумеется, все промошенничали. Здесь, за границей, Голдовский раз писал мне, что Турский предлагает народовольцам путь для соглашения с английским правительством, которое готово, дескать, дать деньги на русскую революцию. Я, конечно, выразил Голдовскому всю гнусность подобных сделок и посоветовал ему не иметь с Турским дела.

К характеристике Турского можно еще прибавить, что он дал Морозову (Николаю) паспорт для пропуска в Россию и

*) Далее вклеен купон.

**) Чернявская.

первый узнал о воспоследовавшем затем аресте Морозова на границе.

Клеточников считал Турского шпионом, хотя оговаривался, что не имеет точных данных. Вероятнее всего, что это просто негодяй, который берет деньги со всех правительств и партикулярных лиц, с кого попадется.

30, пятница.

Послал письмо Юлии Петровне.

2 октября, воскресенье.

Обедали Бельский *), Ландезен, монастырские барышни **). Ландезен рассказывал о цюрихской барышне ***); она, должно быть, сходит с ума на шпионстве, конечно. Уверяет, что ее хотели отравить: молоко показалось невкусным; называет шпионами сидящих у нее Степанова [239]) и еще какого-то Б—йна; рассказывает, что и ее самое считают шпионкой; сообщила, что в коммуне (где Даум и К⁰) ****) тоже шпионы... Одним словом, революция в полном ходу.

Меня в Цюрихе ругают за бездеятельность, что, мол, ничего не пишу, ничего не делаю. Одним словом, меня теперь ругают со всех сторон. Бельский сообщил о статье Щербаня в «Русск. Вестнике» [240]). Я ответил, что только одни революционеры могут сравниться по глупости с реакционерами.

3, понедельник.

Катя была в городе. Квартира будет готова в четверг. Можно переезжать.

5, среда.

Письмо от Дебагория [241]) об имеющем издаваться журнале «Политическая Свобода». Послал Лаврову.

6, четверг.

Все эти дни мы с Бельским работаем над мебелью, починяем. Получил повестку на 30 руб. из редакции и письмо Антова, извещающего, что он готов ждать долг (91 фр.). Это недурно к переезду.

---

*) Бах, А. Н.

**) Очевидно, Вандакурова и ее подруга (ср. стр. 329).

***) Очевидно, Слаткова (ср. ниже).

****) Польские эмигранты.

8, суббота.

Переехали на 204 Avenue du Maine. Стоило 36 франков. Вчера получил известие об аресте Стемпковского в Вене [242]). Вчера же вечером умерла m-me le P... Получил бумаги Луцкого [243]) от Костика.

9, воскресенье.

Подробности ареста Стемпковского от Лаврова. Взят, выходя из вагона, в Вене. Был паспорт Волгина. Обвиняется в приготовлении бомб для Александра II (второго)! Он же (Ясевич) доказывает, что он с 1879 по 1883 или 1884 г. был в админ. ссылке.

Лавров показал письмо цюрихской кассы к нему и свой ответ.

17, понедельник.

Был в полиции для засвидетельствования личности Кати. Накануне отказались на почте выдать.

Был у Шарль Эдмон; не видел, — не захотел меня ждать. Слух о выходе англ. издания *).

18, вторник.

Послал бумаги Луцкого Чайковскому. Был у скотины Hervé. Был у Pichon'a, видел там Jaclard'a.

Savine обещает следующее издание: La Russie pol. et sociale **).

20, четверг.

Получил ответ Swen Sonnenschein и чек на 12 фунтов 10 шилл.; книга вышла по-английски.

21, пятница.

Лавров обедал. Вечером у Павловского с Rosny [244]) и Savine'ом. Чек от Sonnenschein'a.

22, суббота.

Бондаревы у нас. Дуры.

23, воскресенье.

Был Френкель. Рассказывал, что Р. ***) по секрету передавал ему, что в Raincy был приставлен ко мне шпион, который

*) «La Russie politique et sociale».

**) Эта книга вышла 2-м изданием.

***) Рубанович (?).

там совсем было устроился и был очень огорчен, когда я уехал в Париж. Уверен, что Р. сам и есть шпион.

Теперь только что кончилось дело Кипиани (Бердичевского) и началось дело Романова. Когда только полиция выметет всю эту сволочь.

Все время занимаюсь переводом «Xipehus» Рони. Замечательно хорошенькая вещица. Рони — большой талант, если будет прогрессировать, что неизвестно, так как в нем слишком много самоуверенности.

26, среда.

Письмо Симановского *) по поводу Турского.

27, четверг.

Письмо Турского (от Симоновского). М. Ник. **) дает мне полномочие.

28, пятница.

Объяснение с П. Лавровым по поводу моего решения о требовании Турского.

Отправил письма Симоновскому и Бохановскому, чтобы последний выдал Турскому типографию, а первому излагаю свое мнение — к сведению и Турского.

Катя у М. Н. Недовольство М. Н., ее отказ от того, что она мне дала полномочие. Я пошел к ней. Объяснение.

Суть объяснения: я заявляю, что письма Голд. ***) слишком ясны, и мы обязаны отдать Турскому типографию. Она этого не признает (потому что не хочет думать о написанном в письмах). Мало этого, — она требует, чтобы я из товарищества их не покидал, не выступал со своим мнением, а ответил бы то, что «мы, дескать, порешили коллективно».

В переводе на русский язык это значит, чтобы я делал то, что ей угодно. Женская манера размышлять и желать.

Я отказался на-отрез и объяснил, что своего образа мыслей скрывать не стану и заявлю его даже на суде, если он будет.

*) Коган, С.

**) Ошанина.

***) Голдовский (Иохельсон).

Упреки: эгоист, не товарищ, почти изменник. «Откуда такой прилив добросовестности?» Я, кажется, никогда и не был недобросовестным. В конце концов, я предложил одно: пусть берут все на себя, если я не собственник (как она говорит), то я очень рад, — пусть ведут дело, как знают. Но пусть помнят, что я свое мнение о деле не стану скрывать.

Вообще я просто ничего не понимаю. (NB. Письма, «по которым может показаться»...)

Лавров страшно разозлился на меня во время визита, был крайне груб. — «Так вы, значит, считаете теперь, в настоящую минуту, удобным отдать типографию Турскому?» — Не отдать, а возвратить, и не удобным, а обязательным. — «Разве с мошенником обращаются, как с порядочным человеком!».... Меня все это очень удивляет. я не подозревал такой манеры определять свои обязанности.

Лавров думает, что я это из зависти, чтобы подорвать печатание его труда [245])! То же самое чудовищно-нелепое обвинение повторила Мар. Ник. *). Что сказать на это? Мар. Ник. упросила меня телеграммою приостановить дело на один-два дня, чтобы обдумать. Она, кажется, думает, что я изменю поведение. Я, уходя, старался вразумить ее, что это невозможно, но, в надежде, что она изменит поведение, послал телеграмму, — стоило почти 5 франков, (Бохановскому и Симоновскому) — чтобы приостановились.

Вот выдержки из переписки Голдовского с Полонской:

6 апреля 1884 г............ «Приходил ко мне Трусов с предложением» (ему позволено вернуться в Россию)... «у него находится набатский шрифт, который нам очень бы пригодился»... «Он говорит, что набатчики ему должны 350 франков, и за эту сумму он хотел бы их заложить, с тем, чтобы собственники могли их, когда пожелают, выкупить». Не знаю, есть ли у нас деньги, но, «во всяком случае, мне кажется, что нужно предварительно снестись с Турским, без согласия которого ни в какие соглашения с Трусовым вступать нельзя. Тем более, что прошлой осенью, когда я говорил с Турским об этом шрифте, он мне сказал, что если Трусову

*) Ошанина.

шрифт окажется не нужным, мы можем его прямо взять без всяких условий. К сожалению, ничего письменного у меня об этом нет, а Турского теперь здесь тоже нет, и чорт его знает, где он. Постараюсь все-таки добыть его адрес. С другой стороны, Трусов в Россию шрифт не увезет, и если не найдет другого способа извлечь из него деньги, поневоле должен передать нам»...

Женева, 13/9 — 1884 г..... «Теперь с Трусовским шрифтом: у него было (следует исчисление)..... Трусов хотел их перед отъездом заложить за 200 франков. Теперь же они находятся во владении одного поляка, который просит за них (он уже продает совсем) 500 фр. Все, — что там есть, новое, — должно стоить франков 1000.... Думаю, что он спустит за 300 — 350 франков. Я повторяю, что шрифт и большая часть имеющихся там материалов... нам необходимы, часть материалов нам все равно придется прикупить... В крайнем случае, можно будет предложить поляку купить только петит, курсив.... и необходимую часть материалов.

Женева, 21/9 — 1884...... «О Трусовском шрифте... Если купить новый шрифт, то нужно будет специально приобрести 3 кассы (для 3 наборщиков)... ...Новый шрифт на один лист бессомненно обойдется дороже, чем вся трусовская типография»....

Женева, 5/10 — 1884. «Будучи в Кларане, я виделся с Турским. Я говорил с ним о набатовском шрифте (трусовском), и он обещал переговорить с поляком, у которого шрифт находится и который просил у меня за него 500 франков. Он надеется устроить, что этот поляк поверит ему и переведет на него долг Трусова (так как, в сущности, собственник шрифта Турский), и чтобы мы могли взять шрифт без денег. Турский сюда приехал, но поляк согласился перевести на него только часть долга, а 216 франк. — то, что он дал Трусову перед отъездом последнего в Россию,—он хочет получить сейчас. Турский мне, между прочим, сказал, что ему очень неловко, что мы должны будем дать деньги, и что он в течение двух месяцев обещал вернуть эту сумму так, чтобы типография была в нашем пользовании без затрат. Не верю, конечно, в основательность его обещания, но знаю, что он это говорил искренно. Теперь, значит, нужно

немедля решить вопрос, взять ли нам типографию, так как поляк назначил срок неделю, иначе он хочет ее вести в Бернскую словолитню для продажи для литья»... Далее перечисляет типографию, все повторяя, что покупка крайне выгодна... «Постараюсь достать до конца ноября 200 франков, иначе типография может быть совсем продана в лом, так как срок, заключенный поляком с Трусовым, уже прошел, или попадет в руки Элпидина. Поляку я пока сказал, чтобы удержать его от других планов, что мы на эти условия согласны...» *)

(Понедельник).

Открытое письмо 13/10 — 1884, Géneve.

Полонской, все и все прочие.

«Я попросил Жука поговорить с поляком насчет шрифта, так как он его лучше знает, и сегодня тот ему заявил, что будет ждать только до среды. Ему нужны деньги и есть покупатель на шрифт»...

13/10 — 1884...... «Завтра я должен получить ответ насчет займа 200 фр. Если он будет отрицательный, будет плохо. Не верю поляку, чтобы у него был покупатель. Мне скорее кажется, что назначение им срока, и такого краткого, можно объяснить желанием нарушить (невыгодное для него) заключенное между нами условие, так как он рассчитывает, что у нас денег не будет.

16/10 — 1884 г. ...«Шрифт купил. Достал в разных местах на разные сроки 200 фр. Заплатил 226 фр. В полученной мною от поляка расписке сказано, что шрифт и типографские принадлежности проданы мне»... «Купленный шрифт и принадлежности не могут поместиться в типографии. Поляк (Бауер) позволил оставить его на складе еще недели 2 — 3»...

NB. Все эти письма писаны собственной рукой Голдовского, «большей частью на бланках администрации «Вестника» **).

Василий Игнатьевич ***), П. Л. на моей стороне, следовательно, я остаюсь при моем вчерашнем решении. Прошу тебя напи-

*) Далее на отдельном вклеенном листке.

**) Далее следует на отдельном листке подлинное письмо Полонской Тихомирову.

***) Т.-е. Тихомиров.

сать мне письмо о твоем отречении от прав на типографию. А дальше поступай, как знаешь.

М. Полонская.

29 октября 1887 г.

29, суббота.

Получил деньги из банка (по реализации чека Swen Sonnenschein'a) — 316 франков. Из них послал 50 фр. Эсперу Александровичу *). Получил приклеенное здесь письмо Полонской. Ответил следующее:

«М. Н. Ты просишь у меня формального отречения от прав на типографию бывшего «Вестника Н. В.». Собственно отречение я нахожу неуместным, так как мне не от чего отрекаться. На имущество В. Н. В. (за исключением его архивов) я никаких самостоятельных прав не имею. Если я вмешивался иногда в имущественные дела «Вестника», то лишь по уверенности, что против этого не имеют ничего действительные его издатели, люди, которые, как ты, тратили на дело издания свои силы, свои средства, запутывались из-за этого в долгах, и т. д., и т. д. Только за этими людьми я признаю право распоряжаться имуществом «Вестн. Н. В.», а никак не за собой.

Итак, заявляю тебе и кому ты пожелаешь, что никаких прав на типографию «Вестн. Н. В.» я не имею. Считаю себя в праве дать тебе тот или иной добрый совет, но не имею ни малейшего права в противность твоему желанию вмешиваться в твои распоряжения по материальным делам бывшего «Вестника».

Подпись.

P.S. Это не мешает мне, конечно, иметь свои мнения о твоих распоряжениях, и я еще раз советую тебе изменить свои распоряжения по делу, вызвавшему настоящую переписку нашу.

Л. Т.»

1 ноября, вторник.

Был у Filibiliu. Условился насчет Рони. Письмо от Бланкова **) с запросом, дадим ли ему помещение у себя.

*) Серебрякову.

**) Серебрякова («Бланк»).

7 ноября, понедельник.

Познакомился с Рони.

11 ноября, пятница.

Неудачное посещение Théâtre Libre *).

«Любезный Лев Александрович, рекомендую вам Надежду Николаевну Слепцову [246]), мою приятельницу, о которой я вам говорил и которая желала поговорить с вами».

11 ноября 1887 г., пятница вечером.

В Париже идут чудеса: Вильсоны, Парнелиты [247]) и т. д. Вчера у нас были Filibiliu, Savine и Павловский вечером.

15 ноября, вторник.

Сдал Савину «Préface» [248]) и рукопись Желтуна. Последнюю я предложил дня 3 тому назад, вместе со своим сотрудничеством, в «Revue de Paris et de S.-Pétersbourg». Ответа нет.

17, четверг.

Получил согласие Swen Sonnenschein'а переводить «Conspirateurs». Получил от Rosny книги. Послал Filibiliu запрос об имени.

В палате буря: Вильсона отдали судебной власти. Познакомился с Кроффордом [249]).

18, пятница.

Был Rosny.

23, среда.

Получил 140 фр. за работу (63 рубля по курсу 221).

25, пятница.

Получил 100 фр. от Костика. Познакомился с Смолянииновым. Ночевал вчера у Павловского, у которого история с редакцией.

27, воскресенье.

Обедал Кружколл.

---

*) Далее вклеена визитная карточка Лаврова с рекомендацией Слепцовой.

28. понедельник.

Познакомился с Дюпюи [250]).

Во Франции делается чорт знает что. Ферри, вероятно, будет выбран президентом [251]). Плохо придется нашему брату, бесприютному. Кажется, приходит конец моему haus'y.

Савину сдал окончательно Préface: важный документ для меня.

Декабрь.

3, суббота *).

Был в Версале на конгрессе. Все эти дни чертовски занят кор. по случаю парижских событий.

6, вторник.

Катины именины. Неудачный праздник. Отсутствие румын.

7, среда.

Получил из Москвы 100 рублей для передачи Мар. Ник.

По поводу ее вчера рассказ Геккельмана об excommunication **), ему угрожающем со стороны Лаврова и Полонской. Бельский: à l'ordre du jour ***) поднятие нравственности. Во главе этого поднятия стопт, конечно, Рубанович. Кстати: о планах Гек. ****) сообщил М. Н. тот же Руб. (якобы Эберс [252]) подслушал разговор Гек. с каким-то французом: да здравствует нравственность!).

Сегодня получено от m-me Бланк *****) извещение об отправке Софьи Александровны к Анне Михайловне ******): Софья Алекс. сходит с ума и умирает, — вероятно, у ней менингит.

8, четверг.

Отвез свой план Jehan Soudan'y. Что-то будет? Так хочется, что невероятно, чтобы сбылось.

9, пятница.

. . . . *******)

*) 2 декабря в пятницу был в «Revue de Paris et de St-Pet.» Познакомился с Jehan Soudan. *Прим. автора.*

**) Отлучение.

***) В порядке дня.

****) Геккельман-Ландезен.

*****) Жена Серебрякова.

******) Слаткова, Эпштейн. [253])

*******) Строка зашифрована.

12, понедельник.

Цеткина [254]) сегодня сказала m-me Лафарг [255]) о переводе «Conspirateurs et policiers».

Вчера Русанов предложил работать Балканский полуостров [256]).

От Jehan Soudan нет ответа. Очевидно, все пошло к чорту.

Сегодня в палате Либюскьер обещал дать рекомендацию к Жоффрену в Hôtel de Ville *). Я хочу писать о нем, т.-е. об организации и деятельности муниципалитета.

13, вторник.

Мне до сих пор со времени переезда в Париж везло, что называется. Теперь что-то начинает прекращаться шанс.

Мы вспоминали сегодня с Катей нашу страшную жизнь в Le Raincy: холод, голод, одиночество, полная беспомощность. Неужели все это вернется? Я пользовался несколькими месяцами удачи и не успел нисколько себя обеспечить. Если теперь слепая удача прекратится, — я не имею никаких средств бороться против судьбы.

17, суббота.

Вчера первый раз говорил с Rousselé у Hachette [257]). Сегодня делал все необходимые демарши у Рони и т. д. Получено «Revue de Paris et de St-Petersbourg», и письмо из «Пр.».

19, понедельник.

Получил за работу, через Lorette 112 р. по 217, и от Haves — 23 р. по курсу 225! Все утро шлялся, ругаясь и добиваясь, кто из них дурак или мошенник. Ничего толку. Всего получил 296 франков. Остальное остались должны.

Отправил письмо в «Пр.».

20, вторник.

Весь день болен, не выхожу. Вчера простудился. Отправил просьбу о перечислении платы на 15-сантимную.

23, пятница.

Вечером был в Théâtre Libre, а целый день с Павловским.

*) Городская дума.

24, суббота.

Вечер провел дома со своей семьей. Была одна m-lle Ванд. *) У Саши маленькая елка. Ночью ходили ко всенощной к Saint Pierre.

25, воскресенье.

Рождество. Был у Русановых и у Цеткиных (елка). У Русанова учился, как работать для Dictionnaire **). Вчера Rousselet одобрил мою статью о Ploescti ***).

Мы опять почти без денег.

26, понедельник.

Ночью, еще с 12 часов, Катя заболела: понос и рвота. Всю ночь не спали. Сегодня она не встает весь день с постели.

Счеты с 20 дек. 1887 г.

Получено:	Израсходовано:	
296 фр.	а) Кате 20 числа выдано на	
	экстрен. расходы	35 фр.
	на продовольствие	40 фр.
	в) 24 числа дано Кате . . .	10 фр.
	с) 25 дек. » Кате . . .	20 фр.

1888 год.

1 января, 12 час. ночи.

Провели дома. Павловский читал роман. Саша нездоров.

Вчера был Свилокошич [258]) — первый раз; явился познакомиться со мною.

(Назначено свиданье на понедельник у Савина в 6 часов с Paul Adam по поводу моего сотрудничества в «Revue de Paris et de St-Petersbourg»).

Сегодня был у Лаврова, так как получил от него карту.

Свилокошич принес книги от серба.

*) Вандакурова.

**) Словарь.

***) Плоешти — город в румынии.

2 января, понедельник.

Виделся с Paul Adam: отказ от «Revue de Paris». В новом ежемесячном издании — согласны принять. Искусство (и роман) отдали какому-то поляку. Я невольно воскликнул: «Так это вы отдали поляку, чтобы иметь верные сведения о России!» Вообще ясно, что они не хотят иметь меня, и только отговариваются.

4 января, среда.

Подходя с Павловским к редакции «Revue de Paris etc», я сказал ему: «Уверен, что ни того, ни другого не будет».—«О, вздор,— отвечал Павловский,—Paul Adam мне говорил вечером, что вы приняты». — «Ну,—увидите»... и действительно, ни того, ни другого. Как я хорошо уж знаю эту манеру отделываться не прямым, честным отказом, а этой трусливой брехней!

5 января, четверг.

Катя больна с вечера вчерашнего: горло, жар, пульс 100 и выше. Весь день не встает. Опять пришлось не пойти за маленьким Максимом, будут недовольны. Так всегда: не делай ничего, — никто не в претензии, начни оказывать услуги, — конца не будет требовательности.

Теперь вечер, 9 часов. Весь день прошел в хлопотах около больной и полубольного Саши. Устал. Катя лежит в жару, жалуется на страшную боль в горле. Она боится дифтерита. Саша спит.

Плохо начался 1888 год. Еще ничего хорошего и уже сколько плохого за 5 дней! Работать не мог, конечно, из-за больной. Дом вверх дном. А между тем ничего почти нет заработанного за этот месяц. Осталось с прошлого франков 100 с небольшим, да новых заработал ли 50 еще? Да у Hachett'а, может-быть, можно будет поставить франков 20 — 30!.. Вот и все рессурсы. А мы проживаем, если не хотим лежать больными, франков 400.

Чорт их знает, куда они уходят!

Можно ли еще будет завтра пойти к Либюскьеру, который обещал дать материал для статьи об Hôtel de Ville'е. Единственная тема, какую мог выдумать.

Курьезный был разговор с ним. Я ожидал найти безголового революционера. Встретил человека, полного сомнений. Он мне напоминал мое собственное настроение. И о своих corre-légionnaire'ах *) говорил буквально то же, что я вижу на всех этих М. Н. и пр.

А уж сколько курьезно-тоскливого в этой среде!

Я, впрочем, помирился с Лавровым. На новый год он прислал мне свою карточку, и я зашел к нему. Он встретил с жаром. Это человек, против которого я менее всего недоволен. Он не может измениться, он доживает век логически, сообразно с своим прошлым. Но те, кто помоложе,—что за жалкий народ! Я теперь от них на 10.000 верст. Я безусловно ничего общего с ними не имею и просто начинаю ненавидеть то бунтовское направление и настроение, которые составляют существеннейшую подкладку нашего революционного движения.

По поводу студенческих волнений в России [259]) заволновалось и здешнее студенчество. Все это здесь на $90^0/_0$ евреи, поляки, армяне и проч. Лавров поддерживал волнение. Я ничего не знал сначала о «событиях». Ванд. **) и потом Маргулис рассказали, когда уже сходка студентов кончилась. Там кто-то говорил против меня (расск. Амер.), что, дескать, Тихомиров проповедует, что студенты не должны мешаться в политику... Оратор, разумеется, находит это очень реакционным. Вообще меня (Бельский рассказ.) теперь очень ругают, и я этим горжусь: это положительно делает мне честь. Продолжаю однако. На сходке сначала предлагали председательство Мендельсону; он отказался, мотивируя это тем, что собрание не захочет принять столь крайних резолюций, за которые он стоит... Ловко? Они вообще в мелочах очень ловкие ребята, эти поляки. Жаль, что в серьезном ничего не понимают. Собрание, хотя и не способное удовлетворить революционных чувств пана Менделя, было сначала очень задорно: предлагали итти к посланнику, или даже к консулу...

Я перебил рассказывавшую барышню: «Да не может быть, чтобы к консулу, — верно, к посланнику?». Она смутилась: «Ах, нет, к консулу, да ведь это все равно?»

*) соратниках.

**) Вандакурова.

Эти господа не знают даже, что консул не есть политический представитель России. Как бы то ни было, они хотели бить у него стекла. «Ну, говорю, барышня, жаль, что не пошли, их бы за это вздули французские городовые получше, чем в Москве». Потом начинаю ей объяснять, что: 1) русские студенты далеко не безусловно правы, 2) их действия, во всяком случае, нелепы и не могут приводить ни к чему другому, кроме полицейской расправы... 3) со стороны русских, проживающих в Париже, и особенно эмигрантов, совершенное свинство ставить Францию в прискорбную необходимость оскорбить русское правительство бездействием или принять строгие меры против студентов. Все эти мои замечания были запоздалы, так как сделаны после собрания. Но собрание и само было очень благоразумно: приняв порицание русскому правительству, оно не дало ни единой подписи. Протест анонимный. О, халуи паршивые! Противно думать о них. Впрочем, руководители их, конечно, шпионы, если не русские, то немецкие, стало-быть, такой оборот очень натурален.

Этот анонимный протест напечатан уже в «Cri du Peuple», «Justice» и «Matin».

Желал бы знать, кто заплатил «Matin'у»,—русские или немцы?

Курьезный мир: я никогда не был, надеюсь, пошл и всегда был в стороне от подонков. Однако, — пока сам не сумел еще отрешиться от «революционных» точек зрения, — мне трудно было понять всю нелепость этого слоя пены, которая способна окружить душу даже людей крупных и «хороших».

История г-на (Миш.), или, собственно, две истории: а) недостаточное самоотвержение по отношению к С. А. *), в) семь смертных грехов, открытых М. Н.; «если не исправитесь, я не пущу к себе на порог», «откажусь от затей», «единственное искупление (сношение с официальными лицами) — пойти и т. д.» (совсем, дура, сошла с ума!); «вы теперь исправились, но чтобы впредь не случилось чего, — рассказывайте все П. Л.». — «Ну, это уж будет зависеть от молодого человека, что он захочет сообщить мне»... Царь иудейский (и сам не Иуда ли?) — насчет пальто.

*) С. А. Слатковой.

С. А. *) недовольна тем, что Сим. **) присланные ей деньги употребил на уплату ее же долгов, оставшихся на его шее (ибо без его поручительства ее бы не выпустили). Поручено купить платье («да не очень плохое!») и туфли. Послал, но не благодарит даже. Требует только денег. Этот злополучный малый выслал ей как раз перед этим 400 франков. Вот уже подлинно, — что она мне,—не жена, не любовница... Да его же еще и ругают на всех закоулках.

Мой разговор с М. Н.: «старшие», «нельзя мешать», «так говорят реакционеры», «нет ли личных причин». Я разозлился и заявил, что имею в 36 лет такие же права на суждение, как и в 21 год, а насчет прочего, что мне важно, правда ли, а не, кто говорит и по каким причинам. После эта глупая женщина начала меня защищать, а именно, что я хотя и бог знает что говорю, но говорю искренно... Ах, чорт бы вас взял! Да уж неужели же я сделаю вам честь быть еще и неискренним с такими пигалицами!

6 января, пятница.

Сегодня Кате было немного лучше, за то у меня заложило глотку. Был у Либюскьера, познакомился у него с Жоффреном.

10 января.

Принят в «La Vie Franco-Russe». Открытие Палаты.

11 января, среда.

Роюсь в материале для «La Vie Franco-Russe».

12 января, четверг.

Павловский рассказывал, как он посоветовал Paul Adam итти к... ***). Заседание в комнате консьержки (3, rue Lepeletier)... Канун нового года русского. Провели... никак не проводили. Катя ложилась спать.

В Палате объяснился с Oberwinder'ом. Я уверен, что он прав, и обвинения несправедливы.

---

*) Слаткова.

**) Симановский-Коган.

***) Слово не разобрано.

13 января, пятница.

Приехал Кулябко (Н. И.) [260]. Вечером — мы на репетиции «Puissance de ténèbres» *), ночевал у Павловского.

14 января, суббота.

Была Ольга Ник. и Кул.**); последний уезжает. Он приехал собственно для того, очевидно, чтобы я не мешал им. Очень мне нужно! Объяснил ему свои взгляды; конечно, все равно, что об стену горох.

Вечером: Свилокошич и Маринкович [261]) (первый раз знакомлюсь с последним). Ночью Саша что-то плох, днем не раз жаловался на голову, спит теперь беспокойно.

15, воскресенье.

Был офицер, также Павловский.

16, понедельник.

Собрание редакции («Vie Franco-Russe»).

17, вторник.

Были барышни.

22, воскресенье.

Был Жонжурист [262]). Приехал Бланк ***).

28, суббота.

Ночевал у Павловского. Вчера был на концерте Годовского. «Justice» опубликовала письмо Григорьева (вчера). Все время мучусь с теориями ****). Сегодня получил расчет по 1 января 88 г., 72 рубля, и останусь должен 36 р.

---

*) «Власть тьмы».

**) Кулябко.

***) Серебряков, Э. А.

****) Бланк все пристает с объяснениями. Он не хочет оторваться ни от меня, ни от Полонской. А она меня ругает, — не может (по его словам) спокойно обо мне говорить. Говорит, что я развращаю (политически) молодежь, проповедую примирение. Я читал Бланку рукопись своего Préface; он сказал, что ничего не имеет против, но едва ли «своевременно». Он меня мучит расспросами о теориях и, видимо, хочет, чтобы как-нибудь примирить плюс и минус. *(Примеч. автора.)*

22, воскресенье.

Приход Павл. *) с Савином (при Бланке).

30, понедельник.

Объяснение с Павловским.

31 января, вторник.

Бланк уехал.

1 февраля, среда **).

«У меня дуэль — с Григорьевым! Если можете, приходите завтра, в четверг. Как ни глупа вся эта история, я бы хотел с вами поговорить кое о чем.

Ваш *Павловский*».

2 февраля, четверг.

Павловского секунданты (Rosny и Viremaitre) заявили секундантам Григорьева, что для дуэли нет места.

10, пятница.

Представление Théâtre Libre «La puissance de ténèbres». Вчера была генеральная репетиция, а также история с полушубком Пентковского и Аркадакского.

14 февраля.

Mardi gras ***). Был у Померанца [263]). Вечером была у нас Вандакурова. Убедился, что история Григорьева подстроена едва ли не эмигрантами. Считал ли я их когда такими негодяями!

20, понедельник.

На этих днях вышел «La Vie Franco-Russe». Работа определилась. Но зато, очевидно, потеряна главная работа в России.

29, среда.

Получено за работу от Hachett'а 39 франков.

Третьего дня Гольдсмит сообщил о статье «un russe'a» в «Autorité», где говорится, что лицемерный «La Vie Franco-Russe» льстит царю, а вдохновляет цареубийцу...

---

*) Павловский.

**) Текст представляет собою вклеенную записку Павловского.

***) Последний день масленицы.

Гольдсмиту сказал Павловский. Вчера утром Катя отправилась к Павловскому; принял сухо, сказал, что слыхал от Зингера, «прочитать же не поинтересовался». Недурно! Вечером написал наугад письмо Кассаньяку — с dementi *). Был болен и взволнован: очень неудачно написал, — можно не понять.

Сегодня был совсем больной (я уже неделю не выхожу, — простуда сильная, а морозы собачьи), отправил во «Franco-Russe». Ждем до 5 часов. Разговор с Soudan'ом. Он поедет в ..... **), чтобы объяснить настоящий характер моих отношений к журналу. Как бы то ни было—меня, вероятно, выгонят из журнала. Доносчик, значит, достигает цели, и, весьма вероятно, получит мою работу.

Сегодня же получил 25 оттисков моего «Préface» (от Savin'a).

Получил также ответ Sonnenschein'a: издание в сентябре, платить по мере продажи. Я не соглашусь, конечно.

Свое предисловие разослал разным лицам, в том числе: Лаврову, Полонской, Р. ***), в библиотеку, Драгоманову, Бохановской, Костику, Дебагорию и пр. Вообще почти всем, кому нужно, немедленно.

3 марта, суббота.

Работа в Fr.-R. ****), очевидно, потеряна. Получил письма Ник. Серг., Драгоманова и Дебаг.-Мокриевича (в ответ на посылку «Préface'a»).

4 марта, воскресенье.

Против меня буря. Был Michel, рассказывал, как ругают меня С. А. *****) и разная сволочь в роде Руб. ******)

Я решил писать подробное объяснение, — русскую брошюру *******).

5 марта, понедельник.

Получено письмо Аве (СПБ). Получил деньги из «Franco-Russe» (63 франка за 3 №№).

*) С опровержением.
**) Слово неразобрано.
***) Русанову.
****) «Franco-Russe».
*****) Слаткова.
******) Рубановича.
*******) «Почему я перестал быть революционером».

6 марта, вторник.

Получил письмо Soudan. Начал писать свое объяснение (брошюру).

14 марта, среда.

Был у Бельского *); он болен и на-днях уезжает в Швейцарию. Рассказывал: эти господа написали против меня протест и носят для подписей [264]). Подписались — Полонская, ее Рубанович, Френкель, Слаткова, будто бы Лавренниус [265]) и Н. С. **). Все это от имени якобы «старых народовольцев»; но по здешней жидовской манере «старые народовольцы» будто бы подписей не напечатают, а вместо того Лавров контрассигнирует, что, дескать, авторы сего произведения суть действительно «старые народовольцы»... Комики!

А ловко ими крутит тот паренек ***). По своим отношениям к М. ****), он теперь будет действительно царьком. Кстати же, они хотят будто бы основать кружок. «Опять ты, море, денег захотело; но ежели моих — пустое дело!»

Слава богу. Могу, конечно, быть дураком, но в том же роде, как был,— конченное дело, не буду.

15 марта, четверг.

Первый гром и молния в этом году.

Катя объяснялась с Нат. Фед. по поводу протеста, затеваемого против меня.

17 марта, суббота.

Что-то с французами происходит. Волнуются. Буланже [266]) опять выплывает.

10 апреля, вторник.

Получил «протест». Послал записку Н. С. *****).

11 апреля, среда.

Получил деньги (33 р.) от Rousselet. Разрыв с Н. С. (он обиделся моей запиской и заявил, что прерывает со мной всякое

*) Баха.
**) Русанов.
***) Т.-е. Рубанович.
****) Ошаниной, М. Н.
*****) Русанову.

знакомство). На прошлой неделе наладил «Franco-Russe», денег не получил, но получил 100 фр. за прошл. ст[атьи] у Дер.

14 апреля, суббота.

Был у Александры Петровны. Толковали с 4 до почти 7 час. Она едет в Петербург.

Саша что-то нехорош. Болен, что-то готовится.

15, воскресенье *).

Саша, кажется, совсем нездоров. Теперь спит в забытьи. Жду Раффежо, — Раффежо приходил: ничего определенного, можно бояться крупа.

Вечером были Маринкович, Свилокошич и Вандакурова. Получил деньги из «Franco-Russe» — 80 фр. С препятствиями: сидел от 2 до 5.

19, четверг.

Были в Палате. Вход. Буланже.

Павловский был в rue Grenelle **). Рассказ о разговорах обо мне.

Павловского туда вызвали по поводу его прошения о возвращении в Россию. Вообще, дескать, это было просто, никаких препятствий, но есть одно: «Ваша дружба с Тихомировым». Тогда Павловский сказал, что это вздор и что Тихомир., дескать, совершенно не революционер. Тот (секретарь какой-то) даже привскочил: «Не может быть?!». Павловский изложил мои известные ему взгляды, и секретарь заметил: «Это целое событие». Павловский заметил, что я пишу брошюру, где намерен изложить мои мнения, а секретарь сказал, что они «всегда удивлялись, как такой умный человек мог оставаться в революции». Он заметил также, что правительство было бы не прочь со мною примириться. «Только вы знаете, если уже обе стороны складывают оружие,—то нужно поступать по-джентльменски — искренно друг с другом». Павловский сказал, что он, если тот под словом искренность

*) Вклеена почтово-телеграфная квитанция на имя Данилевского в С.-Петербург.

**) Улица Гренель (русское консульство).

подразумевает какие-нибудь разоблачения, то он наверное знает, что я их не стану делать,—я человек убеждений, но не страха, и ничего нечестного не сделаю. Секретарь обиделся: «Как вам не стыдно так истолковывать мои слова. Мы всегда знали, что Т. *) человек честный, и я не имел в виду доносов, а говорю об искренности отношений, в смысле отсутствия обманов, надувательства»...

Вероятно, он подозревал или мелькала мысль о валленродстве.

Так неожиданно передо мной открывается просвет какого-то нового пути! Но жаль, что это вышло раньше, чем я вполне объяснился перед публикой. Во всяком случае, я не буду делать демаршей раньше, чем выпущу брошюру (с Ал. Петр. я говорил только о семейных делах, а не о политике, да и то исключительно потому, что думал, что она уедет чуть не на днях, так чтобы не упустить ее). Моя линия такая:

Я объясняюсь с публикой посредством брошюры. Затем,— пустит ли меня прав[ительство] или нет в Россию,—я *веду себя одинаково*. Если прав[ительство] хочет пустить меня,—тем лучше, тем больше для него чести. Но выгоды оно от этого не получит, так как я все равно и без этого буду проводить свои новые взгляды. Я их буду проводить, и они полезны для правительства, конечно, но не потому я их провожу, а потому, что они верные, справедливые взгляды. Если правительство будет при этом меня преследовать, это не изменит моих мнений, как не изменило раньше. Раньше я, преследуемый или получающий милость, одинаково был против правительства; теперь, преследуемый или получающий милость, одинаково буду за легальный способ действия, за монархию, за поддержание порядка и за прогресс.

27 *апреля, пятница*.

Получил от «СПБ. Вед.» [267]) 85 руб. Работа сделалась невозможно невыгодною.

Rousselet приказал кончить всю букву Р до конца июня.

С «Franco-Russe» окончательно разошелся. Слава богу, что хоть свои деньги выручил.

---

*) Тихомиров.

28 апреля, суббота.

Присланные 85 р. составили по курсу 180 фр.

2 мая, среда.

Получил 11 рублей за корресп. (с Пом. *).

7 мая, понедельник.

Была у нас Ал-дра Петровна с детьми.

9, среда.

Вандакурова получила разрешение ехать в СПБ.

12, суббота.

Кончил свою брошюру: «Почему я перестал быть революционером» [268]). Читал ее вечером Жонжуристу.

Жонжурист принес недавно вышедший пасквиль против меня: «По поводу одного предисловия», подписанный «группа народовольцев». По слухам, это дело Степанова и К⁰. Говорят, Лавров видел брошюру в рукописи, — да и может ли быть иначе? И, однако, авторы, уверяя меня в измене, цитируют (в доказательство моего революционизма в 1886 г.) Заявление товарищам и читателям из № 5 «Вестника Н. В.», а эта заметка написана Лавровым, хотя за моей подписью, я ее даже не видал в глаза до самого выхода книги. И это известно всем этим негодяям, которые знают, как я возмущался заметкой.

Брошюру свою я писал около двух месяцев,—такую тетрадку! Правда, что много было помех.

15, вторник.

Александра Петровна слушала чтение этой брошюры. Вечером неожиданно явился Никандр Платонович **), которого присутствие за границей я даже не подозревал.

17, четверг.

Пришел какой-то человек, назвавший себя Кашинцевым [269]), братом того, которого я знавал. Просил указать русских; я послал его к Лаврову.

С Savin'ом условился о печатании брошюры.

*) Померанц.

**) Мощенко.

12 июня, вторник.

Корректуры брошюры не доставлены. Был у Lanier (14, rue Signier); обещает доставить завтра. Шрифту у них так мало, что будут разбирать его каждый раз, чтобы начать новый набор. Значит—копаться будут бесконечно.

П. *) рассказывает, что компания Плеханова и Аксельрод очень негодует по поводу протестов, особенно «группы народовольцев», против меня [270]). Аксельрод и Плеханов начинают взапуски отказываться от террора: я не ожидал произвести такое быстрое воздействие. В добрый час!

Мое время проходит, однако, тяжелую полосу. Мне кажется, что я так мог бы еще многое сделать, если бы был легальным, и, однако, время не только идет бесплодно, но я даже не надеюсь ни на что. Передо мною все чаще является предчувствие или, правильнее, ощущение конца. Вот, вот конец жизни... Я уже почти не имею времени что-нибудь создать: мне уже, — страшно сказать, — тридцать шесть лет, и я, видимо, дряхлею. Ужасно! Еще немного, — и конец, и ничего не сделано, и перед тобой нирвана. И сгинуть в бессмысленном изгнании, когда чувствуешь себя так глубоко русским, когда ценишь Россию даже в ее слабостях, когда видишь, что ее слабости вовсе не унизительны, а сила так величественна...

Это ужасно, это возмутительно!

15, пятница.

Получено письмо от матери. Германский имп. умер **).

16, суббота.

Получены корректуры от Lanier.

20, среда.

Послал статью в К. Л. ***).

23, суббота.

Все время нездоровится: ноги. Дела стоп. Корректуры нет. Послал сегодня ответ Бланку на его требование моих коллекций ****).

---

*) Померанц.

**) Фридрих III, отец Вильгельма II, низложенного в 1918 г.

***) Повидимому, в «Курьер» Ланина, т.-е. «Русский Курьер».

****) Имеются в виду партийные бумаги и издания.

Получил письмо от наборщика Никитина в типографии Hugonis (Rue Martil, 6), с предложениями услуг: дескать, лучше сделаем, чем Ланье.

25, понедельник.

Был у Савина, жаловался на Lanier; Фове послал Lanier письмо; был у Hugonis.

Мое положение нестерпимо. Гроша нет и взять негде. В желудке пусто. Вчера получил 5 фр. от Павловского.

26, вторник.

Занял 12 фр. у Маринковича до первого.

Послал корреспонденцию в «Спб. В.» *). Конечно, ничего не выйдет.

Послал письмо Дебагорию.

Рассказывал Пом. **), что Плеханов или собственно кружок издателей получили пожертвований на 45.000 р. для своих изданий. Есть же идиоты, не умеющие лучше употребить денег. Плеханов теперь господин в кружке, ибо имеет за себя большинство. Другая часть называется лавристы. Это собственно и есть бунтовщики. Плеханов же к бунтовству относится холодно [271]).

29 июня.

Был у Павловского, который рассказал мне насчет слухов, будто бы Бек [272]) хочет меня убить.

Рукопись моя «Почему я перестал быть революционером» сдана в типографию Hugonis, Rue Martil, 6.

30, суббота.

M-lle Буева поселилась у нас.

2 июля.

Визит именующего себя Садовским. После этого разговор с Жонжуристом, который имел в виду повидать Лаврова и Бека.

Итак, революционеры хотят меня убить. И за что? Они знают (так гласят сведения), что я человек искренний, что я верю тому, что говорю, что я никогда никого не выдавал и не выдам и в этом отношении надежнее их самих.

---

*) «СПБ. Ведомости».

**) Померанц.

Кстати нужно записать разные истории, давно происшедшие, но мною, по отвращению, не отмеченные своевременно.

1) Жонжурист мне передавал, что Лавров в разговоре с ним обо мне сказал, что он не удивился «моей измене» и всегда будто ждал, «что я изменю делу».

2) Тот же Лавров писал Бланку, что мое предисловие не есть простое мнение, но «поступок, требующий нравственной оценки». Это я сам видел. Дело в том, что Полонская с К⁰ подбивали Бланка принять участие в протесте против меня, а тот ответил, что странно-де протестовать против мнений. Тогда-то тяжелая артиллерия и выдвинула означенное письмо о «поступке», которое Бланк прислал мне на-показ.

3) Вандакурова рассказывала. Зашла она к Полонской (когда мое предисловие только что вышло). Там застала Рубановича и К⁰. Рубанович очень ругал меня, как «грязную личность», погубившую революционное движение. Вандакурова вступилась за меня. Руб. сказал: «Давно ли Тихомиров жал мне руку, при прекращении «Вестника», и говорил: дорогой товарищ, не робейте, не падайте духом, — наши дела еще поправятся и будем еще вместе действовать». Все это нахальная ложь, так как я всегда старательно отстранялся от Рубановича, считая его подозрительным, и никогда в жизни ничего подобного не говорил. Полонская, рассорившаяся со мною именно из-за моего отвращения к Рубановичу, слушала теперь эту мерзкую клевету, не моргнув глазом. Вандакурова была изумлена и приведена в негодование, узнав от меня, что Рубанович лжет.

4) Лавров говорил-де Р. *), что я, конечно, поступаю вполне искренне.

5) Г-жа Русанова сказала Кате, что Полонская читала у них письмо Бланка, где тот будто бы говорит, «что считает знакомство со мной предосудительным».

Эта двуличность Бланка (если только Полонская не сымпровизировала его якобы письма) мне показалась невероятной. Я ему написал. Он якобы возмутился, потребовал объяснений у Полонской и Русанова. Русанов (он, а не она) ответил, что

*) Очевидно, Русанову.

Полонская ему этого не читала, и Бланк написал нам, что он «очень рад, что эта история объяснилась» (?!).

Для меня она, конечно, нисколько не «объяснилась»! Напротив. Объяснить ее простой брехней Русановой нельзя, ибо эта история была так: Катя заметила, что Бланк меня не осуждает, хотя и не согласен со мной. Русанова: «Да вы уверены ли в искренности Бланка?» — Катя: «Это — наш лучший друг»... Тогда Русанова, вспыхнув: «Ну, я не в силах больше терпеть. Знайте, что Бланк человек двуличный. Вот что было у нас»... и затем рассказала историю о его письме.

Кто тут виноват? Не Катя, потому что она старается закрывать глаза на все, что бы ни сделали Бланки. Не Русановы, — это ясно.

6) Рассказ Жонжуриста. Кто-то был в консульстве (из либералов) и будто бы посмеялся над бессилием полиции справиться с революционерами. Собеседник (из консульства) будто бы возразил: «Ну, хороши ваши революционеры: все продажны. Вот хотя бы тот... Как его... Забыл... что живет с Полонской — представляет донесения»... Это было будто бы передано Лаврову, а он сказал: «Да, я говорил Рубановичу, но он удивляется, как это об нем могут говорить»...

Вероятно, — брехня.

7) Чайковский, его отношение к моей «реакции».

8) Вандакурова также говорила: Полонская и ей сказала, что, по письму Бланка, я поступил в высшей степени скверно, хотя он и не хочет протестовать.

9) Вандакурова рассказывала: Рубанович говорил у Полонской, будто французы говорят, что уж, конечно, я a reçu quelque chose *) от русского правительства для того, чтобы написать это предисловие. Это говорилось при публике.

10) Встреча с Лорисом на бульваре S. M.

11) Кривобокая Абрамович, беготня и сплетни к Ванд.; Галкина, ее вопросы Буевой: «Зачем вы у Тих.?»

12) Френкель. Сплетня по поводу того, что он меня видел около «Justice», в то время, когда там был Павловский.

13) Последний визит ко мне Слатковой и ее ночевка. На другой день у Русановых при Кате Рубанович спрашивает с изу-

*) Получил кое-что.

млением: «Вы провели эти два дня у Тихомировых?»—Она извиняющим тоном: «Да, погода была ужасная, невозможно было выйти».

Они уже тогда вели против меня атаку за мою проповедь среди молодежи.

..... июля ....

..... пришел *) и заявил, что едет в Fontanivain к Баху. Я поручил ему свезти бумаги к Дебагорию или Бланку. Бумаги тотчас собрали вместе, и он увез их с собой [273]). Едет завтра.

18 июля, среда.

Жонжурист рассказывал, что какой-то чиновник говорил ему, что Р. **) получает жалованье из консульства; он, Жонжурист, сказал Лаврову и передал Цеткину ***). Те два — оба — самому Р. Потребовали у Жонжуриста сказать свои источники. Он сказал, что спросит, согласится ли этот источник открыть себя. И чего этот человек путается в такие истории?

19 июля, четверг.

Померанц сообщил, что, по словам Жонжуриста, он видел «чиновника», о котором записано вчера,—именно у Павловского. Ничего не понимаю. Почему же П. ****) мне ничего не сказал? Странно.

21 июля, суббота.

Заходил Орлов! Ех—Берг. Говорит, что уже 2 недели, как приехал.

23 июля, понедельник.

Получил письмо от Владимира *****) (от 7 июля. Москва, Большой Колосов., д. Мишке). Написал немедленно в..... ******)

*) В подлиннике одно слово вырвано.
**) Рубанович.
***) Муж Клары Цеткин.
****) Павловский.
*****) Брат Тихомирова.
******) Слово не разобрано.

26 июля, четверг.

Отправил ответ Владимиру.

Заходил Жонжурист и рассказывал, как его третьего дня судили заочно. Трибунал состоял из Френкеля, Степанова и Бека (моего будущего убийцы). Лавров был обвинителем, и он же составил протокол, подписанный теми чучелами. Смех и горе, да и только. Это по поводу «клеветы», распространяемой Жонжуристом о Рубановиче. Положим, что Жонжурист во всех отношениях поступил нехорошо.

30 июля, понедельник.

Получил 100 рублей, посланные братом.

2 августа.

Жонжурист рассказывал, будто бы Никитин (наборщик у Hugonis'a) из той же степановской шайки. Один некто сказал Жонжуристу, что он читал (получил их от кружка Степанова) мою брошюру в корректурах, в двух даже видах... Сеть шпионская!

Поведение типографии, действительно, двусмысленно. Вчера обещали кончить и не сделали ничего. Обещают поспеть на завтра. Фове ходил со мною вместе в типографию ругаться.

3 августа, пятница.

Брошюра вышла! Сегодня взял у брошюровщика (Rue de Sevre, II) первые экземпляры и сейчас же отправил несколько в Сибирь. Завтра будет очередь Петербурга.

4 августа.

Письмо от брата, ответное.

Жонжурист рассказывал, заходил, что Бек оправдывается за то, что осудил его, следующим образом. Лавров, говорит, начал с того, что объявил судьям, что Рубанович его друг, за которого он «принимает полную нравственную ответственность». После такого вступления, де, что же нам оставалось делать? Мы были поставлены в такое положение, что оставалось обвинить Жонжуриста. Вот уж халуишки, жиденята!

5 августа, воскресенье.

С этой Буевой беда чистая. Из-за нее, чтобы с ней ехать гулять, является вдруг Вандакурова и заявляет, что у них в Hôtel'е — крупп у одной девочки. Теперь Буева отправилась с ней гулять и не возвращается: очевидно, осталась ночевать у Вандакуровой... Только что написал эти строки, как Буева пришла: поклепал напрасно на бедную!

Список разосланных экземпляров моей брошюры.

3 августа: 1) «Неделя» — Екатеринбург. 2) «Сибирская Газета» — Томск. 3) «Восточное Обозрение» Иркутск [274]).

1½ фр.

4 августа: 4) «Волжск. Вестн.» — Казань. 5) «Правда» — Спб. 6) «Северн. Вестн.» — Спб. 7) «Новое Время» — Спб. 8) «Моск. Ведом.» — Мск. 9) Данилевский — Спб. [275]). 10) M-me Эшень — Paris. 11) Бланку — Morneux. 12) Haeckelman — Clarens. 13) Лаврову и 14) Леонову (через maison Savine *). 15) Библиотека (через Жонжуриста). 16) Жонжуристу.

5 августа: 17) Pavlovsky. 18) Маринкович. 19) Чайковский. 20) Христофоров [277]). 21) Доброжану. 22) Драгоманов. 23) Дебагорий. 24) Вандакурова.

6 августа: 25) Жонжурист. 26) Мощенко.

7 августа: 27) Померанц.

8 августа: 28) В. К. Плеве [278]).

9 августа: 29) Кашинцев.

13 августа: 30) Аркадакский. 31) Воронцов-Дашков [279]) (Англ. набер. 10). 32) Победоносцев. 33) Спб. — Публичн. Библиотека.

14 августа: 34) Священник. 35) Дурново. 36) 3 экз. в Ценз. Комитет СПБ.

20 августа: 37) Бах, Кларан.

29 августа: 38) «СПБ. Ведомости». 39) Отдел. Кот. Биржи Л. в Нижнем-Новгороде. 40) «Южн. Край» — Харьков, Николаевская пл., д. Питри.

*) Торговый дом Савина [276]).

Сентября 2: 41) Карцев (консул).

Сентября 13: 42) Померанц.

Сентября 18: 43) В. А. Тихомирову. Октябрь: 44) В. А. Тихомирову [280]). 45) Дарзансу. 46) Рафалович (Av. du Trocadero, 10).

Октябрь 23: 47) «Новое Время». — Коломнин.

Октябрь 24: 48) Ольга Алексеевна Новикова [281]).

Октябрь 26: 49) Графиня Толстая. Бад.-Бад.

Ноябрь 1—16 (Не менее 27 экз. (Новиковой в разные дни, 72) — (1 + 5 + 7 + 10) = 23.

Ноябрь 20, 24) 2 экз. Элпидину.

8 августа, среда.

Сегодня послал В. К. фон-Плеве свою брошюру и письмо следующего содержания:

7 августа 1888 г.
204 av. du Maine, Paris.

Милостивый государь

Вячеслав Константинович!

Получение письма от меня, быть-может, удивит вас. Вы не ощутите, быть-может, достаточных побуждений, чтобы уделить мне несколько минут внимания, если не благосклонного, то беспристрастного. Я позволяю себе, однако, очень просить вас об этом, обращаясь не только к государственному сановнику, но и просто к человеку.... Постараюсь не злоупотреблять вашим вниманием.

Как вы видите из подписи, я — Тихомиров, Лев, имя которого вам, конечно, известно по должности. Можно заранее предположить, что донесения извратили и раздули в глазах правительства мою деятельность, но в настоящую минуту я оставляю это в стороне. Если мы отбросим все наговоры и неточности, остается все-таки факт, что в течение многих лет я был одним из главных вожаков революционной партии, и за эти годы, — сознаюсь откровенно,— сделал для ниспровержения существующего правительственного строя все, что только было в моих силах. Я жил всецело для осуществления моих революционных идей, для них испортил свою жизнь и за служение им находил почитателей. Короче, служение революционной идее составляет существенное содержание многих лет моей жизни.

Если вы, милостивый государь, захотите перелистать мою брошюру «Почему я перестал быть революционером», посылаемую при сем же на имя ваше, вы увидите без дальнейших объяснений, какой огромный переворот произошел в моих взглядах. Переворот этот назревал в течение долгих лет. Многое в обычном революционном миросозерцании было мною отброшено еще в то время, когда я считал обязанностью оставаться в рядах противников правительства. Внутренняя ломка пошла во мне быстрее, когда самое течение времени дало возможность наблюдать последствия революционного движения. Но особенно решающее значение имело для меня то обстоятельство, что я имел случай ознакомиться на практике, во Франции, какие результаты дает приложение к политике этого самого принципа народной воли, который дотоле составлял основание моих политических идеалов. Зрелище это настолько поразило меня, что я решился подвергнуть радикальному пересмотру свои старые взгляды, или, точнее, привитые ко мне идеи Французской революции. Таков в общих чертах путь, по которому я из крайнего революционера стал убежденным человеком порядка, сторонником исключительно мирного развития и почитателем твердой монархической власти.

Я взглянул таким образом на общественную жизнь собственными глазами, и она мне явилась в совершенно новом освещении. Я был бы, однако, более счастлив, если бы не узнавал истины, а продолжал оставаться в былом революционном охмелении. Это не потому, чтобы истина была тягостна сама по себе. Напротив, она одна открывает настоящую гармонию истории. Беда лишь в том, что моя собственная жизнь, мое прошлое и будущее являются при этом каким-то безобразным кошмаром.

Я разрушил все в этой жизни. Я имел некоторые способности и употребил их на дело, которое мне тяжело даже характеризовать. Я имею отечество, которое любил: оно считает меня преступником и врагом. Я имел отца и мать и покинул их; отец так и умер, не увидев меня больше, мать до сих пор оплакивает меня, как живого покойника. Я имею детей и поставил их в такое положение, что они меня помянут со временем лишь самым горьким и заслуженным упреком. А между тем я всегда и по чувству, и по правилам был добрым сыном и хотел бы быть честным

отцом. Из-за чего же я принес все эти жертвы, тяжелые тем более, что они иногда приносились без согласия страдающих от них лиц?

До сих [пор] утешением и оправданием для меня служил воображаемый революционный долг. Теперь иллюзия исчезла, а с ней и оправдания перед совестью. Внутренняя нелепость моего положения также выросла до истинного трагизма. В самом деле, что я такое в душе, внутренне? Я — искренне возвратившийся к матери сын России, гордящийся своею великой родиной и считающий за честь быть подданным ее государя. А фактически — я государственный преступник, я изгнанник, я живу терпимостью совершенно чуждых мне правительств, прокаженный для всех русских, исключая тех, кого сам не хочу знать. Даже в тех случаях, когда я хочу известить родину о каких-либо опасностях извне, или, наученный тяжелым опытом, стараюсь научить русских ценить то, чем они имеют счастье пользоваться, — я и то должен скрываться за каким-нибудь тройным барьером псевдонимов!

Это положение составляет, быть-может, справедливое возмездие за страшные ошибки прошлого, но оно от этого не становится менее невыносимым. В его безысходном мраке у меня остается лишь один луч света — надежда, что, быть-может, я могу получить амнистию. В этих видах я решил обратиться к вашему посредничеству, с просьбой указать мне путь, по которому я, если это возможно, мог бы возвратить себе родину и права русского подданного.

Я надеюсь, что вы не оскорбите меня предположениями, будто бы я хочу что-нибудь покупать у своего правительства или продавать ему. Я ищу искреннего з а б в е н и я моего прошлого, как оно умерло во мне самом, ищу возможности начать новую жизнь, но в этой новой жизни я надеюсь, как и в старой, ничего не сделать противного чести и обязанностям порядочного человека. Не заподозрите поэтому, чтобы в нижеследующих строках могло скрываться какое-либо обязательство и предложение. Я просто хочу объяснить вам одно из важнейших побуждений, заставляющих меня искать возврата в отечество.

Мое прошлое налагает на меня некоторую нравственную обязанность приложить свои силы к укреплению того, что я долго,

волей и неволей, сознательно и бессознательно, расшатывал своею публицистической деятельностью, а особенно нравственной поддержкой, которую оказывал революционным предприятиям. Этой работе — уяснению и укреплению здоровых политических идей — я посвящу мои силы, насколько могу, независимо, конечно, от моего положения, за границей или в России, независимо от того, как ко мне будет относиться русское правительство. Все это для меня давным-давно уяснено и решено. Однако, я стремлюсь не только успокоить свою совесть этой честной искупительной работой, но желал бы натурально, чтобы эта работа не осталась без влияния на умы, насколько мои способности позволяют этого достигнуть. Поэтому я ищу стать в положение возможно более удобное для действия, а для этого я должен быть в России. В качестве эмигранта я заранее обречен на весьма непроизводительную роль Дон-Кихота благонамеренности. Я не отступлю и перед нею, но, желая достигнуть победы, а не поражения, естественно ищу лучших позиций. Революционное настроение умов, характеризующее нашу эпоху, излечивается не декламациями, хотя бы и самыми горячими, а освежающим влиянием точного наблюдения, изучения, анализа. Лишь такая работа дает средства к уничтожению клеветы, исправлению ошибки, обнаружению истины. Такая работа за границей невозможна. Чтобы поставить свою публицистику на серьезную ногу, должно быть в той стране, для которой работаешь, среди ее фактов: постоянное изучение их составляет единственный способ для проверки и выработки идей. Это — единственное оружие, которому я доверяю и которым, — худо ли, хорошо ли, — умею владеть. Я ищу иметь его в своих руках.

Милостивый государь! высказав все вышеизложенное с искренностью, которую вы, я убежден, почувствуете в моих словах, я могу лишь повторить свою просьбу и поручить вам судьбу свою. Не считаю, однако, себя в праве пропустить этот, может-быть, единственный случай говорить с вами без того, чтобы не высказать своих глубоких сожалений по поводу одной своей вины перед вами и самим собой. По всей вероятности, вы не знаете этого случая. Дело в том, что в одной своей статье, в издававшемся некогда «Вестнике Народной Воли», я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным

о покушении террористов на жизнь гр. Толстого. Тогда я верил этому рассказу, впоследствии понял, что он—простая тенденциозная ложь, которые тысячами сочиняются о всех высокопоставленных лицах. Но, во всяком случае, опубликование этого рассказа составляло несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею, кроме разве того, что это был единственный случай, когда политическая вражда довела меня до поступка, которого я принужден стыдиться.

Представляя вам, милостивый государь, выражения моего полного почтения, имею честь остаться готовый к вашим услугам.

Л. Т. [282])

10 августа, пятница.

Ездили в Севр и Медон, мы—семьей и m-lle Буева. Возвращались на пароходе. Заходил без нас Жонжурист: уезжает.

12 августа, воскресенье.

Получил «Конек-Горбунок»; письмо от Павловского. Приходил Жонжурист прощаться: он уезжает только сегодня. Отправлено письмо Коял-чу *).

Жонжурист рассказывал, что один из его знакомых революционеров на вопрос его, прочел ли тот мою брошюру, ответил: «Да что читать: там даже самодержавие с большой буквы напечатано».

15 августа, среда.

Получил письмо от Павловского с просьбой взять у Савина его деньги! Именно 3.850 фр. Вот уж дела **).

I. PAVLOVSKY
Correspondant du «Novoie Vremia»
38, rue Milton. Paris, le 14 août 1888.

«Я получил сейчас от Савина письмо, в котором он извещает, что «между его семьей и мною» прерываются всякие сношения по причине якобы моего еврейского происхождения. Накануне же мне сообщили действительную причину. Очень, конечно, это не-

*) Кояловичу [283])

**) Далее вставлено самое письмо.

приятно, но, в конце концов, все хорошо, что хорошо кончается. В том же письме Савин говорит, чтобы я уполномочил вас взять у него хранящиеся у него мои сбережения 3.850 фр. Будьте добры, по получении этого письма сходите к нему, возьмите деньги и вышлите немедленно мне 150 фр., а остальные храните до моего возвращения. Если вам нужно, возьмите из этих денег себе 100 фр.

Жму вашу руку и до свидания. *И. Павловский*».

17 августа, пятница.

Письмо от брата с советом ждать его указаний.

18 августа, суббота.

Получил от Савина 3.850 фр. Павловского, из коих, по распоряжению его, переслал ему (Павловскому) 150 фр.

20 августа, понедельник.

Были семейством и с m-lle Буевой в Palais de l'Industrie на Exposition du Sauvetage... *).

Типичные образчики дамской логики:

Кавалер. Русские вина недурны.

Дама. Ну, уж какие там русские вина...

Кавалер. Кахетинские вина очень хороши..

Дама. Это все равно, как сравнить шампанское Донское с настоящим.

Где ж таки! В одном Париже выпивается больше шампанского, нежели его производится в Шампани!....

Другой случай:

Собеседник. NN очень выиграл от поездки в Париж. Он как будто возмужал.

Дама. О, да. Он стал очень симпатичен и серьезен.

Собеседник. Оставаясь в России, он бы продолжал быть революционером. Но достаточно ему было посмотреть, что такое X, Y, Z, чтобы отбросить все это.

Дама. О, да. Это правда.

Собеседник. Вот что значит личное наблюдение.

*) В «Дворце промышленности» на «Выставке спасания на водах».

Дама. Да, я это сколько раз замечала. Стоит человеку жениться, обзавестись семьей, и он покидает прежние глупости...

!!!?

Собеседник. Позвольте, да при чем же тут семья? Ведь не о ней речь.

Дама. Нет, уж вы, пожалуйста, не спорьте. Я сама наблюдала, как меняется человек при женитьбе.

О, женщины! сказал Шекспир: и совершенно справедливо!

21 августа, вторник.

Получил утром «Cri du Peuple» с подлейшей статьей. По всей вероятности, это шпионы, которые хотят довести меня до ругани возможно грязной с революционерами. Революционеры же, по обыкновению, как дураки, — оружие в их руках.

Послал немедленно Бланку следующее письмо:

«21 августа 88. Эспер Александрович! Я получил от неизвестного № 1762 «Cri du Peuple» (от 21 авг. 1888), где помещена за подписью Светлова статья «L'apostasie de Tikhomirov» *), автор которой объявляет меня купленным и говорит о моих доносах.

Вы один из немногих бывших товарищей, с которым мои сношения еще не порвались. Поэтому я именно вам должен высказать, что люди, знающие, что никто не может быть более честным, нежели я, обязаны опровергнуть клевету, особенно, если она прямо или косвенно опирается на их имена и их борьбу против меня.

Таково мое мнение. Можно полемизировать, но долг честности остается при этом в полной силе.

Прошу вас передать прилагаемое письмо Дебагорию, которому прошу также показать это письмо.

(Подпись.)

22 августа, среда.

Получил «Открытое письмо» Эспера Серебрякова [284]).

Вечером, в мое отсутствие, приходил Кашинцев и, путаясь, заявил жене, что он принес мне мою брошюру, а что адресов

*) «Отступничество Тихомирова».

для ее рассылки не доставал, потому что не стоит: «никто не потеряет ничего, не читая такой брошюры», — и ушел.

Весь день кипел, как в котле.

23 августа, четверг.

Отправил письмо Бланку, которое, к сожалению, не успел переписать. Пишу: «мил. госуд. господ. такой-то». Это мой разрыв.

Днем сегодня протолковал 2 часа с Померанцем по поводу этих историй. Он сообщил, что есть обо мне сочувственные статьи в «Моск. Ведом.» и «Гражданине» [285]). Теперь понимаю, из-за чего загорелся сыр-бор. Сообщил также, что Лавров пишет мне ответ.

Получил также странное письмо П-ского. Что такое еще? Господи, ну уж, времячко!

26 августа, воскресенье.

Сегодня был в первый раз с Сашей в русской церкви. Меня она растрогала чуть не до слез — эти родные звуки. Сколько уж лет не был: с самой Женевы. На Сашу, слава богу, русская служба произвела огромное впечатление: он молился, видимо с каким-то особенным желанием; все ему нравилось, все восторгало. По выходе из церкви он сейчас, не дожидаясь моего вопроса, начал мне толковать, как хорошо в церкви и что там гораздо лучше, чем в католической.

Завтра Успенье — русское. Думаю свести Шурку, чтобы сравнил с католическим.

Катя с барышней были сегодня у всенощной.

27, понедельник.

Приехал Павловский. Я ему передал деньги и получил даже на всякий случай reçu *).

«Reçu de Monsieur Tikhomirov la somme de trois mille huit cent cinquante francs, qui lui était transmise pour moi par monsieur Savine en payement de la somme due I. Pavlovsky» **).

---

*) Расписку.

**) «Получил от г. Тихомирова 3.850 фр., переданных ему для меня г. Савином в уплату долга. И. Павловский».

28, вторник.

Вечером приходил Никандр *) объясняться по поводу моих взглядов.

29, среда.

Приходил Павл. с Виктор. Александр. Крыл[овым] [286]).

На адрес Savine'a присланы мне брошюры Коробова, который доказывает, что царь лишен благодати, и что единственное средство спасти Россию — это призвать его, Коробова.

30, четверг.

Померанц дал «Южн. Край» со статьей Говорухи-Отрока [287]) о моей брошюре: прекрасно срезюмирована ее суть.

31, пятница.

Вечером литературное чтение Викт. Алекс., в присутствии барышень.

Павловский передал: встретил, будто бы случайно, своего чиновника, который сказал, что брошюры моей не получил, и что ему передано мое письмо Плеве **).

Paris, le 31 août, 1888.

M-r Tikhomirow est invité à vouloir bien se rendre chez le consul général de Russie, 79 rue de Grenelle St. Germain, de deux à quatre heures pour une communication l'interéssant personnellement.

Paris, le 6 septembre, 1888.

Monsieur Tikhomirow est prié de vouloir bien se rendre, demain, 7 courant, vendredi, à deux heures, dans le cabinet du consul général de Russie, avec son projet de pétition, afin d'y conférer, à ce sujet, avec le représantant du ministère Impérial de l'Intérieur ***).

*) Мощенко.

**) Далее вклеены следующие две повестки франц. полиции.

***) Париж, 31 августа 1888 г.

Г. Тихомирова приглашают пожаловать к русскому генеральному консулу — 79 ул. Гренель Сен-Жермен, от 2 до 4 час., для сообщения по делу, лично его касающемуся.

Париж, 6 сентября 1888 г.

Господина Тихомирова просят пожаловать завтра, 7-го, пятница, в 2 ч., в кабинет русского генерального консула с проектом прошения, чтобы переговорить по этому делу с представителем министра внутренних дел империи.

1 сентября, суббота.

Получил прилагаемое приглашение из консульства. Зашел немедленно. Консул, Карцев, заявил, что тов. мин. Плеве поручил ему сообщить мне, что я должен подать прошение на высочайшее имя.

2 сентября, воскресенье.

Утром были с Сашей в церкви. Вечером приходил Никандр Платонович прощаться. Вот что он сказал на прощанье: «Я наблюдал, и вот мое заключение: ваши враги вам не сделают много беды, — не такие люди, не страшны. Но друзья.... может-быть, и сделают».

8 сентября.

Был в консульстве вчера. Там встретил т. н. Леонова, Петра Ивановича. Был от 2 до $4^1/_2$. Оставил у него свое прошение. Сказал притти сегодня утром. Пришел в 10 часов, пробыл до $1^1/_2$ часа. Очень интересный и даже симпатичный человек.

12 сентября, среда.

Послал нижеследующее прошение.

Ваше императорское величество,

государь всемилостивейший!

Несмотря на воздействие семейного воспитания, полного чувства преданности престолу, я очень рано подвергся влиянию революционных идей. Верование в якобы грядущий революционный переворот было привито моему юношескому уму еще в то время, когда он не был способен к самостоятельной оценке внушаемого. Захваченный этим потоком, погубившим столько других сверстников, я совершил длинный ряд политических преступлений. Двадцатилетним мальчиком, еще не имея понятия ни о каком существующем строе, я уже стал его ниспровергать в качестве члена кружка «чайковцев». С 1872 г. я вел революционную пропаганду среди рабочих, распространял запрещенные издания и сам составлял брошюры преступного содержания, из которых «Сказка о четырех братьях» и «Истор. Пуг.», точное название которой я запамятовал, были даже отпечатаны за гра-

ницей. Таковая деятельность моя была прекращена только арестом 1873 г. 11 ноября. Затем более 4-х лет я провел в предварительном тюрем[ном] заключении. Фанатизированный, но честный мальчик, я тогда еще легко мог бы понять неле[пость] своих идей. Но тюрьма отрезала меня от отрезвляющего наблюдения действительности и 4 года воспитывала в непрерывном раздражении, в ненависти, на грёзах о своем «мученичестве», на фантазиях о кровавых переворо[тах]. Преданный в 1877 г. суду Особ[ого] Прис[утствия] по так назыв[аемому] делу 193-х, я принял участие в шумном протесте подсуди[мых] [288]). В январе 1878 г. я был освобожден, так как суд, признав меня виновным в прест[упной] пропага[нде], ходатайствовал о вменении мне в наказание времени предварительного закл[ючения]. Выйдя из тюрьмы с вполне сложившимися револю[ционными] ид[еями], я сначала почти не проявлял их в какой-нибудь деят[ельности]. Я посещал различ[ные] демонстрации, но собственно в качестве наблюдат[еля]. Участвовал в одном кружке, который распался, ничего не совершив; замышлял также с некоторыми другими лицами освобождение госуд. преступника Мышкина, но эти замыслы не привели ни к какому фактич[ескому] покушению. Около мая месяца я отправился на родину, в Куб. область, и там скоро стал помышлять как-нибудь устроить свою жизнь. Еще до отъезда я узнал в бывшем Трет[ьем] Отд[елении], что не могу рассчитывать на дозволение окончить курс наук. Посему я теперь колебался между различн[ыми] другими планами, но судьба решила иначе. Осенью 1878 г. я был отдан под надзор полиции с определ[ением] места обязат[ельного] житель[ства]. При моей молодости и жажде широк[ого] наблюдения эта мера поразила меня, как громовой удар. Мне казалось, что я снова попадаю в нечто в роде недавно оставленной тюрьмы, и я немедленно бежал, без денег, без планов, даже не зная, кого из революционных друзей сумею разыскать. С этого момента начинается моя нелегальная жизнь. Прибыв в октябре 1878 г. в СПБ., я стал членом кружка «Земля и Воля». В террор[истической] деятельности этого сообщества я фактически участия не принимал, хотя совершенно ей сочувствовал. Раз только, насколько помню, я лично помог бегству Мирского, незадолго совершившего покушение на жизнь генерала Дрентельна [289]). Я также знал о готовящемся покушении Соловьева,

но ничем этому злодеянию не способствовал. К половине 1879 г. в сообществе «Земля и Воля» образовалось 2 течения: одно стремилось перейти на почву политической борьбы, имея политические убийства, как средства действия. Другое, более мирное, стремилось к пропаганде и организации в народе. Я принадлежал к 1-му течению. С тяжелым сердцем, с изумлением перед охватившим нас тогда умопомрачением, исполняю горькую обязанность припомнить эти страшные 1879 — 1881 гг.

Я тогда был вполне охвачен революционной горячкой и совершенно утратил сознание исторических прав и обязанностей. Но террористом в строгом смысле слова никогда себя не признавал и не могу быть назван. Это не только потому, что я материально и лично не принимал участия ни в одном покушении на политическое убийство, но также и потому, что в самом принципе я подобный образ действия лишь допускал, как нечто уже существующее, но в то же время совершенно второстепенное. Мои собственные идеи были несколько иные, а именно, я полагал необходимым образовать обширное тайное сообщество для произведения госуд[арственного] перев[орота] с целью созыва Учредит[ельного] Собрания, или, смотря по обстоятельствам, для захвата власти революционной диктатурой. Эта организация, по моему мнению, должна была охватить различные слои общества, но для начала она могла опираться только на революционную интеллигенцию и, стало быть, обязательно должна была сообразоваться с понятиями и стремлениями этой среды. Среда же эта, больная хроническим анархизмом, в то время, так сказать, сочилась страшной мыслью цареубийства. Бедные умы, политически расшатанные, воспитавшиеся на рабском отрицании авторитетов и на слепом преклонении перед неограниченными правами личности, тысячью путей приходили тогда к террорист[ической] борьбе: и по непривычке сдерживать свои порывы, и по неспособности возвыситься над борьбою против лиц, и по расчету, так как действительно такой пример безграничного самоуправства не мог до известной степени не «революционизировать» окружающую среду, возбуждая в ней инстинкты своеволия. Воздействие крестьянской среды, крепкой духом дисциплины, могло благодетельно действовать на «пропагандистов». Но самые успехи администрации в борьбе с пропагандой пресекли в зародыше это воздействие. Загнанная в свою

собственную среду, революц[ионная] интеллигенция к прежнему отсутствию здоровых политических принципов присоединила еще раздражение побежденного да кажущее оправдание крайностям в виде невозможности будто бы мирной деятельности. При таких условиях наркотическая идея политических убийств быстро дошла до последнего своего вывода, и мысль о цареубийстве сразу возникла повсюду, как зародыши эпидемии возникают на пропитанной заразой почве. Эта революционная масса могла тогда пойти лишь за теми, кто не противоречил ее страстям и ненависти. Моя прикосновенность к терроризму была именно уступкой, без сомнения, в высшей степени преступною, такому настроению революционной мысли. Сделать же подобную уступку я был способен, потому что и мой ум, и моя совесть, хотя в меньшей степени, были тогда омрачены общим туманом.

С характеризованными выше идеями я прибыл на Лип[ецкий] съезд [290]. Впоследствии Г[ольденберг] [291]) показывал, что съезд имел целью установление планов цареубийства. Это не точно. Съезд имел главной целью организацию нового сообщества, с новой политической программой. Вопрос о цареубийстве был поставлен лишь между прочим и был решен утвердительно, но условно, в зависимости от совершения или несовершения политических казней. Новое сообщество было действительно основано под старым названием Исп[олнительного] Комит[ета] сначала, по решению Ворон[ежского] съезда, в виде простого отдела «Земли и Воли», а потом, по решению съезда СПБ., оно окончательно обособилось. Во всех этих съездах я принимал деятельное участие. Выбранный членом Адм. Комитета [292]), я участвовал обязательно на всех его заседаниях, между прочим, и на тех, где были решены планы преступных покушений, подготовлявшихся в Од[ессе], Ал[ександровске], Моск[ве] и Зимнем дворце [293]). В исполнении же этих преступлений я не принимал участия. Вообще террористическая деятельность на мне совершенно не лежала. В Адм. Комитете я имел свою особенную часть, сообразно с моими наклонностями. Я именно руководил газетой «Н. В.», как и вообще имел наблюдение над изданиями сообщества. Мною была редактирована большая часть прокламаций Комитета. Я имел первенствующую роль в выработке «Прогр. Исп. Ком[итета]», «Подг[отовительной] работы Партии» [294]), а также

*

программ мелких, сгруппированных около Комитета кружков, в основании которых я принимал большое участие. Я участвовал в устройстве типографии сообщества. Я некоторое время, вместе с Ал[ександром] Мих[айловым], вел сношения с Клеточн[иковым], предававшим нам планы госуд. полиции. Я играл, помню, первую роль в, так сказать, дипломат[ической] деятельности сообщества, отстаивая его идеи или поступки перед другими группами и фракциями. Наконец, наибольшую часть моих сил и времени поглощало еще одно дело, которое я вел почти в противность желаниям Комитета. Я именно старался создать в самом русском обществе агитацию, а если возможно, то и организацию в пользу конституционного госуд[арственного] переворота. С целью более удобно действовать, я сделался литератором, что мне давало некоторую известность и средства к жизни. Вся эта деятельность, выдвинувшая меня на первое место, как организатора так наз[ываемой] партии «Н. В.», создала мне в ней чрезвычайный авторитет. Но в то же время я стал все холоднее и даже неприязненнее относиться к террору, постоянно грозившему успехам моих планов. Через несколько месяцев я решился выйти из членов Адм[инистрации], чтобы свободнее отдаться собственной деятельности. Около того же времени, летом 1880 г., я припужден был совершить новое беззаконие, уже не политического характера. Я полюбил девицу Ек. Серг[ееву], которая посвятила мне всю жизнь. Будучи нелегальным, я не мог на ней жениться, но, когда моя невеста стала беременною, я решился обвенчаться с нею по своему фальшивому паспорту. В этом ложном положении мы находимся и до сих пор.

Между тем наступил страшный день 1-го марта 1881 г. Я в это время уже давно не состоял членом Администр[ации], так что и голосом не принимал участия в организации злодеяния. Но я о нем знал. Несколько месяцев раньше, когда в Комит[ете] поднялся вопрос о предпринятии нового покушения, я высказался в таком смысле, что начатое в 1879 г. злоумышление есть роковая ошибка, которая, вероятно, задушит партию, так что при малейшем предлоге отступить с честью Ком[итет] должен покушения прекратить, но в то время я таких предлогов, имеющих малейший вид уступки со стороны прав[ительства], не замечал. Что касается планов гр. Лор[ис] Мел[икова] [295]), о которых ходили

лишь очень смутные слухи, мы в действительность их не верили. При таком положении, из которого я не видал исхода, я не противоречил планам нового покушения и их не защищал, не любил даже думать об этом деле, которое, я предвидел, уничтожит все, мною созданное. Поэтому я не интересовался даже узнавать о ходе подготовлений злодеяния. Я знал, что мину ведут на Мал. Сад[овой], но у Коб[озева] Богд[ановича] никогда не был, знал о подготовлении бомб, но устройства бомб хорошо не знал и их никогда не видал. На Тележной улице [296]) тоже никогда не был. Затем я узнал, мне было сообщено, как и другим членам Комитета, что покушение будет сделано при первом благоприятном случае. Последние перед роковым днем недели две я был в отсутствии из СПБ., отчасти по семейным делам, и случайно возвратился как раз 1-го марта, не зная ничего о готовящихся событиях. Лишь случайно пришедший товарищ, завернувший ко мне на квартиру, на Гороховой, сообщил о предполагаемом покушении, а через десять минут грохот взрыва, достигший до наших ушей, подтвердил его слова. Узнавши затем о роковом исходе злодеяния, я был совершенно ошеломлен, чувствуя, что из этого не будет добра. Когда в первые же дни после 1-го марта Суханов [297]) предложил в Комитете немедленное покушение также на жизнь ваш. имп. величества, я совершенно воспротивился. Я доказывал, что покушение на жизнь государя, только что вступившего на престол и не успевшего определить своей политики, было бы верхом презрения к праву и справедливости. Тогда возникла другая мысль: изложить ваш. велич[еству] наши желания. Мне было поручено составление этого документа, который был затем опубликован под названием Письма Исп[олнительного] Комит[ета] [298]). Между тем начались усиленные аресты, которые почти истребили Комитет и расстроили кружки, около него собранные. Тогда я сделал попытку восстановить Исп. Комитет, полагая, что теперь, не связанный никакими террористическими предприятиями, он будет в состоянии серьезно отнестись к планам организации широко раскинутой партии, до сих пор остававшейся пустым звуком. С этими целями я в апреле 1881 г. переехал в Москву с женой, малолетнюю же дочь, в виду бесчисленных опасностей нашего положения, я еще раньше кое-как устроил на стороне. Еще прискорбнее было для меня впоследствии

мое невольное поведение относительно второй дочери, которую я принужден был подкинуть родным. Все это крайне мучило меня, потому что я и сам любил детей и тем более видел, как из-за меня страдала жена в своих чувствах матери. Тут я лучше стал понимать по собственному опыту, в какое состояние погрузил своих отца и мать, когда покинул их в 1878 г. Между тем дело реорганиз[ации] Комитета, несмотря на мои усилия, шло мало успешно. Мне опять пришлось основывать кружки, возобновлять газету, вести переговоры с другими группами, раз даже присутствовать в качестве представителя рев. прессы, на поддельном якобы соборе «Хр. Ор.». Во всей этой деятельности мне чувствовалась какая-то фальшь и бесплодность, а в людях невольно поражала их мелкотравчатость. Утомленный и разочарованный, я уехал зимою 1881 г. из Москвы сначала в Казань, а потом в Ростов н/Д., где и прожил, кажется, до августа 1882 г. За все это время я никакими рев[олюционными] делами не занимался и перестал, наконец, даже знать, что делается в Москве и Спб. Занимался же я исключительно наблюдением России, изучал об[ычное] право, сделал довольно большую работу о низовьях Дона и, наконец, осенью 1882 г. уехал за границу.

Я рассчитывал, что здесь можно будет устроиться и подумать о пережитом. Рождение сына Александра побуждало тоже усиленно работать для содержания семьи. Но при моем положении в револ[юционном] мире уйти от политики не было возможности. На первых же порах мне пришлось вести переговоры с прибывшим за границу делегатом некоторого кружка, стремившегося побудить революционеров к прекращению террорист[ической] деятельности, чтобы тем дать правительству возможность посвятить силы устроению России. Сочувствуя идее, я способствовал, сколько мог, этому господину, который, впрочем, скоро скрылся у меня из виду вместе со своими проектами [299]. Одновременно с этим я приложил силы к поднятию совершенно тогда упавшей революцион[ной] литературы. Я помог своим участием сборнику «На родине», написал еще раньше несколько биографических очерков, Жел[ябова], Мих[айлова], Перов[ской] и т. п., издал «Кал[ендарь] Н. В.» [300]), наконец, вместе с эмигр. Лавровым взял в свои руки редактирование журнала «Вестник Нар. Воли». Вмешиваться из-за границы в дела организации и борьбы

партии в России я считал недозволенным. Но скоро обстоятельства оказались сильнее моих желаний. Приехавший из России ко мне Сергей Дегаев, не знаю, почему и для чего, сознался, что он состоит агентом полк. Судейкина, которому и предал всех революционеров с их планами и организациями. По словам Дег[аева], Судейкин этих сведений не сообщит полностью правительству, так что смерть полковника могла бы спасти большинство выданных ему лиц. Вообще Д[егаев] изображал полковника Суд[ейкина] как честолюбца, готового действовать даже против правит[ельства], о чем я, впрочем, раньше опубликовал подробную статью *). Не возвращаясь к этому предмету, я должен лишь сознаться, что с чувством отвращения перед этим сплетением измен я заявил Дегаеву, что его обязанность убить Суд[ейкина], а потом, может-быть, и самого себя. Не веря искренности этого патологического человека и полагая, что он сам не знает за час вперед, кого окончательно выдаст, я счел обязанностью снова вмешаться в организационные дела, с тем, чтобы спасти возможно большее число из выданных Дегаевым лиц, отчасти вызвавши их за границу, отчасти поместивши их в России вне ведения изменника. Таким образом несколько человек были и действительно спасены, а между тем Д[егаев], покрывшись своими Спб-скими товарищами, из которых я никого, кроме Г. Лопатина, не знал, кончил тем, что действительно совершил убийство полк. Суд[ейкина] 16 дек. 1883 г. После этого для меня, по тогдашним моим понятиям, наступил последний долг: помочь основанию новой организации, которая была бы составлена не из шпионов и не из нравственно уродливых людей. Насколько умел и насколько дозволял материал, я эту задачу исполнил, вместе с Герм. Лоп[атиным] и другими лицами, в начале 1884 г. в Париже. Между прочим, я был за это время в числе лиц, произведших допрос Дег[аеву], бежавшему за границу (16 декабря 1883 г.), и затем до некоторой степени помог ему скрыться. Решение кружка от имени якобы Исп. Ком[итета] относительно того, что Д[егаев] может остаться в живых лишь под условием никогда больше не вмешиваться в политику, постановлено с моим участием и одобрением. Но текст прокламации, изданной по этому поводу, писан не мною и мною совер-

*) «В мире мерзости и запустения».

щенно не одобрялся [301]). Засим кружок выработал с моим участием временную программу, как и вообще признал себя временным. Окончательную организацию и определение своих действий кружок отложил до того времени, когда он будет в России и вникнет обстоятельно в положение дел. При обсуждениях кружка в Париже подымался вопрос, между прочим, о терроре, но без всяких решений, лишь для выяснения мнений. Я тогда в принципе признал полезность террора в некоторых случаях, хотя вообще указывал, что это почва очень скользкая. Что касается таких вещей, как ограбление почт и т. п., кружок, с моим участием, прямо решил бороться против этих безнравственных способов борьбы. Вопрос о цареубийстве, насколько помню, на кружке коллегиально даже не обсуждался. В частных же разговорах я усиленно старался укрепить в умах членов кружка решимость не прибегать более к таким злодеяниям, которые для деятельности организаторской составляют настоящее самоубийство. Вообще я тогда открыто и всем говорил против мысли о цареубийствах. Из остальной деятельности кружка в Париже могу отметить еще свое участие в переговорах, опять-таки под фирмой несуществовавшего Исп. Ком[итета], с польской группой «Пролетариат». Я не мог серьезно относиться к ребяческим договорам двух групп, из которых одна была столь же ничтожна для России, сколько другая для Польши. Но раз переговоры возникли, совершенно не по моей мысли, я, из принципа и чтобы дать своим более молодым товарищам пример внимания к национальным русским интересам, настаивал, чтобы польская группа признала верховный надзор со стороны русской, а также чтобы поляки отказались от прав вести организацию в Литовских и Белорусских губерниях. По отъезде членов кружка [302]) в Россию, я на их деятельность влияния не имел и даже плохо ее знал. Но вообще я скоро стал замечать свою несолидарность с нею, так как она, насколько я замечал, представляла лишь сколок с прежней деятельности партии. Я тогда сам еще не понимал, что нужно делать, но в виду своих сомнений счел необходимым официально выйти из главного кружка летом 1884 г., прося Г. Лоп[атина] даже не пользоваться больше моим именем. С тех пор я ни к каким сообществам больше не принадлежал, и самая литерат[урная] революц[ионная] деятельность моя скоро прекратилась. Сношения с различными лицами революционного

мира у меня время от времени возникали, так как эти лица обращались ко мне за советами и содействием. Содействия я не оказывал, а советы мои клонились преимущественно к умиротворению анархически-террористических наклонностей молодежи. В 1886 г. один человек предложил мне деньги на революц[ионные] дела: я ему отвечал советом основать журнал не революционный и не оппозиционный, а просто независимый, с честным изучением России. Позднее одна группа предложила мне редакцию ее изданий под фирмой «Н. В.». Я отказался, советуя оставить это название, так как программа партии очевидно несостоятельна. Я всем и открыто говорил против террористической деятельности. Я говорил о страшном вреде студенческих волнений. Я поощрял и одобрял эмигрантов, ходатайствующих о возвращении в Россию. Такое мое поведение не составляло какой-либо «деятельности», ибо я еще не знал, что нужно делать, а было лишь последствием моего душевного состояния. Я переживал тяжелый период самоуглубления и критики, который, наконец, возродил меня и заставил сознательно и открыто отказаться от революционных идей.

Наблюдая револ[юционную] деят[ельность] как свою, так и других лиц, я и прежде выносил из нее на каждом шагу впечатление то смешного, то тяжелого, иногда ужасного. Издавна также, еще с 1880—81 гг., я нередко подмечал какой-то глубокий разлад между собой и товарищами, на вид так уважавшими меня. Они искренно, конечно, полагали, что мой авторитет велик для них, но в действительности я чем дальше, тем больше чувствовал, что они меня в сущности не понимают,—ни моего «национализма» в виде стремления поставить свою деятельность в соответствии с желаниями самой России, ни моего убеждения в необходимости твердой власти, ни моего независимого отношения к европейским фракциям револ[юционного] социализма: все это казалось странным. Впрочем, этот разлад существовал и в моей собственной душе, где все, что мой ум вырабатывал самостоятельно, давно боролось с принятыми на веру идеями революции. Этого разлада я не мог уничтожить до тех пор, пока не усомнился, точно ли, как это нам внушалось, наука освящает своим авторитетом эти идеи? Не решив этого, я не мог отречься от революции, и это меня приводило к уступкам революционерам. Неоднократно, понимая

ошибочность их деятельности, и все-таки оставался в их рядах, утешая себя надеждою постепенно изменить фальшивые стремления своих товарищей. Так дело тянулось, пока размышление и критика не эмансипировали меня. Чрезвычайную пользу в этом отношении я извлек из личного наблюдения республиканских порядков и практики политических партий. Нетрудно было видеть, что самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить лишь средством господства для тех, кто более искусен в одурачивании толпы. Я увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать государственную власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев. Развращающее влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само бросалось в глаза. Все это осветило для меня мое прошлое, мой горький опыт и мои размышления, и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру пресловутые идеи французской революции. Одну за другой я их судил и осуждал. Я понял, наконец, что развитие народов, как всего живущего, совершается лишь органически на тех основах, на которых они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие может быть только мирным и национальным. Я понял фальшивость этих идей, которые разлагают общество, раздувая беспредельно понятия о свободе и правах личности, тогда как самая даже свобода личности на самом деле возможна лишь в среде крепких нравственных авторитетов, предохраняющих ее от ложных шагов. Я понял, что всякая мысль может развиваться нормально, лишь опираясь на авторитеты, и что, раз подорвавши веру в них, никто не в силах удержать массу от неудержимого развития до последних выводов брошенной в нее идеи беспорядка.

Таким путем я пришел к пониманию власти и благородства наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяких алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет Верховная Власть, с веками укрепленным авторитетом.

И горькое раскаяние овладело мною.

Окидывая взглядом мою прошлую жизнь, я сам прихожу в трепет и говорю себе, что для меня нет прощения. Не для

оправдания, а лишь взывая к милости, осмеливаюсь сказать, что мое раскаяние беспредельно и нравственные муки, вынесенные от сознания своих ошибок, неописуемы. Лишь эти муки и это раскаяние дает мне силу прибегать к вашему милосердию, государь. Я умоляю ваше величество отпустить мои бесчисленные вины и позволить мне возвратиться в отечество, а также узаконить мой брак и признать моих детей, невинных жертв моих ошибок и преступлений.

Всемилостивейший государь, позвольте мне возвратиться к жизни чистой и законной, чтобы я примером этой жизни скромной, полезной, сообразно с долгом верноподданного и обязанностями честного отца и доброго сына, мог изгладить, если не из своего сердца, то из памяти близких, тяжкий кошмар моего безумного прошлого.

В. И. В. верноп[одданный]

22 авг. и т. д. *)

30 августа ст.ст. 1888.
204 av. du Maine, Paris.

Ваше превосходительство
Петр Николаевич!

Прилагая при сем мое всеподданнейшее прошение на высочайшее имя, форма которого была мне сообщена в генеральном консульстве, по поручению г. тов. мин. вн. д. В. К. ф. Плеве, я имею честь просить вас рассмотреть это прошение и засим повергнуть его на благоусмотрение госуд[аря] импер[атора].

Позволю себе присовокупить несколько объяснений. При рассмотрении моего прошения вы, надеюсь, убедитесь в моей полной правдивости. Если бы у меня вкрались какие-нибудь незначит[ельные] неточности, они должны быть приписаны единственно запамятованию. Засим я не осмеливаюсь, конечно, утруждать высочайшего внимания множеством несущественных мелочей и подробностей. Разъяснения по сему предмету, в том, конечно,

---

*) Далее пометка: «с приложением письма к Дурново» и самое письмо.

что касается меня лично, я могу сделать особо, если бы вам это показалось нужным.

Надеясь таким образом, что правдивость моя вне сомнения для вас, я не думаю также, чтобы вы заподозрели меня в чрезмерной легкости в изменении мнений. Ист[ория] моего столь долго зревшего разрыва с револ[юцией] доказывает скорее противное. Во всяком случае, мне теперь под 40 лет и мои теперешние взгляды составляют вывод целой жизни. В виду всего этого, а также имея в виду вашу известную гуманность, я, быть может, могу позволить себе просить вас о содействии вашим веским словом и вашей компетентной оценкой. По совести говорю, возвращая мне родину, вы ей возвратили бы человека глубоко благонамеренного. Вы не раскаетесь в добром слове, замолвленном за меня.

Если бы гос[ударю] имп[ератору] было благоугодно милостиво отнестись к моему всеподд[аннейшему] прошению, то для меня затем является осложнение, по поводу которого я позволяю себе усерднейше просить вашего содействия. Обстоятельства дела таковы. 1879 — 80 г. я, будучи нелегальным и проживая под фальшивыми паспортами, полюбил девицу Е. Серг[ееву], которая и стала в 1880 г. беременною. Она была, конечно, легальною. И, конечно, не могла бы быть мною оставлена в таком компрометирующем положении. Я решился лучше совершить преступление и обвенчался с нею летом 1880 г. в СПБ., в военной церкви, забыл, какого полка, казармы которого расположены на Марсовом поле, под фальш[ивым] паспортом на имя Алещенки. Засим я даже ездил с женой к ее родным, чтобы они убедились в законном положении дочери. С тех пор я имею трех детей, нелегальность которых совершенно терзает меня. Вы, который прожили вашу жизнь законно, без лганья, без упреков в презрении своих первых обязанностей, не можете себе, конечно, и представить, как совестно мне обо всем этом говорить, и какое горячее желание имею я стереть это пятно со своей совести и жизни. Одна дочь моя носит фамилию Алещ[енко], другая была мною подкинута матери моей и состоит в звании подкидыша. Наконец, сын, слава богу, со мной. Но что он такое? Он до сих пор не крещен, так как я не могу заставить себя ни записать его под не моим именем, ни признать его незаконным. До сих пор моя жизнь была, так сказать, сплошная ложь,

хотя и бессознательная. В ней еще уживались кое-как эти частности. Если бы я был помилован и возвратился в Россию, я не могу ни в коем случае не загладить этих пятен. Я не могу допустить, чтобы мои дети требовали у меня объяснений в странностях их положения. Я не сумею воспитывать детей, если мой авторитет не будет для них существовать и они в 10—15 лет начнут рассуждать о моих грехах. Строгая законность составляет для меня принцип и мои собственные дети будут горько улыбаться, когда я буду им внушать его! Это положение для меня нравственно невозможно. Я не сумею жить среди таких вопиющих противоречий, среди живых воспоминаний прошедшей беспорядочности.

Прошу вас, как человека, о сердце которого не раз приходилось слышать, войдите в это положение. Я не знаю, как, каким образом можно регулировать мое семейное положение, но укажите мне эти средства. Я обращаюсь с этой просьбой к государю. Поддержите меня вашим содействием. Не может же быть, чтобы не было средства возвратить человека к миру со своей совестью и своими обязанностями, когда он ничего более сильно не желает!

Позв[ольте], наконец, утруждать вас еще одной просьбой, хотя и менее важною для меня. Если гос[ударь] имп[ератор] соизволит даровать мне помилование, весьма вероятно, возник бы вопрос о известных ограничениях относительно моего места жительства. Я, по своим привычкам, способностям, наконец, просто по специальности, — литератор, ничем больше быть не могу в мои годы, может-быть, даже, в силу некоторых нравственных обязанностей, не имею права перестать быть литератором. Не могу ли я попросить вас принять во внимание это обстоятельство при определении моего места жительства, если бы этот вопрос возник. Я должен жить своим трудом, и я был бы поставлен в очень тяжелое положение, если бы мне был слишком затруднен доступ к литературной работе, тем более, что моя легализация немедленно превращает меня в отца весьма немалочисленной семьи.

Надеюсь, что вы не осудите меня за то, что я обращаюсь к вам с этими многочисленными просьбами. Ваша репутация дала мне на это смелость, не менее, чем затруднительность моего положения.

Зас[им] позвольте засвидет[ельствовать] мое искреннее почтение, с каким имею честь остаться готовым к услугам вашего превосходит[ельства].

14 сентября, пятница.

Посылал письмо в редакцию «Моск. Вед.», благодаря ее за помещение обо мне статьи. Еще раньше послал письмо Говорухе-Отроку.

Получил у Савина письмо из Цюриха от какого-то идиота, скрывающего свое имя, но меня ругающего (К. или Ch., чорт его знает).

15 сентября, суббота.

Получил подробную консультацию от брата (от 30 авг./11 сент.).

16 сентября, воскресенье.

Уехала M-lle Буева.

17 сентября, понедельн.

Получил брошюру Лаврова против меня [303]).

18 сентября, вторник.

Мы проводим дни крайне тяжелые. Со всех сторон грызня. Денег ни гроша, да и не предвидится ниоткуда. На дозволение возвратиться в Россию тоже как-то плохо надеемся... Мне особенно за Катю тяжело. Сегодня написал брату, чтобы он постарался мне достать работу через Н. П. Аксакова.

20 сентября, четверг.

Получено требование г-жи Симоновской (Дарьи Александровны) возвратить ей ее печь Шуберского через подателя записки, какого-то Баранова — тоже, очевидно, из евреев. Хотел взять ее или сегодня, или завтра.

Тоска ужасная. Денег нет. Неполучение известий от матери меня начинает просто удручать. Неужели она умерла?

Под влиянием криков против меня, я часто спрашиваю себя: чиста ли, действительно, моя совесть? Экзаменую ее, рассматриваю и получаю один ответ: я поступил, как должен был поступить, я поступил по глубокому убеждению; я прав, и я не мог, не имел права молчать об изменении своих мнений. С другой

стороны: что за жалкие ничтожности — в писаниях, в поступках против меня, все эти господа Лавровы, Р. *), Серебряковы, Полонские и т. п. Я должен был остаться собой, не подчиняясь этой мелюзге. Но что дальше? Если бы царь меня возвратил в Россию, я еще мог бы кое-что сделать. Но возвратит ли?

Судя по всему, сам государь — человек с большим здравым смыслом, а, стало-быть, поймет, мог бы понять меня. Но советники? Каковы они? Вот вопрос......

25, среда. Воздвиженье.

Были в церкви. Видел там Карцева, но счел более приличным не подходить к нему.

27, четверг.

По соглашению с Померанцем послал «Южному Краю» (Говорухе) предложение своего корреспондентства вместо Померанца.

Мы в большой нужде. Буквально считаем каждый сантим. Сидим без чаю и впроголодь. Вчера получил письмо из Орла. Елизавета Петровна жалуется на большую нужду.

28, пятница.

Денег у меня менее 1 франка, но за то получили, слава богу, письмо от матери из Новороссийска. Жива и здорова.

30 сентября, воскресенье.

Повесили у себя образ св. Митрофания. Как малодушен человек: мне нужно было сделать над собой страшное усилие для этого, и все из-за ложного стыда перед 2 — 3 знакомыми, которые сделают удивленные физиономии.

Холодно становится, совсем по-осеннему. Это осеннее время всегда нагоняет на меня какую-то грусть, а уж теперь особенно. Подходят холода, возрастут расходы, а денег все меньше да меньше. Проклятые деньги! Как-то весь стынешь душой, не хватает духу что бы то ни было предпринять в их отсутствие. Теперь у меня в голове темы копошатся, как муравьи, и — ни одной не делаю.

*) Рубанович или Русанов.

1 октября, понедельник.

Заложил часы: дали 7 франков; это уж последний ресурс. «Русск. Курьер» что-то неаккуратен. Печку Симоновских у нас, наконец, забрали.

Мы остались без печки. У нас было 2 маленьких чугунки и печь Шуберского, подаренная Паевскою. Эту печь себе присвоила Софья Александровна, и мы не противоречили, потому что имели печь Симоновских. Но С. А. печь нашу испортила, а, наконец, и девала, кто ее знает, куда. Маленькие печи тоже разобрали (одну взяли Федершер, другую не знаю, кто). Таким образом, наши печи все пропали за «товарищами». Свою же Симоновские у нас отобрали, вероятно, по рецепту Лаврова о репрессиях против «изменников». Халуи!

2 октября, вторник.

Денег все нет из «Курьера». Что только делать, боже ты мой! Холод. Был сегодня в Ecole Dentoire *), но не вырвали зуба, потому что не было кокаина, без чего я не решился рвать.

3 октября, среда.

Положение такое, что не хочется жить. Денег — ни гроша. «Курьер» не шлет. Взять неоткуда, заложить нечего, просить в долг не у кого. Просил достать Померанца, — видно, не мог достать. Когда я пришел к нему с этой просьбой, он, между прочим, сказал: «Мне о вас рассказывали, что вы помилованы и получаете в свои руки редакцию «Московских Ведомостей».

Я ему сказал, что ему рассказывали идиоты. «Однако, этот человек утверждал, что это известно из источников самых несомненных».

Они меня просто злят своим идиотизмом. И эти дикари воображают еще делать перевороты!

Сегодня опубликовано постановление французского правительства о том, что иностранцы обязаны представлять удостоверения своей личности. Как быть?

Ночью, бьет 3 часа. Проснулся в каком-то ужасе, с мыслью, что только я буду делать, чем кормить семью. Вероятно, это

*) Зубоврачебная школа.

потому, что желудок пустоват у самого, и ощущение голода довольно сильно. Катя жалуется на ногу: какая-то боль в nervus ichiadicus, не дающая спать. Ужасное время.

Елое, Елое, ли ма савахвани *).

5 октября, пятница.

Перебиваемся день изо дня. Павловский дал 5 франков: сам без денег, роздал, Мартемо даже дал... Сегодня взял у Вандакуровой 10 фр. От брата ответ получил: очевидно, на помощь его нельзя рассчитывать. Караул кричи! Молочник подал счет: 48 франков (4 месяца).

Начал лечение зубов. Послал Леонову просьбу о свидании, по поводу нового закона об иностранцах.

8 октября, понедельник.

Получил из «Курьера» 59 франков, засим взяли последние деньги из caisse d'épargne **), 160 фр. (осталось что-то 20 фр.). Этим поправим платежи этого месяца, а засим — яко наг, яко благ, яко нет ничего.

Вчера начал работать с Дарзансом.

Ответа от Леонова нет.

9 октября, вторник.

Запломбировал один зуб. Другой еще неизвестно, когда начнут.

10 октября.

Получил прилагаемую записку от Савина в ответ на просьбу дать мне 50 фр. в счет дохода от брошюры.

14 октября, воскресенье.

Были в церкви с Сашей. Вчера Покров, но погода помешала быть. Послал требование на последние 10 фр. по своему livret. Sic transit ***)!..

---

*) Слова Христа на кресте: «Боже мой, боже мой, почему ты меня оставил».

**) Сберегательная касса.

***) Sic transit gloria mundi: так проходит слава мира.

М-lle Б. пишет приятельнице: «О Тихомирове и его брошюре молодежь даже слышать не хочет». Дело идет о Петербурге. И прибавляет: «Передайте поклон бедной Кат. Дмитриевне» *).

15 октября, понедельник.

Катя получила письмо от Буевой с поклоном мне и без всяких сведений о политике.

А Дарзанс мой пропал, не кончив работы. Уж эти господа французы...

16 октября.

Давно не переживали такого голодного и холодного времени. Буквально ни гроша за душой, бережешь каждый сантим и все-таки ждешь, что наступит полный голод... А уж здоровье как расстраивается!

17 октября, среда.

Из caisse d'épargne получил вместо 10 фр. — 20! Это проценты. Совершенно неожиданная небесная манна, ниспавшая в то время, когда решительно неоткуда взять ни гроша.

Вечером был Павловский; рассказывал о свидании своем с Татищевым [304]).

19 октября, пятница.

..... И сам не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так на світи волочусь,
Бо вже ни плачу, ни смiюсь...**)

Так худо, так безрассветно, что и не скажешь. Из Питера — ни слуху, ни духу, да и вообще ниоткуда ни ответа, ни привета, ни поддержки. Голод, холод, тоска, ни настоящего, ни будущего... ни прошлого!

21 октября, суббота.

Вечером были Вандакурова и Павловский: рассказывали о письме Суворина [305]), о моей брошюре.

Тяжко жить. Катя чуть не плакала сейчас. Насилу утешил, хотя и сам не верю ни во что хорошее. Тяжко. Однако, работаю довольно много. Зачем? Сам не знаю.

*) Жена Тихомирова.

**) Из стих. Шевченко.

Завтра хочу итти в полицию, узнать, как же мне быть без бумаг? Из консульства так и не ответили ничего.

23 октября, понедельник.

Обедал с Павловским и Рони. Получил письмо от г-жи Новиковой. Получил от Павловского 20 фр. с обычными прелиминариями о сестре и т. д.

24 октября, среда.

Был в префектуре — делать déclaration de domicile *), с заявлением о неимении бумаг. Получил отсрочку jusqu'à nouvel ordre **).

Послал ответ и мою брошюру Новиковой.

Все нет ответа на мое прошение государю, а Леонов говорил, что ответ (т.-е. отказ или разрешение) придет «maximum через месяца два»... Это промедление меня беспокоит. Оно сулит мне скорее отказ. Вот уже почти два месяца. Если бы хотели меня простить, — могли бы сделать это уже несколько раз. Что значит?

А отказ открывает передо мной очень тяжелую обязанность. Если государь не считает возможным меня простить, — ipso facto ***) он считает меня подлежащим наказанию. Признавая себя подданным, я не могу не подчиниться воле царя. Остается, значит, лишь отдаться в руки русской администрации: явиться в Россию и — пусть арестуют. Но что делать с семьей? Я полагаю, попрошу для них позволения возвратиться в Россию, и тогда пусть Катя с Сашей едут к матери, а я отдаюсь в руки консульства.

25 октября, четверг.

Мой Померанец куда-то запропал. Должно быть, наговорили те прохвосты.

26 октября, пятница.

У меня завязалась настоящая переписка с Новиковой: прелюбопытная личность. Повидимому, она тоже заинтересовалась

*) Сообщение о месте жительства.

**) До нового распоряжения.

***) Самым фактом.

мною. Это сестра Киреева [306]), о котором рассказывает с таким почтением Маринкович. Послал брош. m-lle Толстой.

Все это превосходно, но есть все-таки нечего. Чем только это кончится, господи милостивый?!

27 октября, суббота.

Савин дал вперед 50 франков, в счет дохода от брошюры. А у нас уже оставалось немного больше франка! Еще господь не оставляет. Savine также предложил работу—книгу — «L'armée Russe» *), так как Гольдемар отказался.

28 октября, воскресенье.

Получил премилое письмо Ольги Алексеевны **) (о моих «врагах»). Был с Сашей в церкви. Пришел Померанец. Сообщил о статье против меня в «Новостях» [307]), и за меня в «Южном Крае». Халуи либералишки! И такая же сволочь, как эмигранты, такая же манера лгать.

Из «Курьера» ничего не получил в этот месяц: ничего из посланных 1000 строк не напечатано.

Померанец был болен воспалением легких, чуть жив и теперь.

29, понедельник.

Вечером был Павловский: хвалился успехами (статья о Флоке [308]): «верный и преданный друг России»!). Типичная личность. Разговор с Татищевым и Ционом [309]): «наша партия» ramolis ***). Кстати, П. ****) сказал Циону, зачем налгал на Тих[омирова]. В статье... Тот будто бы объясняет ошибкой и говорит: «а зачем он не протестовал? Я бы исправил». — «Знаете, нужно ему брошюру послать».

В «Matin» появилась статья обо мне — «Révolutionnaire repentant» *****), которому-де за это дали работу в «Нов. Времени» и «Моск. Вед.» Уж, конечно, Ашкинази! Какая бедность воображения: раз соврали, и повторяют одно и то же.

---

*) «Русская армия».

**) Новиковой.

***) Ramolis — физически и умственно одряхлевший, расслабленный.

****) Павловский.

*****) «Кающийся революционер».

30, вторник.

Получил от Savin'a статью «Matin» и еще другую, подлейшую, в «Cosmopolite». Не знаю, что и делать: рассказывает, будто бы я участвовал в убийстве государя 1 марта 81 г. Опровергать, что ли? Мерзавцы! Им больше всего страшно, что я вернусь в Россию, и уж, конечно, тогда господа либералы будут иметь с кем говорить! Статьи «Matin» и «Cosmopolite» явно писаны русскими. Статья «Новостей» такая же иудоискариотская.

31 октября, среда.

Пол[учено] письмо от Новиковой о Васильеве. Ходил в «Liberté» по поводу ложной статьи. Оставил опровержение. Весь день ушел на это. В «Cosmopolite» (который взял свою мерзость из «Liberté») тоже посылаю опровержение.

3 ноября, суббота.

Вчера видел Корвина-Круковского [310]) у Павловского.

Кампания против меня в газетах «Liberté», «Gazette de France», «Soir». — Статья Новиковой в «Pall-Mall Gazette». Сегодня: письмо Новиковой, ответ ей, визит m-me Адам [311]) (нет в Париже), визит Павловскому (нет дома). Свидание с Оди. NB. Дуэль Руб. *), протест 10 чел. (сообщено — секрет полный). Вечером свидание с Оди, уговорились на завтра. «Soir».

Вчера вечером письмо от брата по поводу «Моск. Вед.».

4 ноября, воскресенье.

Утром пошел к Павловскому с целью итти вместе в церковь на молебен [312]). Но он мне передал, что Т. **) сказал, что мое присутствие неуместно, что моя подпись под адресом царю придаст ему некоторый нежелательный характер (какой-то «интриги»). Я не мог навязывать своего общества людям, которые этого не желают, а потому не пошел, а вместо того отправил следующее письмо министру внутренних дел.

---

*) Рубановича.

**) Татищев.

Ваше высокопревосходительство!

В настоящие дни вся русская колония в Париже, воссылая благодарственные мольбы промыслу, сохранившему драгоценные дни государя императора и его августейшего семейства при несчастном случае в Борках, шлет на родину радостные поздравления. Не уверенный в том, чтобы соседство моего имени не показалось неприятно для остальных членов колонии, политически не запятнанных, я не решаюсь внешним образом вмешаться в их ряды.. Но, если бы я мог рассчитывать, что государь император, не взирая на мои тяжкие вины перед ним и Россией, соблаговолил мне позволить высказать мои чувства, я бы осмелился просить ваше высокопревосходительство присоединить мой голос к тому всенародному голосу России, где и грешный на ряду с чистым, воссылая благодарение всевышнему за избавление от опасности, угрожавшей отечеству, сердечно веселится спасению его императорского величества вместе с августейшим семейством и твердо верит в покровительство божие, для блага России хранящее царские дни.

С полным почтением остаюсь готовый к услугам ваш.

Адрес и дата.

Отправил также письмо Новиковой с вырезками.

Вечером с Hody: он просил entrevue *).

В «Liberté» и «Socialiste» протест 10, кажется, латинокварталыцев, где я объявляюсь изменником. Не читал еще.

6, вторник.

Павловский сообщил ответ Суворина (не прочь «дать ход таланту, откуда бы он ни шел»).

7, среда.

Отправил письмо О. А. **) о моих делах. «Ind[ependance] Belge» нет. Скоро будем дохнуть с голоду. Страшно холодно. Топить нечем; впрочем, температура все еще + 7° R в комнатах.

---

*) Свидания.

**) Новиковой.

9 ноября, пятница.

Вчера Катя ездила к Вандакуровой просить денег. Та получила 1000 рублей; обещала дать что-нибудь завтра, т.-е. сегодня. Не приехала. У нас в доме 90 сантимов. Завтра пойду просить что-нибудь у Павловского.

О. А. предлагает 10 фунтов. Эта жизнь решительно начинает быть выше моих сил. Какое-то общее отвращение пропитывает меня насквозь.

Что это за странная личность О. А.! Что-то из ряду вон и по уму, и по сердцу!

10 ноября, суббота.

От Павловского получил, на свою просьбу, три франка. Нужно прожить на них до получения денег от О. А., т.-е. дня три. Ей написал.

11 ноября, воскресенье.

Вандакурова дала 10 фр.

12 ноября, понедельник.

Приехал Маринкович.

14 ноября, среда.

Получил 252 фр. от Новиковой.

15 ноября, четверг.

Вечером Павловский приходил рассказать о письме Суворина о моей брошюре. Павловский предлагает просить у Суворина места лондонского корреспондента.

Мы только что размечтались с Катей о том, как хорошо выйти из нищеты, как Саша проснулся. Он теперь чуть не через ночь не спит, несмотря на бром. Что тут станешь делать? Что возможно предпринять?

16 ноября, пятница.

Послал письмо Алексею Сергеевичу Суворину.

Саша в первый раз пошел в школу.

18 ноября.

Ходил к Павловскому, чтобы вместе итти к Hody: застал его угоревшим. Не пошли, конечно. — Получил письмо О. А. относительно недоверия ко мне «других».

19 ноября, понедельник.

Ездил в Gif (Abbaye), но m-me Adam не застал, только потратил даром 2 фр. 65, да имел неприятное объяснение со шпионом.

Отправил обратно все письма О. А.

NB. Получил их все обратно через 2 или три дня.

25 ноября, воскресенье.

Была у нас Вандакурова, приведши Толкачевых и Венюкова; затем Маринкович и Павловский — сообщил об отказе Суворина по поводу корреспондентства.

26 ноября, понедельник.

Был у Павловского и взял копию отрывка письма С. *) следующего содержания:

«От Тихомирова получил письмо. Буду ему отвечать. Корреспондировать в Лондоне неудобно, так как корреспондент должен представлять редакцию, и его имя будет тотчас известно начальству. Я слыхал, что на докладе Толстого о Тихомирове государь написал, что он очень рад сделать все возможное для Тихомирова»... .

NB. А третьего дня письмо Карцева относительно слухов о чтении государем брошюры.

28, среда.

Обед у Вандакуровой.

29, четверг.

Получил от брата через Sülsbach (3 rue St. Georges) 255 fr.

5 декабря, среда.

Получил письмо Суворина с предложением сотрудничества и денег вперед.

6 декабря, четверг.

Именины Кати.

7 декабря, пятница.

Послал ответ Суворину (Алексей Сергеевич, Малая Итальянская, 18,14).

*) Суворина.

8 декабря, суббота.

Получил официальный вызов явиться в понед., 10 декабря, в 2 часа дня в посольство, а затем в консульство... Зачем? That is the question: to be or not to be? *).

10 декабря, понедельник, 6 час. утра **).

Сегодня иду в посольство. Все темно, но никто не спит. У Саши головка болит. Как он это скажет, словно ножом по сердцу! Теперь повадился вставать в 5 часов. — 9 часов вечера. Возвратился из посольства только к обеду. Получен ответ. Государь император меня амнистировал с отдачей под гласный надзор на 5 лет. Ура! Теперь начинаю новую жизнь. Нужно лишь стараться, чтобы эта новая жизнь загладила все глупости и грехи прошлого... Устал, нет мочи... Завтра куча писем во все стороны.

15 декабря, суббота.

Послал следующее письмо Дурново:

Ваше превосходительство.

Петр Николаевич!

С благоговением выслушал я высочайшую волю, дарующую мне великую милость прощения. Употреблю все усилия оправдать великодушное доверие государя императора в искренности моего раскаяния и буду счастлив, если сумею загладить прошлое работой, полезной для России и сообразной с видами правительства.

Представляя также выражения моей признательности вашему превосходительству, я позволю себе еще утрудить ваше внимание просьбой о разъяснении некоторых обстоятельств. Во-первых, моя жена, будучи эмигранткою, нуждается в разрешении вашего превосходительства на свободное возвращение в отечество; мы поедем с ребенком слабого здоровья, поэтому недоразумения относительно его матери могли бы иметь очень неприятные

---

*) Вот в чем вопрос: быть или не быть (из монолога Гамлета).

**) На полях приписка: «28 ноября ст. стиля».

последствия. Во-вторых, имеет ли министерство вн. дел какие либо предпочтения (sic) касательно моего возвращения на родину? Мои семейные обстоятельства требовали бы скорее, чтобы я ждал до весны. Я должен иметь время для устройства своих домашних дел, а также для окончания начатой ученой работы по материалам здешней публичной библиотеки. В-третьих, для меня очень важно знать, имею ли я право подписываться под своими русскими статьями? Мне бы хотелось лично нести ответственность за все, что я теперь делаю и печатаю, не скрываясь ни перед кем.

Пользуясь еще раз случаем выразить мою признательность, имею честь засвидетельствовать вашему превосходительству искреннее почтение, с которым остаюсь готовый к услугам.

(Подпись.)

После отправки этого письма виделся в 12 час. дня у Silvain с П. И. *). Это было по его приглашению; я просил о тех же предметах, как в письме.

16, воскресенье.

Был в церкви. Суворин прислал 200 руб. (через Павловского). Был в гостях у Hody с Павловским.

17, понедельник.

Суворина деньги (Société Générale) составили 508 франков 25 сантимов.

18, вторник.

Послано письмо Плеве:

Ваше превосходительство

Вячеслав Константинович!

Преклоняясь с глубоким благоговением перед высочайшей волей, даровавшей мне прощение, не могу забыть, что лишь переданные мне консульством указания от вашего превосходительства ободрили меня прибегнуть к высочайшему милосердию. Прося ваше превосходительство принять выражения моей почтительной признательности, я позволю себе также выразить уверенность,

*) Петр Ив. Леонов (Рачковский).

что моя последующая жизнь покажет с очевидностью мою искренность. Моя лучшая мечта оказаться полезным для России работою положительной и сообразною с видами правительства. Но, если бы мне и не дано было это счастье, надеюсь, что моя безусловная благонамеренность скоро станет вне всяких сомнений и моя жизнь уже никогда не навлечет на меня ни малейших упреков со стороны правительства.

Представляя выражения моего глубочайшего почтения, имею честь остаться готовым к услугам вашего превосходительства.

(Подпись).

19, среда.

Получил письмо от Гольденвейзера и ответил ему.

21, пятница.

1) Получил письмо Кояловича.
2) Послал письмо Говорухе.
3) Купил сапоги (10 фр.).

28 декабря.

Была у нас Новикова.

Отправил Суворину (на дом) статью «Несколько замечаний на полемику эмигрантов» с письмом.

Отправил письмо Кояловичу.

1889 год.

1 января (нового стиля), вторник.

Днем, т.-е. 31 декабря, в консульстве объявлено, 1) что Катя может ехать в Россию без всяких ограничений и что она будет вписана в мой паспорт, 2) что откладывать с поездкой в Россию было бы некоторым неуважением к высочайшей милости, мне оказанной, 3) что подписываться под своими статьями я буду иметь право в России.

Вечером, Новый год встречали в компании Павловского, Вандакуровой, Т. *)—просидели до 3 часов с лишним.

Получил письмо из дому и от сестры.

---

*) Татищева.

5, суббота.

Сдал Rousselet книги и проч. Рассчитался; пришлось 117 франков.

7 января, понедельник.

Письмо Петру Ивановичу *):

4 янв. н. ст. 1889 г.
204 av. du Maine.

Петр Иванович!

Вы просили меня изложить вам мои мнения относительно мер к уничтожению вредного влияния эмигрантов на учащуюся молодежь. Я с удовольствием исполню ваше желание, хотя зарапее оговорюсь, что этот вопрос могу понимать и обсуждать лишь с чисто общественной точки зрения. Вопрос, вами возбуждаемый, по мне, составляет лишь один из элементов в общей задаче умиротворения умов, которая, в свою очередь, вся, по мне, сводится к росту и развитию идей. Этот последний процесс развивается самостоятельно; меры правительственные искусственно могут ему лишь помогать или мешать, но не имеют всемогущего значения. Правительственная мудрость и удача состоят поэтому в том, чтобы находить в самой стране, в ее жизни, элементы здорового развития и опираться на них в борьбе против явлений болезненных. Я сейчас перейду к выводам из этих общих положений. Но позвольте мне сперва небольшое отклонение. Мне хочется рельефней выставить перед вами тот факт, что меры надзора, репрессий и т. п. совершенно недостаточны в борьбе с идеями. Для меня это особенно ясно, когда я размышляю о чрезвычайном совершенстве надзора, до которого достигла полиция за последние годы. Я говорю только о загранице, но здесь, будучи прежде сам эмигрантом, я имел много случаев убедиться в изумительной тонкости сведений полиции о делах, повидимому, совершенно секретных. Какими способами достигается это, я, конечно, не знаю, но, видя результаты, не могу не заключить, что самые способы, их создающие, должны быть с технически-полицейской стороны весьма совершенны. Я уверен, что такая постановка надзора должна оказывать услуги

*) Леонову (Рачковскому).

в деле предупреждения и пресечения каких-либо отдельных преступных замыслов. Но, вероятно, вы сами согласитесь, что собственно влияние эмиграции и ее идей за последние годы вовсе не уменьшилось, так что заражение молодежи продолжается. Затем, кроме таких чисто полицейских мер, насколько мне известно, существует еще прием деморализации революционного слоя. Откровенно скажу вам, что я вижу в нем, т.-е. в этом приеме борьбы, огромные опасности. Это нечто в роде отравления микробов в человеческом организме, при чем отравляется весь организм. Идейная связь, нравственная связь и тысячи всяких других связей, существующих между миром революционным и не-революционным, имеют своим последствием то, что невозможно деморализовать одних, не деморализуя других.

Деморализуя же интеллигенцию, неизбежно подрываешь вообще развитие России. Я, как видите, не касаюсь нравственной стороны дела (хотя лично считаю ее очень важною), а беру дело со стороны чисто практической, со стороны государственной пользы, и с этой стороны вижу в системе деморализации огромнейшие опасности. Эта система есть в сущности не больше, как подражание самим же революционерам, и обращает против них их собственное оружие. Я думаю, что можно, а, стало-быть, и должно, иметь оружие более совершенное. Против идеи и практики разрушения можно и должно выдвигать идеи и практику созидания, усовершенствования. Создание подобной системы мне кажется вполне возможным и по отношению к возбуждаемому вами вопросу. Мне кажется, что влияние эмиграции держится, главным образом, благодаря отсутствию нравственного противодействия. Молодежь, учащаяся за границей, в сущности покидается русским обществом на произвол судьбы, и ее подбирает первый, кто захочет, т.-е. эмиграция. Молодой человек, приехавший в Париж из России, находится здесь, как в пустыне. Единственно, кто протягивает ему руку, это, к сожалению, эмиграция. Для того, чтобы прочесть русскую книгу или газету, некуда пойти, кроме эмигрантской библиотеки. Для того, чтобы отдохнуть от работы или потолковать о вопросах, естественно волнующих молодежь, для того, чтобы получить указания о книгах для чтения, указания о наблюдении фран-

цузской жизни и т. д. — некуда итти, кроме как на эмигрантские вечера или сходки и в кружки, организуемые эмигрантами. Мудрено ли, что все развитие молодого человека следует засим по ложному пути? Это неизбежно. Берясь за газеты, он читает то, что рекомендовано, т.-е. газеты революционные; желая познакомиться с французами, он знакомится с тем слоем, который единственно доступен эмигрантам, т.-е. со слоем революционным. Так в этом узком круге односторонних влияний проходит весь курс университетского обучения, и молодой человек, в сущности ничего ровно не видевший во Франции, возвращается на родину с убеждением, в своих глазах и в глазах окружающих, что он приносит из центра цивилизации «последнее слово» премудрости в виде передовых статей «Cri du peuple».

С иным содержанием ума, с иным влиянием на окружающих этот молодой человек возвратился бы, если бы здесь, в Париже, встретил соотечественников, которые пожелали бы его поддержать и помочь ему более широко развиваться. Вы сами знаете, как невысок уровень развития эмигрантской среды. Из моего, правда, небольшого знакомства с миром русских легальных людей, проживающих в Париже, я выношу убеждение, что это люди, во всяком случае, без сравнения выше стоящие. Им вовсе было бы нетрудно конкурировать с эмигрантами во влиянии на молодежь, тем более, что в Париже, среди действительной французской интеллигенции, революционные идеи уже вовсе не пользуются былым ореолом. Их критикуют самыми разнообразными способами, и стоит вывести молодого человека из замкнутого мира эмиграции, стоит его лишь поставить лицом к лицу с действительной французской жизнью, чтобы дать ему множество способов понять нелепость и узость революционных идей. К этому-то широкому миру действительно «последнего слова» цивилизации молодой человек получает доступ ipso facto *), как только он вхож в русский дом, как говорится, «правого берега».

Вы мне скажете: «при чем тут правительство?» Я напомню раньше сказанное. Само собой, правительство не может приказать людям противодействовать ложным идеям здоровой про-

*) Самым фактом.

пагандой. Еще менее, сохрани бог, возможно порекомендовать учреждение каких-нибудь агентур нравственных влияний. Вообще, я совершенно не верю в нравственное влияние людей оплачиваемых. Нравственное влияние хорошо лишь тогда, когда оно есть дело глубокого убеждения: за деньги же получается только внешняя работа. Вы сами можете быть уверены лишь в таком человеке, который действует даром. Предполагая даже, что он, действительно, убежден, сознание получаемой платы будет его смущать, приводить в сомнение относительно самого себя. Наконец, враждебный мир закричит о «шпионстве» при малейшей возможности заподозреть человека. Вообще, по-моему, лучше ничего не делать, предоставляя жизни самой победить болезнь, нежели усиливать болезнь несообразными средствами.

Вопрос в следующем: можно ли ободрить, поддержать естественное желание русского, пребывающего за границей, оказать некоторую посильную помощь хорошему делу? Я думаю, что можно. Я думаю, не трудно найти людей, которым достаточно позволения, достаточно уверенности в том, что их деятельность не будет перетолкована в глазах правительства. Такие лица— два, три, пять, имеющие семьи, иногда учащихся сыновей или барышень, дали бы маленькие салоны, где молодежь могла бы поболтать за чашкой чая, куда допускались бы лишь избранные молодые люди, развитые, политически хорошего тона, так чтобы посещение такой-то г-жи X или г-на Y считалось бы честью. На первое время, может-быть, можно было бы обратиться к людям высоко благонамеренным и имеющим связи с молодежью (в роде, напр., издателей «Моск. Вед.») с просьбой рекомендовать добропорядочную и непременно умную молодежь. Можно было бы даже найти людей, допустим для примера, как г. Щербань, может-быть, г. Боголюбов (я говорю так—примерно), которые согласились бы уделить молодежи иногда час беседы или интересную конференцию, или вообще помогать молодежи указанием книг, интересных в Париже лиц, наконец, просто лиц, готовых помогать молодежи в приискании уроков, корреспонденций и т. д. Коль скоро такими способами сплотится небольшой слой молодежи, так сказать, благонамеренной, следует подумать о способах перенесения ее влияния на прочих студентов русских или «из России». Трудно ли представить себе органи-

зацию хорошей библиотеки и читальни в надежных руках, но с допущением участия студентов? Возможна организация лекций, конференций; наконец, молодежь, однажды проникшись крепким национальным духом и, конечно (этого можно ждать наверное), повысившись в развитии, наверное, при малейшем ободрении, стала бы устраивать диспуты с эмигрантами и т. д.

Я не вхожу в подробности этой системы действия. Они могут быть различны и будут подсказаны самими обстоятельствами. Во всяком случае, моя мысль именно в этом: нужно движение идей, развитие противопоставить эмигрантской окаменелости и дисциплине. Я нисколько не сомневаюсь в успехе такого дела, особенно, если оно будет поддержано чем-либо приблизительно подобным в России (само собой, в России было бы неудобно многое, естественное в Париже).

Извините, если местами я чересчур откровенно говорю, что думаю. Вы меня спросили о мнениях моих. Я отвечаю. Впрочем, мои впечатления, вынесенные из разговора с вами, ручаются, что вы ищете не это, а действительного мнения.

Я же иначе не умею и говорить.

Готовый к услугам вашим *Л. Т.*

P. S. Настоящая записка была готова еще четвертого января. Я ее собирался переписать. Но перед отъездом у меня столько хлопот, что не нахожу времени, а потому, чтобы не задерживать, посылаю, как есть. Извините, Петр Иванович, [за] труд, к которому я вас приговариваю—разбирать мои каракули.

18 января.

Получено от Маркграфа (Екатеринодар. Azoff-bank) через Crédit Lyonnais—1267 франков.

19 января.

Заявил консулу о своем отъезде и оставил у него о том же письмо для представителя мин. вн. дел.

20 января.

Приходили в мое отсутствие Le Francois [313]) и Жуковский, заявили, что им absolument necessaire *) меня видеть, и оставили адрес Le Francois для ответа, когда я могу их принять.

*) Совершенно необходимо.

21 января.

Весь день бегал искать людей, свидетелей, на случай свидания с теми господами. Ответил: послал Le Francois свою карточку с надписью: «Empeché de recevoir quelqu'un prie M. Le Francois de bien vouloir lui écrire le but de sa visite» *).

22 января.

Все эти дни занимаюсь уничтожением писем. Жаль, что приходится терять так многие документы. В письме Н., которое сжег, стоит отметить слова **) «...рую я обращаю[сь] к вам, как человек, ставивший вас во всяком отношении чрезвычайно высоко, глубоко и искренне любивший вас и привыкший видеть в вас наиболее удачное приближение к тому идеалу нравственной красоты, без котораго жить тошно на свете».

---

*) «Не имея возможности принять у себя кого-либо, прошу г. Лефрансе не отказать написать мне о цели своего визита».

**) Пять с половиною строчек зачеркнуто, а поверх них вклеена бумажка, со следующим текстом.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ.

1887 г.

I.

В моей жизни не было эпохи более тяжелого и мучительного перелома, как жизнь в Le Raincy. Но это время, казалось бы, такое мрачное, у меня и тогда согревалось каким-то внутренним светом, а теперь вспоминается в тихом, торжественном ореоле, полное поэзии.

Мы переехали в Le Raincy вдвойне невольно. Только что перенесли мы время ужасной болезни Саши, о которой и теперь вспоминаю с дрожью по телу. Когда-нибудь, если бог даст, запишу и эти мучительные месяцы, в течение которых мы ежедневно ждали смерти Саши (он был болен менингитом), но смерть не приходила, не проходили и припадки болезни, эти ужасные боли головы, от которых несчастный кричал, как в пытке, эти конвульсии; продолжалось мучительное лечение, падавшее на меня, никогда не сходившие мушки, которые я ежедневно сдирал, сдирал, при криках мальчика, со сжатыми зубами, ежедневно спрашивая себя: из-за чего я его мучу? все равно помрет! Но невозмутимый Raffegeou (доктор), не подавая никакой надежды, повторял: «Мы обязаны все сделать, пока он жив...». Месяцы он провел с мушками (5 штук), месяцы днем и ночью лежал у него лед на голове, месяцы он питался клизмами, вечно принимал лекарства, которые приходилось заставлять принимать угрозами, криками: «Глотай. непременно, силой волью!»... и случалось силой вливать, разжимая челюсти мученика. Боже мой, сколько я вынес,— я бы десять раз согласился сам умереть!.. Но не нами выбирается крест... Проглотит бедный и, — вдруг

рвота. Опять кричишь: «Не смей, не смей», и это часто помогало. Это ужас, — быть средневековым палачом маленького существа, которое любишь больше всего на свете. Но когда попадались часы, свободные от мучений, когда Саша чувствовал себя лучше, — чего я не делал, чтобы скрасить ему эти часы! Я выдумывал бесконечные сказки, игры, доступные больному, носил его, покупал игрушки. Я утешал себя: «Завтра помрет, — пусть проведет счастливую минуту»...

Несчастная Катя тоже билась с больным, дежурила попеременно со мной, но, измученная сама, рыдала, затыкала уши, убегала при припадках. Это была пытка, ужас, которого и выразить не в состоянии.

И мы жили под этим дамокловым мечом еще долго. Случалось потом в течение года, что мальчик целый месяц хорош. Потом вдруг начинаются грозные признаки: косоглазие, страхи, рвота и т. д.

Это было испытание, которое равнялось только глубине пропасти, из которой оно должно было меня вытащить, или лучше сказать, нас.

Наступали летние грозы и близился праздник 14 июля, годовщина их республики. Саша был сравнительно хорош; лед с головы сняли, питание улучшилось, хотя остальной режим продолжался. Мальчик немного ходил. Raffegeou объявил, что его обязательно вывезти в деревню, что это единственный шанс воспользоваться улучшением хода болезни, приводившей его в недоумение. Мальчика раньше приговорил к смерти сам Jules Simon — знаменитость, выше которой не было в Париже.

Raffegeou потом цитировал Сашу на лекции, как случай необыкновенный, а мне (уже в Le Raincy) сказал раз: «Знаете ли, что вы должны считать себя необыкновенно счастливым: от таких болезней люди не выздоравливают». Итак, нужно было везти в деревню, притом же до 14 июля, так как шумный праздник с бесконечными ракетами (мы жили на Avenue Reil, около самого парка Mont-Souris, где дается великолепный фейерверк), — этот праздник был опасен для мальчика.

Одновременно с этим у меня произошла история с префектурой, о чем тоже скажу, если придется. Меня хотели застращать и заставить выехать из Франции, но благодаря заступни-

*

честву Клемансо дело кончилось тем, что министерство согласилось, чтобы я выехал только из Парижа на некоторое время, чтобы оно имело возможность «смотреть сквозь пальцы».

Все это было по существу нелепо, потому что я уже не занимался никакой политикой. Как бы то ни было, нужно было подчиниться, тем более, что случайно это совпадало с предписанием доктора для Саши.

Ехать, но куда? Я выбрал Le Raincy. Во-первых, это местечко, находясь в часе езды от Парижа, в то же время принадлежит уже к департаменту Сены и Уазы, стало-быть, удовлетворяло требованиям министерства. Во-вторых, мой издатель рекомендовал его, как чудное, лесистое место. Это оказалось справедливо, и при осмотре Le Raincy очаровало нас с Катей своей деревенской роскошью. В-третьих, доктор одобрил выбор. В-четвертых, Le Raincy было до того даже неведомо эмигрантам, ни одной души их там не было, а путешествие туда было не легко, потому что Gare de l'Est *) далеко от Латинского квартала. Мне же эмигранты тогда надоели, осточертели до отвращения, я жаждал быть один, с чем-нибудь реальным, — лесом, буржуа, лошадьми и коровами, с чем угодно, только подальше от этих фраз и от этих людей, которые мне опротивели своей глупостью (как мне казалось).

Я также рад был поселиться в месте жительства моего издателя. Думал, что через него заведу знакомства с французами. Я же интересовался ими вообще, а в частности в виду необходимости жить французской литературной работой.

Мы наняли в Le Raincy отдельный флигель в доме м-г Депреля, на улице Avenue Thiers, № 49. Двор Депреля был довольно обширен; в средине находилась площадка, скрытая под тенью двух гигантских ormes (вязов?); этим вязам, имевшим в обхвате около 9 — 10 аршин каждый, обитатели считали более 1000 лет. Их ветви покрывали чуть не весь остальной сад, расположенный вокруг площадки. За садом шла вокруг полоса двора, в роде широкой дороги, а затем с трех сторон дома и заборы, а с четвертой — улица. Все было чисто, выметено, подрезано, высыпано песком, в саду масса цветов, особенно лилий и роз, все благо-

*) Восточный вокзал.

ухало и красовалось. Мы были очарованы после нескольких лет городской гадости. Депрель дал и нам маленький кусочек земли для огорода, на 5 небольших грядок *). Вокруг дома Депреля во все стороны, по всем улицам тянулись роскошные дачи с вековыми садами. В 200 шагах от нас особенно хороша была совершенно пустая поляна на легком косогоре, обрамленная роскошными великанами каштанами, а местами заросшая леском. Она подымалась в развалинах бывшего дворца Луи Филиппа, теперь густо заросшего лесом, местами трудно проходимым. Под этим лесом вдоль улицы видны подземные галлереи, со сводами.

Налево из нашего двора шли такие же лесистые улицы, через минут 10 приводившие в настоящий дикий лес, еще сохраняющийся на нескольких стах (около 600, кажется) десятинах пространства. Вообще та часть Le Raincy, в которой мы поселились, построена на месте некогда страшных разбоями дремучих лесов Бонди; Forêts de Bondy до сих пор служат темой страшных романов. Остатки этих лесов, когда-то тянувшихся на сотню верст, составили имение Луи Филиппа: ему принадлежало Le Raincy. Нынешняя школа есть не что иное, как его охотничий дом, прежде бывший среди леса. В Le Raincy и теперь еще охотятся парижане. По изгнании Луи Филиппа, Наполеон III, для уничтожения его влияния, приказал распродать его имение враздробь местным и пришлым жителям, которые, захватив клочки достояния бывшего короля, конечно, стали уже из интереса верными поддерживателями империи и ничего на свете не боялись так, как возвращения Орлеанов.

Так вот почему так давно могуча зелень Le Raincy. Все эти великаны, затеняющие все дворы, прожили столетия вольной лесной жизнью, прежде чем попасть в узкие рамки каменных заборов благополучных буржуа или тружеников крестьян.

Другая часть Le Raincy, примыкающая к вокзалу chemin de fer de l'Est **), — старая, приличная и тоже зеленая, но имеет вполне городской вид, с магазинами, большими домами, железными большими рынками и т. д.

---

*) В подлиннике вычерчен «план дома Депреля в Le Raincy».

**) Вокзал восточных дорог.

Собственно нанятый нами флигель был довольно дрянной. Это было трехэтажное здание. Внизу — сараи. В следующем этаже крохотная квартира из трех комнат, в следующем (по той же лестнице) еще квартира, такая же дрянь из 3-х комнат *).

Каждый этаж порознь был чересчур тесен; сверх того, немыслимо было подвергаться риску жить в такой тесноте с дрянными соседями, если бы кто-нибудь занял другой этаж. Поэтому мы наняли оба, хотя это было много для нас. В rez de chaussée **) лестница тоже была наша, равно как и часть сарая. В общей сложности образовалось у нас огромное владение, старинного фасона, нескладное, неуклюжее, неудобное, но просторное. Катя заняла верх, я ночевал там же, а занимался внизу, в пустом этаже. Мебели у нас почти не было, и я чувствовал себя как-то и жутко, и отрадно в этой голой, фантастической пустоте и тиши, где подчас ухо не схватывало ни звука, кроме шелеста дерев. По улице нашей в час не проходило и одного человека, а повозки не слышалось целый день. Старый, престарый дом только сам как-то фантастически скрипел и издавал необъяснимые трески. «То были тени предков или мыши...». Особенно ночью, подчас становилось суеверно страшно от этих таинственных звуков.

Мы сразу очутились в одиночестве, сначала относительном, а потом абсолютном; прислуги у нас сначала не было. Исполнять кое-какие необходимые услуги взялась старуха madame Преста, эльзаска родом, служившая консьержкой у Депреля и жившая возле нас в бывшей оранжерее, теперь имевшей вид какого-то нелепого сарая, с огромными окнами, кое-где цветными стеклами, сырого, холодного. Старуха жила одна, как перст, вечно в работе, больная, хилая, но добродушное, милое существо, полное покорности воле божией. Она полюбила нас и Сашу. Сам Депрель и жена его, бывшие колбасники Парижа, круглые, здоровые, сытые, были вообще весьма милы, веселы, любезны; у них была куча детишек, лет 6 — 7, тоже здоровых и розовых. Разбогатев как-то случайно, Депрель вздумал пожить рантьером и купил это прелестное местечко. Сами они занимали большой дом в глубине двора. Сверх того, были еще два флигеля: один в глубине сада, где жила семья рабочих, другой, не занятый, — на улицу.

*) В подлиннике начерчен план квартиры.

**) Нижний этаж.

Наконец, с переулка, глухой стеной позади нас, еще 2 — 3 квартиры, тоже занятые рабочими семьями.

Парижские знакомые сначала навещали нас, хотя редко, потому что все-таки было далеко. Все-таки и в это время мы были по 5 — 6 дней совершенно одни. Но посещения все сокращались, а к зиме и вовсе прекратились, конечно.

В деревне была, конечно, аптека, даже хорошая, и доктор Пьедаллю, весьма добросовестный, искусный и не ленивый. Само собой, мы все это разузнали раньше, чем переехать. Лед, который нам всякую минуту мог понадобиться для Саши, тоже можно было доставать. Наконец, Raffegeou обещал нас изредка навещать, что и исполнил. Вообще мы очень полюбили Raffegeou, умного, искусного врача и очень хорошего человека. Сашу спас только он, конечно, по воле божией, но, во всяком случае, он сделал все, что должен и может сделать человек. Вечное спасибо ему!

Перебравшись в Le Raincy (Ле Рэнси), мы чувствовали себя в бодром настроении переселенца, заброшенного в отдаленную пустыню. Начали устраивать свои аппартаменты, просиживали дни в саду, под ормами, гуляли. Я расположил свой рабочий кабинет внизу и стал работать. Саша сразу стал чувствовать себя лучше. Он был хилым, измученным ребенком, припадки время от времени возобновлялись, да и в хорошее время он требовал ежеминутного ухода и надзора. Ни на секунду его не оставляли одного. Он особенно легко был подвержен припадкам страха отчасти перед действительными предметами (собака, паук и т. д.), отчасти совершенно фантастического, иногда в яркий день боялся быть в комнате даже на аршин от матери или меня, и его приходилось брать на руки и какими-нибудь рассказами отвлекать от его галлюцинаций. Но все же он ходил, крепчал, цвет лица к нему возвращался, и он наслаждался новой обстановкой, не мог налюбоваться на эти могучие вязы, рвал цветы, наблюдал насекомых, в задумчивом полу-томном погружении в природу. Шалить он не мог, но, как старичек, жил в каком-то созерцании.

Мы не гуляли в это время далеко, — он был слишком слаб. Но каштановая поляна была достаточно близка. Прелестное местечко. С улицы-шоссе на нее нужно было переходить через небольшой ров, по тропинкам. Далее, вся залитая солнцем, она

картинно подымалась, вся на виду, обрамленная густой полосой тени от каштанов, а сама ярко зеленая; на высоте виднелось несколько разбросанных черных можжевельниковых деревьев, в душистой тени которых мы любили отдыхать, а на заднем плане виднелась густая стена леса, покрывавшего развалины дворца. Туда уж приходилось взбираться по крутизне, по вьющимся тропинкам, среди густой заросли.

Сколько благодетельных часов провел я на этой поляне, возле играющего ребенка, сам погруженный в душевный отдых одиночества или в свои думы... А думал я о многом... Во мне росло что-то новое, чего значения я сам еще не понимал, из чего не видел выводов, но что-то сильное, которого правду я ощущал с осязательностью, не допускавшей никаких сомнений.

Шура, мой Шура, — как многому он меня научил, без слов, без понятий, одним настроением, в которое он меня погружал своими страданиями, любовью, которая во мне к нему разгоралась, наконец, запросами своей маленькой, развивающейся души. Он меня привел к богу. Тяжко было итти, но этот путь привел к такому свету, что и теперь не могу вспомнить тяжестей дороги, не умею изобразить того, чем мучился, невольно вспоминаю только светлое.

На нашей поляне росло много полевых цветов, иные местечки ее были бесплодны и сыроваты; здесь росло много хвощей, удивлявших Сашу своей кристаллической формой и жесткостью; были какие-то таинственные норки, в которых мы предполагали змей или мышей! Часто здесь паслось стадо коров, а иногда несколько ослов, чрезвычайно ручных, которые сами подбегали к прохожим, в расчете на какую-нибудь подачку.

На одного осленка я иногда сажал Сашу, крепко держа его в руках. Мальчик был в страхе и восторге, хотя осел обыкновенно через 10 — 15 шагов выскальзывал из-под него и убегал.

Хороша была поляна наша и ночью, при яркой луне, то прорезывающейся из-за каймы дерев, то скрывавшейся. Саша особенно удивлялся, что луна как будто следовала за нами; этот оптический обман в холмистой и лесистой местности был поразительно реален, так что я сам только рассуждением мог ему не поддаваться.

Катя душевно отдыхала в этой прекрасной местности, при виде оживающего мальчика. Часто она была спутницей наших прогулок, чаще — занималась своим хозяйством, для которого ей на первых порах пришлось обегать Le Raincy, все разузнать, где лучше мясо, коровы, где рынки и т. д. Она познакомилась с Madame Deprele, с Madame Presta, сидела у них, болтала с ними. Другом Саши скоро стал Стап, старая умнейшая собака Депреля, которая играла с детьми так умно и осторожно, как будто человек, никогда их не обижая и только убегая, если они ее уже слишком мучили. С детьми же Саша сходился туго, он не мог играть с ними по слабости и боязливости, да сначала не знал по-французски. С детьми Депреля он сошелся лишь через несколько месяцев, хотя это были славные девчурки. Мы со своими соседями, огородниками, молочницей и т. п., скоро свели шапочное знакомство, но мой издатель скоро разорился и уехал, так что мы почти и не видались. Его дочь, выдававшая себя за жену M. Miguet, скоро им брошенная, тоже куда-то девалась.

Неподалеку от нас была церковь (католическая) на берегу бывшего королевского пруда, довольно большого и очень глубокого. Кругом по берегу высились огромные тополи-гиганты, каких я не видал даже во Владикавказе. Церковный колокол, как ни жалок он у католиков, напоминал что-то родное, знакомое сердцу, и часто мы сидели у пруда, слушая этот звон и наблюдая рыболовов-любителей, которые терпеливо сидели с удочками вокруг пруда. Рыбы в нем было маловато, но лебеди, постоянно плавающие, очень скрашивали это и без того хорошенькое местечко.

В четверти часа ходу от нас начинался настоящий лес. Мы сначала в первое лето (мы прожили в Ле Рэнси более года — два лета и одну зиму) мало им пользовались, потому что и без того в Ле Рэнси была масса прелестных мест, притом же менее диких. Лес, совершенно запущенный, перевитый огромными кустами ежевики, в несколько сажен длины, с массой ягод, был прекрасен, но казался чересчур дик для нас, отвыкших от глуши. Этот лес лишь на следующее лето стал моим ежедневным местом прогулок.

II.

Как определить сущность моего тогдашнего настроения? У меня было два существенных течения. Во-первых, ясное сознание, что мои старые интересы, идеалы, а, стало-быть, и вся жизнь, вертелись около чего-то фантастического, выдуманного, вздорного. Моя личная практика заговорщика, мое мало-по-малу увеличивающееся наглядное знакомство с действительностью французской политики, мое, наконец, теоретическое, тоже все накопляющееся знание социальных явлений, — все меня убеждало, что наши идеалы, либеральные, радикальные, социалистические, есть величайшее умопомрачение, страшная ложь и притом ложь глупая.

Не сразу я отверг все. Сначала я отбросил самое очевидно глупое, т.-е. такие нелепости, как терроризм, анархизм. Некоторое, недолгое, время, я оставался на точке зрения какой-то революционной умеренности, т.-е. устанавливал себе практичные средства для умеренно-нелепых целей. Очень недолго и некоторыми частичками души я был, так сказать, либералом. В это время я жестоко критиковал революционеров, насмехался над ними, возмущался их действиями, вообще очень правильно говорил, чего не должно делать. За время моего пребывания в Le Raincy ко мне эмигранты и российские революционеры сначала еще обращались с разными предложениями. Я их всех отстранял прямо или увиливал от них. Так, приехал ко мне X. (назову его иксом), заявляя, что никому уже не верит, кроме меня, и, имея 7000 р., которые желает посвятить «на дело», предлагает мне ими распорядиться. Я охотно его принимал, много с ним говорил, выяснял ему, что ни одно «дело» никуда не годится, от денег отказался и посоветовал ему ехать в Россию (он был легальный) и свои деньги употребить для разыскания денег на основание порядочной, честной, цензурной газеты. Его это крайне удивило. «Но что же писать под цензурой?» Я ему доказывал, что цензура никогда не в силах остановить выражения мысли, действительно нужной обществу, действительно вытекающей из данных условий. Другой раз приезжала какая-то барышня (Д., кажется) со всевозможными планами организации. Я говорил ей о военном заговоре. Она утверждала, что

это невозможно, а возможен лишь террор. Я всеми силами разубеждал ее, доказывая нелепость террора, но, кажется, не убедил. Когда Тонконогов (эмигрант)[314] задумал возвратиться в Россию и спрашивал моего совета, подать ли прошение об этом, я его горячо поддержал. Я ему объяснял, что честные, порядочные люди вполне могут жить и действовать в России. Все это в глазах эмигрантов было ужасно. На их разные мелкие глупости, то о каком-нибудь съезде, то о разных спорах — с поляками или между своими фракциями и т. п., я отвечал критикой, язвительным смехом, отказами и т. д. Когда кто-нибудь из «нелегальных» собирался в Россию «действовать», я его разубеждал на все лады...

Осенью ко мне приезжала м-lle Y. *), — своего рода знаменитость, опять с разными широкими предложениями, программами (между прочим, о газете, которая и вышла, хотя без меня). Ну, уж с этой я говорил напрямки, потому что в это время уже дошел до полного отрицания этих глупостей, да и барышню было жаль, так как явно шла на гибель. Она, однако, осталась при своем, заметив с удивлением: «В сущности он совершенный монархист». Расстались мы, впрочем, дружно.

Это было, впрочем, несколько позднее. Но уже летом 1886 г. я вступил в явный разрыв с «Народной Волей», написал статью с резким отрицанием террора [316]). Лавров и М. Н. **) пришли в ужас, равно как и Н. ***), и отказались ее печатать. Об этом см. стр. 11 и 12 брошюры «Почему я перестал быть революционером» (1888 г. 11 мая, Париж).

История с Вандакуровой, о которой скажу ниже, тоже позднее.

Вообще отрицал я в революции почти все, даже иногда все. Но что же делать? Что есть положительного? Вот был вопрос тяжкий.

Мой тогдашний друг Павловский, связь моя с которым тоже злила революционеров, тоже все отрицал. Я его любил за это, за его большой ум, который гибко и ясно понимал глупость

---

*) С. М. Гинзбург (ср. стр. 320) [315]).

**) М. Н. Ошанина.

***) Н. С. Русанов.

и ловил фразу на ее пустозвонстве. Но Павловский как-то и не нуждался в положительном. Наблюдать, приобретать независимое положение, развиваться, наслаждаться искусством, наукой,— чем это не положительное? Его это и удовлетворяло. Но тут я уже с ним расходился. Мне невозможно было отрешиться от того, что жизнь имеет более глубокий смысл, а, стало быть, есть и для отдельного человека иная роль, иная деятельность.

Где она, в чем? Я долго оставался социалистом, хотя и с прорехами. Но и социализм мой весьма трещал, и, вообще говоря, положительное у меня отсутствовало. Это было состояние до крайности мучительное.

Мое прошлое представлялось по малой мере нелепостью, зла в нем — бездна. Из-за чего?

Я всей душой жаждал реального, действительно существующего. Его искал в истории. Читал в это время я бездну, и моя мысль становилась все более решительной, самостоятельной. Реальное меня привлекало во всем. Я отдыхал душой, глядя на садовника, роющегося в грязи. Это — нечто действительно существующее, а потому во много раз выше оно, нежели фантазия rue Saint-Jaques, 328, или Glacière и avenue Reille и прочих домов умалишенных! Я уважал дерево, растущее перед моим домом, муравьев, которые копошились на нашем огороде: все это действительно существует и по-своему занято делом. Тем более искал я реального в своей личной жизни. Не много ясного тут было. Зачем я живу вообще, как существо разумное, каким вечным задачам должен служить, — все это было под вопросом, сомнением, критикой и отрицанием. Тем, однако, жгуче подымались требования того немногого, что я чувствовал несомненно реальным. И что же? Все это немногое, последнее достояние, без которого меня бы уже ничто и с жизнью не связывало, — все это находилось разбитым, расстроенным, обессмысленным мною самим.

Родных я любил, отца и мать. Они мне вспоминались тяжко мучительно даже тогда, когда я был в полном увлечении революциями. Как вспомнишь их постылую, одинокую жизнь, — словно нож резнет по сердцу. Я гнал от себя мысль о них, но хорошо, пока было чем гнать. «Я пожертвовал родными великому делу.

Я жертвую и всем, самим собой, всем на свете. Прочь же мысли». Ну, хорошо. Так было прежде. Но вот «великое дело» пошло к чорту, его нет и не было, а была одна чепуха и нелепость. Из-за чего же я осудил на муку отца и мать? Мне вспомнился голос отца, тихий, просящий: «Мы уже старики, тяжело жить, друг мой, надо кому-нибудь заботиться о старости»... Я ведь чувствовал это, я не камень был, а я все же бросил их через месяц, тайком, обманом, удрал, оскорбил и презрел просьбу старика.

Эти воспоминания резали, мучили. Я вступил в переписку с Новороссийском. Мне ответили, — правда, мать, отец иногда приписывал 2 строки, в которых только благословлял. Итак, он прощал, прощал, но и только. В радостных и любящих строках матери не было молчаливого упрека отца. Но все же сердце ныло. Конечно, я разбил их жизнь и ничем не могу этого поправить. Как бы угадывая это, мать писала, сколько счастья им, старикам, доставляют наши девочки, Вера и Надя...

Это, конечно, утешало меня, но зато сама Вера и Надя, — что с ними будет? Старики умрут, и потом? Я, конечно, не имел личного чувства к детям, которых едва помнил грудными младенцами. Но долг-то разве не ясен? Все прочее, — задачи общественные и т. д., — все это проблематично, но уж ясно, зоологически ясно, что отец нужен для детей, и без отца дети пропадают. За что же я народил на свет этих девочек, которых забросил, как щенят? И, думая об этом, я начинал любить этих сирот своих, вспоминал их все больше... Мать кстати и карточки их прислала, а также постоянно и много о них писала.

Если те дети даже становились мне родными с некоторым напряжением воображения, то около меня стояло существо, которое я любил уже прямо, непосредственно, которого вынянчил и за которого боролся со смертью вот уже несколько месяцев. Этот злополучный, хилый, больной Саша, — куда я его вогнал? Что я для него сделал и что готовлю? Чему я его буду учить, к чему готовить, в какую жизнь вводить?

Мне вспоминались несчастные эмигрантские дети, растущие какими-то зверками. И о своем вспоминал. Малютка едва лепечет, а какая-нибудь дура К. или Д., самодовольно хихикая, спрашивает: «Шура, да скажи же, — ты анархист или народово-

лец?»... Ребенок, коверкая язык, лепечет: «ахист», «адось», и эти дубины в восхищении: «Ты «адось», народоволец! Милочка!».

Стыдно, гнусно на душе становилось.

Бедный мальчишка! Он уже начинал понимать, что вот кругом нас французы. Он даже не понимает их. А мы — кто? Вон Максим плохо говорит по-русски и по-французски. Кто он? Немец. А мы? Мы русские. Что же такое русские, где Россия? Что за страна? Извольте-ка объяснить! И почему мы, русские, здесь, во Франции? Плохая ли страна Россия, и вообще в чем дело? Это просто безвыходные вопросы. Что скажу я о России? Я, который сознаю, что она в миллион раз выше Франции, могу ли я повернуть язык на хулу? Идем в Ле Рэнси к пруду, там церковь... «Что это?» — Церковь. — «Что такое церковь, зачем туда идут люди, что там делают они, почему слышен орган?»

Извольте объяснить!

Что же я даю, что дам сыну, которого люблю, которому желаю счастья, в котором, в конце концов, весь мой интерес к жизни?

Думаешь, конечно, и о Кате. Все же муж. Затащил ее в яму, откуда нет выхода. Но, допустим, это не так жгуче. Она все же взрослая, но сын, ребенок!

Все, в чем реально ощущаешь свой долг, что любишь, — все устроено не только глупо, но прямо разбито, расстроено, в полном безобразии.

Россия вспоминается тоже реально. Ведь как-никак я люблю ее. Хорошо в ней или худо, умна она или глупа, — это вопросы темные, хотя все же и они скорее п р о т и в меня. Вспоминается, что в России не худо живут, во всяком случае, не хуже Франции. История чарует своим колоссальным величием. Но оставим все это. Дело в том, что я люблю эту страну, этих людей! Я люблю и степь, и болота, и горы, люблю бородатого мужика, люблю базар, кучи арбузов, запах дегтю, баранки... Все это встает передо мной, и... ничего этого для меня не существует. Около меня этот противный француз, все это мне чужое, которое н е м о е. Из-за чего, для чего? Мука!

И еще, — самое главное, — вспоминается русский храм, лампады, таинственное мерцание золотыми искрами иконостаса, молитвенное пение, эти длинные толпы со свечами, торжественный или задумчивый колокол. О, боже мой, как это вспомина-

лось, вспоминалось особенно потому, что на душе вставало что-то странное, мистическое, чего имени я не знал.

Это была вторая половина того, что оказывалось во мне существующим.

Я искал реального в мире.

Я почуял бога в себе или около себя.

Строго говоря, я не был вполне безбожником никогда. Я только не верил в бога, я имел материалистическое миросозерцание. Но я как-то боялся воевать с богом, — меня от этого что-то удерживало. Один раз во всю жизнь я написал: «Мы не верим больше в руку божию», и эта фраза меня смущала и вспоминалась мне, как ложь и как нечто нехорошее.

И это потому, что не имел теории бога и имел теорию без бога, но в то же время давно уже ощутил нечто таинственное, чего не понимал и не мог, однако, отрицать.

Еще в России, в 1879, 1880, 1881 годах, я, переживая жизнь заговорщика, почувствовал, что мы все и все окружающее, воображая делать все по-своему, действуем, однако, словно пешки, двигаемые чьей-то рукой, в виду достижения цели не н а ш е й, а какой-то нам неизвестной. Меня удивляло присутствие какой-то руки не только в общем ходе нашей политики, но прямо в судьбе моей и моих товарищей. Эта неизвестная рука действовала так властно, что я испытывал суеверный страх и отчасти обиду: «Что же я за дурак такой, что буду действовать в чьих-то, неизвестных мне целях. Я думал, будто работаю на такое-то дело, а выходит, что я работаю на совсем иное. Что за чепуха!» Поразила меня и смерть покойного государя, которая была совершенно против всяких расчетов и, судя по-человечески, не должна была случиться. Об этом всем я когда-нибудь запишу особо [317]). Пока довольно сказать, что я уже давно не мог отрешиться от ощущения какой-то всесильной руки, нами двигающей буквально безапелляционно. Я рассудком считал это суеверием, но в чувстве не мог отделаться от впечатления.

Когда болезнь Саши подвергла меня настоящим пыткам, я, с одной стороны, почувствовал в себе прилив бороться à outrance *), с другой, у меня явилось нечто в роде молитвы.

*) До крайности.

Я не молился общепринятыми знаками, но я обращался к кому-то в душе, в сердце. К кому? Я не знал, и даже знал, что не к кому, а все-таки обращался.... Я молил кого-то о пощаде, я кому-то давал обеты. Я иногда говорил в себе: «Господи, если ты есть, помоги... Я тебе обещаю то-то и то-то, если ты есть». Что обещал я? Я обещал все вещи более морального характера: исправиться в разных пороках... увы, не по силам оказалось, но не в том дело. Факт в том, что душа моя молилась. Это составляло большой перелом во мне, который могла вызвать только невыносимая мука, какую причиняла мне болезнь Саши.

Раньше, еще незадолго, я думал иначе, преисполненный сознания своего человеческого величия. Когда мне было тяжко, я чувствовал позыв молиться, но сдерживал себя сурово и гордо: «Нет, если ты есть, господи, то не думай, чтобы я стал молиться из-под палки. Когда мне хорошо, я не думаю о боге, я не верю в него. Не подлость ли, не малодушие ли обращаться к нему, когда мне плохо?» Так я рассуждал приблизительно.

Впрочем, странно. Я хранил тщательно образок св. Митрофана, никуда без него не выезжал и часто даже не выходил. Вечно носил в кармане и чувствовал себя спокойным. Когда же со мной не было моего талисмана, я ждал беды. Этот образок, благословение матери — был мною брошен в 1873 г., и через месяц я поплатился за это тюрьмой 1873 — 1878 годов. Однако, образок не пропал. Он как-то непонятно очутился у брата, мать его там разыскала и мне привезла в СПБ в тюрьму, в 1877 г. Через месяца 2 я выпущен, и с тех пор никогда не решался его оставить. Все бросал, но не его.

Итак, чувство «суеверное» или, правильнее, «мистическое» у меня было. Но богу я все-таки не молился. Болезнь Саши меня сломала. Гордость исчезла, и я молился сам не знаю кому,— тому, кто есть, если он есть. Я почувствовал себя таким слабым, что уже не боялся унижения, и молился: «Если ты есть, помилуй, помоги».

Поправление Саши наполняло меня чем-то в роде благодарности неизвестно кому, хотя и страх не исчезал, потому что Саша каждую данную секунду мог свалиться. Он жил именно «под богом». Собственно я не помню, чтобы я благодарил эту таинственную силу, но, признаться, ее не переставал ощущать.

Помимо Саши, помимо всего прочего, я, как сказано выше, вообще чувствовал себя в разгроме, окончательно растерялся в своих понятиях. Работал и думал я много. Когда настали дожди, а потом зима, я вел жизнь пустынника. У себя внизу, во втором пустом этаже, я шагал по голым комнатам один одинехонек. Сверху слышался иногда стук шагов Кати или Саши, но по целым долгим часам я оставался один. Случалось, работал. Часто случалось, — просто думал, ломал голову. Что правда, как жить, что делать? Вместе с образком св. Митрофания я вывез и хранил также маленькое евангелие, подарок сестры Маши. «Не знаю ничего лучше этой книги и дарю ее на память моему дорогому другу»,—такую на ней надпись она сделала. Евангелие я всегда время от времени читывал и умел даже привести подходящую цитату. В Рэнси меня особенно к нему потянуло, и вот я попал в какую-то фантастическую, сверхестественную, сумасшедшую, как иногда сам называл, полосу. Я буквально вел разговоры с кем-то по своему евангелию.

Впоследствии, когда я уверовал в бога разумом, когда и сердцем стал способен, хоть иногда, вполне искренно сказать: «Верую, господи, помоги моему неверию», — так вот, впоследствии, когда я и в церковь хожу, и богу молюсь, и исполняю все обязанности православного, насколько, конечно, хватает душонки дрянненькой, — теперь уже этого не бывает. Напрасно бы я стал просить у бога ответа. Не бывает его. Да и не к чему. Обязанности мои господь мне показал в учении церкви, в книгах отцов. О чем спрашивать непосредственно? Стоит подумать, вспомнить, — и ответ без того ясен. А если не хочешь, не в силах исполнить, — что же: сам виноват. Спрашивать все-таки не о чем. Да притом на это есть духовник. Итак, я не жалуюсь и не удивляюсь. Дело понятное. Но я только отмечаю факт. Теперь этого не бывает, но тогда дело шло просто поразительно.

Лежу я на своей кровати, один, все тихо, только ветер воет в окнах, да дождь шелестит со всех сторон. Лежу и думаю, думаю. Обо всем,—и что правда, и что мне делать, и что есть. Ведь и это вопрос хотя не возвышенный, но очень жгучий. Голова мутится. Беру евангелие, развертываю: глядь, прямо ответ на мысль. Но ответ неудобный. Думаешь: «Да как же, — ведь вот какие возражения против этого». Откроешь — снова ответ,

и так дальше. Ну, иной раз прямо-таки разговор, долгий, серьезный. Я от себя говорю, евангелие — от себя. Я ничего вначале не понимал, сам находил, что чудачество, но обаяние этого таинственного разговора было слишком сильно, и я не мог от него отстать. Ответы были так удачны, систематичны, что я был увлечен разговором, словно с каким-нибудь мудрым, опытным человеком.

И вера вливалась в меня с каждым днем, вера беспорядочная, неясная, вера неизвестно во что. Веру ясную, догматическую мне неоткуда было взять, и я еще о ней мало думал. Но стал припоминать молитвы и не молился формально, но начал иногда распевать свои молитвы, пробуждая в себе воспоминания церковных мотивов. Помнится мне, при этой ревизии оказалось, что я даже иных мест символа не мог вспомнить... А молитвенника не было.

Мои таинственные беседы с евангелием большею частью касались чисто высших вопросов миросозерцания. Что правда? В чем обязанность моя? Но, случалось, искал я утешения и совета в тяжком угнетении своим бызвыходным материальным положением. И вот, в одну такую минуту нервного мистического состояния, попадается мне ответ:

«И избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского Фараона» и т. д. (Деян. 7, 10).

Этот ответ мне упорно попадался много раз, в разные дни. Он меня поразил этой настойчивостью.

Надо сказать, что в это время настолько не думал о России, т.-е. мысль о возвращении мне даже в голову не приходила, и тем более я даже и представить себе не мог получить прощение государя. Много невероятностей я мечтал за неимением действительности, но уже никак не эти. Даже обратив внимание на приведенный стих, после его упорного повторения, я все же ни на секунду сначала и долго не применял его к России, а подумал, что речь идет о каком-нибудь выдающемся заграничном правителе или политическом деятеле. Сначала я думал: «Не Клемансо ли?» Он ко мне относился действительно весьма благосклонно и тогда был близок к власти. Потом часто думал, что это в переносном смысле, и при столкновении с каким-либо выдающимся лицом, думал: «Не мой ли это царь египетский?»

Но впоследствии, когда мой хаос мыслей начал улегаться, и я действительно пришел к известной «мудрости», т.-е. не только

отрицательно, но и положительно отрекся от старых нелепых идеалов, стал христианином, понял цели жизни личной, а потому и социальной, — тогда уже, через месяцев 7, я действительно подумал: «Да не государь ли это? Не на Россию ли мне бог указывает?» И это указание евангелия было первым ободрением мне обратиться к государю. Без этого я бы никогда не поверил в возможность прощения, и мысль моя в эту сторону бы не направилась.

Меня потянуло в церковь. Нашей, православной, не было, конечно. В русскую парижскую я раньше, само-собой, не заглядывал, да и теперь не считал ее для себя. Во-первых, чтобы побывать в ней, нужно бы употребить целый день, во-вторых, я ее боялся. Церковь посольская. Я как-то боялся и стеснялся пойти туда, — мне она представлялась чем-то официальным. Сверх того, в сущности, тогда я и не ощущал сердцем различия и шел в церковь не как верующий, а как неверующий, шел с духовной пустотой, алчущей заполнения, но не знающей, какого искать содержания. Была в Рэнси и протестантская кирка, но этот полу-сарай, полу-школа никогда меня не прельщала, — в протестантской церкви я не чувствовал бога. Иное дело — католическая. Тут было что-то понятное сердцу. Я стал туда частенько заходить, молиться не молился, а так что-то такое в себя впитывал. Орган — не хор, грубо, однако, все же звучал молитвой, и толпа кругом как-то молилась... Брал я с собой и Сашу. Немного насилуя себя, с запинанием языка и с конфузливостью, я стал отвечать ему о боге, говорил ему и о Христе. Французские дети называли его enfant Jésus или le petit Jésus *). Саша стал говорить «Иисусик». На новый год мы выставили в камин башмак Саши, чтобы посмотреть, не положит ли и нам le petit Jésus, «Иисусик», какого-нибудь подарка... Признаться, тяжек был этот новый год (1887),—я должен был урывать сантимы у пищи, чтобы накупить Саше грошевых игрушек и сластей полный башмак. Дорого достались мне эти 70 — 80 сантимов! Но восторг Саши был полный. «Иисусик» и его не забыл. Само-собой, Саша знал, что мы наложили башмак, но уж так нравится таинственность детям. О Христе я часто ему говорил, больше всего, что

*) Младенец Иисус.

он добрый, что он любит детей, что он исполняет, что просят дети. Говорили и о боге вообще. Говорили даже и о чорте...

Я как будто сам анализировал себе все это, говоря об этом Саше. Я заставлял молчать свои сомнения.

«У меня сумбур на душе, пусть его не будет хоть у ребенка»... Раз, помню, зашли мы с Сашей на кладбище. Стройными рядами тянулись чистенькие могилы, в цветах, с крестами, словно ряд алтарей. Религиозная тишина царила в городе мертвых. Саша был удивлен: «Что это такое?». Я ему объяснил, и что такое мертвые, и немного — где их души... Религиозное чувство замечательно охватывало и привлекало мальчика, который больной, хилый, был в то время замечательно хорош душой, с какой-то особенной тонкостью духовного восприятия. Я учился верить в духовное начало, наблюдая этого милого ребенка, и сам от него больше получил, кажется, нежели дал ему.

По мере того, как у меня росло религиозное чувство, я становился все смелее в отношении своем ко всевозможным общественным вопросам. Я не боялся ценить их, чувствуя, что от них не безусловно завишу. По мере этого я не боялся сознавать, что в России хорошо все, что вспоминалось с отрадой. И я начал мальчику говорить тоже о России. О царе я сначала ничего не говорил, кроме того, что он есть. Но я говорил о родных, о сестрах, о дедушке и бабушке, о русской природе, о величине России. Мальчик очень всем интересовался. Но почему мы не в России? Я объяснял это, что, мол, дела̀, нужно... К счастью, мальчику и не требовалось подробных объяснений. Но Россию он все больше узнавал и привык мало-по-малу себе представлять чем-то прекрасным, светлым, желанным.

То обстоятельство, что мальчик оставался некрещеным, тяготило меня камнем. Я ему этого не говорил, конечно. К счастью, на его глазах, французские дети, гораздо старше его, совершали их première communion *).

Это у них делается торжественно. Особенно девочки,—в их белых платьицах с цветами, с торжественным видом, бросаются в глаза. Ну, я и замечал мальчику: «Вот подрастешь, тогда пойдешь на première communion».

---

*) Первое причастие.

III.

Зиму 1886 — 87 годов мы провели сурово и одиноко. Наша квартира старая, щелистая, с жалкими рамами, с дрянными каминами, была очень холодна. Зима же случилась редкая по морозам. Снег лежал глубокой пеленой, краны бассейнов приходилось оттаивать горячей водой, чтобы потекла вода. Пруды замерзли. У нас в комнате было около 5° Цельсия. От холода иногда казалось, вот-вот замерзнешь. Но, благодаря бога, мы даже не болели, а Саша все больше поправлялся.

Заработки у меня были жалкие. Французская работа давала гроши. Русская тоже не густо. С эмигрантами я тоже не знался, так что от них «позаимствовать» не приходилось, разве редко. И. Я. *), точно, немало он мне передавал, но с гримасами, так что я решался просить только уже в последней крайности, с мужеством отчаяния. Жили мы нищенски. Летом мне оказал огромную помощь нежданно-негаданно Плоештянин **), лично мне даже не знакомый. Это благодаря Родовичам. Но зима была тяжка. Я был так углублен в себя, что ничего бы не замечал, но жена и ребенок напоминали ***).

Однако, той зимы я никогда не забуду. Ей я обязан всем, во мне она произвела полный переворот, и весну я встретил новым человеком.

Это новое рождение, однако, не дешево мне стоило, да сверх того, явясь в мир с новым взглядом, я в то же время увидел себя в таком безотрадном положении, что ужас брал. Я был в полном противоречии со своей действительностью. Я был в сознании своем христианином, в действительности фактически отлучен от церкви и своих обязанностей христианина не выполнял.

Я был горячим русским и от России отлучен. Я был монархистом, и... что имел на совести?

Мне приходилось переделать всю свою жизнь, с верху до низу, а это значило фактически — принять новое отношение

---

*) Ис. Яковл. Павловский.

**) Кац, Михаил (Доброджану).

***) Далее зачеркнуто: «Между прочим, 6 января 1887 г. умер в Новороссийске мой отец, о чем я был извещен через месяца полтора, но по поводу чего, еще до извещения, имел странный сон».

NB. Об этом сказать выше. (*Примеч. автора*).

к эмигрантской среде. Это отчасти явилось и неизбежно, отчасти составляло обязанность. Нужно же было загладить свое прошлое. Наконец, некоторых я таки и любил. Не мог я не попытаться их переделать. Но как за это взяться? Как, наконец, в странном и нелепом положении моем устроить себе жизнь сколько-нибудь сообразную со своими убеждениями?

Из ломки внутренней я попал в лабиринт практической трудности.

Все это меня до того истощило и измучило, что к весне я совсем заболел. Доктор (Филибилью), не зная, что во мне происходит, однако, понял, что у меня дело в чем-то психическом. «Вы чем то заняты. Il ne vous faut pas vous absorber *). Это, наконец, опасно. У вас весь организм расстроен, очевидно, от этого». Он дал мне предписание: ежедневно гулять в лесу, прописал лекарства, побольше движения, развлечения, особенно игру на билиарде, а главное — ни о чем не думать! Легко сказать! Но я был так расстроен, так чувствовал рассыпание организма, биение сердца, головные боли, бессонницу, полное бездействие кишек и т. д., что принялся за лечение усердно.

С тех пор мы с Сашей каждое утро, только вставши, отправлялись гулять, большею частью в лес. Гуляли с час и больше, потом возвращались домой и пили молоко или кофе. Нам обоим полюбились эти прогулки. В свободное время мы отправлялись и с Катей в тот же лес, который исколесили и узнали, как свой двор. Стали заходить далеко в соседние деревни. Между прочим, в верстах 10 от нас, в лесу, находилась знаменитая часовня божией матери, Notre Dame des Anges.

В давние времена, когда эти леса славились разбоями, на этом месте божья матерь чудом спасла одного благочестивого путника, попавшего в руки разбойников. В благодарность он построил эту часовню, куда,—не помню, какого числа,—с давних пор совершаются богомолья. Поныне в этот день к божией матери сходится больше 100 000 человек. Ходили, конечно, и мы, даже не раз. Катя, кажется, ездила, потому что туда и конка ходит, т.-е. на $^3/_4$ дороги, а дальше дорога идет уже лесом. Часовня божией матери вся горела огнями, а вокруг был целый

*) Вам не следует углубляться в себя.

стан балаганов, где богомольцы ели и пили, и целый рынок. Впрочем, молитвенного элемента замечалось маловато. Все имело вид больше fête *), только, конечно, без карусель. В лавочках продавались кресты и иконы, но еще больше игрушек, пряников и т. п. Однако, около часовни толпа постоянно стояла и слушала молебны. Наши Депрели, конечно, тоже ходили на богомолье, как ходили и в церковь. Впрочем, madame Депрель, улыбаясь, заметила, что в Notre Dame des Anges некоторые ходят на богомолье, а некоторые — просто для прогулки.

Это продолжительное пешеходство по лесам и полям, иногда по целым дням, меня сильно поправило, особенно в связи с тем, что я и внутренне становился спокойнее. Лично для себя я уже установился, порвал с прошлым. В отношении эмигрантов тоже принял твердую линию; не выступая еще с громогласной, публичной антиреволюционной пропагандой, я всем, с кем сталкивался, говорил свои мнения, критиковал их, присматриваясь, на кого можно будет опереться, чтобы образовать, как мне тогда мечталось, группу, т.-е. среду людей анти-революционных. В то время я о возвращении в Россию не думал, так как это представлялось явной невозможностью, а думал просто основаться во Франции, зарабатывать себе хлеб литературной работой, а вместе с тем проповедывать свои новые идеи. Все это рисовало мне положение нелегкое, но, за невозможностью другого, я на нем останавливался, а всякое принятое решение успокаивает.

Я был в это время, с внешней стороны, далеко не одинок. Помимо французов, которых у меня было много знакомых, большею частью не близких, — в мире более или менее социалистическом у меня оставались такие друзья, как Родовичи (румыны). Старший Родович, неглупый и весьма симпатичный, сам казался в тех же сомнениях, какие были раньше у меня, и охотно слушал мои рассуждения. Мы, казалось, во многом сходились, и я бывал у Родовичей, как дома. Между прочим, благодаря ему я получил из Румынии (от друзей его) солидную сумму—тысячи $1^1/_2$ франков, в виде неопределенного займа, что и дало мне возможность перебраться на осень в Париж, расплатившись со вся-

*) Праздник.

кими долгами. Через Родовичей я познакомился и с сербами, из которых Павел Маринкович до конца остался на моей стороне. Из русских, моими друзьями оставались Серебряков, с прилегающими к нему ничтожностями, в роде его жены и Симоновских (т.-е. Коганов); также Бах с кое-кем около него крутившихся (в том числе Ландезен, впоследствии так странно разоблачившийся в деле Лаврениуса [318]).

На моей же стороне казался и Н. С. *); было много и мелочи, в роде Александрова, Ромма и т. д., потом целая куча молодежи, не эмигрантов, которые продолжали тянуться ко мне, хотя старые эмигранты, «столпы» революции, старались уже их ко мне не пускать. Из этой молодежи нашим другом стала особенно Вандакурова (Феодотья Васильевна).

IV.

Тут, накануне моего разрыва с поголовно всем эмигрантским миром, уместно сказать о его состоянии в то время.

Собственно в Париже эмиграция ничего политического не делала, хотя в ней уже появились зародыши того, что кончилось Лаврениусовским процессом. Вообще люди поумнее, поопытнее, даже просто попорядочнее перевелись или бездействовали. Копошилась же ужаснейшая дрянь, среди которой трудно было даже быть уверенным, кто там просто революционный идиот, кто ловкий полицейский агент. «Очаг» же революции, хотя и глупой, но искренней, в то время находился собственно в Швейцарии. А Париж представлял некоторую Лхассу, где торжественно бездействовали разные «знаменитости» с далай-ламой Лавровым во главе. Знаменитостями считались остатки старых «народовольцев», хотя иные из них в действительности были в свое время последней спицей в колеснице.

Главнейшим центром этой знаменитости был, конечно, Петр Лаврович Лавров. За смертью К. Маркса он был даже самым старым и известным социалистом Европы, тем более, что он, по своему эклектизму и постоянному заигрыванию со всеми фракциями, мало-мальски получавшими успех, был известен

*) Русанов.

всем народностям и всем партиям. Его знали англичане, немцы, французы, поляки; его признавали своим или союзником все революционеры, будь то социал-демократы, террористы, даже отчасти анархисты и даже резкие радикалы.

Собственно знаменитость Лаврова была не из очень завидных. В свое время все наиболее выдающиеся представители всех наиболее типичных движений относились к нему пренебрежительно. Чернышевский над ним смеялся, и Лавров, вообще мстительная натура, никогда этого не мог забыть и сохранял к Чернышевскому трусливое недоброжелательство. Ткачев и Бакунин одинаково отрицательно относились к Лаврову. С бакунинцами у него в Цюрихе когда-то выходили целые скандалы. Ткачевцы (якобинцы) писали против него стихи и рисовали карикатуры. Некоторые строфы так пристали к Лаврову, что сохранялись и втихомолку произносились еще в мое время:

Лавр и мирт,
 говорит,
Сочетал,
 говорит,
Квас и спирт...

Он, действительно, постоянно сочетал квас и спирт. Это была его основная черта. К. Маркс сказал о нем: «Лавров слишком много читал, чтобы что-нибудь знать». Ник. Соколов (автор «Отщепенцев»), революционер яростный и последовательный, говорил: «Можно быть чем угодно: дураком, подлецом, даже шпионом, но быть Лавровым — это недопустимо».

Мы, т.-е. наша компания, когда мы еще держали Лаврова около себя для украшения, как «знаменитость», между собой, хохоча, рассказывали пророческую черту из детских лет Петра Лаврова: он, по его словам, получил очень изнеженное воспитание, и, между прочим, в деревне, летом, лакей каждый день носил для него на берег реки ванну, в которой и купал молодого барчука в воде, зачерпнутой из реки. Это, острили мы, было прообразованием всей последующей жизни знаменитого человека. К какой бы реке жизни он ни подходил, он всегда лишь купался около нее в ванне, не решаясь погрузиться в живые волны.

Лавров в революцию попал совершенно некстати. По натуре он не был революционер, напротив, человек нерешительный, легко робеющий, не имеющий ни страсти, ни глазомера. Его

способность сбиваться в трудные минуты доходила до смешного. Уже будучи «знаменитостью», он должен был стать во главе депутации, снаряженной эмигрантами к Гамбетте [319]) для протеста против угрожавшей тогда выдачи Гартмана [320]) (автора, т.-е. жалкую декорацию, знаменитого покушения на взрыв царского поезда). Понятно, все остальные — мальчишки (между ними был Цакни и Павловский), нельзя было выставить вперед никого, кроме Лаврова, да Лавров и сам бы оскорбился, если бы не ему поручили речь. Приходят. Гамбетта приказал принять. Отрекомендовавши свои qualités *) представителей эмиграции, Лавров начал заранее написанную и заученную речь (к экспромтам он не был способен). Но речь Гамбетте не понравилась. В ней через пять-шесть слов стояло выражение, что honneur de la France **) угрожается намерением правительства выдать Гартмана. Как только Лавров произнес слово «honneur de la France», Гамбетта с живостью прервал его: «Потрудитесь сказать, что вам угодно»... Перерыв смутил Лаврова так, что депутации стало просто совестно. Оратор, помолчав секунду, не нашел ничего другого, кроме того, что начал речь сначала, в тех же самых выражениях, и через несколько секунд опять дошел до роковых слов «honneur de la France...»... но тут уже Гамбетта рассердился: «Оставьте это. monsieur, честь Франции находится в хороших руках, и вы можете о ней не беспокоиться». Скандал вышел полный. Не выяснив ничего, депутация удалилась.

Эта способность теряться, эта робость проявлялась в Лаврове постоянно. Никогда в жизни он не был в опасных положениях, где бы требовались некоторая храбрость и самообладание, кроме разве переезда через границу, во время бегства из России. В сущности, это совершенный пустяк. Я считаю себя скорее боязливым, чем храбрым, но я, разыскиваемый по всей России и рискуя головой, переезжал через границу сам, и это так просто, что право ничуть не страшнее переезда из Москвы к Троице-Сергию. Да и кто не переезжал границы! Лаврова же, как ребенка, вез такой опытный, ловкий, беззаветно храбрый весельчак и авантюрист, как Герман Лопатин, при котором,

---

*) Звание.

**) Честь Франции.

кажется, всякий трус мог бы развеселиться и позабыть опасность, особенно такую пустую. Но Лавров трусил ужасно и доставил Лопатину массу хлопот и забот.

Не революционер по характеру, Лавров не был революционером и по уму. Он собственно человек очень неглупый, с огромной памятью и с массой знания чрезвычайно разностороннего. Но ум у него не смелый, не оригинальный, ум компилятора, ум довольно гибкий, но не глубокий. Он был бы очень хорошим профессором, он способен разработать какую-либо частность, но перед целым он всегда растеривался и, не смея, не умея создать себе дороги, идет сразу по всем дорогам, какие только знает, а знает он их десятки. Поэтому-то, может-быть, знания его, чрезвычайно обширные, всегда довольно поверхностны, а часто даже поразительно поверхностны. Он знает названия книг, предисловия, но сколько важных книг его библиотеки, десятки лет лежавших под пылью, я первый принужден был разрезать. Это — факт. Не менее удивительно, что, называя себя марксистом, он до меня и Н. С. не знал первых оснований «научного социализма», и мы его прямо первые обучили, в чем дело, — мы, оба противники «научного социализма». Это факт, которому трудно поверить, а между тем это безусловная правда.

Широта сведений и робость ума отчасти предохраняли Лаврова от всего, что было оригинально односторонне в революционных фракциях. Зная более или менее массу мнений, не умея выбрать, не смея безусловно отринуть ни одного, он ни к одному безусловно и не приставал. Безусловно верил он только в то, что было общепризнано в целом «передовом» миросозерцании: материализм, социализм, не входя в подробности, демократизм, революция. В более молодые годы, с закалкой культурного человека, он еще был смелее в отношении всех революционных учений, более явно невежественных. Но потом он окончательно растерялся. Он привык видеть, что мнения, казавшиеся ему нелепыми, принимались, распространялись, производили фактическое громкое действие (как, например, терроризм), оставляли по себе особых революционных «знаменитостей». Поэтому он, наконец, окончательно не мог разбирать, что умно и что глупо. Его миросозерцание стало таково, что стремилось совместить все, все плюсы и минусы, коль скоро

данное мнение признавало революцию, социализм и материализм. Он все принимал, ничего не отрицал вполне и ко всему делал оговорки. Эта черта приняла широчайшие размеры, так что Лавров, наконец, решительно перестал распознавать, что глупо, что умно, кто глуп, кто способен, в чем есть искра знания, в чем полное невежество. Самую нелепую чепуху какого-нибудь шарлатана или дурака революции он слушал столь же внимательно, как речь умного. Кругом его были люди вообще елееле образованные. Но Лавров совершенно серьезно говаривал мне или кому другому: «Да знаете, такой-то пишет исследование о декабристах». Это «исследование», при даже полной способности писавшего, могло быть только ничтожной компиляцией, конечно, уже хотя бы по отсутствию в Париже материалов. Но Лавров не понимал различия. Он о статьях всех окружавших нас оболтусов выражался не иначе, как «труд». «Вот такой-то Френкель или Коган пишет труд по истории русского революционного движения или по политической экономии». — «Полноте, Петр Лаврович, ну, что такая дубина может написать?». — «Нет, отчего же, вот посмотрим». Это доходило до того, что ему случалось беседовать с формальными сумасшедшими, в роде Григорьева, и он вполне внимательно их слушал и обсуждал.

Особенным авторитетом являлись для Лаврова «действующие» революционеры из России. Кто бы ни приехал, выбежавши из ссылки или так, «с воли», — он перед всеми таял, любезничал, все у него были хороши и умны. За его долгую эмигрантскую жизнь перед ним прошли целые ряды и слои этих «действующих». Приходили, искали его, старались залучить к себе, как «имя», как «ученого», как украшение и,— сначала каждая tournel *) это думала, — как силу, таланта. Лавров рад, любезен, одобряет, поправляет, спорит и всегда идет на компромисс. Начинают «действовать», Лавров пишет статьи, у него на квартире происходят совещания, устанавливаются планы, «действующие» уезжают на действие; сначала все идет, ведется шифрованная переписка, всякие надежды, успехи; кончается, конечно, разгромом. Все погибают или отстают. Уце-

*) Спица.

левшие, узнавши Лаврова, перестают его уважать, относятся с насмешечкой. Но вот является новый слой «действующих»,— и опять к Лаврову; опять этот же прием, и вся история проделывается буквально с начала до конца. Потом опять и опять сменяются фракции, «партии», — и все вертится около Лаврова, стоящего незыблемо и всем служащего декорацией. Так выросла его знаменитость.

У других, более определенных, этого не могло быть. Но Лавров мог пригодиться всякому, и всякий годился для него.

Странная это знаменитость была. Буквально все уже имевшие с ним дело, узнавшие его, между собой в грош его не ставили. Ни его теории, ни его практические мнения не привлекали их внимания. «А, что он понимает! Мало ли что он городит!» Все старались просто ухаживать за ним, чтобы уговорить или заставить его правдами-неправдами «приложить руку», гласно стать якобы с ними. Для этого уж чего не делали,— и ходили к нему скучать в тоске его «четвергов», и устраивали ему обеды (он очень чувствителен к хорошему столу), и обманывали его. Особенно хорошо умела обходить его М. Н. Полонская (т.-е. Ошанина). Все от него хотели имени и страшно боялись личности, боялись, как бы он в самом деле не написал или не сделал своего, которое непременно будет некстати. И, в сущности, Лавров понимал это отношение и шел на компромисс. Зато внешняя роль всегда предоставлялась ему.

Так относились к нему все уже знавшие его, даже любивший его искренно Г. Лопатин. Но, кроме этих знавших, в Париже всегда была кучка молодежи, студентов, особенно студенток, и разного рода новых эмигрантов, и эти все искренно тянулись к Лаврову, ждали от него учения, наставления, и окружавшие его искренним уважением до тех пор, пока его не узнавали. Вечная история была и у студентов: походит, походит к Лаврову и тоже потеряет уважение, в грош не ставит. Но в это время набирались новые, еще не искушенные опытом, так что Лавров оставался вечно «окружен». Наконец, около него всегда была куча людей из интереса. Такие паразиты, как Гальперин («Каминский») [321]) или Ашкинази («Мишель Делин»), приходили к нему за сведениями для своих статей во французские жур-

налы. Все питавшиеся корреспонденциями в русские газеты ходили к Лаврову за темами, потому что он следил за заграничной жизнью и литературой. Ходили к нему и за деньгами, потому что у Лаврова они всегда водились, и давал он их очень легко и охотно. Кто только не бывал ему должен! К этому нужно добавить, что сам Лавров лично жил очень скромно и на себя мало тратил. Единственно, на что он тратил, это — книги. Одет был скромно. Будучи весьма лаком, он обычно ел совершенно скромно и жалел на это тратить. Но помогал своим охотно, легко и с полной деликатностью. Только своим. Чужих он не признавал и ни за что бы не дал гроша медного.

Жил Лавров исключительно собственными средствами. У него были друзья, более или менее солидного положения в России, которые его не оставляли никогда. Они ему доставляли и работу, даже просто обманывали его: т.-е. заказывали работу, платили прекрасные деньги, а работу прятали в ящик, может-быть, и сожигали, qu'en sais-je *)? А очень многое и печаталось. Как бы то ни было, Лавров не знал, что такое нужда. Раз, вследствие какой-то тревоги в России, он был крайне обеспокоен вопросом о своем существовании и мне, как товарищу, рассказывал, что обеспечен всего на два месяца. Это было для него уже плохо. А у него оставался целый капитал в библиотеке, которая застрахована была в 10 000 франков. Ну, а мы все, грешные, с женами и детьми, не имея вещей и на 100 франков, считали себя уже обеспеченными, если знали, что будем есть через неделю. Так что вообще Лавров среди общего нищенства эмигрантов занимал положение, можно сказать, блестящее.

Жил Лавров спокон веков на rue Saint Jaques, 328. Даже когда его выслали в Лондон (после Гартмана), он оставил квартиру эту за собой [322]). На узкой, шумной улице, типичной старой парижской, вечно гремевшей гигантскими колесами телег, обрамленной высочайшими домами, с бесконечными мясными, épiceries **), и т. п. — все больше для рабочего люда, — вы, идя с boulevard Port Royal, встречали налево ворота 328. Из глубины двора направо дверь и лестница, узкая, старо-парижская.

*) Как знать?

**) Бакалейная лавка.

Поднимаетесь на второй (по-русски, — третий) этаж. Там его квартира *). Она состояла из двух небольших комнат, передней и кухни, которая служила складом для книг, потому что Лавров дома ничего не готовил. Комнаты, сами по себе крохотные, были загромождены мебелью и особенно книгами, которые покрывали все стены от полу до потолка в обеих комнатах, но все-таки не умещались и завалили еще несколько шкафов и этажерок, переходили на кухню и еще ее покрывали всю. От книг у него, что называется, не было живого места. И книги почти все на подбор: прекрасные, лучшее, что выходило по-русски, французски, немецки и английски по всевозможным отраслям знания, отчасти и беллетристике. Книги эти большей частью даром доставлялись друзьями, но масса и покупалась. Книги Лавров любил, он ими только и жил, только среди них он был доволен и счастлив. И, однако, он их раздавал так же легко, как деньги, и масса книг у него пропадала, потому что он редко записывал выданные. Отказать в книге (своему) было против его правил, хотя давал с болью в сердце; иногда, не желая дать, прятал, скрывал, но отказать не мог. А большею частью сам даже советовал взять то или то. Библиографические его знания были громадны. Часто он не знал хорошо книги, даже не читал ее, но всегда мог указать заглавие, приблизительно содержание и репутацию книги. Его советы в этом отношении были весьма ценны.

Он жил аккуратно, правильно, как машина. Весь день был распределен по часам. Вставал в 6 часов и садился работать. Работал всегда утром. Затем приходила femme de ménage (жена консьержа) и начинала уборку, а Лавров завтракал, потому что с величайшей точностью в этот же час ему приносили завтрак из crémerie **), завтрак легкий, который он съедал с жадностью.

По окончании работы наступали часы приема посетителей, которых было множество каждый день. Затем шел обедать в кухмистерскую, куда-нибудь поблизости. Вечер был посвящен занятиям легким, — чтению журналов, перелистыванию книг и т. д. Тут он опять принимал гостей. Ложился спать не позже 12. Так изо дня в день, из года в год. В четверг,

*) Далее начерчен план квартиры.

**) Из молочной.

вечером, он принимал гостей уже специально, парадно, на вечер. Затем весь этот круг жизни разнообразился лишь тем, что Лавров иногда был приглашаем на обед каким-нибудь из своих почитателей или на какой-нибудь партийный бал и т. п. Иногда выпадало время, что он читал какие-нибудь лекции. Все это происходило в Латинском квартале. Лавров из него почти никогда не удалялся, на дачу не выезжал и даже загородных прогулок не любил.

Случалось раз в год, что приглашали его куда-нибудь в Венсенский лес, но и это не иначе, как с тенденцией. Природы Лавров не любил и даже не понимал и откровенно в этом признавался. «Неужто вы не любите природы?» Он смеется: «Нет, отчего же! Она мне не мешает ни в чем». Неподвижный и домосед, он считал великим путешествием, если приходилось (раза два в год) отправиться работать в Bibliothèque Nationale на rue Richelieu. К этому он готовился недели две, прежде чем решиться на подвиг.

Вообще он был высоко кабинетный, книжный человек. Собственно наглядно, не из книг, он знал очень мало. Он знал прекрасно систематику растений, но, когда мой Саша сорвал однажды мак и, показывая ему, спросил, что это за цветок, то Лавров не знал. Живя 20 лет в Париже, он раз при мне с наивным и совершенно нескрываемым удивлением сказал: «Однако, что я сегодня заметил: какое множество каштанов в Париже». Парижские каштаны! это краса города, роскошно затеняющие улицы в 50 саженях от дома Лаврова! И он их заметил только теперь! Такое редкое отсутствие наблюдательности Лавров даже не стыдился обнаруживать, — он не понимал, что это дурно. Так точно он не имел впечатлений и от людей. Житейские и политические отношения он знал в общих формулах, по книгам, но не в конкрете, не по наблюдению. В связи с этим, может-быть, он не имел ни личных привязанностей, ни антипатий. Было много людей, которых он ненавидел, но собственно потому, что они когда-нибудь его задели, оскорбили и т. п. Он был до крайности самолюбив и тщеславен и обиду помнил десятилетия. Он это, впрочем, признавал открыто, как нечто должное: «Я никогда ничего не забываю, и не следует никогда ничего забывать». Так, он не любил Чернышевского,

Ник. Соколова, и много их было. Баха он возненавидел за то, что, вопреки желанию Лаврова, он взялся за реформу заброшенной и погибающей библиотеки (эмигрантской). Лавров сказал: «Ни за что», а Бах с К⁰ все-таки сделали. Это было оскорбление незабываемое. Таких антипатий у него было много. Не любил он, например, Федершера за какую-то прежнюю непочтительность и т. п. Лестью и ухаживанием, напротив, всякий к нему мог подделаться и найти его защиту, поддержку, симпатии. Но симпатии и антипатии Лаврова только на этом и вертелись. Любить или не любить человека за то, что он умен, честен, силен или глуп, подл и дрянен — он совершенно не умел. И, без сомнения, никаких этих качеств просто не замечал в конкретном человеке.

Единственное исключение представлял Герман Лопатин, которого Лавров любил сердечно, любил, хотя Лопатин позволял себе и подшучивать над ним. Лопатину все прощалось. Надо сказать, что Г. Лопатин был действительно очень симпатичная личность. Чрезвычайно талантливый, красавец, храбрец и авантюрист в душе, способный на миллион вещей, балагур и рассказчик, который умел и статью написать, и устроить побег из тюрьмы, много читал и бегал за бабами, — человек на все руки, и притом с сердцем весьма нежным и с чисто дворянским чувством благородства. Его недостаток составляло только вообще легкомыслие, преобладание фантазии и вкуса к блестящему, фейерверочному. В глазах серьезного политического деятеля это был огромный недостаток, не допускавший никакого серьезного, прочного построения. И Г. Лопатин, действительно, за свою долгую радикальную жизнь ни в одном серьезном деле не имел участия. Он сам сознавал эту свою слабую сторону и отчасти мучился ею, но природа остается природой. В последний момент деятельности Г. Лопатина в Петербурге его очень испугались и считали весьма опасным. Это ошибка. Конечно, Герман Лопатин мог много накуралесить, мог устроить и какое-нибудь покушение, но он обязательно должен был быстро попасться и все свои дела провалить. Как и случилось.

Другой же личный недостаток Г. Лопатина было безбожное вранье. Он врал и хвастал, как охотник, — неудержимо и про-

сто постыдно, врал так, что даже не мог обмануть. Это было нечто болезненное. Замечательно, что сын его маленький унаследовал это неудержимое хвастовство. Едва достигнув лет 8, он уже говорил маленьким товарищам: «Ты знаешь, все дети, когда родятся, — вот такие (показывает руками четверть аршина), а я, когда родился, был вот какой» (раздвигает руки насколько хватает, на целый аршин). Это факт. Вероятно, у Лопатина это безобразное хвастовство уже было в породе.

Но, за исключением вранья, от которого он не в силах был удержаться, Герман Александрович был замечательно милый и привлекательный человек, честный, храбрый, великодушный, которого трудно было не любить. Его знакомство с Лавровым началось с того, что Лопатин вывез его из ссылки за границу, и Лавров привязался к нему всей душой, даже отчасти благоговел перед ним *). Он воображал себе Лопатина идеалом всякой силы и не мог допустить, например, чтобы была тюрьма, из которой Лопатин не мог бы убежать, и т. п. Все, что Лопатин скажет в отношении чисто практическом, для Лаврова было авторитетом, который он принимал безусловно.

Это проявление человеческого чувства меня отчасти мирило с Лавровым, показывая, что и он человек. И тут, для беспристрастного отношения к Лаврову, не могу не сказать того, что много и часто наблюдал в заговорщицкой жизни. Я сам пережил несколько серий товарищей, несколько, стало-быть, слоев личных привязанностей. Это очень тяжко для сердца. Были чайковцы, — и совместная жизнь, давая возможность рассмотреть людей, невольно порождает привязанность к ним. Знаешь и недостатки, но научаешься их понимать, а, стало-быть, отчасти прощать, узнаешь и достоинства. И в результате получается сердечное чувство. Но едва оно установилось, — налетает шквал. Твои друзья разнесены в пыль. Кто умер, кто в Сибири, кто отошел в другой враждебный лагерь. Является новая серия товарищей, которых сначала не знал и принял по деловым соображениям. Таковы были у меня, даже сначала отчасти презираемые, землевольцы. Но пожил вместе — и сжился, понял, узнал, простил, полюбил. И что же? Опять переворот,

*) Далее зачеркнуто «со своей наивностью».

опять все разлетелось. Настает новая серия — «народовольцы», а там — опять переворот. И какой?

Пусть подумает, кто хочет: легко ли, когда человек, которого вчера любил, нынче оказывается на виселице или в Шлиссельбурге? Ведь это мука из мук. Не лучше ли бы вовсе не любить? И так мало-по-малу начинаешь бояться привязанностей, стараешься не сходиться лично, стараешься, чтобы сердца не было, а было бы одно только дело, расчет. Вот какая история! И, конечно, все это одинаково приложимо и к Лаврову. Конечно, при другой жизни, он бы не засушил так своего сердца. А то, ведь, никакого сердца не хватит на эту вечную смену привязанностей. Итак, это необходимо принять во внимание, подводя итоги Лаврову.

Как бы то ни было, он вышел таким, как вышел. Говорят, он когда-то любил жену. Дочь его *) однажды проездом навещала его, и Лавров о ней хотя думал не много, но не забывал совсем. А за сим он жил вечно в толпе, но всегда одиноко сердечно, сам с собой, и не тяготился этим. Мне сначала было жаль его, но, наблюдая, я убедился, что ему и не нужно этих привязанностей,— он их не искал, не дорожил ими, когда они оказывались возможными, не дорожил и не замечал даже, если кто-нибудь любил его. Лишь бы был человек почтителен, льстив, ухаживал за ним, а там — как знаешь. Любишь, не любишь, — все равно, да и что за интерес? Лавров жил вообще счастливо, т.-е. был доволен жизнью своей. Он огорчался исключительно только тогда, когда случалось ему испытывать какое-нибудь оскорбление, т.-е. проявление к нему непочтительности. Тут он огорчался до того, что даже заболевал, лежал в постели, и мог даже умереть от удара, так что в этих случаях его приверженцы трепещут. Но никакая гибель каких бы то ни было дел, людей, разгромы не поражали его, — он все это принимал легко и спокойно.

Если при этом оставались люди, хотя бы глупые и ничтожнейшие, или первые встречные девчонки-студентки, которые около него вертелись, ухаживали за ним, спрашивали его советов и т. д., — Лавров сиял, цвел здоровьем и весельем. А эти люди, вечно сменяясь, постоянно были около него.

---

*) Мария Петровна Негрескул.

По наружности, это высокий, плотный, весьма сановитый и представительный старик, весь седой, с белой окладистой бородой и длинными волосами. У него сохранилась деланная светская любезность, приветливое обхождение, хорошие манеры русского барина. Первое впечатление он вообще производил очень благоприятное, но не было людей (кроме Лопатина и дурачка Л. М.) *), которые бы сохранили к нему любовь и уважение после несколько продолжительного и близкого знакомства.

Не говорю о его либеральных друзьях, — те его поддерживали по чувству долга, да и потому, что его видели раз в несколько лет. Притом же в нем, для смотрящих издали, казалось симпатичным верное держание знамени, верность делу. В этом отношении Лавров, конечно, безупречен, хотя его верность, верность такого характера, легко сохраняется. Не говоря уже о том, что он лично не страдал, не выносил испытаний, не приносил делу тяжких жертв, он никогда не истощался, не надрывался, а потому не на чем ему было истрепаться.

Ткачев не перенес краха своего дела и сошел с ума. Соколов спился с круга. Герцен погрузился в унылое разочарование. Кропоткин отстал от русских. Все они верили в живое, конкретное дело и потому вместе с ним страдали, росли, истощались. У Лаврова дело не живое, не действительно существующее, а книжная, отвлеченная формула, которая, конечно, остается одна и та же, как бы ни шел действительный мир. Такое дело не могло одушевлять, не могло особенно радовать, не могло и приводить в уныние, потому что в жизни его не было,— оно не росло, не падало, не подвергалось опасности, как не подвергается опасности математическая формула при обвале здания. Здание рухнуло. Для живого человека это ужасно. Что толку в формуле, когда вокруг вас развалины? Лаврова же собственно здание не интересует, и он о нем, о его красоте или безобразии, удобствах или недостатках даже понятия не имеет. Его интересует только его мысль, его формула, а она вечно цела у него. Более живой человек спросит себя: да верна ли формула? Если жизнь не такова, то, ведь, формула — вздор, фантазия. Такие вопросы не могли приходить в голову Лаврову. Его ум не был достаточно силен для

*) По всей, вероятности, Лорис-Меликов, племянник министра вн. дел.

этого, а наблюдательности совсем не существовало. Раз навсегда он запомнил известные общие положения передового миросозерцания, сообразно с ними подвел себе теорию и затем застыл с ней, вечно ею любуясь, не умея и не желая интересоваться чем-нибудь, кроме ее.

Само собой, при таком складе ума, при таком деле, можно прожить тысячу лет, сохраняя верность знамени.

Есть общее правило такое: человек, сознательно (т.-е. продумав все известные ему факты) пристав к известной идее, не изменит этой идее в тюрьме. Он может пасть, сдаться, покориться, но убеждений в глубине сердца не может изменить. Я видел десятки примеров этого. Сам я был в тюрьме и много думал о том: прав ли я? Усердно, тщательно рассуждал я, и всякий раз мои рассуждения кончались одним и тем же неизбежным выводом: да, прав, да,—другого вывода не может быть. И это правда: при данных фактах не может быть другого вывода. Но стоит выйти на волю, посмотреть на людей, жизнь, получить новые впечатления, и вывод, в тюрьме столь незыблемый, быстро, как бы сам собой, падает.

Человек, не наблюдающий фактов по неспособности или нежеланию, находится тоже в своего рода духовной тюрьме, и стойкость убеждений, имеющая этот источник — не имеет ничего общего со стойкостью проницательного чутья, не способного отказаться от истины, столь живо им осязаемой.

Крайности сходятся!

V.

Другая «знаменитость», конечно, не имевшая европейской известности Лаврова, но составлявшая очень чтимый центр в русском эмигрантском и вообще революционном мире, это была так называемая Марина Никаноровна Полонская. Психологически это тип весьма интересный, и я как-нибудь постараюсь к ней возвратиться. Но собственно в данный момент, т.-е. в 1886—87 гг., она активной роли в революционных движениях не принимала. Весьма умная, она глубоко презирала ничтожный сброд, вертевшийся около нее и Лаврова. Когда мы еще не разошлись, она часто говорила: «Стыдно подумать, какими дураками окружены мы». Из этих окружающих один умел прельстить ее своим умом,

которому, конечно, помогла красота. Это был Ельяш Рубинович. Лет на 10 моложе М. Н., красавец, в хорошем еврейском типе, высокий, плотный, очень сильный, он был несомненно очень умен. Личность — для меня более нежели проблематичная.

Рубинович (которого она, вообще не терпевшая евреев, для иллюзии называла Рубановичем) года с $1^1/_2$ был у нее на побегушках, молчаливым завсегдатаем и другом, которого она втирала в революционный мир. Потом он стал ее господином.

Непосредственно радикальными делами М. Н. не занималась; ей было противно серьезно участвовать в явной бестолочи мальчишеских словоупражнений, называвших себя «делом». Но от убеждений старых она ни на волос не отказалась, а потому, отчасти от скуки, чтобы не быть одной, отчасти по принципу, поддерживала «священный огонь». Попросту говоря, она сохраняла живые сношения с эмигрантским миром, была своим человеком у Лаврова, сохраняла права хозяйки на Женевскую Вольную Типографию, принимала у себя как приезжих из России, так и эмигрантов, имела нечто в роде «салона» (ее мечта, жалкое осуществление которой ее самое смешило), где скрещивались все радикальные новости, сплетни, толки, споры. Здесь умному наблюдателю стоило только сидеть и слушать, чтобы знать досконально все замыслы, все дела, различия, фракции, союзы и раздоры эмиграции, отчасти же и русских революционеров.

Лавров, который, во-первых, был все-таки человеком в этом стаде Френкелей и К° *), конечно, оставался ее другом. Сам он ее очень ценил, по-старому, за ум, за практичность, наконец, и за знаменитость. Поэтому дома Лаврова и М. Н. оставались теснейше связаны, и старик едва ли имел от нее тайны, даже и не ему принадлежащие, хотя, натурально, сообщал их с заклятиями, под строжайшим секретом.

Около М. Н. и Лаврова одинаково (sic) стоял Тарасов **) (pour le désigner d'un nom) ***). Он имел репутацию умного и, сверх того, за неимением лучшего, все же «старого» народовольца. О нем тоже пока не распространяюсь. Как литературная

*) Френкель-Полен.
**) Русанов, Н. С.
***) Назовем его так.

сила, он был предметом исканий всяких «новых» деятелей, но и только.

С Лавровым был в дурных отношениях, но с М. Н. в близких — Бах, Алексей Николаевич, как он назывался, хотя не знаю, его ли это имя.

По внешности, это был своего рода знаменитость, но в чистой отставке. Он даже салонов никаких не держал, а просто себе жил, отказавшись от всякой деятельности. Личность также весьма курьезная, достойная внимания психолога и политического деятеля.

Собственно Бах, родом еврей, но крещеный, говоривший по-русски великолепно, без тени акцента, был знаменитостью по той причине, что он с давних времен занимался революциями и именно в качестве «народовольца». Когда народовольцы «Исполнительного Комитета» вышли все в тираж, Бах, особенно во времена Лопатинского Исполнительного Комитета, стал своего рода персоной. Что такое он был тогда в действительности, не знаю, но по разгроме Лопатина остался столпом и опорой разбитых, водворителем между ними порядка, спасителем разбитого войска. Так, по крайней мере, считалось и казалось. Я этого ничего лично не наблюдал и знаю по слухам. Во всяком случае, он и еще Иванов *) с Яцевичем остались столпами, и все приехали за границу искать связей и помощи «старых» эмигрантов. Тут я их только и узнал.

Яцевич был совершенно глуп. Бездарность полнейшая, довольно пожилой (лет 30) и крайне самодовольный, хотя добродушный и по-своему честный. Иванов — весьма недалекий, но премилый, храбрый, веселый, прямая и открытая натура, прекрасный товарищ. Оба они обладали едва-едва средним образованием и развитостью наших интеллигентов.

Совершенно иного сорта человек — Бах. Он был, во-первых, весьма образован, т.-е. далеко, далеко за средний уровень, знал несколько языков, очень много читал, вообще прямо-таки редко у нас образованный человек. Вместе с тем он был очень умен и развит. Его ум не отличался оригинальностью, но в известных пределах был весьма остер и тонок. Вообще изо всей эмиграции, изо всех, кого только я ни видал за последние годы из России,

*) Сергей Андреевич.

это был единственный вполне умный человек, и рядом с ним по уму можно бы поставить только М. Н. и Лопатина. Но Бах был знающее обоих их и, сверх того, имел большой здравый смысл, ум практический.

Он приехал больной (чахоткой), очень злой, раздражительный. Вообще он был едок, желчен. Но, — замечательно, — весьма любил детей и с Сашей нянчился с нежностью даже. А это — примета. Сразу по приезде Бах начал ругать меня, что я им не помогаю, что они в России заброшены и т. п. Я ему объяснил, что это меня не касается, что я давно подал в отставку, никому из них не мешаю делать что угодно и никому не обещался помогать. Тогда он меня оставил в покое и со своей стороны разъяснил, что приехал в отставку же. Все ему надоело, все болваны, все в разгроме, а больше всего «надоело лгать». «Буду жить, по крайней мере, никого не стану морочить». Это «надоело лгать», «хочу жить без радикального вранья» составляло некоторое время его любимую фразу, как будто неудержимый наболевший крик.

Так он и стал жить. Долго он жил на моей шее, у меня на квартире, потом скитался у того, у другого, наконец, поселился с Ландезеном. За все время он, действительно, радикальными делами не занимался и даже не хотел дать Иванову адресов разных нужных тому лиц в России. Иванов называл это подлостью, но Бах мне объяснил, что «ведь провалит он их, я никого не хочу губить, не дам адресов, пусть сам ищет».

Так он и жил «в чистой отставке», но с эмигрантами познакомился, везде бывал, много бедствовал, пока не сошелся с Ландезеном.

Ландезен, т.-е. Геккельман, приехал в Париж и, подобно прочим, явился на поклон всем знаменитостям. Но его встретили худо. Дегаев его поместил категорически в списке полицейских агентов Судейкина, с ведома которого, по словам Дегаева, Геккельман устроил тайную типографию в Дерпте. Теперь же типография была обнаружена, товарищи Геккельмана арестованы, а сам он якобы бежал.

Дело было не то что подозрительно, а явно и ясно, как день. Я и Бах, узнавши от Лаврова о приезде Геккельмана, переговорили с ним, заявив, что он, несомненно, шпион. Геккельман клялся и божился, что нет. Это был тоже жид, весьма красивый,

с лицом бульварного гуляки, с резким жидовским акцентом, но франт и щеголь, с замашками богатого человека.

Я остался при убеждении, что Геккельман—агент. Но, в конце концов, не занимаясь делами, я не имел никакой надобности особенно расследовать, тем более, что Геккельман, который принял фамилию Ландезена, заявил, что если уж на него взведена такая клевета, то он покидает всякую политику, знать ничего не хочет и будет учиться во Франции. Ну, думаю, и чорт с тобою, учись. Однако, Бах заметил, что, на его взгляд, Геккельман искренен, и что он, Бах, считает лучшим не разрывать с ним знакомства, чтобы окончательно уяснить себе Ландезена. Это уяснение через несколько месяцев кончилось тем, что Бах поселился с ним на одной квартире. Ландезен жил богато, учился, по словам Баха, усердно и был невиннейшим и даже простодушным мальчиком.

Деньги у него от отца-богача, который рад, дескать, поддержать сына, взявшегося за учение и бросившего конспирацию. Деньги Ландезен давал охотно направо и налево. Бах ввел его к М. Н. (и др.) и к Лаврову. М. Н., вечно в нужде, всегда хваталась за мало-мальски богатеньких, с кого можно было что-нибудь сорвать. Ландезен скоро стал у ней своим, и вообще подозрения были безусловно отброшены.

Собственно я и не думал о Ландезене. Шпионами я не интересовался; сверх того, я ясно видел, как подозрительны другие лица, столь близкие к «знаменитостям». Если бы Ландезен и был шпион, то он бы ничего не прибавил к тем лицам. Но рекомендация Баха, жившего с ним, меня достаточно уверяла в личной добропорядочности Ландезена и в том, что он ничего общего с полицией не имеет. Самого Баха я тогда нимало не подозревал. Между прочим, он скоро сообщил, что получил выгодную работу у Ефрона. Тем лучше. Он попросил меня, чтобы я позволил ему привезти Ландезена в Рэнси. Побывали, был и я у них. Ландезен мне понравился. Он имел вид самого банального студента французского типа, добродушного, веселого, не особенно развитого, но, пожалуй, неглупого. Относительно радикальности я с ним не говорил, а больше о французских делах, да о его занятиях. Впоследствии, когда мне приходилось разорвать с эмигрантами, я, по желанию Ландезена, изложил ему

свои взгляды на глупость революции; он мне поддакивал и предложил денег на издание моей брошюры.

Теперь я вижу, что он преловкий паренек. Мне, конечно, безразлично было и есть, но все же он надул меня. Я кончил подозрениями против Баха, но в Ландезене совершенно уверился, что он просто бурш и довольно милый, и с полицией ничего общего не имеет. Ловок. Меня в этом отношении никто, кажется, не обманывал за последние годы моей заговорщицкой жизни. Правда, что тогда я уже не вникал и не интересовался. Но всетаки... молодец парень!

Что касается Баха, он мне очень нравился умом своим, а также, без сомнения, подкупал тем, что выражал совершенно мои идеи, хотя и отставал от моего отрицания радикализма. И я даже теперь скажу, что он, конечно, не врал или не вполне врал. Я, конечно, не знаю, справедливы ли мои подозренья, явившиеся уже много позднее, но если даже да, если он был агент, то я уверен, что агент по убеждению, и в этом отношении это тип весьма любопытный. Прежде он был несомненно революционер. Но жизнь заговорщика так сходна с жизнью полицейского агента, та и другая составляют такую непрерывную цепь нарушений нравственных правил во имя «службы», что с переменой убеждений род службы тоже легко может перемениться. Не даром же революционеры первые создали во Франции настоящий усовершенствованный тип тайной полиции.

Совершенно иной тип так называемого Бланка *).

Бывший лейтенант русского флота, Э. А. втянулся в революцию под влиянием известного Суханова — и через него Желябова. Лично Бланк ничего особенного не успел совершить. Но он состоял членом офицерского кружка «Народной Воли», который строил всевозможные ужасные замыслы. После казни Суханова кружок остался некоторое время существующим, но затем — разрушен. Кое-кто отстал заблаговременно, кое-кто попался (Штромберг — казнен) [328]). Наш Э. А. имел удачу, узнавши заблаговременно о готовящемся ему аресте, убежать за границу.

Это был настоящий морской офицер. Нигилистического в нем в сущности ничего не было, кроме общего «передового»

---

*) Серебряков, Э. А.

миросозерцания, которое, однако, не успело еще разрушить в нем даже понятия о святости присяги. Вопрос о том, что он изменил присяге, его весьма занимал. Конечно, он себя оправдывал; он и других убеждал, что, во имя интересов России, — военный обязан изменить присяге государю. Но уже присутствие в нем этого вопроса характерно. Для настоящего нигилиста, что такое присяга? Станет ли он думать о таком «вздоре», станет ли себя «успокаивать»? Русский патриотизм у Э. А. также оставался очень жив. Попавши потом на службу Баттенбергу[324]) в Болгарию, получивши даже орден в сербо-болгарской войне, Э. А. всегда говорил, что в случае войны с Россией выйдет в отставку. В случае европейской войны он даже хотел просить государя принять его снова на службу. Все это, конечно, очень хорошо, но я только хочу сказать, что у него не было нигилистической закоренелости. Не пройдя печальной школы нелегальной жизни, он вообще тяготился всем, что входит в кровь настоящего заговорщика-нигилиста: все эти интриги, подвохи, вранье, хватанье денег где попало и вообще всякая бессовестность ему были противны. Он сохранял открытость и честность офицера и в новой компании казался чем-то до наивности свежим и чистым. Ума среднего, образования самого заурядного, он, однако, имел положительный талант писателя, только писать не о чем было. Прибежав в Париж, он сначала очень бедствовал, потом уехал в Болгарию (предварительно «женясь», т.-е. сойдясь, с еврейкою К. Тетельман — добродушная дурочка, вполне, впрочем, обрадикаленная). По отречении Баттенберга, снова приехал в Париж, живя на старые сбережения. Со мною он был весьма дружен. Он во многом понимал мою новую работу мысли, а главное — только меня одного считал вполне порядочным человеком. Я был вполне уверен, что он останется со мной. К несчастью, больной чахоткой, он уехал лечиться в Швейцарию и был там во время моего разрыва с эмигрантами. Вообще бесхарактерный и болезненно увлекающийся, он поддался влиянию тех, кто был около.

Он был «женат» на Кате Тетельман, сестра которой Дора была столь же «вышедши замуж» (а, впрочем, может-быть, они и венчались в синагоге) за Иуду Коган, принявшего название Евгения Симоновского. Это — тип в своем роде, ужасная дрянь и ничтожность.

В данный момент Симоновский вместе с Турским издавал газету «Свобода», в Швейцарии. Глупее этой газеты еще и не бывало за границей, но так как она давала деньги (пожертвованные), то Турскому с Симоновским ничего больше и не требовалось. Эмигранты покрупнее сторонились от этой компании, хотя, кажется, кончили тем, что и их признали. Симоновского этого иные тоже называли «шпионом», но я этого не думаю: едва ли ему это нужно было. Во всяком случае, через свою Дору, а затем Каро и Эспера он проникал в мир эмигрантов, куда бы его самого по себе не пустили по случаю его позорного поведения в Одессе. Коган был гимназистом в Одессе, когда туда явилась проповедывать революцию «знаменитая» Вера Фигнер. Фигнер сама по себе была очень милая и до мозга костей убежденная террористка. Увлекала она людей много, больше своей искренностью и красотой. Но собственно она ровно ничего не смыслила в людях, в голове ее был большой сумбур, и, как заговорщица, она хороша была только в руках умных людей (как А. Михайлов или Желябов). «Старые» деятели терроризма пришли бы в ужас от одной мысли, что Фигнер руководит делами.

Так вот, Коган на каком-то собрании произнес речь, которая восхитила Веру Фигнер, и она провозгласила его будущим великим человеком. Он был просто глуповат, хотя весьма красив и, как всякий еврей, все же достаточно умел быть шарлатаном. Превознесенный Верой Фигнер, он некоторое время первенствовал на сходках мальчишек, ею собранных. Затем наступил, конечно, поголовный арест деятелей, и вся эта дрянь, навербованная В. Фигнер, перетрусила, начала выдавать друг друга. Позорнее всех вел себя Коган, так что за чистосердечным раскаянием выпущен даже на поруки. Тогда он удрал за границу и, очутившись в безопасности, немедленно написал в Одессу прокурору крайне дерзкое письмо, полное выражения возвышенных революционных чувств. Говорят, оно очень позабавило прокурора: «Вишь, мерзавец, какой храбрый стал»...

Так вот каков был герой и нынешний *) издатель «Свободы».

*) В 1888—1889 гг.

Около меня он халуйствовал все время, буквально, как лакей, так что противно было, и, между прочим, написал в честь мою стихотворение в «Общем Деле» [325]):

«Нет, он не Герцен, он другой
«Еще неведомый избранник» и т. д.

называя меня учителем и т. п. Это было так мерзко, что меня, а также М. Н. Полонскую, просто тошнило. Его компаньон Турский, когда-то действовавший с Ткачевым, личность тоже прегадкая. Его подозревали в шпионстве, и, во всяком случае, он был жулик. Во время турецкой войны он брал от английского правительства субсидию для возбуждения революционного движения в России. В 1885 г. он (хотя я с ним никогда не хотел познакомиться) предлагал мне свое посредство для получения таковой же субсидии из Англии. Я, конечно, послал его к чорту.

Из остальных русских — Лаврениус, Н. С. *) с семьей, «Берг» **), Александров. Студенты вообще и «студенты из России». Еврейское рабочее общество.

Поляки. Мендельсон, Янковская и К°.

См. стр. 259. Дополн[ения] ***).

Швейцарские эмигранты. Плеханов с К°. Slavia Verein, «Народовольцы» нового отпрыска. См. стр. 259.

NB. 1) Последн. № В. Н. В. составлял летом 1886 г. (непомещение моей статьи), а вышел 15 декабря 1886 г.

(NB. Канальская штука Л. с якобы «моим» заявлением).

2) Осенью 1887 г. написано предисловие ко 2 изд. «La Russie politique et sociale». Появилось в феврале 1888 г.

3) Брошюра ****) начата в марте 1888 г., окончена в мае 1888 г., выпущена в августе 1888 г.

4) Прошение государю? (до 17 окт.) *****).

5) Высочайшее повеление, дающее мне амнистию, состоялось 10 ноября 1888 г.

---

*) Русанов.

**) Орлов.

***) См. ниже.

****) «Почему я перестал быть революционером».

*****) Прошение о помиловании (см. выше).

Дополнение.

Мендельсон, Янковская и К°.

Поляков разных фракций при мне за границей было много. Из них более всех деятельны были люди «Пролетариата», издававших «Пшедсвет» и «Валка класс» *).

В этой компании особенно выдавались Мендельсон, Янковская, Дембский, Иодко [326]) и незадолго до того отравившийся Дикштейн **). А основателем ее нужно в сущности считать Варыньского (кажется, Людвига).

Варыньский, для чистокровного поляка, был очень славный малый, весьма неглупый, хотя легкомысленный, храбрый и в своем роде, опять же по-польски, энергический. О нем скажу как-нибудь.

В это время он был давно арестован в Варшаве.

Но любопытно собственно вот что. Весь этот «Пролетариат», собственно говоря, вышел из Петербурга, под **русским** влиянием. Давным-давно, в средине 70-х годов, в Петербурге был огромный польский патриотический кружок. Его деятелей я не знал. Они держались вдалеке от русских и крайне несочувственно относились к тем из поляков, которые якшались с русскими, хотя бы и не отрываясь от своих.

А отрываться вполне они никогда не отрывались. Тем не менее и тогда бывали поляки, которые в Петербурге сходились с русскими радикалами (студентами), а через них и с революционерами. Они неизбежно немного «москалились», т.-е. проникались немножко космополитизмом и очень много социализмом. Некоторые из них считали разумным войти в союз, т.-е. в совместное действие против «общего врага», каким являлось, конечно, прежде всего наше правительство. Большим деятелем этого сближения был в 1878 году Венцковский, почти одинокий тогда и притом скоро высланный в Сибирь. Однакоже первые попытки не остались без некоторых результатов, и благодаря им вышла **первая** подпольная петербургская газета «Начало». С тех пор как между русскими явились идеи террористические, в рядах русских революционеров стало попадаться все больше поляков. Думаю, это происходило оттого, что они, вообще

*) «Рассвет» и «Борьба классов».

**) А также недавно повешенный Куницкий. (*Прим. автора.*)

бунтливые, просто увлекались, хотя, может-быть, конечно, что и сами столпы польского патриотизма стали снисходительнее. Кто их знает! Как бы то ни было, в числе убийц государя был Гриневицкий [327]). Поляки упорно называли его Грюневецкий и причисляли к своим. Он сам, однако, называл себя литвином, а не поляком; по-русски говорил прекрасно, как и по-польски, и был вполне русский народник. Официально его, конечно, нужно считать поляком, потому что по вероисповеданию он был католик. Тем не менее Гриневицкий был поляк сильно «подмоскаленный», и большая часть его студенческих друзей, с которыми он мечтал о поселениях «в народе», были кровные русские или «подмоскаленные» поляки. Позднее, в 80-х годах, из такой же руссифицированной среды выступает Варыньский, так же, как и Куницкий и Дембский. Все они русского радикального воспитания, все сложились под русским влиянием, имели массу русских друзей, превосходно, без всякого признака акцента, говорили по-русски. Над Дембским его друзья смеялись, будто бы он разучился по-польски; на это он с самодовольной улыбкой отвечал: «Да, я таки совсем омоскалился». Конечно, этого не следует преувеличивать. Та же самая компания Мендельсона, которая при мне так шутила с Дембским и которая на словах отрицала всякую чисто польскую в себе тенденцию, а в отношении «Народной Воли» не только признавала безусловное единство и даже вступила к ней в якобы отчасти подчиненное отношение, почти как «местная» группа, — эта самая компания держала камень за пазухой. Они были поляки прежде всего, и я в этом неоднократно убеждался.

Я в свое революционное время пользовался репутацией «дипломата». Не знаю, насколько это было заслужено (теперь, когда я христианин, — сохрани меня господь от такого качества). Но, во всяком случае, мне, действительно, приходилось побуждать людей (право, сам не знаю, чем и как,—своего искусства я никогда не понимал) к разным конфиденциям, иногда для них крайне опасным. Так вот приходилось кой-что узнавать и об этих господах поляках. В 1881 году один X., хитрейший хохол, задумал основать тайный центр всех тайных обществ, чтобы руководить ими, неведомо для них. Этот план вполне разделял и Варыньский. В триумвират предложили вступить и мне, на чем и осеклись.

Но Варыньский, который должен был войти, тут обнаружил, какова искренность поляков в отношении русских. Но это еще ничего. Позднее, когда «Пролетариат» вступил в формальный договор с русской «Народной Волей», произошло следующее. Была в России одна ярая «народоволька»—кто? Боюсь ошибиться, но кажется это была та самая Гинсбург, которая была потом повешена *). В то время я уже отстранился от революции, хорошо помню личность, но она носила выдуманную фамилию, и хотя мне открылась, но я не запомнил, не интересовался. Во всяком случае, она была родом из Керчи и жидовка. Это была особа весьма неглупая, страстной энергии, тип, способный много сделать. Я ее разубеждал в ее стремлениях, доказывал их тщетность, но совершенно без успеха. Когда она начинала говорить о революции, о том, будто бы в России жить невозможно, ее ноздри характерно раздувались, словно у горячей лошади. Все мои убеждения отскакивали от нее, как горох от стены. Дело кончилось тем, что она перестала говорить со мной о «делах», и ее «дел» я даже не захотел слушать. Но лично она мне понравилась, и я ей. Она продолжала посещать меня в Le Raincy и говорила иногда о вещах весьма интимных. Она сошлась «деловым» образом с Лавровым, водилась и с компанией Мендельсона. Так вот, она мне рассказывала, что Мендельсон с товарищами настойчиво уговаривают её оставить русских и войти в их компанию: «Ведь вы не русская, как вы с ними связываетесь?» Эти изменнические факты ее крайне возмутили. Дело в том, что она, хотя родом и еврейка, была вполне русская по желаниям; она, конечно, не имела русских исторических инстинктов, но была вполне человеком русской революционной интеллигенции. Своего еврейства она в грош не ставила. Так вот она мне и рассказала свое огорчение: «Вот каковы поляки! Вот как нам, русским, можно верить их искренности».

Итак, повторяю, поляк всегда поляк. Как ни «москалились» Дембские с Куницкими, все же они остались поляками. Тем не менее, несомненно идейное влияние русских.

«Пролетариат» родился под влиянием не чисто польских революционных традиций, не под влиянием прямого западного

*) Ср. прим. 315.

социализма, но под влиянием «помоскаленных» петербургских поляков. Но засим он не был полным сколком русских революционных тенденций. Он усвоил себе традиционный польский якобинизм повстанья 1863 года и гораздо полнее русских принял соседние немецкие социаль-демократические идеи, спрятавшиеся в самых названиях «Пролетариата» и «Валка Класс».

В 1887 году «Пролетариат» фактически был безусловно самостоятелен. Договор, заключенный при Куницком и Лопатине, в 188... г. *), остался пустым звуком, потому что никакой «Народной Воли», с гибелью Лопатина, уже не было, кроме мальчишеских кружков, цену которым поляки прекрасно понимали. Формально договор, кажется, не разрывали, да и с кем было его разрывать. С «русскими товарищами», какого бы то ни было сорта, если только они были бунтовщики (а не «плехановцы»), — пролетариатцы любезничали. Но фактически, и даже открыто заявляя это, они составляли вполне самостоятельное, польское, социалистическое общество. С русскими они сходились только — как единомышленники, coréligionnaires **), и больше ничего.

Какова была их внутренняя организация — господь их ведает. По их идеям она должна была быть централистическая, авторитарная. Думаю, однако, что у них никогда не было силы и последовательности, с которой развил свою централизацию русский Исполнительный Комитет, который не на словах лишь, а на деле, в действительности, требовал слепого повиновения и держал свои подчиненные кружки в безусловном подчинении, при чем они оставались в действительном неведении его планов и начинаний. Насколько мог я замечать, у «Пролетариата» ничего подобного в действительности не было. Его люди действовали весьма самостоятельно, в сущности кто как хотел. Уж, конечно, в русском Исполнительном Комитете (старом, конечно) невозможно было, чтобы человек, да еще из-за женщины позволил себе самоубийство, как сделал у поляков Дикштейн. Да и в делах, что-то не заметно у них было особого принуждения.

Сверх того и вообще центр «Пролетариата», как я уверен, не имел никакой обязательной власти над кружками, находившимися в Польше. У них даже сношения были плохи, и парижские

*) В 1884 г.

**) Единоверцы.

«товарищи» часто долго не знали, что делается в Польше. Тамошние кружки находились с заграничным центром просто в некотором взаимодействии. За границей хранились «архивы», издавались газеты и журнал, заграница имела «представительство»,— вот и все. Эта разница определялась и самими условиями. Русский «Исполнительный Комитет» воображал в 2 — 3 года довести монархию до «капитуляции», он пустился «на штурм». Поляки же ничуть не воображали уже подымать восстания, да без русских считали его даже невозможным. Они только подготовлялись к нему. Поэтому строгая подчиненность и дисциплина им были нужны лишь как принцип, на будущее время, а не как условие текущей борьбы. Как бы то ни было, действительной власти над польскими кружками парижско-швейцарский центр не имел. Не мог он их заставить что-нибудь сделать, не мог и удержать.

Так я полагаю.

Но зато этот «центр» артистически играл в представительство. В этом отношении поляки весьма отличались от русских. Во-первых, старая «Народная Воля», вообще, пренебрегала Европой и европейским мнением. В России она тоже шарлатанила, но Европу не трогала, на помощь к себе не звала.

Поляки весьма заботились, напротив, о том, чтобы «Европа» знала о их существовании и относилась к ним сочувственно. Они тщательно и систематически «представляли» перед Европой свою партию, даже тогда, когда находились в полном разобщении со своей «партией» и считали ее истребленной в Польше. Это им ничуть не мешало. «Видимость» необходима и полезна, аппарансы должны поддерживаться. Комитет Мендельсона никогда не забывал «сноситься» с европейскими социалистическими партиями, поднести свой венок на гроб умершего французского или иного «товарища» и т. п. Являлись они и на сходки, и на балы, давали и свои вечера, именно, как «польские социалисты» или «Пролетариат». Что бы ни делалось «в крае»,—«для Европы» они должны были существовать.

Это представительство брало у «Пролетариата» немного времени и им самим доставляло очевидное удовольствие.

Миссию представительства особенно охотно и удачно исполняли Янковская и Мендельсон.

Мария Янковская была старинная польская революционерка. Богатый муж, которого она бросила, давал ей хорошие средства—до последнего времени,—т.-е. пока был жив. Янковская была из русской Польши, но не знаю, действовала ли она в России. Знаю, что она была замешана в социалистической пропаганде в Пруссии, была арестована, сидела в тюрьме, которой осталась очень недовольна. «Даже в России никогда не позволят себе быть такими грубыми, как пруссаки», говорила она мне. Покончив с Пруссией (куда не смела уже возвратиться), она застряла в Париже. Ничего она в сущности не делала, только «украшала» собою партию. Жила она почти роскошно, наряжалась, кокетничала, училась. Она была весьма хорошенькая, почти красавица и с весьма нежным сердцем. На моей памяти у ней сначала был какой-то англичанин, который с партией не имел ничего общего. Потом она этого англичанина бросила и сошлась с Мендельсоном, давно по ней вздыхавшим. Эта перемена чувств совпала с переменой денежных обстоятельств. Когда муж умер, то родные перестали ей давать деньги, она осталась без ничего и тут оказалась разделяющей страсть Мендельсона, очень денежного. В последние годы моего знакомства Янковская уже очевидно белилась и румянилась, но была все же весьма пикантна. Говорили, что она умна,—не знаю, не замечал ничего особенного. Между прочим, она с большим акцентом и ошибками говорила по-русски.

Не думаю, чтобы она имела действительное значение для «партии», кроме приема французов, в роде Жакляра, и вообще «представительства». Да и сама она думала больше о нарядах и всяких житейских сластях, которыми даже на легкий взгляд весьма умела пользоваться.

Мендельсон—сын банкира, но не берлинского, а варшавского. Об этом «немецком социалисте» (он тоже действовал сначала в Германии) Бисмарк съострил, что «он ни по национальности, ни по профессии не имеет ничего общего с немецким пролетариатом». Однако, Мендельсон—уроженец Царства Польского, и сначала воспитывался в Варшаве. Попавшись в Пруссии, он был приговорен к изгнанию и вывезен на русскую границу. Но жандармы, его везшие, были подкуплены и не только не передали его русским властям (чего, впрочем, не обязаны были делать), но и не наблюдали за тем, чтобы он остался в России.

Вопреки обязанности, они привезли его к границе, оставили его там, а сами быстро удалились. Мендельсон же столь же быстро переступил на прусскую территорию, сел на железную дорогу и удрал во Францию, где и поселился.

Отец давал ему большие средства, и «Мендель» жил припеваючи.

Это был парень белый, краснощекий, сочный, почти толстяк, с румяными, чувственными губами, с живыми и искрящимися глазами. Усы носил à ля Бисмарк, бороду брил, ходил щеголем. Вообще он имел вид viveur'а и весельчака, да и был большой весельчак, впрочем, умный, развитой. Он много читал, учился, знал несколько языков, лучше всего немецкий, хуже всего русский, на котором говорил шибко и смело, не смущаясь ежеминутными ошибками. Хотя родом из русской Польши, он не имел ничего русского, а совсем напоминал немецкого студента. Русскую литературу и журналистику знал весьма плохо. Часто я себя спрашивал: «Зачем он социалист? Что ему в социализме?» Вероятно, первоначально это была случайность, отчасти немецкая мода, особенно для жида. Евреи все склонны к социализму, да и правы, потому что это доктрина, при которой евреи будут господами мира. Но, конечно, не из-за этого же этот сочный и так радостно живущий богач стал социалистом? Просто — линия такая вышла. Уж раз попался и выслан — это оставалось ему своего рода карьерой, в которой он, ничего не теряя, весьма преуспевал. Он был как по еврейской бойкости, так и по деньгам, настоящим центром, первым лицом в «Пролетариате». Собственно говоря, личность довольно противная, едва ли знавшая сердечные убеждения, от которых люди мучатся и за которые гибнут. Он просто играл роль, которая давала ему общественное положение, и хотя, конечно, был убежденный социалист, но умом, слегка, «для порядку».

Куницкий, тогда уже не существовавший, был мальчик, любовавшийся своей заговорщицкой ролью, но искренно веривший и не колеблющийся отдать голову за убеждения, как оно и вышло. Иодко тоже мальчик, и честный, но без темперамента. Он был книжник, теоретик, ничего не знавший в жизни и веривший в социализм по книжкам. Его прославляли, как «звезду» учености, пророчили учено-социалистическую будущность. Вероятно,

это все пустяки. Конечно, засохнет в партийности. Фактически он ничего не делал, кроме того, что писал, что «старшие» указывали.

Цельнее всех был Дембский, очень похожий на русского. Весьма добродушный, храбрый хладнокровным мужеством, он имел то «мужицкое» сердце, при котором человек, не дрогнувши, зарежет «кого нужно». К резне он имел и большой вкус. Он оживлялся, вспоминая, как это мило и аккуратно было устроено в 63 г. у жонда народового, как, например, идет «жандарм вешатель» в костюме рабочего, наставит сзади долото в голову «осужденного», хватит молотком, и — готово. «Казненный» падает без крика, а «жандарм», не торопясь, идет себе далее, так спокойно, что никто ничего даже не замечает.

Такие картины приводили Дембского в своего рода умиление. Но в сношениях со своими он был предобродушное существо. И при этом ни бахвальства, ни тщеславия, ни желания играть роль. Простая натура, в существе хорошая, но недоразвитая и дурно направленная. Этаких я много знавал между русскими. Самые, в сущности, опасные люди, без которых «организаторы» и фразеры, в роде Мендельсона, были бы вполне безвредными пустословами. К сожалению, Мендельсоны имеют всегда к своим услугам Дембских.

VI.

Лето 1887 года было для меня вообще временем душевного отдыха, — по крайней мере частью мои вопросы были порешены, а борьба за них еще не начиналась. В это время почти не виделся с Лавровым, Полонской и вообще «столпами» революции. Они были осведомлены о моих ересях и старались не пускать ко мне молодежь, но громкого спора старались не подымать. Они думали, что, разорвавши внутренне с революцией, я, как многочисленные другие, Эльсницы и т. д., скандала подымать не стану, а заживу просто в «бездействии», так что другого вреда, кроме потери моей личной силы, для них не будет. Поэтому они меня встречали с кислой любезностью, не говоря ни о чем слишком жгучем, но отношений старались не рвать. Я тем более старался их не рвать, пока не увижу, кого могу из них оторвать, и вообще составлю себе план действий. О плане

же этом некоторое время особенно не думал, уверенный, что найду его, а пока был слишком уставши и просто отдыхал душой. Тем не менее столкновения с эмигрантами не могли иногда не возникать, хотя и мелкие.

Еще зимой, кажется, приехали в Париж из России две барышни. Одна бледная, болезненная, уже по худосочию склонная к мрачности, которую так удобно выставлять перед собой гражданской скорбью. Забыл ее имя. Ее товарка — Вандакурова, Федосья Васильевна, здоровенная, краснощекая сибирячка, кажется, из Барнаула. Это была пресимпатичная девушка. Кровь с молоком, роскошная, но не простая корова, а с душой и сердцем. Ее способность увлекаться до последней степени напряжения, — и это при уме и при горячем искании правды, — приятно изумляли тем, что, очевидно, не были ни деланные, ни притворные, ни результат больных, истощенных нервов. И мне, и жене она очень понравилась. С женой она сошлась совсем по-дружески. У меня, очевидно, искала «света». В голове у ней, конечно, царствовал полный сумбур русского радикализма.

Приехали обе грязные, общарпанные, в каких-то старых безобразных платьях, но не по бедности. Отец Вандакуровой, занимавшийся делами по золотым приискам, был почти богат, далеко выше простой состоятельности. Товарка была бедная, жила отчасти на счет Вандакуровой, отчасти на какую-то «стипендию» Сибирякова [328]). Вандакурова явилась неряхой по принципу и, так сказать, из уважения ко мне. Она потом, впоследствии, хохоча рассказала, что боялась вообще явиться, а особенно «барышней». Ну-с, прекрасно. Приняли мы их (а их уже старались не пустить ко мне, но только ясно не говорили, а так, подвохами: что он (я) не любит, дескать, публики, очень суров, занят и т. п.).

История Вандакуровой оказалась такова: провинциальная барышня тянулась к «свету», поехала из Барнаула в СПБ учиться. Ведь есть же родители настолько глупые, что отпускают без призору в другую часть света. А между тем отец ее, говорят, умен и очень любит дочь. Мать тоже. В Петербурге Вандакурова куда-то на какие-то курсы поступила и даже прекрасно шла, но, конечно, главное было не в ученье, а в «свете», т.-е. в сходках молодежи, разговорах на радикальные темы и в иска-

нии «деятельности». В то время в Петербурге еще проживал Ядринцев [329]), который соединял около себя сибиряков. Он им внушал, что они, сибиряки, — сами по себе, не русские, а имеют особое отечество, которому обязаны служить. При всем своем радикализме Ядринцев старался не пускать своих сибиряков на русские радикальные дела. Вся его забота была обособить сибиряков, сплотить их, внушить им «сибирский патриотизм». На сибирских вечерах Ядринцев явно выражал гнев и не хотел даже разговаривать с теми сибиряками, которые проявляли холодность к «сибирскому отечеству» и выражали интерес к обще-русским делам.

Вандакурова сначала увлеклась Ядринцевскими глупостями, но не надолго. Ее прямая натура не могла удовлетвориться этими сочиненными интересами, и она все более стала сходиться с революционным слоем студенчества.

Неглупая, пылкая, энергичная, она уже стала выдвигаться в знаменитости своего муравейника и неуклонно стремилась к пути, который, в конце концов, приводит к каторге, либо виселице. К счастью для нее, случилась Добролюбовская история.

Для «пробуждения» молодежи возникла мысль чествовать память Добролюбова:

Милый друг, я умираю,
Потому что был я честен,
Но за то родному краю
Верно буду я известен... и т. д.

Вандакурова приняла в демонстрации самое горячее и выдающееся участие. Она была в числе зачинщиков. Она же и вела себя храбрее других во время разделки. Уже пошли на кладбище. Погода была дождливая, сверху дождь, снизу грязь. Полиция сначала не опомнилась, но потом быстро стянула силы и, не преграждая пути толпе, заставила ее итти лишь определенным путем, по улицам менее людным. На кладбище, само собой, говорились речи. Все были очень довольны собой. Вандакурова, рассказывая это, все восхищалась: «Ах, какое чудное чувство наполняло душу, как-то свободно дышалось, сознавалось что-то широкое». Электричество толпы! Но на обратном пути густые цепи казаков преградили все пути, кроме Лиговки.

Демонстранты хотели пройтись по людным улицам, но их не пустили. При всякой попытке куда-нибудь свернуть, — оказывались неизбежные казаки. Несколько раз повторялось это. Толпа надвигалась густо на неподвижную линию казаков, но за несколько шагов казаки вдруг по команде смыкались, брали на перевес пики и готовились броситься. Толпа моментально отступала. Так ее гнали по Лиговке. У вокзала Николаевского вдруг послышалась команда, казаки засуетились, и толпа была со всех сторон окружена. Что такое? Сердца забились, — какая-то разделка! Какая-то опасность! Кто струсил, кто обрадовался. А между тем толпа стояла. С ней ничего не делали и никуда не пускали. На вопросы из толпы полиция отвечала, что г. градоначальник сейчас приедет, и тогда все разъяснится. Грессер сшутил с молодежью злую шутку. Он их продержал в грязи под дождем, часа 2. Затем приехал и объявил, что все могут расходиться по домам: панихида кончена, больше шляться некуда и незачем. Прозябшее большинство, мокрое, охрипшее, с зубной болью, поторопилось воспользоваться роспуском. Кое-кто, в том числе Вандакурова, вздумали было шуметь против такого обращения, и Вандакурова лично перебросилась с Грессером несколькими взаимными грубостями. Ничего из этого не вышло, все разошлись. А за сим — некоторые особенно рьяные через день, кажется, были арестованы и высланы административным порядком, в том числе, натурально, и Вандакурова. Она подлежала высылке в Барнаул. Но, побывавши там, воспользовалась какой-то неряшливостью наших административных сношений и получила паспорт на прожитие в Казани. Здесь опять училась, но после петербургских демонстраций жизнь казалась уже пресною. Она попросила заграничный паспорт, получила его и уехала в Париж искать света.

Родители отпустили и даже охотно, радуясь, что она будто бы взялась за ум. Наивные люди!

Грессер, узнав о выдаче заграничного паспорта административной ссыльной без его ведома, был крайне, конечно, недоволен. Он протестовал, и легальное положение Вандакуровой за границей стало очень двусмысленным. Возвратиться в Россию — значило для нее отправиться в ссылку, где она, по закону, должна была находиться.

Мы обласкали Вандакурову. Мои «расхолаживающие» речи казались ей необыкновенными. Лавров с К⁰ старались ее оторвать от Рэнси, но дело в том, что Вандакурова решилась действительно поступить в учебное заведение, а языка не знала. У нас в Le Raincy был очень хороший монастырь, т.-е. пансион, содержимый монахинями. По дешевизне содержания 120 фр. с учением) это было вне конкуренции, и мы уговорили обеих товарок туда поместиться. Другой скоро показалось скучно в строгих правилах монастыря, и к языку она не оказывала способностей. Но Вандакурова быстро изучала язык, сошлась с bonnes soeurs*) и пробыла в монастыре месяца три.

Это поддержало необходимость ее сношений с нами,— забегать отдохнуть, поболтать, а, между прочим, посоветоваться. Были такие случаи. Раз приходит она с поездки в Париж, взволнованная и недоумевающая. «Как мне быть?» Оказалось, что какие-то студенты через нее обратились к Лаврову с вопросом, можно ли начинать студенческие волнения? «Протест», «демонстрация», «шевеление» молодежи,— рассуждали они,— необходимы. Но правительство настроено крайне «реакционно» и готово ответить на волнения закрытием университетов. Закрытие же университетов, не считая гибели молодежи, всем остальным перерывает образование, держит их в невежестве. Как же быть? Они просили совета у ученого представителя революции.

Ответ Лаврова, собственноручно изложенный для отсылки в Россию, Вандакурова показала мне... Меня он взорвал своей революционной тупостью. Лавров советовал бунтовать; не беда, если молодежь ссылается: без жертв прогресса не бывает. Не беда, если и вовсе уничтожат «два-три университета», ибо в них уже нет науки. «Лучших профессоров» изгнали (действительно, незадолго до того прогнали Максима Ковалевского [330]) и еще кого-то). Молодежь в них не просвещается, а затупляется, для просвещения ей лучше обратиться к свободным учителям науки (т.-е. в роде его)...

Это позорное письмо меня ужасно рассердило. Старая скотина, которая не понимает, что наука не в одних либеральных

*) С сестрами.

друзьях его, в роде М. К.*) «Два-три университета»... Подумаешь, что у нас их сотни! Вандакурова и сама, впрочем, была удивлена диким отношением «ученого» к науке и, сжегши его письмо, ответила своим друзьям только от себя, советуя учиться и дорожить университетами.

Само собой, такие случаи, хотя намеком, доходили до Лаврова и все больше его против меня вооружали.

Позднее, когда и мы, и Вандакурова перебрались в Париж, она нас было вдруг бросила. Все реже, все холоднее — и вовсе исчезла. Однако, не надолго. Вот она снова явилась и объявила, что окончательно разрывает с революциями. Компания Лаврова, Полонской и т. д. затащила ее к себе, вооружила против меня, усиленно притягивала к своему делу. В виде последней реакции. Вандакурова сошлась с ними, стала к ним ходить на все собрания, на их болтовню. Но уже она была «испорчена». Через месяца $1^1/_2$ они ей окончательно внушили отвращение, и она сразу бросила все старое. Его она действительно бросила и даже в пику им, на соблазн своим приятелям студентам, стала жить «барышней», изящно одеваться, наняла хорошенькую комнату, поступила в Ecole dentoire **) и работала, как вол, объявила матери о своем разрыве с радикализмом, прося у нее прощения за прошлое, и т. д. Я посоветовал ей подумать о своей легализации, и она — о ужас! — отправилась в консульство. Карцев ***) Карцев вероятно ее принял любезно. Она расчувствовалась, с жаром рассказала ему свои приключения, объявила, что она бы не пришла, если бы сама искренно не изменилась, и просила похлопотать о ней. Карцев ей, действительно, все устроил, и она получила полное отпущение грехов.

VII.

К осени 1887 г., 8 октября нов. стиля, суббота, мы перебрались в Париж на Avenue du Maine, 204.

Много мы тут пережили трудных минут. Но тогда же я еще говаривал Кате: «Смотри, может-быть, еще об этом вре-

*) М. Ковалевского.

**) Зубоврачебная школа.

***) Русский генеральный консул в Париже.

мени будем с завистью вспоминать». И точно: хорошее время было! Хорошо, как иллюзия, как надежда на то, что при осуществлении часто не стоит медного гроша. Мы, собственно, сначала ни на что не надеялись и никаких планов не имели. Но мы зажили просто, по-обыкновенному, человеческому. Всякие радикальности остались за плечами. О борьбе с радикалами еще не думалось, т.-е. не виделось средств. Но я стал независим. Катя это одобряла. Она вообще слишком мать, чтобы быть революционеркой. Революционеры, кроме немногих, ей давно опротивели, как люди, особенно Лавров, Полонская и т. п. Открытого разрыва все еще не было. Лавров даже сделал мне визит на новосельи. Раз как-то зашла и Полонская. Но вообще сношения у нас сначала почти прекратились, а за сим и безусловно.

Мы об этих людях больше не думали. Я готовился добывать себе хлеб самостоятельно. Мы с Катей готовились жить новой жизнью, т.-е. той, какой живут все обыкновенные люди, Помимо этого, я в душе думал, что, так или иначе, я успею основать некоторую новую группу или направление, которое покинет всякие революции и станет некоторой культурной силой. Как и что,— этого я еще не видел, но ясно чувствовал, что это возможно, верил, что это будет. Мне твердо казалось, что я имею некоторую миссию... Увы! Мечты, мечты, где ваша сладость? Жизнь оказалась сильнее мечтаний. Но тогда я даже так и думал: не даром же мне предназначено было пройти эту безумную революционную школу, не даром дано было столько понять. Я тогда видел, что я понимаю больше, чем все, кого я знал и читал. Это, в сущности, правда. Я и теперь скажу, что мне никакой миссии не положено, но понимание дано. Тяжкий удар, который, может быть, имеет одну цель: меня, столь привязанного к миру, образумить и показать, сколько он безнадежен и бесплоден.

Тогда я думал: не может быть, чтобы это понимание жизни, так ужасно мне обошедшееся, не имело целью какой-либо внешней миссии. И я верил, что обстоятельства мне укажут деятельность.

В ожидании, нужно было жить по своим убеждениям, т.-е. исполняя обычные обязанности отца семьи и работника. В отношении работы мне везло, сравнительно с моей неловкостью.

Я вообще всегда был добросовестный работник, но никогда не имел пройдошества, которое важнее всего для получения работы. Мне легко делать работу, но добывать ее страшно трудно. Но мой тогдашний друг Павловский имел ловкости на сто человек. Мне собственно должно быть ему благодарным. Насчет денег он был весьма кремневат. Но советы давал умные и от души. Как бы то ни было, у меня работа попадалась. Во-первых, я был корреспондентом «СПБ. Вед.», затем сотрудничал в паскуднейшем «La Revue Franco-Russe», затем имел работу у Ашетте (по составлению балканского отдела географического словаря), имел маленький доход и от Савина.... Одним словом, все время я кое-как, хотя и с трудом, перебивался. Эта работа, поставившая меня в соприкосновение с массой лиц, живых, настоящих политиков, журналистов, артистов, деловых людей и т. д., давала мне особенное наслаждение проверкой всех моих взглядов и выводов. Великое дело—реальная жизнь! Что такое какой-нибудь Жеган Судан? Бульвардье, карьерист и, в конце концов, жулик. А сколько ума, сколько человеческого показал он мне, может-быть, сам того не зная. Политику я понял тогда раз навсегда, после $1^1/_2$ лет профессионального наблюдения палаты. Вообще — спасибо этому времени. Много я узнал, хотя и не для того, чтобы приложить свои знания на пользу другим, но для того, чтобы понять премудрость Экклезиаста и убедиться, что все, кроме жизни духовной, есть суета и томление духа. Да помилует меня господь! Нет для меня духовной жизни. Но зато смирился я перед господом и жду его милосердия — не по заслуге, а только по сокрушению своему *).

*) Далее, до пометки «1887/88» зачеркнуто следующее:

«Много я любопытного перевидал за это время. Записывать — так мало времени, что руки опускаются, когда думаешь, с чего начать, что обрисовать. Так что я это просто оставляю. Авось, выйдет минута более удобная. Дополню хоть по частям.

Польша. Клемансо. Буланжистское движение и Буланже. Французская толпа, уличные движения. Полиция. Метанье. Падение Греви. Вильгельм и безобразия. Буланжистские выборы. Французские газеты и редакции. Ночной Париж. Faubourg. Montmartre. Кабачки. Дугли. Арзанс. Antoine. Власть тьмы. «Revue Franco-Russe» и русское сближение. Жеган Судан. Поль Адам. Дрюмон [331]). Мартынов [332]). Католики. Церкви. Французская семья и нравственность, рабочая семья. Рони — и новые люди. Власть шарлатанства. Правительство, подкупы».

1887/88 гг. *)

VIII.

Мы выбрали avenue du Maine в квартале Montrouge, потому что эта местность чужда русским радикалам. Уж не знаю, почему. Это квартал чистенький, с новыми широкими авеню, с прекрасными путями сообщения, улицы тенисто обсажены деревьями, воздух чистый, множество лавок и магазинов, необходимых для небогатых буржуа. По мне, это лучшее место Парижа, после, конечно, недоступных кварталов Монсо и Елисейских полей. Но русские сюда до нас не показывались. Они облюбовали грязные, вонючие переулки Глясьери и бульвара Пор-Рояль, в лучшем случае селясь на пустынном бульваре Араго. Почему? Может быть, именно потому, что тут слишком чисто и прилично, слишком буржуазно. Но мы были в полном восторге от своего места. Наша квартира чистенькая, 4 комнаты, на 4 этаже, выходила одной стороной на avenue du Maine, из окон вблизи за деревьями не видно было улицы, но направо, в 200 шагах, виднелась высокая колокольня церкви Saint Pierre, налево — площадь Малого Монружа, где находились и мэрия, и школа, и хорошенький сквер, и огромный крытый рынок, все это тоже в 200 шагах от нас. Задние окна выходили на громадный двор, каких я и не видывал в Париже, а за двором из окон открывалась широчайшая перспектива, — виднелся не только конец города, но далеко за городом, до фортов и лесов, на бесконечном горизонте широта и красота, океан воздуха и света. Квартира нам очень понравилась и была не дорога — 600 франков, платимых, конечно, по «термам» **). Но лучше всего был двор. Он и определил наш выбор. Саше было необходимо гулянье. Наш же двор, лишь частью занятый домами по avenue du Maine, дальше тянулся огромной пустынной полосой, совершенно дикой, правда, отчасти заваленной камнями от постройки, но также заросшей огромным

*) В начале главы зачеркнуто: «VIII». «Из этой массы впечатлений и столкновений я хочу выделить свою личную жизнь, которую хочется записать, а там остальное, как бог даст и когда бог даст».

**) По третям года.

бурьяном и травой. Весь он находился перед нашими окнами: не выходя из квартиры, можно было наблюдать за ребенком, хотя только *наблюдать*: крикнуть, позвать было нельзя — далеко. Но мы придумали вывешивать в окне сигналы, если нужно было позвать. Во всяком случае, этот двор нас решительно соблазнил и, действительно, пригодился.

Raffegeou одобрил наше переселение. «Мальчик оправился, — сказал он, — стал сильнее, ему теперь нужны впечатления внешние, лучше быть в городе». Саша, действительно, переехал в Париж, после деревни, с восторгом. Его тут все интересовало. Перебрались мы, кое-как, на скорую руку, устроились и заснули в самом счастливом настроении. Все было хорошо, все было близко, под руками, что нужно, — лавочки, рынок, даже в дому были лавочки. Заснули и на утро проснулись от странного, родного звука, нам обоим вдруг напомнившего далекую, дорогую землю. Это звонил Saint Pierre. Конечно, жалкий звон в сравнении с русским, но для Франции это был хороший колокол, и звук шел замечательно сильно к нам в окна. Долго мы не могли свыкнуться с этим звуком и каждый раз слушали его с особенным чувством. Он таки пророчески звучал для нас, хотя о России мы тогда не воображали даже.

Квартал с окрестностями был мне совсем незнаком, и мы с Сашей в свободное время долго осматривали его. Это была огромная сеть старинных улиц и переулков, иногда роскошно типичных образчиков старой Франции; но на этом основном фоне Наполеон *) и республика пробили несколько новейших, широчайших, светлых улиц, площадей, скверов. Неподалеку от нас была и граница Парижа, — зеленые, роскошные фортификации, за ними полоса огородов, полей и дальше деревни. Масса зелени. Походить было где. Посетили мы, конечно, и наш милый Saint Pierre на углу avenue d'Orléans. Это была огромная, старинная, сухая постройка, неправильная, как все французские церкви, с высокой колокольней. Внутри простор и полумрак, важный, таинственный и тоже неласковый. Вообще ничто не сравнится с православным храмом по его любящей теплоте. Но все же скажу, — я как-то чувствовал в католической церкви

*) Наполеон III.

присутствие бога. Ничто мне там не нравится особенно. Голы стены, некрасивы, невыразительны статуи, неуместны скамьи, неприятна пассивная дисциплина молящихся, по звону колокольчика и стуку булавы подымающихся и садящихся. Не нравится мне даже и орган, что-то говорящий, да не договаривающий. Не нравится и театральное пение, не похожее на молитву. Сколько сот раз бывал я в католических церквах и привык к ним и, кажется, отвык совсем было от православного обряда, а нет, — не говорит католическая церковь сердцу так много, как православная. Впрочем, мне и Мартынов это высказывал. Он благодарил католицизм, давший ему религию, и порицал православие, при котором оставался полубезбожником. «Напрасно говорят, будто бы католицизм привлекает внешностью. Ведь эта внешность у православных, пожалуй, гораздо лучше»...

И правда. Лучше, без всякого даже сравнения.

Помню, когда я первый раз, после многих лет, пошел в русскую церковь на rue Daru. Я давно туда тянулся. Проходя мимо и видя сквозь переулок эти золотые маковки, этот знакомый абрис, — так и хотелось зайти. Но я боялся и стыдился. Я — отверженец, я — враг своего народа; — как я пойду сюда, в посольскую церковь? Мне все казалось, что меня там узнают. Вдруг скажут: «Зачем здесь ты? Твое ли место?» Я долго не мог преодолеть этого чувства и пошел не скоро.

Но вот однажды, уже летом 1888 года, я таки поборол себя или, может-быть, правильнее меня поборолo это желание, взял Сашу, и мы отправились... Путь от нас, с Монруж до Монсо, это — целое путешествие. Прибыли мы, наконец. Боже, как у меня билось сердце! Саша тоже был как-то поражен этой особой архитектурой. В Париже наша церковь — прехорошенькая, маленькая, но прелесть. Поднялись мы по ступеням паперти; входим, — все пусто, только два — три человека работают, расстилая ковры. Оказалось, что верхняя церковь приготовляется к какому-то празднику, кажется, к Успению. Я спрашиваю по-французски, будет ли служба. Но человек, оказавшийся причетником, ласково, по-русски, ответил: «Да она уже идет». — Где? — «В нижней церкви. Тут вот мы готовимся»... Он живо и любезно начал объяснять, как пройти... «Да позвольте, тут ближе, я вас проведу через алтарь»... Мы прошли через алтарь, вышли

и, завернув по тротуару, спустились в подземную церковь. Не могу выразить, что я почувствовал в этой ночи, освещенной множеством теплящихся свечей и лампад. Образа искрились своей позолотой. Дьякон читал ектенью. Когда раздалось пение молитвы, мне стало страшно, — я думал, что у меня разорвется сердце. Скажу прямо: с детства я не плакал и не умею плакать, и презираю его и не верю плачу... Но у меня тут спазмы охватили горло, — мне хотелось упасть и рыдать от горя и счастья, от стыда за свое блужданье, от восторга видеть себя в церкви, я не знаю от чего, но я даже подумал на секунду: «Господи, если у меня лопнет сердце, что же будет с мальчиком».

Саша у меня до тех пор вырос на католической церкви и полюбил ее, хотя, конечно, знал, что мы и католики — разное дело. Я именно боялся, что мальчик слишком втянется в католичество и не поймет нашей церкви. И вот мы выходим с этой первой службы. Я сам был слишком полон, а Сашу боялся спросить, понравилось ли ему. Молчу. Страшно,— вдруг скажет: «Ничего, недурно...». Но он с двух шагов, как только почувствовал, что можно разговаривать, окликнул меня: «Папа, папуся». Смотрю, весь красный, глаза горят. «Что, Сашурка?»— «Папа, мы больше не будем ходить в католическую церковь... Тут лучше, у нас гораздо лучше. Папа, мы сюда будем ходить, правда?». Благодарю бога за эту минуту. Я был в полном смысле счастлив. Итак, я моего мальчика не погубил. Я чего не нагрешил, я себя загубил, но мальчика своего привел к правде. Эти слова меня утешили до счастья. И мы, действительно, с тех пор не ходили к католикам. Саша даже стал иронизировать немножко над ними.

Но я забежал несколько вперед. Итак, хотя католическая церковь и далеко не наша, но я все же туда ходил, тем более что тогда еще не знал, что это не одобряется нашей церковью. Впрочем, в конце концов, я в их молитве, строго говоря, не участвовал, а только присутствовал при ней, так что не думаю, чтобы это было грешно. Если молился, то сам по себе.

В это время я сблизился с Павлом Маринковичем.

Мой большой приятель, старший Радович, познакомил меня с своим братом, у которого я перезнакомился с кучей студентов румынов и отчасти сербов. Между ними был молодой Свила-

кошич, маленький, миленький и в сущности дрянноватый, хотя весьма неглупый. Этот Свилакошич стал ко мне захаживать и познакомил меня с Павлом Маринковичем.

Маринкович жил в пансионе Мирманов на rue Brezin, 13, возле нас. Rue Brezin идет с нашего рынка на avenue d'Orléans. Это — бойкий торговый переулок, на котором нельзя было бы предположить такого двора, как в глубине № 13, нанятого Мирманами. Пройдя переднюю часть двора, уставленную домами, вымощенную плитами, безусловно городскую, на задворках неожиданно находишь довольно старый трехъэтажный особняк, окруженный пустым пространством. Оно заборами разбито на садик и несколько дворов. Тут и помещался пансион Мирманов, с которыми мы тоже скоро познакомились и даже сошлись. Семья, как и весь уголок, была весьма милая и даже своеобразная.

Сам monsieur Mirman был уже старик, в старинном вкусе. Худой, нервный, с длинными волосами, живой и умный, он принадлежал к поколению 48 года. Он был революционер и социалист, но не из нынешних, практичных, материальных и шарлатанистых. Monsieur Mirman был идеалист, в житейских делах ничего не смыслил, но мечтал о возрождении рода человеческого прежде всего на почве нравственного совершенства. У него была какая-то смутная религия какого-то неизвестного бога, хотя «положительные» религии он, конечно, отрицал. Жизнь его была бурная. Он принимал участие в революции 48 г. и даже был известен, но не запачкал себя ни в каких репрессиях, напротив, рисковал собой, спасая, случалось, и врагов; это, помнится, было во время Коммуны. Он был членом какого-то некогда сильного клуба, члены которого к нашему времени уже все почти перемерли, хотя оставшиеся 2 — 3 человека, в том числе Mirman, продолжали в назначенное, освященное традицией, время собираться на свои заседания. Кроме возрождения человеческого рода, Mirman был страстно предан географии, которую изучал, как Реклю, с какими-то широчайшими идеями. Его кабинет и чердак были завалены всевозможными географическими сочинениями. Он и сам что-то писал по этой части или делал доклады, во всяком случае, был известен парижскому ученому миру. Особенно интересовался он Средней Азией и даже составил карту Средней Азии, которая осталась неизданной, но, говорят, представляла единствен-

ный в мире экземпляр по основательности и подробности. По случаю своего интереса к Средней Азии, он познакомился и с Россией, политикой которой в Средней Азии восторгался до энтузиазма. Нельзя было при нем затронуть Россию какой-нибудь критикой. Он немедленно выступал на защиту и доказывал, что роль России в Средней Азии великая, прогрессивная, неподражаемая.

Что̀ бы ел, во что̀ бы одевался этот превосходный человек без своей жены, — трудно сказать. Материальное для него существовало лишь в идеальном виде. Он удивлялся, почему это люди так жадны и хотят непременно все себе присвоить. Он любил хорошие вещи, но довольствовался тем, что ходил по большим бульварам, восхищаясь красотой зданий, богатством выставок. Это его вполне удовлетворяло. «Мне кажется, — говорил он, — что это все мое. Ведь это наше, французское. Мы это сделали. Не понимаю, зачем мне покупать. Мне приятно видеть, каких огромных цен все это стоит, но покупать — это выходит в роде того, что купить у самого себя».

Единственный предмет, изменявший его мнение о безразличности покупки, — это книги. Книг он накупал массу, и все дорогие издания. Это приходилось делать нередко тайком от madame Mirman, и муж ее даже обманывал, о чем он сам, смеясь, рассказывал. Купит что-нибудь и спрячет, старается, чтобы жена не увидела. Но вдруг как-нибудь она замечает, и тогда monsieur Mirman уверяет ее, что это он получил даром от автора или от какого-нибудь ученого общества. Но обман, случалось, обнаруживался, и уже тогда monsieur Mirman оставалось только приносить повинную голову.

Madame Mirman, здоровая, крепкая француженка, для своих лет все еще красивая, представляла полную противоположность мужу, которого, впрочем, добродушно любила и понимала. Она допускала, что можно витать за облаками, но нужно же кому нибудь заботиться о земном! Практичная, энергичная, настойчивая, она забрала мужа в руки и сумела его утилизировать в земных целях. Она настояла на устройстве у них школы для детей и пансиона для квартирантов. Хозяйничала, конечно, madame, но муж оказался тоже полезен. Он был хороший учитель, не только по знаниям (очень обширным), но даже имел

педагогический такт и выдержку. Так, однажды он заметил Кате: «Вы, вероятно, думаете, madame, что я не люблю вашего Сашу? Напротив, я охотно бы играл с ним. Но это — система, принцип. Учитель не должен фамильярничать с учеником. Ученик должен чувствовать, что перед ним некоторая высшая сила, которая не равна ему, на которую он должен смотреть с почтением». Учил он хорошо, тем более, что это служило целям возрождения рода человеческого. Несмотря на то, что в двух шагах от Mirman'ов находилась даровая правительственная школа, у них училось 50 — 60 детей, частью у них и живших. Для пансиона Mirman тоже был полезен, — не работой какой-нибудь, а самим фактом своего существования. Присутствие этого высоко-развитого и симпатичного человека придавало какой-то особый букет интеллигентности их дому. Это не были банальные «меблированные комнаты со столом», а какое-то общежитие развитых людей. У Mirman'ов жили исключительно студенты или иностранцы, явившиеся посмотреть западную цивилизацию. Их столовая была салоном, в котором вечно шла беседа если не просто остроумная, то о всевозможных вопросах политики, науки, общественных дел всего мира. Их коллекция иностранцев была самая разнообразная. Тут бывали русские, сербы, румыны, грузины, даже японцы, — все, что угодно.

Для пансиона такого характера monsieur Mirman был прекрасен, что и поняла практическая madame.

Не помню, сколько было у них собственных детей. Был сын, молодой человек, и в то время яростный буланжист. Была дочь, m-lle Jeanne, уже не молоденькая, лет 24, но изящная и хорошенькая, казавшаяся моложе своих лет. Она имела большой талант к живописи и порядочно зарабатывала в иллюстрированных изданиях, а картины ее бывали в Салоне, уж не знаю только, покупались ли. Во всяком случае, допускались в Салон. Бедная барышня была влюблена в моего Поля *), и у них, очевидно, были объяснения, если не вполне открытые, то, во всяком случае, установившие между ними ту опасную «дружбу», которая так легко должна заканчиваться браком... Madame Mirman, без сомнения, не могла не замечать этой дружеской интимности.

*) Павла Маринковича.

Но, в конце концов, Поль тогда был завидным женихом. Молодец, бойкий, умный, он был сын министра, который хотя и остался за штатом, но все же в качестве государственного советника и имел все шансы снова всплыть. Отец Маринкович был милановец, но в то время Милан [333]) еще твердо сидел и его падения не предвиделось.

Сам Павел мне сразу понравился. Он чуть не с 15 лет радикальничал и участвовал в разных демонстрациях. Хохоча, он рассказывал мне, как с толпой демонстрантов кричал перед дворцом: «долой грабителей»... в числе этих «грабителей» был и его отец, честнейший человек и на ту пору министр. Отец увидел его в толпе и, улыбаясь, погрозил ему пальцем... Отец, вообще, кажется, деспотичный по сильному характеру, на сына не старался влиять насильственно. Он ждал, чтобы тот перебесился, и надеялся на его здравый смысл, со своей стороны давая только наставления своего государственного опыта. Эти расчеты не были обмануты. Поль, искренний и чуткий, скоро начал схватывать какую-то фальшь в «передовых» идеях, а к отцу проникся уважением почти до преклонения. По окончании курса чего-то в Белграде, отец отправил Павла в Париж, самый центр революции, и Поль, сначала всюду совавшийся и хорошо познакомившийся со всеми партиями, ко времени знакомства со мною уже был полон насмешливого скептицизма в отношении «крайних»... Преклонялся он еще перед Гамбеттой, что большая храбрость мысли в 1887 году. Со мною он потому и захотел познакомиться, что услыхал о каких-то моих «ересях». Сошлись мы быстро, и под моим влиянием он становился все более независимым от всяких модных теорий. Скоро мы были тесными друзьями, и он вечно толокся у нас, играя с Сашей, или болтая со мной и Катей.

Через Поля мы познакомились с Мирманами и несколько месяцев спустя стали посылать Сашу в их школу. Он там был на правах подготовляющегося, сидел в классе, играл с детьми, немного учился и был всеобщим любимцем. Он вообще выравнивался в славного, добродушного и симпатичного ребенка. В школе с m-lle Jeanne, с Полем он шибко выучился по-французски, но с нами продолжал говорить по-русски, так что не было момента, когда бы он говорил по-французски лучше, чем

по-русски. Но читать по-русски мы его не учили, а по-французски в школе он выучился. Писать же цифры он выучился отлично и очень оригинально.

Долго он обнаруживал замечательную неспособность к счету. До 20 — 30 он умел считать, но дальше не понимал, несмотря на объяснения. Писать же цифры умел всего до девяти, а десять уже не понимал. Я не насиловал его понимания, вообще боясь за его больную голову, но в глубине души приходил в отчаяние за эту огромную неспособность, которая как бы подтверждала мои опасения о возможности влияния пережитого менингита на его голову. Но он вдруг выучился сам следующим образом.

Мы с ним делали прогулки огромные, по несколько часов. К новому году я ему купил за 5 — 6 франков крепкую деревянную лошадку на прочных колесах, достаточно большую, чтобы он мог сидеть на ней верхом. Он был в восторге от подарка, который оказался весьма полезен. Мы брали на прогулку эту лошадку. При сплошных парижских асфальтах, она могла проезжать целые версты. Когда Саша уставал, он садился на лошадку, а я ее вез за веревочку. Впрочем, мы и без лошадки ходили очень далеко, за город и по городу. Улицы длинные, дома в Париже высокие, но узкие, большею частью в 4 — 5 окон, а часто и в 2 — 3. Поэтому №№ домов многочисленны и доходят до многих сотен. Как-то на Сашу напала охота спрашивать меня, какой номер домов, мимо которых мы проходили, и он этим так увлекся, что на прогулках даже надоедал мне. Не обращает внимания ни на что, кроме №№, и каждую минуту спрашивает: «А это как?» — «Ну, 16». — «А это?» — «Семнадцать», — «А это?» — «Восемнадцать» и т. д. до десятков и сотен. Не помню, сколько времени это продолжалось. С перерывами — с месяц, конечно. Потом, в один прекрасный день, он меня удивил. Вдруг смотрит на случайный № дома и говорит: «Ты мне не говори, я сам узнаю». И назвал № совершенно верно; потом другой, третий, в разбивку, и все верно, а сам радуется, по своему обыкновению, закрывает лицо руками и говорит: «Я теперь все номера понял, все цифры». И действительно, — оказалось, что он может считать до бесконечности, только спрашивая названия «миллиона», «биллиона» и т. д., а писать по порядку, если не бесконечно, то очень много, больше тысяч, но только

по порядку. Когда он сделал это великое открытие, оно его так увлекло, что он стал буквально «засчитываться». Вместо игры, начинает вдруг считать «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и т. д., до сотен, тысяч, до полной усталости, так что приходилось прибегать к запрещению и строгому, чтобы остановить, наконец, этот бесконечный счет.. *)

См. далее стр. 293 **).

VII.

(Продолжение к странице 258).

... Саша и поступил именно в школу Mirman'ов. Эти достойные люди вместе с Марниковичем остались нашими друзьями до конца нашего пребывания в Париже.

---

*) Точки в подлиннике.

**) Собственно непосредственного продолжения этой части воспоминаний после следующей, не законченной, VII главы, воспроизводимой нами вслед за этим, в архиве Тихомирова не имеется. Ко времени отъезда его из Парижа и дальнейшей жизни в России после амнистии относится «Дневник» кн. № 2. Книга же за № 27 заключает в себе «семейные записки» (см. выше).

ДНЕВНИК

(С января 1889 г. по декабрь 1895 г. № 2) *).

1889 год.

28/16 января.

Выехал в 7 часов утра из Парижа. Катя с Сашей провожали меня на вокзал. Потом подошел Маринкович.

17 января.

Приехал в Берлин; остановился в Central Hôtel, осматривал город.

20 января.

Утром, в 11 с лишним часов, прибыл в СПБ. Остановился в «Большой Северной Гостинице» (№ 105). Немедленно явился к директору полиции **) (бывшее здание III Отделения).

21 января.

Был у Суворина (Малая Итальянская, 18, 14). Вечером у П. Н. ***). Получил паспорт по 16 февраля.

22 января.

Был у Знаменья (сегодня воскресенье). Купил Саше священную историю в картинах. Заходил ко мне Коялович (я у него был раньше, не застал, оставил карточку). Шлялся по городу.

---

*) В начале этой страницы пометка:

NB. Высочайшее повеление, давш[ее] мне дозволение возвратиться на родину, состоялось 10 (десятого) ноября 1888 года.

**) Т.-е. директор департамента полиции.

***) Дурново, П. Н.

23 января.

Был во фраке и т. п. у Плеве — благодарить за внимание. Чуть не погиб от мороза. Был в комиссии прошений; видел генерал-адъютанта Рихтера [334]) — замечательно симпатичная личность. Вечером у П. Н. Умница необыкновенный.

24 января.

Был у графа Дмитр. Андр. Толстого [335]). Тоже, конечно, во всей лепоте (Большая Морская, № 11). Авторитетный человек и умен.

25 января.

Письмо от Кати. Был у Буевой. Вечер у Суворина.

26 января.

Утро у Киреева. Я у него был раньше, не застал, оставил карточку; он в тот же день отдал визит, не застал меня, оставил карточку.

27 января.

Вечер у П. Н. и Кояловича.

28 января.

У нас в гостинице проездом оказался Александров. Зашел ко мне, я к нему; уехал.

10 февраля.

Уехал из СПБ. Полиция находит, что я чересчур зажился. Между тем дело в комиссии прошений только что не в беспорядке оставлено. Сделано следующее: 1) Тождественность моя и лица, брачившегося 30 июля 1880 г. в лейб-гвардии Павловского полка церкви в СПБ. засвидетельствована полицией. 2) Метрика Нади оставлена в полиции для засвидетельствования в консистории и пересылки в комиссию прошений. 3) Свидетельство Веры о крещении засвидетельствовано мною у главного священника армии и флота (Фурштадтская, отец Желобовский) [336]). 4) Метрика Саши оставлена в полиции для пересылки в нашу швейцарскую миссию для засвидетельствования.

Все это очень недостаточно. Перед отъездом видел графа Гейдена [337]), которому и объяснил положение дела.

14 февраля.

Уехал из Москвы; прожил там 11, 12, 13 и 14 число.

25 февраля.

Прибыл в Новороссийск. В Орле пробыл день («Центральная гостиница», на Болховской), в Харькове 2 дня (гост. «Россия»). В Ростове, по случаю опоздания поезда, заночевал. В Тихорецкой просидел всю ночь — 8 часов. В Екатеринодаре 2 дня.

6 марта.

Все время с приезда болен — горло и лихорадка. Получил от Суворина телеграмму, что он (по моему требованию) передал статью об эмигрантах в «Моск. Вед.» *). Получил сегодня из жандармск. управления книги, посланные Новиковой.

12 марта.

Перебрался в свою комнату.

18 марта.

Послал письмо Грингмуту Владим. Андр. [338]) в «Моск. Ведом.».

Мое время идет скучно. Все прочее было бы еще сносно, но отсутствие денежной работы сокрушает. Не вижу, как это кончится, потому что заглазно ничего нельзя делать. У Суворина мои дела, очевидно, плохи. Он отлынивал даже от статьи об эмигрантах, которую сам когда-то восторженно расхваливал. Значит, у него есть очень сильные влияния против меня. Теперь я ему послал большую статью «Тенденциозная эпоха французского центра» для «Исторического Вестника» [339]). Ясно, что он и ее не примет. В своем консерватизме он не переходит известной черты, которую я перехожу. Я отрицаю разные передовые идеи по существу. Это, вероятно, для него уж не годится. А мне что делать? «Моск. Вед.» имеют

*) «Несколько замечаний на полемику эмигрантов».

свой расчет, свои желания. Это натурально, но опять очень печально для меня. Редакция хочет моих воспоминаний. Я же ей даю статьи принципиальные. Выходит в результате, что с 6 по 14 марта статья об эмигрантах не напечатана и у «Моск. Вед.» Будет ли напечатана вообще? Да хоть и будет (в чем я уже совсем разочаровался), то разве это работа, через шесть часов по ложке?

А у меня денег два рубля. Живу целиком на счет матери. Долгов : 400 руб. Суворину, 600 руб. Маркграфу, 450 руб. брату. Катя принуждена из-за погоды жить в Париже. И выхода не вижу из этого положения.

Выручал господь,— это что и говорить! Но я и душевно чувствую себя как-то нехорошо. Я прежде молился и минутами чувствовал человеческую близость к богу. Теперь на душе какой-то клей, какая-то запорашивающая ее пыль. Нет живого чувства. Может-быть, это меня пригнетают материальные условия. Я не деловой человек, в делах денежных и вообще материальных чувствую себя детски-беспомощным, и когда они плохо идут, я впадаю в уныние. Может-быть, но, во всяком случае, мерзко, тяжело.

Последние дни я не сплю до 3, до 4 часов ночи. Дом сделан словно нарочно для воров. Стеклянная галлерея, где вор 15 числа открыл окно, имеет окна, выходящие в зал. Нет ничего легче, как войти совершенно незаметно. Из окон двое без ставен, да и в остальных половина ставен не запирается даже на крючки. А в доме — старуха мать, двое детей да я, да на кухне девочка-прислуга и кухарка... Невозможно спать, глаза не смыкаются; я уже совсем изменился, глаза болят, желудок испортился.

Дерзость воров замечательна. Инженер Залесский, возвращаясь к себе в 12 часов ночи, увидал свет в своем кабинете, а дверь парадную на улицу — открытою. С его приближением свет погас. Но Залесский пошел ощупью и крикнул: «Нет, не выпущу». Раздалось несколько выстрелов; одним вор ранил инженера и выскочил на улицу. Залесский гнался за ним, бил палкой, кричал, но никто не явился на помощь, и вор убежал. А жена Залесского, услыхав перепалку, залезла со страху под кровать.

20 марта, понедельник.

В «Московск. Вед.» (за 16 марта), начато печатание моей статьи «Несколько замечаний на полемику эмигрантов». Это очень хорошо.

Вчера был у Ильченки с сестрой.

Доход Новороссийска — 28 000 руб., в том числе 12 000 р. от торговли. Толки о построении церкви. Новая будто бы обойдется 100 000 р., а перестройка — тысяч 20. Школа стоит (4-классное училище) — 70 000 р. Вывоз из Новороссийска, предполагается, дойдет до 4 миллионов четвертей, а вывозится будто бы уже один миллион четвертей. Городовых в Н-ске 12 человек, а на уездной стороне 2 вокзальных жандарма и 1 урядник. Рабочих же, голытьбы, там до 5000 человек. Железная дорога осушила засыпкой 35 десятин болота. Будущий вокзал будет у самого Цемеса, у моста. Всего болота около 200 десятин.

Меня опять начинает трясти лихорадка. Может-быть, этому помогает отвратительный желудок, испортившийся сильно от бессонных ночей. Это все от проклятых воров: не могу спать. Сегодня лег по-человечески, но затем (теперь $11^1/_2$ часов ночи) разбудили собаки, которые воют и лают без конца. Оделся и сел писать. Когда это кончится? Наша полиция затребовала у атамана усиления ее персонала, кажется, 10 казаками и 10 солдатами команды. Но когда-то он разрешит?

Жена и Саша меня тоже беспокоят. Слава богу, деньги у них есть, но эти бесконечные отсрочки истощат что угодно. В половине марта они было собрались ехать, но я, вследствие холодных погод, дал телеграмму — подождать. Боже, боже, уж если бы это все устроилось наконец!

22 марта.

Получил сочинения Аксакова (И. С.) [340]) от О. А. *). Вот уж умница барыня! Получил от брата письмо ему от Кати, где она говорит, что, несмотря на мою телеграмму, выедет 18 марта... Сам не знаю, что сказать. Печегул только сегодня говорил, что по всему югу холода и снега. Лед нигде не тронулся.

Статья моя в «Моск. Вед.» окончена.

---

*) Новиковой.

23 марта.

Письмо от Кати, где говорит, что подождет до 1—2 апр. (20/21 марта). Ответил ей письмом, прошу ждать до 1—2 русского апреля.

27 марта.

Письмо от О. А. с вырезкой из «Моск. Ведом.» Ответ ей. Письмо от Разумовской. Послана в «Моск. Вед.» статья: «Открытое письмо иностранному обозревателю «Северного Вестника».

28 марта.

Маша *) с дочерью уехали в Екатеринодар — только всего на несколько дней.

Гулял с детьми к морю. Дало сон **).

28 марта.

Урок русской истории. Тоска меня берет относительно детей. Эта Маша перехватывает их у меня. Какие эгоистки эти женщины, а, ведь, каждая воображает, что у ней не знаю какое превосходное сердце...

Безденежье то же. Боже мой, боже мой, когда кончится это испытание? Нужно бы послать телеграмму Кате — гроша нет. Детям не на что купить пособия учебные, нечем их побаловать, а это нужно теперь. Как-то мне не идет в прок жизнь. Перемены,

---

*) Сестра Тихомирова.

**) Далее следующий список.

Имена новороссийцев и екатеринодарцев:

1) Гусаков, Владимир Никитич. доктор; его жена Ольга Матвеевна... ее мать Смолевская, Евгения Алексеевна. 2) Евгения Александровна Огранович, вдова доктора. 3) Саблин, Борис Дмитрич, архитектор. 4) Ярослав Федорович Гейдук. 5) Эмилия Федоровна Ильченко (жена аптекаря). 6) Вартлинский, Александр Павлович, полицеймейстер. 7) Соколов, Григорий Иванович — начальник Округа. 8) Капитан Соколовский, Владимир Николаевич, офиц. корп. жандарм. (здешний). 9) Начальник жанд. упр. в Екатеринодаре — Черкасов... 10) Николай Иваныч Энгельман. 11) Священники: о. Михаил Павлов (протоиерей), о. Владимир Александрович Гофман. 12) Наша епархия грузинская, архиепископ... 13) Членов... начальник местной команды. 14) Папкевич, Ив. Вас., жена Лидия Гавриловна. 15) M-me Печегул. 16) Охременко, Иван Васильевич. 17) Севастьянов, Григорий, жена Александра Ивановна. 18) Владимир Федорович Орлов.

перемены, а ничего не лучше. Только вместо одних невидимых мук являются другие, такие же неисходные. Да не хуже ли? То была хоть звезда впереди, а теперь — ничего, кроме все большего сознанья бессилья!

Гроша нет буквально. Не просить же у матери, да и у нее нет. И то у ней на шее сижу. Работать? Где? «Новое Время», очевидно, изменило. «Моск. Ведом.» ждут от меня того, что я не делаю. А другие статьи, кто их знает, будут ли печатать. При таких условиях, когда сам навязываешься, как просить о деньгах?

Неудачная жизнь, неудачный человек! Смертный грех — отчаянье, ходит кругом меня, пронизывает меня неверием в себя, в будущее, в свое призвание. Чувствую, что это низко, недостойно, и не могу оживить себя.

А мне 38 лет. Конец яснее и яснее вырисовывается там с краю, к которому я уже ближе, чем к началу. Неужто все мечты, все иллюзии, все персть, все тлен, все осень... Веры нет.

Кто поможет? Боже мой, где ты, дай мне ощутить себя!

29 марта.

Послали телеграмму Кате: Маша сама предложила, хотя у ней едва несколько рублей, предстоят расходы к празднику.

30 марта.

Ответ Кати на письмо 9 марта (а ее письмо от 20 марта): 100 руб. все еще не получила.

5 апреля.

О Кате и Саше ни слуху, ни духу. Уже неделя, как я послал телеграмму — «Partez» *). Что с ними? Поехали или нет. Где они? В неделю можно почти доехать... Так тяжело на душе. Вообще все как-то скверно.

7 апреля.

Великая пятница. Разговоры с матерью и особенно Машей по поводу поста девочек. Я никак не могу ввести постов. Мать их боится из-за желудков, а Маша, даже не разберешь, из-за

*) Выезжайте.

какой-то своей середки на половинчатой философии. Верочка была нездорова. Но Надя таки увлеклась и начала постить. К несчастью, и она захворала. Боюсь, что они обе порядочно простудились. Но теперь болезнь Надички будет долго аргументом против.

9 апреля.

Воскресенье. Ночь. Светлое Христово Воскресение. Вернулся из церкви. Были я, Маша с Марусей, Лидия Васильевна. Пробыли больше двух часов на крестном ходе, прослушали «Христос воскрес...» Через много лет, в первый раз встречаю св. Христово воскресенье по-русски, по-христиански. Вернувшись, разговелись. Благодаренье богу, вырвавшему меня из трясины... Только Кати с Сашей нет на нашей радости, да девочки мои нездоровы. Прими, господи, благодарение и спаси и помилуй.

NB. Вечер-ночь. — Совсем не похоже на начало.

12 апреля.

Письмо от Кати в ответ на мою телеграмму: насчет нездоровья Саши и т. п., едет не раньше 25/13 апр. Мой ответ. Она его думает получить.

22 апреля.

Отправил в «Моск. Вед.» статью «Очередной вопрос» [341]).

23 апреля.

Приехал Маркграф. От Кати — ничего. Не знаю, что мне думать, что мне делать.

Вчера получил брошюру Плеханова против меня (Новый защитник самодержавия) [342]). Он решительно неспособный человек. Я его считал умным. Очень пустяшная болтовня.

26 апреля.

Телеграмма от Кати: Partons demain *) (от 8 мая н. с., т.-е. 25 апреля). Мама говорит: «Наконец-то». Приходит сестра: «Наконец-то». Вечером Андрей Васильевич: «Наконец-то...»

*) Выезжаем завтра.

29 апреля.

Письмо от Кати, письмо от Дмитрия Андреевича Грингмута *) и 100 рублей. Был у полицеймейстера объясняться по поводу предложения о. Михаила о крещении. Вчера, 28 апр., Вартлинский предъявил мне бумагу о том, чтобы я сначала крестил Сашу, а потом отослал метрику в комиссию прошений **). До тех пор дело будет без движения... Того же 28 апр. ходил к о. Михаилу.

30 апреля.

Воскресенье. Телеграмма Кати из Брест-Литовска: «Приехали благополучно, здоровы. Отдохнем дня три. Катя».

Известие газет о смерти графа Д. А. Толстого. Визит Папкевичу и Севастьянову. Приезд В. Константинова. Он просил маму позволить ему с товарищами пожить на ее хуторе. Я ему отказал, объяснивши, что мне-де неудобно, чтобы студенты проживали на нашем хуторе.

Жаль покойного графа Толстого. Умный был человек. Немного таких в России. Характер, образование. Хорошо, что я имел случай видеть этого замечательного человека. В январе месяце сего года он казался очень бодрым. Худой, с выразительными глазами, большим лбом; лицо чрезвычайно нервное. Бритый подбородок и баки. Уж очень длинные. Голос отчетливый. Речь необычайно самоуверенная и авторитетная. Это, очевидно, человек вполне убежденный, ни на волос не сомневающийся в своей правоте.

Революционеров он сравнил с психопатами средних веков, к типу которых причислил и Льва Толстого.

Мой разговор с ним ***).

---

*) Брат В. А. Грингмута.

**) Эта бумага есть секретное предписание департамента полиции от 17 марта 1889 г. за № 1100 (тысяча сотым), объявить состоящему под гласным надзором дворянину Льву Тихомирову, что ему надлежит озаботиться, чтобы значащийся в прилагаемой при сем выписи из актов рождений общины Plainpelois Женевского кантона Швейцарской республики сын его, Александр, был присоединен через св. крещение к православной вере, и затем, чтобы метрика, надлежаще засвидетельствованная, была предъявлена в комиссию прошений, на высочайшее имя приносимых. *Прим. автора.*

***) NB. Записать. *Прим. автора.*

2 мая.

Подал Вартлинскому *) прошение о выдаче мне свидетельства, что: 1) мне поручено высшим начальством озаботиться крещением Саши, 2) что он действительно не окрещен, 3) что швейцарский документ подлинен.

Чистая беда! Нельзя окрестить ребенка... Вот уж порядки!

4 мая.

Ходил 10 раз к Вартлинскому. Сегодня застал. Но он без разрешения начальства не выдает мне просимых свидетельств. Чудеса просто!

Вечером телеграмма из Москвы: «Очередной вопрос — великолепен, полезен, поздравляю».—Ол **). Дай бог! Вероятно, статья понравилась редакции.

Днем зашел ко мне с визитом. Кто же? Виктор Васильевич Еропкин. Все больше расспрашивал о мнениях, и себя представил в очень умеренном виде.

7 мая, воскресенье.

Кати нет, нет и известий. Между тем, если бы они были в дороге, то давно бы пора иметь телеграмму. Не заболел ли Саша в Брест-Литовске? Тут было столкновение условий, которое теперь лежит на моей совести. Дело в том, что отсрочки отъезда Кати из Парижа возбуждали тень недоумения. Я расслыхал, мама говорит Андр. Васил.: «Уж я и не знаю... Уж я его и не расспрашиваю... (т.-е. меня)... Чего она (Катя) только не едет? Мальчик, видимо, здоров». Сестра тоже хранила свой многозначительный вид, и невинные вопросы: «Что же еще не едут?» Их разговоры, как я видел или чувствовал, отражались на детях... Все это меня раздражало еще больше, а между тем я и сам по письмам Кати видел, что она что-то врет, что выставляемые ею предлоги, — видимо, вздор и не сходятся между собою... Я терялся в предположениях и одного только лишь не предполагал: чтобы Саша был серьезно болен... Мне в голову не приходило, что Катя могла от меня это скрывать... Я ей написал два крайне резких письма, выставляя ей всю

*) Полицеймейстер Новороссийска.

**) Новикова.

необходимость ее здесь присутствия. Идиот! Подозрительность и слабохарактерность меня всегда губили!

А между тем у Саши был крупп, и эта дура, Катя, скрывала это от меня, чтобы меня «не беспокоить». Глупая, глупая, если бы она нарочно хотела меня в котле варить, не могла и придумать лучше приспособленного поведения.

Мои письма, бешеные, несправедливые, раздувающие положение, натурально заставляли ее ехать, не выдержавши мальчика, вопреки приказанию доктора. До Бреста доехали благополучно. Теперь вопрос, что делается в Бресте или после Бреста. Я послал телеграмму: «Где Катя, здоровье, деньги. Лев». Ответ оплатил. Послал также на всякий случай письмо. Теперь сижу, сам не свой. Ну что, если мальчик умрет? Да еще некрещеный... Надеюсь, что хоть ответ получу на телеграмму.

Чорт его знает! Или моя судьба такая, или такая сам паскуда, что сам себе и другим гажу, — сам не разберу. В настоящем случае моей вины так много, так много... Выздоровление мальчика шло прекрасно, замечательно. И вот, может-быть, за несколько дней, которых не выждала из-за меня, бог знает, какие последствия. Никого на свете так не люблю, как этого мальчика, который иногда был чуть не единственной моей связью с жизнью... потому что Катя, за которую я тоже по совести, без фраз, готов отдать жизнь, без меня бы не пропала, и иногда даже я находил, что без меня она даже скорее выползла бы из ямы, в которую я же ее в сущности втащил. Но Сашей я жил, я сознавал, что без меня он — погиб...

И вот в минуту, когда я могу думать, что я способен быть ему отцом, когда я дал ему родину, покровительство О. А., когда, наконец, могу надеяться, что сам его могу поддержать, — я же сделаюсь причиной его смерти. Что это такое? Неужели я в данном случае настолько виноват?

Я бы согласился охотно сам, вместо того, умереть, если не сейчас, то скоро, через год, через несколько месяцев, немедленно, как только устрою детей и введу Катю в возможность хотя немного питать их... Я ищу в душе возможности сказать по совести: «господи, да будет воля твоя», и не нахожу этого слова, нахожу только тоску и темноту, не в силах даже ласкать этих детей, не хочется никого видеть...

8 мая, понедельник.

В 5 часов пополудни приехала Катя с Сашей.

10 мая.

Отправил письма:

а) Кирееву, б) Белоусову, в) Ольге Алексеевне, г) Говорухе-Отроку, д) Владимиру *), е) Разумовской, ж) Дмитрию Грингмуту.

12 мая.

Отправлено:

а) Ноду, б) Savine, в) Кирееву.

Был у о. Михаила, говорил о деле крещения.

17 мая.

В промежуток времени до сегодня отправлено еще:

а) Прошение графу Гейдену,

б) письмо Маринковичу,

в) письмо Грингмуту Владимиру.

23 мая.

На Вознесенье Катя сделала со мной визиты **).

24 мая.

Александр Павлович расспрашивал, был ли у меня Эрастов (сын екатеринодарского священника) или Виноградская (его любовница ***).

«Г. Тихомиров.

Мне бы хотелось с вами увидаться. Я—учитель, Орлов, и мы с вами, если помните, познакомились в Москве. Податель письма мой брат, он скажет мой номер. Меня знает ваша матушка, и, если угодно, я могу прийти и к вам.

Влад. Орлов.

Если к вам прийти, то не иначе как вечером, а ко мне можно прийти и сейчас» ****).

---

*) Брату.

**) Опущены имена лиц, посещенных ими.

***) Далее вклеено следующее письмо, на котором внизу пометка Тихомирова: «Получено 12 июня 1889 г.».

****) Вслед за письмом вклеены три почтов. расписки об отпр. писем: 1—Дурново и 2—Алекс. Кирееву.

3 июня.

Окончил «Записку о нравственном воздействии на молодежь» и отправил ее Кирееву и Дурново. Грингмуту ее не послал. Сделал запрос Кирееву, не имеет ли он чего-либо против этого.

8 июня.

На-днях получил требование канцелярии прошений о высылке своих документов на дворянское звание. Сегодня выслал Кирееву (а не канцелярии) засвидетельствованную нотариально копию с указ. об отставке отца, с просьбой передать ее либо в канцелярию прошений, либо в департамент герольдии.

12 июня.

Получено письмо Владимира (Федоровича) Орлова, который, впрочем, прося свидания, не обозначил своего адреса. Вечером он зашел сам. Человек, если он искренен, любопытный. С большой похвалой отозвался об «Очередном вопросе».

13 июня.

Утром пришел Орлов, обедал у нас и после обеда утащил меня к себе, в гостиницу «Одесса». Рассказывал много интересного о молодежи, Толстом и толстовцах, Соловьеве *), Сибирякове и т. п., и т. п. Заявляет, что он сам — просто человек православный и верный подданный, и что рассорился с Сибиряковым именно из-за идей, из-за направления, которое Сибиряков хотел придать школе. Эта школа около деревни Елизаветинской (Сочи). Любопытные разговоры о Новом Афоне. Его основали монахи Афонского Пантелеймоновского монастыря, по указанию прозорливца Иеронима, которого они считают святым. Этот Иероним указал игуменом своего любимого ученика Иерона. Во время Турецкой войны монастырь, едва возведенный, распался. По окончании войны возобновили. Иерон — игумен до сих пор. Старик (из купцов центр. России). Нов. Афон находится в ведении Старого, так что не относится к ведомству св. синода. Основал два своих подотдела в Дранде и Пицунде.

*) Вл. Серг. Соловьев. [242])

Школа для абхазцев, руссификация. Образ жизни монахов (очень строгий). Монахов до 200, а всего населения до 500. Монахи никогда не раздеваются. Едят постно, без рыбы, хлеб черствый, молитвы в среду и пятницу почти сутки. Монахи не пьют. Человек, бывший на войне, в монахи не принимается. Поклонники идут отовсюду (из даже центральных губерний). Пожертвовали Дондуковы-Корсаковы 40 000 руб. Постройки — плотина на реке и т. п., мельница, электрическое освещение, легкие железные дороги и т. п.

18 июня, воскресенье.

Приехал в Новороссийск Леонов (начальник области).

Моя жизнь проходит бессмысленно и тоскливо. Это скверно и слабо, но не нахожу сил ее осмыслить. Энергия падает. О писательстве хоть не думай. Негде. Да и нечего, без сношений с редакциями, без книг, без возможности выехать из города. Я мельком говорил С. *), что хотел бы просить разрешения проехать в Москву... уговориться о работе. «Вряд ли позволят, говорит, побоятся демонстраций» (т.-е. против меня). Вот положение: все против, никто за, т.-е. есть и за, но люди молчащие, не делающие «демонстраций». И что же, я прокончу весь век здесь? Без возможности думать даже об обеспечении семьи, воспитании детей и т. д. А при таких условиях даже о себе, о своей душе нельзя думать, не хватит сил возвыситься над вечными затруднениями, вечными раздражениями. Мужик, — бедный пролетарий, — более обеспечен своими мускулами, он знает, что дети сами не умрут, будут работниками и не пропадут. Я, — ничего этого не знаю, лучше сказать знаю, что, если я пропаду, если я не устрою детей, — то они также пропадут. Есть, может-быть, положения хуже, да, конечно. Но мои силы не на уровне и такого, как мое.

Во всю мою жизнь я почему-то всегда становился в положения, превышающие мои силы. Нельзя сказать, чтобы я не предвидел этого заранее, но меня всегда тащит желание сделать то, что должен. На моем месте другой остался бы за-границей, куда-нибудь пристроившись и просто отказавшись от всяких революций. Я этого не мог, я не мог не заявить публично о своих мнениях, я не мог не покаяться перед государем, не мог не попытаться сколько-

*) Соколовский, офицер корп. жанд. в Новороссийске.

нибудь повлиять на революционеров, наконец — мне нужна была Россия, русская речь вокруг, русские люди, лица, горе, молитвы... И вот я в России. Это — большое счастье. Я не раскаиваюсь. Нет, лучше что угодно здесь, чем существование хотя бы почетное и богатое там... Но этот факт моего пребывания в русской атмосфере сопровождается положением дьявольски трудным. Ненависть радикалов, ненависть либералов, недоверчивое безразличие консерваторов, отсюда — отсутствие работы; начальство, может-быть, было бы лучшим, если бы я был в более сильном положении, но, натурально, ничего этого не может сделать, да и думать обо мне не стоит труда... В семейной среде тоже положение незавидное, и на душе темнота, уныние, и нет сил стать выше всего этого. Веры нет, у меня вера слишком рассудочна, а в сердце — мало ее, очень мало. И вот не вижу своей линии, своего пути, не вижу, что я должен делать. Сомнения, тьма.

22 июня.

Отец Михаил Павлов отправил следующую телеграмму:

Петербург. Департамент полиции. Для правильной записи в метриках крещения Александра, сына Льва Тихомирова, прошу сообщить, Тихомиров и Алещенко одно ли лицо? Екатерина Сергеева жена ли его? Протоиерей Павлов. Ответ оплачен.

На ответ приложен 1 рубль.

Вчера 21 июня был день рождения Маруси Маркграф. Вечером приехал Борис Дмитрич Саблин. Я не имею ниоткуда ни ответа, ни привета. Комиссия прошений молчит, Киреев молчит, О. А. *) молчит... даже до мелочей, брат молчит, Говоруха не отвечает.

И ныне все пусто и тихо кругом...
. . . .
Напрасно пророка о тени он просит,
Его лишь песок раскаленный заносит... **)

Заносит песок — голову, душу, желанья, все заносит прахом.

---

*) Новикова.
**) Из стихотворения Лермонтова «Три пальмы».

23 июня.

Слава богу, получил письма Алекс. Киреева, хотя несколько строк, но обещание писать и извинения в молчании.

24 июня, суббота.

Отец Михаил получил телеграмму: «Тихомиров и Алещенко одно и то же лицо. Екатерина Сергеева его жена. Директор Дурново».

Завтра назначено крещение Саши. Господи, помоги окончить.

25 июня, воскресенье.

В 6 часов вечера окрещен наш Сашура. Восприемники — Борис Дмитрич Саблин, отставной поручик, инженер; восприемница (заочно) Ольга Алексеевна Новикова, а за нее присутствовала мама. Маша была больна и не могла притти. Саша держал себя так умно, мило, так серьезно относился к св. таинству, что сердце радовалось.

Послал телеграмму о крещении Новиковой.

Слава богу! Давно не было, и не помню такого счастливого дня, как сегодня.

Сегодня нам отдали визиты: Ильченки и m-me Соколова (жена начальника округа).

Относительно Орлова (Влад. Фед.) я уже из двух источников слышал очень нехорошие отзывы, как об иезуите, двуличном человеке. Очень жаль, если правда. А отзывы, повидимому, лиц беспристрастных.

27 июня.

Получил метрическую выписку Никольской г. Новороссийска церкви; Саша записан в метрической книге, первой части о родившихся, метрика пом. 1889 года, за № 83.

Отправил метрику Саши в канцелярию прошений.

30 июня.

Отправил Киреву:

1) Прошение герольдий, 2) грамоту Влад. 3 ст.
3) Метрику.

Катя отправила письмо Мирманову-Туманову.

5 июля.

Приехал областной жандармск. полковник (встречать князя Дондукова) [344]) и предъявил мне ответ канцелярии прошений на мое прошение помочь мне в крещении Саши. Ответ запоздал, но написан в очень энергичных выражениях.

6 июля.

Приезд Дондукова-Корсакова.

Я уже недели $1^1/_2$ вожусь с «Молодыми беллетристами». Жара, пыль, голова болит, работа не идет, да и куда я ее дену?

7 июля, пятница.

Письмо от Киреева, где говорит, что канц. прошений требует от него присылки моего указа об отсрочке почт[ой]. Может-быть, стало-быть, дело в комиссии и двинется в ход. Что касается моей «записки», он, видимо, находит ее непрактичной. Да, м.б., он и прав. Россия, т.-е. ее обрусевший верх, до того революционен, что трудно найти даже несколько человек убежденных монархистов и православных. Это, что-то.....*) чем только она держится?

9 июля, воскресенье.

Отправил письма: а) О. А., б) Кояловичу, в) Елизавете Петровне. Ужасный климат: NO, NO и NO **) без конца, сухота, пыль, раздражающий гул, жара, невозможно гулять, невозможно сидеть в комнате. Работа идет отвратительно, мерзко. Читаю Аксакова.

14 июля.

Взял работу Маркграфа: перевод [345]).

15 июля.

Получил 50 руб. от брата. На них получил свои книги из таможни. Теперь не имею ни гроша, или точнее имею 40 коп.

16 июля, воскресенье.

Сегодня целая сцена с мамой. Господи, сил моих не хватает! Все из-за детей. Это печальное положение. Мама никак не может освоиться, что я отец их, и постоянно как бы оби-

---

*) Не разобрано два слова.

**) Норд-Ост.

жается моими распоряжениями, вмешивается в них, на каждом шагу противоречит им. Хаос в воспитании просто мучительный.

Дикое положение! Сижу на хлебах всей семьей у старухи матери. Уж скорее бы наоборот следовало. А из такого положения, конечно, ничего доброго не выходит.

И за что только меня здесь держат со связанными руками? Положим — мука большая, но, ведь, это не цель надзора. И обвинять некого. Просто плоды, натуральные плоды неестественной, изуродованной жизни.

Боже, помоги...

Вот уже три дня перевожу книгу, по заказу Отто *). Работа страшная, почти 1000 страниц за 250 руб., из которых половину обещает вперед. Я предлагаю сократить работу, но все же выйдет страниц 500, вероятно.

Уж хоть бы не раздумал. Мне это клад — получить 125 р. за какую угодно работу. А кончить ее нужно к 1 сентябрю. От 10 — 20 страниц в день.

17 июля, понедельник.

Письмо от Ольги Алексеевны **). Из Мариенбада. Едет в Лондон. Хвалит «Записку» ***), но толку, очевидно, не придаст. Видно, так больше и не увижу эту личность, с которой так экстраординарно столкнула судьба. Будто самим богом была послана. Но зачем? Ах, это вопрос, который все больше темнеет для меня. Я не вижу для себя цели внешней... не вижу, что и как я могу дать людям, не ощущаю ни возможности, ни внутренней силы. А цели внутренние? Сделал ли я хоть шаг, хоть $^{1}/_{10}$ шага для внутренней выработки! Нет. Увы, никакого сомнения, что не сделал. Напрасно я молюсь... Да и молитва моя не тепла. Темна душа.

19 июля, среда.

Сегодня Саша вспомнил avenue de Maine, оживленно рассказывал, как они с Катей ходили без меня укладывать вещи и т. п. Я заметил: «Хорошо-таки было на «avenue de Maine».

---

*) Маркграф.
**) Новиковой.
***) «Записка о молодежи».

Может быть, так и останется лучшим воспоминанием на всю жизнь». — «Уж, пожалуйста, не каркай», ответила Катя.

А сдается, что я прав. Не сладко было. Но было внутреннее довольство, сознание тяжелого долга исполненного. Для меня внутренне это было истинный подвиг... Затем были надежды. Они, пожалуй, осуществились, но, боже мой, разве я так себе представлял хотя бы и домашнюю жизнь, жизнь у мамы? Я думал, составлю ее счастье, а оказывается, что былое быльем поросло...

Так, пожалуй, и во всем остальном. Собственно, с тех пор, как я в России, произошло лишь одно счастливое происшествие: крещение Саши... Девочки, — это не счастье. До сих пор они не мои, они до сих пор оспариваются у меня, их сердце у меня отнимается. Бедные, несчастные дети! Мое присутствие едва ли полезно для них. Тут нужна бы железная воля и целые реки любви, чтобы справиться.

Саша. Саша, — моя величайшая любовь, что такое я буду, если он у меня отнимется?

28 июля, пятница.

Получил от Маши 100 руб. (сто руб.) в счет перевода.

1 августа.

Начал говеть. Ездил с женой и детьми на броненосный корабль «Екатерина II»; у нас стоит эскадра.

6 августа, воскресенье.

Приобщился. Исповедался вчера у отца Владимира.

У школы-аллегри.

22 августа.

Мы с Катей были у Соколовских; очень милая семья. Саша жаловался сильно на голову.

23 августа.

Получил от Отто остальные 150 руб.

30 августа.

Сашины именины. День прошел превосходно. Саша получил кучу подарков. Все были веселы. Утром в церкви. После обеда на могиле дедушки и гуляли. Вечером делали иллюминацию.

А ночью, прийдя поцеловать Шуру, нечаянно ударил его часами, выпавшими из кармана блузы, прямо по голове, так что бедняжка даже заплакал. Дай бог, чтобы не имело последствий. Помилуй, господи.

1 сентября, пятница.

Катя уехала в Орел и т. д.; взяла 100 р., вагон 128 в поезде № 5 и 6.

Шурка весь день был весел, но, ложась спать, несколько раз чуть не заплакал и, моргая глазами, сказал мне: «папочка, знаешь, что мы делали, когда ты уехал... Мама изредка даже плакала... и я чуть не заплакал... И, папочка, я теперь чуть не плачу...» Насилу его успокоил, бедного мальчика.

Самому тоскливо на душе. Вартлинский не согласился дать ей вид и сказал, чтобы ехала по парижскому, и вытребовала себе вид в Орле. Как бы еще скандала не вышло. Беда с этим делом в комиссии! Оказывается, что Катя фактически связана во всех движениях.

12 сентября.

Письмо от Кати. Маша, конечно, опять отложила поездку. Чудно это. Мне, собственно, нет дела до этого, конечно. Но я так мечтал отдохнуть с ее отъездом и позаняться. Теперь, увы и ах. Вечно приходится «стоять на страже» не относительно ее, и не прямо по ее вине, но благодаря ей.

Начинаются, повидимому, норд-осты.

NB. Переводы отправлены Отто с Евграфом Васильевичем 7 сентября. Я отдал их Маше, думая, что она вправду едет, так как она с вечера уложилась, и даже мама водила туда детей прощаться. Но ночью пошел дождь (утром была уже великолепная погода), дунул ветер и она осталась, не поехала на пароход. Бумаги же она распорядилась отдать Евграфу Васильевичу, который не имеет ничего, кроме переметных сум... Воображаю, в каком виде Отто получит эти бумаги, которые должны итти на выставку, предъявляться министру и т. д.

Курьезно ее поведение!

Перечитывал биографию Аксакова, замечательное сходство положения его отца с моим, в семейном положении, только мое еще хуже.

16 сентября, суббота.

Письмо брата маме, извещающее, что—Катя 11 числа уехала (очевидно, в СПБ.). Послал ей адрес Перрон, но, видимо, бесполезно: будет очень поздно. Жаль.

17 сентября, воскресенье.

День ангела Веры, Нади. Письмо от Кати (от 12 с.) из СПБ. Начался день светло и радостно. Девчурки были так довольны подарками. Пошли в церковь, также, видимо, охотно и, кажется, молились. Прихожу домой — письмо Кати, ее, очевидно, приняли более, чем холодно, — везде. П. Н. *) продержал три минуты и был так «важен», что она «струхнула». Коялович «торопился в редакцию...» И предстала передо мной моя жизнь, эта беспомощная жизнь отца, не имеющего возможности питать детей, постоянно подрываемого в своем влиянии на них... человека убежденного, не имеющего возможности действовать, человека русского и православного, находящегося под надзором, человека почти 40 лет, и который не обеспечил на грош своих детей и ничего не сделал для своих убеждений...

И там в Питере, в Москве, — повсюду от меня отворачиваются... Почему? За что? Одни — потому, что холуи, другие потому, что я не могу делать невозможного, потому что они же связали меня по рукам и ногам... Это, может быть, наказание за прошлое, но какое тяжелое, изысканное!

Открываю евангелие и вижу: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому бог уделил» (Рим. 12, 2-3).

Как все это трудно, боже мой, как это трудно слабому человеку, заваленному обязанностями и испытаниями. Неужели же у меня есть силы для исполнения таких задач, без изменения моего положения? Где эти силы, где взять их?

*) Дурново, П. Н.

Мне часто попадаются в евангелии истинно ответы на мои мысли данного момента. Раз, это было еще в Париже, в разгар моих сомнений, в минуту крайнего уныния, когда я совершенно сомневался в своих силах дойти до правды, а мечта о России казалась дерзкой бессмыслицей. Это было накануне Нового года. Я открыл евангелие, и глаза мои упали на строки: «И избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского...» и т. д. Мне это как-то запало в душу, и я невольно смотрел на это, как на предсказание. Но я никак не думал, чтобы предсказание относилось к России, и долго, сталкиваясь с каким-нибудь выдающимся деятелем Франции, думал: «Не это ли мой царь египетский?» А «мудрость» искал усердно, но тоже в другом направлении, в направлении серьезного социализма. Потом вдруг моя душа как-то переломилась, и мудрость ли это или безумие с какой нибудь точки зрения, — я увидел правду, то, что я уверовал правдою... И что же это было? Старинная правда, не моя, не такая, которую я бы выдумал, а правда православная в духовном отношении и правда органического развития в политическом. Тогда только у меня мелькнула мысль: не о моем ли прирожденном государе должен я думать? Но что же, имею ли я эту «мудрость»? Увы, и ее имею так, как слизняк имеет зрение, т.-е. имею ощущение света, но не различение очертаний, размеров и цветов. И я спрашиваю себя: предсказание ли это? Это — случайное или нет, успокоительное уверение, было ли предсказанием, т.-е. осуществилось ли оно. О, если бы оно осуществилось, если бы я мог считать его осуществившимся, как был бы я счастлив, — не от того блага, которое оно обещало, а оттого, что это было бы истинно чудом.

Вечером получено поздравление от Владимира совместно с Катей. Но не ясно: в Москве ли она? Или это по поручению только вставлено ее имя? Если в Москве, то значит ее не застали даже деньги, посланные мною Зыбину, да и, вообще, значит она повсюду потерпела неудачу. Не везет таки мне.

Я часто думаю: как мне думать о себе скромно? Неужели это много: быть — как все, т.-е. получить возможность зарабатывать свой кусок хлеба и воспитывать детей самостоятельно, не подвергаясь унижениям нахлебника, не испытывая вечной порчи

своих детей посторонними влияниями? А, ведь, я мечтаю в сущности только об этом. Я уже знаю, что сделать в общественном смысле мне ничего не удастся. Я уже понял, что Россия, при всей своей глупости, во мне все-таки не нуждается. Я понял, что мне нужно думать о себе, о своей душе, а затем исполнять текущие маленькие обязанности, которые еле-еле по силам мне, не мечтая о крупных... Или это все-таки не скромно? Или я только думаю, что я так думаю, а в глубине души сидят самолюбие и гордость?

Как бы то ни было, я чувствую одно: что в таком положении у меня не хватает сил ни на что, даже на то, чтобы думать о душе и о мелких обязанностях.

Меня покинула даже О. А. Очевидно, — я всех разочаровал в себе.

18 сентября, понедельник.

Я все эти дни читаю Толстого. У него бывают блистательные места:

«Человек умирает только от того, что в этом мире благо его истинной жизни не может уже увеличиться, а не от того, что у него болят легкие, или у него рак, или в него выстрелили или бросили бомбу».

Эта мысль очень глубокая. Я уже давно замечал нечто в этом роде: гибель человека, что-то такое отслужившего, что-то такое исполнившего, неведомое ему.

Но дело не в одном благе. Оно, может-быть, связывается с прочим. По смыслу определения церковью божества, оно должно быть так: бог, сказано, посылает каждому столько блага, сколько тот может вместить. Но это лишь одна сторона дела. Наблюдая жизнь, я давно замечал, что мы, люди, — орудия чего-то. Так, во времена моей революционной жизни, я замечал и говорил с досадой, что есть какая-то сила, которая держит революционеров на известном среднем (очень невысоком) уровне, не допуская ни гибели, ни серьезного усиления. Как только силы вырастали до чего-то серьезного, они немедленно срезывались чистым, судя по внешности, случаем; на краю гибели тот же случай обязательно выручал. Это относилось и к личностям, и к воспи-

тало у меня тогда уверенность, что, пока человек верно исполняет что-то такое, — он не погибает. Тогда я думал, что это нечто есть революция, и некоторое время это положительно казалось фактом. Потом дело изменилось. Гибель Ал. Михайлова и Клеточникова, двух людей, единственно угрожавших серьезно потрясти правительство, — была ultra-нелепа *), детски глупа. Но более всего поразила меня смерть государя Алек. Николаевича.

Почему удался этот заговор, самый нелепый из всех? И удался в то время, когда сгибли уже все самые страшные силы заговора (Михайлов, Клеточников, Желябов, Баранников, Колоткевич [346]) и куча помельче... Мина на Садовой — не удается, а нелепейшие бомбы мальчишек, руководимых все же бабой — удаются! Случись и на этот раз государю спастись, можно ручаться, что покушения бы прекратились. Это несомненно. Уже и без того ни одна душа среди заговорщиков не верила в возможность преступления.

Но этого мало. Когда Рысаков [347]) бросил свою бомбу, государя еще раз спас бог. Почему же государь остался, не уехал, что было возможно? Мало того: вдали стоит в толпе Гриневицкий с бомбой в платке, но не смеет и не может броситься. Его немедленно же схватили бы. И что же? Государь сам идет к нему... Зачем? Почему именно в эту сторону? Надобности не было, ни цели. Государь шел, подошел к самому Гриневицкому, и только поэтому последний мог бросить свою бомбу... Все это было совершенно необычайно и тогда же поразило меня изумлением.

Государь погиб в ту минуту, когда были истощены все средства преступления, когда враги его уже не могли ему повредить.

Дело не в нашем человеческом суде. Конечно, покойный государь был человек добрый, повидимому, достойный самой счастливой жизни. Нельзя понять его страшной участи в смысле наказания. За что, в самом деле? Нам неизвестно, чтобы он грешил больше кого другого, и уже, конечно — сотни миллионов людей были грешнее его. Но рука чего-то высшего видна была тут слишком ярко.

*) В высшей степени нелепа.

Толстой не допускает возможности, чтобы страдания одного человека могли иметь целью спасти других. Но Христос пострадал только для этого. Нам не спрашивать отчета у бога...

19 сентября, вторник.

Получил письмо Кати от 13 сентября. Она, очевидно, делала ошибку за ошибкой, сверх того, чрезвычайно неудачно вышло, что ее нигде не захватили мои письма. И, наконец,—все-таки, очевидно, что у меня в Петербурге — никого и ничего... Очевидно еще, что Катя возвратится в еще более подавленном состоянии духа, и наша здешняя атмосфера станет к зиме такой, что «в воздухе топор можно повесить».

У меня самого на душе словно черти горох молотили. Я просто погибаю нравственно в том паскудном, паразитном и бездеятельном положении, из которого нет выхода. Как жаль, какое несчастье, что меня не посадили в крепость, хоть на те же 5 лет. По крайней мере, и сам бы приносил какую-нибудь пользу, и семью мог бы содержать, да и на детей, в сущности, легче было бы влиять, хоть издали.

Если б я хоть собой был доволен. Но я в таких условиях просто задыхаюсь, падаю, у меня нет сил. Я бы вынес самостоятельную бедность, но эта паразитность меня убивает в самом корне.

О, граф Толстой, хорошо вам учить о ничтожности материальных условий. Побывали бы в моей коже, может-быть, иное бы сказали.

Самое ужасное, что моя зависимость — тут, около меня, видима детям. Если бы я зависел от какого-нибудь прохвоста эксплуататора, я бы вынес унижения, которых не видят дети. Но моя теперешняя зависимость тем ужасна, что подрывает последнее мое убежище, — последнее утешение, — исполнять правильно развитие детей.

И остается пустота, и мрак и уныние, и развивается в этой атмосфере всякая душевная мразь! Да что развивается! Она, ведь, есть, давно, спокон веку моего. Ее бы нужно уничтожить, а упадок духа ставит точку.

Хоть караул кричи, да и кричу в душе, и сам не знаю, слышит ли кто-нибудь крик мой! *)

*) Далее вклеено письмо жены.

13 сентября, среда.

Дорогой Лев, сегодня утром я была на Троицкой у А. А. Киреева. Его, конечно, нет в Петербурге, но он на-днях переезжает из Павловска. Затем я отправилась в комиссию прошений, там мне сказали, что справок никаких не дают, а когда дело будет кончено, то дадут знать. Чиновник, который спросил у меня, что мне надо, повидимому, в первый раз слышит о нашем деле, но графа Гейдена я не могла видеть, потому что этот чиновник коротко, и ясно, и грубо заявил мне, что тут не справляются, а сидят дома и ждут, пока пришлют ответ. Как видишь, незачем было ехать. Была вчера в Русском Обществе *) и справлялась о вещах. Там мне сказали, что они ничего не знают, почему вещи попали в Петербург, что об этом надо справиться у Юнга. Заплатить надо 46 руб. за провоз и 17 руб. таможенного сбора. За что столько содрали,—понять не могу; всего значит выходит 63 руб. Я их не могла отдать, потому что сама бы осталась ни с чем. У матери нет денег, а у Владимира я посовестилась взять, да, впрочем, у него, вероятно, тоже нет ничего. Я условилась в Обществе так, что напишу тебе, чтобы ты внес 63 р. в Новороссийске в агентство Общества, а они чтобы немедленно дали знать сюда в Петербург, что деньги внесены, и тогда они сейчас же вышлют их. Я спросила, сколько это будет стоить, и они сказали, что рублей 10, не больше. Они мне дали слово, что отправят немедленно. Значит и сделай так,—если есть деньги, внеси, и пускай они немедленно известят, чтобы вещи высылали, и пропишут адрес. Ужасно дорого приходится платить, а бросить все-таки жалко, хотя, впрочем, не знаю, может-быть, выгоднее бросить совсем. Я очень недовольна своей поездкой, но что делать, вперед нельзя было знать ничего. Я выезжаю сегодня в 10 часов вечера, пробыла всего два дня, могла бы и раньше уехать, так как я отделалась сегодня в 12 ч., да нет поездов с III классом до вечера. Петербург произвел на меня гадкое впечатление, я не в духе, и ужасно хочется поскорее уехать. Детям напишу из Москвы. Тебе купила портмонэ. Не знаю теперь, что бог даст в Москве, а в Питере

*) Русское Общество Пароходства и Торговли.

мне не посчастливилось, только деньги потратила, положим, немного, руб. 20 всего, а все-таки жалко, лучше бы на эти деньги себе купила бы что-нибудь. Ну, до свидания, мой милый. Будь здоров и отвечай мне в Орел; в Москве думаю пробыть дня два или три, да в Сергиеве — день или два. В Орле пробуду самое большое — неделю. Может-быть, придется еще в Ливны съездить, — если там есть деньги, вот узнаю, тогда напишу. Целую тебя, маму и детишек. Что мой Шурик — верно уже забыл думать обо мне?

Твоя Катя.

21 сентября, четверг.

Письмо от Кати о свидании с Грингмутом и весть о работе. Она взяла вперед 50 руб. у них.

26 сентября, вторник.

Так как Грингмут согласен на корреспонденцию, то я все собираюсь работать, но решительно немыслимо. Дети отнимают буквально весь день. А где Катя? Должно думать, что в Орле. Она задержалась в Сергиевском до 21 сент., так что можно бы скоро и ждать ее.

29 сентября.

От Кати — ни слуху, ни духу. Что с ней? Послал в Орел телеграмму с запросом о ней.

1 октября.

Покров. Приехала Катя.

3 октября, вторник.

Отправил Грингмуту копию «Записки», письмо Фелицыну (Евг. Дмитр.) с просьбой о материалах.

5 окт., четверг.

Отправил корреспонденцию в «Моск. Вед.».

К Кате поступил ученик, Коля Грузинский (12 р. в месяц). Перечитываю книги, привезенные Катей от Грингмута (долг на 22 р.). Прочел Любимова о Каткове [348]). Любопытно, хотя Катков мог бы вызвать что-нибудь и получше.

12 октября.

В газетах сообщают, что государь возвратился в Россию. Не подвинется ли теперь мое дело?

15 октября.

Вчера выпал легкий снежок на верхушках Маркотха, а сегодня ночью и почти весь день шел и у нас. Если бы не таял, напало бы изрядно. Холодно.

Помещена в «Моск. Вед.» первая моя корреспонденция.

22 октября.

Письмо Маркграфа. Они перебираются в Закавказье. Торопит с переводом.

24, вторник.

Приехала мама и Маркграф. Маркграф уехал с первым же поездом, через несколько часов. Уехал совсем.

25, среда.

Письмо от Новиковой.

26, четверг.

Был у Леонова за разрешением поездки в Екатеринодар. Теперь здесь все власти: Дондуков-Корсаков, Леонов, Голоперов. Разрешение получил.

31 октября.

Полная осень. Дождь. Холод. Вчера мама и Андр. Вас. окончили уборку вещей Маркграфов. Вещи отправлены. Мама печальна, много плакала, раздражительна.

Скучно и гадко. Доканчиваю переводы Маркграфа. Не знаю, удастся ли поспеть к сроку.

«Моск. Вед.» не печатают второй корреспонденции. Решительно к ним невозможно приспособиться. Вообще — я всесторонне ниже, слабее тех условий, с которыми должен бороться. Очевидно,—моя судьба ничтожество, и это бы, пожалуй, не беда. Я бы теперь хотел одного: работы, какой-нибудь, лишь бы прокормить и воспитать детей, и вот этой цели — не вижу средств исполнить. Все прочее — бог с ним. Ни Россия и ничто большое без меня не пропадет, а если суждено пропасть, то не я спасу

погибающее, не с моими силами. Взять хоть Леонтьева [349]), что он? Нуль по влиянию, по последствиям. А, ведь, я ему в подметки не гожусь по таланту и силам. Тут, дай бог, если хватит сил самому прожить честно, при взглядах умных, исполняя свои обязанности православного. Вот maximum высоты для моих сил.

Но вот горе — и этого, и своих ближайших обязанностей нет средств исполнять! Куда еще сокращаться? Бедность проклятая. Мне нужно поступать на службу — обязанность чиновника не выше моих сил. Но я не имею права. Этот надзор губит меня и, вероятно, тоже погубит!

1 ноября.

Дождь, слякоть. Ночью бушевала страшная буря. Окна не заделаны. Сегодня, на ночь, на скорую руку, поставили двойные рамы, отлагая замазку на другой раз.

«Моск. Вед.», очевидно, не приняли моей корреспонденции о Молчанове. Чорт их знает, что им только нужно!

Холодно, носить нечего, укрыться нечем, а вещи не идут, да и полно.

6 ноября.

Получил от Зыбина накладную на вещи. К сожалению, — мы уже принуждены были купить нечто в роде одеяла и заказать Кате шубку. Итого рублей 30 с хвостом!

Корреспонденция в «Моск. Вед.» напечатана.

12, воскресенье.

Получил письмо Никифораки, ставроп. губернатора, поздравляющего меня за статью в № 300 «Моск. Вед.».

13, понедельник.

Окончил перевод Demonzey.

30 ноября, четверг.

Великий день! Получил от комиссии прошений уведомление, что государь приказал признать законным мой брак с Катей и законность детей. Благослови его господь, сохрани и защити от всякого зла!

Извещение комиссии за № 26858, 20 ноября 1889 г. Высочайшее решение состоялось 12 ноября. Передала решение комиссия обер-прокурору св. синода за № 26857.

*

9 декабря, суббота.

Получено известие, что в Первинке и еще в другой деревне холера. В Первинке заболело 15 чел., умерло из них 7.

Заходил Владимир Николаевич *); приехал вчера. Из его, впрочем, сдержанных рассказов вижу, что в СПБ мною недовольны. Когда С. упомянул о мне, П. Н. **) воскликнул: «Удивляюсь, почему он не пишет!» Это т.-е. в журналах. Потом на рассказ В. Н., что мне очень плохо живется, он заметил: «Помилуйте, он осыпан милостями!»

Курьезное положение! Оказывается, что я иногда очень хорошо, к сожалению, из небольших намеков вижу истинное положение вещей. Да, мне не выбраться из ямы. Положение такое сложное, что понять его можно только при большом желании анализа. Мне, с одной стороны, невозможно, материально невозможно работать. И это до тех пор, пока мне не развяжут рук. Рук же мне не развяжут, потому что недовольны моей бездеятельностью. Чепуха какая-то!

Теперь Вл. Ник. просил, чтобы мне дозволена была поездка в СПБ. на месяц. В сущности я эту мысль осуществил и даже ему говорил, что мне не с чем ехать. П. Н. обещал разрешить. Спрашивается, на кой прах я поеду? Мне нужно пребывание более или менее долгое, чтобы я мог работать, а вовсе не поездка. Да и денег нет ни одного гроша и не предвидится.

Скучно на свете жить!

15 декабря.

Заходил ко мне целых два раза Соколов. Весьма умный человек. Вообще, местное начальство, видимо, ко мне хорошо относится. Они ждут для себя, т.-е. для дел своих пользы от моих работ. Боюсь, как бы мне не осрамиться, так как у меня масса пробелов в знании края.

NB. История с Верочкой. Дети ужасно непослушны, и поведение бабушки их в этом портит страшно. Собственно на Верочку покричал, а по настоящему виновата неразумная любовь бабушки. Да, старикам невозможно воспитывать детей. Не может быть выдержки, системы, и самая любовь приводит к баловству.

---

*) Соколовский.

**) Дурново, П. Н.

24 декабря.

Письмо от кн. Цертелева из «Русск. Обозрения» о книге Curzon'a [350]).

31 декабря, воскресенье.

Вечером были на елке у Гусаковых.

Завтра Новый год.

Теперь более 11 часов ночи. 1889 год отходит в вечность. Сказать правду, — тяжелый был для меня год. Он реализировал все данное мне 1888 годом, но реализировал трудным, болезненным процессом и как-то скупо, как бы нехотя. Собственно суть вся в том, что 1) я в России с семьей, 2) мои семейные права признаны, 3) Саша крестился, 4) семья, т.-е. дети, несколько срослась, стала более или менее внутренно связанной... К этому можно прибавить отчасти и 5), — что я до некоторой степени поумнел, и если не стал более верующим по чувству, то более понял дух веры, но тут уже приходится начать целый ряд «но»,

a) хотя и поумнел, но очень мало, и мало доволен, т.-е. даже совсем не доволен своим душевным состоянием, b) семьи тоже не могу вести так, как хотел бы (не знаю, — сумел ли бы), c) остаюсь без самых элементарных гражданских прав, что тяжелее особенно потому, что я на самом деле искренне предан государю и всем сердцем готов подчиняться им поставленным властям, d) остаюсь без гроша денег, без работы, без малейших средств к жизни, вообще e) пребываю вполне беспомощен и почти одинок, хотя и в отечестве.

Роптать не могу, радоваться нечему. Одно могу сказать, что пути божии неведомы, и человек не знает, что ему на благо, что во вред, а благо — прежде всего собственное душевное совершенствование; если его нет, то не может быть и миссии в жизни: а, стало быть, излишни и средства всякого рода. Если нет божьего указания на какую-нибудь внешнюю работу, то, значит — это есть указание на необходимость внутренней работы. Конечно, большинство людей так и умирают. Нужно уметь жить христиански в дурных условиях, а пока не научился, значит ни на что другое не годишься. Этого другого не следует *желать*. Если желаешь, значит ты уже суетен. Нужно исполнять все, что

пошлет бог, исполнять не как свое желание, а как служение, долг Пока нет этой выдержки, — самое лучшее жить только своим мирком, и желать можно одного: чтобы не встретить испытания выше своих сил.

1890 год.

1 января, понедельник.

День прошел из кулька в рогожку. Дождь и слякоть, холодно. Разболелась нога — ревматизм, кашель. Побоялся итти с визитами. Очень жаль, п. ч. следовало бы. У нас были только мамины близкие, в роде Сергея Печегула, Рудковского и т. п. Был еще совершенно экстренный Грузинский: в первый раз, с визитом.

Провели день тихо, и даже — сносно. Только сам не очень здоров, и что хуже — Саша что-то неможет...

Вечером были у нас Соколовские оба, проболтали часа $1^1/_2$. Единственные, в сущности, наши знакомые.

Никогда я не проводил еще 1 января так изолированно: ни письма, ни карточки, ни телеграммы. Даже в прошлом году я еще имел поздравления... О старых годах нечего и толковать, телеграммы, десятки, если не сотни карточек, поздравления: пожелания... Как же: «начальство» был в своем роде! «Где есть земное пристрастие? Где есть рабов множество и молва?»... Впрочем, об этом, т.-е. «молве» и «рабах» не сожалею. Но я тогда относил известный % всего «почтения» на долю искренних симпатий, ошибался, а теперь не на чем и ошибаться: пустыня кругом. Одна своя семья, свой забор — «мой мир лишь этот луч», да и на нем авторитет бедной пастушки est joliment contesté *) иногда. День, спасибо ему, прошел тихо, даже с легким оттенком торжественности. Слава богу, и дай только бог еще, чтобы это не было началом болезни Саши.

5 января.

Сочельник. Послал письмо П. Н. Дурново, с вопросом, будет ли ведомство полиции одобрительно меня аттестовать, если я стану просить начальника области о поступлении на службу.

Вчера приехал Гусаков.

---

*) Еще весьма спорный.

6 января.

Крещенье. Суббота. День смерти отца (18).
Завтра панихида.

7 января, воскресенье.

Панихида по покойному отцу. Служил отец Михаил.

У меня все какая-то тоска, внутреннее недовольство. Темно как-то на душе, цели в жизни не вижу и боюсь смерти.

Если бы это была та «память смертная», о которой молят бога! Но нет, это какая-то животная тоска, не то страшно, что будет за гробом, а самый гроб.

Грязна душа, тошно думать о себе. Не то, чтобы улучшиться а просто гаже делаешься.

9 января.

Получил от Новиковой «Souvenirs» — «Воспоминания» о Владимире Гетте [351]).

11 января.

Отправил статью о Curzon'е в «Русское Обозрение».

15 января.

Получил ответ Дурново *).

Милостивый государь
Лев Александрович.

К сожалению, по вопросу о поступлении на службу мне приходится вам дать неудовлетворительный ответ, так как, на основании положения о надзоре, поступление на госуд. службу лицам в вашем положении воспрещается. Но затем, по моему мнению, вам не закрыты пути к облегчению вашей судьбы. Вы можете временно наезжать в СПБ. или Москву — и, наконец, подать прошение государю о прощении, но так, чтоб прошение попало прямо по назначению и чтобы он его прочел. Для этого адресуйте его в форме письма прямо на имя его величества и бросьте в почтовый ящик. Постарайтесь изложить дело так, чтобы государь

*) В дневнике вклеено следующее подлинное письмо.

обратил внимание на ваше прошение, и, быть-может, результат будет удовлетворительный. Вот, что я могу вам посоветовать при настоящих обстоятельствах.

Преданный вам

П. Дурново.

10 января.

18 января.

Отправил статью об аббате Гетте в «Русское Обозрение».

22 января, понедельник.

Получил свои вещи! Это парижское хозяйство наше, которое ехало с апреля 1889 г. по янв. 1890 г., т.-е. 10 месяцев почти.

30 января.

Получил 23 р. из «Московск. Вед.». Это первый присланный ими счет, очень неаккуратный. В передовой статье они говорят о черноморском округе совсем по моим письмам. Очень обрадовался.

Послал письмо государю. Послал заказное письмо Петру Николаевичу *) (где сообщаю и свое прошение государю — копию).

Письмо государю ниже вклеено. Оно по существу есть скорее просьба о доверии, чем о милосердии, которое уже оказано мне, поскольку оно может быть оказано человеку, не возбуждающему достойного доверия.

Всемилостивейший государь.

В 1888 г. я прибег **) к вашему императорскому величеству со всеподданнейшим прошением о помиловании. Я решился на это, потому что действительно всецело порвал с прошлым. Но я не имел способов его загладить. Применив ко мне кару закона или милосердие царя, ваше величество остались одинаково бы правы. Вам угодно было, государь, избрать путь милосердия.

Ваше величество, даруя мне прощение, благоволили приказать учреждение надо мною пятилетнего гласного надзора ***).

*) Дурново.

**) Первоначально было написано: «обратился».

***) Зачеркнуто «полиции».

Столь великая *) милость еще более укрепила решимость мою стать достойным новой, мне открытой жизни. Мой долг ясно рисовался передо мной. На мне лежала обязанность воспитать детей своих на здоровых началах, чуждых распущенности, роковой для молодежи прежнего **) поколения. На мне также лежала обязанность сколько-нибудь загладить вред моей прежней деятельности посильной защитой сознанной мною правды.

По совести ***) могу сказать, что я не желал ничего, кроме добросовестного исполнения этого долга, указываемого мне как собственным сознанием, так и уважаемыми мною людьми. В их числе не могу забыть покойного графа Д. А. Толстого.

Задача оказалась гораздо труднее, нежели я предполагал, и главным препятствием явились ****) для меня ограничения, налагаемые правилами *****) о надзоре. Истощаясь в тщетных усилиях, я прихожу, наконец, к полному унынию перед невозможностью правильно поставить жизнь свою и не вижу иного исхода, кроме милости вашего величества.

Не имея права на одни отрасли труда, не имея возможности пользоваться другими, я остался без всяких средств к существованию. Я имею разрешение на работу литературную, но она несовместима с обязательным проживанием вдали от центров, где нельзя ******) ни следить за текущими вопросами, ни быстро входить в соглашения с редакциями, ни иметь необходимые литературные пособия. Эти препятствия *******) особенно неодолимы для человека, порвавшего все прежние связи, но не имевшего еще возможности закрепить новые ********).

Я доведен до того, что принужден жить на счет пенсиона старухи-матери. Такой ли пример должен давать детям порядочный отец? Это беспорядочное существование еще не исчерпы-

---

*) Зачеркнуто «и ничем не заслуженная».

**) Первоначально было: «моего».

***) Эти слова написаны вместо зачеркнутых: «по чистой совести».

****) Первоначально было: «составляют».

*****) Первоначально было: «положением».

******) Первоначально было: «нет возможности».

*******) Первоначально было: «затруднения».

********) Первоначально было: «имеющего множество недоброжелателей, но почти не имеющего друзей, благодаря такому резкому разрыву с прошлым».

вает моих затруднений. Мои дети слышат слово «надзор» в применении ко мне, они меня спрашивают, все ли должны просить разрешения на выезд из города? Внушая на словах добрые правила, на деле признаваемый человеком подозрительным, я не могу не нести печати какого-то странного противоречия *). Я теряюсь, какими способами **) окружить в глазах детей авторитетом свое бессильное, двусмысленное существование, и, однако, это первый авторитет, на уважении и доверии к которому должны бы воспитываться их ум и сердце.

Недоступная мне даже, как простое ремесло, литература еще менее дает мне орудие деятельности более высокой. Публицистика требует прежде всего ***) знания дел и обстоятельств. Я пробыл год в отечестве, но его не вижу, не наблюдаю, не уясняю себе ни состояния его живых сил, ни хода явлений болезненных ****). Образовавшиеся за границей пробелы по знакомству с движением умов в России и с трудами по ее изучению *****) у меня скорее растут, чем заполняются. Движение мысли и жизни заграничной становится ******) также менее ясно *******). Я уже не молод. Мне бы нужно ********) усиленно работать, чтобы воспользоваться немногими остающимися годами свежей силы. Положение поднадзорного вместо этого приводит к почти полному бездействию: заставляет думать уже не о движении вперед, а о том, чтобы хотя не слишком быстро опускаться.

Ваше императорское величество, позвольте мне откровенно высказать мысль. Мое прошлое способно возбуждать сомнения *********) и давать повод к надзору, но и в прошлом я **********)

---

*) Первоначально было написано: «как примирить мне противоречие, которое заключается в человеке, на словах внушающем всякие добрые правила, а на деле подозрительном, требующем надзора».

**) Первоначально было: «средствами».

***) Зачеркнуто: «своего рода вооружения».

****) Зачеркнуто: «разъедающих его болезней».

*****) Зачеркнуто: «с деятельностью правительства вашего, Государь».

******) Первоначально было: «стали мне».

*******) Зачеркнуты слова: «А между тем».

********) Первоначально: «следовало».

*********) Зачеркнуто: «в моем образе мыслей, но не в моей честности»; сверху надписано: «и давать повод к надзору».

**********) Первоначально было: «я никогда».

не действовал обманно. Теперь, государь, по истинной совести могу сказать *), что понятия о долге своем я ищу ныне не в произвольных умствованиях, но в истолкованиях церкви, исторических заветах родины и в воле ее государя **). Если правильный образ мыслей слагается таким путем, то я даже бессознательно не могу обмануть ныне доверия вашего. Мой образ мыслей стал на основе, которая не допускает изменений. Мои силы невелики, цели в жизни скромны ***), но они благонамеренны. Только полная в этом уверенность позволяет мне снова прибегать к милосердию вашего величества и просить о полном прощении, о возвращении мне того доверия, которым пользуются остальные миллионы ваших подданных.

Вашего императорского величества

верноподданный.

30 января.

Новороссийск, Кубанской области.

2 февраля.

Получил письмо О. А. ****) о письме государю.

Послал письмо ей, Цертелеву и телеграмму брату.

3 февраля, суббота.

От брата нет ответа. Завтра надо послать письмо Троянскому.

Письмо от Д. В. Пиленко.

18 февраля, воскресенье.

Мои именины. Телеграмма от брата и сестры. Был у Головачевского, Аркадия Александровича, который приехал два дня назад и, конечно, навестил нас. Рассказывал о Мише Ключареве. Боже мой! сколько воды утекает. Кажется, давно ли мы катались в лодке с неизменным «Цезарем»!

---

*) Первоначально было: «заявляю».

**) Зачеркнуто: «самодержавие которого считаю залогом всего доброго».

***) Первоначально было: «я не ставлю себе в жизни больших задач, но задачи эти благонамеренны».

****) Новикова, О. А.

Миша нынче получает 10 000 руб.! Работает нефтепровод где-то в Сураме.

А я? Он работает, а я?... Уж и не знаю, что только будет. Как-то не хочется верить, что я совершенно погиб, а между тем в сущности это очевидно.

Теперь моя судьба в руках государя. Но если бы даже он и отменил мою ссылку, — что я могу начать? Где, как? Пять копеек за строку разной ерунды... 40 лет, трое детей.

Дурацкие у меня способности. При ловких людях я бы мог многое сделать, но сам по себе — нуль. А где же умные и ловкие люди?

Вот уже год прошел, и я, кроме ухудшения своих сил, настроения, отношений, ничего не вижу. Нет нигде хода и нигде нет выхода. И внутри как-то ослабел, подался, и даже молиться не умею.

24 февраля, суббота.

У меня ничего ни нового, ни хорошего. Пусто, препусто.

Читал Толстого «О жизни». Частности есть хорошие, но именно то, что перефразирует православие. Свое же собственное или туманно или просто представляет упражнения в словесных различиях. Жизнь, говорит, не состоит в сознании, потому что сознание меняется, а в отношении к миру... Как будто отношение к миру не меняется столько же раз, сколько меняется сознание! Жаль, что этот человек отбился от православия или точнее от христианства. Погиб, запутался. Для него, что Христос, что Конфуций, что Будда — все равно: великие люди, в роде его самого, и он сам в роде их. Захотел попасть во Христа вместо того, чтобы быть смиренным христианином, и запутался.

А уж молодежь наша — милая! Чем она только увлекается? Право, можно подумать, что ею сам диавол руководит. Чем угодно готовы увлекаться, лишь бы человек был против Христа и против церкви. Нигилизм, материализм, толстовщина, соловьевщина, что угодно, лишь бы против правды.

Курьезные люди наше общество!

Был вчера у В. Н., там целая компания. И серьезно думают, что они не отрицатели. «Это, говорят, было прежде...»

А у самих — гроша положительного за душой нет: ничего, кроме порицания, отрицания, подрывания... Чорт их знает!

Прежде хоть умнее были и знали, что хотят. А нынче — даже сами не понимают, что только и занимаются расстройством общества.

29 марта, четверг.

Давно ничего не записывал и нечего в сущности. Из Петербурга — ничего. Долгонько! Видно, не большим я доверием пользуюсь. Жизнь идет плоско и безответно. Единственно, что произошло — это принятие и помещение двух моих статей в «Русском Обозрении». Лет через 500 я мог бы чего-нибудь достигнуть при такой быстроте.

3 апреля.

Из Питера — все ничего. Пошел третий месяц, как я отправил свое прошение.

15 апреля.

Отправил Новиковой статью «Начала и концы»[352]) с просьбой где-нибудь поместить.

4 мая.

Ниоткуда никаких вестей. Штиль экваториальный. Даже о «Началах и концах» нет ответа.

Это последнее меня удивляет, хотя, может-быть, лучше, если статья не найдет помещения. Это очень резкая статья против либерализма. А мое такое положение, что либералы ругают, а консерваторы игнорируют, а правительство содержит под надзором. За «Начала и концы» либералы меня окончательно возненавидели бы, для консерваторов же я, в сущности, ничего нового не говорю.

14 мая.

Получил письмо Новиковой.

Адрес все 36 Троицкая улица. СПБ.

(хотя в действительности нахожусь в Тамбовских степях).

Мая 11/23 — 1890 г.

Господь с вами! С чего мне на вас сетовать? Напротив, ради вас, проезжая Москвой, выписала к себе редактора «Моск. Вед.». Он уверял, что непременно напечатает вашу статью *). (По мне — она великолепна!) Но все это такие у нас мямли, что просто зло берет.

*) «Начала и концы».

Перед отъездом за границу, в июне, хочется вам переслать ваши бумаги и книги, но, полагаю, лучше сговориться с Дурново (кот. очень к вам благоволит) (директор полиции), а то несколько рискованно, не правда ли?

Жаль, что вы мало воспользовались De Wirdt'ом. Книга вся любопытна, и Цертелев ею очень интересовался. А вы все мне не объяснили: почему и каким образом дело у вас разладилось с «Нов. Временем»? Ведь ничто не могло быть задушевнее письма Суворина к вам, а тут вдруг — не только охлаждение, а даже какая-то глупая враждебность! Я — враг беспричинных явлений; — оттого-то вы никогда не должны предполагать, что я меняюсь в отношении вас! До свидания. —

О. Н.

P. S. Меня хотели непременно избрать председательницей общества трезвости. Конечно, я всей душой сочувствую этому. Из святой Руси она просто превращается в спившуюся, — хоть плачь от стыда! но такое дело должно быть в руках духовного лица, и теперешний наш председатель — протоиерей Вознесенской церкви, отец В. Михайловский — много ратовавший с пьянством и невежеством (Ек. канал, д. 74, кв. № 1 СПБ.).

Хорошо бы, чтоб и вы старались работать с нами, придерживаясь общества, которое устроилось из студентов духовной академии, хотя у него нет никакого официального статута. У них три правила: 1) самим вовсе не пить; 2) не угощать; 3) мешать другим пить. Зарок трезвости дается на евангелии после предварительного молебна.

Наше общество имеет всевозможные цели: учреждать чайные, кофейные, лечебницы и т. д. Все это требует денежных членов, — а где деньги нужны, там допускаются уступки. В нашем собрании — собст. говоря, пришли «к умеренности», а не «к абсолютной трезвости» — со мною присоединилось меньшинство.

Пишите. Не падайте духом, хотя тяжело вам, это я отсюда вижу! Бог поможет — потерпите еще. Целую Сашу, моего милого крестника.

Отдал статью в «Моск. Вед.», но до сих пор без последствий.

18 мая.

Отправил прошения: 1) Главному священнику гренадер, армии и флота о выдаче мне метрического свидетельства о бракосочетании моем с Катей, 2) в Тифлис, в контору св. синода о выдаче метрики о рождении Саши.

Чувствую себя отвратительно и простудился — бок болит, колет. Уж хоть бы бог привел устроить сначала семью... Еще более расстроил меня сон, где я видел, как за мной смерть гналась. Только-что схватила, или готова была схватить, как проснулся.

23 мая.

Получил письмо О. А. — очень загадочное, из которого ясно одно, что мне на освобожденье из-под надзора рассчитывать нельзя. Есть надежды на «передвижение», но на что оно мне? «Передвижение» будет для меня наказанием, а не милостью, не облегчением.

Уж не знаю, куда меня господь ведет. Насколько могу сам понимать, — я в таких затруднениях не имею силы подняться. Если бы я еще был одинок, дело другое, но семья — обязанность, от которой не откажешься.

А в сущности жаль, что меня так уничтожают. Мне все кажется, что я бы мог быть полезен. Только это уже почти прошлое...

Enfin *), я человек заинтересованный. Не мне судить! Письмо О. А. ниже вклеено. Чем более в него вдумываюсь, тем оно яснее. Это, несомненно, сообщение об отказе на мое прошение.

Да будет воля государя! Но, видит бог, я не знаю, что же мне делать, как жить, для чего и чем жить!

Во всяком случае, мое желание служить государю еще более сильно, чем желание з а с л у ж и т ь его милость. Если я чего-нибудь не в состоянии сделать, несмотря на первое побуждение, то не могу этого сделать и под влиянием второго **).

---

*) В конце концов.

**) Далее письмо Новиковой.

Адрес прежний. Троицкая улица 36. СПБ.

Мая 18/30 — 90 г.

Ваше письмо не было передано, но, вероятно, нечто хорошее было сказано, ибо Петр Никол. заметил: «Пусть Т. *) пишет свою статью (кот. у «Моск. Вед.»). Если понравится — то можно будет выхлопотать и его передвижение. Слишком торопиться нельзя — это вредит делу».

«Скажите О. А. — что она может переслать ему его книги. Если ему будут делать затруднения — для их получки — пусть он (Т.) мне телеграфирует». — Ваше желание видеть корректуры статьи, вероятно, причинит сильное промедление. Впрочем, — желание это вполне понятно!

Искренно хотелось бы пособить вам, — но ничего пока не могу придумать. По приезде в Питер, отправлю вам ящик с книгами вашими и рукописями. Боюсь оставить их на квартире — в случае перемены оной, — когда я буду за границей. Не падайте духом. Проклятый Stepniak **) мутит всех и все в Англии против всего, что дорого России. Просто горе, горе». *О. Н.*

25 мая.

Получил № 5 «Русского Обозрения». Моей статьи о книге De Wirdt'a нет. Итак — не понравилось. Очень жаль. И, однако, я полагаю, что я отнесся к автору практичнее и справедливее, нежели другие рецензенты.

Газеты сообщают об открытии динамитного заговора в Париже среди нашей сволочи [353]. Много знакомых имен, хотя М. Н. ***), конечно, нет.

Грустно, хотя для меня не удивительно. В конце концов, у нас не пользуются временем для воздействия на умы. Теперь, с одной стороны, студенческие волнения, с другой — опять динамитные бомбы. — Этих подлецов, конечно, вешать мало, и какой только там дряни нет: Бердичевский, Степанов, Ашкинази, Лаврениус. Но эту мразь не уничтожишь одними полицейскими мерами. Их уничтожить можно, только доказав массе молодежи их ничтожество, что очень легко. Стоит только решиться.

*) Тихомиров.

**) Степняк-Кравчинский.

***) М. Н. Полонская-Ошанина.

Нехорошее время. Все, что способно топорщиться, поднялось снова, кто чем может: либералы повели агитацию против серьезной школы, студенты бунтуют, террористы ($^3/_4$ жидов) готовят бомбы... Финляндцы чуть не открыто бунтуют, немцы-колонисты завоевывают юг России, в Европе — кроме Франции, т.-е. самого нелепого изо всех народов, все против нас...

А на кого надеяться? Как подумаешь, каждый раз только и надежды, что на царя. Кроме его, ни одной души, достаточно умной и сильной.

30 мая.

Заходил проездом В. Константинов. Замечательно счастливая судьба этого малого, в детстве, очевидно, назначенного погибнуть своей беспутной дряпью матерью и неприкаянным нигилистом отцом. Теперь Вася кончил курс, имеет быть оставлен при университете, здоровый красивый молодец. Дай ему бог! Какая, однако, огромная, прихотливая судьба, как в ней ничего нельзя разобрать и предвидеть!

2 июня, суббота.

Весь день пробыл на хуторе, работали на винограднике с Поликарпом и Евсеем). Саша был со мной и очень доволен.

Вечером пришел В. Н. *) и сообщил о поездке в С.-Петербург.

6 июня.

Утро. Вот уже несколько дней сижу как на бивуаке. Никак не могу уехать. 4 числа В. Н. сообщил, что разрешение ехать послано в Екатеринодар. Я телеграммой просил Фелицина телеграфировать Вартлинскому. Но Екатеринодар не любит торопиться. До сих пор нет ответа. Вчера, 5 числа, приехал Старк (Эдуард), заходил. В «Моск. Вед.» от 1 июня начаты мои «Начала и концы», но 2 июня нет продолжения. Они решительно губят статьи! Сегодня получена телеграмма, без подписи, из СПБ.: «Великолепные статьи оценены, до свидания». Конечно, от О. А... Кем же «оценены», и в чем это выражается? Едва ли публикой, когда редакция разбивает статью. Я думал, что они догадаются напечатать одним листом всю, а они печатали в фельетоне и даже не каждый день! Чорт их знает...

*) Соколовский.

Можно думать, что нарочно стараются уничтожить впечатление.

6 июня, среда.

В 1 час 25 м. уехал из Новороссийска.

10 июня, воскресенье.

Утром приехал в С.-Петербург: остановился спачала у Фридерикса, номера Левашевой. Брат хозяйки, стада вшей.

В деп. полиции ни души. Новикову видал на минуту: ехала на бал во дворец.

11, понедельник.

Видел в 1 час Петра Ник. Дурново. Это день его доклада министру. Объявил, что правительству нужны статьи, что «Новое Время» (Коломнин) само предлагало свои услуги, но написали дрянную, слабую вещь. Просит меня. Уплатил мне прогоны туда и обратно — сто рублей. Взял, потому что нет ни гроша. Перебрался в «Больш. Северную Гостиницу».

12 июня.

Познакомился с Плющиком-Плющевским *), который должен свести меня к Коломнину.

В час визит к Кирееву и О. А. Видел старика Новикова [354]). Получил телеграмму Грингмута, извещающую, что мне следует 300 руб. за «Начала и концы». Статья, оказалось, замечена. Делянов [355]) сказал «Моск. Вед.», что ее нужно отпечатать отдельной брошюрой. Победоносцев назвал ее замечательной и хочет со мной познакомиться.

4 июля.

В Петербурге мне больше нечего делать. **)

NB. Государь приехал в СПБ. на другой день по моем отъезде в Москву. 12 июля высочайшее повеление об освобождении моем из-под надзора. Мне дано знать в Москве.

16 июля.

В Москве. Официальное объявление высочайшего повеления 12 июля.

---

*) Плющевский-Плющик, Як. Алексеевич.

**) Далее позднейшая вставка, написанная красными чернилами.

17 июля.

Отъезд из Москвы, после окончательных условий с редакцией «Моск. Вед.» Прибыл ночью в Сергиевское.

24 августа.

По прилагаемой расписке отправлено прошение в Екатеринодарский окружный суд с документами; по квитанции уплачено 1 руб. 47 коп.

26 августа.

Воскресенье. День рождения Саши.

Вчера получил письмо от Маринковича. Он в восторге, что «я его не забыл!» Я ему писал из Москвы (об освобождении из-под надзора).

Сегодня около $4^1/_2$ часов в городе произошел бунт. Русские подрались с персиянами. Говорят, 4 человека убито *). Вызваны войска. Арестовано человек 30. Полицейскому попало несколько камней, но собственно «сопротивления» не было. Теперь ночь. Неизвестно, не возобновятся ли беспорядки.

Моя корреспонденция все не печатается в «Моск. Вед.» Чорт их знает! Меня таки страх берет ехать в Москву. А вдруг — надуют?! Что я буду делать с детьми?

А уж как торжественно обещал Сергей Александрович **): «Не беспокойтесь, не подведем, я вам гарантирую рублей 200 в месяц».

31 августа.

Уехал один в Москву. Семью вызову телеграммой, как только устроюсь.

3 сентября.

Прибыл в Москву. По дороге был у мощей святителя Митрофания в Воронеже.

6 сентября.

Сговорился с редакцией. Взял в долг 100 руб. (и еще обещал Петровский 200). Нанял квартиру. Катю вызвал телеграммой.

---

*) Оказалось, неправда: есть только раненые. *Прим. автора.*

**) Петровский, С. А. [356]).

19 октября, пятница.

Была, обедала Ольга Алексеевна.

20 октября, суббота.

Вечер у Новиковой.

22 октября, понедельник.

О. А. должна была сегодня уехать.

24 октября, среда.

Я иногда чувствую себя счастливым. Собственно — все есть. Работа, которая за прошлый месяц дала 350 руб. Все здоровы, живем ладно. Мать только не с нами. У меня это как-то лежит камнем. Но она жила здесь недурно, чувствовала себя хорошо, весело, и жила с нами ладно и мирно. Вероятно, легко устроить, чтобы она приехала весной, а будущую зиму осталась совсем с нами. Вообще — самые трудные условия улаживаются у меня как только возможно хорошо. И все-таки, — темна жизнь... Не освещает ее мне господь.

5 ноября.

Саша поправляется. В редакции — совещание по поводу петиции Вл. Соловьева и К° о евреях [357]). Мне поручено написать статью. Возражения Говорухе.

6 ноября.

Я простудился и не выхожу из дому. В редакции не был.

15 ноября.

Получил жалованье, — 162 руб. 83 коп.; за вычетом 12 руб. 50 коп. — осталось 150 руб. 33 коп.

1891 год.

1 января.

Новый год встречали с Катей одни. Никого нет, дети спят. Тихо побеседовали, выпили вина с поздравлением друг друга, вспомнили год прожитый, вспомнили прошлое, — и поблагодарили бога.

И, — как не благодарить? Из какой ямы вытащил меня господь, — меня: и глупого, и неумелого, и до сих пор ничем не заслужившего его милосердие!

Страшно подумать об этом прошлом.

Еще нет 2 лет, как я в России, два года без 20 дней прошло с тех пор, как я ступил на родную границу. И вот я, — если не прочно устроен, то все же содержу семью, слава богу, ни в чем не нуждаюсь, свободен, член своего народа, своей церкви... Милость божия! И сохрани господь на много лет государя: ему тоже ничем не заслужил, и его милость была полная. Вместо 5 лет — не пробыл связанным и 19 месяцев.

Кругом я облагодетельствован — ни за что. Чувствую это, но недостаточно. Теперь одного прошу у бога — чтобы помог он мне умягчить мое сердце и понять всем сердцем его бесконечную благость.

К тебе, владыко, человеколюбче, прибегаю... Аминь.

Разосланы карточки и письма поздравительные *).

17 января.

Получено всего за январь с «Моск. Ведомостей» и «Русского Обозрения» — 371 рубль.

4 марта, великий пост.

Рассказывают, что Долгорукова прогнали за получение с Полякова 70 000 р. взятки за потворство жидовской петиции [359]).

Назначение великого князя вообще возбуждает надежды, хотя Москва до того олибералилась и ожидовела, что трудно представить силу, способную ее поднять нравственно.

15 марта.

У нас была Иверская божия матерь, молебен.

В этот же день получено жалованье

1 — 15 марта	120 р. 50 к.
вычет	12 » 50 »
Наличных	108 рублей.

*) В числе других писем: Победоносцеву, Дурново и Саблеру [illegible]).

29 марта, пятница.

Вторая половина марта 118 р. 50 к. — 12 р. 50 к. — 106 р. Итого за март всего — 230 р.
Наличных 214 рублей.

13 апреля, суббота.

У меня уже недели две болят зубы. Просто беда. Сейчас, 12 часов почи, спать не могу, ноют зубы.

Однажды на днях очень замучили, помазал щеку маслом от св. Митрофания. Слава богу, помогло, прошли. А через день — опять та же история.

Что сказал бы я два года назад при мысли серьезно молиться об исцелении зубной боли? Я так изменился, благодаря богу. Человеку неверующему, однако, трудно было бы понять состояние души моей. Наверное, подумает сейчас о высоких мистических восторгах. Слава богу и к несчастью этого, однако, нет.

Я совершенно трезв, практичен и, — в духовном отношении — ничтожен из ничтожнейших. Иногда у меня бывает ни на чем не основанное «возмечтание» о себе, но бог мне живо показывает грехи мои. Так что, слава богу, поддерживаюсь я в положении простого, маленького христианина, чуть-чуть верующего, изредка исполняющего закон божий, очень редко, впрочем. Об одном прошу бога, чтобы хотя из этого положения не выскочить, п. ч., рассуждая хладнокровно, не подлежит сомнению, что ничего высокого из меня не может выйти, а между тем полное падение чрезвычайно легко, так как наклонность к самолюбию у меня необыкновенно велика...

Теперь у меня задача, которую я бы должен был исполнить, — она состоит не в том, чтобы что-нибудь сделать крупное, а в том, чтобы остаться маленьким, ничего крупного не делающим, а только исполняющим маленький ежедневный долг. Ужасно трудно это. Воспитался на стремлении к грандиозному. Но, кажется, мое дело прочно: ни обстоятельства, ни способности не дают мне ходу, так что волей-неволей должен жить скромно, незаметно, и «ничего не делая». Слава богу, что он меня не оставляет. Сам по себе, я до сих пор таков, что готов

пуститься в великие дела, спасать человечество или Россию, уж не знаю, кого.

Одним я недоволен. Денег маловато для семьи. Но, может-быть, и тут меня учит господь. Я совсем не умею надеяться на бога. Мне все кажется, что люди нужны или деньги. Когда это есть, — я спокоен. А ведь настоящая-то мудрость не то гласит. «Не надейся ты ни на единого человека и ни на какие богатства, потому что всяк человек есть ложь и всякое богатство тлен. Надейся ты на единого господа». Ой, как все это просто и как ужасно трудно!

Итак, — ни в чем я не блаженствую, ни душой, ни телом, и такое положение, конечно, не могло бы прельстить ни одного неверующего обратиться, если бы он мог сам ясно представить, что получит именно такое состояние. И, однако, есть в этом состоянии нечто такое, за что я его не променяю ни на какие бреды неверующего миросозерцания. Это не отчаяние, его нет, но это ощущение правды, с которой ты, при всей мерзости своей, находишься. Сам — нищ и окаянен, но знаешь правду, великую, последнюю, которая всем правдам правда.

Эта правда, может-быть, обречет тебя на муку. Все равно, от правды к иллюзии нельзя перейти добровольно, и слава богу милосердному, утешавшему меня во всяком случае тем, что я вижу эту правду. Спаси же меня, господи, только от помрачения, не дай мне утерять этого луча света, остальное да будет в руках твоих, — муки, несчастья, душевное недовольство, ничтожество внутреннее и внешнее — все это можно снести.

Отцы говорят нам, что степени духовного совершенства таковы:

1) раб божий, от страха покоряющийся,
2) наемник, за награду работающий,
3) сын божий, по любви к отцу живущий.

Вот это правда, это вся суть жизни нашей. Но легко ли достичь первой степени? Для меня ужасно трудно. Для этого нужно иметь ясную веру, это духовное зрение, а у меня глаза все замазаны. И если бы я мог в конце жизни достичь состояния умного, догадливого раба божия, — это, конечно, maximum. Правда довольно горькая, но от самого слабого зрения никто не захочет вернуться к слепоте.

14 апреля.

Перечитал вчерашнюю заметку у себя. Это все правда, и для меня оно, вероятно, так и полезно. Но собственно со стороны редакции все-таки замечательно глупое поведение. Эти люди вогнали меня в самую ничтожную роль. Их, однако, выгода состояла бы, думаю, в том, чтобы мною пользоваться и приводить меня к maximum'у моих сил, а не к minimum'у.

Так действовать могли бы мои враги, или конкурренты, но редакция, очевидно, не по таким причинам действует. Стало-быть, — просто глупые люди.

Макарий Оптинский [360]) говорит, что, в случае неприятностей, не следует обвинять причиняющих их людей, потому что они только являются орудием промысла божия, который для пользы человека считает необходимой именно эту неприятность. Но, если бы и так (как оно, конечно, и есть), то со стороны этих людей все-таки совершается акт глупости или — недобросовестности, как это, вероятно, имело место у Говорухи. Ведь Иуда тоже был орудием промысла, но неужто его не обвинять? Или только за себя не должно судить? Это скорее, потому что со стороны глядя — как же не сказать, что глупость есть глупость и подлость есть подлость.

Нет, дело не в том. Скверно то, что сердце кипит, что негодуешь эгоистично, за себя, в своем интересе. А если бы обвинять хладнокровно, беззлобно, то тут не было бы, думаю, греха, а простой анализ ясного, как день, факта.

15 апреля.

Получил жалованье. 1 — 15 апр. 122 р. 55 к.

NB. Вычет оставил до конца месяца.

Обедала у нас О. А. Вечером у нее. Знакомство с Н. А. Астафьевым, Катериной Никол. Самариной и Бахметьевой, Алекс. Николаевной [361]).

17 апреля.

А Бахметьева меня крайне заинтересовала. Очень умна, и при ее общественном положении, пожалуй, не мудрено что-нибудь сделать. Мне казалось, что она может заинтересоваться

мыслью влиять на молодежь. Ну, а уж мужчины, — сколько ни видишь их, — хоть рукой махни!

Но вот буквально стоит только мысли явиться — шабаш!

Непременно какая-нибудь катавасия. Это хуже, чем у Леонтьева. Тот тоже говорит: «Видно, не суждено». Неизвестными путями что-то мешает. Ему полагается только одно: душу спасать. А мне — семью растить. И дальше, — ни шагу! Это, пожалуй, очень тонко. Действительно, самолюбие мое подвергается таким образом самой чувствительной порке.

Собственно говоря, я очень хорошо догадываюсь, что сделать что-либо мне будет дано только тогда, когда я этого не буду желать. Но я до сих пор желаю и всегда буду желать, так что без сомненья я в общественном смысле могу себя считать выведенным в тираж. Рука невидимая! Каким нужно быть ослом, чтобы ее не видать на каждом шагу! А люди еще желают каких-то «чудес»...

. . . . *)

Сейчас помолился, думал спать, захожу взглянуть в детскую. Саша в жару, повидимому, не очень сильном. Катя, сама беременная в 7 месяце, получив предписание лежать спокойно, плачет горькими слезами. Что такое? Что особенного заметила в мальчике? «Нет, ты оставь...» Вот тебе и разговор! Уж господь ведает, предчувствие какое, или просто слезы беременной. Но, как видно, праздники нам готовятся не вполне праздничные!

Говоря по совести, только несчастье будит во мне мысль о боге. Но, — надоело это несчастье до невероятия. Как бы желал я сделаться хоть немного лучше, чтобы выйти из-под этого вечного кнута! Просто измучился. А все кнут, да кнут. Видно, нужно.

21 апреля.

Светлый праздник.

В четверг Трифановский объявил, что у Саши дифтерит. Уединили его, и — можно представить, как весело ожидали праздники! Однако, течение болезни было до сих пор замечательно спокойное. Если это действительно дифтерит, то остается благодарить св. Митрофана. Саша в субботу казался почти здоровым.

---

*) Точки в подлиннике.

Итак, праздник встретили, слава богу, — светло, хотя дождь помешал детям пойти в церковь; куличи и баба вышли так плохо, что кулич и вовсе не ели. Наконец, все утро жестоко болели зубы. Вообще, — не так мечталось провести праздник, ну, да и за то слава богу.

24, среда.

Саша перебрался на детскую половину. Все убрано по-старому. И праздник тоже кончился.

Все кончается: и беда, и праздник, и, боже мой, как скоро. Так же скоро промчит и вообще все. Мы же все хлопочем, досадуем, унываем. Как легко бы, кажется, понять все безумие этого, и вот, поди же, — о главном сердце не думает, а к мыльным пузырям тянется, радуется, болит.

О вечности не думаем! Какая простая, банальная фраза, а как трудно понять ее смысл.

17 мая.

Приехал государь. Я был на встрече и прекрасно, — очень близко видел. Толпы, «ура». Очень хорошо. Вечером с детьми на иллюминации.

23 мая.

Приехала Ольга Алексеевна

5 июня.

Возвратились из Троице-Сергиевской лавры. Поехали 4-го в 5 часов вечера. Вернулись 5-го в 8 часов вечера.

7 июня.

В 9 часов вечера родился у Кати сын.

24 июня, понедельник.

Сегодня крещение Коли.

26 июня.

Беда и беда. А у меня корректуры, книги и рукописи, и ничего нельзя работать.

29 июня.

У нас все скверно. Катя никак не поправится. Чуть встанет, — смотришь, прислуга уходит, и Катя снова заболевает.

Устал, расстроился, а конца не видно.

Катя все это время то вставала, то опять заболевала. Теперь вот уже три дня она ходит. Что бог даст дальше?

18 июля.

Наняли квартиру на Палихе, в д. Кротова. Вечером заходил ко мне познакомиться Иван Николаевич Янковский. Это бывший, по его рассказу, приятель Пазухина [362], от которого и знает обо мне. Предлагал участвовать в журнале, который проектировался еще Пазухиным, и который он, Янковский, думает издавать, может-быть, через год.

Тип очень любопытный, которого сразу не поймешь. Уверяет, что сделал важные научные открытия, которые должны поставить самодержавную Россию (он — монархист и религиозный человек) во главу всех народов. Но все-таки еще не опубликовано.

19 июля.

Получил с «Русск. Обозрения» 188 рублей (по 4 рубля за страницу).

20 июля.

Приехала Ольга Алексеевна. Я обедаю у нее. Она пила чай у нас.

21 июля.

Познакомился с Дмитр. Ив. Воейковым.

22 июля.

Перебрались на новую квартиру (Палиха, д. Кротова).

6 августа.

С 1-го августа не хожу в редакцию, п. ч. совсем расхворался. Вчера был П. И. Дьяконов, сказал, что инфлуэнца с легким бронхитом.

Вчера послал свою статью К. П. Победоносцеву, который в Москве уже несколько дней. Сегодня получил любезное письмо, благодарит и даже прибавляет, что заехал бы ко мне, если бы имел свободную минуту *).

---

*) Следует письмо Победоносцева, вклеенное на этой странице.

Почтеннейший Лев Александрович.

Очень благодарю вас за присылку статьи, которую прочту дорогою. Сожалею о вашей болезни и заехал бы к вам, если б была здесь минута свободная.

Сегодня уезжаю. Здравствуйте.

Душою пр.

К. Победоносцев.

28 августа.

Приехал Конст. Ник. Леонтьев.

1 сентября.

Получено письмо Александра Алекс. касательно вопроса о моем поступлении на службу *).

Уважаемый Лев Александрович.

Извините, что так долго задержал ответ — очень занят. 3-го дня был у П. Н. Дурново, говорил про вас и ваши дела. П. Н. говорит, что собственно у него в деп[артаменте] места для вас нет, но что он считает, что ваше присутствие в министерстве внутренних дел могло бы быть очень полезно. Он говорил это не в виде фразы, и для того, чтобы отделаться от докучливости моих «приставаний», а потому, что он именно так и думает, и поручил мне сказать вам, что если спросят его мнения о вашем поступлении на службу в мин. вн. дел, он вполне одобрит эту мысль.

Что же дальше? можете ли вы к кому-либо обратиться там? Я могу в настоящее время только вам напортить, — недавно я имел с Дурново (Иван. Ник.) [363]) министром разговор по поводу голода, который был для Ив. Н. очень неприятен.

Петр Ник. не считает возможным взять на себя инициативу в вашем определении на службу.

В земском отделе всем ворочает директор — Заика, я его почти не знаю!

Совершенно ваш

А. Киреев.

«Миражей» Дурново еще не читал.

29 авг. 91 г.
Павловск.

---

*) Далее вклеено письмо Киреева.

8 сентября.

Знакомство с Ник. Алекс. Мясоедовым у Воейкова.

9 октября.

Приехала мама.

Редакция предложила новые условия:

1) жалованье 75 в м-ц.

2) 4 передовые (80 руб.).

3) понижение построчной платы до 3 коп. (вместо 5), что может дать около 120 р., т.-е. всего 75 + 80 + 120 = 275 р.

Это по смете. Интересно знать, что выйдет в расчете?

20 октября.

Перерыв дипломатических сношений с В. С. Соловьевым. Я ему отослал его книги с запиской, где объяснил, что «ничего хорошего в них не вижу» и что он либо неверующий, либо попал в западню крайнего самомнения. Он мне ответил, что из письма можно видеть, что нам пока не о чем говорить, но что, в виду искренности моей ошибки («веры в русский государственный кулак», как он выражается), он думает, что со временем я откажусь от нее. И тогда, дескать, поговорим.

Qui vivra—verra *), но едва ли когда мне интересно будет говорить с ним.

24 октября.

В «Моск. Вед.» очень хорошее описание смерти о. Амвросия Оптинского († 9 окт.).

12 ноября, вторник.

Сегодня в 10 часов утра умер Константин Николаевич Леонтьев **).

У меня еще не умирало человека, так близкого мне не внешне, а по моей привязанности к нему. Судьба! Мне должно быть одиноким, повидимому. Он мне был еще очень нужен. Только на-днях предложил учить меня, быть моим катихизатором. И вот, — умер. Он мне еще в прошлом году гово-

*) Поживем—увидим.

**) Заключено в черную рамку.

рил, что по каким-то «суеверным признакам» должен умереть в 1891 году. Я ему писал: «Не умирайте, вы мне еще нужны».

Меня эта смерть гнетет. Так и хочется написать ему: «Константин Николаевич, неужели вы серьезно таки умерли?»

О. Амвросий благословил его ехать жить у Троицы Сергия, в августе, сам умер в октябре, а Леонтьев в ноябре. Зачем это перемещение? Я думал, что Леонтьев у Троицы выступит на действие, а вместо того — смерть...

Тоска ужасная. Где он теперь? Проходит ли «области воздушные», где сторожат проход «лица угрюмые и мрачные». Господи, помоги. И мне помоги.

25 ноября.

Сегодня в первый раз увидал Владимира Андреевича *) после болезни Сергея Александровича **); давал мне инструкции для писания. Он возвратился из СПБ. 23 ноября. Пробрали его, и поделом. Нового он мне, однако, ничего не сообщил. Я и сам отлично видел, что у них происходит.

2 декабря.

Получено:

15—30 ноября—188 р., а всего за ноябрь 198 + 188 = 386 р., за вычетом — 20 р., чистых 366 р.

Приехал Влад. Ник. Соколовский. Был у нас вечером.

3 декабря.

У Верочки опять жар, и ночью, конечно, повысится.

Сегодня приходил ко мне в редакцию Д. И. Воейков. Заявил, что не будет иметь дела с Орловым, потому что какой-то Сибиряковец сказал ему, что Орлов «доносчик»... Что за чушь, что за фокус? Тут что-нибудь скрывается.

25 декабря.

У нас елка была. Детей набралось: 2 Мышецких, 4 Киселевых, Миша Покровский, Ваня Митюшин, да наших — 3. Были оба Киселева, Зиночка, Ольга Петр., Лизав. Дмитр., Анна Ивановна и брат с А. Л. ***). Дети веселились и танцовали до упаду.

---

*) Грингмут.

**) Петровский.

***) Авдотья Ларионовна, жена брата Тихомирова.

31 декабря.

С редакции получено — 193 рубля, а всего за декабрь 128 + 193 = 321 р.

Встреча Нового года — своей семьей, никого не было.

1892 год.

1 января.

Сделаны визиты:

1) Павлов, 2) Шишков, 3) Бахметева, 4) Самарина.

Посланы письма:

1) Кирееву, 2) Победоносцеву, 3) П. Н. Дурново.

Чем помянуть прошлый год? Не скажу, чтобы мне было плохо. Можно по-обломовски сказать даже: «вот, слава богу, год и прожил». Но, вообще говоря, — бледный год. Ни в каком отношении ничего путного не сделал ни себе, ни людям. Ничего даже не приобрел ни в материальном, ни в духовном отношении. Только охладел значительно. Из потерь, — огромная утрата К. Н. Леонтьева, — упокой, господи, его душу...

В прежние годы я все не мог отделаться от мысли, что должен что-то такое сделать. Теперь у меня почти что исчезла мысль эта, и, в сущности, я даже не знаю, что бы я стал «делать», если бы имел внешние на то средства. Поэтому я не особенно сокрушаюсь внешним бесплодием прошлого года. Но и в отношении внутреннем он мне, кажется, ничего хорошего не дал. А, впрочем, спасибо и на том. Авось 92 г. получше расщедрится.

Получены письма и карточки *)...

1 февраля.

У нас происходит история с Толстым, или точнее с Толстихой. Преядовитая баба! Ее муженек ахнул в «Daily Telegraph» письмо о русском голоде, которое почему-то всех удивило, как революционное. Оно, конечно, и есть революционно, но не более, чем тысячи других вещей этого старого колпака. Поднялся шум. «Моск. Вед.» перепечатали письмо, чтобы пока-

*) Следует перечень карточек, в числе их — от Победоносцева и Киреева.

зать, что Толстой рассказывает о России. А графиня Толстая заявила в какие-то высшие сферы, будто бы письмо подложно, и будто бы ее муж его не писал... Любопытно, что это говорит графиня, а сам Толстой молчит, будто его и не касается. Кроме того, говорят, графиня жаловалась на «Моск. Вед.». В чем? Не понимаю.

Сегодня Шатохин показал мне ответ агентства Рейтера от «Daily Telegraph». Ответ категорически заявляет, что письмо Толстого несомненно подлинно. Но что же тогда думать о графине Толстой?

Любопытное положение «Моск. Вед.»! Эта барыня распустила слухи о будто бы подлоге, об этом кричат в городе, и даже газеты («Гражданин» и «Русская Жизнь»[364]), а «Моск. Вед.» получили приказание молчать. Не смей даже опровергать обвинения в подлоге! И из-за кого, из-за чего? Из-за выжившего из ума сектанта, глупейшего изо всех революционеров, который в лоск портит молодежь. Конечно, может быть, у начальства есть какие-нибудь соображения, нам неведомые, но, во всяком случае, странное положение. Интересно, чем-то оно разрешится?

Сегодня, наконец, поставил божией матери (у Николы), по обещанию, рублевую свечу, по случаю выздоровления Веры.

А у Вл. Орлова сын (Костя) сбежал в Патагонию, к индейцам собрался, но пока доехал только до Кавказа! Что за беда с ними, мальчиками! Ну, я его считал развитее. Ведь 16 лет дубине.

6 февраля.

Петровский благодарил меня за передовую статью сегодняшнего № «Моск. Вед.».

Обед у Петровского; виделся с Киреевым, который здесь по случаю болезни матери.

7 февраля.

Был у меня с визитом Киреев, к сожалению, меня не было дома.

В народе слух, будто бы отец Иоанн Кронштадтский[365]) что-то предсказал: одни говорят: 1) будто 7 или 8 февраля будет какое-то бедствие, но где и какое, неизвестно, 2) другие, — будто

7 или 8 либо возобновятся жестокие морозы, либо начнутся дожди.

Сегодня, слава богу, прошло, и о бедствиях никаких не слышно. Но дождь, действительно, начался, и весь город утопает в лужах. Я сам упал в лужу и промок насквозь, т.-е. пальто, но сам-то не подмок, только немного. День прошел, посмотрим, что завтра. Но народ встревожен. Удивительно странное настроение в эту зиму. Премерзкое, нервное. Уж хотя бы господь помог пережить это тяжкое время.

8 февраля.

Толки о бедствии (Москва провалится, светопреставление) объясняются очень просто: «Новости Дня» [366]) сболтнули шутя, а народ подхватил, а о. Иоанна уже присочинили, потому что, — если делать предсказания, то кому же, как не ему? Цензор, пропустивший жидовскую болтовню Липскерова, говорят, получил взбучку от начальства.

12 марта, четверг.

Я несколько дней лежал в ревматизме. Слепую кишку тоже лечу, но Зеренин говорит, что лучше. Сегодня первый раз пошел в редакцию.

Ночью в 10 часов на севере видна была яркая колонна, — выходящая у земли из светлого пьедестала и доходящая до зенита.

13 марта.

Сильный ревматизм. До редакции добрался, но к О. А. *) уже не мог. У ней вечером собрание, — будут наши редакционные.

26 марта.

Все как-то у меня нескладно. Болею и болею. Без конца. Немного лучше, немного хуже. Дела расстраиваются, денег мало.

С Надей история в систематическом лганье. Чуть не высек, да что толку! Говорил с ней много. Теперь говеет. Один бог поможет.

У самого на душе чернота. Живешь, живешь, и, кажется, будто хочешь и просишь, — и остаешься свинья свиньей.

Духовника следовало найти, да опять, — где его взять? Священник новый, молодой. Как-то не решаюсь.

*) Новикова.

Вообще, — нехорошо. Сегодня мой бок опять усиленно болит. Богу молишься, и так все спутано, что не знаешь, о чем и просить. Помышления все больше «суетные» и «похоти лукавые». Просто не видать проблеска.

Теперь и с редакцией история (статья их — идиотская — о саратовском земстве и врачах).

Из-за болезни тоже не видно О. А. А нужно, и важно, и хочется.

Пост не пощу из-за болезни. Через это не говею, а отчасти — может-быть, и главное — такое паскудство на душе, что страшно и приступать. Это нелогично. Тут бы и говеть, да сил нет.

Оно, конечно, — фактов дурных, т.-е. очень дурных, пожалуй, у меня и немного, но настроение премерзкое, а это главное. Внешний грех не беда, с кем не случается. А вот как душа огажена, так это похуже. В фактическом грехе есть покаяние, а как каяться в самой наклонности, в ничтожности, в дрянности? Сознавать всю эту дрянь сознаешь, а что толку? Может ли быть решимость исправиться, когда это значит решимость не быть самим собой?

Тяжко. Только и надежды, что на бога, но велика ли она у меня? При моей грошовой вере?

И потом, если бог хочет меня исправить, то я уже убедился, что этого нельзя сделать иначе, как несчастьем, муками. Ничего со мной иначе нельзя сделать. А мука меня и без того измучила, и страшно еще на нее напрашиваться. Вот тут и пожелай чего-нибудь.

Святым давалась помощь, да ведь то натуры какие? Разве я могу хоть одну секунду так пожелать спасенья? Нет, ничего не выдумаешь, не знаешь сам, что просить, а жить тяжко.

Находишь корень зла в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем! А легче ли от этого? Конечно, еще более тяжко, потому что исхода не видишь, и еще больше опускаешься.

Ой, спаси, господи! Плохо, пропадаю!

12 мая.

Надя кончила экзамен.

13 мая.

Сегодня утром получил телеграмму от Чуффрина о том, что в $9^1/_2$ часов у Трех святителей заупокойная обедня по К. Н. Ле-

онтьеве. Спешу как угорелый к Красным воротам. Поспел во время. Панихида торжественная, но оказалась несколько тенденциозной. Из 7 человек духовенства — чуть ли не 4 — греки (здешних монастырей). Греки хотели почтить память К. Н., так чтившего восточные церкви. Далее — оказывается, что там же присутствует Тертий Ив. Филиппов, которого я даже не подозревал в Москве. После службы был ему представлен Анатолием Александровичем Александровым, с которым тоже тут познакомился [367]).

Из публики, — было очень мало. Не знаю, было ли 2 десятка, — специально пришедших на панихиду. Был Говоруха, Погожев.

Придя в редакцию, узнал в первый раз (никогда, свиньи, не скажут), что панихиду предполагали служить в нашей (на Б. Дмитровке) церкви св. Сергия. И никто не знает, как она перелетела к Трем святителям.

Чудно что-то! И тут какая-то партийность.

NB. На другой день.

Никакой партийности не было, а просто — у Сергия на Дмитровке собрались сами по себе служить, но не служили по болезни Грингмута, который один только и есть друг Леонтьева.

14 мая.

По желанию Т. И. Филиппова, — был у него и много разговаривал.

Очень свежий старик и весьма умный.

15 мая.

Получено с «Моск. Вед.» 140 р.

NB. 17, 18, 19, 20 мая пробыл в путешествии в Козловский у. к А. И. Новикову [368]).

16 июля.

Теперь, собственно, уже 17, потому что более часа ночи. Не спится. Нездоровится ли действительно, или фантазия, — сам не разберешь, а только сон убегает.

Скверное время. Я, конечно, говорю о холере. В сущности, не время скверное, а сам скверный, с этим малодушием, совершенно бессмысленным для верующего. В такие-то времена лучше всего видишь, что веры почти нет. Есть теория, кото-

рая, как всякая другая, очень кажется сильной, пока нутро не заговорило. Но раз заговорит это дрянное нутро, в виде любой страсти, а особенно страха — тут-то и видишь, что живой веры ужасно мало. Людей боишься, холеры боишься, смерти (т.-е. конца) боишься, а бога? В том-то и горе, что в людей, холеру и т. д. веришь, а о боге только умствуешь.

О, если бы была живая вера, то какие жалкие пустяки показались бы все, чего ныне хочешь, или чего боишься! Беда! Только на бога и надежда, не подымет ли?

А пока что, — скверно.

Не всегда я в такой мерзости душевной, но частенько. Насколько душа неспокойна, видно из того, что месяц, прошедший со времени отъезда мамы, — мне кажется чуть не за полгода.

Перелистал кое-какие страницы своего дневника за прошлые годы. Презамечательная дрянь я был всегда, и с тем остаюсь. Малодушие и мечтание о себе, — вот два постоянные качества.

27 июля.

Вот уж несколько дней, как в Москве официально признана холера. Ее главное гнездо — около нас, в Пересыльной тюрьме и Сергиевско-Елизаветинском приюте. На меня иногда нападает самый прискорбный и печальный страх.

Сегодня было у Тихвинской божией матери молебствие об избавлении от холеры. Были Иверская и Боголюбская иконы божией матери. Первого августа назначено молебствие у нас в приходе. Но митрополит или полиция не разрешили крестных ходов. Народ этим очень недоволен. Глупое запрещение! Почему же не воспрещают народных гуляний? Или только перед св. иконами вредно и опасно стечение толпы?

28 июля.

Говорят, крестные ходы не запрещены. Отчего же запретили у Тихвинской?

Между прочим, каждый раз натыкаешься на проявления чрезвычайной непопулярности нашего высокопреосвященного Леонтия. В обществе о нем слышны и сочувственные отзывы, но в массе — весьма несочувственные.

Я его (митрополита Леонтия) никогда даже не видал, и вначале, по газетам, даже очень ему симпатизировал. Говорили, что

в Варшаве он заявил себя очень умным деятелем. Но в Москве сразу только и слышу несочувственные отзывы.

Москвичи, — народ совсем особый. У них есть свой идеал святительства, строгий, «истовый», отступлений от которого они не допускают. Иоанникий весьма удовлетворял ему, и, — хотя начальство, кажется, находило, что он «ничего не делает», но народ его очень любил. Иоанникий, действительно, не разделял, по крайней мере, не поддерживал модных петербургских стремлений и оживления «духовенства»; у него студенты не проповедывали, общества трезвости не было, ничего другого подобного. Ни даже обновления консистории не было. Но зато он вел строго монашеский образ жизни. Он старательно служил в церкви, неутомимо. Он терпеливо, до обморока, выстаивал часы, благословляя народ, тысячами толпившийся около него. Он был для москвичей безукоризненным «святителем». Однажды, при Долгоруком, был такой случай. При торжественной службе во храме Спасителя должен был присутствовать кн. Долгоруков. Поэтому полиция получила приказ не впускать народ во храм до прибытия его сиятельства. Его сиятельство, конечно, не торопился, а народ тысячами столпился вокруг храма, охраняемого полицией. Но вот приехал высокопреосвященный Иоанникий. Спрашивает: «почему не пускают народ?» Полиция докладывает, что ждут его сиятельство. Митрополит велит открыть двери храма, сам становится в дверях и стоит до тех пор, пока вся толпа не вошла.

Как раз такой случай произошел в первое служение митрополита Леонтия во храме Спасителя. Та же полиция, та же невпускаемая толпа, то же ожидание генерал-губернатора. Показался митрополит. В толпе заговорили: «ну, вот, сейчас впустит». Но не тут-то было. Митрополит приехал, вошел во храм, но двери за ним затворились, и народ остался на улице, пока не прибыл великий князь. Очевидец передавал мне, что в толпе было самое тяжелое и враждебное разочарование. Пастырь обдал паству, как ушатом холодной воды.

В первый же крестный ход — как мне передавали разные лица — митрополит Леонтий имел неосторожность итти под зонтиком. Правда ли это? Все это говорят, и говорят с негодованием: «это—не митрополит, а трубадур»... Что они пони-

мают под словом «трубадур», — господь их ведает, но говорится в смысле брани. Действительно, для Москвы это ужасно. Положим, был дождик. Но митрополит в крестном ходу, по-здешнему, должен быть в принятом облачении, а зонтик сюда не входит. Притом это нечто, как они говорят, «католическое».

На всенощной — тысячи народа собрались принять помазание маслом от нового митрополита. И что же? Он помазал сослуживших ему духовных, а засим ушел в алтарь, предоставив помазание кому-то другому. «Сдал» — послышались голоса в толпе... Обыкновенно при выходе из храма митрополита он благословляет народ, так что Иоанникий, бывало, чуть не в час времени успевает пройти от алтаря до выхода; случалось,—чуть не задавят, — Леонтий выходит, окруженный полицейскими, и быстро проходит в свою карету. «Подрал» — раздаются недовольные и насмешливые голоса. Одним словом, новый митрополит сразу стал в весьма странные отношения к народу. О нем рассказывают множество самых невероятных анекдотов, которые показывают его непопулярность. Его и просто бранят. Вот, хоть вчера. У Тихвинской не дозволили крестного хода. Кто? Одни говорят «полиция», но другие говорят «митрополит», и при этом прибавляют, «известно — поляк»... Хотя он вовсе не поляк, а чисто русский, даже из духовного звания.

Печально это все, очень печально. Может-быть, митрополит Леонтий и хорош, я даже слыхал, что он добр. Беда в том, что он не по пастве. Здесь носятся предания святостей Филиппа, Гермогена, Филарета, а митрополит Леонтий, может-быть, прекрасный в Варшаве или в Петербурге, здесь невольно на каждом шагу задевает чувства паствы. Москвичи (народ) обижены уже тем, что у них, неизвестно почему, отняли их любимого Иоанникия. Его преемник должен бы особенно тщательно загладить эту потерю, а митрополит, видимо, — просто не понимает своей паствы.

29 июля.

Вечером заходил ко мне Владимир. Чудак! Все бранится против всех. Как это создан русский человек! Ведь добрейший и умен, а начнет о «начальстве», так просто Фамусовских старичков вспомнишь:

И о начальстве так толкуют,
Что если б кто подслушал их — беда!

И то же самое:

Не то чтоб новизны вводили, — никогда!
Нет, — соберутся,
Поспорят, пошумят и разойдутся.

Российский человек!

1 августа.

а) В нашем приходе было молебствие с иконами Иверской божией матери, Николая угодника и мощами св. Пантелеймона; б) ко мне заходил Ан. Ал. Александров и предлагал работу в «Русском Обозрении»; в) получено жалованье.

3 августа.

Познакомился с о. Иосифом Фуделем [369]), который перевелся в Москву, в пересыльную тюрьму.

4 августа.

Был у о. Валентина Амфитеатрова [370]) (у Константина и Елены). Нужно было помолиться за Бориса Дмитриевича. Я купил образок божией матери «нечаянной радости» и решил просить о. Валентина освятить его и послать Б. Д., как его благословение. Пришел в $8^1/_2$ часов утра (по указанию сторожа). Застал уже много народа. Это место Кремля очень оригинально: пустынно, запущено, напоминает деревню. В церкви, — много народу, идет поклонение божией матери «нечаянной радости». О. Валентин исповедывал в своей боковой ризнице. Пришлось ждать до $10^1/_4$, пока, наконец, мог сказать ему слово. «Батюшка, я прошу у вас благословения больному». «Благословения? С радостью!». Я показал образок. «Неосвященный, я прошу его освятить для больного». Он меня взял крепко за руку и протащил сквозь толпу, такую густую, что сам бы я едва ли бы пробился. В алтаре, он помолился, освятил. Спросил, кто больной. «Борис».—«Не Селиванов?»— «Нет, Саблин, из провинции. Это мой друг, и я ему много обязан. Доктора присудили его к смерти». О. Валентин помолился. «Ну, дай бог, чтоб поправился»....... Благословил образок. «Батюшка, благословите и меня». Он благословил и, провожая к дверям алтаря, сказал: — «Да, все проходит, а дружба остается...» — Я взглянул, не поняв смысла... «Дружба, говорю, остается... Ну, бог даст... Вы знаете: Вы тут сильнее всех, в этом

случае». Это имело тот смысл, что дело зависит от моей молитвы. Почему? Очевидно, потому, что он мой друг. Однако, это очень печально, если зависит от моей молитвы, потому что она очень плоха. Я мало и плохо молился — и до и после. Да и как я буду молиться?

Отец Валентин производит впечатление замечательной доброты. В исповедальной, сквозь стеклянные двери, видно, хотя и не слышно. Видно, как он говорит. Вдруг, то горячо схватит за руку, то что-то строго говорит... Иной кончил уже все, потом вдруг ворочается и говорит ему на ухо... О. Валентин что-то отвечает, как будто: «ничего, ничего», даже улыбается. Иные выходят красные, расстроенные, иные очень весело.

Со мной он был очень добр. Очень ласковый голос.

Интересно знать, что будет с Борисом Дмитричем? Я не могу себе представить, чтобы выздоровел. Это было бы чудо, в самом прямом смысле. Его смерти ждут с часу на час, и, может-быть, он уже умер в то время, когда я был у о. Валентина. Я собственно виноват: пропустил целых 10 дней. Если я «сильнее всех», если от меня зависит, то это очень плохо...

Ну, да молитва о. Валентина не бесполезна и на том свете. Образок я послал сейчас же. Написал маме, что если Б. Д. уже умер, то чтобы образок зарыли на могиле.

5 августа.

Исповедался у о. Василия. Завтра, если бог даст, приобщимся св. таин с Сашей.

1 сентября.

Получено с «Русского Обозрения» за статью «Новейшие давления коммунизма и партикуляризма» [371]. 100 р. (1 лист).

21 сентября.

Крестный ход вышел из Москвы к Сергию преподобному. Я, Катя и Саша присутствовали очень удачно на углу Трифоновского пер.

25 сентября.

Елена возвратилась от Троицы в полном восторге.

NB. Вчера подал Власовскому прошение о новом виде на жительство; проторчал у него все утро, имевши полный досуг

убедиться в удобствах его реформированных порядков. В прошлом году та же нужда у меня отняла 5 минут.

26 сентября.

Сдал «Русскому Обозрению» статью «Духовенство и общество в современном религиозном движении» [372]).

Беда с «Русским Обозрением». Начальство не желает его дозволить. Это такая сложная история, что записывать скучно. Собственно, начальство не без оснований. Но дело в том, что нам, журналистам монархического и особенно церковного направления, просто хоть пропадай — негде писать. Поэтому я писал Победоносцеву, нельзя ли так устроить, чтобы и начальству было спокойно и нам неубыточно? Раз он мне ответил. Другой раз, — что-то молчит. Уж не рассердился ли? Я его душевно уважаю. Преумный и прекрасный человек. Но что же делать? Ведь и нам тоже жить нужно! Они руководствуются высшими соображениями, а нам хоть в петлю полезай. Нет изданий!

Теперь «Московские Ведомости» получили второе предостережение (за № 253) за статью против митрополита. Я эту статью считал крайне предосудительной. Я их глупостей не имею возможности даже знать, не только предотвращать. А, — храни бог, — третье предостережение, да приостановка! Ну, что я буду делать? Чем жить? Ведь податься некуда. Вся пресса — более или менее нигилистична. А затем остается «Гражданин» да «Русский Вестник»! [373]).

За это же время:

1) Умер Борис Дмитрич Саблин. Царство небесное! Намучился.

2) Я послал письмо Павловскому (Исааку). М-Ше Политова сообщила мне, что он женился на Вандакуровой *). Я пишу ему, что если это правда, то я ему представляю свои извинения.

28 сентября, понедельник.

Я как-то весь измучился. Все, за что не хватись, плохо. Дети ведут себя нехорошо и болеют. Вера простудилась. Саша выдумывает премерзкие шалости. Надя такое существо, за ко-

*) О Павловском и Вандакуровой см. Дневник № 1 и «Последние годы парижской жизни».

торое я как-то ежеминутно боюсь: без устойчивости, без определенности; никогда не знаешь за минуту, что она сделает. Катя болеет ревматизмами. Сам тоже секунды не уверен в себе. Дела ненадежны. Заработки плохи. На душе пакость какая-то... Вообще, все кажется скверным, все огорчает.

И я даже понимаю, что дело не в том, что все скверно, а в том, что сил душевных нет. Будь они, может-быть, — все показалось бы лучше. Но что делать?

Сил нет, и поддержать некому. Вот это, может-быть,—центральное горе. Я не совсем без знакомых, но нет такого человека, который бы мог поддержать нравственно.

9 ноября, понедельник.

Давно ничего не записывал. За это время — перебрались на новую квартиру (16 октября, или точнее 17) (Долгоруковская, д. Попова).

Еще — 1) списался с Павловским. Оказывается, что ему на меня насплетничали разного вздора.

2) Работаю в «Русск. Обозрении» Александрова.

3) Был и остаюсь болен своим воспалением кишек.

Что еще? Кажись, и ничего больше.

Виделся с Победоносцевым, и он мне сказал, что, по письму моему, хлопотал об Александрове. Очень любезно.

9 ноября.

«Церковный Вестник» либеральной академии меня критикует. Скоты! Я посылаю общество учиться вере у духовенства, а духовная академия отрицает и намекает, что духовенство на это мало способно.

10 декабря.

За это время:

5 числа дек. (суб.) утром в СПБ. по вызову П. Н. *), который спрашивал моего мнения о разных вопросах. Виделся также с Победоносцевым и Т. И. Филипповым. Вернулся в Москву в среду 9 числа.

---

*) Дурново.

15 декабря.

Саше с каждым днем хуже. Сегодня к вечеру он был совсем больной, жаловался на голову, полная апатия, сонливость.

Коля тоже что-то схватил: кашель, жар.

А о моем «Духовенстве и обществе» кричит, так сказать, «весь свет», т.-е. пяток-десяток газет. Говорят много и в обществе. Хотя большей частью ругаются, но, вероятно, не будет без пользы.

Только, правду сказать, — едва ли для меня полезно. Ведь вот не дает мне бог, чего прошу. Учитель — нужен: нет его. Мальчик мой бедный — погибает. А о религии писать совсем бы не мое дело, — так вот впутался.

21 декабря.

Послал в ставропольскую казенную палату, чтобы не связываться с этими свиньями, 27 р. пошлин и пени, которые они незаконно с меня требуют.

1893 год.

13 февраля, суббота.

Это первая заметка, какую делаю в 1893 г. Пожалуй, что нечего и сказать о нем.

Ничего особенно худого, да и хорошего ничего. Все помаленьку.

«Русское Обозрение» идет недурно. Я выпустил 2-е издание «Духовенства и общества», о котором еще и теперь немножко говорят, хотя вообще стихли. В этом причастно отчасти начальство. В. Соловьев хотел мне возражать в «Вестнике Европы»[374]), но его статью запретила цензура. На-днях (в четверг или пятницу) я был у Победоносцева, который приезжал в Москву. Спрашиваю, как он относится к нашей полемике. «Да что ж, говорит, ведь это дело конченное». И засим объяснил свою точку зрения. Все, дескать, хотите теоретически привести людей к тому, что может возникнуть только практически, развитием церковной жизни. Все заблуждения происходят от того, что люди не живут церковной жизнью. Как же им доказать то, чего они не чувствуют?

Одним словом, — «дело конченное», потолковали, и шабаш, пора замолчать.

Прав ли он? Трудно судить. Мне лично выгодно, конечно, не молчать, тем более, что моя полемика пошла вообще удачно. Несомненно, что она разбудила многих. Еп. Тихон, еп. Александр, о. Смирнов (Лондонский), о. Ив. Ильич Соловьев (очень ученый) — заявляли мне свое одобрение. В Киеве, в академии, видимо, зашевелились. «Руководство для сельск. пастырей» печатает обо мне статью. О ней академический профессор шлет в «Русск. Обозрение» статью. Студент академии Вилчковский шлет статью. Ну, может-быть, проснулись и вражеские силы, да, ведь, они и без того не спали!

Вообще, думаю, что следовало бы говорить. Но насильно цензуру не заставишь пропускать. Да и мнение Победоносцева всегда имеет цену для меня. Человек умный и опытный. Будем молчать. На службу не напрашивайся. Итак, «дело конченное», отцвело, не успевши расцвесть! Но точно ли оно конченное? Грешный человек, думаю, что моя статья дала толчок, которого не заглушишь ничем. Я думаю, что я тут явился отголоском назревшего вопроса, одного из тех, которые сильнее цензуры, сильнее чьих бы то ни было желаний и стараний.

Но помолчать можно. Я лично вполне согласен хоть и совсем замолчать. Только думаю, что сам вопрос не замолчит.

Увидим, кто доживет.

Другой — совершенно иной, — но тоже отголосок этого же великого вопроса—старое католичество, о котором усердно хлопочет Киреев. Думаю, что это — очень опасный вопрос. Победоносцев тоже против них. Они к нам внесут элемент расслабления веры. Но заставить молчать их, — потруднее, нежели нас. Увидим.

28 февраля, воскресенье.

Собеседование в семинарии по вопросу о принятии схизматиков (раскольников).

Некрасов развил такую аргументацию, что Д. — не посмел выйти.

9 марта, вторник.

Какой-то преподозрительный мерзавец выстрелил в Ник. Алекс. Алексеева, городского голову. Рана, очевидно, смер-

тельна. Убийца называется Андриянов. Повидимому, тут есть нечто «политическое» [375]).

«Между тем по произведенному дознанию преступник оказался ново-хоперским мещанином Андрияновым, высланным административным порядком из Петербурга на родину и временно пребывавшим в Москве» *).

NB. Недурно смотрит полиция.

«Из слов преступника можно было предполагать также, что его злодеяние имело и характер личной мести, так как он якобы говорил, что мстит Н. А. за то, что два с половиною года тому назад, в качестве городского головы Н. А. участвовал в Петербурге в составе судебного присутствия, осудившего преступника. В думу преступник приходил вчера и дня три тому назад «ознакомиться с местом». Впрочем, все это выяснит следствие».

NB. Значит в политическом процессе.

Мне помнится, что один из преступников, схваченных на Невском, я не помню, в каком году (они замышляли покушение), назывался тоже Андриянов. В суде, помнится, участвовал и Алексеев. Вот какая выходит история. Говорят, что у Андриянова нашли список из 7 лиц, в числе которых стоит фамилия Алексеева.

Странно тоже, что сегодня день выборов в думе. Здешние либералы ненавидели Алексеева и старались провалить выборы.

И как раз перед часом выборов, — Алексеев убит.

Правду сказать, чтобы распутать все эти странные совпадения нужно бы иметь Муравьева [376]).

10 марта.

Алексеев еще не умер и даже, может-быть, говорят, останется жив. Андриянов, — чорт его знает что такое, предполагают, будто бы сумасшедший, но в публике этому плохо верят, да и мне не верится.

О. Иоанн Соловьев сегодня заявил мне, что я принят членом (по его предложению) в общество любителей духовного просвещения. 15 нужно явиться, внести 5 р., после выдадут диплом.

*) Вырезки из «Прибавления» к утренним газетам. То же и ниже.

Члены Совета: о. Ив. Дм. Петропавловский; о. Копьев (Николай Ал-дрович.); о. Ив. Фед. Мансветов (секретарь); Мих. Дм. Никольский; о. Иоанн Соловьев; о. Виноградов, о. архим. Никифор и еще некоторые.

Саломан в № 59 «Гражданина» опять пишет против меня. Возражение слабое, основанное на игнорировании моих объяснений.

Составил ответ. Но на запрос мой Конст. Петрович *) пишет такую записку **).

8 марта.

Сейчас получил и спешу ответить. Поступайте, как вам лучше кажется для дела. А мне кажется, для дела лучше, если оставить статью Сал. без ответа и покончить спор.

К. П.

А пока я ждал ответа, № «Русск. Обозр.» уже сверстан, — опоздал.

14 марта, воскресенье.

Похороны Алексеева. Народу масса, но сами похороны бедноваты. Замечательно, что в церкви (Ново-Спасского монастыря), по отпевании, не было проповеди, а на могиле речей не было, хотя заготовлено было несколько, и наши репортеры даже их уже списывали. Что это значит?

Все себя спрашивают. Говорят, не было дозволено...

Говорят, Власовский переводится в Астрахань...

Все это возбуждает массу толков. И трудно разобрать, что это за сплетение тайн.

15 марта, понедельник.

Был в первый раз на заседании общества люб. дух. просвещения. Внес плату.

9 апреля, пятница.

Телеграммы.

(От наших корреспондентов.)

«Петербург, 8 апреля. Вчера, 7 апреля, скоропостижно, от паралича сердца, скончался бывший профессор Ярославского лицея, известный своими трудами по философии и эстетике, Петр Евгень-

*) Победоносцев.

**) Далее вклеена подлинная записка.

евич Астафьев [377]). Тело усопшего будет перевезено в деревню, к дочери, в Полтавскую губернию» *).

Беда! Видно, богу не угодно, чтобы мы без большой работы вышли из прошлого безумия. Леонтьева нет. Нет и Астафьева! Живут только... имена же их ты, господи, веси...

Это огромная потеря для России. Собственно говоря, — единственный серьезный ум.

18 апреля.

Увеличено жалованье (150 р. в мес.), и дан месячный отпуск с сохранением 275 р. без работы.

Спасибо.

12 мая.

Саша сдал экзамен в гимназию. Бедняга сильно волновался. Сдал недурно: зак. бож. 5, русский язык 4 и 5, арифметика 3.

Приехал государь. Встреча великолепная.

19 августа, четверг.

Перебрались с дачи в Москву. Жили у Купецкого близ Соломенной сторожки, в Петровском-Разумовском. Лето было плоховатое. Но все же лучше, чем было в городе.

4 октября, понедельник.

Послал прошение о приписке к дворянскому обществу (Ставрополь-Кавказский), с приложением документов, а также письма Никифораки.

Получили бюллетени девочек: весьма плоховаты, даже Вера — 6 из французского. Саша идет очень средне, даже немного ниже среднего. Но хуже всего,— его головные боли. Меня это приводит к унынию, близко[му к] отчаянию. Вообще, в самых дорогих мне лицах,— тяжко мне.

Кому что бог дает. Вон у Орловых — дети умные, способные и здоровые. А в остальном — горе.

Кстати, за сына Орлова мы с о. Иосифом заплатили в гимназии 30 р. Да на семью в М. В.**) по подписке собрано 167 р.

*) Вырезка из газет.

**) «Моск. Вед.»

Она (Алекс. Гавриловна) была вчера у нас, плакала. С 6 детьми, без гроша, без квартиры, без всяких средств, кроме милостыни... ужас.

5 октября, вторник.

Послал в консисторию требование Катиной метрики.

8 октября, суббота.

Был у Победоносцева.

11 октября, понедельник.

Вследствие письма Конст. Петр. был у него. Просидел $1^1/_2$ часа. Никого не было.

24 октября, воскресенье.

Кажется, 21 окт. я получил из деп[утатского] собр[ания] из Ставрополя требование выслать: а) свидетельство начальника Куб. области о несудимости отца, в) тифлисское консисторское свидетельство о его смерти, с) доверенность жены моей, д) консисторскую метрику Коли.

Требования мои в Кубанск. обл. и Тифлис посланы 23 октября.

25 октября.

Послано прошение обер-полициймейстера — свидетельство о несудимости.

31 октября.

Был на акте и обеде в семинарии. Был митрополит. Я два раза подходил под благословение.

5 ноября.

Сегодня заходил сделать визит Вас. Вас. Розанов [378]) под конвоем Красильникова. Вероятно, Константин. Сергеевич боится «вредных влияний»... Они теперь усиливаются изгнать Александрова и посадить на его место Розанова. Роль Розанова довольно некрасива, так немудрено, что его не выпускают из-под надзора более «крепких духом».

18 ноября, четверг.

Я был у владыки Сергия. Пробыл с четверти 8 до четверти 10. Был очень любезен и оживлен. Пили чай.

Вчера Александров уехал в СПБ.

Владыка чрезвычайно умен. Замечания его всегда метки и вески, часто подкреплены св. писанием и отцами. Расспрашивал о всей жизни моей.

24 ноября, среда.

Именины Кати. Были гости. Между прочим, Анатолий Ал-др. Александров, вчера возвратившийся из СПБ. Он ездил по делу о вынуждаемом у него принятии В. В. Розанова в соредакторы. Александров от этого уклонился.

15 декабря.

Был в семинарии на службе о. Иоанна Кронштадтского (с мамой). Потом трапезовали у о. ректора.

Подходили к о. Иоанну под благословение, он меня поцеловал (при рекомендации о. Климента, что—это сотрудник «Моск. Вед.»). Мама подходила и просила помолиться за Володю. Потрепал ее по щеке, но ничего не сказал.

16 декабря.

Заседание общества люб. дух. просвещения.

24 декабря.

Сочельник. Провели дома, и нехорошо, — как-то бестолково, суета по пустякам, а праздничного — ничего.

Получил от Виталиева свой образ и — тоже недоволен. Придется снова переделывать.

1894 год.

1 января, суббота.

Встретили Новый год своей семьей, никого не было.

Много слухов о предстоящих переменах в высших сферах,— будто бы Победоносцев уходит в госуд. совет и т. п.

Хороших видов у меня на новый год не имеется. У нас В. Грингмут назначается директором лицея*), а, стало быть, почти уйдет из «Моск. Вед.». Это для меня скверно.

*) Цесаревича Николая в Москве.

5 января.

Грингмут совсем уходит. Никто его не заменяет, если не считать Дм. А. *).

7 января, пятница.

Мама уехала в Новороссийск. Мы ее проводили с большой грустью. Даже Катя очень жалеет. Дети уж и говорить нечего: они ее очень любят. Саша все приставал: «Бабуня... зачем? Оставайся».

Увидимся ли? Мне что-то тоскливо. Дом как-то опустел. А зачем уехала,— не пойму хорошо. В сущности нет никакой надобности. Однако, на мои уговоры остаться не согласилась.

9 января, воскресенье.

Товарищеский обед редакции «Моск. Вед.» Владимиру Андреевичу Грингмуту в «Эрмитаже».

24 января, понедельник.

У нас в редакции отсутствие Вл. Грингмута проявляется хуже, чем я ожидал. Полное отсутствие руководящей руки. Даже не добьешься ни у кого, нужно ли что-нибудь делать. Все валится через пень колоду.

25 января, вторник.

Написал завещание. На всякий случай. Оставляю все Кате.

Получил любопытное письмо Победоносцева. Объясняет, почему у нас происходит постоянная перетасовка епископов. Причины-то эти я и сам знаю, да дело от них не становится более нормальным.

26 января, среда.

К сожалению, не успел снести свое завещание для засвидетельствования к о. Василию. Нужно будет не позабыть завтра.

2 февраля, среда.

Послал Победоносцеву просьбу поискать мне место. Конечно, ничего не выйдет. А между тем в «Моск. Вед.» дело очень неприятно и непрочно. Васильев всем крутит, и не знаешь ни

*) Грингмут, брат В. А.

дня, ни часу, когда вылетишь в трубу. Да если и не вылетишь, то без денег останешься. Не знаю, что и сказать о Петровском. Не то он ничего не понимает, не то у него какие-нибудь особые планы, не имеющие отношения к хорошему состоянию газеты.

8 февраля.

В «Московск. Вед.» водворился какой-то Хитров рынок. Васильев выгоняет Дмитрия Грингмута с невероятным неприличием. Противно ходить. Газета понизилась до крайности. Вдобавок, — на договоре с Германией хватили через край. Интересно, сколько получил Васильев с купцов? А Петровский поехал в Питер улаживать. Любопытное письмо прислал мне Победоносцев. Завтра ждут Петровского. Что-то будет?

Я должен быть у Васильева в списке проскриптов. Меня, на несчастье мое, все называли преемником Вл. Грингмута. Я был уверен, что этого не будет, и даже не желаю этого. Но Васильев не может забыть, что это **возможно**, и, конечно, **должен** обезопасить свое владычество от меня. А Победоносцев о месте для меня пишет так темно, что не знаешь, как понять: надеяться или нет.

Но что за неслыханная бесхарактерность у Петровского! *).

Почтенный Лев Александрович!

В вашем письме вы что-то поминаете о торговом договоре с Германией, по поводу «Русского Обозрения». По этому поводу хочу предупредить вас и Александрова. Я писал сегодня Петровскому, советовал ему быть осторожным. У него помещены об этом дикие статьи, особливо некоего Е. Дурново, коего ему вообще следует опасаться. Толки по поводу договора,—безумные, болтовня без оснований, но болтовня вредная. Договор этот — не только не торжество Германии, но блестящий успех России, и все толки о каком-то якобы предательстве русских интересов—сущий вздор, что неоспоримо обнаружится разумным обсуждением тарифа. Немудрено, что известная компания самодуров захочет провесть в «Русском Обозрении» дикие завывания. Посоветуйте Александрову воздержаться. Разумный предлог будет тот, что по предложению м-ра финансов все статьи договора будут подвергнуты

*) Далее следует письмо Победоносцева.

разбору и критике госуд. совета, и можно возразить, что до тех пор неуместно полемическое обсуждение их в печати.

О главном предмете вашего письма сразу трудно вам ответить. Я предполагаю на этих днях побывать в Москве, дня на два.

Пр. К. Победоносцев.

4 февраля 1894 г. Петербург.

9 февраля.

Был у Победоносцева.

10 февраля.

Долгое объяснение с Петровским. Был у Победоносцева, который и уехал сегодня.

19 февраля, суббота.

Дмитрий Грингмут еще не прогнан, хотя гонят его с необычайною бесцеремонностью. Теперь выяснилось вполне, что сам Петровский отдает его на съедение. Но почему? Потому что узнал или ему наврали что-то на Владимира Грингмута. Разрыв произошел без всяких объяснений.

Нелепо до крайности. У нас же в ход идут новые люди, специально Клишев, который, вероятно, будет секретарем вместо Дмитрия Грингмута.

Но что-то Владимир Грингмут ответит на объявление войны? Тоже, чай, не останется в долгу. Похоже, что у нас начнется большая чепуха, в которой Петровский, вероятно, впоследствии будет каяться.

Но, — паны дерутся, а у хлопцев чубы болят, к несчастью. Болит он очень и у меня. Просто не хочется думать о будущем. Так и жду, что прогонят по какой-нибудь интриге или чтобы очистить место для какого-нибудь архаровца, в стиле ordre du jour'a *).

И подумать только, что вся эта чушь заварилась без всяких осязательных причин, и что всего месяц тому назад все было так, казалось, тихо и благородно.

Вчера были мои именины. Не весело встретил их!

20 февраля.

Влад. Грингмут объяснялся с Петровским и получил отставку.

---

*) Последнего распоряжения.

21 февраля.

Дмитрий Грингмут уволен. Он совершенно убит и поражен. Петровский заявил, что он очень сожалеет и очень им доволен, но он не может ужиться с Васильевым, а потому — увольняется.

22 февраля.

Васильев ликует. Теперь не моя ли очередь пойти в трубу?

6 марта.

Мне сделал визит Владимир Андреевич Грингмут. Рассказывал свою историю с «Моск. Вед.».

Забыл написать, что 3 или 4 марта у нас прогнан Константин Николаевич Цветков. Цветков 30 лет работал в редакции «Моск. Вед.». Прогнан за что-то в роде знания и недонесения об адресе московских купцов Витте (с порицанием «Моск. Вед.»).

NB. На масляной был в купеческом клубе. Скандал Говорухи и Бостанжогло.

3 июня.

Переехали при проливном дожде на дачу (Давыдково, близ Кунцева, дом Василия Старикова, за 100 руб.).

8 июня.

Вчера, 7 июня, похоронили брата Владимира. Он умер 5 июня, в 8 часов вечера, после двухдневной агонии.

9 июля, воскресенье.

Получил грамоту на потомственное дворянство Ставропольской губернии. Слава тебе, господи! Детей тоже всех записал. Итак, это дело покончено и устроено.

Грамота за № 106, выдана от 11 июня 1894 г., определение дворянского собрания сенатом утверждено указом от 31 мая 94 г. за № 3131.

28 июля.

Вчера, 28, ездил с Сашей и Петровским в Подсолнечную— смотреть земли. Цены ужасные.

31 июля.

Доставил Александрову свои «соображения» о «Русском Слове» [379]), Александров не совсем здоров.

1 августа.

Начал занятия в редакции. Писать, впрочем, еще довольно трудно: рука болит.

У нас в «Моск. Вед.» уже давно водворился порядок. Духовецкий стал секретарем и пользуется доверием Петровского. Васильев значительно сокращен, а за последнее время его безобразия (т.-е. пьянство и неаккуратность) даже довели Петровского до мер строгости «в виде вычетов» из жалованья. У всех же остальных нас положение, слава богу, прежнее. Вообще от всей передряги выиграли Духовецкий и Глубоковский [380]). Выиграл ли Петровский? Ему видней, я не знаю.

16 августа.

Переехали в Москву.

30 августа.

Сашины именины. Праздновали слегка. Денег ужасно мало. Совсем плохо стало.

Приезжал сюда Павловский. Вот была радостная и неожиданная встреча! Он пробыл около недели и уехал несколько дней назад (пробыл примерно от 17 до 25 августа).

За сентябрь 1894 г. произошло следующее. Во-первых, около 7 числа заявился ко мне в мое отсутствие крайне подозрительный человек, желавший меня видеть непременно наедине, «по важному общественному делу, секретному, но которое скоро перестанет быть секретным». В виду сообщения Павловского о письме Лаврова, подстрекательного против меня характера, я обратился в полицию. Оказалось, что это Троицкий, — певчий, сумасшедший.

Он ко мне еще раз приходил и сказал прислуге: «скажи барину, чтобы он меня простил. Иду исповедываться».

После того, — второе событие: Петровский предложил мне прибавку жалованья и еженедельный фельетон. В виду этого я отказался от участия в «Русском Слове».

Эти фельетоны и без того крайне утомительны, хотя дают лишнего заработка не менее 150 — 200 руб. в месяц.

Третье и самое скверное, что можно было выдумать, это болезнь государя,

5 октября.

Официальная телеграмма: по решению консилиума «страдание почек не улучшилось. Силы уменьшились». Известие прямо отчаянное.

Это почти заявление о безнадежном состоянии государя.

Теперь, стало-быть, так и жди телеграмму о кончине. Но что же будет с Россией и даже с Европой?

Наши господа либералы уже приготовляются действовать. Говорят, у них образуется «национально-либеральная» партия.

6 октября, четверг.

1 час. ночи. Только-что из редакции.

День отчаянный. Утром был даже слух о смерти государя. Но, во всяком случае, телеграммы не оставляют никакой надежды.

Положение ужасное. Какой-то кошмар на всех. И это не у нас только. То же самое по городу.

У государя, по частным известиям, уже уремия. Исхудал, говорят, так, что мундир Сергея Александровича висит на нем, как мешок.

Боже мой, какое мерзкое время. И что только будет с Россией?

7 октября, пятница.

Еще один тоскливый день. Целый день никаких бюллетеней. Сейчас из редакции. Получена телеграмма, что бюллетень в СПБ. получится в 11 часов ночи (теперь половина одиннадцатого). Значит мы узнаем только утром.

По городу ужасно ругаются за редкость бюллетеней. Это, действительно, ни на что не похоже. Тут нужно бы 5 раз в день извещать, а они оставляют без вестей с прошлых суток. Последний бюллетень был от 7 часов вечера, вчерашнего дня, т.-е. уже 28 часов назад, и мы еще должны ждать часа 4 — 5.

8 октября, суббота.

Утро. Бюллетень вчера, в 7 часов вечера, который только что напечатан, сравнительно лучше.

Вечером.

Сегодня подал Власовскому прошение о виде для детей. Приложил свое свидетельство и копии из дела о приписке, а также старый вид.

10 октября, понедельник.

Бюллетени о состоянии здоровья государя — все лучше. А частные сведения (от начальства) говорят, что нет никакой надежды, и что он проживет не более недели.

11, вторник.

Бюллетени все хуже. Частные известия не оставляют никакой тени надежды, никакого самообмана.

Сегодня должно было произойти миропомазание принцессы Алисы. Что же дальше?

Тоска ужасная... В какую переломную, ни на чем не утвердившуюся минуту отнимает у нас господь эту твердую руку! За 13 лет все успокоилось, т.-е. затихло, все прониклось доверием к прочности существующего порядка. Враги его привыкли к мысли, что бесполезны попытки ниспровержения его. В таком спокойствии за последние 5 — 6 лет начинало уже кое-что и расти, но это самые ничтожные ростки. Уничтожить их — легко...

Если бы государь прожил еще 10 лет, он составил бы эпоху в России. Но теперь?

Ничего хорошего не чувствуется мне. Россия очень мало воспользовалась временем. Но, не осмеливаясь роптать, все же, как не сказать, что это время, России данное, было ужасно коротко, чересчур коротко.

Мы имели буквально 5 — 6 лет. Возможно ли что-либо вырастить за такое время, после 30-летнего периода почти революционного шатания?

Бедная Россия!

И какие потери. Все, что ни есть крепкого или подававшего надежды—все перемерло: Катков, Д. Толстой, Пазухин, К. Леонтьев, П. Астафьев. Ничего кругом: ни талантов, ни вожаков, ни единой личности, о которой бы сказал себе: вот центр сплочения. А остатки прошлого, либерально-революционного, пережили 13 лет, тихо

и без успехов, но в строжайшей замкнутости и дисциплине сохранили все позиции, сохранили даже людей, фирмы, знамена, около которых завтра же могут сплотиться целые армии.

Теперь все зависит от наследника. Поможет ему бог взять верный тон, — может все хорошо сложиться. Но малейший ложный шаг, с самого начала, может воскресить 70 — 80-е годы.

Новое царствование... Стало-быть, и амнистия. Но одна амнистия дает десятки вожаков, против которых мы не имеем ни единой «равносильной» души.

Ой, нехорошо! Помоги, господи...

18 октября.

Конец быстро подходит.

«Ливадия, 18 октября, 11 часов утра. В состоянии здоровья государя императора произошло значительное ухудшение. Кровохаркание, начавшееся вчера при усиленном кашле, ночью увеличилось, и появились признаки ограниченного воспалительного состояния. «Инфаркт» в левом легком. Положение опасное.

Профессор Лейден. Профессор Захарьин. Лейб-хирург Гирш. Доктор П. Попов. Почетный лейб-хирург Вельяминов» *).

Итак, не помогли молитвы... Вероятно, теперь (вечер) государя уже нет в живых...

Господь ведет куда-то не по-нашему, а по-своему.

Сегодня сдал статью «Знамение времени» [381]). Пусть будет — мое приношение на гроб тому, за кого я бы отдал жизнь, если бы мог.

20 октября.

Вот и вечер 20 октября, а могучий организм государя все борется со смертью. Был даже один момент улучшения. Сегодня с утра было объявлено, что положение «крайне опасное». К вечеру ждали роковой вести... Но вот 11-й час ночи, а ничего не получается.

Ходим сами нервные, издерганные...

Сейчас пришел сторож с известием:

В 2 ч. 15 дня 20 октября великий государь почил от мук и забот **).

---

*) Вырезка из газеты.

**) Последние строки заключены в рамку.

Ночь, два часа. Вернулся из редакции. Толпа. Известия. В Ливадии уже присягнули. Государь скончался тихо, окруженный семьей, в сознании до последней минуты, еще раз приобщившись св. таин *).

. . . .

26, среда.

Не прошло и недели, а событий так много, что нет времени записывать.

Громадная популярность почившего государя много утешила всех. Панихиды были трогательны. О нем плакали, как о самом близком родном. Его называют прямо своим. Общее чувство так велико, что ему не воспротивилась и «дрянная» пресса. Ее отклики были единодушно полны горя. Исключение — «Русские Ведомости», а в провинции «Волжский Вестник» и «Смоленский Вестник» [382]). Остальные 30 — 40 газет единодушны.

Принесли присягу. Тоже все очень хорошо **).

Государь Николай Александрович произвел великолепное впечатление своими манифестами и рескриптами: умно, тактично и полно уважения к заветам отца.

Однако, последние дни начинают появляться темные облачка на этом фоне торжественной грусти о старом и любви к новому царю. Начинают говорить, что в университете ходят прокламации, и что студентов подбивают на демонстрацию в пользу «конституции». Глупое стадо! «Русские Ведомости» в то же время (25 октября) напечатали передовую о необходимости «правового порядка».

Эти подлые подстрекательства тем досаднее, что сначала студенты были настроены очень хорошо. На панихиде было более 1000 студентов и усердно молились. О государе они в последние дни очень беспокоились и приходили справляться о его здоровьи. Но долго ли сбить с толку нашу молодежь!

За исключением этого,—все хорошо, все настроено, как должно быть верным и любящим подданным.

---

*) Точки в подлиннике.

**) В подлиннике вклеен печатный текст «клятвенного обещания», который здесь опущен.

Теперь Москва погружена в заботы о встрече тела почившего. Готовится масса венков. Наша редакция тоже заказывает венок (серебряный). У гимназистов подносят общий от всех заведений, и мальчики добровольно вносят массу денег. В 1 женской гимназии гимназистки сами затеяли сбор, в виду того, что Дашков [383]) почему-то не привлек их. Дети мне принесли очень хорошенькие стихотворения своих товарок в память покойного государя. Думаю одно напечатать в «Моск. Вед.».

Но в университете сбор на венок идет, говорят, постыдно плохо, тенденциозно плохо. Удивительно, как профессора не умеют повлиять на молодежь! Или, может-быть, они-то и влияют?

31 октября, понедельник.

Проводили государя!

Вчера, 30 в воскресенье, прах его прибыл. По болезни зубов уже несколько дней не выходил, а потому не мог и подумать итти в такую давку и толчею. Но сегодня пошел в депутации для поднесения венка от «Моск. Вед.», хотя зубы и болели.

Слава богу! Не довелось приложиться, но довелось проводить прах государя. Вся процессия прошла перед нами в нескольких аршинах расстояния, и мы, как депутаты, были в первом ряду...

Видел также государя Николая II, видел хорошо и долго. Жалко смотреть на его мрачное горе. Небольшого роста, он, однако, плотен и очень строен. Лицо симпатичное и умное. Но он смотрит просто убитым. Идет ровно, твердо, на вытяжку, за гробом, все время пешком. Но ни на кого и ни на что не смотрит, как будто около него нет ничего и никого, кроме этого гроба. Лицо — самоуглубленное, худое и как будто потемневшее... Так и хочется сказать: «государь, не горюйте так, бог поможет». Но это святое горе, и в нем зреет душа его.

Толпы, разумеется, несметные. Около нас были студенты со своим прекрасным венком. Оказывается, что огромное большинство студентов были против всяких беспорядков. Буянов даже поколотили.

Государь у Иверской божией матери клал земные поклоны.

Проводили и теперь чувствуем себя все какими-то разбитыми.

В Петербурге похороны продолжатся еще с неделю, а затем — начнется настоящее царствование.

Что-то господь даст!

13 ноября.

Завтра бракосочетание государя.

Много приходится слышать о нем, и все — очень хорошо, очень отрадно. Дай ему, господи!

А вот и для меня личная радость. Киреев пишет (от 9 числа), что государь прочел моего «Носителя идеала»[384]) и очень умилился, — у него навернулись слезы.

По поводу «Носителя идеала» я получил много похвальных отзывов, в том числе от до того незнакомых мне Апол. Майкова, кн. Шаховского, С. Рачинского[385]).

13 ноября, воскресенье.

Во время студенческого брожения (ибо беспорядками этого нельзя назвать) огромное большинство студентов было против всяких беспорядков.

В частности бывали любопытные сценки. Например. Известный либерал, сотрудник «Русск. Вед.», учитель Ермилов[386]) приходит в библиотеку. Там сидят трое незнакомых ему студентов. Он начинает язвить их: «Ну, поднесли-таки венок...». Они отвечают, что поднесли, и что так и должно было сделать. Он начал спорить и называть их «изменниками» (т.-е. либерализму). Те спорят и говорят:

— Вы допускаете свободу убеждения?

— Да, полную свободу...

— Отчего же вы не допускаете свободы наших убеждений?...

Е. стал говорить, что их убеждения совпадают с официальными требованиями, т.-е. вообще усумнился в искренности их. Кончилось тем, что студенты его исколотили... Один в негодовании кричал: «Я сознательный патриот, и вы осмеливаетесь говорить, будто я к кому-то подлизываюсь»...

Что-то в этом роде...

17 ноября.

Получил полис № 65442 по застраховке моей жизни в 10.000 р. в обществе «Россия» (Лубянка, д. Ивановского монастыря); платить ежемесячно 31 р. 46 к., каждое 4 число. В декабре 23 р.

23 ноября.

Наш Петровский уехал в СПБ. узнавать, как и что там, какие ветры дуют.

В октябре — ноябре «Моск. Вед.» не только исполнили свой долг, но, оказалось, одержали блестящую победу. Свыше все хвалят газету. Подписчики валом валят.

Особенно поучительна депутация «Моск. общества приказчиков», которая явилась к нам и заявила приблизительно следующее: «Прочитав «Носителя идеала» Тихомирова и ряд прекрасных передовых статей «Моск. Вед.», Общество было живо затронуто и задумалось над участью своих детей, воспитывающихся на чтении «Русских Ведомостей» и «Моск. Листка» [887]. Общество желало бы изменить это положение, но «Моск. Вед.» чересчур дороги. Посему оно просит сбавки для своих членов — до 13 р. Тогда все его 500 подписчиков переходят к «Московским Ведомостям».

Какова демонстрация! Напоминает катковские времена. Понятно, Петровский дал требуемую скидку.

В Петербурге Духовецкий был везде на первом месте. Никого, кроме его и Случевского [888], не пустили во дворец на свадьбу. В соборе на погребении был он, Случевский и Юзефович [889]. Остальных не пустили.

Итак, Петровский поехал в СПБ. при самых благоприятных предсказаниях, с чем возвратится, — увидим.

Я же занят сборником — «Памяти имп. Александра III» [890], который он мне поручил. Работы масса, и мука с корректорами и типографией. Запустил из-за сборника остальную работу.

Уезжая, Петровский, однако, объявил мне, что заплатит за эту работу 300 р. Говоруха, конечно, стащил бы с него 500, если не всю 1000. Ну, да это не важно. Все же труд оплачивается. Я больше думал о деле, когда подал ему мысль издать сборник и согласился взяться за него. Скверно то,

что не могу побудить типографию работать как следует, так что немыслимо и надеяться окончить в ноябре, хотя собственно я весь оригинал сдал уже около 14 ноября. С тех пор сделали только 8 листов, а всех их не менее 20. Пожалуй, Петровский будет недоволен медленностью, а мне что делать? Как я их заставлю работать?

5 декабря, понедельник.

Сегодня вечером сборник окончен.

Всего работали его (т.-е. составление, корректура и печатание) с 12 ноября, т.-е. 23 дня, в том числе 6 праздников, т.-е., стало-быть, — 18 или 17 рабочих дней. В книге 406 страниц. Опечаток 22, а строго говоря, — только 12.

Завтра Николин день. Значит, иметь брошюрованный сборник будем в среду.

Строго говоря, — работа примерной быстроты.

7 декабря.

Петровский аккуратнейше заплатил за сборник три сотни. В сущности, — это недурная плата, хотя, конечно, я работал тоже, как вол. Но Петровский (и это тоже правильно) сам сказал: «Я знаю, что для вас важно самое дело, и плачу так, чтобы вам не было убытку». Убытки мои он очень широко покрывает, так как я из-за сборника на другой работе потерял самое большее 100 руб. Ну, а 200 остается уже за труд, т.-е. по 10 р. в день.

Я очень доволен, что удалось так быстро сделать эту работу. Она, думаю, будет очень полезна, распространит понимание великого значения покойного государя гораздо прочнее, чем газета. Это будет полезно и для нынешнего государя, для которого, пока он примет прочно ведение дел и установит свою линию, важно иметь возможно больше любви со стороны общества. А эту любовь невольно возбуждает покойный.

Правда, что и государь Николай II, слава богу, очень как-то удачно начал царствование, умел возбудить к себе повсюду симпатии. Вообще, бог даст, все хорошо пойдет. Но все же приятно, когда и сам этому хоть немножко способствуешь. А сборник, — несомненно полезен.

Сегодня вечером начали раздавать сборник подписчикам, но так поздно, что уже почти никого не было. Но завтра начнется рассылка.

Теперь, хорошо бы отдохнуть. Очень устал. Вот с 6 октября просто как в котле киплю, измучился и за одно только благодарю бога, что никакие опасения октябрьские не осуществились. Россия оказывается до мозга костей царскою, верноподданною, а царь, — дай ему господь всего хорошего, — возбуждает самые лучшие надежды. Может-быть и точно суждено кончиться нашим шатаниям умов, и зажить «тихим и благоденственным житием», как жили прадеды.

19 декабря, понедельник.

Во всем какая-то скверная полоса. В семье чуть не все хворают. Самого ломит ревматизм. Петровский мой что-то глупить начинает (насчет «Памятника»). Либералы зашевелились. «Вестн. Европы» пишет мерзейшие обозрения прошлого царствования. У нас студенты отбунтовали, так теперь начали профессора (протестация, поданная великому князю)[391]. Тверские земцы (31 подпись) подали конституционный адрес[392]. Тамбовские собираются подавать. Гр. Кутузов[393]) пишет мне о «шатании умов» в Петербурге. Оно везде начинает замечаться. Пожалуй, кротость еще не полезна у нас!

1895 год.

5 января, четверг.

Встретили Новый год очень тихо и до сих пор проводим незаметно. Скорей сказать, что-то грустно на душе. Идет год за годом, и что несут? Прошлый отнял государя. Что даст новый?

И в личном отношении тоже пусто. Саша плоховато идет в гимназии, все больше тяготят меня сомнения, вытянет ли? Сам работаю, как вол, даже с детьми некогда заняться. А толку из этой работы маловато. Только, — живешь изо дня в день. На душе тоже туман, ничего доброго не вырастает, ничего худого не уничтожается.

Ропот не ропот, а сера жизнь, ужасно сера. Тяжко это. Конечно, люди и хуже живут, но, ведь, они умеют быть доволь-

ными. Конечно, и я бы ничего другого не хотел, как быть довольным. Но вот этого и нет.

И молиться как-то плохо стал. А все же, — помоги, господи!

14 февраля.

С 18 января воспаление слепой кишки.

Должно-быть, конец приходит. И тяжко на душе. И сам не готов, а о семье и подумать страшно. Сколько молился, но, видно, божия воля.

Я не против страдания, но с мыслью о смерти теперь, в моем душевном состоянии, и при беспомощном положении семьи, — не могу помириться. Она меня изумляет. Конечно, пути божии неисповедимы, но сам не можешь отрешиться от своего слабого человеческого суждения. Оттого тоска и страх. О, господи, помилуй, и, если возможно, — потерпи еще.

25 марта.

Я все не поправился. С 18 января, более двух месяцев, то получше, то снова приступы, и все время на диэте, со всякими предосторожностями. Впрочем, так еще жить можно, славу богу.

Был Маркграф. Не знаю, уехал ли. У нас был два раза, около 19 и 22 марта.

Маркграфу я уплатил 100 руб. старого долгу. Сестре уплачено было 130 (?) или 100 руб., а всего 200 или 230.

27 марта.

Выслал сестре по телеграфу 50 р. (пересылка около 4 р.).

NB. Все эти деньги оба возвратили через несколько времени обратно. Чудаки! *).

2 апреля.

Пасха. От 18 января до самой пасхи почти не был здоров ни одного дня. Не постил, не говел, однако, пасху встретили всетаки тихо и по-христиански, только в церковь не мог пойти! Катя с детьми была.

15 апреля.

С пасхи до сегодня было все лучше, здоровел. Сегодня опять нехорошо.

---

*) Позднейшая приписка. *Прим. автора.*

17 апреля.

Осмотр у Захарьина. Григорий Антонович (как и Ник. Фед. Голубев) был крайне внимателен и любезен. Предписал лечение. Денег взять не захотел...

1 мая.

У Ольги Алексеевны Новиковой на выставке.

2 мая.

У Ольги Алексеевны вместе с Захарьиным. Ее отъезд.

17 мая.

Положение, выматывающее всю душу. Саша уже пропустил один экзамен. Ему будто лучше, но не поправляется вполне. Сегодня ночью Коля заболел: жар, горло. Это будет почище Сашиного. А Катя, наконец, свалилась.

Меня все это гнетет. Сегодня я и сам спал как-то тяжело и видел нечто в роде сна: будто бы я не верю в бога. Неужели это правда?

Все скверно. Приходила Авдотья Ларионовна и заявила, что не желает мне уступить свою долю наследства. Принесла назад 40 р., мною уже уплаченных. Я их не взял, а отдал ей на могилу брата. Оказывается, что она желает, чтобы ей отдали всю часть брата. Но где я возьму 2000 руб., да и стоит ли само наследство того? Да притом ни с какой стороны она и не имеет никакого, хотя бы и нравственного, права на долю Владимира. Как бы то ни было, она, в случае неуплаты ей 2000 р., намеревается поселиться в Новороссийске в качестве хозяйки (ее право составляет — примерно $^1/_{20}$ долю имущества). Чуяло мое сердце это. Плохо будет матери, да для детей теперь не имею убежища — без скандалов.

Вообще — ах, как все тяжко. Жизнь — подвиг не по силам мне, а смерть пугает, потому что — что ж ждет детей без меня?

Должно-быть, я действительно очень плохо верю в бога, что мне так тяжело. Обстоятельства плохие, а сил быть на их уровне и вовсе нет.

И теперь, когда мне не нужно ничего, кроме устройства семьи, ее обеспечения, когда слава, влияние и т. п. мне ни на

что не нужны, и я не хочу их, даже иногда с отвращением не хочу, — в это время обо мне начинают говорить, даже в молодежи, я становлюсь «популярен»... А чего хочу — нет, нет и нет.

Я мечтал основать семью, — чистую, крепкую, и больше ничего не хотел. Хочу денег, но немного, только для обеспечения, только для независимости семьи. И вот, хоть перервись, — ничего нет. С братом жили по-свински. Думал сделать хорошее дело, долг, обвенчав его, и в результате — не только вытерпел незаслуженно столько оскорблений и огорчений от той, кому хотел добра (и сделал добро), но теперь она же разоряет и последнее отцовское гнездо, отнимает у детей последнее убежище.

А, ведь, кажется, во всем этом я был чист, кажется, не имел в виду ничего, кроме желания исполнить долг. Замечательно! За дурное никто ничем меня не карал, и не карает, но за все честное я плачусь самыми прискорбными карами.

Мудреная штука жизнь, и, видно, так век проживешь, а умрешь дураком, ничего не поняв.

22 мая.

Скверные дела делаются на свете. В Москве арестовано более 40 штук студентов и студенток, утверждают, — с динамитом. Вот чорт бы их, проклятых, побрал! [394]).

Еще хорошо, что полиция смотрит, если только она достаточно видит.

Ведь какая-нибудь тупейшая, ничтожнейшая башка, на которую и веревки жалко, — сколько зла может наделать! И не унимаются анафемы...

Да, уж в чем другом, а в этом я бы никакой, ни малейшей снисходительности бы не допустил. Этаких людей нужно рвать с корнем.

1 июня.

Вчера вернулись от Троицы Сергия (куда отправились 30 мая, ночевали, а уехали 31). Удостоились съездить недурно. Видели о. Варнаву.

Однако, этот маленький опыт «мобилизации» показал мне, как вредны для меня путешествия. Кишки приходят в ужасное состояние. Теперь мне легко было немедленно принять меры. Но что я буду делать на пути в Новороссийск, в течение 4 суток?

Как бы не вышло очень плохо. Еду исключительно, чтобы не огорчить маму. Хоть бы бог дал, чтобы это мне не обошлось чересчур дорого...

NB. 29 мая я продал «Конституционалистов» М. В. Клюкину [395]).

19 июля.

Новороссийск.

Мой отпуск приближается к концу, а толку из него в роде как ничего.

Выехали мы из Москвы 6 июня. Ехали 6, 7, 8, 9. В Новороссийск приехали, несколько развинтившись. С тех пор живу, диетничаю, лечусь, исполняю все инструкцию Захарьина с Голубевым, и не знаю, улучшился ли сколько-нибудь. Во всяком случае, с кишками вечная, ежедневная возня.

Сегодня мне очень плохо.

Почти все лето скорее хорошее. Отчаянные жары были лишь последние дни. Вчера на самом припеке до 50° Реомюра.

Гулять здесь, однако, негде и невозможно. Вероятно, это мне немало вредит. Толкусь больше вечерами в городском саду.

К августу нужно бы быть в Москве, а боюсь, чтобы не разгулялись кишки. Со вчерашнего дня Коля тоже нездоров (горло, сильный жар). Увидим, что-то господь даст.

Работал мало. Перевел около 5000 строк «Из времен смуты», да приготовил к печати «Почему я перестал быть революционером». Больше и ничего.

24 июля.

День маминых именин (Христины). Хотел встретить его весело. Заготовил иллюминацию, подарки. И, — как-то вдруг неможется, повышена температура...

Уж хоть бы господь еще раз помиловал и этому лету, составляющему пожертвование с моей стороны, дал быть для мамы отрадным воспоминанием. О, если бы благополучно вынес господь, да дал хотя бы не сразу разболеться там.

И не одной маме огорчение, всем нам. Катя и без того не любит Новороссийск, а теперь невольно упрекала бы его. О, сжалься, господи! С самого начала молился я, чтобы не здесь и не от этого захворать, если уж необходимо, а от чего-либо другого.

1 августа.

Выехали из Новороссийска 26 июля; 27 остановка в Ростове, 29 в Козлове, и прибыли в Москву.

Прибыли, славу богу, благополучно.

11 сентября.

Сытин уплатил деньги за брошюру. Всего она дала мне («Почему я перестал быть революционером»):

В газете	268 р.
От Сытина	500 »
	768 р.

8 октября, воскресенье.

Мы переехали на новую квартиру, в дом университетской типографии.

16 декабря.

Утверждение банка. Конец неудачной кампании «Моск. Вед.» против проекта Витте [396]).

Вероятно, — как говорят, это и конец надежд на возобновление аренды. Это крайне печально. В худшем случае, мы все остаемся, что называется, на мостовой. В лучшем случае — все-таки такого хозяина, как Сергей Александрович *) — уж не найдешь.

Беда при «свободных» профессиях быть без самостоятельного капитала. Ни на секунду будущего не гарантирует.

Сам тоже что-то опять хуже. Мне бы лучшее лекарство было — иметь какую-нибудь верную пенсию.

20 декабря.

Был у нас, наконец, св. Пантелеймон - целитель. В 8 часов вечера. Молебен очень хорош, все освятили.

24 декабря.

Сочельник. Коля нездоров. Вечная наша история.

---

*) Петровский, С. А.

25 декабря.

Сегодня Коля встал после двух дней, проведенных в постели. Но Вера с утра слегла (в 4 часа дня темп. 39,4°).

Праздник не из веселых.

На днях в заграничных газетах явилось известие о скоропостижной смерти знаменитого Степняк-Кравчинского... Какая судьба! Избежать стольких опасностей, быть здоровым, как бык, и попасть под колеса паровика!

Так именно сообщают газеты. Раздавлен паровой конкой... Теперь, конечно, горюет его Фанни (жена)... Она была когда-то очень красива и ничего себе, кажется, хорошая женщина. А он, — прости его, господи, конечно, — мало хорошего. Я говорю не об убийстве, которое лежит на $^1/_2$ не на его совести, а вообще о характере.

Для эмигрантов это — большая потеря. Он был, конечно, хуже всех из них, но отчасти по этому же — самый деловой, практичный. У него душа и сердце «либерала», и, вероятно, Фанни не осталась без маленького капитала. Еще в мое время у них, говорят, водились денжонки...

Однако, приходилось слышать, что он испытывал и много душевных мук... Конечно, нам трудно судить. Один бог может сказать, — кто хорош, кто плох по душе.

Вечер. Как скучен мой дневник. Болезни, болезни и болезни. Правда, что когда хорошо, то обыкновенно ободряешься и начинаешь думать о делах и записывать становится некогда. Но и то сказать: мало времени таких ободрительных настроений. Как только вознесешься, так хлоп, — болезнь... Не полагается. А если бы я был здоров, я теперь много бы делал, хотя зато в борьбе, вероятно, не воздержался бы и от многих пакостей. Так уже устроено на свете, что в борьбе трудно действовать без предосудительных средств. Теперь я вне соблазна.

Но все же надоело, и очень истощилось терпение.

30 декабря.

На днях была Ксения Дмитровна. Оказывается, что приехала еще 22, но известила о себе лишь 26. Странно ведет себя. Ока-

зывается, что получила место через Духовецкого, тайком от меня. Теперь Катя у ней; два раза не заставала, но теперь, очевидно, застала, потому что засиделась. Хотела объясниться и выяснить, почему она так странно-таинственно ведет себя.

31 декабря.

Встречали Новый год дома, читали Диккенса.

В 12 с небольшим пошел к Петровскому, поздравил — и домой.

Вчера Катя объявила Ксении, что, если она не уедет и не станет жить, как ей мы указываем, то пусть и не является к нам.

Ксения заявляет, что с Духовецким у ней ничего нет, что он по доброте хотел помочь ей, что странно, «почему являются гадкие подозрения», и что она места не бросит, но если заметит какие-нибудь ухаживанья, то бросит место и уедет.

Катя уверяла в ее невиновности. Но я, — сам не знаю. Что-то подозрительные у обоих рожи, у Духовецкого и у нее. А Духовецкий достаточно известен своими похождениями.

Замечательно, что Духовецкого у Петровского не было. Говорят, был и ушел немедленно. Подозрительно что-то. Он как будто избегает меня *).

*) Этим заканчивается дневник № 2. Далее на следующем листе написано: «1896 год». Записей же никаких нет. Остались следы нескольких вырезанных листов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]) «Русское Слово», ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге. Основан в 1859 г. графом Г. А. Кушелевым-Безбородко; первый фактический руководитель — Ап. Григорьев; крупную роль начинает играть с 1860 г., когда руководство журналом переходит к Г. Е. Благосветлову и «Русское Слово» становится боевым органом радикального направления (сотрудники: Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, В. Н. Соколов, Н. В. Шелгунов и друг.). Закрыт в 1866 г. после выстрела Каракозова.

[2]) Каракозов, Дмитрий Владимирович (1842—1866), революционный деятель 60-х годов, член Ишутинского революционного кружка в Москве. Совершил покушение на Александра II 4-го апреля 1866 г. 3-го сент. 1866 г. казнен по приговору Верховного уголовного суда. Покушение не удалось, так как находившийся в этот момент около Каракозова костромской мещанин, по профессии картузник, Комиссаров, Осип Иванович, толкнул его руку. За это Комиссаров получил потомственное дворянство («Комиссаровы-Костромские»).

[3]) В то время, к которому относятся «Воспоминания» Тихомирова, русская молодежь проявляла большой интерес к истории революционных движений на Западе. Отсюда широкое распространение книг по этому вопросу и популярность упоминаемых здесь авторов, отчасти (Гарнье-Пажес, в меньшей мере — Минье) непосредственных участников событий.

Работы Минье и Карлейля по истории революции 1789—93 гг. и Гарнье-Пажеса — по истории революции 1848 г.—еще в 1860-х гг. появились в русском переводе.

[4]) Гиляров-Платонов, Никита Петрович (1824—1887), редактор-издатель ежедневной газ. «Современные Известия» славянофильского направления, издававшейся в Москве в 1867—1887 гг.

[5]) Аксаков, Николай Петрович (1848—1909), автор ряда работ по церковным вопросам.

[6]) Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906), известный либеральный общественный деятель и публицист, редактор журнала «Русская

В целях экономии места и в виду чисто справочного характера огромной части примечаний, они не сопровождаются ссылками на литературу, кроме нескольких отдельных случаев, когда такие ссылки представлялись особенно желательными, а также — кроме указаний на наиболее важные позднейшие перепечатки упомянутых в тексте произведений революционной литературы. *Ред.*

Мысль» и ближайший сотрудник газ. «Русские Ведомости». С именем Тихомирова связан арест Гольцева в июне 1884 г., когда ему предъявлено было обвинение в передаче денег Тихомирову от К. М. Станюковича.

Упоминаемый несколько выше «тульский Вагнер» — Владимир Александрович Вагнер (род. в 1849 г.), впоследствии известный зоолог, а в то время студент юридического факультета Моск. университета.

7) Морозов, Николай Александрович, род. в 1854 г. Революционную деятельность начал в 1874 г. в московском кружке чайковцев. Во время массовых арестов того же года бежал за границу; возвращаясь весною 1875 г. в Россию, был арестован. Судился по процессу 193-х, при чем ему вменено было в наказание продолжительное предварительное заключение. Из опасения административной кары перешел на нелегальное положение. После того член общества «Земля и Воля» и один из редакторов его органа «Земля и Воля», редактор «Листка Земли и Воли». Горячий сторонник террора,— после раскола «Земли и Воли» вошел в Исп. Ком. «Народной Воли». Принимал участие в террористической работе партии и в редактировании ее органа «Народная Воля». В 1881 г. арестован, возвращаясь из вторичной поездки за границу; судился по делу 20-ти в 1882 г. и приговорен к бессрочной каторге. Заключен сначала в Алексеевский равелин, а затем (с 1884 г.) в Шлиссельбургскую крепость. В октябре 1905 г. освобожден и с тех пор отдался целиком научной деятельности.

8) Фогт, Карл (1817 — 1895), знаменитый немецкий зоолог и поборник материалистической теории и вместе с тем политический деятель. В 1848 г. был присужден к смертной казни, но бежал из Германии в Швейцарию, где работал до конца жизни в научной области.

9) «Военно-Статистический Сборник» издавался в С.-Петербурге в 1868 — 74 гг. (4 вып.) под ред. известного военного специалиста (впоследствии бывшего начальником главного штаба) Ник. Ник. Обручева по вопросам военной статистики европейских и внеевропейских стран.

10) Устюжанинов, Иннокентий Александрович, студент медиц. факультета Московского университета. Привлеченный по делу 193-х, умер задолго до суда — 1 августа 1876 г.

Саблин, Николай Алексеевич (1850 — 1881), начал революционную деятельность одновременно с Морозовым, вместе с ним уехал за границу и при возвращении арестован. Судился по процессу 193-х, при чем ему вменено в наказание продолжительное предварительное заключение. После того продолжал революционную деятельность, вступив впоследствии в партию «Нар. Воли»; участвовал в ее террористической работе, в том числе в подготовке 1 марта 1881 г. Во время ареста 3 марта 1881 г. застрелился.

11) Вандакурова, Федотья Васильевна, слуш-ца высших курсов в Петербурге. За участие в Добролюбовской демонстрации (17 ноября 1886 г., см. примеч. 13-е) выслана в Казань, откуда в 1887 г. с разрешения губернатора уехала в Париж. Здесь вращалась в эмигрантских кружках, а затем вернулась в Россию. Впоследствии вышла замуж за амнистированного эмигранта Павловского (см. в дневнике Тихомирова).

12) Фигнер, Вера Николаевна (род. в 1852 г.). С 1872 г. жила в Швейцарии (в Цюрихе, потом в Берне), где училась на медиц. фак. и одновре-

менно вошла в состав revol. кружка, участники которого впоследствии судились по делу 50-ти. В конце 1875 г. уехала в Россию, где приняла непосредственное и активное участие в революционном движении. Вступив в группу, разделявшую народническую программу землевольцев, но организационно с «З. и В.» не слившуюся (в группу входили, кроме В. Н. Фигнер — Ю. Богданович, А. Иванчин-Писарев, А. Соловьев и др.), Фигнер работала в деревне в Самарской и Саратовской губ. Накануне Воронежского съезда Фигнер вступила в «Землю и Волю», а после ее разделения — в Исп. Ком. «Нар. Воли». Принимала близкое участие во всей террористической работе партии и в ее деятельности среди военных и учащихся. Особенно ответственной и выдающейся была деятельность Фигнер в период 1882 — 83 гг., когда — после арестов первой половины 1882 г. — ей, как единственному оставшемуся на работе в России члену Исп. Комитета, пришлось восстанавливать разгромленную организацию. Арестована 10 февраля 1883 г. Судилась в 1884 г., приговорена к смертной казни, замененной 20-летней каторгой, которую отбывала в Шлиссельбурге. Освобождена из Шлиссельбурга в 1904 г. В настоящее время живет в Москве.

Перовская, Софья Львовна (1854—1881), выдающаяся революционная деятельница 70-х и нач. 80-х г.г. В 1869 г., приехав из Крыма в Петербург и поступив на Аларчинские курсы, близко сошлась с сестрами Корниловыми, а в 1871 г., в результате слияния кружка Корниловых (не представлявшего, впрочем, оформленной группы) с кружком Натансона и Чайковского, стала членом кружка чайковцев. В 1872 г. работала в качестве оспопрививательницы в Ставропольском уезде, Самарской губ., с целью познакомиться с бытом крестьян. В 1873 г. принимала участие в пропаганде чайковцев среди петербургских рабочих. В январе 1874 г. арестована, но вскоре освобождена до суда (дело 193-х). Суд оправдал Перовскую, тем не менее она была предназначена к административной высылке в Олонецкую губ. Арестованная в Крыму и отправленная под конвоем на север, она бежала с пути (со ст. Чудово). Еще раньше, непосредственно по окончании процесса, Перовская делала попытки к восстановлению кружка чайковцев (см. об этом у Тихомирова), а впоследствии вошла в «Землю и Волю». Непосредственно практическая работа ее в этот период сводилась к подготовке освобождения отправляемых, затем заключенных в центральных тюрьмах товарищей (все попытки в этом направлении оказались безрезультатными). После раскола «Земли и Воли» Перовская, поколебавшись некоторое время, вступила в Исп. Комитет «Нар. Воли» и приняла самое активное участие в его работе. После ареста Желябова взяла на себя главное руководство в организации покушения 1 марта 1881 г. Арестованная 10 марта 1881 г. и преданная суду, она, согласно приговору последнего, была повешена 3 апреля того же года.

[18]) «Добролюбовская демонстрация» была устроена 17 ноября 1886 г. по случаю 25-летия со дня смерти Добролюбова петербургским радикальным студенчеством, при чем в ней приняли участие некоторые профессора, например, А. Н. Пыпин. После демонстрации была выпущена прокламация в объяснение ее мотивов, описывающая и самую демонстрацию (помещена в «Былом» 1907 г., № 2).

[14]) Грессер, Петр Аполлонович (1833 — 1892), петербургский градоначальник.

[15]) Книга «Эмиль XIX века» известного французского писателя и политического деятеля Альфонса Эскироса (1814—1876) появилась в русском переводе в 1871 г. и вызвала живой отклик в литературе (ей посвятили статьи Н. Шелгунов, В. Лесевич, М. Цебрикова и др.).

[16]) Речь идет об организации, к созданию которой осенью 1869 г., по возвращении своем из-за границы в Москву, приступил Сергей Геннадиевич Нечаев (1847 — 1882), выступавший в качестве уполномоченного несуществовавшего в действительности комитета «Народной Расправы». Программа организации выясняется из изданного Нечаевым перед тем в Швейцарии органа «Народная Расправа», который, считаясь с неизбежностью в самом близком будущем всесокрушающей народной революции, призывал молодежь расчистить ей путь, устранив все лежащие на нем препятствия, при чем последнее понималось прежде всего в смысле чрезвычайно широкого применения террора к представителям власти и отчасти имущих классов. Основной кружок нечаевской организации включал, кроме него, П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева и И. Иванова. Убийство последнего остальными участниками кружка (см. прим. 38-е) послужило толчком к раскрытию организации и аресту ее членов, судившихся в 1871 г. Петерб. Судебной палатой (всего было предано суду 87 человек; Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев были приговорены к каторге).

Самому Нечаеву удалось бежать в Швейцарию, но в 1872 г. он был там арестован и выдан затем России как уголовный преступник. В 1873 г. приговорен к 20-летней каторге и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Здесь ему впоследствии удалось распропагандировать команду и вступить в сношение с волей. Благодаря предательству Мирского (см. прим. 289-е), об этой работе Нечаева узнали власти, и строившиеся им планы побега рушились. Вскоре после того Нечаев умер.

[17]) «Московские Ведомости», одна из старейших русских газет (осн. в 1756 г.) В описываемое время находилась в руках известного реакционного публициста Мих. Никиф. Каткова (1818—1887). Направление, принятое газетой при Каткове, она сохранила и при его преемниках, в числе которых впоследствии оказался и сам Тихомиров, редактировавший «Моск. Вед.» в 1907 — 13 гг.

[18]) Зборомирский, Григорий Алексеевич, был арестован в Москве в 1875 г., судился по процессу 50-ти и оправдан судом.

[19]) Верещагин, Николай Васильевич (1839—1907), известный организатор сыроваренных артелей (с 1865 г.) и автор работ по сыроварению. Опыты его по насаждению артелей вызывали среди радикальной молодежи большой интерес.

[20]) Лопатин, Всеволод Александрович, участник киевского кружка чайковцев; за попытку содействовать бегству Ф. Волховского был арестован и затем судился по процессу 193-х. Лопатину вменено было в наказание предварительное заключение; тем не менее он был административно выслан в Вятскую губернию.

[21]) Аносов, Николай Михайлович (род. в 1850 г.). Вместе с Пругавиным стоял во главе кружка студентов-петровцев, за участие в котором и был выслан тогда (не в 1870, а в 1871 г.). Впоследствии был вновь арестован и судился по процессу 193-х. Аносову вменено в наказание предварительное заключение; тем не менее он был выслан административно в Архангельскую губ., где находился до 1884 г.

Пругавин, Александр Степанович (1850—1920), известный впоследствии исследователь раскола и сектантства. Был тогда (в 1871 г.) выслан в Шенкурск, откуда последовательно переводился в Архангельск, Кемь, Воронеж, Коротояк и снова Архангельск (всего находился в административной ссылке девять лет: 1871—1879).

Обухов, Иван Яковлевич, пропагандировавший потом на Дону и упоминаемый С. М. Кравчинским в «Подпольной России» (по изд. «Светоча», 1906 г., с. 16).

[22]) Организатором кружка был Долгушин, Александр Васильевич (1848—1885). Еще со школьной скамьи — в тобольской гимназии, а затем в Технологическом институте в Петербурге он проявил себя как организатор кружков самообразования и студенческих выступлений. Арестованный в 1869 г. и привлеченный к делу «нечаевцев», судом в 1871 г. был оправдан. Получив свободу, занялся пропагандой среди рабочих, затем основал собственный кружок. Арестованный по делу этого кружка, Долгушин в 1874 г. Особым Присутствием Сената был приговорен к каторжным работам на 10 лет. Отсидев 7 лет в Ново-Белгородской каторжной тюрьме, отправлен на Кару. По пути, в Красноярске, за организацию побега Малавского и за публичное оскорбление тюремного смотрителя, ему было прибавлено 10 лет каторги. В 1883 г. за содействие побегу Мышкина его перевели сначала в Петропавловскую, затем (в 1884 г.) Шлиссельбургскую крепость, где он и умер.

Из членов кружка Дмоховский, Лев Адольфович (1850—1881), был приговорен к 10 годам каторжных работ и после семилетнего заключения в Ново-Белгородской тюрьме отправлен на Кару, но по дороге умер в Иркутской тюрьме. Гамов, Дмитрий Иванович (1848—1876), приговорен к каторжным работам на 8 лет и, заключенный в Ново-Белгородскую тюрьму, сошел с ума и умер. Папин, Иван Иванович (род. в 1850 г.), приговорен к каторжным работам на 5 лет и заключен также в Ново-Белгородскую тюрьму. По отбытии срока, отправлен в Якутскую область; освоб. из ссылки в 1884 г. Плотников, Николай Александрович (род. в 1852 г.), приговорен к каторжным работам на 5 лет и заключен в Ново-Белгородскую же тюрьму, где сошел с ума.

[23]) Натансон, Марк Андреевич (1849—1919). В конце 1871 г. был арестован в связи с изданием «Азбуки социальных наук» Флеровского и выслан в Архангельскую губ. Вернувшись зимою 1875—1876 гг. в Петербург (см. прим. 63), посвящает себя делу объединения распыленных после разгрома 1874—75 гг. революционных сил и создает в следующем году северную народническую организацию, получившую затем название «Земли и Воли». В 1877 г. снова арестован и в 1880 г. выслан в Восточную Сибирь, где пробыл до 1889 г. Спустя несколько лет по возвращении в Европейскую Россию, в 1893 г., участвует в основании партии

«Нар. Право». Весною 1894 г. партия «Нар. Право» была разгромлена, а Натансон, после длительного заключения в Петропавловской крепости, выслан вновь в Восточную Сибирь — на 5 лет. С начала 1900-х годов Натансон — видный деятель партии соц.-революционеров, во время империалистической войны — интернационалист, после революции — левый эс-эр.

Сердюков, Анатолий Иванович, один из пионеров в деле социалистической пропаганды среди рабочих в Петербурге в 70-х гг. Привлеченный к дознанию по процессу 193-х, он не был предан суду, но сослан административным порядком в Тверь, где в 1878 г. кончил самоубийством.

Лермонтов, Феофан Никандрович (1848 — 1878). Сначала участвовал в кружке «чайковцев» (но не был в числе его основателей), а затем, выйдя из него, организовал собственный кружок — «бунтарского» направления. В 1874 г. был арестован и привлечен по делу 193-х. Суд приговорил его к ссылке в отдаленнейшие места Сибири, но ходатайствовал о замене ее ссылкой в отдаленные губернии, кроме сибирских. Ходатайство было удовлетворено, и Лермонтов подлежал отправке в Архангельскую губ., но, вследствие болезни, был уже с пути возвращен в Петербург и помещен в Литовский замок, где и умер.

Чайковский, Николай Васильевич (1850 — 1926). Один из выдающихся деятелей первой половины 70-х гг., давший свое имя значительнейшей революционной организации этого времени. В 1874 г., присоединившись к проповеднику религии «богочеловечества» А. К. Маликову, уехал с ним в Америку, где провел несколько лет: сначала в основанной ими общине «богочеловеков», затем в общине, так наз., «шекеров». В 1879 г. Чайковский вернулся в Европу, сначала во Францию, а в следующем году переехал в Англию. Здесь принимал активное участие в таких предприятиях эмиграции, как загран. отдел Кр. Креста Нар. Воли и Фонд Вольной Русской Прессы. В 1907 г. переехал в Россию и в момент обратного возвращения за границу арестован. Через год освобожден под залог. В 1910 г. судился (вместе с Е. К. Брешко-Брешковской) в судебной палате и оправдан. В 1917 г. был одним из лидеров труд. нар.-соц. партии. В период гражданской войны возглавлял Архангельское правительство.

Называя инициаторами кружка чайковцев, на ряду с Натансоном, Сердюковым и Чайковским, ошибочно также и Лермонтова, Тихомиров забывает упомянуть одного из действительных основателей кружка — Василия Максимовича Александрова.

[24]) Лавров, Петр Лаврович (1823 — 1900), известный ученый и революционный деятель. После выстрела Каракозова был арестован и в начале 1867 г. сослан по суду в Кадников, Вологодской губ., откуда при содействии Г. А. Лопатина в 1870 г. бежал за границу, где прожил до конца жизни. За границей Лавров был центральной фигурой среди русской эмиграции и организатором и активным участником ряда революционных предприятий (издание журн. «Вперед», агитация против выдачи Гартмана, заграничный отдел Кр. Креста Нар. Воли, издание «Вестника Нар. Воли», «Материалов для истории русского социально-революционного движения» и др.).

«Исторические письма», которым суждено было сыграть значительную роль в развитии революционного движения в России, писались Лавровым в ссылке и помещались в петербургском журнале «Неделя», а в 1870 г. вышли отдельно и скоро стали запретными. Они выдержали после того длинный ряд нелегальных изданий, со времени же первой революции переиздавались несколько раз легально.

[25]) Верморель, Огюст-Жан-Мари (1841—1871), французский публицист времени второй империи, убитый на баррикадах в 1871 г. Его книга «Деятели 48-го года и их роль в событиях как 1848 г., так и последующих лет» представляет ряд очерков из жизни и деятельности Ламартина, Луи Блана, Ледрю Роллена, Гарнье-Пажеса, Кавеньяка и др. В русском переводе книга появилась впервые в 1870 г.

[26]) Книги «Пролетариат во Франции 1789—1852. (Исторические очерки)» (СПБ. 1869 и 1872) и «Ассоциации. Очерк практического применения принципа кооперации в Германии, в Англии и во Франции» (СПБ. 1871) принадлежали перу Александра Константиновича Шеллера (1838—1900), писавшего под псевдонимом «А. Михайлов» и более известного широкой публике в качестве автора многочисленных романов и повестей, в которых популяризировались идеи 60-х годов.

[27]) «Флеровский» — псевдоним публициста и социолога Василия Васильевича Берви (1829—1918), в 70-х годах пользовавшегося среди молодежи большой известностью, близкого к кружкам чайковцев и долгушинцев. Берви неоднократно подвергался административным преследованиям (в первый раз арестован в 1862 г. за протест против привлечения мировых посредников Тверской губ.).

Упоминаемые Тихомировым наиболее крупные работы Берви появились: «Положение рабочего класса в России» — в 1869 г. (второе издание, предпринятое чайковцами, задержано), «Азбука социальных наук» — в 1871 г. (также задержана).

[28]) Клеменц, Дмитрий Александрович (1848—1914), выдающийся революционный деятель 70-х годов, впоследствии крупный ученый-этнограф. Принимал весьма деятельное участие в пропаганде чайковцев среди петербургских рабочих, позднее ходил в народ. Во время массовых арестов 1874 г. уехал за границу, где оставался несколько лет, в течение которых, однако, приезжал нелегально в Россию (один раз — с целью освободить Чернышевского). В Женеве участвовал в редактировании журнала «Община» (см. прим. 107).

Осенью 1878 г., вернувшись из-за границы, принял участие в редактировании «Земли и Воли». В конце февраля 1879 г. арестован и после двухлетнего заключения в Петропавловской крепости выслан административно в Сибирь (Минусинск). В дальнейшем посвятил себя научной деятельности.

[29]) Клячко, Самуил Львович (1850—1914). Принадлежал к московским чайковцам. Привлекался к дознанию по делу московских революц. кружков, при чем ему, как одному из самых активных деятелей, инкриминировалось устройство мастерской, библиотек, распространение революционных изданий и, в особенности, сношение с эмигрантами. Относительно него было сделано в 1875 г. распоряжение о высылке в Олонец-

кую губ., но он скрылся за границу. Независимо от того, он привлекался в 1872 г. к дознанию по делу о сношениях с заключенными нечаевцами: Черкезовым, Прыжовым и Николаевым и об оказании им материальной помощи. За границей он продолжал политическую деятельность. Умер в Вене.

[30]) Натансон был выслан за издание «Азбуки социальных наук» Флеровского, вышедшей осенью 1871 г. Выход из кружка Лермонтова состоялся в следующем году — едва ли в какой-либо связи с выпуском «Азбуки».

[31]) Речь идет о кружке самообразования, устроенном Натансоном и Чайковским в дачной местности Кушелевке с целью наметить товарищей для пополнения своего кружка.

[32]) Корниловы: Александра Ивановна, по мужу Мороз, судившаяся впоследствии по делу 193-х и приговоренная к ссылке в отдаленные губернии, кроме сибирских (ходатайство суда об освобождении от наказания не уважено, сослана в Пермскую губернию); Любовь Ивановна, по мужу Сердюкова, в 1872 г. привлекавшаяся к делу о московских кружках, в 1880 г. выслана административно (ум. в 1892 г.); Вера Ивановна, по мужу Грибоедова, почти в самом начале деятельности кружка чайковцев в расширенном его составе заболела и в 1873 г. умерла.

Г.— может быть, Гауэнштейн, Иван Иванович (род. в 1841 г.), студент-медик. Арестованный в 1874 г., судился по делу 193-х. Приговорен к отдаче в исправит. арестантские отделения, но по ходатайству суда освобожден от наказания, с отдачей, однако, под строгий надзор на три года. Находился под надзором в Самаре, в 1881 г. разрешен переезд в Казань.

Куприянов, Михаил Васильевич, один из наиболее выдающихся членов кружка, активный участник пропаганды среди рабочих. Арестованный в 1874 г., судился по делу 193-х. Приговорен к каторге, при чем суд ходатайствовал о замене ее ссылкой в Тобольскую губ. До конфирмации приговора умер в заключении.

Куприянова, Надежда Васильевна, сестра Мих. Вас., также участвовала в пропаганде среди рабочих.

Синегуб, Сергей Силыч (1853—1907), по общему признанию товарищей, обладавший недюжинными агитаторскими способностями; зимою 1872—1873 гг. пропагандировал среди рабочих Выборгской стороны, в 1873 г.— среди рабочих Невской заставы. Арестованный в конце того же года, судился по делу 193-х. Приговорен к девятилетней каторге (с зачетом предвар. заключения). Отправлен на Кару летом 1878 г., вышел на поселение в 1880 г.

Львов, Исаак Константинович, привлекался по делу московских кружков, затем по делу 193-х. Умер в июне 1875 г. в Николаевском военном госпитале.

Чарушин, Николай Аполлонович (род. в 1853 г.), как и Синегуб, один из руководителей делом пропаганды среди рабочих, которой занимался, с конца 1872 г. до ареста, на Выборгской стороне. Арестованный в январе 1874 г., судился по делу 193-х. Приговорен к девятилетней каторге (с зачетом предв. заключения). Летом 1878 г. отправлен на Кару,

в 1881 г. вышел на поселение. Впоследствии вернулся в Европ. Россию, в Вятку, где продолжал принимать участие в общественной работе. В Вятке же живет и сейчас.

Кувшинская, Анна Дмитриевна, по мужу Чарушина (1851—1909). Вступив в кружок чайковцев в конце 1872 г., принимала с этого времени и до ареста деятельное участие в пропаганде среди рабочих Выборгской стороны. Арестованная в 1874 г., судилась по делу 193-х. Приговорив ее к ссылке в Тобольскую губ., суд ходатайствовал о вменении ей в наказание продолжительного предварительного заключения; ходатайство уважено лишь отчасти (как в отношении упомянутого раньше Гауэнштейна и многих других), при чем администрация предполагала выслать Кувшинскую под надзор на север. Намерение это отпало само собой, так как Кувшинская пожелала последовать за мужем на каторгу. Через 18 лет вернулась в Европ. Россию, в Вятку. В 1906 г., как издательница газ. «Вятская Жизнь», за напечатание «выборгского воззвания», Кувшинская, совсем уже больная, была выслана за пределы Вятской губ. и возвращена лишь через год.

Ободовская, Александра Яковлевна, по мужу Сидорацкая, участница революционного движения 70-х гг., судившаяся по процессам: долгушинцев (приговорена к 7-ми дневному аресту) и 193-х (оправдана).

Попов, Леонид Владимирович. В конце 1873 г. арестован. Весною 1877 г. выпущен до суда (дело 193-х) под надзор и бежал за границу.

Кравчинский («Степняк»), Сергей Михайлович (1850—1895). Вступив в кружок чайковцев в 1872 г., принимал деятельное участие в пропаганде среди рабочих, затем одним из первых ушел в народ. Во время массовых арестов 1874 г. бежал за границу, где провел несколько лет, в течение которых, впрочем, приезжал нелегально в Россию. За границей Кравчинский участвовал в Герцоговинском движении, в попытке восстания в Беневенто (Италия); в 1878 г. принял участие в редактировании журнала «Община» в Женеве. В том же году вернулся в Петербург и здесь 4 августа 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцова. После того прожил еще некоторое время в Петербурге, приняв участие в редактировании № 1 органа «Земля и Воля», а осенью вновь уехал за границу, где в последующие годы проявил себя, как крупная литературно-публицистическая сила, дав ряд книг и статей о России и русском революционном движении, в том числе несколько беллетристических произведений (особенно известны: «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов»).

Шишко, Леонид Эммануилович (1854—1910). Вступил в кружок зимой 1872—73 гг., занимался пропагандой среди рабочих Выборгской стороны. Арестованный в 1874 г. и привлеченный по делу 193-х, он был приговорен к 9-ти годам каторги (с зачетом предв. заключения). Отбывал каторгу на Каре, затем перешел на поселение в Забайкальскую область. В 1887 г. переехал в Томск и отсюда в 1889 г. бежал за границу, где продолжал революционную деятельность. Впоследствии играл видную роль в партии с.-р. Умер в Париже. Кружок Чайковского нашел в Шишко своего историка (см. его работы «Кравчинский и кружок чайковцев», «К характеристике движения начала 70-х годов»).

Батюшкова (по мужу Цвиленева), Варвара Николаевна (1852—1894), принадлежала к московскому кружку чайковцев. Впоследствии судилась по процессу 50-ти, была приговорена к каторге, замененной, по ходатайству суда, ссылкой на поселение в Сибирь.

Армфельдт, Наталья Александровна (1848—1887), принадлежала к московскому кружку чайковцев. Во время производства дознания по делу о пропаганде в империи была арестована и выслана в Костромскую губ. По окончании админ. ссылки, прожив некоторое время в Москве, переехала в Киев, где в 1879 г. была арестована на конспиративной квартире по Жилянской ул. (арест сопровождался вооруженным сопротивлением) и предана военно-окружному суду вместе с Брантнером, Мокриевичем и др. Суд приговорил ее к 14 г. и 10 мес. каторжных работ, которые она отбывала на Каре. В 1887 г., находясь в «вольной команде», умерла.

Кропоткин, Петр Алексеевич (1842—1921), известный научный и политический деятель. Вступил в кружок в 1872 г., вскоре по возвращении из заграничной поездки, во время которой изучал социальные вопросы и, в особенности, рабочее движение. В кружке занимался, главным образом, пропагандой среди рабочих, которым читал лекции по истории Интернационала и рабочего движения в Зап. Европе. В 1874 г. был арестован и заключен в крепость. Переведенный в 1876 г. в госпиталь, бежал и скрылся за границу, откуда вернулся в Россию лишь в 1917 г. За границей Кропоткин принимал активное участие в рабочем движении в качестве одного из лидеров анархизма и написал ряд работ по теории анархизма, политике и социологии.

Цакни, Николай Петрович (1851—1904), принадлежал к московскому кружку чайковцев. Сосланный административно в Архангельскую губернию, бежал оттуда в 1878 г. за границу. В 1886 г. получил разрешение вернуться в Россию и поселился в Одессе, где был городским гласным и издавал либеральный орган «Южное Обозрение».

Волховский, Феликс Вадимович (1846—1914), революционный деятель и писатель, организатор вместе с Г. Лопатиным в 1867—68 гг. «Рублевого Общества» для распространения литературы в народе, затем революционного кружка в Одессе, бывшего отделением кружка чайковцев. Арестовывавшийся несколько раз и трижды сидевший в Петропавловской крепости, Волховский судился по Нечаевскому делу и по делу 193-х. По первому—после 2-х лет заключения—был оправдан, а по последнему приговорен к ссылке в Тобольскую губ. В 1881 г. получил разрешение жить в Томске. В 1889 г. бежал за границу и поселился в Лондоне, где выступал в защиту революционного движения в России, участвовал в деятельности «Фонда Вольной русской Прессы». С образованием партии с.-р. вступил в ее ряды.

[38]) Брунс, Григорий, студент Моск. университета, привлекался по делу о московских кружках. Ему инкриминировалось деятельное участие в устройстве в Москве в 1871 г. белошвейной мастерской вместе с Клячко и др.

Шервинский, Василий Дмитриевич, род. в 1850 г., впоследствии известный профессор-терапевт.

Рагозин, Лев Федорович, также привлекался по делу о московских кружках. Позже был в течение некоторого времени кассиром «Земли и

Воли». Но затем далеко отошел от революции и, занимая должности директора медицинского департамента, потом председателя медиц. совета, проявил себя реакционером и противником общественной самодеятельности.

[34]) «История Пугачева», о которой говорит Тихомиров, составлена в большей части им и закончена Кропоткиным. Точное ее заглавие: «Емелька Пугачев», с подзаголовком «Емельян Иванович Пугачев, или бунт 1773 г.». Отпечатана за границей.

[35]) Цакни и Клячко были арестованы в апреле 1872 г.

[36]) Князев, Василий Иванович, род. в 1854 г., принадлежал к московскому кружку чайковцев. Привлекался в 1872 г. по делу о московских кружках. В 1873 г. привлекался к дознанию по делу о распространении прокламаций Долгушина, но дело в отношении его было прекращено. Наконец, в 1874 г. привлекался к дознанию по делу о пропаганде в империи, при чем ему инкриминировалось распространение революционных книг среди студентов Петровской академии и чтение их рабочим. По этому делу выслан в ноябре 1876 г. в Архангельскую губ. под надзор полиции. В феврале 1881 г. переведен в Таганрог под надзор полиции на 1 год.

[37]) «Песенник», — небольшая книжка в 22 стр., в которую вошло 8 песен: 1) Ослушная песня, 2) Жизнь — горе крестьянское, 3) Ах, ты, сукин сын, проклятый становой, 4) Воля матушка, 5) Царская воля, 6) Кузнец, 7) Эх, товарищи любезны, 8) То не на небе тучи черные собираются... Изд. за границей в 1873 г.

[38]) Ив. Иванов, студент Петровской академии убит 21 ноября 1869 г. по инициативе Нечаева, вследствие проявленного им в отношении последнего известного недоверия, нежелания беспрекословно подчиняться его руководству и угрозы отделиться и составить собственную организацию. В убийстве, кроме Нечаева, участвовали Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев.

[39]) Филипченко, Григорий, привлекался к дознанию по делу о московских кружках в 1872 г. Ему инкриминировалось участие в устройстве белошвейной мастерской.

[40]) Андреева, Анна Васильевна. Весной 1874 г. уехала в Харьков, где делала попытки к организации кружка среди учеников железнодорожного технического училища. Летом того же года переселилась в Таганрог и здесь примкнула к кружку, организованному Ис. Павловским. Арестованная в октябре 1874 г. судилась затем по делу 193-х и была оправдана.

[41]) Аркадакский, Константин Васильевич (род. в 1851 г.). Привлеченный по делу 193-х и освобожденный временно, скрылся за границу, откуда начал сотрудничать в русских изданиях, а с 1881 г. стал постоянным корреспондентом «Русских Ведомостей» из Франции. В 1905 г. вернулся в Россию и продолжал сотрудничество в «Русск. Ведомостях».

[42]) Васюков, Семен Иванович (1854 — 1908). В 70-х гг. вращался в революционных кружках Москвы и отчасти Петербурга; несколько раз арестовывался, а в 1879 г. выслан был административно в Вятскую губ. Впоследствии был довольно известным писателем и публицистом, держась при этом весьма умеренных политических взглядов.

* *

[43]) Фроленко, Михаил Федорович (род. в 1848 г.). Революционную деятельность начал в 1873 г. в Москве в качестве пропагандиста среди рабочих. В 1874 г. ездил для револ. работы на Урал. По возвращении оттуда, разыскиваемый по делу о пропаганде в империи, переходит на нелегальное положение. Позднее вступает в кружок киевских бунтарей (Стефанович, Дебагорий-Мокриевич и др.). В 1877 г. организует побег В. Костюрина, а в 1878 г. — освобождение Бохановского, Дейча и Стефановича. Участник Липецкого и Воронежского съездов; после раскола «Земли и Воли» вступает в Исп. Комитет «Народной Воли», принимает деятельное участие в его террористической работе, в том числе в деле 1-го марта. Арестован в марте 1881 г., судился в 1882 г. по делу 20-ти и приговорен к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой. До 1884 г. находился в Алексеевском равелине, затем в Шлиссельбургской крепости до амнистии 1905 г. В настоящее время живет в Москве.

[44]) Ивановский, Василий Семенович (1846 — 1911). Чрезвычайно популярный деятель среди студенческой молодежи (особенно Медико-хирург. академии, где он учился и состоял библиотекарем студ. библиотеки). Участник пропаганды среди петербургских рабочих нач. 70-х гг. В 1875 г., во время производства дознания по делу о пропаганде в империи, был арестован на месте своей службы (врачом) и доставлен в Петербург, но через некоторое время выпущен. После того переехал в Москву, где продолжал революционную пропаганду в рабочей среде, и был вновь арестован. По этому делу судились в 1877 г. Ионов и Вороненко, самому же Ивановскому удалось бежать до суда (2 янв. 1877 г. за границу). Ивановский поселился в Румынии, занимаясь врачебной практикой в Сулине, потом в Тульчине.

[45]) Слезкин, Иван Львович. В корпус жандармов вступил в 1848 г. В 1867 г. был назначен начальником моск. губ. жандармского управления. В июле 1874 г. на Слезкина возложено, по всеподданнейшему докладу шефа жандармов гр. Шувалова, производство дознаний в порядке закона 19 мая 1871 г. по делу «о преступной пропаганде в среде народа, обнаруженной в разных губерниях империи».

Воейков, Александр Владимирович, был при Слезкине помощн. начальника моск. губ. жанд. управления.

[46]) Алексеева, Олимпиада Григорьевна. В предшествующий разгрому период была очень близка к московским чайковцам, которые у нее и собирались. Арестованная в 1874 г., судилась по делу 193-х и была оправдана.

[47]) Черкезов, Варлаам-Джон Асланович (1846 — 1926). В 1866 г. судился по делу каракозовцев и приговорен к заключению в крепости на 8 мес., с зачетом предварительного заключения. В декабре 1869 г. был привлечен по нечаевскому делу и в 1871 г. приговорен судом к лишению всех особенных прав и преимуществ и ссылке на житье в Томскую губ. без права выезда в друг. места Сибири в течение 5 лет. 21 января 1876 г. бежал за границу, где затем был видным деятелем анархического движения.

[48]) Урусов, Александр Иванович (1843 — 1900), известный адвокат. По возвращении из ссылки, о которой говорит ниже Тихомиров, служил некоторое время в прокуратуре, но с 1881 г. вновь вернулся в адвокатуру.

[49]) Любавский, Федор Михайлович (род. в 1854 г.). Познакомившись в 1873 г. с некоторыми из чайковцев, намеревался предоставить в их распоряжение известную сумму денег на издание революционной литературы, при чем вел сношения преимущественно с Л. А. Тихомировым. Когда Любавский в сентябре того же года был в Москве арестован, то к делу его в качестве обвиняемого был привлечен также Тихомиров, но он не был тогда разыскан (Тихомиров задержан лишь в ноябре в Петербурге). Позднее дело Любавского присоединено было к общему делу о пропаганде, и он был предан суду по процессу 193-х. По ходатайству суда, Любавскому в наказание было вменено продолжительное предварительное заключение. В 1879 г. Любавский привлекался в Москве в связи с делом об убийстве Рейнштейна.

Богданов, Иван Александрович (род. в 1846 г.). Привлеченный в 1873 г. по делу Любавского, выслан в Самарскую губ. под надзор полиции.

[50]) Орел был центром «богочеловеков»: здесь именно начал в 1873 г. живший под надзором Александр Капитонович Маликов проповедь новой религии, близкой к позднейшему учению Л. Толстого и увлекшей вскоре некоторых представителей революционной молодежи (в том числе Н. Чайковского — ср. прим. 23).

[51]) Рукописный «Вперед» выпускался Ф. Волховским и С. Чудновским (в сотрудничестве с другими лицами) еженедельно в течение нескольких месяцев во второй половине 1872 г. (согласно свидетельству самого Чудновского в истор. сборн. «Наша Страна», 1907 г., стр. 335 — 6).

[52]) «Сказка о четырех братьях» («Правда и Кривда») под видом путешествия четырех братьев — на восток, запад, север и юг — в поисках правды, описывает в ряде эпизодов и встреч тяжелое, безвыходное положение народа. Написана Тихомировым и издана за границей чайковцами, затем несколько раз переиздавалась.

[53]) Les conspirateurs et policiers («Заговорщики и полиция») — брошюра, выпущенная Тихомировым за границей в 1887 г. В ней под вымышленными, отчасти, именами и в полубеллетристической форме описывается деятельность революционных кружков и организаций 70-х гг. Впоследствии она была переведена на русский язык и издана в России под названием «В подполье» (Спб. 1907).

[54]) Орлов, Михаил Андреевич, вскоре после описываемых Тихомировым событий (именно, в конце 1873 г.) был арестован. Судился по делу 193-х и приговорен к отдаче в исправительные арестантские отделения на 1 г. и 3 м., но, по ходатайству суда, освобожден от этого наказания, с отдачей, однако, под строгий надзор на 3 г. Еще до формального решения его участи выслан административно.

[55]) Обнорский, Виктор Павлович, один из крупнейших деятелей рабочего движения 70-х гг., принимавший позднее выдающееся участие в создании Северного рабочего союза. Разыскиваемый полицией с 1873 — 74 гг., он был арестован лишь в нач. 1879 г. и приговорен в след. году к 10-летней каторге.

Аббакумов, Иван Артемьевич — один из наиболее близких к чайковцам фабричных рабочих.

[56]) Тихомиров принимал участие в пропаганде среди рабочих, организованной Синегубом. У Синегуба же он и был через некоторое время (в ночь на 12 ноября 1873 г.) арестован.

[57]) «Отечественные Записки» — один из старейших журналов. Сотрудничество Тихомирова относится к последнему периоду существования журнала, когда во главе его стоял Н. К. Михайловский. Журнал закрыт правительством в 1884 г.

«Дело» — ежемесячный журнал, основанный Г. Е. Благосветловым в 1866 г. вместо закрытого «Русского Слова». Редакторы: сам Благосветлов, а после его смерти (1880 г.) Н. В. Шелгунов и К. М. Станюкович. После административных репрессий, постигших обоих, журнал захирел и, в конце концов, прекратился вовсе (в 1888 г.).

«Слово» — ежемесячный журнал, издававшийся в 1878 — 1881 гг. (редакторы: И. А. Гольдсмит и Д. А. Коропчевский, затем С. А. Венгеров и П. В. Засодимский и т. д.).

«Русское Богатство» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с 70-х гг. до 1918 г. Период наибольшей популярности и распространенности журнала относится к позднейшему времени, когда во главе его находились: Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский и др. В то время, о котором говорит Тихомиров, журнал был собственностью сначала (до 1882 г.) С. Барсиной, затем Л. Оболенского.

[58]) Шелгунов, Николай Васильевич (1824 — 1891), известный публицист, близко стоявший к революционному движению и его деятелям, автор прокламаций нач. 60-х гг.: «К молодому поколению» и «К солдатам». Пользовался большой популярностью не только среди интеллигенции, но — в конце жизни — и среди передовых рабочих, которые незадолго до его смерти (в мае 1891 г.) поднесли ему адрес. Неоднократно упоминается ниже в дневнике Тихомирова в связи с сотрудничеством последнего в журнале «Дело».

[59]) Станюкович, Константин Михайлович (1844 — 1903), беллетрист (из его произведений особенной известностью пользуются рассказы из жизни моряков). С 1881 г. соредактор журнала «Дело», а с 1883 г. и издатель его. В 1884 г. арестован и вскоре выслан в Томскую губ. на три года: арест и высылка стояли в связи с участием в издаваемом им журнале эмигрантов (Тихомиров, Кравчинский и др.) и с вызванными этим сношениями с ними.

[60]) «Начала и концы» — это осуждение Тихомировым своего прошлого, вину за которое он возлагает на школу и печать того времени, по его мнению, внушавшие молодежи предвзятый взгляд на Россию, и, отсюда, отрицательное отношение к ее социально-политическому порядку — книжный взгляд, без знакомства с жизнью. В результате получались или «либералы», которые только и мечтали, «как бы не додумать до конца» (т. е. держались «золотой середины»), или революционеры, которые все спасение полагают в том, «чтобы дойти до последнего предела».

«Начала и концы» печатались сначала в «Московских Ведомостях», затем изданы были брошюрой (Москва, 1890).

[61]) Любимов, Николай Алексеевич (1830 — 1897), профессор физики в Московском университете и, вместе с тем, реакционный публицист, сотрудник «Московских Ведомостей».

[62]) «Шальное лето» — лето 1874 г., когда молодежь двинулась «в народ». Как известно, движение было почти в самом начале разбито.

[63]) Из Архангельской губ., где Натансон отбывал административную ссылку, в 1875 г. он был переведен в Воронежскую губ., а оттуда в Финляндию. Из Финляндии Натансон бежал.

[64]) «Основы народничества» вышли: т. I — в 1882 г. (2-е изд. в 1885 г.), т. II — в 1893 г. Автор этой книги, представляющей собою попытку теоретического обоснования народничества — Каблиц («Юзов»), Иосиф Иванович (1848 — 1893), участник революционного движения 70-х гг. Привлекался по делу 193-х, но не был разыскан. В 80-х годах он совершенно отошел от революционного движения.

[65]) Натансон, Ольга Александровна (урожд. Шлейснер) (1851 — 1880), первая жена М. А. Натансона, член кружка чайковцев, последовала за Натансоном в ссылку в Шенкурск и вместе с ним возвратилась впоследствии в СПБ. Была затем в числе учредителей и наиболее активных членов «Земли и Воли». Задержана в октябре 1878 г. Судилась в мае 1880 г. (вместе с Ал-др. Михайловым, Веймаром и др.) и приговорена к каторжным работам на заводах на 6 л., замененным поселением в Сибири. Умерла в том же году — до приведения приговора в исполнение.

[66]) Михайлов, Александр Дмитриевич (1856 — 1884), выдающийся революционный деятель второй половины 70-х гг. Один из учредителей «Земли и Воли», в которой, собственно, и началась его активная революционная деятельность. В 1877 г. уехал в Саратов, где в течение года жил среди раскольников, имея в виду, ознакомившись с их бытом, вовлечь их в революционное движение. Весною 1878 г. вернулся в Петербург, где участвовал, между прочим, в освобождении Преснякова, а через некоторое время, отправившись в Харьков, принял там участие в неудавшейся попытке освободить Войнаральского (см. об этом ниже у Тихомирова и в примечаниях). В том же году побывал (вместе с Плехановым) на Дону, в связи с происходившим среди казаков брожением. Разгром землевольцев в Петербурге осенью 1878 г. побудил Михайлова совершенно отказаться от работы «в народе» и отдаться всецело центральной работе. Деятельность его в этот период была чрезвычайно многосторонняя: он имел ближайшее отношение и к общеорганизационной работе, и к выпуску «Земли и Воли», и к деятельности в рабочей среде, и к террору. В возникших вскоре трениях между защитниками традиционно-народнической и новой террористическо-политической тактики Михайлов выступил решительным сторонником последней и после происшедшего в конце лета 1879 г. раскола «Земли и Воли», вступил в Исп. Ком. «Нар. Воли», в котором был одним из руководящих и наиболее влиятельных деятелей, участвуя как в специально-террористической, так и в общей его работе. 28 ноября 1880 г. Михайлов был арестован, а в 1882 г. судим по процессу 20-ти и приговорен к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Михайлов был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где умер 18 марта 1884 г.

Преображенский, Георгий Николаевич («Юрист») (род. в 1854 г.). После раскола «Земли и Воли» вступил в «Черный Передел» и работал

в Москве. Арестован в нач. 1880 г. и в следующем году назначен к высылке в Томскую губернию. Умер от чахотки.

Тищенко, Юрий Макарович («Титыч»). После раскола «Земли и Воли» вступил в «Черный Передел», но вскоре же уехал за границу. В 1882 г. вернулся в Россию, был задержан и выслан в Акмолинскую область. Впоследствии был крупным промышленным деятелем.

Мощенко, Никандр Платонович, арестован в августе 1879 г. по делу об убийстве харьковского губернатора Кропоткина и выслан административно в Сибирь.

Попов, Михаил Родионович (1851—1909), один из видных революционных деятелей эпохи «Земли и Воли» и «Нар. Воли». Начав с кружка самообразования Кибальчича, он перешел к пропаганде, главным образом, среди рабочих Петербурга и провинции; вместе с Плехановым участвовал в проведении стачки 1878 г. Принимал участие в попытке устроить «поселение» в Воронежской губ. Был непосредственным исполнителем в феврале 1879 г. приговора над Рейнштейном. После раскола «Земли и Воли» сначала примыкает к «Черному Переделу» и, в качестве его члена, уезжает на работу в Киев, но вскоре возбуждает вопрос о воссоединении обеих организаций и, после непринятия предложения, вступает в сепаратное соглашение с народовольцами на Юге. Арестован в феврале 1880 г., судился по делу «21-го» и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на Каре, в Петропавловской и Шлиссельбургской креп. Вышел из крепости по амнистии 1905 г.

Аптекман, Осип Васильевич (1849—1926). После раскола «Земли и Воли» вступил в «Черный Передел». 13 января 1880 г. арестован и в 1881 г. выслан на 5 лет в Якутскую область (вернулся к нач. 1887 г.). В 90-х гг. участвовал в «Нар. Праве», а к концу того же десятилетия стал с.-д. Аптекман много работал по истории революционного движения 70-х годов.

Зунделевич, Арон Исаакович («Мойша») (1854—1923), видный деятель «Земли и Воли» и «Нар. Воли» (член Исп. Ком.), исключительно много сделавший для движения в области «техники» (постановка двух тайных типографий, организация нелегального транспорта через границу и пр.). Арестован в 1879 г., судился по делу 16-ти в 1880 г. и приговорен к бессрочной каторге. Отбывал каторгу на Каре. В 1906 г., вернувшись с поселения, уехал за границу. Умер в Лондоне.

По своим взглядам Зунделевич стоял несколько особняком от других революционеров-семидесятников и считался близким к позиции европейской с.-д.

Квятковский, Александр Александрович (1852—1880). Революционную деятельность начал в первой половине 70-х гг., принявши, между прочим, участие в устройстве слесарной мастерской в Хотушах, Тульской губ. (вместе с братом своим Тимофеем, осужденным на каторгу по делу 193-х). В качестве землевольца в 1877 г. вступил в нижегородское поселение, а в 1878 г., вместе с Поповым и др., подготовлял устройство поселения в Воронежской губ. В обозначившейся к весне 1879 г. борьбе течений внутри «Земли и Воли» выступил решительным сторонником новой тактики и после раскола был активным и видным деятелем

Исп. Ком. «Нар. Воли». Арестован в ноябре 1879 г., судился по процессу 16-ти в 1880 г. и приговорен, вместе с Пресняковым, к смертной казни, которая приведена 4 ноября того же года в исполнение.

Михайлов, Адриан Федорович (род. в 1853 г.). Арестован в октябре 1878 г. В мае 1880 г. судился за участие в убийстве Мезенцова и приговорен к смертной казни, замененной 20-летней каторгой, которую отбывал на Каре. По манифестам 1894 и 1895 гг. перешел на поселение в Забайкальскую область. В 1906 г. во время действий карательной экспедиции Ренненкампфа подвергся заключению на 1 год. В 1907 г. вернулся в Евр. Россию. В настоящее время живет в Ростове-на-Дону.

Плеханов, Георгий Валентинович (1856 — 1918), впоследствии один из руководящих деятелей русской и международной социал-демократии. В «Земле и Воле» был одной из главных литературных ее сил (между прочим, входил в состав редакции журн. «Земля и Воля») и центральной фигурой по работе среди петербургских рабочих. После раскола «Земли и Воли» был в числе основателей «Черного Передела» и редактором печатного органа под тем же названием. В начале 1880 г. эмигрировал за границу, где в течение ближайших лет перешел на точку зрения социал-демократии и в 1883 г., совместно с Аксельродом, Засулич, Дейчем и Игнатовым, учредил с.-д. группу «Освобождение Труда, проделавшую в 80-х и 90-х гг. (в лице, гл. обр., самого Плеханова) громадную работу по борьбе с народническими теориями и по распространению марксистских идей. С 1895 г. по 1898 г. руководил организованным группой «Осв. Труда» «Союзом русских с.-д.», затем, когда в «Союзе» возобладали оппортунистические (близкие к «экономизму») элементы, повел с ними решительную борьбу. С конца 1900 г. вошел в состав редакции «Искры» и «Зари». На 2-м съезде РС-ДРП в 1903 г. примкнул к большевикам, но вскоре перешел к их противникам. В 1905 — 7 гг. занимал позицию на правом фланге меньшевиков. В период реакции отмежевывается от основного ядра меньшевиков (т. наз. «ликвидаторов»), ведя против последних борьбу в союзе с большевиками. С начала мировой войны становится крайним социал-патриотом, каковым остается и после революции, когда он вернулся в Россию.

Харизоменов, Сергей Андреевич (1854 — 1917). После раскола «Земли и Воли» примкнул к чернопередельцам, но вскоре же совершенно устранился от практического участия в революционном движении и отдался целиком экономико-статистическим исследованиям, ставши впоследствии чрезвычайно видным работником на поприще земской статистики.

Оболешев («Сабуров»), Алексей Дмитриевич (род. в 1854 г.). Арестован в октябре 1878 г. Судился в мае 1880 г. вместе с О. Натансон, Адр. Михайловым и др. и приговорен к смертной казни, замененной 15-летней каторгой. Умер вскоре после суда.

Лизогуб, Дмитрий Андреевич (1850 — 1879). Одним из первых среди землевольцев стал склоняться к политике и террору, принимая участие в начинаниях Валериана Осинского. Свое крупное состояние стремился реализовать в пользу организации и успел передать ей значительные суммы. В августе 1878 г. арестован и в 1879 г. судился по делу

28-ми. В числе пятерых обвиняемых (Лизогуб, Чубаров, Логовенко, Виттенберг и Давиденко) приговорен к смерти и казнен.

Игнатов, Василий Николаевич (1850 — 1885). После раскола «Земли и Воли» — чернопеределец; в 1883 г. один из учредителей с.-д. группы «Освобождение Труда». Умер за границей в самом начале деятельности группы.

Бух, Николай Константинович. После раскола «Земли и Воли» вступил в «Нар. Волю». В январе 1880 г. арестован при провале типографии в Саперном переулке и в том же году по делу 16-ти приговорен к 15-ти годам каторги, которую отбывал на Каре. После подачи прошения в 1890 г. получил разрешение выехать в З. Сибирь, а затем и в Петербург.

[67]) Драгоманов, Михаил Петрович (1841—1895), профессор и политический деятель, украинофил-федералист и автор научных трудов по истории, литературе и фольклору. С 1876 г. эмигрант. За границей в Женеве издавал и редактировал журнал «Громаду» на украинском языке и «Вольное Слово». Об его отношениях к Плеханову, его группе и к народовольцам и вообще об его положении среди эмигрантов см. кн. Заславского: М. П. Драгоманов, изд. Сорабкоп, Киев, 1924.

[68]) «Набат» — орган русских «якобинцев», издававшийся в Женеве в 1875 — 1881 гг. под ред. П. Н. Ткачева и неск. его единомышленников.

[69]) Дейч, Лев Григорьевич (род. в 1855 г.), известный революционный деятель. В рев. движении с 1874 г., весною 1875 г. ходил в народ»; в 1876 г. вступил в киевский бунтарский кружок, в 1877 г. арестован по Чигиринскому делу; бежал при помощи Фроленко из тюрьмы в 1878 г. и вскоре уехал за границу. Вернулся в Россию перед самым расколом «Земли и Воли», в которую был зачислен заочно на Воронежском съезде; после разделения был в числе учредителей «Черного Передела». В начале 1880 г. вновь уехал за границу. Здесь в 1883 г. был одним из основателей с.-д. группы «Освобождение Труда». В 1884 г. арестован в г. Фрейбурге и, выданный русскому правительству, судился за участие в покушении на убийство предателя Гориновича (в 1876 г.) и приговорен к каторге на 13 л. и 4 м. Отбывал каторгу на Каре. В 1901 г. бежал из Благовещенска, куда переехал за 2 года до того, за границу. В 1905 г. вернулся нелегально в Россию; в январе 1906 г. вновь арестован и выслан в Сибирь, но с дороги бежал и до 1917 г. оставался за границей. После февральской революции вернулся в Россию. В настоящее время живет в Москве.

Засулич, Вера Ивановна (1851 — 1919), известная революционная деятельница. В апреле 1869 г. арестована в связи с делом Нечаева. По освобождении, в марте 1871 г. выслана в Тверь, откуда в 1872 г. переведена в Солигалич, наконец, в 1873 г. в Харьков, где оставалась под надзором до 1875 г. После того вступила в кружок киевских бунтарей. Летом 1877 г., узнав о наказании в доме предв. закл., по распоряжению градоначальника Трепова, розгами Боголюбова (наст. фамилия — Емельянов), осужденного по делу о Казанской демонстрации 1876 г., отправилась в Петербург и 24 января 1878 г. стреляла в Трепова. Преданная суду присяжных 31-го марта того же года, была оправдана, освобождена и переправлена друзьями за границу. Вернулась накануне разделения «Земли и «Воли», в которую была зачислена, как и Дейч, заочно; после раскола

была в числе учредителей «Черного Передела». В нач. 1880 г. эмигрировала. За границей продолжала революционную деятельность. Между прочим, заведывала вместе с П. Лавровым заграничным отделом «Красного Креста», «Нар. Воли». В 1883 г. была в числе учредителей гр. «Осв. Труда». В конце 1900 г. вошла в состав редакции «Искры». В 1905 г. вернулась в Россию.

Стефанович, Яков Васильевич (род. в 1853 или 1854 г., умер в 1915 г.), известный революционный деятель 70-х и 80-х гг. Подлежал суду по большому процессу (193-х), но не был разыскан. Вместе с Дебагорием-Мокриевичем и др. положил начало южному бунтарскому кружку, сыгравшему крупную роль в революционном движении 70-х гг. Вместе с Дейчем и Бохановским сделал попытку поднять крестьян Чигиринского уезда, пользуясь подложной царской грамотой. Арестованный по этому делу в 1877 г. и заключенный в киевскую тюрьму, бежал в 1878 г. с Дейчем и Бохановским и эмигрировал за границу. Вернулся в Россию одновременно с Дейчем и Засулич — накануне раскола «Земли и Воли», в которую, как и они, был принят на Воронежском съезде. После разделения участвовал в основании «Черного Передела». В мае 1880 г. уехал за границу; в 1881 г., по возвращении оттуда, вступил в партию «Нар. Воли» (членом Исп. Ком.). В феврале 1882 г. был арестован и судился по делу 17-ти в 1883 г. Приговорен к бессрочной каторге, замененной 8-летней каторгой. Отбывал наказание на Каре. Находясь в заключении, вызвал подозрения у товарищей своим двусмысленным поведением (сношениями с тогдашним директором департамента полиции В. К. Плеве, которому обязан был значительным смягчением приговора).

[70]) Власовский, Александр Александрович, московский оберполициймейстер в 90-х гг.; после «ходынской катастрофы» — во время коронации Николая II — уволен.

[71]) Подлевский, Антон Александрович. Арестованный по политическому делу, заболел в тюрьме чахоткой и в феврале 1878 г. умер в Николаевском госпитале. Похороны его превратились в внушительную антиправительственную демонстрацию, успеху которой отчасти содействовал вызывающий образ действий полиции.

[72]) Тихонравов, Николай Саввич (1832—1893), известный историк литературы, в 1877—83 гг. состоял ректором Московского университета.

[73]) Сидорацкий, Григорий Петрович. Привлекался по делу 50-ти и приговорен был к заключению в смирительном доме на 6 недель. Демонстрация на панихиде по Сидорацком состоялась 4 марта 1878 г.

Викторов, Петр Петрович — впоследствии известный врач-психиатр и автор работ по психиатрии и евгенике. В это время он учился на медиц. фак. Моск. университета и был одним из руководителей революционной студенческой молодежи. Свое выступление 27 марта 1881 г. на диспуте И. И. Иванюкова (тема последнего: «Основные положения экономической политики с Ад. Смита до настоящего времени»), о котором говорит дальше Тихомиров, Викторов описал в статье, помещенной в «Пролетарской Революции», № 6—7 (18—19) за 1923 г. — «Первое открытое революционно-марксистское выступление в России в 1881 г.».

[74]) Ольхин, Александр Александрович (1839—1897), присяжный поверенный, выступавший по делу о «Казанской демонстрации» 1876 г. и по делу 50-ти. В 1879 г. арестован и выслан в Вологодскую губ., вскоре привлечен к суду по делу Мирского (покушение на Дрентельна) и, хотя оправдан, но опять выслан в Вологодскую губ., а оттуда переведен в 1880 г. в Пермскую г. По окончании срока жил в Нижнем, затем под Белоостровом. В 1895 г. разрешено жить в Петербурге. Ему принадлежат стихотворения на гражданские темы (напр., «У гроба» — на смерть Мезенцова).

[75]) Веймар, Орест Эдуардович (1845—1885), врач, находился в близких отношениях со многими революционерами и оказывал им поддержку. Независимо от Соловьевского дела, подозревался в участии в убийстве Мезенцова. Арестован в 1879 г., в мае след. года судился вместе с Адр. Михайловым, О. Натансон и др. Приговорен к 10 г. каторги. Отбывал каторгу на Каре, в 1885 г. вышел в «вольную команду» и вскоре умер.

[76]) Соловьев, Александр Константинович (1846—1879). Начав свою революционную деятельность в 70-х гг., первое время занимался пропагандой среди крестьян, работая в кузнице, сельским учителем, волостным писарем. Затем пришел к мысли о терроре, и 2 апреля 1879 г. произвел выстрел в Александра II. Приговоренный Верховным угол. судом к смертной казни 25 мая 1879 г., казнен публично 28 мая. Покушение совершил по личной инициативе, независимо от организации, но при поддержке некоторых землевольцев (напр., Ал-дра Михайлова).

[77]) Гольдсмит, Исидор Альбертович, редактор радикальных журналов «Знание» и «Слово», впоследствии ренегат.

[78]) Мышкин, Ипполит Никитич (1848—1885), один из наиболее выдающихся революционных деятелей 70-х гг. В 1874 г. в Москве поставил печатание революционной литературы; в связи с провалом его типографии бежал за границу. Вернувшись оттуда в 1875 г., предпринял попытку освободить из Вилюйска Чернышевского и при этом был арестован. Судился по делу 193-х (на суде произнес известную речь) и был приговорен к 10 г. каторжных работ. Сидел в Новобелгородской и Новоборисоглебской тюрьмах, затем отправлен на Кару. За речь, произнесенную в Иркутске на похоронах Дмоховского, ему увеличили каторгу на 15 л. С Кары в 1882 г. бежал, но был пойман во Владивостоке, возвращен на Кару и в 1883 г. отправлен в Петербург. Заключен сначала в Петропавловскую крепость, а затем в 1884 г. переведен в Шлиссельбург. Здесь в январе 1885 г. расстрелян за то, что бросил тарелку в ротмистра Соколова («Ирода»).

[79]) Ивичевичи, бр. Иван и Игнат, члены кружка Осинского. Иван участвовал в покушении на Котляревского в 1878 г. При аресте 11 февраля 1879 г. в Киеве на Жилянской ул. во время вооруженного сопротивления оба были ранены и умерли от ран.

Сентянин, Александр Евграфович, член кружка В. Осинского; при аресте в Харькове в конце 1878 г. оказал вооруженное сопротивление; умер 26 мая 1879 г. в Петропавловской крепости.

Брантнер, Людвиг, из харьковского народнического кружка, также участник террористических предприятий Осинского. Привлеченный по

делу о вооруженном сопротивлении на Жилянской ул. в 1879 г. и приговоренный к смертной казни, был казнен 14 мая того же года.

«Рафаил», член «харьковско-ростовского кружка» (Аптекман, «Земля и Воля» 70-х гг., изд. 1907 г., 91).

[80]) Жебунев, Владимир Александрович (род. в 1848 г.). В 1872 г. уехал в Цюрих. По возвращении в Россию занялся пропагандой (был учителем в Черниговской губ., работал в сапожной мастерской в Харькове). Арестованный в 1874 г. и привлеченный по делу 193-х, был оправдан судом и отдан под надзор полиции без права отлучки. В 1880 г. скрылся из-под надзора и принял выдающееся участие в деятельности одесской народовольческой группы; позднее вызван в Москву и принят в состав Исп. Ком., но вскоре после того арестован. В 1882 г. сослан в Восточную Сибирь на 5 лет.

[81]) Быковцев, Николай, начал революционную деятельность в середине 70-х гг. в ростовском кружке (Тищенко, Гартман, и др.), позднее работал в саратовской группе землевольцев. В 1879 г. привлекался по делу об убийстве харьковского губернатора Кропоткина.

[82]) Осинский, Валериан Андреевич (1853—1879), начал революц. деятельность также в ростовском кружке, затем был среди членов учредителей «Земли и Воли»; с осени 1877 г. работал в Киеве. Пионер террора, как системы борьбы революционеров с правительством; главный организатор террористических актов на юге (покушение на Котляревского, убийство Гейкинга, убийство Кропоткина и, м. б., убийство Никонова). Арестован 24 января 1878 г. в Киеве и, преданный военному суду, приговорен к смертной казни и повешен 14 мая того же года.

[83]) Гейкинг был убит 25 мая 1878 г. Григорием Попко. Покушение на Котляревского произведено 23 февраля 1878 г. Никонов убит 1 февраля 1878 г.

[84]) Желябов, Андрей Иванович (1851—1881), один из крупнейших деятелей «Народной Воли». Революционную работу начал в 1873 г., вступив в кружок Волховского в Одессе. Арестованный осенью 1874 г., освобожден в марте 1875 г. под залог, затем снова арестован незадолго до суда по делу 193-х. Судом оправдан. Участник Липецкого и Воронежского съездов, вступил после разделения «Земли и Воли» в Исп. Ком. «Нар. Воли»; кроме террора, много занимался организацией и пропагандой среди интеллигенции и рабочих. Между прочим, им основана «Рабочая Газета» в 1880 г. Арестован 27 февраля 1881 г. Преданный суду по делу 1-го марта 1881 г., приговорен к смертной казни. Казнен 3 апреля 1881 г.

[85]) Сергеева, Екатерина Дмитриевна, впоследствии жена Тихомирова; до переезда в Петербург принадлежала в Орле вместе с Ошаниной к «якобинскому» кружку Зайчневского. На Воронежском съезде принята была в «Землю и Волю», после раскола вошла в состав Исп. Ком. «Нар. Воли». О дальнейшей судьбе ее см. в воспоминаниях и дневнике Тихомирова.

[86]) Суд приговорил Тихомирова к лишению всех особенных прав и преимуществ и к ссылке в Тобольскую губ., но ходатайствовал о вменении ему в наказание продолжительного предварительного заключения и освободил его из-под стражи. Отданный, по выс. повелению, о чем

говорится в воспоминаниях, на поруки своему отцу, ст. врачу Крымского воен. госпиталя, Тихомиров скрылся.

[87]) Тихомиров явился в Петербург, повидимому, в декабре 1878 г. (а не в октябре, как пишет он сам — ср. стр. 241).

[88]) Грибоедов, Николай Алексеевич (1842—1901), стоял близко к революционным организациям 70-х гг. и оказывал движению серьезные услуги (между прочим, участвовал в выработке плана побега Н. Г. Чернышевского и ездил по этому делу в Сибирь, при чем вывез оттуда В. Черкезова; содействовал бегству Лопатина и т. д.).

[89]) Кравчинский, приехавший из-за границы задолго до ареста О. Натансон, вскоре после этого ареста, случившегося 12 октября 1878 г., тоже выбыл из строя землевольцев, вынужденный бежать за границу. (И арест и бегство стояли в связи с розысками, вызванными убийством Мезенцова.)

[90]) Ошанина, Мария Николаевна (урожд. Оловенникова), по второму мужу Баранникова; за границей жила под именем Полонской, Марины Никаноровны (1853—1898). Революционное воспитание получила на родине, в Орле, в кружке Зайчневского, оставшись сторонницей воспринятых там якобинских взглядов и в дальнейшем. Стояла в стороне от «Земли и Воли» до 1878 г., когда не только приняла участие в попытке освободить Войнаральского, о чем говорит Тихомиров, но и примкнула со своим кружком к групше землевольцев, пытавшихся устроить поселение в Воронежской губ. Участвовала в Липецком и Воронежском съездах (на последнем вошла формально в «Землю и Волю»). После раскола вошла в состав Исп. Ком. «Нар. Воли». Переехала после 1 марта в Москву, где содействовала (вместе с Теллаловым) развитию деятельности тамошней группы. В 1882 г. эмигрировала за границу, где представляла с Тихомировым «Нар. Волю». Позднее участвовала в группе «старых народовольцев».

[91]) Зайчневский, Петр Григорьевич (1842—1896), революционер-якобинец с 60-х гг., автор прокламации «Молодая Россия» (1862). Арестованный в 1861 г. по делу печатания московскими студентами заграничных изданий, был приговорен к каторжным работам. С 1868 г., по возвращении из Сибири, был неоднократно арестован за организацию кружков молодежи.

[92]) Оболенский, Леонид Егорович («М. Красов») (1845—1906), публицист, философ, беллетрист. В 1866 г. привлекался по делу Каракозова. В течение 1877—1891 гг. издавал журналы «Свет», «Мысль» и «Русское Богатство».

[93]) Попытка освободить Войнаральского, Порфирия Ивановича (1844—1898), одного из центральных деятелей движения в народ, по делу 193-х приговоренного к 9 г. каторжных работ, имела место 1 июля 1878 г., по дороге в Харьковский централ; в числе участников попытки были также Фроленко, Квятковский, «Фомин»-Медведев.

[94]) Баранников, Александр Иванович («Кошурников») (1858—1883), землеволец, участвовал в нижегородском поселении, в подготовке воронежского поселения, в попытке освободить Войнаральского, в убийстве Мезенцова; после разделения «Земли и Воли» вошел в Исп. Ком. «Нар. Воли» и принимал выдающееся участие в его террористической работе.

Арестованный в январе 1881 г. и приговоренный по процессу 20-ти в 1882 г. к бессрочной каторге, заключен в Алексеевский равелин, где и умер 6 авг. 1883 г.

[95]) Речь идет об освобождении не «одного из провозимых», а «Фомина» (Медведева, А. Ф.), участвовавшего в попытке освободить Войнаральского и после того арестованного. В жандармской форме явились Березнюк (наст. фамилия Тищенко) и Рашко, арестованные при этом и судившиеся в 1879 г. военно-окружным судом; до этой попытки, бывшей в октябре 1878 г., Медведев-Фомин пытался бежать в августе путем подкопа, но был задержан. Описание этих попыток и последовавшего в феврале 1879 г. суда над Медведевым было дано в «Листке Земли и Воли» в №№ 1 и 2—3 (Медведев был приговорен к каторге).

[96]) Покушение на жизнь главного начальника третьего отделения соб. его имп. вел. канцелярии и шефа жандармов Ник. Вл. Мезенцова было задумано, главным образом, в виду его роли в решении участи подсудимых по делу 193-х: суд, определив следовавшие, по его мнению, подсудимым по закону наказания, в то же время нашел необходимым ходатайствовать перед царем о весьма значительном их смягчении, но ходатайство это было решительно опротестовано III Отделением, в результате чего оно не было удовлетворено в отношении очень большой части подсудимых, и, кроме того, III Отделению было предоставлено расправиться административно со многими из тех, кто был судом оправдан, либо кому было вменено в наказание продолжительное предварительное заключение.

Исполнение покушения пришлось на дни, следовавшие за казнью в Одессе Ив. Март. Ковальского (Мезенцев убит 4 авг. 1878 г., а Ковальский казнен 2 авг.), вследствие чего оно приняло также характер непосредственного ответа революционеров на эту казнь (объяснению мотивов покушения посвящена была исполнителем его С. М. Кравчинским брошюра «Смерть за смерть», отпечатанная в землевольческой «вольной типографии», перепечатана Гос. Изд. в Петрограде в 1920 г.).

[97]) Ширяев, Степан Григорьевич (1857—1881), занимался пропагандой среди рабочих Петербурга, затем вступил в партию «Нар. Воли» при самом ее возникновении и, будучи членом Исполнительного Комитета, работал в качестве техника по изготовлению динамита. Принимал активное участие в подкопе для взрыва царского поезда в Москве 19 ноября 1879 г. Арестованный 4 дек. 1879 г. и преданный в 1880 г. суду по делу 16-ти, приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Заключен в Алексеевский равелин, где и умер 18 авг. 1881 г.

[98]) Вопросы, затронутые Тихомировым в этих строках, не получили пока исчерпывающего разъяснения в нашей исторической литературе. Во всяком случае Тихомиров входил в состав возникшего около мая 1879 г. кружка сторонников нового направления: «Свобода или смерть». Правда, по словам В. Н. Фигнер, кружок этот «в боевом смысле активно себя ничем не проявил», но он был связан через некоторых своих членов (Морозова, Квятковского) с группой, практически осуществлявшей с начала этого года террор.

[99]) Жуковский, Николай Иванович (1842—1895), бакунист, член Юрской Федерации Интернационала, друг Герцена. Привлеченный в 1862 г.

по делу «карманной типографии» бежал за границу (при содействии польских революционеров) и, после отказа на вызов правительства вернуться в Россию, был объявлен навсегда изгнанником. В конце 60-х и 70-х гг. участвовал в револ. изд. «Народное Дело», «Община». Неоднократно упоминается ниже в дневнике Тихомирова.

[100]) «Начало» — нелегальный журнал, издававшийся в Петербурге с марта по май 1878 г. Вышло 4 номера, которые воспроизведены Богучарским, в книге «Революционная журналистика семидесятых годов».

Венцковский, Александр Иванович, род. в 1854 г. В 1879 г. привлекался к дознанию по делу о пропаганде в Варшаве и заключен под стражу в Варшавской Алекс. цитадели. 2 апр. 1880 г. выслан в В. Сибирь и поселен в г. Минусинске.

[101]) Зиновьев, Николай Алексеевич, отставной капитан, начальник механической мастерской Патронного завода в Петербурге (род. в 1845 г.). В феврале 1879 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, а затем привлечен по делу 58-ми (дело Ненсберга). Обвинялся в хранении у себя шрифта тайной типографии, взятой на Гутуевском острове, и в принадлежности к преступному сообществу. Дело кончилось административной высылкой (в августе 1881 г.).

Бух, Лев Константинович (1847 — 1917), впоследствии довольно видный экономист. Арестован также в феврале 1879 г. и привлечен по тому же делу 58-ми. Пробыл под стражей $1^1/_2$ г. В 1881 г. эмигрировал, провел 5 лет в Париже.

Астафьев, Александр Алексеевич, подлежал аресту по тому же делу, но скрылся и был задержан лишь впоследствии.

[102]) Крылова, Мария Константиновна (род. в 1842 г.). Впервые была привлечена в связи с делом Каракозова. В конце 60-х или начале 70-х гг. ездила для изучения типографского дела за границу. Впоследствии работала в землевольческой типографии, а после раскола «Земли и Воли» в типографии «Черного Передела». Арестована при разгроме типографии (в ночь на 28 января 1880 г.). В сент. 1881 г. приговорена судом к ссылке на житье в Иркутскую губ. По возвращении жила в Воронеже и там же умерла.

Грязнова, Мария Васильевна (род. в 1858 г.). После раскола работала в типографии «Нар. Воли». Арестована при аресте типографии (в ночь на 18 янв. 1880 г.), во время которого было оказано вооруженное сопротивление. Судилась в 1880 г. по делу 16-ти и приговорена к 15-летней каторге, замененной ссылкой на поселение.

Лубкин, Абрам («Птица», «Пташка») (1857 — 1880). После раскола работал в типографии «Народной Воли». Во время разгрома типографии застрелился.

[103]) Речь идет не об известном защитнике В. И. Засулич — Петре Акимовиче Александрове, а о гласном нижегородского земства Петре Александровиче Александрове. Александров был арестован вслед за арестом Клеменца, но вскоре заболел психическим расстройством, и дело в отношении его было прекращено.

[104]) «Императоры заговорили» — начало статьи Клеменца в № 2 «Земли и Воли», названной в оглавлении «Образцы державного

красноречия» (по поводу речей Александра II и Вильгельма I). Перепечатано в кн. В. Богучарского «Революционная журналистика семидесятых годов».

[105]) Характеризуя позицию Плеханова, Тихомиров, несомненно, приписывает ему отчасти такие взгляды, которые им усвоены значительно позднее. В то время Плеханов теоретически оставался вполне верным народничеству.

[106]) Н. А. Морозов, действительно, немного писал в «Земле и Воле»; зато из его статей, главным образом, составлялся им же редактировавшийся «Листок Земли и Воли», издававшийся с марта 1879 г.

[107]) «Община» — журнал, издававшийся в 1878 г. в Женеве группой бакунистов, предоставлявшей, впрочем, страницы его для различных соц.-революц. течений. В нем сотрудничали Клеменц, Кравчинский, Жуковский, Аксельрод, Стефанович, Драгоманов и др.

[108]) Клеточников, Николай Васильевич (1847—1883). Характеристика его деятельности у Тихомирова на след. странице. Арестован в янв. 1881 г. Судился по делу 20-ти в 1882 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключен в Алексеевский равелин, где и умер 13 июля 1883 г.

[109]) Мартыновский, Сергей Иванович (1859—1926). Привлекался по делу 16-ти в 1880 г. и приговорен к 15 годам каторги, увеличенной на 6 лет за попытку бежать. По манифесту 1891 г. вышел на поселение.

[110]) Кибальчич, Николай Иванович (1853—1881). В 1875 г. арестован по обвинению в распространении революционной литературы. В 1878 г., после трехгодичного предварительного заключения, приговорен по этому делу особ. присутствием сената к заключению в тюрьме на 1 мес. Позднее, с образованием «Нар. Воли», вступил в нее и заведывал динамитной мастерской. Участвовал во всех главнейших террористических актах партии. Под его руководством приготовлены были бомбы для покушения 1 марта. Арестован 17 марта 1881 г. Казнен в числе 5-ти первомартовцев. После его смерти остался план изобретенного им воздухоплавательного аппарата.

[111]) Убийство Рейнштейна, Николая Васильевича, произошло 26 февраля 1879 г. в Москве в б. Мамонтовской гостинице. Убийство совершил М. Р. Попов (см. Аптекман «Земля и Воля», 2-е изд. 1924 г., стр. 240—241), при участии двух других революционеров, из которых одним был, повидимому, Шмеман (письма Зунделевича к Дейчу, «Группа Освобождение Труда». Сборник № 3, стр. 199).

[112]) Покушение на жизнь шефа жандармов А. Р. Дрентельна произведено Л. Ф. Мирским 13 марта 1879 г.— Покушение Соловьева состоялось 2 апр. того же года. Для характеристики образа действий Александра Михайлова и его единомышленников в этом деле на ряду с ранее опубликованными материалами (напр. воспоминания М. Попова в «Былом», 1907 г., № 7), существенно показание Зунделевича в письме к Дейчу (Группа «Освобождение Труда» Сборник № 3, стр. 207), согласно письму, организация, в конце концов, согласилась на то, чтобы Соловьеву была оказана помощь «террористами», однако, на это решение повлияли уверения «террористов», что Соловьев все равно совершит покушение, независимо от того, окажут ли

ему помощь или нет. А между тем, по предположению Зунделевича Соловьев отказался бы от своего намерения, если бы его об этом настойчиво просили.

[113]) Брошюра эта (ее название: «Террористическая борьба») издана Н. А. Морозовым в 1880 г. за границей, куда он уехал после ареста типографии «Нар. Воли».

[114]) Свой взгляд на значение террора Кравчинский высказал тогда в своей брошюре «Смерть за смерть» (ср. прим. 96) и в передовой № 1 «Земли и Воли» (переп. В. Богучарским в кн. «Революционная журналистика семидесятых годов»).

[115]) «Листок Земли и Воли» выходил с марта по июнь 1879 г. под ред. Н. А. Морозова. Вышло шесть номеров (воспроизведен в кн. В. Богучарского «Революционная журналистика семидесятых годов»).

[116]) Добровольский, Иван Иванович (род. в 1849 г.), врач. Привлекался по делу 193-х, освобожден на время суда на поруки, затем, будучи приговорен к 9 г. каторги, скрылся за границу, где прожил до возвращения в Россию в 1905 г. Живя за границей, сотрудничал под псевдонимом «Денисова» и др. в «Деле», «Порядке», «Отечеств. Записках», «Русской Мысли», «Русск. Ведомостях» и других изданиях.

[117]) Судейкин, Георгий Порфирович, инспектор секретной полиции, организатор провокации в 80-х гг. Убит 16 дек. 1883 г. на квартире С. Дегаева, при его помощи, Стародворским и Конашевичем.

[118]) Златопольский, Савелий Соломонович (1858—1885), выдающийся деятель «Нар. Воли», член Исп. Комитета, арестован в апреле 1882 г., судился по делу 17-ти в 1883 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой; умер в Шлиссельбургской крепости.

Грачевский, Михаил Федорович (1849—1887). Арестован в 1875 г., судился по делу 193-х и, приговоренный к заключению на 3 мес., освобожден, по ходатайству суда, от этого наказания. Тем не менее, выслан в том же 1878 г. административно в Архангельскую губ. В след. году бежал из ссылки и вступил в Исп. Ком. «Нар. Воли». Был хозяином квартиры, где помещалась типография, занимался изысканием денежных средств для партии, руководил позднее динамитной мастерской и т. д. Арестован в июне 1882 г., судился по делу 17-ти и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Покончил с собой в октябре 1887 г. в Шлиссельбурге.

Стефанович, Яков Васильевич, арестован в феврале 1882 г. и судился по тому же делу 17-ти (ср. прим. 69).

[119]) Статья Тихомирова «С низовьев Дона» помещена была в №№ 9 и 10 журн. «Дело».

[120]) «Вестник Народной Воли», задуманный еще в начале 1882 г., начал выходить лишь в конце 1883 г. Всего вышло 5 №№ (последний в 1886 г.). Печатался в Женеве. Ред.: Тихомиров и Лавров.

[121]) Доктор Коробов, А. М., издавал в Женеве журнал «Вестник Правды», «сборник материалов дела божия на земле», «первый официальный орган сынов божьих», как его называл сам издатель. Выходил с 1879 г. непериодически. Кроме того, Коробовым выпускались отдельно

брошюры и листки в виде писем и обращений к редакторам газет и журналов в России — Суворину, Цитовичу, Краевскому, к учреждениям (сенату), министрам (Лорис-Меликову) и Александру II — «Александру Николаевичу Романову, последнему царю Российской Империи» (о крамоле, которой «вы есть корень и род ее»). Наконец, он издал «манифест» к народам России, начинающийся словами — «Божиею милостью я, первенец Сиона, сын Истины». В своих произведениях Коробов всех изобличал и призывал к исправлению и предлагал своеобразные реформы, обнаруживавшие его очевидную ненормальность.

[122]) Эльсниц, Александр Людвигович (1849 — 1907). В 1869 г. исключен из Моск. университета за участие в т. наз. «полунинской истории», затем привлечен по нечаевскому делу, но эмигрировал за границу, где принимал участие в эмигрантских делах, в качестве видного бакуниста. В 80-х гг. сотрудничал в «Русских Ведом.», «Вестн. Евр.» и др. изданиях; сдав в Париже экзамен на врача, около 1887 г. поселился в Ницце, занимаясь медицинской практикой.

[123]) Перрон, Ш., деятель анархического крыла Первого Интернационала.

[123а]) Переговоры, о которых пишет Тихомиров, происходили в самом конце 1882 г.; «представителем» был известный литератор Ник. Як. Николадзе, направленный в действительности (как выяснилось уже впоследствии и чего не знал тогда и сам он) «Священной Дружиной», которая, повидимому, имела в виду, прежде всего, выяснить таким образом положение, намерения, состав народовольческой организации. Посредниками между Николадзе и революционерами были Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко; первый из них по этому делу ездил на юг к В. Н. Фигнер. Результатов переговоры, естественно, не имели, тем более, что возвращение Николадзе совпало почти с ликвидацией «Дружины» (о переговорах с Тихомировым рассказали и сам Николадзе — в «Былом», 1906, № 9 — и сопровождавший его за границу агент «Св. Друж.» К. А. Бороздин, инициатор всего предприятия, — в «Былом» же, 1907, № 10; ср. также у Богучарского: «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX в.»).

Еще раньше «Свящ. Дружина» посылала за границу своего агента (до последнего времени им считали д-ра Э. Нивинского; по предположению Д. Заславского, основанному на новых данных, это был некий Клименко), который, выдавая себя за уполномоченного «Земской Лиги», вел переговоры о прекращении террора с П. Л. Лавровым.

[124]) Еще в начале 1882 г., в связи с предположениями об издании за границей большого революционного журнала, названного потом «Вестником Нар. Воли», по инициативе Дейча приобретена была типография группы, издававшей в 70-х гг. газету «Работник». Заведывание типографией было возложено на Дейча, отпечатавшего в ней ряд изданий (сб. «На родине» и др.). Позднее, летом 1883 г., когда отношения группы б. чернопередельцев с народовольцами вновь обострились, заведывание типографией перешло к «Полену» (Френкелю).

[125]) Бохановский, Иван Васильевич, был арестован вместе со Стефановичем и Дейчем по Чигиринскому делу, с ними бежал в 1878 г.

из тюрьмы и эмигрировал. В описываемое время работал в типографии «Вестника Нар. Воли».

«П о л е н» — Френкель, Як. Саввич, член одесской народовольческой группы, незадолго до описываемых событий бежавший за границу.

[126]) Упоминаемые совещания были, несомненно, одним из этапов в переговорах о согласовании работы между народовольцами и польскими социалистами, видным деятелем которых был Казимир Длуский (член ред. «Рувносци», «Пржедсвита», «Walka Klas», впоследствии один из основателей P. P. S.). Перед тем вел об этом переговоры приезжавший из Варшавы Л. Варынский, но тогда они окончились без определенного результата. Оформить соглашение пришлось уже весною 1884 г. С. Куницкому. Гласным результатом заключенного соглашения явилось опубликование в органах договаривающихся партий «Общих оснований программы и организац. деятельности Центр. Ком. соц.-рев. партии «Пролетариат» и «Ответа Исполнительного Комитета Партии Нар. Воли» (перепечатано впоследствии из № 10 «Нар. Воли» в кн. В. Б о г у ч а р с к о г о «Литература партии Нар. Воли», а также в «Былом», 1906, № 4).

[127]) В период после 1 марта 1881 г. произошло известное сближение между группой бывш. чернопередельцев, к тому времени отказавшихся от своего отрицательного отношения к политической борьбе и все более становившихся на почву марксизма, с народовольцами. Одним из результатов этого сближения было участие Плеханова и его друзей в подготовке издания «Вестника Нар. Воли». Но, в виду возникших незадолго до выхода первой книги журнала разногласий между сторонами (в связи с уклонением Тихомирова и Ошаниной от принятия в «Нар. Волю» чернопередельцев не персонально, а всей группой), Плеханов отказался от участия в редакции, а затем взял обратно и приготовленную для журнала статью «Социализм и политическая борьба», которая вызвала у издателей неудовольствие, вследствие содержавшейся в ней критики народовольчества. Окончательно отношения между обеими группами испортились после истории с перехваченными письмами Стефановича, которую Тихомиров рассказывает ниже.

Статья Плеханова, в несколько переработанном виде, была вскоре издана отдельной брошюрой, которая явилась первым (если не считать предварительного объявления об издании «Библ. Совр. Социализма») изданием вновь образованной группы «Освобождение Труда».

В первой книге «Вестника Нар. Воли» осталась лишь обширная рецензия Плеханова на книгу проф. Н. Я. Аристова о Щапове, вышедшую в том же году в Петербурге. Эту рецензию и имеет в виду в последних словах Тихомиров.

[128]) Редакция «Вестн. Нар. Воли» получила обвинительный акт по делу Дубровина и др. лиц, обвинявшихся в сношениях с Алексеевским равелином, затем различные сведения о сношениях Нечаева и часть его переписки из равелина. На основании этих материалов Тихомировым был составлен очерк «Арест и тюремная жизнь Нечаева», с большими выписками из материалов и комментариями. Очерк и вместе с ним «Воспоминания о С. Г. Нечаеве» («З. Р.» — т.-е. З. Ралли) помещены в № 1 «Вестника Нар. Воли» под общим заголовком «Материалы о Нечаеве».

[129]) **Павловский**, Исаак Яковлевич. Привлекался по процессу 193-х и после оправдания выслан на север, откуда бежал за границу. Живя там, стал сотрудничать в русских и иностранных изданиях. Впоследствии решительно изменил свои взгляды и со второй пол. 80-х гг. сделался видным сотрудником «Нового Времени» (под псевдонимом «Яковлева»). Павловский был близок с Тихомировым и оказал известное влияние на его эволюцию.

«**Календарь Нар. Воли**» — революц. месяцеслов и сборник статей, изданный в 1883 г. в колич. 1000 экз. Иохельсоном под ред. и при ближайшем участии Тихомирова (а также при участии др. эмигрантов).

[130]) «Внутреннее обозрение» № 1 «Вестника Нар. Воли» составила статья Тихомирова «Новое царствование», характеризующая два года царствования Александра III.

[131]) **Надя** — дочь Тихомирова, оставленная в России.

[132]) «**Рабочая Газета**» издавалась народовольцами в 1880—81 гг. (3 №№). Основана при ближайшем участии Желябова. Сотрудниками, кроме него, были: Коковский, Франжоли, Саблин.

Прокламация, о которой говорит Тихомиров, по поводу еврейских погромов на юге, вышла на украинском языке за подписью по-русски: «Исп. Ком. Нар. Воли, 30 августа 1881 г.» и носила резко антисемитский характер. Автором ее был Герасим Романенко, член Исп. Ком. «Нар. Воли» после 1 марта 1881 г., а потом ренегат. Воспроизведена в извлечениях Богучарским в кн. «Из истории политической борьбы», стр. 220 — 221.

[133]) **Рубанович**, Илья Адольфович (род. в 1860 г.), член одесской народовольческой группы; привлеченный к дознанию, выслан как иностранный подданный за границу и поселился в Париже, где оставался до конца жизни. Впоследствии представитель за границей партии с.-р., пропагандист и защитник ее интересов, член Междунар. Социал. Бюро. В описываемое время принимал участие в заграничных делах народовольцев (между пр., под псевдонимом «Ильяшевича» поместил статью по еврейскому вопросу в «Вестн. Нар. Воли»).

[134]) **Франжоли**, Андрей Афанасьевич (1849—1883), судился по делу 193-х, приговорен к ссылке в Тобольскую губ., при чем суд ходатайствовал о вменении ему в наказание предварительного заключения. Ходатайство удовлетворено, с тем, чтобы Франжоли состоял в течение 3-х лет под строгим надзором без права отлучки. Независимо от того выслан административно в Вологодскую губ. Здесь женился на Евг. Флориановне **Завадской**, также судившейся по делу 193-х и после оправдания высланной админ. на север. В нач. 1880 г. они вместе бежали из ссылки и присоединились к «Нар. Воле» (оба приняты в Исп. Ком.). В нач. 1883 г. вследствие тяжелой болезни Франжоли, уже не допускавшей активного участия его в революционной работе, они эмигрировали за границу. Здесь Франжоли через полгода умер, и после него покончила с собой Завадская. Тихомиров посвятил им некролог в № 1 «Вестника Нар. Воли».

[135]) **Туманова**, Екатерина Петровна (род. в 1854 г.), эмигрантка, жена Гамкрелидзе, а затем Зелинского. Привлекалась по делу 50-ти и присуждена была к 6 неделям заключения.

Жебунева, Мария Александровна, жена В. А. Жебунева (род. в 1854 г.). В 1872 г. была в Цюрихе в университете. В 1873 г. по возвращении в Россию поступила для пропаганды в сельские учительницы. Привлекалась по делу 193-х, но до суда отдана под надзор полиции. С Франжоли была связана по революционной работе на юге в 1873—1874 гг.

[136]) Дическуло, Леонид Аполлонович (род. в 1847 г.). В 1871 г. за участие в беспорядках в Петровской академии уволен и выслан на родину (Херсонск. губ.). Участвовал в кружке Пругавина и Аносова в Москве, затем в кружке Волховского. В октябре 1874 г. был арестован в с. Попельностом (на границе Полтавск. и Екатериносл. гг.), где им была устроена в целях пропаганды бондарная мастерская. Привлеченный по делу 193-х и оправданный, подлежал высылке, но скрылся. В 1879 г., избежав ареста во время вооруженного сопротивления в квартире на Жилянской ул. в Киеве, скрылся и в 1880 г. эмигрировал в Румынию.

[137]) Истории с письмами Стефановича, которой отведено много места в дневнике Тихомирова, неоднократно в последние годы касался в печати Дейч (особенно подробно в «Делах и Днях», кн. вторая, 1921 г., и «Прол. Рев.», № 8 (20), 1923 г.). Записки Тихомирова приводят к убеждению, что сообщения и предположения Дейча не вполне справедливы.

[138]) Заметка в библиографическом отделе № 1 «Вестника Нар. Воли», приветствующая появление, через две недели после ареста в Петербурге народовольческой типографии, «Листка Нар. Воли» (№ 1, от 20 июля 1883 г.).

[139]) Аксельрод, Павел Борисович (род. около 1850 г.). Член киевского кружка чайковцев, во время арестов 1874 г. бежал за границу, где примкнул к группе издателей газ. «Работник» (1875—76). В 1875 г. на время ездил нелегально в Россию. В 1878 г. член редакции журн. «Община». В 1879 г. вернулся в Россию; задержавшись довольно долго на юге, где он вел пропаганду среди рабочих и подготовлял организацию рабочего союза; приехал в Петербург уже после разделения «Земли и Воли» и вступил в «Черный Передел». В 1880 г. должен был снова уехать за границу. В 1883 г. был одним из учредителей группы «Освобождение Труда», и с того времени принимает активное участие в с.-д. партии, занимая в ней чрезвычайно видное положение (с 1903 г., после раскола, является одним из главных лидеров меньшевизма).

В «Вестнике Нар. Воли» (№№ 1 и 2) была напечатана ст. Аксельрода «Социализм и мелкая буржуазия», предназначенная для журнала в то время, когда считался решенным вопрос о совместной работе бывш. чернопередельцев с народовольцами.

[140]) А. И., или, как далее, А.—по всем данным, Неонила Михайловна Салова: все обстоятельства ее пребывания за границей, отъезда в Россию и ареста в 1884 г., как они представляются в дневнике Тихомирова, одинаковы для скрытого под этими инициалами лица и Саловой. Салова начала революционную деятельность в 1880 г. в Петербурге; в 1882 г., разыскиваемая полицией, переехала на работу в Одессу. Уехала за границу в конце 1882 г., посланная В. Фигнер для предупреждения Тихоми-

рова о миссии Николадзе. Здесь в начале 1884 г. при реорганизации «Нар. Воли» вошла вместе с Г. Лопатиным и Сухомлиным в состав Распорядительной Комиссии, после чего вернулась в Россию, сначала в Киев, оттуда в Петербург, где работала до ареста в октябре 1884 г. Судилась в 1887 г. по Лопатинскому делу («дело 21») и приговорена к смертной казни, замененной затем 20-летней каторгой. Отбывала ее на Каре, в конце 90-х гг. вышла на поселение.

141) Федершер, Григорий, член народовольческой группы в Одессе, эмигрировал в 1881 г., бежав из заключения, и за границей продолжал принимать участие в делах партии (ср. прим. 205).

142) Пекарская — жена польского соц. деятеля, судившегося по известному краковскому делу 1880 г. и после того жившего за границей (здесь участвовал в ред. «Пржедсвита» и «Walka Klas»).

143) Трусов — старый эмигрант, владел в Женеве большой наборной, которую предлагал незадолго до того купить народовольцам. Но Дейч со своим кружком предупредили их и купил наборную у Трусова. Позднее народовольцы получили ту часть трусовскаго шрифта, которая принадлежала набатовцам — об этом см. ниже в дневнике. Трусов в 1884 г. уехал в Россию.

144) «Голдовский» — Владимир Ильич Иохельсон, р. в 1853 г.; впоследствии видный этнограф. Революционную деятельность начал в середине 70-х гг. в разгромленном вскоре же виленском еврейском кружке (вместе с А. Зунделевичем, А. Либерманом и др.). После этого в течение нескольких лет проживал за границей и в разных местах России, занимаясь, между прочим, доставкой революционной литературы. К концу десятилетия, в 1879 — 80 гг., работает в Петербурге в «Народной Воле» (в динамитной мастерской, затем заведывает «паспортным столом», наконец, вместе с Г. Гельфман держит конспиративную квартиру). Эмигрировав в 1880 же году, одно время состоял заграничным агентом Исп. Комитета. В 1884 — 85 гг. заведывал типографией «Вестника Нар. Воли». Возвращаясь нелегально в Россию в 1885 г. арестован и после 3 лет заключения выслан в Восточную Сибирь на 10 лет. Кончил ссылку в 1898 г.

145) Павелко, Ольга Григорьевна, невеста Иохельсона. Впоследствии вышла замуж за А. Л. Караваева, врача, потом депутата II Гос. Думы, убитого черносотенцами в 1908 г.

146) Добровольская — жена Ив. Ив. Добровольского.

147) Лопатин, Николай Николаевич, участвовал вместе с Плехановым и др. в проведении известной петербургской стачки в феврале и марте 1878 г., выслан в Арханг. губ., а оттуда за попытку к побегу переведен в Верхоленск. В конце 1881 г. бежал из ссылки и затем эмигрировал. В 1888 г. получил разрешение вернуться.

148) Старшая барышня — Тетельман, Дора Александровна, вышедшая потом замуж за Когана-Симановского,

149) Павловская-старуха — мать Ис. Як. Павловского.

150) Лазарева — невеста Павловского.

151) Тихомиров имеет в виду составленный Лавровым для № 1 «Вестника Нар. Воли» обширный обзор рабочего и социалистического движения Зап. Европы и Америки («Общее обозрение: За пределами России»)

[152]) Точнее, «Приложение к Листку Нар. Воли» от 20 августа 1883 г. (Перед тем вышел «Листок Н. В.» № 1, помеченный 20-м июля и упомянутый ранее — на стр. 156. Перепечатан, как и «приложение», Богучарским в книге «Литература партии Народной Воли».)

[153]) «Новое царствование» — упомянутое выше внутреннее обозрение (ср. прим. 130).

[154]) Речь идет о письме Константина Маслова, который, хотя и считал себя последователем Драгоманова, тем не менее работал в сотрудничестве с народовольцами на юге. Находясь в заключении (он был арестован в Одессе в начале 1882 г.), Маслов послал 25 октября 1882 г. письмо на имя Драгоманова, в котором чрезвычайно резко характеризировал царящие, будто бы, в «Народной Воле» нравы, прося письмо опубликовать. Но Драгоманов от напечатания письма воздержался. (Выдержки из письма Маслова приведены в «Хронике социал. движения в России 1878 — 1887», русск. пер., 1907 г., стр. 248 — 9.)

[155]) Тетельман, Екатерина Александровна, вскоре после того вышедшая замуж за Э. А. Серебрякова.

[156]) Имеется в виду статья «Приложения к Листку Народной Воли» — «По поводу еврейских беспорядков», сочувственно описывающая Екатеринославский погром в июле 1883 г.

[157]) Элпидин, Михаил Константинович (1836 — 1908). Арестованный и осужденный на каторгу по «Казанскому делу» 1863 г. (суд был в 1864 г.), бежал за границу, где в течение нескольких десятилетий занимался издательством (между прочим, выпустил два №№ «Подпольного Слова», участвовал в издании «Народного Дела» и «Общего Дела»).

[158]) Петров, Дмитрий Григорьевич («Дилевич»), член одесской народовольческой группы. Арестованный в феврале 1882 г., дал на допросах откровенные показания. После того, как он был выпущен под залог, эмигрировал. Впоследствии в № 10 «Народной Воли» помещено было заявление, сильно смягчающее тот отзыв о Петрове в «Листке», о котором говорит Тихомиров.

[159]) Мечников, Лев Ильич (1838 — 1888), географ и публицист, автор известной работы «Цивилизация и великие исторические реки». В свое время участвовал в отряде Гарибальди и был тяжело ранен.

[160]) После неудачи переговоров с Тихомировым и Ошаниной, Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч и Игнатов образовали самостоятельную марксистскую группу «Освобождение Труда» и выпустили датированное 25 сент. 1883 г. объявление об издании «Библиотеки Современного Социализма» и вслед за этим отпечатали, в качестве первого ее выпуска, работу Плеханова «Социализм и политическая борьба».

[161]) Варынский, Людвиг-Фаддей Северинович (1856 — 1889), известный польский социалист. Розыскиваемый в 1878 г. по делу о пропаганде среди рабочих, бежал в Галицию. В 1879 г. был здесь арестован за деятельное участие в местном соц.-движении. Фигурировал в качестве главного обвиняемого в «Краковском процессе» и приговорен к 7-дневному аресту и высылке из Австрии. Прожил после того довольно долго в Швейцарии, где принимал, между прочим, участие в ред. журн. «Рувносць». В конце 1881 г. вернулся в Варшаву и развил там огромную работу,

положив в следующем году начало польской соц.-рев. партии «Пролетариат». 16 сент. 1883 г. арестован. Судился в конце 1885 г. по делу этой партии и приговорен к 16 г. каторги. Умер в Шлиссельбурге.

[162]) Малеванный, Владимир Григорьевич. Эмигрировал в 1881 г., бежав из ссылки в Сибири, в Швейцарию; за границей был близок с Драгомановым. Вернувшись затем в Россию для революционной работы, был вскоре же арестован в Киеве и сослан на 5 лет в Иркутскую губ., откуда переведен в Якутскую область. Умер в Сибири в 1892 г.

[163]) Коган, Соломон («Евг. Симановский», «Е. Семенов»), народоволец, работал в Одессе с В. Фигнер, эмигрировал в 1882 г., издавал в Женеве в 1888—9 гг. вместе с Турским журн. «Свобода». Здесь речь идет об его откровенных показаниях после ареста в Одессе в февр. 1882 г., вследствие которых он был выпущен на поруки.

[164]) Тургенев умер 22 августа 1883 г. в Буживале под Парижем. Из Буживаля тело его было перевезено в Париж, а оттуда затем в Петербург — для погребения на Волковом кладбище.

[165]) По поводу смерти Тургенева «Народной Волей» выпущена прокламация, составленная Якубовичем: «И. С. Тургенев», с приложением тургеневского стихотворения в прозе «Порог». Прокламация, как и упомянутая тут же брошюра «От мертвых к живым» (Письмо из Петропавловской крепости), воспроизведены Богучарским в кн. «Литература партии Народной Воли».

[166]) Русанов, Николай Сергеевич, литератор и политический деятель (род. в 1859 г.). Революционную деятельность начал в конце 70-х годов. Эмигрировав за границу в 1882 г., близко сошелся с Тихомировым, Ошаниной, Лавровым и принял участие в «Вестнике Народн. Воли» (под псевдон. «Тарасов»), а позднее явился одним из основателей «Группы старых народовольцев». Впоследствии — видный литератор партии соц.-революционеров. Из русских общелитературных журналов, гл. обр., писал в «Русском Богатстве», являясь с середины 90-х гг. одним из его ближайших сотрудников (под псевд. «Н. Кудрин» и др.). В 1905 г. вернулся в Россию. В настоящее время живет за границей.

[167]) Захарьин, Ник., видный деятель киевской народовольческой группы; вскоре же по возвращении из этой поездки за границу, отстал от движения и уехал на Кавказ. В 1885 г. был там арестован и выслан в Сибирь.

[168]) Сухомлин, Василий Иванович (р. в 1860 г.). Оказывал содействие революционерам, еще будучи на школьной скамье. 1879 — 1881 гг. провел за границей. Вернулся в Россию летом 1881 г., а с начала 1882 г. обосновался в Одессе, где принимал участие в работе местной группы «Нар. Воли». Вновь ездил за границу летом 1883 г., по вызову Тихомирова и Ошаниной, затем в нач. 1884 г., когда принимал участие в Парижском съезде народовольцев (ср. прим. 169) и был избран в состав Распоряд. Комиссии. Проработав затем несколько месяцев в Петербурге, отправился по делам партии на юг, и был там в августе того же года арестован — первым из состава членов Распор. Комиссии. Судился в 1887 г. по процессу 21-го и приговорен к смертной казни, замененной затем каторжными работами на 15 лет. Отбывал каторгу на Каре, в 1895 г. вышел на поселение. Впоследствии вступил в партию социалистов-революционеров.

[169]) В записях этого года Лопатин фигурирует очень часто в связи с той важной и ответственной миссией, которая была на него возложена. Герм. Александр. Лопатин (1845—1918) был уже давним участником революционного движения. В 1866 г. он провел в заключении 2 месяца в связи с делом Каракозова, в 1868 г. арестован по делу «Рублевого Общества» и выслан в Ставрополь-Кавказский; в конце 1869 г. арестован там вследствие находки его письма у одного из привлеченных по нечаевскому делу (М. Ф. Негрескула), но в нач. января бежал. Предпринял после того освобождение из Кадникова (Волог. губ.) находившегося там в ссылке Лаврова. Отправив Лаврова за границу, уехал туда вслед за ним и сам. В конце 1870 г. отправился в Сибирь с целью освобождения Чернышевского, но был арестован и провел в Сибири более двух лет, отчасти в заключении, отчасти под надзором. После двух неудачных попыток к бегству, наконец, летом 1873 г. бежал в Петербург и оттуда за границу, где на этот раз прожил до 1879 г., наезжая, впрочем, нелегально в Россию. В 1879 г., по возвращении из-за границы, арестован и в след. году выслан в Ташкент, откуда в 1882 г. переведен в Вологду. В нач. 1883 г. снова бежал за границу и стал в близкие отношения к народовольцам, примкнув к ним позднее и формально. Вернулся в том же году в Петербург; здесь, не принимая непосредственно участия в убийстве Судейкина, побудил к выполнению его С. Дегаева. В янв. 1884 г. участвовал в небольшом народовольческом съезде в Париже, созванном для обсуждения мер к реорганизации партии и поднятию ее деятельности. Вошел вместе с Сухомлиным и Саловой в Распорядительную комиссию, которая должна была послужить организующим ядром восстанавливаемой центральной народовольческой организации. Из крупнейших событий партийной жизни периода, последовавшего за возвращением Лопатина и его товарищей в Россию, должно отметить примирение с «Молодой партией Нар. Воли» и возвращение ее в лоно старой партии а также выпуск № 10 «Нар. Воли». В окт. 1884 г. Лопатин был арестован в Петербурге. Судился в 1887 г. по делу 21-го и приговорен к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Заключен в Шлиссельбург, откуда вышел в 1905 г.

[170]) «Черная книга» — очевидно, тетрадь с показаниями, отобранными у Дегаева на партийном суде за границей (см. стран. 247 текста).

[171]) Статья Тихомирова в № 2 «Вестника Нар. Воли»: «В мире мерзости и запустения» (по поводу убийства Судейкина).

[172]) Не исключена возможность того, что речь здесь идет о народовольце Петре Александровиче Муханове, работавшем в Ярославле, затем в Москве и впоследствии погибшем во время «Якутской истории» (22 марта 1889 г.).

[173]) Речь идет о разгроме народовольцев в Киеве 3—4 марта 1884 г. Арестованы были: Н. Мартынов (А. «Борисович»), В. Панкратов (оба оказали вооруженное сопротивление), М. и П. Шебалины, В. Караулов, М. Васильев, В. Шулепникова и др. В ноябре того же года состоялся суд над ними (процесс 12-ти).

[174]) «Walka Klas» («Борьба классов»), заграничный орган партии «Пролетариат», основанный в 1884 г. Куницким и редактировавшийся

Мендельсоном, Дикштейном, Войнаровской, Длуским, Пекарским. Выходил до 1886 г.

[175]) Дикштейн, Шимон («Ян Млот») (1858 — 1884) — видный деятель польского социалистического движения, член редакций «Рувносци», «Пржедсвита», «Walka Klas», автор чрезвычайно популярной брошюры «Кто чем живет?».

[176]) «А. С.» (ниже «Андр. Серг.» и т. д.)—возможно, Кашинцев, Александр Николаевич, бежавший в 1882 г. из Харькова, где он жил под надзором, за границу, участвовавший там в янв. 1884 г. в упомянутом выше (ср. прим. 169) народовольческом съезде, после которого он уехал на работу на юг России. Арестован в августе того же года в Одессе и выслан затем в Вост. Сибирь.

[177]) Под фамилией «Литвинова» жил в эмиграции Янк.-Аб. Финкельштейн, бежавший в 1872 г. из Вильны, где он был привлечен по делу о пропаганде среди еврейской молодежи, в Кенигсберг, а через несколько лет после того вынужденный бежать и из Германии. В описываемое время Финкельштейн работал по изданию «Вестника Нар. Воли».

[177]а) Стародворский, Николай Петрович (род. 1863 г.), один из убийц Судейкина, по процессу Лопатина (д. 21-го) приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой; отбывал наказание в Шлиссельбурге (1887—1905).

[178]) Якубович, Петр Филиппович («Мельшин», «П. Я.») (1860—1911), впоследствии известный поэт и литератор, автор записок «В мире отверженных». В то время (1883 — 84) стоял в центре работы народовольцев в Петербурге. В первой половине 1884 г., вместе с Н. Флеровым, М. Овчинниковым и др., выступил в качестве инициатора и организатора т. наз. «Молодой партии Народной Воли», оппозиционной по отношению к заграничному центру партии и его представителям в России и защищавшей начала децентрализации и автономии в организационном строе партии, а в области программной настаивавшей на введении в практику ее аграрного и фабричного террора. Конфликт между «старыми» и «молодыми» был в том же году улажен, и единство организации вполне восстановлено.

Якубович был арестован в ноябре 1884 г. Судился в 1887 г. по делу 21-го, приговорен к смертной казни, которая была заменена 18-летней каторгой. Отбывал ее на Каре и в Акатуе. В 1895 г. вышел на поселение. В 1899 г. вернулся в Петербург.

[179]) Волянский, Никон, судился в 1879 г. по делу Крыжановского (ограбление почты в Каменец-Подольске); в феврале 1883 г. бежал из ссылки (г. Тара, Тобольской губ.), снова был арестован в августе в Каменец-Подольской губ., но при содействии Стародворского скрылся от сопровождавшего его в г. Каменец-Подольск конвоя и затем эмигрировал.

[180]) Под фамилией Булыгина арестован был в Бадене Дейч, выданный затем Германией русскому правительству (ср. прим. 69).

[181]) Мендельсон, Станислав, известный деятель польского социалистического движения, член ред. «Рувносци», «Пржедсвита», «Walka Klas», позднее один из основателей P. P. S. Впоследствии изменил социализму.

[182]) Никитина, Варвара Николаевна (урожд. Жандр) (1842—1884), автор статей по литературе и социальным вопросам в «Justice» и Nouvelle Revue». Близкий друг П. Л. Лаврова.

[183]) «Как живется на Руси» — статьи Тихомирова (хроника революционной борьбы) в «Вестнике Народной Воли».

[184]) Маркграф, Отто Васильевич, муж сестры Тихомирова, Марии Александровны (см. о нем в «Дневнике» № 2).

[185]) Серебряков, Эспер Александрович (1854 — 1921), морской офицер, с 1880 г. вошел в военную организацию «Нар. Воли». Выданный Дегаевым, скрылся в 1883 г. за границу. Сотрудничал в «Вестнике Нар. Воли», «Социалисте», в изд. «Фонда Вольной Русской Прессы» в Лондоне и т. д.; в 1899 — 1902 гг. издавал журн. «Накануне». В 1906 г. вернулся в Россию, где занимался литературной работой. После Февральской революции принимал участие в деятельности группы с.-р. оборонцев.

[186]) Соколов, Николай Васильевич (1832—1889), подполковник Генерального штаба. В 1866 г. под впечатлением книги Воллеса «Les refractaires» написал свою книгу «Отщепенцы», которая была задержана цензурным комитетом, а автор арестован. Приговоренный С.-Петербургской суд. палатой в 1867 г. к 16 мес. крепости и к административной ссылке, бежал в 1872 г. за границу.

[187]) Речь идет о ст. П. Лаврова «Социальная революция и задачи нравственности», напечатанной в №№ 3 и 4 «Вестника Нар. Воли» (перепечатана в 1921 г. издат. «Колос»).

[188]) Крылов, Феофан («Воскресенский»), рабочий. В 1881 г. входил в Москве в рабочую группу «Нар. Воли»; в 1882 г. ездил в Тверскую губ. с целью пропаганды среди крестьян-сектантов; в 1883 г. — хозяин типографии в Харькове. Взят в июне того же года при аресте типографии, но по дороге в Петербург бежал и, спустя полгода, уехал за границу. Прожив там довольно продолжительное время, вернулся на работу в Россию. В окт. 1886 г. арестован в Москве и, по некоторым сведениям, дал откровенные показания. Выслан в Сибирь.

[189]) «Юлия Петровна» — Чернявская, Галина Федоровна (по мужу Бохановская) (род. в 1854 г.), видная представительница якобинского течения в движении 70-х гг. (работала в Одессе). С самого образования «Нар. Воли» примкнула к ней, была участницей покушения на взрыв царского поезда 19 ноября 1879 г., хозяйкой (вместе с Д. Суровцевым) народовольческой типографии в Москве в 1881—82 гг., участвовала в организации и работе харьковской типографии 1883 г. Избежав ареста при разгроме типографии, бежала после того за границу, где продолжала принимать близкое участие в делах партии. В настоящее время живет в Ленинграде

[190]) Т.-е., о статье для № 10 «Народной Воли» (в данном случае речь, очевидно, идет о второй передовой).

[191]) Войнаровская, Мария, деятельница польского социалистического движения, состоявшая в то время членом редакции журнала «Walka Klas».

[192]) Куницкий, Станислав Чеславович (1861 — 1886), после ареста Варынского главный руководитель партии «Пролетариат». Издавна тяготевший к «Нар. Воле» и оказывавший ей содействие, незадолго до описываемого времени благополучно завершил переговоры «Пролетариата» с «Нар. Волей». Арестован в июне 1884 г., судился по процессу «Пролетариата» в конце 1885 г. и приговорен к смертной казни, которая приведена 16 января 1886 г. в исполнение.

[193]) Богданович («Кобозев», Юрий Николаевич (1850—1888), известный деятель революционного движения 70-х и нач. 80-х гг., член Исполн. Ком. «Нар, Воли», вместе с А. В. Якимовой бывший хозяином сырной лавки на М. Садовой, из которой велся подкоп к предполагаемому месту проезда Александра II. Арестован в марте 1882 г., судился в 1883 г. по проц. 17-ти и приговорен к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбурге.

Корба, Анна Павловна (урожд. Мейнгардт, по второму мужу Прибылева) (род. в 1849 г.), также член Исп. Ком. «Нар. Воли», судилась по тому же проц. 17-ти, приговорена к 20-ти годам каторжных работ; отбывала каторгу на Каре, в 1892 г. вышла на поселение. Вернулась в 1900-х гг. в Евр. Россию, живет в настоящее время в Ленинграде.

Желваков, Николай Алексеевич, вместе с Ст. Н. Халтуриным исполнил в Одессе 18 марта 1882 г. смертный приговор над прокурором Стрельниковым, за что через несколько дней (22-го) казнен.

[194]) Гольденберг, Лазарь Борисович. Арестован за участие в студенческих волнениях 1869 г. и выслан в Тамбовскую губ., а оттуда переведен затем в Петрозаводск. Бежал в 1872 г. за границу. Заведывал в Женеве типографией чайковцев, затем работал в Лондоне по изданию «Вперед», до прекращения последнего в 1876 г. После того жил во Франции, в Румынии (из обеих стран был выслан), — затем в Америке и Англии. В 1890-х гг. принимал близкое участие в делах «Фонда Вольной Русской Прессы» в Лондоне. Умер в 1916 г.

[195]) «Надгробное слово Александру II (Воспоминания политического каторжанина)» — В. С. Иллича-Свитыча. Пом. в № 3 «Вестн. Нар. Воли». Перепеч. в 1921 г. Гос. Изд. в Ленинграде.

[196]) Правительственное сообщение о закрытии «Отеч. Записок» перепечатано в кн. Богучарского. «Из прошлого русского общества» СПБ., 1904, стр. 386—89. Сообщение, м. пр., упоминало об участии в журнале члена Исп. Ком. «Нар. Воли», подписывавшегося инициалами «И. К.», т.-е. — Тихомирова.

[197]) Ашкинази, Михаил Осипович («Michel Delines»), переводчик на французский язык русских авторов.

[198]) Телепнев, Иван, взят в Севастополе 15 мая 1884 г., когда явился на прибывший в порт французский пароход «Мендоза» за экземплярами «Вестника Нар. Воли», доставленными одним из матросов.

[199]) Речь идет о ст. Тарасова (Н. С. Русанова) «Политические и экономические факторы в жизни», начатой печатанием в № 2 «Вестника Нар. Воли». П. Л. Лавров категорически воспротивился помещению в журнале ее продолжения, вследствие содержавшейся там критики марксизма, угрожая в противном случае выходом из редакции (письмо его к Тихомирову по этому поводу цитировано в статье о нем Н. С. Русанова, в «Былом», 1907, № 2, стр. 276 — 77). Конфликт был, в конце концов, улажен тем, что Русанов взял обратно свою статью.

[200]) Некоторое время вопрос о дальнейшем участии в редакции «Вестника Нар. Воли» П. Л. Лаврова стоял все же весьма остро и служил предметом переписки между Тихомировым и русскими товарищами,

как это устанавливается взятыми у Г. Лопатина при аресте письмами (ср. также упомянутую в предыдущем примечании ст. Русанова, сообщающего, м. пр., о сделанном ему Тихомировым предложении — вступить в редакцию вместо Лаврова).

[201]) Гутерман, Наум Давыдович, эмигрант, выехал тогда в Россию и был арестован в Ростове-на-Дону.

[202]) Здесь скорее всего надо разуметь Николая Васильевича Чайковского (он же, несомненно, упоминается в записях от 5, 20 и 23 сентября, 1 и 30 ноября). От Чайковского же, возможно, была телеграмма, полученная накануне, 2 сентября (телеграмма «Васильева»).

[203]) Ромбро, Яков Борисович (род. в 1859 г.). Провел в 1877—78 гг. 10 месяцев в заключении по обвинению в пропаганде среди рабочих в Харькове. Около 1879 г. эмигрировал в Лондон. Впоследствии переехал в Нью-Иорк, где принял участие в социалистическом движении еврейских рабочих.

[204]) Рецензия Тихомирова на «Записки» А. И. Кошелева (Берлин, 1884) помещена в № 4 «Вестника Нар. Воли».

[205]) Федерштер был направлен в Ригу, чтобы наладить доставку из-за границы революционной литературы. Ему удалось получить одну партию изданий, лежавшую в Риге еще с весны 1884 г. Следующая посылка, прибывшая из Лондона уже при Федерштере — 29 сентября того же года, была тут же арестована таможенными чиновниками, при чем через несколько дней был задержан и доставлявший литературу судовой рабочий Менцель, которому в первый момент удалось скрыться. Сам Федерштер избежал ареста.

[206]) «Из давнего разговора (Памяти Коковского)» — ст. Тихомирова в № 4 «Вестника Нар. Воли».

[207]) «Студенчество» — журнал, изд. в СПБурге. Вышло в течение 1882—83 гг. восемь номеров. — «Союз» — московский студенческий орган, единственный номер которого вышел в 1884 г. — «Гомон» — белорусское соц.-революционное обозрение 1884 г. (также вышел один номер).— «Свободное слово» — журнал, издававшийся в СПБурге с начала 1883 г., вышло 8 номеров. Все четыре органа отпечатаны на гектографе.

[208]) Томсевич, Вячеслав Владимирович, арестован в конце того же года (ср. ниже у Тихомирова).

[209]) Орлов, Николай («Берг»), московский нотариус, эмигрировавший в этом году из опасения ареста (при обыске найдена его визитная карточка).

[210]) В это время Тихомиров приступил к составлению сборника статей Герцена из «Колокола», вышедшего в свет много позднее (см.: Библиотека социальных знаний. Серия первая. Т. I. «Колокол». Избранные статьи А. И. Герцена (1857—1869). С пред. Л. Тихомирова. Женева, 1887).

[211]) Речь идет о студенческих волнениях 4—8 сент. 1884 г. в связи с увольнением, по доносу ректора Ренненкампфа, проф. Мищенко и 50-летием Киевского университета.

[212]) № 10 «Нар. Воли» отпечатан одновременно в двух типографиях: в Дерпте (П. Ф. Якубович и др.) и в Ростове-на-Дону (С. Иванов, А. Бах, Р. Кранцфельд, П. Антонов).

[212-а]) «Федор Иванович» — возможно, что Бартенев, Дмитрий Иванович («Федор»). Скрывшись в августе 1884 г. из места админ. высылки (Нижнего-Новгорода), принял участие в работе народовольцев на юге. Арестован летом 1885 г., на допросах дал откровенные показания. Дело окончилось в отношении его высылкой в Сибирь. Позднее был вызван из Сибири по делу Яцевича, но на этот раз совершенно отказался от показаний и отправлен вследствие того на 5 л. в Якутскую обл. По окончании срока остался там добровольно навсегда. Покончил с собою в 1923 г.

[213]) Бах, Алексей Николаевич (род. в 1857 г.), видный деятель «Нар. Воли» в 1882—1885 гг. Вернувшись в 1882 г. в Киев после 3 л. административной ссылки, принял ближайшее участие в работе киевской организации «Нар. Воли». В 1883 г. вынужден оставить Киев и действовал после того в разных местах — Ярославле, Казани, Ростове-на-Дону и т. д. В последнем городе усилиями Баха и др. лиц (см. примеч. 212) выпущен № 10 «Нар. Воли». Через некоторое время после ареста Г. Лопатина эмигрировал и, поселившись в Париже, посвятил себя научной деятельности (в области естествознания). Впоследствии примкнул к партии социалистов-революционеров. В настоящее время живет в Москве.

Перу Баха, между прочим, принадлежит чрезвычайно популярная брошюра «Царь-Голод».

[214]) Дегаев, Владимир Петрович. В 1881 г., с согласия Сав. Златопольского и своего брата Сергея (см. о нем ниже), сделался агентом Судейкина, имея в виду использовать свое положение в интересах партии. Однако, никакой пользы из этого партии извлечь не удалось, и даже, возможно, этой истории она была отчасти обязана погромами след. года. Весною 1882 г. Судейкин отказался от услуг Влад. Дегаева.

Упоминаемый далее Тихомировым старший брат Владимира Дегаева — Сергей Петрович — был сначала артиллерийским офицером, а затем, бросив военную службу, поступил в институт инженеров путей сообщения. В партию «Нар. Воля» вступил в 1880 г. и принял деятельное участие в ее работе среди военных, будучи видным членом центра военной организации «Нар. Воли». После больших арестов 1882 г. В. Н. Фигнер, оставшись единственным действующим в России членом Исп. Ком-та, призвала С. Дегаева к участию в восстановлении разрушенного центра партии. В декабре того же года провалилась в Одессе незадолго перед тем поставленная типография партии, и в числе причастных к ней лиц был арестован и С. Дегаев. С этого времени начинается его предательская работа: склонившись на уговоры Судейкина, явившегося в Одессу, видимо, специально для того, чтобы завербовать Дегаева, он получает свободу (Судейкин устроил ему фиктивный побег), отдает в руки полиции ряд крупных деятелей партии, в том числе В. Фигнер и членов военной организации, и приводит партию в состояние почти полной дезорганизованности. Летом 1883 г. С. Дегаев за границей признался Тихомирову и Ошаниной в своей предательской роли (подозрения относительно Дегаева возникли кое-где в России еще до того и были сообщены за границу), при чем принял на себя обязательство организовать по возвращении в Россию убийство Судейкина, с тем, чтобы после того совершенно исчезнуть с революционного горизонта. Выполнив свое обязательство

16 декабря того же года, он бежал за границу, где и оставался до конца жизни.

[215]) **Вырубов**, Григорий Николаевич (1843 — 1913), известный философ-позитивист. Вырубов был другом Герцена, а после его смерти душеприказчиком его и первым издателем его сочинений (в 1875 — 79 гг.).

[216]) **Клемансо**, Жорж (род. в 1841 г.), французский государственный деятель. Долгое время являлся лидером буржуазного радикализма во Франции; впоследствии вождь французской реакции и империализма.

[217]) **Качович**, Ефрем Афанасьевич, вольнослушатель Московского университета, высланный за участие в революционной деятельности, как иностранный подданный, за границу.

[218]) **Смирнов**, Валериан Ник. (род. 1848 или 1849, ум. 1900), врач по образованию. В 1869 г. исключен из Московского унив. и выслан за участие в студенческих беспорядках, позднее задержан и привлечен к нечаевскому делу. Освобожденный до суда, бежал за границу. Был одно время секретарем Цюрихской русской библиотеки, являвшейся центром всей местной русской колонии. С основания «Вперед» становится главным помощником по журналу П. Л. Лаврова (Смирнов был секретарем редакции и, кроме того, сам деятельно сотрудничал в журнале). Впоследствии много писал по медицинским вопросам в специальных русских и иностранных изданиях.

[219]) **Иванов**, Сергей Андреев. (род. в 1859 г.), видный деятель «Нар. Воли» в 1882—1885 гг. Дважды (в 1879 и 1881 гг.) высылался в Сибирь. В 1882 г. бежал из ссылки и в течение нескольких лет энергично работал в партии, принявши, между прочим, участие в выпуске в Ростове на Дону № 10 «Нар. Воли», в устройстве в Луганске мастерской для изготовления разрывных снарядов и т. д. В 1885 г. провел около 8 месяцев за границей. Вернулся в октябре 1885 г., а в январе след. года арестован. Судился в 1887 г. по процессу 21-го и приговорен к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Заключен в Шлиссельбург, откуда вышел в 1905 г. Примкнул потом к партии социалистов-революционеров Ум. в Париже 20 февр. 1927 г.

[220]) **Коялов**, Мелкон Сагатиелович, участник народовольческой работы на Кавказе и в Таганроге, ок. 1886 г. приехавший за границу и живший у Тихомирова, затем у Баха. Вскоре подал прошение о разрешении вернуться в Россию.

[221]) **Яцевич**, Лев, видный народовольческий деятель на юге; при его ближайшем участии, м. пр., организована типография, выпустившая к концу 1885 г. № 11 — 12 «Нар. Воли» (в Таганроге). Осенью 1885 г. уехал за границу и прожил долгое время в Париже. В 1887 г. отправился в Румынию, имея в виду перейти там границу, но был арестован по дороге, в Вене, и выдан русскому правительству. В заключении заболел психически и вскоре умер в психиатрической больнице.

Макаревский, Алексей Николаевич, деятельный участник харьковской народовольческой группы. Задержан в мае 1885 г., в сентябре того же года бежал и через некоторое время, вместе с Яцевичем, уехал в Париж. Вернулся в ноябре 1886 г. в Россию. В феврале следующего года арестован. В 1888 г. выслан на 10 лет в Якутскую область. В настоящее время живет в Харькове.

Бородаевская, Варвара Ивановна, жена Яцевича; впоследствии исследовательница сектантства.

222) Аитов, Давид Александрович, эмигрант, судившийся ранее по процессу 193-х (ему вменено было в наказание предварительное заключение).

223) Эвелинг, Эдуард (1852—1898), английский писатель и политический деятель, до 1884 г.—буржуазный радикал, а затем—с.-д. Находился в близких отношениях с Энгельсом и семьей Маркса, на дочери которого Элеоноре женился. Особенности характера Эвелинга и его образ жизни вызывали большое неудовольствие им в кругу его партийных товарищей и неоднократно побуждали ставить вопрос о его исключении из с.-д. федерации, что и случилось, наконец, в 1898 г., после самоубийства Элеоноры Маркс, вызванного именно поведением Эвелинга. Через несколько недель после того Эвелинг умер.

224) Русское правительство одно время рассчитывало на возможность задержания Тихомирова, и с этой целью в 1884 г. велись переговоры о высылке Тихомирова за черту французской границы, при чем имелась в виду граница Франции с Германией. Выяснилось, однако, что порядок высылки предоставлял самому высылаемому выбор границы, в случае же неуказания им таковой, высылался обычно на бельгийскую, при чем отправлялся, хотя и в сопровождении агента, но самостоятельно. Тогда Рачковский составил план насильственного захвата Тихомирова под видом умалишенного. Предполагалось перенести его на носилках в карету, высадить на вокзале, поместить в вагон и направить в Берлин, а отсюда на русскую границу. Доклад об этом Рачковского, однако, не получил движения (Деп. Пол. 3-е делопроизв., д. 1001, 1884 г., лл. 1—3, 11—12).

В 1886 г. опять возник вопрос о высылке Тихомирова из Парижа— по инициативе французского правительства. Но на этот раз советник русского посольства в Париже Коцебу запротестовал и просил в Петербурге воспрепятствовать высылке — в виду удобства наблюдения за Тихомировым в Париже.

В конце концов, Тихомирову все же пришлось переселиться в Рэнси.

225) «Константин Александрович» — очевидно, Матвей Исидорович Фундаминский, который в это именно время приезжал за границу по поручению московского кружка народовольцев с докладной запиской относительно положения в партии и ее реорганизации. Вскоре по возвращении из-за границы Фундаминский был арестован и затем сослан в Якутскую обл.; за участие в «Якутской истории» приговорен к каторге. Умер в 1896 г.

226) Под фамилией Ландезена проживал в Париже Абрам Геккельман, бывший агент петербургского секретного отделения, заподозренный в предательстве в связи с арестом типографии в Дерпте и уехавший после того (в нач. 1885 г.) за границу, где он сразу же поступил на службу к заведующему заграничной агентурой П. И. Рачковскому. Впоследствии под фамилией Гартинга сам заведывал заграничной агентурой.— Ср. о нем ниже у Тихомирова — стр. 312 — 314.

227) Типография «Вестника Нар. Воли» в Женеве была разгромлена по заранее начертанному Рачковским плану его агентами Милевским

и Бинтом и неизвестным швейцарцем в ночь с 20 на 21 ноября 1886 г., при чем испорчен был шрифт и уничтожены почти все находившиеся в типографии издания. После того как народовольцы, напрягши все усилия, восстановили типографию и выпустили все же № 5 (и последний) «Вестника Нар. Воли», Рачковский организовал в начале февраля 1887 г. вторичный разгром ее.

228) Относительно этого заявления находим следующее объяснение у Тихомирова во 2-м приложении его брошюры «Почему я перестал быть революционером» (в русск. издании 1895 г.): «Последний нумер издания (№ 5 «Вестника») замедлил выходом вследствие одного скандального происшествия, о котором неудобно входить в подробные разъяснения» (разумеется разгром типографии агентами Рачковского — см. выше). «Нужно было, конечно, сообщить об этом читателям». Лавров хотел, чтобы это сделал Тихомиров, а Тихомиров отказывался, так как семейные его дела (болезнь жены и т. д.) не позволяли написать заявление немедленно, что требовалось исключительностью данного случая. Тогда Лавров предложил написать сам за него и, действительно, написал заявление за подписью Тихомирова. Последний все-таки написал свой текст и понес через некоторое время Лаврову. Но оказалось поздно. Лавров уже поместил свое заявление. При этом вместо простого изложения написал от имени Тихомирова «ярую статейку», тон и содержание которой не отвечали тогдашнему настроению последнего.

229) Очевидно, Моисей Солом. Гольденвейзер, присяжный поверенный и публицист.

230) Неудавшееся покушение, организованное кружком Ульянова, Генералова, Андреюшкина, Осипанова, Шевырева и др. 1 марта 1887 г. Привлечено было 15 человек, из коих названные выше казнены 8 мая; остальным: Лукашевичу, Новорусскому, Пилсудскому и др. смертная казнь заменена каторгой.

231) Реклю, Элизе (1830 — 1906), знаменитый географ и анархист.

232) Рошфор, Виктор Анри (1830 — 1913), известный французский публицист. Первые десятилетия своей деятельности был ярким представителем радикальной Франции, борясь энергично с правительством второй империи (на столбцах сначала «Figaro», затем нашумевшего собственного органа «Lanterne»), поддерживая позднее Коммуну (за это он был после ее разгрома сослан в Нов. Каледонию, откуда ему удалось бежать). Впоследствии ярый сторонник реакции и клерикализма.

233) Шнебеле — французский полицейский комиссар, заведывавший французским шпионажем в Эльзас-Лотарингии. Арест его немцами в апреле 1887 г. вызвал чрезвычайно серьезные осложнения в отношениях между Германией и Францией. Через 10 дней после ареста Шнебеле был освобожден.

234) Гобле, Рене (1828 — 1905), французский политический деятель, в 1886—1887 гг. бывший министром-президентом и министром внутренних дел.

235) Кац, Михаил (1855 — 1919), участник движения 1874 г.; эмигрировал в Румынию, где под именем Доброджану-Гереа принял выдающееся участие в местном рабочем движении, явившись одним из основателей и вождей рум. соц. партии.

«Lupta» — орган соц. партии Румынии.

[236]) Турский, Каспар, бежал из ссылки в 1869 г. за границу и поселился в Цюрихе, затем в Париже, где принимал участие в Коммуне 1871 г.; позднее переехал в Женеву и участвовал в ред. «Набата». В 1888—1889 гг., вместе с Коганом-Симановским, издавал «Свободу»; в 1889 г.—«Борьбу». Ум. в 1926 г.

[237]) Григорьев, Прокофий Васильевич, поэт и публицист, один из редакторов «Набата».

[238]) Пашков, Василий Александрович, глава секты, названной его именем («пашковцы»), близкий к штундизму и баптизму. После репрессий, которым подверглись «пашковцы» в 1884 г., уехал за границу.

[239]) Степанов, Евгений Дмитриевич, член киевской народовольческой группы, судившийся в 1884 г. по делу 12-ти (В. Караулова, В. Панкратова и др.). Эмигрировал в 1887 г. Позднее принял участие в кружке эмигрантов, намеревавшихся вернуться в Россию и в целях подготовки к предстоявшей там работе, организовавших изготовление взрывчатых веществ и снарядов (в Париже). В кружок удалось войти провокатору Геккельману-Ландезену, которым он и был выдан (раскрытием деятельности кружка стоявший за Ландезеном Рачковский рассчитывал нанести положению русской эмиграции во Франции решительный удар). Таким образом был арестован в мае 1890 г., в числе других членов кружка, и Степанов, судившийся вскоре вместе с ними французским судом и приговоренный к 3-м годам тюремного заключения, по отбытии которого он был выслан из пределов Франции.

[240]) Статья Н. В. Щербаня—«Политический разврат»—пасквиль на эмиграцию; по поводу ее Элпидин издал брошюру: «Мирный прогрессист и рыцарь «Русского Вестника». (Женева, 1888).

[241]) Дебагорий-Мокриевич, Владимир Карпович (1848—1926), на ряду со Стефановичем и др., видный член южного бунтарского кружка. Арестованный в Киеве 11 февраля 1879 г., судился в апреле—мае того же года (вместе с казненными затем по этому делу Брантнером и Антоновым-Свириденко и др.) и приговорен к каторге на 14 лет. Зимою 1880—1881 гг. бежал из Сибири и через несколько месяцев эмигрировал. Принимал участие в «Вестн. Нар. Воли», позднее в «Самоуправлении» (1887—1888). В 1889 г. вместе с Вл. Бурцевым выпустил три №№ «Свободной России», призывавшей революционеров отказаться на время от социалистических лозунгов и ограничиться выставлением одних политических требований, которые, притом, сформулированы были в урезанном и несколько туманном виде.

[242]) Т.-е. об аресте Льва Яцевича, именовавшегося за границей Стемпковским (ср. прим. 221).

[243]) Луцкий, Владимир Владимирович (р. в 1854 г.). Привлекался по делу 58-ми (Ненсберга и др.), возникшему в начале 1879 г. По освобождении из-под стражи эмигрировал и жил в Париже. В 1885—1886 гг., по призыву болгарского князя Александра Баттенбергского, вместе с Серебряковым, принял участие в организации молодой болгарской армии. После падения Баттенбергского покинул страну. В декабре 1890 г. арестован в Константинополе агентами русской полиции и доставлен в Россию.

[244]) Рони (Rosny), Жозеф Анри, известный французский беллетрист.

*

245) Речь идет об «Опыте истории мысли нового времени» Лаврова.

246) Слепцова, Надежда Николаевна. Причастная к делу о военных кружках (Пет. 1886—87), скрылась за границу, где сначала участвовала в работе кружка народовольческой молодежи, затем перешла к с.-д., но, встав в оппозицию к группе «Освобождение Труда», к 1889 г. вновь вернулась к народовольцам.

247) Вильсон, Даниель, французский политический деятель. Женат был на дочери президента Греви. Пользовался своим положением в интересах разных промышленных предприятий и банков. В связи с причастностью Вильсона к делу о продаже орденов (1887) Греви должен был отказаться от президентства.

248) Предисловие ко 2-му изд. книги Тихомирова «La Russie politique et sociale» («Политическое и социальное положение России»), в которой подготовляется его разрыв с революцией, окончательно происшедший с выходом в свет его брошюры «Почему я перестал быть революционером». Предисловие вызвано было отказом издателя внести исправления в текст (во избежание нового набора), необходимые, по словам Тихомирова, вследствие перемены его взглядов в это время. В «Предисловии» он отрицает террор, как «ненужный или бессильный» акт, отмечает отвлеченность, беспочвенность, незнание подлинной русской жизни революционерами и отсюда слабость их.

249) Видимо, Франсис-Марион Крафорд, американский беллетрист.

250) Дюпюи, Шарль, французский политический деятель, впоследствии несколько раз состоявший во главе кабинета министров.

251) Заседание конгресса (соединенное заседание палаты депутатов и сената) состоялось 3 дек., и избранным оказался не Жюль Ферри, а Мари-Франсуа Карно.

252) Эберс — студ. агрономич. института в Париже.

253) Слаткова, София Александровна, хозяйка народовольческой типографии в Петербурге (на Лиговском кан.), арестованной в марте 1884 г. Самой Слатковой удалось бежать за границу, где она в 1888 г. умерла.

Эпштейн, Анна Михайловна, жена Клеменца и близкий друг Кравчинского, оказывала серьезные услуги движению, особенно в области нелегального транспорта через границу. За границей жила с 1887 г. Умерла в Вене в 1895 г.

254) Цеткин, Клара, известная деятельница немецкого соц.-дем., затем коммунистического движения, в то время вместе со своим мужем, Осипом Цеткиным (б. участником русского революционного движения) жившая, в Париже.

255) Лафарг, Лаура, дочь К. Маркса жена одного из вождей французского социализма Поля Лафарга; переводчица на французский язык произведений Маркса; покончила с собою в 1911 г.

256) Через Русанова Тихомиров получил работу в «Универсальном Географическом Словаре», изд. Гашетт, по отделу Балканского полуострова.

257) Свидание с географом Луи Русселе связано было с вопросом о сотрудничестве в географическом словаре (см. предыд. примечание).

258) Свилокошич, сербский литератор, деятель сербской радикальной партии, находившийся в то время в эмиграции. Впоследствии был секретарем посольства в Петербурге.

[259]) Речь идет о студенческих волнениях в ноябре-декабре 1887 г., вызванных ближайшим образом правительственными мероприятиями в отношении высшей школы и студенчества, последовавшими после покушения 1 марта 1887 г., и охвативших высшие учебные заведения Москвы, Петербурга, Казани, Харькова и Одессы.

[260]) Кулябко-Корецкий, Николай Иванович (1855—1924), адвокат и общественный деятель. В описываемое время, находясь за границей, носился с планом периодического органа, который объединил бы все направления революционной и оппозиционной мысли, и по этому именно поводу ездил в Париж. После неудачи его проекта ограничился предоставлением некоторой суммы группе «Освобождение Труда», на которую был последнею издан сборник «Социал-Демократ» (1888 г.).

[261]) О Павле Маринковиче см. у Тихомирова на стр. 340.

[262]) Жонжурист, эмигрант, из казанского кружка, примыкавшего к «Нар. Воле».

[263]) Померанц, студент, вращавшийся в эмигрантских кружках и друживший с Тихомировым.

[264]) Протест этот вскоре и был отпечатан (в Женеве), под заглавием: «Революция или эволюция», и за подписью: «Прежние товарищи Тихомирова по деятельности и убеждениям», при чем П. Л. Лавров, действительно, удостоверил в особом приложении право авторов протеста так себя именовать.

[265]) Лавренниус, Александр, судившийся в свое время (1881 г.) в Курске за пропаганду и распространение прокламаций. В мае 1890 г. Лавренниус был арестован вместе со Степановым, Кашинцевым и др. по делу об изготовлении бомб (ср. прим. 239): не будучи членом их кружка, он находился с ним в сношениях и оказывал серьезное содействие его работе.

[266]) Буланже, Жорж (1837—1891), французский генерал и политический деятель, с именем которого связано серьезное националистическое и анти-республиканское движение в 1886—1889 гг. Описываемое время (начиная с весны 1888 г.) ознаменовалось обострением буланжистского движения, целью которого совершенно явно становился переворот, имевший в виду поставить Буланже во главе государства. Между прочим, Буланже в это время выступил кандидатом на ряде дополнительных выборов в палату депутатов и имел неизменно огромный успех. Создавшаяся опасность побудила всех республиканцев, от социалистов до умереннейшего Ферри, соединить свои усилия и принять ряд мер против угрожающей диктатуры. В марте 1889 г. правительство возбудило против Буланже обвинение в государственной измене, после чего он бежал из Франции. Выборы в новую палату, состоявшиеся вскоре после его бегства и заочного осуждения, принесли поддерживавшим его группам весьма серьезное поражение. Сам Буланже через два года покончил с собой в Брюсселе.

[267]) «С.-Петербургские Ведомости» — старейшая (с 1728 г.) русская газета; в описываемое время находилась в руках В. Г. Авсеенко и велась им в консервативном духе.

[268]) В этой брошюре Тихомиров развил до конца положения, уже намеченные им в «Предисловии», и порвал окончательно с революцией. Революционная деятельность и наблюдение над политическим строем Зап. Европы, по его словам, убедили его в том, что только Россия обладает прочным политическим строем, обеспечивающим народу благосостояние и прогресс. Строй этот — самодержавие царя — надо поддерживать, а не расшатывать. Позднее брошюра была переиздана в России (М., 1895).

[269]) Кашинцев, Иван Николаевич, брат Александра Кашинцева, деятель Южно-Русского Рабочего Союза (Е. Ковальской и Н. Щедрина), арестован в янв. 1881 г. и приговорен в том же году судом по делу Союза к 10 годам каторги; бежал из Сибири в 1888 г. в Париж. Участвовал в кружке, упомянутом в прим. 239 (у него на квартире и производились работы по приготовлению взрывчатых веществ); арестован в мае 1890 г. и приговорен франц. судом к трем годам тюремного заключения, по отбытии которого выслан из пределов Франции.

[270]) Оба протеста против тихомировского предисловия («Прежних товарищей» и «Группы Народовольцев») естественно исходили из оценки его эволюции, как чисто личного отступничества, не стоящего ни в какой связи с прежними его взглядами. Этим-то (и отчасти тоном протестов) и вызвано было отрицательное к ним отношение со стороны Плеханова и его друзей, считавших новую позицию Тихомирова логическим развитием прежних его воззрений, поскольку он, «самобытник», притом не верящий в революцию, производимую народными массами, сейчас потерял веру и в возможность захвата власти революционной партией. Плеханов посвятил этим протестам статью под заглавием «Неизбежный поворот» в сборнике «Социал-Демократ», перепечатанную в III т. его сочинений.

[271]) Речь идет, очевидно, о кружке «Социалистического литературного фонда», возникшем в Цюрихе в 1887 г. и включавшем элементы как народовольческие, так и тяготевшие к с.-д., при чем Плеханов, вопреки сведениям Тихомирова, ни в начале, ни в описываемое время далеко не был в кружке хозяином положения (кружок издал «Введение к критике философии права Гегеля» К. Маркса, с предисловием П. Лаврова, и «Экономическое учение К. Маркса» К. Каутского, с предисл. и примеч. Тарасова-Русанова). — Сообщение о пожертвованиях носит совершенно фантастический характер. Если в основе его лежит слух о пожертвовании, сделанном в пользу группы «Освобождение Труда» Н. И. Кулябко-Корецким, то цифра последнего преувеличена в несколько десятков раз.

[272]) Бек, Григорий, один из деятелей упомянутого в предыдущем примечании цюрихского кружка «Социалист. литературного фонда», народоволец, эмигрировавший из России в 1886 г.

[273]) Речь, очевидно, идет об архиве «Вестника Нар. Воли».

[274]) «Екатеринбургская Неделя» — еженедельная газета выходившая в 1879 — 1897 гг. (с 1897 г. взамен нее стала издаваться ежедневная газета «Урал»).

«Сибирская Газета» — одно из лучших и наиболее прогрессивных провинциальных изданий того времени, основанная в Томске П. И. Макушиным; выходила в 1881 — 88 гг. (в 1888 г. — 2 раза в нед., до того — один раз). Закрыта правительством.

«Восточное Обозрение»,— еженедельная прогрессивная газета, издававшаяся с 1882 г. в Петербурге, затем с 1888 г. в Иркутске; основана Н. М. Ядринцевым.

Далее упоминаются: «Волжский Вестник» — ежедневная прогрессивная газета, издававшаяся с 1883 г. в Казани; в описываемое время ред.-изд. ее был профессор Загоскин.

«Правда» — еженедельный журнал, издававшийся в Петербурге в 1888 — 89 гг. М. М. Кояловичем, проводивший самобытнически-охранительные тенденции (возобновлена в 1891 г. под другой редакцией и выходила до 1894 г.).

«Северный Вестник» — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1885 — 97 гг. Первые годы, руководимый А. М. Евреиновой, продолжал традиции «Отеч. Записок»; в 1890-х гг., перейдя в руки Л. Я. Гуревич, сделался органом русских символистов.

«Новое Время» — чрезвычайно влиятельная газета консервативного направления, издававшаяся в Петербурге А. С. Сувориным (осн. в 1865 г., перешла к Суворину в 1876 г.; прекратилась в 1917 г.).

«Московские Ведомости» — см. прим. 17-е.

«Южный Край» — ежедневная газета, издававшаяся в Харькове с 1880 г. А. А. Иозефовичем, крайне консервативного направления.

[275]) Очевидно, Гр. Петр. Данилевский (1829 — 1890) известный романист, в то же время занимавший довольно высокое служебное положение (пом. гл. редактора, затем гл. редактор «Правительственного Вестника», член Совета Гл. управления по делам печати).

[276]) Леонов, по всем признакам, псевдоним, за которым скрывается завед. заграничной агентурой Петр Иванович Рачковский.

[277]) Христофоров, Александр Христофорович (1838 — 1913). Исключенный в 1861 г. из Казанского университета за участие в беспорядках, несколько лет жил в Саратове, где с его именем связана попытка организации артельных мастерских при участии как интеллигентов, так и рабочих. Выслан был из Саратова в Архангельскую губ. В 1875 г. уехал за границу, где и остался навсегда. В течение 1877 — 90 гг. совместно Н. А. Белоголовым и др. редактировал выходивший в Женеве журнал с«Общее Дело» (см. прим. 325).

[278]) Плеве, Вячеслав Константинович (1846 — 1904), до 1881 г. служил по судебному ведомству, затем по мин-ву внутр. дел: в 1881 — 84 гг. — директор департамента полиции, в 1884 — 93 — товарищ министра внутр дел, в 1902 — 04 — министр вн. дел. Убит 15 июля 1904 г. членом боевой орг. партии с.-р. Ег. С. Сазоновым.

[279]) Воронцов-Дашков, Илларион Иванович (1837 — 1916), со вступлением на престол Александра III назначен главн. начальником царской охраны, затем вскоре министром двора, каковым оставался до 1897 г. В 1905—15 гг. состоял наместником Кавказа. В свое время Воронцов-Дашков был в числе руководителей «Свящ. Дружины», и именно он вел в Петербурге переговоры с Николадзе перед поездкой последнего за границу.

Далее упомянуты:

Победоносцев, Константин Петрович (1827 — 1907), известный госуд. деятель и юрист, обер-прокурор Синода (с 1880 г. до октября

1905 г.), оказывавший огромное влияние на направление внутренней политики при Александре III и Николае II.

Дурново, Петр Николаевич (1845—1915), тогда директор деп. полиции (с 1884 по 1893 гг.), в 1900 г. — тов. мин-ра вн. дел, с октября 1905 г. до кануна созыва первой Думы — министр вн. дел. Познакомившись с Дурново лично после своего возвращения в Россию, Тихомиров поддерживал с ним отношения до самой его смерти.

[280]) Вероятно, оба раза речь идет о брате Тихомирова, Владимире Александровиче.

Упомянутые далее:

Рафалович — несомненно, Артур Германович Рафалович, экономист, позднее коммерческий агент русского министерства финансов в Париже.

Коломнин, Алексей Петрович (1848—1900), зять А. С. Суворина, управл. делами «Нов. Времени», сотр. «Истор. Вестника».

[281]) Новикова, Ольга Алексеевна (ур. Киреева), автор статей и книг о России на англ. языке в консервативно-славянофильском духе; сотрудничала также в некоторых русских изданиях: «Моск. Вед.», «Русск. Обозр.», «Нов. Время». Новикова, пользовавшаяся влиянием в правящих кругах, после ренегатства Тихомирова оказывала ему серьезное покровительство.

[282]) Письмо Тихомирова к Плеве ранее опубликовано в «Красной Летописи», № 7 (1923 г.).

[283]) Очевидно, Михаил Михаилович Коялович, публицист, в то время бывший редактором-издателем журнала «Правда» (ср. прим. 274).

[284]) «Открытое письмо Льву Тихомирову (автору: «Почему я перестал быть революционером»). Женева. 1888.

[285]) «Гражданин» — влиятельный орган реакционно-дворянского направления, издававшийся кн. В. П. Мещерским в Петербурге с 1872 г. (сначала еженедельно, в описываемое время ежедневно, впоследствии же 2 раза в неделю).

[286]) Крылов, Виктор Александрович (Виктор Александров) (1838—1906), известный драматург.

[287]) Говоруха-Отрок, Юрий Николаевич, участник революционного движения 70-х гг., судившийся по делу 193-х (ему вменено было, по ходатайству суда, в наказание продолжительное предварительное заключение), позднее ренегат, сотрудник реакционного «Южного Края» в Харькове, а с 1889 г. — завед. литературным и театральным отделами в «Моск. Ведомостях». Умер в 1896 г.

[288]) Невозможность для подсудимых сколько-нибудь широкого и гласного освещения дела, в виду ряда ограничительных мер, принятых администрацией и судом (фактическое недопущение публики в зал заседаний; запрещение помещать в печать какие-либо сведения о деле, кроме публикуемых в «Правительств. Вестнике»; постановление о разделении подсудимых на группы, числом 17, и производстве судебного следствия отдельно по каждой из них, в отсутствии всех остальных подсудимых) побудила большинство их принять решение об отказе от участия в суде, дабы подчеркнуть перед лицом всей страны его зависимость от административной власти и полную неспособность к беспристрастной оценке обстоятельств

дела. Объявление протестантами каждой из групп своего решения, подкрепляемое соответственной аргументацией, сопровождалось всегда более или менее бурными сценами, почему Тихомиров и имел полное основание говорить о «шумном протесте подсудимых».

[289]) **Мирский**, Леон Филиппович (род. в 1858 г.). Совершив 13 марта 1879 г. покушение на жизнь шефа жандармов А. Р. Дрентельна, Мирский сумел скрыться и через некоторое время уехал из Петербурга. Арестован был лишь 6 июля того же года в Таганроге, при чем оказал вооруженное сопротивление. Судился в ноябре 1879 г., приговорен к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Находясь в Алексеевском равелине, Мирский сообщил властям об успешной пропаганде Нечаева среди команды равелина и приготовлениях его к побегу. Этому надо приписать перевод Мирского в 1884 г. на Кару. Впоследствии, в 1906 г., находясь в Верхнеудинске, Мирский был арестован карательной экспедицией Ренненкампфа и приговорен (как работник местной газеты «Верхнеудинский Листок») к смертной казни, вторично замененной каторгой.

[290]) Липецкий съезд, на который, накануне предстоявшего в Воронеже общего съезда землевольцев, собрались сторонники новой, политическо-террористической тактики, состоялся в средине июня 1879 г., при участии Тихомирова, Михайлова, Квятковского, Морозова, Желябова, Фроленко и др. (некоторые из участников съезда, в том числе Желябов, не входили ранее в «Землю и Волю»).

[291]) **Гольденберг**, Григорий Давыдович (1856—1880), 9 февр. 1879 г. убил харьковского губернатора кн. Кропоткина, в июне присутствовал на Липецком съезде, с образованием «Нар. Воли» принял участие в ее работе. Арестованный в ноябре 1879 г., поддался на убеждения допрашивавших его, особенно тов. прокурора А. Ф. Добржинского, и сообщил им все, что мог, нанеся тяжелый удар движению. Когда вскоре Гольденберг понял, какую он сыграл позорную роль, то покончил с собой.

[292]) Трехчленная «Распорядительная Комиссия» (или «администрация»), выбиравшаяся членами Исп. Ком. из своей среды (см. о ее функциях в статье В. Н. Фигнер в настоящем издании).

[293]) Покушения на взрыв царского поезда состоялись: в г. Александровске, Екатеринославской губ., — 18 ноября, под Москвой — 19 ноября 1879 г. (приготовления к взрыву поезда, делавшиеся вблизи Одессы, были брошены, когда определилось, что царь через Одессу не поедет). Взрыв в Зимнем Дворце произведен 5 февраля 1880 г. Халтуриным.

[294]) «Программа Исполнительного Комитета» напечатана была отдельным листком и, кроме того, также в № 3 «Нар. Воли»; «Подготовительная работа партии» напечатана была отдельным же листком (то и другое в 1883 г. перепечатано в «Календаре Нар. Воли», а впоследствии в книге В. Богучарского, Литература партии «Нар. Воли» и в ряде других изданий).

[295]) **Лорис-Меликов**, Михаил Тариелович (1825—1888), генерал и государственный деятель. Как военный, выдвинулся особенно во время русско-турецкой войны 1877—78 гг., по окончании которой получил титул графа. В 1879 г. назначен врем. астраханским, саратовским и самарским ген.-губернатором, затем харьковским ген.-губернатором. В феврале 1880 г.

назначен главным начальником вновь образованной в целях борьбы с развивавшимся революционным движением Верховной Распорядительной Комиссии, с чрезвычайно широкими полномочиями, а по упразднении комиссии получил пост министра внутренних дел. Управление Лорис-Меликова получило название «диктатуры сердца», так как, борясь с революционерами, он одновременно делал кое-какие уступки так наз. обществу. В начале 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II проект созыва двух подготовительных, потом общей, комиссий с участием выборных представителей от земств и городов для разработки некоторых мероприятий и законодательных предположений (по вопросам: крестьянскому, губернского управления и т. д.). Проект этот (неточно называемый «конституцией» Лорис-Меликова) был одобрен Александром II, но, после 1 марта 1881 г., преемником его, после некоторого периода колебаний, решительно отвергнут. В мае 1881 г. Лорис-Меликов оставил свой пост.

[296]) На конспиративной квартире по Тележной ул., сосредоточена была организационно-техническая подготовка покушения 1 марта. Квартиру держали Геся Гельфман и Саблин. Арестована квартира в ночь на 3 марта 1881 г.

[297]) Суханов, Николай Евгениевич (1853 — 1882), наиболее выдающийся из организаторов и деятелей центра военной организации «Нар. Воли», представлявший ее также в Исполнительном Комитете партии; непосредственно участвовал в подготовке покушения 1 марта. Арестован в апреле 1881 г., судился в 1882 г. по делу 20-ти и приговорен к смертной казни. Расстрелян в Кронштадте 19 марта 1882 г.

[298]) «Письмо Исполнительного Комитета к Александру III» (помечено: 10 марта 1881 г.), написанное Тихомировым, давалось до опубликования на просмотр Н. К. Михайловскому. Отпечатано отдельным листком в весьма значительном числе экземпляров. Перепеч. в 1883 г. в «Календаре Нар. Воли», а впоследствии в кн. В. Богучарского «Литература партии «Нар. Воли» и в ряде других изданий.

[299]) Речь идет о переговорах Тихомирова с Н. Я. Николадзе (ср. прим. 123-а).

[300]) «На родине» — сборники, задуманные до приезда Тихомирова за границу (Л. Г. Дейчем). Вышло два номера в 1882 г. и один номер — в 1883 г. В № 3 помещены были автобиографические заметки А. Д. Михайлова, снабженные примечаниями Тихомирова, что он, несомненно, и имеет в виду, называя среди написанных им биографий — биографию Михайлова. Биография Перовской написана Тихомировым не единолично, а в сотрудничестве с другими товарищами.

О «Календаре Нар. Воли» см. прим. 129.

[301]) Прокламацию эту, помеченную 21 декабря 1883 г., см. в № 10 «Нар. Воли» (перепеч. в кн. «Литература партии «Нар. Воли»).

[302]) Разумеется отъезд Г. А Лопатина, Н. М. Саловой, В. И. Сухомлина (члены вновь созданной Распоряд. Комиссии), В. А. Караулова А. Н. Кашинцева.

[303]) «Письмо товарищам в России. По поводу брошюры Л. А. Тихомирова». Женева. 1888.

[304]) Татищев, Сергей Спиридонович, публицист и историк, автор работы об Александре II и др., служил по минист-вам внутр. и иностранных дел, позднее был лондонским агентом мин-ва финансов.

[305]) Суворин, Алексей Сергеевич (1834 — 1912), известный журналист, редактор-издатель «Нового Времени».

[306]) Киреев, Александр Алексеевич (1838 — 1910), славянофил, сотрудник «Моск. Ведом.», «Русского Обозр.» и др. изданий. Особенно много занимался вопросом о папстве и взаимном отношении церквей.

[307]) «Новости» — ежедневная газета либерального направления, издававшаяся с 1877 г. в Петербурге О. К. Нотовичем.

[308]) Флоке, Шарль Томас (1828 — 1896), французский политический деятель, адвокат. В 1848 г. сражался на баррикадах, а в 1851 г. противодействовал перевороту. После падения второй империи член Национального собрания; в Коммуне не участвовал, но оставался в Париже, стараясь действовать примирительным образом. В последующее время депутат (крайний левый), президент палаты (1885 — 1888 и 1889 — 92 гг.) и глава кабинета (1888 — 89 гг.).

Незадолго до описываемого времени (в нач. 1888 г.) произошло формальное примирение его с русским правительством, которое долго не могло простить ему демонстрации, устроенной им в 1867 г. при посещении Александром II здания судебных установлений в Париже (возглас: «Vive la Pologne, Monsieur!»).

[309]) Цион, Илья Фаддеич, физиолог, профессор Петерб. университета и Медико-хирургической академии, вынужденный после устроенной против него 17 октября 1874 г. студентами академии демонстрации отказаться от чтения лекций. Переехав после того за границу, посвятил себя публицистической деятельности, выступая в крайне реакционном духе. Был сотрудником «Моск. Ведом.» и поддерживал тесные отношения с редактором их М. Н. Катковым. Занял также довольно видное место во французской прессе и выдвинут был Жюльетой Адан (см. прим. 311) на пост ред. «Nouvelle Revue». В конце 80-х гг. назначен агентом русского министерства финансов, но с 1891 г., разойдясь с министром Вышнеградским, стал выступать с резкой критикой финансового ведомства, продолжая ее и при Витте. В связи с этим вызывался для объяснения в Россию и, вследствие неявки, присужден к изгнанию.

[310]) Вероятно, Петр Корвин-Круковский («Пьер Невский») (1850 — 1899), русско-французский драматург.

[311]) Адан, Жюльетта (ур. Ланбер), французская писательница; в 1879 г. основала журн. «Nouvelle Revue», в котором энергично выступала с защитой идеи франко-русского сближения; в нач. 1880-х гг. пыталась сыграть роль «умиротворительницы» России, в духе, близком к «Свящ. Дружине»

[312]) Молебствие по случаю спасения Александра III и его семьи во время крушения царского поезда при ст. Борках — 17 октября 1888 г.

[313]) Лефрансе, коммунар 1871 г.

[314]) Тонконогов, Иван Григорьевич, секретарь симферопольского окружного суда. Разыскивался полицией по делу Г. Лопатина, но скрылся за границу. Впоследствии вернулся в Россию, получив амнистию.

315) Гинзбург, София Михайловна. В 1888 г. вернулась в Россию и подготовляла покушение на жизнь Александра III, но в мае 1889 г. была арестована. Судилась в 1890 г. и приговорена к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. Заключена в Шлиссельбург, где вскоре покончила с собой (7 янв. 1891 г.).

316) В этой статье Тихомиров, противополагая Россию революции, главным образом партии «Нар. Воли», находил, что Россия находится в нормальном состоянии, а революционные партии в расстройстве, и советовал программу «Нар. Воли» двадцать раз пересмотреть и исправить. «Роль революции не бунтовская, но и культурная». Надо, по его словам, уничтожить террор и выработать «великую национальную партию» — «единую со страной», а не конспиративную и замкнутую в себе самой. Революция, по его мнению, может быть лишь в результате «эволюции в народной жизни», т.-е. подготовки для нее почвы. В заключение он надеялся, что «Россия и ее интеллигенция сумеют понять друг друга», а потому говорил читателю «до лучшего будущего».

317) См. ст. Тихомирова — «Смерть Александра II» в «Красн. Архиве», т. VI (1924 г.).

318) О деле Лаврениуса см. прим. 239, 265 и 269.

319) Гамбетта (1838—1882), знаменитый политический деятель времен второй империи и республики; в описываемое время председатель палаты депутатов.

320) Гартман, Лев Николаевич (1850—1908), народник, затем народоволец. После покушения 19 ноября 1879 г. эмигрировал. 23 января 1880 г. арестован в Париже, но, в виду поднятой энергичной кампании, не был выдан России, а освобожден и лишь выслан из пределов Франции.

321) Гальперин («Каминский»), Илья Данилович, переводчик на французский язык русских классиков.

322) Лавров вынужден был оставить в 1882 г. на короткое время Париж не в связи с делом Гартмана (имевшим место за два года до этого), а в связи с деятельностью по возглавлявшемуся им и В. Засулич «Заграничному Отделу Красного Креста Нар. Воли».

323) Штромберг, Александр Павлович (1854—1884), лейтенант флота, член центра военной организации «Нар. Воли». Арестованный в 1881 г., в виду отсутствия улик, был без суда выслан в В. Сибирь. Но после разоблачений Дегаева, указавшего и на Штромберга, был предан суду с В. Фигнер и др. (процесс 14-ти, 1884 г.) и по его приговору, вместе с Рогачевым, казнен в Шлиссельбургской крепости 10 октября того же года.

324) Александр Баттенберг, болгарский князь в 1879—86 гг. Осуществленное им в 1885 г. присоединение к Болгарии Восточной Румелии вызвало сильнейшее обострение отношений между Баттенбергом и русским правительством, которое отозвало тогда из болгарской армии служивших в ней русских офицеров. Одновременно Сербией была объявлена Болгарии война. К этому периоду и относится привлечение Баттенбергом на болгарскую службу русских офицеров-эмигрантов Луцкого и Серебрякова. В августе 1886 г. Баттенберг был низложен, и вместе с тем кончилась и служба в болгарской армии Луцкого с Серебряковым.

[325]) «Общее Дело» — журнал, издававшийся в Женеве в 1877—90 гг. под ред. А. А. Христофорова, Н. А. Белоголового, М. К. Элпидина, В. А. Зайцева; журнал ставил своей задачей объединение всех оппозиционных и революционных сил на почве борьбы за политическую свободу.

[326]) Дембский, Александр (род. в 1856 г.), один из активнейших деятелей «Пролетариата», бежавший в 1884 г. за границу. В 1889 г., под Цюрихом, во время производства опытов над разрывными снарядами был серьезно ранен, но оправился (другой участник опытов И. В. Дембо, эмигрировавший из России в связи с делом 1 марта 1887 г., погиб при этом). Впоследствии Дембский был видным работником Р. Р. S.

Иодко-Наркевич, Фома-Витольд (род. в 1864 г.). Эмигрировал в 1885 г. в Австрию, но задержан там по подозрению в революционной деятельности и выслан. Поселился после того в Гейдельберге, затем в Париже. Член «Пролетариата», а впоследствии видный деятель Р. Р. S.

[327]) Гриневицкий, Игнатий Иоахимович (1856—1881). Участвовал в пропаганде народовольцев среди петербургских рабочих и в печатании «Рабочей Газеты», а также в террористической работе партии, именно в подготовке 1 марта. Брошенной им бомбой был убит Александр II, при чем погиб и сам Гриневицкий.

[328]) Сибиряковы, братья Александр и Иннокентий Михайловичи, сибиряки, золотопромышленники и известные благотворители, поддерживавшие все просветительные начинания в Сибири — научные экспедиции, Географическое Общество (Вост.-Сибирский Отдел), издания (напр., В. И. Семевского «Рабочие на сибирских золотых приисках») и т. д.

[329]) Ядринцев, Николай Михайлович (1842—1894), известный сибирский общественный деятель, привлекавшийся по делу сибирских «сепаратистов» в 1865 г. вместе с Гр. Н. Потаниным, С. С. Шашковым и др. Основатель газеты «Восточное Обозрение» (ср. прим. 274).

[330]) Ковалевский, Максим Максимович (1851—1916), известный ученый и политический деятель. Незадолго до описываемого времени, в 1887 г., уволен был министром нар. просв. Деляновым из Моск. университета, в котором до того в течение ряда лет читал госуд. право и сравнит. историю права.

[331]) Дрюмон, Эдуард-Адольф, лидер французских антисемитов.

[332]) Мартынов, Иван Михайлович, историк (археограф). Эмигрировав в 1860 г. во Францию, перешел в католицизм и вступил в орден иезуитов. Свою научную работу стремился строить также в интересах католицизма. Ум. в 1894 г.

[333]) Милан Обренович (1854—1901), сербский король. Отрекся в 1889 г. от престола в пользу своего сына Александра под давлением скупщины (парламента), имевшей в большинстве радикальную партию.

[334]) Рихтер, Оттон Борисович, в качестве командующего импер. Главной квартирой управлял и канцелярией по принятию прошений, бывшей в то время при Главной квартире.

[335]) Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), с 1865 г. обер-прокурор Синода, а с 1866 г. одновременно и министр народного просвещения, введший при поддержке Каткова классическую систему в средней школе;

с 1882 г. — министр внутр. дел, автор ряда реакционных преобразований, в том числе института земских начальников и нового земского положения.

[336]) Желобовский, Александр Алексеевич (1834 — 1910), протопресвитер военного и морского духовенства, впоследствии член Синода.

[337]) Гейден, Петр Александрович (1840 — 1907), в то время (1886 — 90) начальник канцелярии по принятию прошений, позднее крупный общественный деятель, председатель Вольно-Экономич. о-ва, член первой Гос. Думы (лидер партии «мирного обновления»).

[338]) Грингмут, Владимир Андреевич (1851 — 1907), известный реакционный деятель, сотрудник «Русск. Обозр.» и «Моск. Ведом.»; с 1897 г. редактор последних; В. А. Грингмут состоял также преподавателем, а в 1894 — 1896 гг. директором лицея цес. Николая в Москве.

[339]) «Исторический Вестник», — популярный историко-литературный журнал, выходивший в 1880 — 1917 гг. Издавался А. С. Сувориным, а впоследствии его наследниками под ред. С. Н. Шубинского (1880 — 1913), затем Б. Б. Глинского (1913 — 1917).

[340]) Аксаков, Иван Сергеевич (1823 — 1886), известный публицист-славянофил и поэт, издатель газет «День», «Москва» и «Русь».

[341]) Очередным вопросом для Тихомирова являлся вопрос о борьбе с революцией — с влиянием ее на молодежь, главным образом, учащихся. Для этого он предлагал противопоставить революционной агитации и пропаганде — «русско-национальную», воздействовать на молодежь распространением сочинений Каткова, Киреева, Кояловича и т. д., открыть доступные библиотеки с соответствующим подбором книг, организовать лекции «благонамеренных» профессоров («Моск. Вед.» от 4 мая 1889 г.).

[342]) «Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова (ответ на брошюру: «Почему я перестал быть революционером»)». Женева, 1889 г.

[343]) Соловьев, Владимир Сергеевич (1853 — 1900), известный философ, публицист и поэт, автор трудов по философско-религиозным и моральным вопросам и статей в «Вестн. Евр.», «Русск. Мысли», «Русск. Вед.», в которых отстаивал свободу совести, права человека и национальностей. После 1 марта 1881 г. выступил публично против смертной казни первомартовцев.

[344]) Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович (1820 — 1893), кн., ген.-адъютант, участник войны 1877 — 1878 гг. Главный начальник гражд. части на Кавказе и командующий войсками Кавказского округа в 1882 — 1890 гг.

[345]) Маркграф, по специальности лесовод, поручил Тихомирову перевод с франц. сочинения П. Демонце «Практическое руководство к облесению и задержанию гор» (так наз. в русск. пер.). Книга была затем выпущена мин-вом госуд. имуществ (Тифлис, 1891).

[346]) Колодкевич, Николай Николаевич (1850 — 1884). Начал свою революционную деятельность в киевском кружке чайковцев. С 1875 г. привлекался пять раз, в том числе по Чигиринскому делу, но успевал скрываться. Участник Липецкого съезда, после разделения «Земли и Воли», в члены которой был принят на съезде в Воронеже, вступил в «Нар.

Волю», был членом Исп. Ком-та. Арестован в янв. 1881 г., судился в 1882 г. по процессу 20-ти и присужден к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Заключен в Алексеевский равелин, где и умер 8 июля 1883 г.

[347]) Рысаков, Николай Иванович (1861—1881), присоединился к «Нар. Воле» по рекомендации Желябова. Сначала работал в «Рабочей Группе» и вел пропаганду среди рабочих, затем выполнял специальные поручения Исполнительного Комитета и, наконец, был назначен метальщиком 1 марта 1881 г. После ареста открыл властям все, что знал. Приговоренный к смертной казни, повешен вместе с другими первомартовцами 3 апр. 1881 г.

[348]) Речь идет о работе Н. А. Любимова: «М. Н. Катков и его историческая заслуга», изд. в 1889 г. (О Любимове см. прим. 61).

[349]) Леонтьев, Константин Николаевич (1831—1891), известный публицист-философ и беллетрист, крайний консерватор, стоявший, впрочем, по своим взглядам несколько особняком в ряде других консервативных писателей.

[350]) Цертелев, Дмитрий Николаевич (1852—1911), философ, публицист и поэт, основатель и первый редактор консервативного ежемесячного журнала «Русское Обозрение», выходившего в Москве при участии Грингмута, Тихомирова и др. в 1890—98 гг. (редакция Цертелева продолжалась до 1892 г.).

Курзон, Георг, член английского парламента, выпустивший перед тем книгу (на англ. языке) «Россия в центральной Азии в 1889 г. и англо-русский вопрос».

[351]) Гетте, Владимир, аббат, защитник галликанской, т.-е. свободной, независимой от Рима, французской церкви. За выступления против папы был лишен сана. В 1862 г. присоединился к православию, а в 1872 г. принял русское подданство. «Souvenirs» — его автобиография, вышедшая в Париже в 1889 г. (полное заглавие: «Souvenirs d'un prêtre romain devenu prêtre orthodoxe»).

[352]) См. прим. 60.

[353]) См. прим. 239, 265 и 269.

[354]) Вероятно, муж О. А. Новиковой — Иван Петрович — попечитель Петерб. учебн. округа, бывший значительно старше ее годами.

[355]) Делянов, Иван Давидович (1818—1897), сенатор, член государственного совета, с 1882 г. министр народного просвещения; при нем издан новый университетский устав 1884 г., отменявший автономию и студенческие организации, ограничен прием детей из недостаточных классов в средние уч. заведения, ограничен процент евреев при поступлении в высшие и средние учебные заведения и т. д.

[356]) Петровский, Сергей Александрович, историк русского права и публицист, сотрудник «Моск. Ведомостей», а после смерти Каткова их редактор-издатель (1887—1896).

[357]) Выступление в защиту преследуемых евреев, предпринятое по инициативе Влад. Соловьева, поддержанного Л. Н. Толстым, Вл. Г. Короленко и др. представителями передовой интеллигенции. Подписанный ими протест не был допущен к опубликованию в русской печати, а на горячее

письмо, с которым Соловьев обратился по тому же поводу к Александру III, последовало суровое предостережение ему со стороны министра внутренних дел. Следует отметить, что одновременно широкая кампания протеста против преследователей евреев в России организована была в Англии; кампания завершилась грандиозным митингом протеста, собранным в Лондоне русско-еврейским комитетом 28 ноября (10 дек.) 1890 г.

[358]) Саблер, Владимир Карлович, тов. обер-прокурора Синода, впоследствии обер-прокурор.

[359]) Долгоруков, Владимир Андреевич (1810 — 1891), московский генерал-губернатор в 1856 — 1891 гг. На его место в Москву был назначен в. к. Сергей Александрович (убит 4 февр. 1905 г. членом боевой орг. партии с.-р. И. П. Каляевым).

Поляков, Лазарь, крупный капиталист, директор Моск. земельного банка.

[360]) Макарий, старец Оптиной пустыни, Калужской губ. Умер в 1860 г.

[361]) Астафьев, Николай Александрович (1825 — 1906), историк и в то же время деятель «О-ва для распространения св. писания в России» и автор брошюр на религиозно-нравственные темы.— Самарина, Екатерина Николаевна, жена Николая Федоровича Самарина, общественного деятеля, брата известного славянофила Юрия Самарина. — Бахметева, Александра Николаевна (ур. Ховрина) (1825 — 1901), писательница для детей и народа, излагавшая в своих книжках в строго-церковном духе события библейской истории.

[362]) Пазухин, Алексей Дмитриевич (1845 — 1891), правитель канцелярии мин. вн. дел, крупный землевладелец, идеолог дворянства, защищавший его интересы в печати и в правительственных сферах.

[363]) Дурново, Иван Николаевич (1830 — 1903), министр внутр. дел после Д. Толстого (1889 — 95); проводил в жизнь подготовленные его предшественником реакционные преобразования: институт земских начальников, новые земское и городовое положения.

[364]) «Русская Жизнь» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге в 1890 — 95 гг. А. А. Пороховщиковым (закрыта правительством).

[365]) Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев) (1829 — 1908), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, пользовавшийся репутацией провидца и предсказателя и имевший очень много почитателей и, особенно, почитательниц как в высшем свете, вплоть до придворных кругов, так и в общественных низах.

[366]) «Новости Дня» — ежедневная газета бульварного типа, издававшаяся с 1883 г. в Москве А. Я. Липскеровым.

[367]) Филиппов, Тертий Иванович (1825 — 1889), госуд. контролер, писатель, любитель русской старины.

Александров, Анатолий Александрович, прив.-доц. Моск. универс. по кафедре русской литературы, ред.-изд. «Русского Обозрения» (после Цертелева) и «Русского Слова» (см. прим. 379).

[368]) Новиков, Александр Иванович (1861 — 1913), сын О. А. Новиковой, общественный деятель и публицист, в 1902 — 1904 гг. бакинский городской голова. Начав свою деятельность крайним консерватором

(в описываемое время — земский начальник — суровый к крестьянам), радикально изменил затем свои взгляды и принял участие в освободительном движении; не раз подвергался репрессиям.

[369]) Фудель, Иосиф Иванович, священник в Москве, писатель, сотр. «Моск. Ведом.», «Русск. Обозр.», «Русск. Вестника» и т. д.

[370]) Амфитеатров, Валентин, священник, пользовавшийся популярностью в московских кругах, отец писателя Александра Амфитеатрова.

[371]) Статья написана по поводу диспута П. Лафарга с Эдм. Демуленом, происходившего 21 мая 1892 г. в Парижском «Обществе развития личной инициативы и распространения социальных знаний», при чем Тихомиров, возражая обоим и усматривая в диспуте признак «глубокого расстройства в мыслях, чувствах и стремлениях людей» Зап. Европы, рекомендовал последней, для своего оздоровления, обратиться к России, где есть «могущественные общественные начала и власть вне всяких партий, способная проникнуться всей широтой народной мысли» («Русск. Обозр.» 1892, кн. 7).

[372]) В статье Тихомиров, отмечая обнаружившийся в обществе религиозный интерес и в то же время разобщенность «ищущих» с духовенством, винил в этом не последнее, но первых, осуждая всякое свободное искание в области религии, как умствование, духовный разврат и подрыв православия, и звал общество не прислушиваться к голосу «вольных пророков» в роде Вл. Соловьева, а скромно обратиться к «церковному учению». Статья вышла вскоре отдельной брошюрой.

[373]) «Русский Вестник» — литературно-политический журнал (двухнедельник, потом ежемесячник), основанный в Москве М. Н. Катковым в 1856 г., вначале либеральное издание, затем, с 1862—63 г., — влиятельный орган реакции. С конца 70-х гг., а особенно после смерти Каткова (1887) интерес к журналу сильно падает.

[374]) «Вестник Европы» — либеральный ежемесячник (первые два года — трехмесячник), основанный в 1866 г. М. М. Стасюлевичем, остававшимся его ред.-изд. до 1908 г. (потом издателями были М. М. Ковалевский, Д. Н. Овсянико-Куликовский, редакторами: К. К. Арсеньев, Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. С. Посников, Д. Д. Гримм). Прекратился в 1917 г.

[375]) Убийство Алексеева произошло не по политическим, а по личным мотивам: месть за сестру, изнасилованную городским головой.

[376]) Муравьев, Николай Валерианович (1850 — 1908), ранее прокурор, обвинитель в процессе 1-го марта 1881 г. В 1892 г. назначен госуд. секретарем. С 1894 г. до янв. 1905 г. — министр юстиции, затем до самой смерти посол в Риме.

[377]) Астафьев, Петр Евгеньевич (1846 — 1893), философ и публицист, консерватор по взглядам.

[378]) Розанов, Василий Васильевич (1856—1919), известный писатель, публицист, сотрудник «Московских Ведомостей», «Русского Обозрения», «Нового Времени» и др.

[379]) А. А. Александров стал издавать в этом году в Москве ежедневную дешевую газету «Русское Слово», по направлению примыкавшую к «Моск. Ведомостям» (газета перешла позднее к т-ву Сытина и стала умеренно либеральным, несколько бульварного типа, органом).

380) Глубоковский, Матвей Никанорович (1857 — 1904), ред.-изд. журн. «Наука и Жизнь», сотр. «Моск. Ведомостей».

381) Статья «Болезнь государя и знамения времени», отмечающая, как знаменательное явление, что народы Европы, будто бы, с великой тревогой следят за болезнью царя, боясь потерять в его лице правителя, при котором «Европа чуть ли не первый раз за 100 лет ощутила себя спокойной, выше страха угрожающих ей бедствий и смут» («Моск. Вед.» от 19 окт. 1894 г.).

382) «Русские Ведомости» — одна из наиболее солидных газет предреволюционной России, влиятельный орган русского либерализма, издавались в Москве, с 1863 г. до 1918 г. (Первые годы — 3 раза в неделю, с 1868 г. — ежедневно). Основатель и первый редактор (в течение нескольких месяцев) — Н. Ф. Павлов, дальнейшие редакторы: Н. С. Скворцов, В. М. Соболевский, А. С. Посников, Д. Н. Анучин и т. д.

«Смоленский Вестник» — либеральная газета, издававшаяся в 1878 — 1917 гг. (сначала 2 и 3 раза в неделю, затем ежедневно).

383) Дашков — заведующий учебными заведениями Мариинского ведомства в Москве.

384) «Носитель идеала» — так назвал Тихомиров Александра III. Монархия вообще, по мнению автора, имеет все преимущества перед народовластием. В противоположность последнему, под видом «убийственной уравнительности» все разлагающему и разъединяющему, монархия объединяет все желания и интересы высшей правдой. И вот идеалом такой монархии, доведенным до высшей степени, явился всему миру Александр III — «царь правды и мира». Вступив на престол при тяжелых внутренних (смута, террор, голод) и внешних (угрозы войны) условиях, он «из своего 13-летнего царствования сделал эпоху благоденствия, тишины, довольства и славы» (статья помещена в «Моск. Ведом.» от 30 октября 1894 г.).

385) Майков, Аполлон Николаевич (1821 — 1897), один из главных поэтов послепушкинского периода, председатель комитета иностранной цензуры.

Шаховской — возможно, начальник Главного управления по делам печати при Сипягине, Н. В. Шаховской.

Рачинский, Сергей Александрович (1836 — 1902), ботаник и известный деятель по народному образованию в национально-религиозном духе.

386) Ермилов, Владимир Евграфович, педагог, литератор, сотрудник московских периодических изданий либерального направления и автор популярных брошюр по литературе и истории.

387) «Московский Листок» — бульварная газета (ежедн.), основанная Н. И. Пастуховым. Выходила в 1881 — 1918 гг.

388) Случевский, Константин Константинович (1837 — 1904), поэт. В 1891 — 1902 гг. — главный редактор «Правит. Вестника», с 1897 г., кроме того член совета министра вн. дел.

389) Иозефович, Александр Александрович, редактор-издатель харьковской газеты «Южный Край».

390) В сборнике «Памяти имп. Александра III» перепечатан появившийся в течение описываемых месяцев в «Моск. Ведомостях» материал о его болезни, смерти, похоронах.

[391]) В связи с вступлением на престол Николая II среди московского студенчества началось движение в пользу подачи петиции новому царю (относительно ее содержания не было единства между инициаторами: часть стояла за то, чтобы ограничиться ходатайством об изменении университетского устава и допущении в высшую школу женщин). Движение привело к нескольким арестам и высылкам, усилившим, конечно, раздражение среди студентов. Положение обострилось после истории с В. О. Ключевским, освистанным 1 декабря за речь об Александре III, в которой последний был охарактеризован великим миротворцем. На этот раз полиция произвела массовые аресты и выслала 55 человек из Москвы. Этими именно репрессиями и была вызвана петиция профессоров, редактированная Милюковым, Герье и Шервинским и представленная особой депутацией в. кн. Сергею Александровичу. Однако, репрессии в отношении студентов не были отменены, и, кроме того, подвергся высылке и П. Н. Милюков.

[392]) Тверской адрес, о котором говорит Тихомиров, между прочим, высказывал, в чрезвычайно осторожной форме, пожелание о привлечении выборных от населения к участию в управлении (аналогичные адреса, еще более скромно редактированные, были представлены и некоторыми другими земствами: тамбовским, тульским, уфимским и т. д.). Адрес не был принят царем, который наложил на докладе о нем мин-ра вн. дел резолюцию, выражавшую «удивление и недовольство» «неуместной выходкой 35 гласных губернского земского собрания». А вскоре после того, 17 января 1895 г., на приеме депутаций от дворянств, земств, городов Николай произнес знаменитую фразу относительно «бессмысленных мечтаний об участии представителей земства в делах внутреннего управления».

[393]) Голенищев-Кутузов, Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт, управляющий дворянским и крестьянским земельными банками, позднее секретарь Марии Федоровны и управляющий ее канцелярией.

[394]) В мае 1895 г. в Москве по обвинению в приготовлении взрывчатых веществ арестованы были Распутин, жена его Акимова, Герасимов, Карпузи и др. (всего до 50 чел.).

[395]) Брошюра «Конституционалисты в эпоху 1881 г.», которой Тихомиров в начале нового царствования пожелал напомнить (притом в преувеличенной форме) об опасностях угрожавших самодержавию в начале 80-х годов вследствие политики Лорис-Меликова и земско-конституционного движения. Брошюра выдержала несколько изданий.

[396]) Речь идет об утверждении нового устава Крестьянского банка, основания которого были перед тем подвергнуты решительной критике в ряде статей «Московских Ведомостей».

*

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Библиотека
Института Ленина

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Errata.

Сноски для подстрочных примечаний в 1—7 лл. обозначены цифрами, а не звездочками.

Кроме того, замечены следующие опечатки: стран. 455, стр. 18: «Алдр. Михайловым» вместо «Адр. Михайловым»; стран. 456, стр. 25: «13 января» вместо «В январе»; стран. 459, стр. 18: «В мае 1880 г.» вместо «В нач. 1880 г.»; стран. 459, стр. 38: «4 марта» вместо «4 апреля»; стран. 462, стр. 41: «к 9 ч.» вместо «к 10 ч.».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ЦЕНТРАРХИВ РСФСР

Переписка Николая и Александры Романовых. 1916 — 1917 г.г. Том V. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. 303. Ц. 3 р.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Протоколы заседания Исполнительного Комитета и Бюро И. К. С предисловием Я. А. Яковлева. (1917 г. в документах и материалах. Под ред. М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева). Стр. 375. Ц. 2 р. 75 к.

Письма Ф. М. Достоевского к жене. Предисловие и примечания Н. Ф. Бельчикова. Общая редакция В. Ф. Переверзева. Стр. 367. Ц. 4 р.

Покровский, М. Н. Декабристы. Сборник статей. Стр. 95. Ц. 80 к.

Последние дни колчаковщины. Материал подготовлен к печати М. М. Константиновым. С приложением статьи А. А. Ширямова. Стр. 231. Ц. 2 р. 50 к.

Пресняков, А. Е. 14 декабря 1825 года. С приложением военно-исторической справки Г. С. Габаева «Гвардия в декабрьские дни 1825 года». (Восстание декабристов. Исследования, под ред. М. Н. Покровского.) Стр. 226+2 схемы. Ц. 2 р. 50 к.

Пугачевщина. Том I. Из архива Пугачева (манифесты, указы и переписка). Подготовлен к печати С. А. Голубцовым. Под редакцией С. Г. Томсинского и Г. Е. Мейерсона. Со вступительной статьей М. Н. Покровского. (Материалы по истории революционного движения в России XVII и XVIII в.в. Под общей редакцией М. Н. Покровского). Стр. 292. Ц. 3 р.

Рабочее движение в 1917 году. Подготовили к печати В. Л. Меллер и А. М. Панкратова. С предисловием Я. А. Яковлева. (1917 год в документах и материалах. Под редакцией М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева). Стр. 372. Ц. 4 р.

Разложение армии в 1917 г. Подготовлено к печати Н. Е. Какуриным. С предисловием Я. А. Яковлева. (1917 г. в документах и материалах. Под ред. М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева). Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Революция в 1848 г. во Франции. (Донесения Я. Толстого). Под редакцией и с предисловием Г. Зайделя и С. Красного. Стр. 184. Ц. 1 р. 70 к.

Русско-японская война. Из дневника А. Н. Куропаткина и Н. П. Линевича. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. VII + 189. Ц. 1 р. 80 к.

Царская Россия в мировой войне. Том I. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. XXIV + 304. Ц. 3 р. 20 к.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА

5 руб. — р 17232

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СБОРНИК

Под редакцией В. И. НЕВСКОГО

ТОМ ПЕРВЫЙ

Стр. 247. Ц. 2 р. 20 к.

ТОМ ВТОРОЙ

Стр. 428. Ц. 2 р. 75 к.

ТОМ ТРЕТИЙ

СОДЕРЖАНИЕ: 1. В. Невский. Виктор Павлович Обнорский. Приложения к статье В. Невского: Показания В. Обнорского от 6 февраля, 23 и 29 августа, 5 и 30 октября 1879 года. Обвинительный акт по делу В. Обнорского. Приговор военно-окружного суда по делу В. Обнорского. 2. Э. Корольчук. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй половине 70-х годов. Приложения к статье Э. Корольчук: Заключение прокурора Петербургской судебной палаты по делу „Общества друзей“. Рукопись: «По поводу собрания русской народной партии 6 декабря 1876 года». 3. А. Санин. К ранней истории русского марксизма. Приложение к статье А. Санина: Письмо Э. Лобойко от 8 декабря 1878 г. к В. Казас. 4. Н. Сергиевский. Народничество 80-х годов. Приложения к статье Н. Сергиевского: Программа Народной партии. Алексеев, Несколько слов о прошлом русского социализма и о задачах интеллигенции. Основные тезисы народничества. Опыт обоснования программы народников. От издателей (статья из народнического сборника). Социализм и народничество (статья из того же сборника). 5. Н. Сидоров. Записка директора канцелярии министра юстиции бар. Врангеля о развитии идей коммунизма и мерах борьбы с ним. 6. Л. Слухоцкий. Очерк деятельности министерства юстиции по борьбе с политическими преступлениями. 7. Н. Сергиевский. Еще раз по поводу программы полтавского съезда п. с.-р. 8. М. Лебедева (Точисская). К биографии П. В. Точисского. (Воспоминания сестры). 9. Н. Сидоров. Список арестантов Алексеевского равелина с 1850 г. по 1884 г. 10. Указатель.

Стр. 312. Ц. 3 р.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА

